

G | R | P | 05

Grazer Linguistische Monographien / GLM
hrsgg. von Dieter W. Halwachs
Karl-Franzens-Universität Graz
treffpunkt sprachen
Forschungsbereich Plurilingualismus
Johann-Fux-Gasse 30
8010 Graz / Austria

<http://glm.uni-graz.at>

© by the authors
layout: Marcus Wiesner

ISBN 978-3-901600-44-9

Das amen godi pala
Lev Čerenkov.
Romani historija,
čhib taj kultura

Kirill KOZHANOV / Mikhail OSLON /
Dieter W. HALWACHS (eds.)

2017

So sa akharen / Оглавление / Content / Inhalt

Angluni vorba / Предисловие / Foreword / Vorwort 10

Lev Čerenkov

Времена и люди 15

Times and People 30

Zeiten und Leute 43

Serimata / Воспоминания / Memories / Erinnerungen

Прощание коллег

Вспоминая Льва Николаевича 63

Надежда Белугина

Светлой памяти нашего бесценного друга 65

Вадим Торопов

О Льве Николаевиче Черенкове – друге, наставнике, коллеге 69

Fatma Heinschink

“O trin čirikle” taj aver masalja 73

Dragan Jevremović

Le Levoskê 79

Hrama / Статьи / Contributions / Beiträge

Peter Bakker

The first suggestion of an Indic connection
of the Romani language: Tentzel 1689 87

Michael Beníšek

Miklosich’s vocabulary of Galician Romani and its affinities
with today’s North Central Romani of Halychna 98

<i>Николай Бессонов</i>	
Этнонимы и прозвища цыган в СССР	
и на постсоветском пространстве	111
<i>Zuzana Bodnárová</i>	
Spontaneous bottom-up revitalization:	
The development of Dunajská Streda Romani	143
<i>Norbert Boretzky</i>	
Das historische Verhältnis von Welsh Romani und Sinti	158
<i>Viktor Elšík</i>	
The Romani oikonym <i>Požom(b)a ‘Bratislava’</i>	176
<i>Christiane Fenesz-Juhász</i>	
Sound recordings of Romani soldiers in German and Austrian	
prisoner-of-war camps, 1915-1918: Protagonists, contexts and content	188
<i>Victor A. Friedman</i>	
The Arli of Skopje: A perceptual dialectological approach	210
<i>Kimmo Granqvist</i>	
Finnish Romani and its dialectology	221
<i>Mozes F. Heinschink & Petra Cech</i>	
Lexikalische Kostbarkeiten aus dem Romanes	
und der materiellen Kultur der Kaldéraš	238
<i>Birgit Igla & Petra Cech</i>	
Inverted addressing in Balkan languages and Romani dialects	258
<i>Кирилл Кожанов</i>	
Неизданный цыганско-русский словарь Н. А. Панкова	284
<i>Daniel Krasa</i>	
Banjari / Lambadi. The language of India's biggest nomadic tribe	303
<i>Илона Махотина</i>	
Образцы фольклорной прозы русских цыган Новгородской области	308

Mikhail Oslon

- Jek pušimos la istorijaka fonetikako la kêldêraricko šibaki:
le vokalongê žutengi *e : ê aj i : î* distribucija _____ 325

Helena Sadílková

- Resettling the settlement. The recent history of a Romani settlement
in south-eastern Slovakia _____ 339

Barbara Schrammel-Leber

- Ablatives and genitives in Burgenland Romani:
insights from the ROMTEX Corpus _____ 352

Виктор Шаповал

- О надёжности данных старых словарей при
описании цыганской лексики _____ 366

Тетяна Сторожко

- Поховальна обрядовість ромів Слобідської України _____ 371

Anton Tenser

- Grammaticalization in a Sinti sample from Poland _____ 380

Ксения Трофимова

- Практика совместных паломничеств:
почитание цыганами-мусульманами церкви
Св. Иосифа в Македонии _____ 400

Peter Wagner

- The copula in North-West Lovari Romani _____ 418

Manuel Weinrich

- Kjake čamréna u Sinti _____ 449

Jakob Wiedner

- Norwegian Romani – an integrational framework _____ 455

Наталія Зіневич

- Етноніми роми, цигани в сучасному
українському науковому дискурсі _____ 484

Angluni vorba

Kamasas te has kado bufari sar dařo ka le Levosko le Ĉerenkovosko oxtovardešto arakhadimasko des. Vo sas baro sîfardo-romologo, amaro sîfaritor, kolega aj vortako. Bar'a dukhasa ašundam ê tristo v'ast'a kê 16-to aprelo 2016 b. o Levo gêlo-tar anda trajo. Anda koda vo ĉi dikhl'a kado bufari, makar žanelas kê lašardol.

Savorê kaj žanenas le Levos sa mirinas-pe: so aj ĉi-žanelas vo pal ſom aj pa lengi ſib, pe sode ſiba delas duma, sar žanelas te phenel divano aj te baxtarêl la lum'a! Kado bufari xancoři sîkavel savestar manuš sas o Levo: sî kathe hrama pa but ſomane bufa aj pe but ſiba.

Ĉi kamas te mothas pr'a but vorbi katka. O ginitori ŝaj korkořo ginel le Levosko divano pa peste aj leskê vortakonengê aj kolegengê sêrimata kaj žan angla le sîfari-maskê hrama.

Oktobro 2016 b. / Le editor'a

Предисловие

Настоящий сборник статей изначально планировался как способ поздравить нашего коллегу, учителя и друга, выдающегося цыгановеда Льва Николаевича Черенкова с восьмидесятилетием. К огромному нашему сожалению, 16 апреля 2016 г. Лев Николаевич ушёл из жизни, так и не увидев этой книги. Впрочем, незадолго до кончины Льва Николаевича мы сообщили ему о готовящемся сборнике в его честь.

Все, кто знал Льва Николаевича, поражались его казавшейся безграничной эрудиции в самых разнообразных областях науки о цыганах, его таланту полиглота, выходившему далеко за пределы цыганских диалектов, его умению делиться знаниями и вдохновлять окружающих. В некотором смысле настоящий сборник отражает эти качества разнообразием тем и языков.

Не будем здесь многословны и предоставим читателю самому ознакомиться с рассказом Льва Николаевича о себе, а также с воспоминаниями его коллег и друзей, предваряющими научные статьи в сборнике.

Октябрь 2016 г. / Редакторы

Foreword

The present volume was originally planned as a festschrift in honour of our teacher, colleague, and friend Lev Čerenkov on the occasion of his eightieth birthday on October 15, 2016. To our deepest sorrow, Lev passed away on April 16, 2016. Although he was not able to see this book, he knew that it was being prepared.

Everybody who knew Lev marvelled at his practically endless knowledge in Romani studies, his impressive multilingualism that went far beyond Romani dialects and their contact languages as well as his ability to share his experience and inspire those around him. To some extent, this collection reflects these qualities both in thematic breadth and linguistic plurality.

Avoiding excessive verbosity, we refer the reader to Lev Čerenkov's autobiography, as well as his friends' and colleagues' memories that precede the scholarly articles in this volume.

October 2016 / The Editors

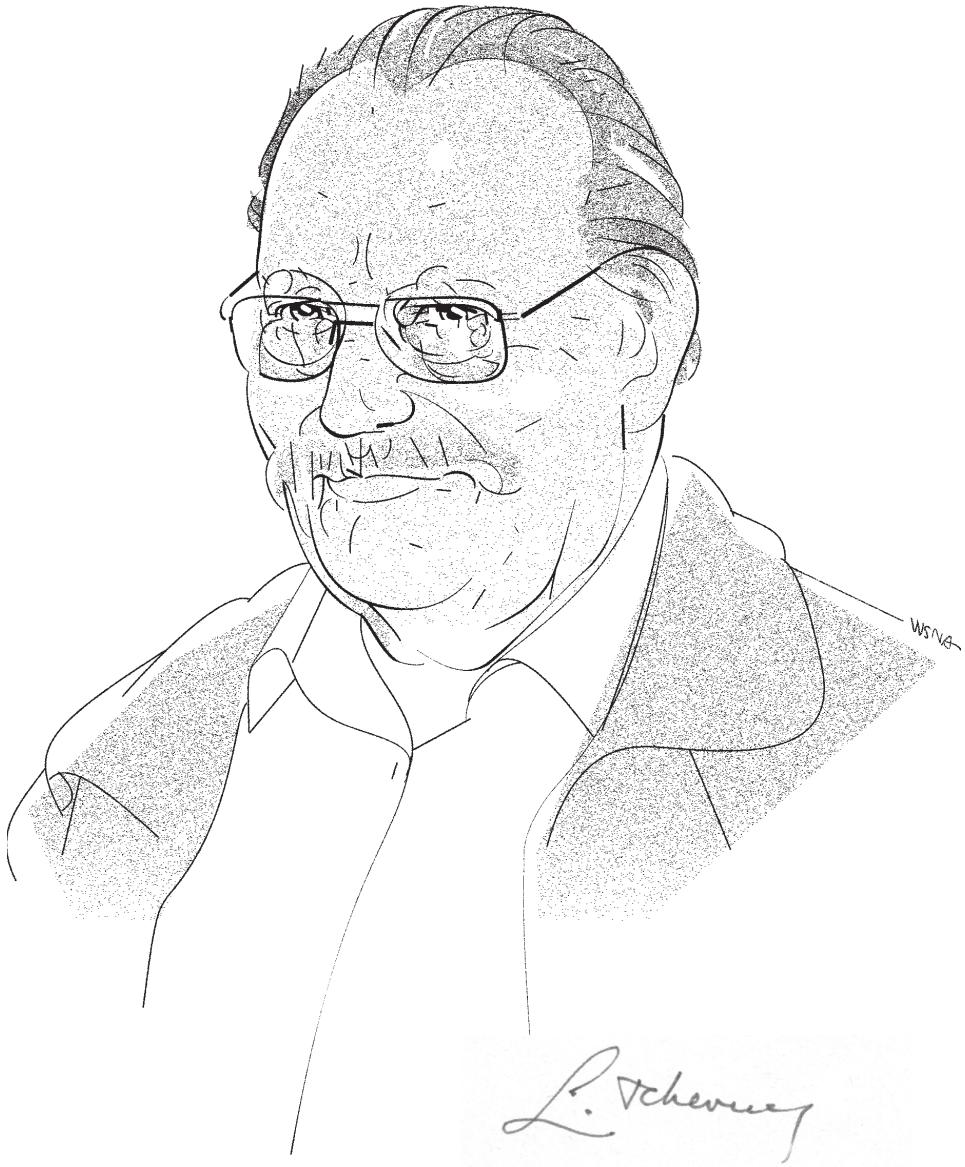
Vorwort

Der vorliegende Sammelband war ursprünglich als Festschrift für unseren Lehrer, Kollegen und Freund Lev Čerenkov zu seinem 80. Geburtstag am 15. Oktober 2016 gedacht. Zu unserem größten Bedauern ist Lev jedoch am 16. April 2016 verstorben. Obwohl er dieses Buch nicht sehen konnte, wußte er über dessen Vorbereitung.

Jeder, der Lew kannte, bewunderte sein fast grenzenloses Wissen über Roma, seine erstaunlichen, weit über die Vielfalt des Romani und seiner KontaktSprachen hinausreichenden Sprachenkenntnisse sowie die Fähigkeit, sein Wissen zu teilen und andere zu begeistern. Bis zu einem gewissen Grad spiegelt dieses Buch dank seiner thematischen Breite und sprachlichen Vielfalt diese Eigenschaften wider.

Um uns kurz zu halten, verweisen wir den Leser auf Lev Čerenkovs Autobiographie sowie an die Erinnerungen seiner Freunde und Kollegen, die den wissenschaftlichen Artikeln vorangestellt sind.

Oktober 2016 / Die Herausgeber



Lev Čerenkov
1936–2016

Времена и люди

*О вахыти накхел...Вай, о вахыти!
(Время проходит...О, время!)*

СУЛЕЙМАН СЕИДОВИЧ ОГЛУ

артист, танцор, певец. Осень или весна 1990 года

Я родился в Западно-Сибирском kraе (что позже назывался Новосибирской, а теперь Кемеровской областью) в 1936 году в семье горного инженера.

Отец, Черенков Николай Васильевич, происходил из семьи русских подмосковных крестьян. Его отец в семилетнем возрасте был вывезен из родного села Барыбино Хатунской волости Серпуховского уезда Московской губернии и отдан в Москве в обучение булочнику. Дед женился довольно рано, взяв в жёны крестьянскую девицу из соседнего села. У них родилось трое сыновей – Николай, Пётр и Алексей (интересно, что всех их бабушка рожала у свекрови в селе Барыбино). Семья жила в Москве на грани бедности, но всех своих детей дед послал в школу, хотя сам всю жизнь оставался (весёльма) малограмотным. В Первую мировую войну дед служил в автомобильной роте, расквартированной в Москве, а в гражданскую войну – в санитарном поезде, где заработал ревматический артрит в очень тяжёлой форме. По «булочной специальности» он работать уже не мог, и всю свою трудовую жизнь работал гардеробщиком в Малом театре, где через спектакли по пьесам А. Н. Островского очень пристрастился к русской классике. Особенно нравились ему Лесков и Боборыкин, описывавший старую Москву, хорошо деду знакомую. Дед всю свою жизнь прожил в Москве, оставался здесь во время войны, со скрюченными от ревматизма ногами тушил зажигалки на крыше нашего деревянного дома во 2-м Щемиловском переулке. Умер он в 1966 году. Все его дети тоже покинули этот свет. Последним из оставшихся был самый старший из братьев – Николай, мой отец, скончавшийся в 1981 году.

До сих пор в моём сознании образ деда с отцовской стороны предстаёт передо мной как символ, к сожалению, давно ушедшей, «коренной» простолюдинной Москвы. Именно через него я познакомился с русской народно-городской культурой, с русским песенным фольклором (у деда был неплохой голос и слух). Сейчас я уже стар, и может быть, из-за возрастной сентиментальности у меня навёртываются слёзы на глаза, когда я слышу «Среди долины ровныя» или «Уж ты сад, ты мой сад». Я вспоминаю своего деда Василия Андреевича Черенкова с огромной теплотой.

Мой отец, Черенков Николай Васильевич, смог получить высшее образование только благодаря социальным переменам в обществе, то есть

благодаря установлению советской власти. Очевидно, только благодаря тем же обстоятельствам он мог жениться на моей матери.

Мать, Музовская Ольга Алексеевна, происходила из семьи врача.

Её дед – и, соответственно, мой прадед – Александр Рутковский из польских цыган-ломжиняков в 70-е годы 19-го века из окрестностей городка Ломжи в Северо-Восточной Польше переселился в Юго-Западную Литву в Лоздайский уезд Сувалкской губернии, где приобрёл корчму и заезжий двор и женился на местной оседлой литовской цыганке-вдове по фамилии Томашевич. По не известным мне причинам он сменил фамилию на Музовский. Прадед был богатым человеком, входил в уездную «элиту» и старался аккумулироваться и не очень отличаться от местной польско-литовской шляхты. Именно поэтому он попытался дать приличное образование всем своим детям. Мальчики (мой дед и его брат) учились в частной гимназии в Вильне (Вильнюсе), а их сестра получила домашнее образование у ксёндза.

Мой дед, Музовский Алексей Александрович с подросткового возраста очень увлекался медициной – очевидно под влиянием близкого приятеля отца, местного фельдшера. Здесь следует вспомнить, что мой дед всё-таки был цыганом и принадлежал, хоть и формально, к польско-литовскому цыганскому сообществу, в котором существует по сей день система *магирипэнá* – «осквернений, ритуальных загрязнений». Занятие медициной, профессия врача безусловно у местных цыган было *магирипэн* (правда, *тыкнó* «малое»). К слову, в Польше по сей день профессия врача у местных «равнинных» цыган считается *магирды*, а вот в сегодняшней Литве уже наблюдается некоторый прогресс: под это определение подпадают лишь специальности (*серебро-золото в ваши уши!*) врача-гинеколога и врача-проктолога.

По этим причинам мой дед учился далеко от дома, на медицинском факультете Казанского университета. Но каким-то образом о его медицинских увлечениях стало известно и в его родных краях, и он автоматически сделался *магирдó*, хотя никакого «официального» решения по этому поводу такого важного органа внутреннего цыганского самоуправления как *романó сónдо* (у русских цыган *сэндо*) не было. Но так или иначе по совершенно дикой (как мне представляется) причине дед был исключён – вернее самоисключился – из цыганского сообщества. Не знаю, кто больше от этого потерял. Слава Богу, что этой дикости не было у русских цыган. Вспомнить хотя бы светлой памяти замечательного врача-хирурга Василия Матусевича...

Дед вынужден был искать себе брачную пару за пределами своего сообщества – там, где о его «преступлении» не знали. И он нашёл себе жену в городе Гумбиннен (теперь Гусев) в Восточной Пруссии среди местных немецких цыган семьи Рейнхард-Фабиан. У них родилось двое детей – сын Владимир, мой дядя, и дочь Ольга, моя мать.

С началом Первой мировой войны дед был мобилизован в действующую армию, был офицером медицинской службы. В 1915 году, когда немецкие войска подходили к Вильну, семьи офицеров были эвакуированы в глубь России, и семья деда попала в хорошо ему знакомую Казань. В 1917 году после раз渲ла фронтов дед приехал к семье. Но тут начались революционные события, докатившиеся и до Казани, было решено уехать восточнее, и в конце концов семья очутилась в Омске. Дед попытался найти какую-нибудь такую работу, чтобы прокормить семью и не быть связанным с политическими перипетиями. Нашлось место уездного врача в городке Кокчетав (теперь это Северный Казахстан), где он прожил с 1919 года до самой своей смерти в возрасте 86 лет в 1969 году.

В Кокчетаве в том же 1919 году при родах умерла его жена, моя бабушка Мария Михайловна Рейнхард-Фабиан. Мой матушке было четыре с половиной года, а моему дяде Володе – пять с половиной.

После смерти бабушки прокормлением и воспитанием детей, а также ведением всего домашнего хозяйства занималась русская деревенская женщина тётя Анюта, бывшая няня детей, приехавшая с семьёй из Казани. Моя матушка до самой своей смерти в 2004 году вспоминала о ней как о своей второй матери.

Дед водил компанию с местными поляками, оказавшимися в тех местах благодаря военным и революционным обстоятельствам. Особенно он дружил с владельцем местной паровой мельницы паном Ездовским, с которым (как вспоминала мать) они нередко предавались злоупотреблению русским (да и польским, что греха таить) традиционным напитком. Дружба с местными поляками на фоне безукоризненного владения польским языком и польской по происхождению фамилии позже весьма отрицательно сказалась на судьбе деда, который в начале 30-х годов арестовывался как «польский шпион».

Дед не только работал в больничном стационаре, но и выезжал в районы, где часто пользовал местных казахов. Он научился хорошо говорить по-казахски, они очень любили его и называли его «доктур Мозоп».

Но цыган в тех местах вроде бы не было. Во всяком случае, дед об этом не вспоминал. Языком общения в доме были сначала (после смерти бабушки) польский и русский, а затем, когда дети пошли в школу, преимущественно русский.

В январе 1938 года дед был арестован местным НКВД и в апреле 1939 года осуждён по статьям 58-10 (контрреволюционная пропаганда) и 58-11 (участие в контрреволюционных организациях) УК РСФСР (в Казахстане!!) на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Вышел он из «царства ГУЛАГа» в 1946 году.

В том же 1946 году мы с мамой поехали из Москвы (куда мы перебрались из Сибири в начале 1937 года) в Kokчетав к деду, которого я в более-менее сознательном возрасте никогда не видел. Он же меня видел, будучи в Москве проездом в 1937 году.

Дед на меня произвёл ошеломляющее впечатление. Высокий, но не грузный, с длинными пушистыми, уже начинающими седеть, усами, с приятным басовитым голосом. Кстати, он прекрасно пел, причём больше «песни народностей». Все знакомые, все соседи относились к нему с чрезвычайным почтением, независимо от национальной принадлежности, а национальностей в послевоенном Казахстане было очень много: русские, казахи, украинцы, татары и ссыльные поляки, немцы, греки, болгары, чеченцы, ингуши. Вот цыган я что-то в то время в Kokчетаве не припомню.

Второй раз мы приезжали в Kokчетав с матерью на следующий, 1947 год, и снова пробыли там всё лето, три месяца. У деда был довольно большой деревянный дом (который не конфисковали, поскольку он был записан на няню), места для спанья было много, но я в оба пребывания ночевал у него в каморке. Там допоздна он мне рассказывал разные истории, пел песни и учил языкам, а больше языку. Таким образом, уже в одиннадцать лет я неплохо владел польским и мог изъясняться на литовско-цыганском. В качестве анекдота: в старших классах школы я嘗試edся применить этот язык для подсказок на уроках. Мой школьный приятель Юра Мирский, моложе меня на год, до сих пор помнит кое-что из той цыганской лексики.

(Так подробно пишу потому, что некоторые из моих, значительно более молодых, чем я, и к тому же появившихся в Москве гораздо позднее меня, цыганских знакомых любят утверждать, что цыганский я выучил в семье их родственников уже в зрелом возрасте).

Особо хочу подчеркнуть, что я в то время никоим образом не ощущал свою принадлежность к цыганскому этносу. Не ощущаю себя «полноценным цыганом» и сейчас, в зрелом – мягко выражаясь – возрасте. Впрочем, также не ощущаю себя эдаким этнографическим «полноценным русским» или «полноценным поляком», хотя без ложной скромности могу сказать, что неплохо владею русским и польским языками и неплохо знаком с русской и польской классической культурой. Я человек, воспитанный в Советском Союзе на российских гуманистических интернационалистских традициях с уважением ко всем человеческим культурам. Не терплю тупого национализма (который иногда пытаются выдать за патриотизм) в любых проявлениях – «ну, это, брат, не по-нашему, не по-русски» или «ада нанэ романэс, дякэ кэрэн гадже» («это не по-цыгански, так поступают не-цыгане») или же «делай по-польски, а не по-москальски». Можно любить собственную культуру, но для меня нет ничего более омерзительного, чем безудержное самолюбование – «ах, где ещё...», «ах, больше ни у кого в мире...» и т. д. и т. п.

Родственников по линии деда на территории СНГ (т.е. в России и в Литве) почти не осталось, так как все сразу же после войны выехали в Польшу на Западные земли.

Интересно, что глава нынешней литовской цыганской организации «Романы ягоры» Иосиф Тычина (о Ваньчя) претендовал на какое-то родство со мной, но мне это показалось странным, поскольку он происходит не из Литвы, а с украинской Волыни.

Как я выяснил с помощью моего коллеги, литовского цыгановеда Вильгельмаса Белецкasa, все цыганские семьи из восточнопрусского города Гумбиннен (нынешний Гусев) в 1943 или в 1944 году были вывезены в концлагерь возле польского города Августова. Назад не вернулся никто. Так что родственников по линии бабушки я не знаю.

В позднем детстве и в ранней юности я совсем не интересовался цыганами и не обращал на них внимания – вернее, попросту, что называется, «не видел их в упор». Но всё перевернулось летом 1951 года, когда я с матерью отдыхал в селе Балки Барского района Винницкой области Украины. Около нашего дома проходило шоссе, по которому очень часто проезжали крытые повозки с кочевыми цыганами из близкой Бессарабии. Таких живописных, «киношных» цыган я не видел ни до, ни после! Иногда повозки останавливались около наших домов, потому что поблизости было «Сильпо», и цыгане и цыганки спускались на землю зайти в магазин или просто размяться. Помню один такой июльский день, когда из остановившейся цыганской повозки вылез цыганёнок, мой ровесник лет 15-16 с чёрными кудрями под ярко-зелёной кепкой, в красной, почти новой рубахе, босой, с папирской, зажатой в углу рта. Он вальяжно расположился на травке и сразу же был окружён местными сельскими хлопцами, среди которых у меня уже было немало друзей. Цыганёнок с трудом изъяснялся на смеси русского и украинского. И здесь я решил продемонстрировать свои знания. Конечно, его диалект сильно отличался от того, что я знал, но мы каким-то образом понимали друг друга. Сельские хлопцы стояли с открытыми ртами, да и мой собеседник был очень удивлён, видя перед собой явно городского подростка неопределённого антропологического типа, но говорящего явно по-цыгански (хоть и несколько по-другому).

С тех пор медленно, но верно у меня стал просыпаться интерес к цыганам и их культуре, которую я совершенно (или почти совершенно) не знал, несмотря на хорошее владение языком. В 1951-1952 годах я несколько раз побывал на спектаклях театра «Ромэн». Зимой 1953 года записался в общий зал Ленинской библиотеки и стал читать книги по цыганской истории и этнографии (благо, их было очень мало). Летом 1953 года после окончания школы решил поступать на индийское отделение Московского Института Востоковедения (МИВ), который располагался в Сокольниках в доме 13А

по Ростокинскому проезду. На индийском отделении вакансий не было, и я семестр проучился на турецком отделении. Но в 1954 году МИВ закрыли, якобы по соображениям экономического порядка, а студентов младших курсов распределили по другим вузам. Я оказался на английском отделении Московского государственного педагогического института иностранных языков, перейдя на заочное обучение, центр которого располагался всё по тому же адресу – Ростокинский проезд, 13А.

Через одну трамвайную остановку от моего института находилась знаменитая «Шестая верста» («Шовтавэрста») – цыганский барак, построенный в начале 30-х годов прошлого века для работников «Цыгпищепрома», в основном, выходцев из Смоленщины. Я завёл знакомства в этом бараке, где жила весьма разнообразная по занятиям и уровню образования публика – неквалифицированные рабочие, два брата профессиональных боксёра, артисты цыганских ансамблей (и одно время – театра «Ромэн»), научные работники (например, Михаил Васильков, кандидат наук), шоферы, грузчики, уборщицы и т. д. и т. п. Атмосфера этого барака хорошо описана у Н.Г. Белугиной в её очерке «О Лексе и Надежде», и поэтому повторяться я не буду. Скажу только, что барак прекратил своё существование в 1956 году – сгорел, очевидно подожжённый с двух сторон (такое предположение высказывали тогда «компетентные органы»), и его обитатели получили новое жильё в разных районах Москвы.

Вообще, Северо-Восток Москвы был, по моим наблюдениям, наиболее «цыганским». Цыгане (русские цыгане, *русска рома*) жили и за теперешней территорией ВДНХ на Извилистой улице, и в домах барачного типа напротив ВДНХ, на знаменитой Мазутке (в Мазутном проезде, теперь улица Павла Корчагина).

На 1-ой Останкинской улице жила дружная семья цыган-котляров Константиновых. С Лёшем (*Лёша шяв ле Савкаско*) я познакомился летом 1954 года и стал приезжать к нему в гости. У них я получил первые уроки котлярского (кэлдэрарского) диалекта и представления о традиционном котлярском этикете.

Возле теперешней станции Северянин Ярославского направления, с правой стороны по ходу поезда из Москвы, за хоздвором на лугу вплоть до опушки небольшого перелеска вдоль ветки железной дороги до осени 1956 года часто располагались кочевые цыгане – в палатках, но без лошадей. Помню, 1 сентября 1954 года, посланный деканатом института на овощебазу в Северянине, я целый день вместо работы по обеспечению трудящихся Москвы качественными овощами и фруктами провёл в палатках крымских цыган, возвращавшихся из среднеазиатской ссылки на Северный Кавказ. У них я слышал от стариков мелодичные крымско-татарские песни, рассказы

о довоенной жизни в Крыму и на Северном Кавказе, и даже помог больной женщине изобразить «мюсюльманскими», т. е. арабскими, буквами её имя на полях священного текста, зашитого в нашейную ладанку *амайлэс*. (Я всё-таки год учил язык урду в институте и знал арабский алфавит). Это действие должно было помочь в её излечении. Интересно, что «священный» текст представлял собой обрывок страницы из дореволюционной татарской конторской книги на арабском алфавите. Но я об этом гостеприимной хозяйке и её совершенно бедному супругу в рваном армейском кителе, перепоясанном верёвкой, конечно же, не сказал.

Это было моё первое знакомство с кочевыми крымскими цыганами из группы *кырлыдэс*. До этого я познакомился с артистом цирка Эмирвели (Мишней) Мамутовым, очень интеллигентным и воспитанным крымским цыганом, который умел писать не только по-русски, но и по крымскотатарски (кстати, арабским алфавитом).

Теперь об упомянутом цирке. Как-то проходя мимо здания «старого» цирка на Цветном бульваре, я увидел группу весьма прилично одетых цыган-мужчин. Я подошёл и под каким-то предлогом завёл разговор на нейтральную тему, внезапно перейдя на цыганский язык. Таким образом я познакомился с Петром Степановичем Деметером (чье музыкальные произведения исполнялись во время цыганского циркового представления), с Михаилом Михайловичем Шишковым, с «дядей Пашей» Савельевым и с другими членами тогдашней цыганской цирковой группы.

Моя дружба с семьёй Деметеров, начавшись в 1954 году и особенно усилившись в 1956-57 гг. через Владислава Петровича Деметера, продолжалась до Славиной смерти, *т'ял ѹерт*. Но – об этом нужно писать особо, много и подробно. Дай Бог, авось как-нибудь сподоблюсь.

В сезон 1954-1955 гг. стал активно и часто посещать цыганский театр «Ромэн», перезнакомился со многими артистами, особенно молодыми. Частые визиты в театр возобновились у меня после службы в армии, где я пробыл около года, так как был комиссован по зрению.

В театре особое внимание обратил на меня светлой памяти актёр и драматург Николай Георгиевич Нарожный. Мы часто беседовали, я бывал у него в гостях дома на Большой Грузинской. Без ложной скромности могу сказать, что некоторые детали из моих рассказов о пребывании у цыган (особенно у кочевых) Н. Г. Нарожный использовал в одной из редакций своей пьесы «Цыган Михайло». Меня поразило в самое сердце известие о его нелепой смерти во время рутинной операции по удалению аппендицита в середине 60-х годов.

Неоднократно я встречался и разговаривал с патриархом цыганского театрального искусства Иваном Ивановичем Ром-Лебедевым. Побывал у

него в гостях и в его старой квартире на улице Горького (Тверской), 6, и в его последнем пристанище на улице Герцена (Большой Никитской).

Для продолжения повествования о моих знакомствах с выдающимися персонами цыганской культуры, необходимо вернуться в барак на «Шестую версту». В одно из посещений своего хорошего знакомого Миши Василькова я застал у него представительного смуглого-чернявого цыгана лет 35-ти. Я был представлен ему. Его звали Николай Георгиевич Саткевич. Это был известный цыганский поэт и общественный деятель, успевший до войны поучиться в московском цыганском педагогическом техникуме у Николая Александровича Панкова и начавший свою литературную карьеру с публикации по-цыганских стихов в сборнике «Романо альманах» (1934 год).

Во время своего короткого пребывания в Москве (он происходил из Брянской области, а жил с семьёй в Иркутске) Саткевич решил познакомить меня с ещё живыми тогда деятелями довоенной цыганской культуры, так сказать с «отцами-основателями». Первым, к кому он привёл меня, был легендарный Александр Вячеславович Германо.

Александр Вячеславович, к тому времени тяжело (и как позже оказалось, неизлечимо) больной, обитал со своей супругой Марией Вардашко в двух смежных комнатах огромной коммунальной квартиры в доходном доме в Столешниковом переулке. Несмотря на классический «коммунальный» быт, комнатки (одна из них служила кабинетом Вячеславу Александровичу) были ухоженными и чистенькими – может быть, благодаря тому, что Мария Вардашко была по происхождению чешкой (хотя и российской!). Я очень часто посещал А. В. Германо вплоть до его смерти в апреле 1955 года, он много рассказывал мне о зарождении цыганской литературы в СССР, об отдельных персонажах цыганского культурного возрождения 20-х – 30-х годов прошлого века. Он давал мне читать рукописи своих ещё (а это значит, никогда) не опубликованных произведений.

Через А. В. Германо я имел счастье познакомиться с другим живым классиком цыганской советской литературы, поэтом и переводчиком Николаем Александровичем Панковым и с его семейством – супругой Яниной Стефановной и дочерьми Натальей и Любовью. Жили они в комнатёнке в старом деревянном доме без каких-либо удобств за Заставой Ильища. Позже оказалось что химик Наталья Николаевна Панкова работает в том же научно-исследовательском институте, что и мой близкий школьный приятель, да ещё под его началом. К сожалению, она довольно рано умерла – в 1991 году. Любовь Николаевна, кандидат биологических наук, известный физиолог, работала в научно-исследовательских учреждениях и преподавала в вузах Москвы. Сейчас она уже давно на заслуженном отдыхе.

С Николаем Александровичем мы очень много обсуждали различные проблемы цыганского языка, образования цыганских детей и молодёжи. Он был

почётным членом всемирно известного английского Общества по изучению цыган, получал журнал этого общества. Мы с ним долго сидели, изучая статьи в этом журнале – Николай Александрович не владел никаким другим языком, кроме русского и цыганского, а его супруга, будучи по происхождению полькой, кроме русского и выученного в семье мужа цыганского прекрасно владела родным польским.

Умер Николай Александрович в 1959 году. На его похоронах я познакомился с Татьяной Владимировной Вентцель, о которой много слышал от деятелей цыганского довоенного культурного движения. Она, в частности, принимала участие в написании первых учебников цыганского языка для цыганских школ. С 1959 года до её смерти в 1989 году мы плодотворно сотрудничали, написав несколько совместных работ по цыганскому языку – например, большой очерк «Диалекты цыганского языка» для академического сборника «Языки Азии и Африки». Эта работа до сих пор широко цитируется в научном мире у нас и за рубежом. Татьяна Владимировна была широко образованным языковедом, но больше теоретической направленности. Цыганским языком (и тем более его диалектами) она практически не владела, и этот пробел восполнял я.

Начиная со второй половины 1950-х годов я решил заняться «теоретической» подготовкой по цыганской истории, этнографии и языкоznанию, благо в наших московских столичных библиотеках (Ленинской, Исторической, Иностранной литературы и др.) хоть и разрозненно, хоть и не совсем систематизировано наличествовала литература по интересующей меня тематике. Для ознакомления с нею пришлось подучить некоторые иностранные языки. Забегая вперёд, хочу сказать, что заниматься цыганской диалектологией, изучением и описанием различных цыганских диалектов (а это такое богатство!) совершенно невозможно без хотя бы беглого ознакомления с языком нецыганского («гадженского») населения. среди которых цыганские носители данного диалекта живут или некоторое время тому назад проживали. Конкретный пример – без знания румынского языка невозможно понять и оценить многие явления котлярского (кэлдэрарского) и ловарского диалектов, без знания венгерского – ловарского, без знания крымскотатарского – крымского и т.д. Мне иногда приходилось слышать, как русские цыгане сетуют, что у них в языке очень много русских слов, а в других диалектах – «чисто цыганские» слова. Это не совсем правда, вернее – совсем неправда. В других диалектах вместо русских заимствований много слов из других языков. У русских цыган чисто цыганское (индийского происхождения) *джиштэн* «жизнь», а у котляров и ловаров – румынское *трáйо*; у русских цыган *шарáва* «я хвалю», у котляров румынское *лувудýв*, а у крымских цыган – татарское или ногайское *махтадýяв*. Когда светлой памяти один из авторов

«Цыганско-русского словаря (кэлдэрарский диалект)» (Москва, 1990) Роман Степанович Деметер впервые побывал в Молдавии, он вернулся потрясённый словарным запасом румынского (молдавского) языка и сказал мне: «Слушай! Я понимал в их речи каждое четвёртое слово!» И в этом ничего удивительного нет – котляры (кэлдэрары) распространялись по Европе и Америке в XIX веке из Румынии, и в их диалекте процентов сорок румынских слов.

В 1967 году Р. С. Деметер и я в соавторстве опубликовали в молдавском академическом журнале «Лимба ши литература молдовеняскэ» («Молдавский язык и литература») статью «Восточнороманское влияние на цыганский язык (кэлдэрарский диалект)». Это был первый опыт введения у нас в стране котлярского диалекта в научный оборот. Следующая замечательная публикация Романа Степановича Деметера (в соавторстве с братом Петром Степановичем) сборник «Образцы фольклора цыган-кэлдэрарей» в московском издательстве «Наука» в 1981 году. Я совместно с д-ром В. М. Гацаком написал предисловие и часть комментариев к этому сборнику. Самым замечательным детищем творческой деятельности Романа Степановича был задуманный им ещё в середине 50-х годов прошлого века словарь его родного котлярского (кэлдэрарского) диалекта. Он собирая слова и выражения для этого словаря в течение более тридцати лет. Я был научным редактором этого словаря и составителем цыганско(котлярско)-английской части, помещённой в словаре. Работа была проделана колossalная. Мы с Романом Степановичем встречались и в редакции издательства, и у него дома, и у меня дома, обсуждали, спорили (иногда даже яростно), но всегда приходили к соглашению и к компромиссу. В январе 1989 года я заработал обширный инфаркт (да будет от вас подальше!), а Роман Степанович так и не увидел изданным свой словарь. Он скоропостижно скончался в начале лета 1989 года. Земля ему пухом! «Цыганско-русский словарь (кэлдэрарский диалект)» авторства Р. С. и П. С. Деметеров вышел из печати в московском издательстве «Русский язык» в 1990 году.

Но публиковаться на цыганскую тему я начал несколько раньше, а именно в 1959 году, написав статью по цыганам для Малой Советской Энциклопедии. Затем я опубликовался в английском «Журнале Общества по изучению цыган» об одном фольклорном цыганском произведении из Болгарии, которое любезно предоставил мне ныне покойный болгарско-цыганский общественный и культурный деятель Димитар Големанов. В 1969 году я написал обзорную статью по цыганам СССР для французского журнала «Цыганские студии» («Этюд цыган»), а затем в том же журнале в двух номерах опубликовал тексты с комментариями и переводами двух урсарских сказок. Публиковался и «дома», в СССР – в 1975 году статью «Цыганская литература и цыганский язык» в Краткой Литературной Энциклопедии, а в 1978 году

статью под тем же названием в Большой Советской Энциклопедии. В 1974 году после общения с цыганами-выходцами из Браславского района Белоруссии опубликовал в журнале «Беларуская лінгвістыка» статью «Цыганский диалект в белорусской языковой среде».

Публиковаться по цыганской тематике в СССР по разным надуманным идеологическим причинам было сложно, поэтому как-то старались обойти этот полуофициальный запрет. В 1979 году я стал членом Географического общества СССР (Московского филиала) и активно участвовал в работе Комиссии этнографии. В рамках заседаний этой комиссии в конце 70-х – начале 80-х читались доклады по малым народностям, в том числе и по цыганам. Мною был прочитан доклад «Некоторые проблемы этнографического изучения цыган СССР», который впоследствии был опубликован в сборнике «Малые и дисперсные группы Европейской части СССР», изданном Географическим обществом в 1985 году. Этот доклад до сих пор цитируется специалистами, хотя (абсолютно честно говоря) я многое бы в нём сейчас переделал.

В конце 60-х годов цыганская поэтесса Ольга Панкова передала мне через Т. В. Вентцель адрес знаменитейшего цыганского поэта, учёного-языковеда, переводчика Лексы Мануша (Александра Белугина). Мы начали интенсивно переписываться, он несколько раз бывал у меня в Москве. Осенью 1970 года Лекса, женившись на Наде Шнурковой, переехал в Москву и устроился на работу в Отдел языкоznания Фундаментальной библиотеки по общественным наукам АН СССР (позже – Институт научной информации по общественным наукам АН СССР, теперь ИНИОН РАН). Судьба распорядилась так, что и я с декабря 1970 года стал работать в этом учреждении, но в другом отделе. Позже к нам присоединилась жена Лексы Надя Белугина, которая владела венгерским, сербохорватским и болгарским и работала в Отделе социалистических стран. Таким образом, в недрах академического учреждения образовалась крепкая «цыганская община» – «Трио гаджен», как в шутку определила Надя. У нас с Лексой было много общих интересов, общие взгляды на многие явления цыганской истории и современной нам московской цыганской жизни. По некоторым вопросам мы, конечно, ожесточённо спорили, но всегда оставались в дружеских отношениях. Лекса и Надя всегда были лучшими друзьями моей семьи, и даже со смертью Лексы и переездом Нади в Ригу эта дружба остаётся крепкой и ничуть не стареет. Воспоминания о работе в такой компании в ИНИОН РАН до сих пор будят во мне самые тёплые, самые хорошие чувства. Я проработал в этом учреждении до января 1994 года. Лекса покинул всех нас на этом свете в 1997 году.

Ещё в конце 50-х годов прошлого века в среде московской цыганской интеллигенции наблюдалось своеобразное «брожение умов». Время от времени собирались у кого-нибудь на квартире, горячо обсуждали актуальные вопросы цыганской жизни, писали письма-петиции в

«компетентные органы» с просьбой обратить внимание, например, на низкий уровень цыганского образования, на отсутствие национальных школ, книгопечатания на цыганском языке и т. д. Конечно, никаких ответов на эти письма не приходило, в лучшем случае приходили примитивные, но «идеологически выверенные» отписки. Одним из самых активных инициаторов таких мероприятий был Н. Г. Саткевич, который в конце 60-х окончательно перебрался в Москву. К этой деятельности он привлек своего приятеля по педагогическому техникуму капитана в отставке смоленского цыгана Николая Александровича Меньшикова (имевшего в молодости игровое прозвище Раклячё) – участника ВОВ, танкиста, инвалида, пенсионера Министерства обороны. Несмотря на последствия страшного ранения (он горел в танке и носил платиновую пластину в черепе), Н. Меньшиков был по-юношески бодр и активен. Он в свою очередь привлек ещё одного фронтовика – Ивана Пасевича. Одно время к ним присоединились бывшие военные лётчики, участники ВОВ, двоюродные братья Фёдор и Александр Мурачковские. Во всяком случае, компания была представительная, вот только результаты её деятельности (Боже упаси, не по её вине!) были никакими. Я помню, в подобном мероприятии однажды принял участие и театр «Ромэн». Весной или осенью 1957 года парторг театра Иван Иванович Ром-Лебедев созвал так называемый «партизактив цыган Москвы и Московской области». Дело в том, что после знаменитого указа 1956 года о принудительной оседлости цыган из районов в театр «Ромэн» как в единственное «официальное» цыганское учреждение стали приходить письма с жалобами на самоуправство местных властей при устройстве цыган в колхозы и вообще на работу. Помню, особенно много писем было почему-то из Луганской области. Письма были написаны, что называется «кровью» и с чувством отчаяния от полной безысходности. Но что мог сделать «партизактив»? Правильно, принять очередное письмо-петицию в высшие органы государственной и партийной власти. Ну и нагорело потом И. И. Ром-Лебедеву за этот «партизактив» в Свердловском райкоме КПСС! «Это что ещё за партизактив в Москве по нациальному признаку?!»

Атмосфера стала немножко разрежаться только с началом перестройки и кардинально изменилась в лучшую сторону в конце 80-х годов. В то время я вместе с другими коллегами по Комиссии этнографии Географического общества стали работать (естественно, на общественных началах) в Комиссии по сохранению и возрождению культур малых народов Советского фонда культуры. Руководил этой комиссией член-корреспондент РАН Эдхям Рахимович Тенишев.

Как-то раз в разговоре с Георгием Степановичем Деметером я упомянул о том, что являюсь членом этой комиссии, и у моего собеседника сразу же

возник вопрос о том, нельзя ли организовать в Советском фонде культуры Секцию цыганской культуры. Я поговорил с Э. Р. Тенишевым, он посоветовал обратиться к заместителю председателя Советского фонда культуры Д. С. Лихачёва в Москве Георгу Мясникову. Г. С. Деметер побеседовал с Г. Мясниковым, и в сентябре 1989 года состоялось учредительное заседание Секции цыганской культуры, на котором с докладами выступили Г. С. Деметер, Лекса Мануш, Н. Г. Деметер, Л. Н. Черенков и В. П. Деметер. Постепенно Секция цыганской культуры Советского фонда культуры превратилась в Московское цыганское общество «Романо кхэр» во главе с Г. С. Деметером. Но на 4-ый конгресс Международного цыганского союза в Варшаве в апреле 1990 года мы ездили ещё как члены Секции цыганской культуры и оформлялась наша поездка соответствующими отделами Советского фонда культуры.

На упомянутом конгрессе некоторые из нашей, ещё советской делегации были избраны в руководящие органы и комиссии Международного цыганского союза. Был избран и я в комиссию языка и комиссию образования. К огромному моему сожалению, приглашения на заседания комиссий (возглавляемых одним человеком – мсье Марслем Куртиадом из Франции, прекрасно владеющим цыганским языком в его балканских разновидностях) я получал за два-три дня до начала заседаний, проходивших то в Монпелье на юге Франции, то в Брюсселе или ещё где-нибудь на бескрайних просторах Западной Европы. Естественно, прибыть на эти заседания я при всём своём огромном желании не мог (о финансовой стороне таких европейских путешествий я умолчу). Поэтому силою обстоятельств моё членство в упомянутых комиссиях прекратилось. Кроме того, мне активно не нравилась концепция господина Куртиада о постепенной замене нормальных живых цыганских диалектов наддиалектной формой, базирующейся почему-то преимущественно на балканских цыганских диалектах. Мсье Куртиад создал искусственный цыганский язык, безукоризненный с формально-языковедческой точки зрения, но абсолютно чуждый цыганам. Мсье Куртиад страшно активен в Европе, написал массу учебников этого нового цыганского языка для школ, разработал методику преподавания, но, по-моему, эта методика и принципы этих учебников применяются только в Румынии последователем М. Куртиада Георге Сарэу. Усилия не прошли даром, и живой сочный язык румынских цыган в устах некоторых цыганских студентов из Румынии превратился в разновидность «воляпюка». Вместе с тем Совет Европы и другие общеевропейские органы тратят огромные деньги на эту деятельность, которая осуществляется совершенно безнаказанно на фоне абсолютного невежества соответствующих органов в цыганской тематике и поисков «удобных» экспертов.

Знакомство со многими деятелями т.н. международного цыганского движения очень разочаровало меня, потому что я увидел, с одной стороны неопредолимое желание получить выгоду (прежде всего, материальную) от позиции вечного «профессионального цыгана», а с другой стороны – наивность, отсутствие прочных знаний и легковерие по отношению к разного рода псевдо-экспертам псевдо-цыганского происхождения, которые на этом фоне даже пытаются создать «новую цыганскую идеологию».

На том же 4-ом конгрессе в Варшаве я познакомился с чудесным человеком – цыганским языковедом, собирателем цыганского фольклора Фридрихом Мозесом Хайншинком. «Коллекция Хайншина», содержащая записи более чем десяти тысяч песен, рассказов, сказок и других произведений, находится на хранении в Фонограммархиве Академии наук Австрии и доступна всем интересующимся. Я побывал в гостях у Мозеса в Вене первый раз в 1991 году. Он познакомил меня со многими европейскими цыгановедами, и я стал участвовать в национальных и международных научных мероприятиях по цыганской тематике, посетив за эти годы двенадцать стран Европы. В частности, я участвовал в большинстве международных конференций по цыганской лингвистике, организуемых соответствующими университетскими центрами в Граце (Австрия) и в Манчестере (Великобритания), где выступал с докладами по цыганской диалектологии в России. В 2008 году вёл в Киеве заседания филолого-педагогической секции научно-практической международной конференции «Ромы Украины: из прошлого в будущее», где прочитал доклад «Цыганская диалектология в Украине». Участвовал также в качестве преподавателя по цыганской диалектологии в различных летних школах в Швеции, Польше и Австрии.

Я начал регулярную трудовую деятельность в 1957 году – работал переплётчиком и линотипистом в типографии, чертёжником в проектной конторе, затем решил использовать некоторые знания языков и работал редактором в библиотеках, в частности, в Библиотеке иностранной литературы. В 1970 году кончил заочное отделение исторического факультета МГУ. С 1970 по 1994 год, как я уже писал, работал в Институте научной информации по общественным наукам РАН, откуда ушёл на преподавательскую работу в школу – преподавал цыганский язык в субботне-воскресной цыганской группе Учебно-воспитательного комбината № 1650 г. Москвы, а оттуда вместе с группой (фактически это был весь коллектив детского ансамбля «Гилори» под руководством В. П. Деметера) перешёл в центр творчества детей и молодёжи «Сокол». В 1996 году мне предложили работу в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва – научную работу по описанию, анализу и сохранению цыганской традиционной культуры. Конечно же, я с радостью

согласился и работаю старшим научным сотрудником Сектора живой традиционной культуры упомянутого института по сей день, представляя его на международных научных конференциях по цыгановедению. Всего мною было опубликовано свыше восьмидесяти научных работ, в том числе несколько в моём институте.

Но итогом всей моей деятельности на поприще цыгановедения стала книга «Рома, иначе известные как джипсиз, хитанос, йифти, циган, цигань, чингене, цигойнер, боэмъен, трэвеллерз, фаренде и т. д. Том 1. История, язык и группы. Том 2. Традиции и тексты». Книга написана на английском языке совместно с моим швейцарским коллегой Штефаном Ледерихом, который обеспечил качественный английский и важные материалы по истории Западной Европы. Кроме того, господин Ш.Ледерих, доктор математических наук, обладает завидным логическим мышлением. Именно он облёк некоторые наши выводы в хорошо аргументированную форму. Книга вышла в Швейцарии, в городе Базель в известном издательстве «Швабе» в 2004 году.

Мне кажется, пора заканчивать моё повествование. Хотелось рассказать как можно больше и как можно подробнее о том, что пережил и что видел, а также исправить неверные сведения и суждения о событиях, свидетелем, а иногда и участником которых я был. Но невозможно объять необъятное – так что, не судите меня слишком строго.

Лев Николаевич Черенков / Москва / 2010

Times and People¹

O vachîti nakhel ... Vaj, o vachîti!
(Time flies ... oh time!)

SULEYMAN SEIDOVIC OGLU

Artist, dancer, singer; spring or autumn 1990

I was born in the West Siberian district (later the Novosibirsk district and now the Kemerovo Oblast) in 1936 into the family of a mining engineer.

My father, Nikolay Vasilyevič Čerenkov, had his roots in a Russian peasant family from the village of Baribino in the Khatun district of the Moscow governorate. His father – my grandfather – came to Moscow at the age of seven in order to begin his apprenticeship to become a baker. He married a peasant girl from the neighbouring village quite early. They had three sons – Nikolay, Piotr and Aleksey – all born at my paternal great-grandmother's house in Baribino. The family lived in Moscow on the poverty line. The grandfather nevertheless sent all the children to school, despite remaining illiterate his entire life.

During the First World War my grandfather served in a motorised company which was stationed in Moscow, before joining a medical unit during the civil war where he developed severe rheumatoid arthritis. He could therefore no longer work as a master baker, but would spend the rest of his working life at the cloakroom of the Maly theatre. At the theatre he developed a love for Russian classics through the works of A. E. Ostrovski. He especially liked works by Leskov and Boborykin, wherein the latter described the old Moscow that my grandfather had known. He spent the remainder of his life in Moscow, even during the war. Although his legs had been twisted by rheumatism, he would stamp out incendiary devices that had landed on the roof of our wooden house at 2 Ščemilovskij Street. He died in 1966. All his children have also passed. The last to survive was the eldest brother, Nikolay, my father, who passed in 1981.

Even today the figure of my paternal grandfather stands before me as a symbol of the unfortunately long-gone, straightforward Moscow. It was especially thanks to him that I learned the national symbols of urban culture, through Russian traditional songs. My grandfather had a pretty good voice and a good ear for music. I'm old now, and perhaps I'm sentimental because of this, but the tears flow when I hear *Sredi doliny rovnyja* 'In the Quiet Valley' or *Už ty sad, ty moj sad* 'Oh Garden,

¹ Translation into English by Ulla Katrin Briscoe.

My Garden'. My grandfather Vasilij Andreyevič appears in my mind's eye with all his warmth.

My father, Nikolay Vasilyevič Čerenkov, could only achieve an advanced education thanks to social changes, i.e. thanks to the development of the Soviet Union as a power. Clearly it was also thanks to these changes that he could marry my mother.

My mother, Olga Alekseyevna Muzovskaya, was born into a doctor's family. Her grandfather – my great-grandfather – Aleksandr Rutkovski, a Rom from the Lomża area of northwestern Poland, settled in the Lozdeisk district in the Suwałki governorate in southwestern Lithuania in the 1870s. There he bought a guesthouse and married a widow from a local Lithuanian Romani family, the Tomaševičs. He changed the family name to Muzovski for reasons I do not know. My great-grandfather was a rich man; he was considered one of the elite in the area. He tried hard to fit into the local Polish-Lithuanian aristocracy. This is why he tried to provide all of his children with a first-class education. The boys (my grandfather and his brothers) went to a private high school in Vilna, their sister was educated at home by a Roman Catholic cleric.

My grandfather, Aleksey Aleksandrovic Muzovski, had been fascinated by medicine from his early childhood, clearly he had been influenced by a good friend of his father, a feldsher. One must remember that my grandfather was a Rom and so, even if only theoretically, was a member of the Polish-Lithuanian Romani community. Even today, the system of ritual uncleanness, *magiripén*, still exists. Medical careers were therefore completely taboo for the local Roma. By the way, a career as a doctor is still considered, *magirido*, 'unclean' by the Roma living in the plains of Poland. Compared to this, Lithuania has shown some limited progress. However, this does not apply to specialist fields such as gynaecology or proctology.

This is why my grandfather studied so far from home, at the medical faculty of the University of Kazan. News of his fascination for medicine somehow made its way back to his home and so he was automatically excluded from the Romani community, even though there had been no official decision to do so by the *Romano Sêndo* – a key organisation for Roma self-administration. Regardless, my grandfather was excluded from the community because of this, in my opinion, senseless rule. I do not know who was hurt more by this. Thank God the Russian Roma didn't have this nonsense. One need only think of Vasilij Matusevič, the famous surgeon.

My grandfather was thus forced to look for a spouse outside his community, in a place where no one knew of his "crime". He found a wife among the German "gypsies" who had settled in the city of Gumbinnen (today's Gusev) in eastern Prussia. She came from the Reinhard-Fabian family and they had two children, a son named Vladimir, my uncle, and a daughter called Olga, my mother.

At the start of the First World War my grandfather was drafted as an officer in the medical corps. In 1915, as German troops approached Vilna, the officers' families were evacuated deeper into Russia. My grandfather's family were taken to Kazan,

which he knew well. In 1917, after the dissolution of the front, my grandfather rejoined the family. However, revolutionary events then began and soon reached Kazan. The decision was made to go farther east, and the family finally settled in Omsk. My grandfather tried to find any kind of work in order to feed the family. He did not want to tie himself politically, so as not to make himself susceptible to the political vicissitudes.

The small town of Kokčetav (in today's East Kazakhstan) had a vacancy for a doctor, and so my grandfather lived there from 1919 until his death at the age of 86 in 1969. 1919 was also the year in which his wife, my grandmother Mariya Mikhailovna Reinhard-Fabian, passed away. At the time, my mother was four and a quarter and my uncle Volodya five and a half. After my grandmother's death the upbringing and sustenance of the children, as well as the housekeeping, fell to my aunt Anyuta, the former childminder, who had come to Kazan with the family. For my mother, she was her second mother until her death in 2004.

My grandfather associated himself with the local Poles who had settled in Kazakhstan because of the martial and revolutionary conflicts. He became close friends with the owner of the local steam mill, Mr. Ezdovski. According to my mother's memory, they rather frequently – why deny it? – liked a glass or two of the traditional Russian and Polish beverage. The friendship with the local Poles – my father knew the language perfectly and was after all from this country – proved to have very negative effects on his destiny. He was arrested in the 1930s as a "Polish spy".

My grandfather not only worked in the hospital, but was also called to see patients in the areas where Kazakhs lived. He picked up the Kazakh language there, the people liked him and called him *Doktur Mozop*.

There were evidently no Roma there; at least my grandfather could not remember any. The languages spoken at home (after my grandmother's death) were Polish and Russian, yet when the children went to school, Russian was the dominant language.

In January 1938 my grandfather was arrested by the local NKVD and in April 1939 was sentenced to ten years at a re-education labour camp according to Article 58/10, participation in counter-revolutionary propaganda, and Article 58/11, membership in counter-revolutionary organisations according to the criminal legal code of the RSFSR (in Kazakhstan). He was not released from the Gulag until 1946.

In 1946 my mother and I went from Moscow (where we had moved from Siberia in 1937) to Kokčetav to see my grandfather whom I had not seen before. He had seen me, however, when he passed through en route to Moscow in 1937. He made a deep impression on me: tall, yet not ponderous, a long, thick moustache which had started to turn grey, and a friendly bass voice. Moreover, he was a fantastic singer, especially of "national songs". All acquaintances, all neighbours held him in exceptionally high regard, independent of their national affiliation. And there was a plethora of

nationalities in Kazakhstan after the war: There were Russians, Kazakhs, Ukrainians, Tartars and expelled Poles, Germans, Greeks, Bulgarians, Chechens and Ingush. I do not remember any Roma being in Kokchetav at the time, however.

The following year, in 1947, I went to Kokchetav with my mother for the second time, and this time we stayed for three months, for the entire summer. My grandfather had a rather large wooden house which had not been confiscated because it was registered as belonging to a nurse. There was plenty of space to sleep, but I spent the nights with him in his chamber. That's where he told me lots of different stories deep into the night, sang songs and taught me languages (with most time spent on the latter). Thus my Polish was rather good by the time I was only 11, and I could also communicate in the language of the Lithuanian Roma. One example: In my senior years at school I tried using these languages when cheating during class. My school friend Yura Mirskiy, who is a year younger than me, today still remembers some of this Romani dialect. I state this specifically because some of my Romani acquaintances, who are considerably younger than me and who therefore came to Moscow much later, claim that I learned Romani at an older age from their relatives' family. I would like to particularly stress that back then I did not feel part of the Romani community at all. I have never seen myself as a fully-fledged Rom and even today, at a – to put it mildly – ripe old age do not consider myself one. In the ethnographical sense I, by the way, do not see myself as "fully Russian" or "fully Polish" either, I can also say without any false modesty that I have no bad command of the Polish and Russian languages and that I am thoroughly familiar with the classical culture of both countries. I am a human being who has grown up in the Soviet Union according to Russian-humanist international tradition and respect for all human cultures. I do not tolerate narrow-minded nationalism, which sometimes tries to present itself as patriotism, in whatever expressions: "Well, brother, this is not our opinion.", or *Ada nanê romanêš, djaké kérén gadže!* "This is not the way of the Roma, this is only done by non-Roma!", or "Do it like a Pole, and not like a Muscovite!". Loving your own culture is fine, yet there is nothing more repulsive for me than unrestrained self-admiration: "Oh, only we can...", "Oh, nowhere else in the world will you find...", and so on.

There are hardly any of my grandfather's relatives left in Russia and Lithuania, because they all went west to Poland right after the war. Yet it is interesting that the head of the organisation of Lithuanian gypsies, *Romani Jagori*, Yosif Tyčina, o Vaničja, claimed to be somehow related to me, but this strikes me as strange because he is not from Lithuania, but from the Ukrainian region of Volyn. My colleague, the Lithuanian expert for Roma, Vilgelmas Beleckas, helped me find out that all Romani families from the eastern Prussian town of Gumbinnen (today's Gusev) were deported to a concentration camp close to the Polish town of Augustów in 1943 or 1944. No one returned from there. This is why there are no more relatives from my grandmother's side of the family left.

During my later childhood and early youth I was not interested in Roma at all and did not pay any attention to them. To be more concise: They were simply irrelevant to me. However, this changed in 1951 when I was on holiday with my mother in Balki in the region of Vinnitsa in Ukraine. A main road ran close to our house on which travelling Roma from nearby Bessarabia could be seen. I had never seen such photogenic “movie gypsies” before or since. The horse and carts sometimes stopped close to our houses as the *Sil’po* was nearby and some got off their carts to go into a shop or simply to stretch and move. I remember one day in July, when a young Rom my age, 15 to 16, got off one of the carts that had stopped. He had black, curly hair underneath his light green cap, was wearing a red, almost new shirt, was barefoot and had a cigarette butt in the corner of his mouth. He casually sat down in the grass and was immediately surrounded by the local boys, among whom I had already made several friends. The young Rom had difficulties expressing himself in Russian and Ukrainian and so I decided to show my skills. Of course his dialect varied strongly from the one I knew, but somehow we still managed to understand each other. The country boys stood flabbergasted and my conversational partner was also astonished to see this urbane, adolescent, anthropologically undefinable guy, speak Romani, even if a slightly different variety.

At around this time I slowly but surely started to develop an interest in Roma and their culture, which I – apart from my language skills – did not or hardly knew. In 1951/52 I watched some performances at the Romén Theatre. In the winter of 1953 I registered at the reading room of the Lenin Library and started reading books about the history and ethnography of the Roma – even though there were only very few. After finishing school in 1953 I decided to join the Department of Indology at the Institute of Oriental Studies in Moscow, which was in Sokol’niki at 13A Rostonskij Street. Unfortunately, there were no more vacancies at the Department of Indology, and so I signed up for Turkology for that semester. However, in 1954 the Institute of Oriental Studies was shut down, allegedly for economic reasons, and the undergraduate students were assigned to other universities. I ended up at the Department of English Studies at the Moscow State Pedagogical Institute for external training, which was coincidentally located at the same address on Rostonskij Street.

Only one tram stop from my department were the legendary “gypsy barracks” *Šovto Vérsta ‘Sixth Verst’*, which had been set up at the beginning of the 1930s mainly for the workers at the *Cygpisčeprom* food factory, who were Roma from the Smolensk region. I became friends with the barracks’ residents who were from various social strata: unskilled workers, two brothers who were professional boxers, artists performing as part of Romani ensembles and the Romén Theatre, scientists such as Mikhail Vasil’kov, Candidate of Sciences, chauffeurs, logistics workers, cleaners, etc. The unique atmosphere in these barracks was described pointedly by N. G. Belugina in *O Lekse i Nadežde*, hence I do not need to repeat it. The barracks were apparently set alight on two sides in 1956 – at least this was the conclusion of the “responsible

executive bodies” at the time – and burnt down entirely. The residents were subsequently allocated flats in different parts of Moscow.

According to my observations, most Roma lived in northeastern Moscow: Ruska Roma also lived behind today’s Exhibition of Achievements of National Economy (VDNKh) site on Izvilištaja Street and opposite it in shack-like houses on the well-known Mazutka quarter, which is now Pavel Korčagin Street.

At the entrance of Ostankino was the home of the Kalderash family Konstantinov who lived there harmoniously. In the summer of 1954 I met Ljoša – *Ljoša šav le Savkasko* – and soon began to visit the family. They were the first to teach me the Kalderash dialect and introduced me to their traditional way of life.

Until the autumn of 1956, travelling Roma had often settled in tents, without horses, on a meadow alongside a railway junction leading up to the edge of a small forest behind the agricultural access yard next to today’s Severyanin station of the Moscow train to Yaroslavl’. I remember that the dean’s office of the department had temporarily sent me to the vegetable supply building in Severyanin on September 1, 1954. Instead of labouring to supply the workers of Moscow with high-quality fruit and vegetables, I spent the entire day in the tents of the Crimean Roma, who were just returning from exile in central Asia and the northern Caucasus. Among them I heard the welcome songs of Crimean Tartars, stories about life in the Crimea before the war and in the northern Caucasus, and I even helped an ill woman write her name in Arabic script on the edge of a “holy” text which was sown into an amulet, an *amajlés*. I had studied Urdu at the department and knew the Arabic alphabet. This was supposed to aid her convalescence. It was rather interesting that the “holy” text had been written on a page torn from a pre-revolutionary Tartar accounting book in Arabic writing. Yet I did not tell the hospitable housewife and her bitterly poor husband in the torn uniform jacket held together by a length of rope.

This was my first encounter with nomadic Crimean Roma from the Kirlides group. I had previously met the circus artist Ėmirveli (Miša) Mamutov, a highly intelligent and educated Crimean Rom who could not only write Russian, but also Crimean Tartar – in Arabic script, by the way.

And now back to the aforementioned circus. When I once walked past the “old” circus building, I noticed a group of very well-dressed Roma. I walked up to them and started a conversation on a neutral topic under some pretext, during which I suddenly switched to Romani. This is how I met Piotr Stepanovič Demeter (whose music was played during the circus performances), as well as Mikhail M. Šiškov, “Uncle Paša” Savelyev and other members of the circus company at the time.

My friendship with the Demeter family began in 1954, became closer in 1956/57 through Vladislav Petrovič Demeter and lasted until Slava’s death; *requiescat in pace!* There would be so much and such detail to write about this, if God grants me the necessary repose.

In 1954 and 1955 I began attending the Romén Theatre regularly and got to know many of its actors, especially the younger ones. My visits to the theatre again became more frequent after my military service which lasted about one year until I was discharged because of my eyes. At the theatre, the actor and dramatoge Nikolay Georgiyevič Narožnyi, may he long be remembered, particularly attracted my attention. We talked often. I was a guest at his house on Gruzinskaya Street. Without any false modesty I can say that N. G. Narožnyj used some of the details from my stories about my time among the Roma, especially among the “travellers”, in one of his pieces, *Cygan Mikhaylo*. The news of his pointless death during a routine procedure to remove his appendix in the mid-1960s hit me deep in my heart.

I met the theatre’s impresario Ivan Ivanovič Rom-Lebedev several times. I was a guest in his old flat at Gorki Street (Tverskaya) and at his last home on Gercen Street (Bol’saya Nikitskaya).

In order to continue my report about my acquaintances with distinguished personalities from Romani culture, it is necessary to return to the *Šovto Vérsta* barracks. During one of my visits to a good acquaintance, Miša Vasil’kov, I met a commanding, dark-skinned Rom of about 35 years. I was introduced to him. His name was Nikolay Georgiyevič Satkevič. He was a well-known poet and representative of public life, who had managed to study at the Moscow Vocational Pedagogical School under Nikolay Aleksandrovič Pankov before the war. He had started his literary career with the publication of Romani verses in the Romano Almanac in 1934. During his brief stay in Moscow – he was from the Bryansk region and lived in Irkutsk with his family – he decided to introduce me to the greats of Romani culture of the pre-war period, one could say their founding fathers. The first one he introduced me to was the legendary Aleksandr Vyačeslavovič Germano.

Aleksandr Vyačeslavovič, who – unbeknownst to him at the time – was terminally ill, lived in two adjacent rooms in a shared rental flat in a pre-revolutionary apartment building on Stolešnikov Street with his wife Mariya Vardaško. Despite it being a typical communally shared flat, the rooms – one of which served as Aleksandr Vyačeslavovič’s study – were well looked after and clean. Maybe this was because Mariya Vardaško was Czech, even if a Russian Czech. I visited A. V. Germano until just before his death in April 1955. He told me a lot about the origins of Romani literature in the USSR, about individual personalities and the revival of Romani culture in the 1920s and 30s. He often gave me the manuscripts of his as yet or never-to-be published works.

I was lucky to get to know another living classic of Soviet Romani literature through A. V. Germano: the poet and translator Nikolay Aleksandrovič Pankov and his family, his wife Yanina Stefanovna and their daughters Natalya and Lyubov. They lived in a small room in an old wooden house without any creature comforts behind the Ilyich Gate. It later turned out that the chemist Natalya Nikolayevna Pankova

worked at the same research institute, and even under his directorship, as one of my close school friends. Unfortunately, she passed away rather early, in 1991. Lyubov Nikolayevna, Candidate of Biological Sciences, a well-known psychologist, worked in research institutes and taught at Moscow universities. She has now long since retired.

Nikolay Aleksandrovič and I discussed the many varied problems of Romani and the education of Romani children and adolescents. He was an honorary member of the world-famous English organisation for Romani research, the *Gypsy Lore Society*, and received their publications. I often sat with him and we studied the essays in the publication. Nikolay Aleksandrovič did not speak any languages other than Russian and Romani, but his wife, originally Polish, knew both Russian and the Romani she had learned in her husband's family in addition to her excellent command of her Polish mother tongue.

Nikolay Aleksandrovič died in 1959. At his funeral I met Tatyana Vladimirovna Vencel', about whom I had already heard a lot from the artists of the pre-revolutionary Romani cultural movement. She contributed to the composition of the first Romani textbooks for Romani schools. From 1959 until her death in 1988 we successfully cooperated and compiled several joint works about Romani, such as the extensive study "The Dialects of the Gypsy Language" for the volume *Jazyki Azii i Afriki* (The Languages of Asia and Africa). To this day this work attracts great interest from researchers in Russia and abroad. Tatyana Vladimirovna was a highly educated linguist, but focused more on theory. She did not speak any Romani, let alone its dialects – this was my speciality.

At the beginning of the second half of the 1950s I decided to dedicate myself to the history of the Roma, their ethnography and linguistics, especially since the libraries of our capital, Moscow, (the Lenin Library, the Historical Library, the Library of Foreign Languages) stock literature on these topics – even if separately and not altogether systematically. In order to be able to use this literature, however, one has to (first) be familiar with some foreign languages. I would like to first say that the study and the description of various Romani dialects – and there are plenty – is entirely impossible without an, even if only passing, acquaintanceship with the language of the population among whom the speakers of the individual dialects live or have lived previously. One concrete example: Without knowledge of the Romanian language one cannot understand many features of the Kalderash dialects. Without knowledge of Hungarian one cannot understand or assess the Lovara dialects, without Crimean Tartar not the Romani used by the Crimean Roma, etc. I sometimes heard Russian Roma complain about their language containing many Russian words, while other dialects contained "pure" Romani words. This is not at all true. Other dialects contain many words from different languages instead of just the local loanwords. Among the Russian Roma, the word for 'life' *džiipen* is of Indian origin, among the Kalderash and Lovara, however, *trajo* of Romanian origin is used. Among the Russian Roma,

‘I praise’ is expressed as *šarava*, among the Kalderash *luvudiv* of Romanian origin is used, and the Crimean Roma use the Tartar or Nogai *maxtadijav*. When one of the authors of the Kalderash dialect dictionary, which was published in Moscow in 1990, Roman Stepanovič Demeter, first came to Moldova, he returned deeply impressed and said to me: “Listen! I understood every fourth word they said!”. And this is no surprise: The Kalderash spread across Europe and America from Romania in the 19th century, and their dialect is 40% Romanian words.

In 1967 R. S. Demeter and I as co-author published the article “East-Roman Influence on the Gypsy Language (Kalderash Dialect)” in the Moldavian academic publication *Limbă și literatura moldovenească (Moldovan Language and Literature)*. This was the first attempt in our country to introduce the Kalderash dialect to the scientific world. R. S. Demeter’s next remarkable publication (co-authored by brother Peter Stepanovič) is the anthology “Samples of Kalderash Gypsy Folklore” published by *Nauka* in 1981. Together with V. M. Gacak I wrote the foreword and some of the comments to this anthology. The most noteworthy work of Roman Stepanovič’s constructive output is the dictionary of his mother tongue, the Kalderash dialect, which he had already planned in the 1950s. For this dictionary he collected words and expressions for more than 30 years. I was the scientific editor of this dictionary and the author of the English part. It was a magnificent piece of work. R. Stepanovič and I met in the editorial office, at his house, at mine, we discussed and argued – sometimes heatedly – but always agreed and compromised. In January 1989 I suffered a severe heart attack due to exhaustion – may this never happen to you! – but R. Stepanovič did not even live to see the dictionary he published. He unexpectedly died in the early summer of 1989; may he rest in peace! The dictionary by R. S. und P. S. Demeter was published by the *Russkij jazyk* (Russian Language) publishing company in 1990.

My first publication on the topic of Roma dates back to 1959 when I wrote an article for the *Small Soviet Encyclopaedia*. Then I published an article about a folkloristic work from Bulgaria which had been kindly provided to me by the then high-profile creative Bulgarian Rom Dimitar Golemanov, who has since died, in the *Journal of the Gypsy Lore Society*. In 1969 I wrote a summary about the Soviet Roma for the French magazine *Etudes tsiganes*. This was followed by my publication of annotated and translated texts of two *Ursari* fairy tales in two subsequent issues of the magazine. “Back home” in the USSR I published the article “Roma and Romani Literature” in *Kratkaja Literaturnaja Enciklopedija (Brief Encyclopaedia of Literature)* in 1975 and an article of the same name in *Bol'sjaja Sovetskaja Enciklopedija (Great Soviet Encyclopaedia)* in 1978. Four years earlier I had published an article entitled “Romani in the Belarusian Language Domain” in *Belaruskaja Lingvistyka* after getting in touch with Roma who had been resettled from the Braslaw area in Belarus.

Publishing about Roma in the USSR was complicated for strange ideological reasons. I tried to avoid this semi-official ban. In 1979 I became a member of the Geo-

graphical Society of the USSR in Moscow and actively participated in the work of the ethnographic commission. During the commission's meetings in the late 1970s and early 1980s, presentations about smaller groups of peoples, including Roma, were given. I held a lecture entitled "Some Issues in the Ethnographic Study of Roma in the USSR", which was then published in the anthology *Minor and Scattered Peoples of the European Part of the USSR* and edited by the Geographical Society in 1985. To this day, experts still refer to this text although, to be honest, I would now change much of it.

In the late 1960s the Romani poet Olga Pankova via Tatyana V. Ventsel' passed me the address of the very well-known Romani poet, linguist and translator Leksa Manuš (Alexander Belugin). We began a rather intense exchange of letters, he visited me in Moscow several times. After his marriage to Nadya Šnurkova in 1970, Leksa moved to Moscow and found work at the linguistics department of the Main Library for Social Sciences of the Academy of Sciences of the USSR, now INION, the Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences. As fate had it, I also started to work at this institution from December 1970, yet at a different department. Later, Leksa's wife, Nadya Belugina, joined us. She knew Hungarian, Serbian and Bulgarian and worked in the Department of Socialist Countries. This is how a Romani association was formed within an academic institution, *Trio Gadžen*, as Nadya jokingly referred to it. Leksa and I had many joint interests, joint views on the history of the Roma and their life in Moscow at the time. We of course discussed some issues acrimoniously, yet we always stayed friends. Leksa and Nadya always were my family's best friends. This friendship remained deep and did not fade even after Leksa's death and Nadya's move to Riga. The memories of our work at the INION of the Russian Academy of Sciences evoke the best and warmest feelings in me to this day. I worked at this institution until 1994. Leksa passed from this world in 1997.

In the late 1950s, one could already notice strange "aggravated feelings" among the Moscow Romani intelligentsia. From time to time there were meetings at someone's flat, discussions on pressing, current issues of Romani life, petitions to "competent bodies" were written with the desire to direct attention to, for instance, the low educational attainments of Roma, the lack of national schools, or the printing and publishing of books in Romani. Of course these letters remained unanswered, at best simple yet "ideologically standardised" letters of rejection. One of the most active initiators of such measures was N. G. Satkevič, who had permanently moved to Moscow in the late 1960s. For this role he won his friend from the Educational Technical School and retired captain, the Rom Nikolay Aleksandrovič Men'sikov from Smolensk, who in his youth had the nickname *Rakljačo*. He had been a participant in the Great Patriotic War as a tank soldier, invalided, and made a pensioner of the Ministry of Defence. Despite the consequences of being horrifically wounded – he had been nearly burned in a tank and had a platinum plate implanted in his skull – N. Men'sikov was youthfully robust and active. He managed to win another combatant, Ivan Pasevič, over

to his cause. For some time, he was also joined by the former combat pilots and participants in the Great Patriotic War, the cousins Fyodor und Aleksandr Muračkovski. Although this group was representative, their work did not – through no fault of their own – yield any results. I remember that the Romén Theatre also took part in one of their campaigns. In the spring and autumn of 1957, the theatre's organiser, Ivan Ivanovič Rom-Lebedev called a meeting of *Partkhozaktiv*, a “party and economic group” of Roma in Moscow and the surrounding area as a party member. After the 1956 decree regarding the forced settlement of Roma, the Romén Theatre was the only Romani institution to receive complaints from different regions about the arbitrary nature of government agencies regarding the movement of Roma in kolkhozes and other places of work. The letters were written from the heart and with a feeling of utter despair about their hopelessness. Yet what was the *Partkhozaktiv* to do? True, it could write the usual petition to the highest state bodies and the party. Well, and then I. I. Rom-Lebedev was given a severe reprimand for this *Partkhozaktiv* by the CPSU's regional committee in Sverdlovsk: “According to national criteria, what type of *Partkhozaktiv* is this?”

With the beginning of *Perestroika* the atmosphere started to relax, and by the late 1980s had significantly improved. At this time, I began work in the Commission for the Preservation and Revitalisation of the Culture of Minority Peoples of the Soviet Culture Fund together with other members of the Ethnographic Commission of the Geographical Society – of course on a collaborative basis. The commission was led by the corresponding member of the Russian Academy of the Sciences, Edkhjam Rachimovič Tenišev. In a conversation with Georgy Stepanovič Demeter I once mentioned that I was a member of this commission, and my conversational partner immediately asked if there was any chance of establishing a division on Romani culture in the Soviet Culture Fund. I spoke to E. R. Tenišev and he suggested I should talk to the deputy chair of the D. S. Likhačov Culture Fund in Moscow, Georg Myasnikov. G. S. Demeter got in touch with G. Myasnikov and in September 1989 the first session of the Romani Culture division took place, during which G. S. Demeter, Leksa Manuš, N. G. Demeter, L. N. Čerenkov and V. P. Demeter held talks. Gradually the Romani Culture division of the Soviet Culture Fund developed into the *Romano Kher Romani* organisation with G. S. Demeter as its head. Our participation in the 4th Congress of the International Romani Union in Warsaw in April 1990 was as members of the Romani Culture division, and our travel arrangements were organised by the responsible departments of the Soviet Culture Fund.

At the abovementioned congress, some of our – still Soviet – delegates were elected to leading organs and in commissions of the International Romani Union. I became a member of the Linguistics and Education Commission. Regrettably I only ever received the invitations to the committee meetings (led by Marcel Courtiade from France who knows Romani in its Balkan dialects fantastically well) two to

three days prior to the beginning of the sessions which took place in Montpellier in southern France, Brussels or elsewhere in the distant lands of Western Europe. I was, of course, unable to attend, although I badly wanted to. I would rather not say anything about the financial aspect of such trips to Europe. These circumstances were one of the reasons why my membership of the abovementioned commission ended. Besides, I did not approve of M. Courtiade's concept of successively replacing the vital dialects with a "superior" form of Romani, which for some reason was to be based primarily on the Balkan dialects. M. Courtiade created an artificial Romani, impeccable from a formal point of view, yet completely alien to the Roma. M. Courtiade is terribly active across Europe and has written a number of textbooks of this new Romani for schools. He has developed a teaching method, yet this method and the principles of these textbooks are only put to use in Romania by his supporter Gheorghe Sarău. M. Courtiade's attempts were not in vain, as the lively, expressive dialects of Romanian Roma turned into a type of *Volapük* in the mouths of some Romani students from Romania. At the same time, the Council of Europe and other European organisations spend large financial resources on these activities which occur entirely unpunished (i.e. without any legal consequences) against the background of absolute ignorance of the subject on behalf of the responsible bodies and the search for "suitable" experts.

Meeting many of the officials of the so-called Romani movement was very disappointing to me, as on the one hand I had the insurmountable wish to gain an – especially materialistic – advantage from the position of the endlessly "professional Rom", while on the other hand I witnessed the naivety, the lack of solid knowledge and the gullibility towards various pseudo-experts of pseudo-Romani origin, who tried to establish a new Romani ideology against this backdrop.

At this 4th Congress in Warsaw I also met a wonderful man, the linguist and collector Friedrich Mozes Heinschink. The "Heinschink Collection", which contains the recordings of more than 10,000 songs, stories, tales and other Romani works, is preserved at the Institute for Audiovisual Research and Documentation (Phonogrammarchiv) of the Austrian Academy of Sciences and is accessible to all those interested. I first visited Mozes in Vienna in May 1991. He introduced me to many European Romani researchers and I began to participate in national and international academic events on the topic. Over the course of the following years I visited twelve European countries. I took part in a large number of international conferences on Romani linguistics organised by the academic centres in Graz (Austria) and Manchester (UK), where I held lectures on the Russian Romani dialects. In 2008 I headed conferences of the philological pedagogical division of the applied scientific international conference "Roma from Ukraine: from the Past into the Future", where I also held a lecture on the Romani dialects in Ukraine. Furthermore, I taught Romani at various summer courses in Sweden, Poland and Austria.

My regular working life began in 1957. I worked as a bookbinder and typesetter in a print shop, then as a draftsman at a project agency. I then decided to make use of my language skills and worked as an editor in libraries, *inter alia* at the All-Russia State Library for Foreign Literature. In 1970 I completed my distance learning degree from the Faculty of History of the Moscow State University. From 1970 until 1994 I worked, as I have mentioned above, at the Institute of Scientific Information on Social Sciences at the Russian Academy of the Sciences. At the weekends I taught Romani to a group of young Roma at educational establishment no. 1650 in the city of Moscow. From there I transferred, including the whole group which essentially comprised the entire collective of the Gilori children's ensemble under the direction of V. P. Demeter, to the Centre for Children and Youth *Sokol*. In 1996 I was offered a research post at the Lichačov Research Institute for Cultural and Natural Heritage to describe, analyse and preserve the traditional Romani culture. I, of course, gladly accepted and have been working as a senior member of staff in the institute's division for living traditional culture until this day, representing the institute at international academic conferences on Romani research. I have published more than 80 academic papers, including several at my institute.

The distillation of my entire activities in the field of Romani research is the work *The Rroma. Otherwise known as Gypsies, Gitanos, Γύψοι, Tigani, Çingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende, etc. Vol.1: History, Language and Groups. Vol 2: Traditions and Texts*. It was written in English, in cooperation with my Swiss colleague Stéphane Laederich, who was responsible for the best English and essential materials on the history of the Roma in western Europe. In addition, S. Laederich, who holds a PhD in mathematics, possesses enviable logical reasoning. He thus rendered my conclusions into a strong argument. The book was published in Switzerland in 2004, in Basel by the well-known publisher Schwabe.

It seems that it is time to close my account. I wanted to tell you as much as possible and in as much detail as possible about that which I have experienced and seen, and also put the record straight on incorrect knowledge and incorrect opinions on events whose witness and sometimes even participant I have been. Yet it is impossible to conceive the inconceivable, so please do not judge me too harshly!

Lev Čerenkov / Moscow / 2010

Zeiten und Leute¹

*O vachîti nakhel ... Vaj, o vachîti!
(Die Zeit vergeht ... Oh, die Zeit!)*

SULEYMAN SEIDOVIC oglu

Künstler, Tänzer, Sänger, Herbst oder Frühling 1990

Ich wurde im Westsibirischen Kreis (später Novosibirischer Kreis, jetzt Kemerowo Oblast) im Jahre 1936 in die Familie eines Bergbauingenieurs geboren.

Mein Vater, Nikolaj Vasil'evič Čerenkov, stammte aus einer Familie russischer Bauern aus dem Dorf Baribino im Amtsbezirk Khatun des Gouvernements Moskau. Sein Vater – also mein Großvater – kam im Alter von sieben Jahren nach Moskau zur Ausbildung als Bäcker. Ziemlich früh heiratete er ein Bauernmädchen aus dem Nachbardorf. Sie bekamen drei Söhne: Nikolaj, Pjotr und Aleksej, wobei die Großmutter alle drei bei der Schwiegermutter in Baribino zur Welt brachte. Die Familie lebte in Moskau an der Armutsgrenze. Der Großvater schickte aber trotzdem alle Kinder zur Schule, obwohl er selber sein ganzes Leben lang Analphabet blieb.

Im Ersten Weltkrieg diente der Großvater in einer Automobilkompanie, die in Moskau stationiert war, während des Bürgerkriegs dann in einem Sanitätszug, wobei er sich eine sehr schwere rheumatische Arthritis zuzog. Als gelernter Bäcker konnte er deshalb nicht mehr arbeiten, sondern wurde für den Rest seines Arbeitslebens Garderobier beim Maly Theater, wo er durch die Werke von A. E. Ostrovskij eine große Vorliebe für die russische Klassik entwickelte. Besonders gefielen ihm die Stücke von Leskov und Boborykin, in denen letztgenannter das alte Moskau beschrieb, das dem Großvater vertraut war. Er blieb sein ganzes Leben lang in Moskau, auch während des Krieges. Mit seinen vom Rheumatismus verkrümmten Beinen löschte er Brandbomben auf dem Dach unseres Holzhauses in der Šemilovskij-Gasse Nr. 2. Er starb im Jahre 1966. Alle seine Kinder haben ebenfalls diese Welt verlassen. Der letzte, der übrigblieb, war der Älteste der Brüder, Nikolaj, mein Vater. Dieser ging 1981 von uns.

Bis heute steht mir die Gestalt meines Großvaters väterlicherseits als Symbol des leider längst vergangenen, schlichten Alt-Moskaus vor Augen. Besonders durch ihn lernte ich die nationale städtische Kultur kennen, mit der russischen Gesangsfolklore; der Großvater hatte keine schlechte Stimme und auch kein schlechtes musikalisches Gehör. Heute bin ich schon alt und wohl deshalb auch sentimental, so dass mir die Tränen kommen, wenn ich *Sredi doliny rovnyja* ‘Inmitten des ruhigen Tales’

1 Übersetzung ins Deutsche durch Krystyna Konovalova, Helmut Kovács und Erich Prokosch.

oder *Už ty sad, ty moj sad* ‘O du Garten, mein Garten’ höre. Dann tritt mein Großvater Vasiliy Andreyevič Čerenkov mit all seiner Wärme vor mein geistiges Auge.

Mein Vater, Nikolaj Vasil’evič Čerenkov, konnte nur dank sozialer Veränderungen, das heißt dank der Errichtung der Sowjetmacht, eine höhere Ausbildung erhalten. Offensichtlich konnte er auch dank dieser Veränderungen meine Mutter heiraten.

Meine Mutter, Olga Aleksejevna Muzovskaja, stammte aus einer Arztfamilie. Ihr Großvater – also mein Urgroßvater – Aleksandr Rutkovskij, ein polnischer Rom, übersiedelte in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts aus der Umgebung von Łomża im Nordosten Polens ins südwestliche Litauen in den Kreis Lozdeisk im Gouvernement Suwalski, wo er einen Gasthof erwarb und eine Witwe aus der dort ansässigen litauischen Roma-Familie Tomaševič heiratete. Aus mir unbekannten Gründen änderte er den Familiennamen zu Muzovski. Mein Urgroßvater war ein reicher Mann, er wurde zur “Elite” des Kreises gerechnet. Er war bemüht, sich nicht all zu sehr vom ansässigen polnisch-litauischen Adel zu unterscheiden. Eben deshalb versuchte er, allen seinen Kindern eine ausgezeichnete Bildung zu ermöglichen. Die Knaben (mein Großvater und sein Bruder) besuchten das Privatgymnasium in Vilna, ihre Schwester erhielt Hausunterricht von einem römisch-katholischen Geistlichen.

Mein Großvater, Aleksej Aleksandrovič Muzovskij, begeisterte sich von frühesten Kindheit an für Medizin; offensichtlich unter dem Einfluss eines guten Freundes des Vaters, eines Feldschers. Jetzt muss man sich vor Augen halten, dass mein Großvater ja doch Rom war und daher, wenn auch nur formal, einer Gemeinschaft polnisch-litauischer Roma angehörte, in der bis heute das System des *magiripēn*, der rituellen Unreinheit existiert. Medizinische Berufe waren für die dortigen Roma zweifellos tabu. In Polen gilt übrigens der Arztberuf bei den im Flachland siedelnden Roma bis heute als *magirdo* ‘unrein’. In Litauen zeigt sich demgegenüber ein gewisser Fortschritt. Das betrifft jedoch nicht fachärztliche Bereiche wie Gynäkologie und Proktologie.

Deshalb studierte mein Großvater weit weg von zuhause, an der medizinischen Fakultät der Universität Kasan. Aber irgendwie wurde seine Begeisterung für die Medizin auch in seiner Heimat bekannt, und er schloss sich damit automatisch aus der Gemeinschaft der Roma aus, obwohl es diesbezüglich keine offizielle Entscheidung seitens des *Romano Sondo* – bei den russischen Roma *Sêndo* – eines wichtigen Organs der internen Selbstverwaltung gab. Aber jedenfalls hatte sich mein Großvater aus diesem – wie mir heute scheint unsinnigen – Anlass aus der Gemeinschaft der Roma ausgeschlossen. Ich weiß nicht, wer dadurch mehr verlor. Gott sei Dank hat es diesen Unsinn bei den russischen Roma nicht gegeben. Man sollte sich wenigstens den berühmten Chirurgen Vasilij Matusevič seligen Angeedenkens in Erinnerung rufen.

Mein Großvater war also gezwungen, einen Ehepartner außerhalb seiner Gemeinschaft zu suchen; dort, wo man nichts von seinem “Verbrechen” wusste. Er fand eine Frau unter den in der Stadt Gumbinnen (heute Gusev) in Ostpreußen ansässigen

deutschen “Zigeuner” aus der Familie Reinhard-Fabian. Sie bekamen zwei Kinder, einen Sohn, Vladimir, meinen Onkel, und eine Tochter, Olga, meine Mutter.

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurde der Großvater zur kämpfenden Truppe eingezogen und war Offizier des medizinischen Dienstes. Im Jahre 1915, als sich die deutschen Truppen Vilna näherten, wurden die Familien der Offiziere tiefer nach Russland hinein evakuiert. Die Familie des Großvaters wurde in das ihm gut bekannte Kasan gebracht. Im Jahre 1917 nach der Auflösung der Front kam mein Großvater wieder zur Familie. Aber dann begannen die revolutionären Ereignisse, die bald auch Kasan erreichten. Es wurde beschlossen, nach Osten zu gehen und schließlich befand sich die Familie in Omsk. Der Großvater versuchte, irgendeine Arbeit zu bekommen, um die Familie zu ernähren. Er wollte sich auch nicht politisch binden, um nicht von den politischen Wechselfällen abhängig zu sein.

In dem Städtchen Kokchetov (heute in Ostkasachstan) war die Stelle eines Arztes frei, wo er vom Jahre 1919 bis zu seinem Tod im Alter von 86 Jahren im Jahre 1969 blieb. Dort verstarb noch im selben Jahr 1919 seine Frau, meine Großmutter Marija Michajlovna Reinhard-Fabian. Mein Mütterchen war viereinviertel, mein Onkel Vолодя fünfeinhalb Jahre alt. Nach dem Tod meiner Großmutter oblagen die Ernährung und Erziehung der Kinder, aber auch die gesamte Haushaltsführung meiner Tante Anjuta, der früheren Kinderfrau, die mit der Familie nach Kasan gegangen war. Für meine Mutter war sie bis zu ihrem Tod im Jahre 2004 ihre zweite Mutter.

Der Großvater verkehrte mit den dort ansässigen Polen, die aufgrund der kriegerischen und revolutionären Auseinandersetzungen in Kasachstan lebten. Ganz besonders freundete er sich mit dem Inhaber der dortigen Dampfmühle, dem Pan Ezdovskij an, mit dem er, wie sich meine Mutter erinnerte, ziemlich häufig – Wozu es verheimlichen? – dem russischen und polnischen Traditionsgetränk kräftig zusprach. Die Freundschaft mit den dort ansässigen Polen – mein Großvater sprach perfekt polnisch und stammte ja auch aus diesem Land – hatte sehr negative Auswirkung auf sein Schicksal. Er wurde in den 30er Jahren als “polnischer Spion” verhaftet.

Der Großvater war nicht nur im Krankenhaus tätig, sondern wurde auch zu Patienten in Gegenden gerufen, wo Kasachen wohnten. Dabei lernte er gut kasachisch sprechen. Die Leute hatten ihn gern und nannten ihn *Doktur Mozop*.

Roma gab es dort offenbar keine; jedenfalls konnte sich der Großvater an keine erinnern. Daheim wurde am Anfang (nach dem Tod meiner Großmutter) polnisch und russisch gesprochen, aber danach, als die Kinder schon zur Schule gingen, überwiegend russisch.

Im Januar des Jahres 1938 wurde der Großvater vom örtlichen NKWD verhaftet und im April 1939 nach Artikel 58/10, Beteiligung an konterrevolutionärer Propaganda, und Artikel 58/11, Mitgliedschaft in konterrevolutionären Organisationen, des Strafgesetzbuches der RSFSR (in Kasachstan) zu 10 Jahren Besserungsarbeitslager verurteilt. Aus dem “GULAG-Reich” wurde er erst 1946 wieder entlassen.

Im Jahre 1946 fuhr ich mit meiner Mutter von Moskau (wohin wir aus Sibirien im Jahre 1937 gekommen waren) nach Kokčetov zu meinem Großvater, den ich noch nie gesehen hatte, seit ich ganz klein war. Er aber hatte mich gesehen, als er 1937 auf der Durchreise in Moskau war. Der Großvater machte auf mich einen gewaltigen Eindruck: hoch gewachsen, aber nicht schwerfällig, mit einem langen, dichten Schnurrbart, der schon grau zu werden begann, und einer sympathischen Bassstimme. Außerdem konnte er großartig singen, vor allem "nationale Lieder". Alle Bekannten, alle Nachbarn hatten ihm gegenüber ungewöhnliche Hochachtung, unabhängig von ihrer nationalen Zugehörigkeit. Und Nationalitäten gab es in Kasachstan nach dem Krieg eine Vielzahl. Da gab es Russen, Kasachen, Ukrainer, Tataren und verbannte Polen, Deutsche, Griechen, Bulgaren, Tschetschenen und Inguschen. Aber an Roma kann ich mich zu dieser Zeit in Kokčetov nicht erinnern.

Das zweite Mal kam ich mit meiner Mutter im Jahr darauf, 1947, nach Kokčetov und wir blieben drei Monate, den ganzen Sommer dort. Der Großvater hatte ein ziemlich großes Holzhaus, das nicht konfisziert wurde, weil es auf eine Krankenpflegerin registriert war. Zum Schlafen gab es viel Platz, aber ich schlief während beider Aufenthalte bei ihm in der Kammer. Dort erzählte er mir bis spät in die Nacht hinein verschiedene Geschichten, sang Lieder und lehrte mich Sprachen, letzteres am meisten. Auf diese Weise konnte ich schon mit 11 Jahren ziemlich gut Polnisch, auch in der Sprache der litauischen Roma konnte ich mich verständigen. Ein Beispiel dafür: In den oberen Klassen der Schule versuchte ich, diese Sprache beim Einsagen im Unterricht zu verwenden. Mein Schulfreund Jura Mirskij, der um ein Jahr jünger war als ich, erinnert sich heute noch an manches aus diesem Dialekt des Romanes. Ich berichte das so ausführlich, weil einige von meinen Bekannten unter den Roma, die beträchtlich jünger sind als ich und daher viel später als ich nach Moskau kamen, behaupteten, ich hätte Romanes erst im reifen Alter in der Familie ihrer Verwandten gelernt. Insbesondere möchte ich unterstreichen, dass ich mich damals in keiner Weise der Gemeinschaft der Roma zugehörig gefühlt habe. Ich habe mich nie als vollwertiger Rom gesehen und fühle mich auch heute, im – milde ausgedrückt – reifen Alter nicht als ein solcher. Übrigens sehe ich mich auch im ethnographischen Sinne nicht als "Vollruss" oder als "Vollpole", obwohl ich ohne falsche Bescheidenheit sagen kann, dass ich die polnische und die russische Sprache nicht schlecht beherrsche und auch mit der klassischen Kultur beider Länder durchaus vertraut bin. Ich bin ein Mensch, der in der Sowjetunion nach russisch-humanistischer internationaler Tradition und mit Respekt vor allen menschlichen Kulturen aufgewachsen ist. Ich dulde keinen bornierten Nationalismus, der manchmal versucht als Patriotismus zu erscheinen, in welchen Äußerungen auch immer: "Nun, Bruder, das ist nicht unsere Meinung." oder *Ada nanê romanêš, djakê kérén gadže!* 'Das ist nicht die Art der Roma, so was machen nur Nicht-Roma!' oder auch: "Mach' das wie ein Pole, und nicht wie ein Moskowiter!". Man kann die eigene Kultur lieben, aber für mich ist nichts wider-

licher als hemmungslose Selbstbewunderung: "Ach, nur wir können es so ...", "Ach, sonst nirgends auf der Welt gibt es ..." und so weiter und so fort.

Verwandte meines Großvaters sind in Russland und Litauen fast keine übriggeblieben, weil sie alle gleich nach dem Krieg in den Westen nach Polen auswanderten. Interessant ist jedoch, dass das Oberhaupt der Organisation der litauischen Zigeuner *Romani Jagori*, Josif Tyčina, o *Vaničja*, Anspruch darauf erhob, mit mir irgendwie verwandt zu sein, aber das erschien mir eigenartig, weil er nicht aus Litauen stammt, sondern aus dem ukrainischen Volyna. Wie ich mit Hilfe meines Kollegen: des litauischen Experten für Roma Vil'gel'mas Beleckas herausfand, sind alle Roma-Familien aus der ostpreußischen Stadt Gumbinnen (dem heutigen Gusev) im Jahre 1943 oder 1944 in ein Konzentrationslager in der Nähe der polnischen Stadt Avgustov gebracht worden. Von dort (aber) ist niemand zurückgekommen. Daher habe ich auch keine Verwandten aus der Linie meiner Großmutter.

Während meiner späteren Kindheit und frühen Jugend habe ich mich für Roma überhaupt nicht interessiert und ihnen (daher) auch keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt; genauer gesagt: Ich habe sie nicht beachtet. Aber das änderte sich im Jahre 1951, als ich mit meiner Mutter in Balki in der Region Vinnitsa in der Ukraine Urlaub machte. In der Nähe unseres Hauses verließ eine Hauptstraße, auf der oft Wagen der "fahrenden" Roma aus dem nahen Bessarabien zu sehen waren. Solch pittoreske "Film-Zigeuner" habe ich weder vorher noch nachher gesehen. Manchmal hielten die Fuhrwerke in der Nähe unserer Häuser, weil in der Nähe der *Sil'po* war und die abstiegen, um in einen Laden zu gehen oder einfach Bewegung zu machen. Ich erinnere mich an einen solchen Julita, als aus einem der stehengebliebenen Wagen ein junger Rom in meinem Alter, also 15-16 Jahre alt, ausstieg, mit schwarzen Locken unter der hellgrünen Mütze, in einem roten, fast neuen Hemd, barfuß, einen Zigarettenstummel im Mundwinkel. Lässig ließ er sich im Gras nieder und war sofort von den einheimischen Burschen umringt, unter denen ich schon etliche Freunde hatte. Der junge Rom hatte Probleme, sich russisch und ukrainisch auszudrücken, und da beschloss ich, meine Kenntnisse zu zeigen. Natürlich unterschied sich sein Dialekt stark von dem, den ich kannte, aber irgendwie verstanden wir einander doch. Die Burschen vom Land standen mit offenem Mund da, und mein Gesprächspartner schaute auch nicht schlecht, als er den städtischen, halbwüchsigen, anthropologisch undefinierbaren Typen sah, der jedoch offensichtlich Romanes redete, wenn auch ein wenig anders.

Zu dieser Zeit begann bei mir langsam, aber sicher das Interesse für die Roma und ihre Kultur zu erwachen, die ich – von der Sprachkompetenz einmal abgesehen – gar nicht, oder fast gar nicht kannte. In den Jahren 1951/52 sah ich einige Male die Vorstellungen des Theaters *Romén*. Im Winter 1953 ließ ich mich im Lesesaal der Lenin-Bibliothek einschreiben und begann, Bücher über die Geschichte und Ethnographie der Roma zu lesen – wenn es davon auch nur sehr wenige gab. Im Jahre 1953 entschloss ich mich, nach Abschluss der Schule in die Indologische Abteilung des

Instituts für Orientalistik von Moskau (MIO) einzutreten, das sich in Sokol’niki in der Rostokinskij-Gasse 13A befand. In der Indologischen Abteilung war aber kein Platz mehr frei und so inskribierte ich in diesem Semester Turkologie. Im Jahre 1954 wurde das Institut für Orientalistik jedoch geschlossen, angeblich aus wirtschaftlichen Gründen, und die Studenten der unteren Kurse wurden auf andere Universitäten aufgeteilt. Ich landete in der Abteilung für Anglistik des Moskauer Staatlichen Pädagogischen Instituts, zur externen Ausbildung, das zufällig an der gleichen Adresse – in der Rostokinskij-Gasse – gelegen war.

Nur eine Straßenbahnhaltestelle von meinem Institut entfernt befand sich die legendäre “Zigeunerbaracke” Šovto Vérsta ‘Sechster Verst’, die zu Beginn der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hauptsächlich für die Arbeiter der Lebensmittelfabrik *Cygpiščeprom*, Roma aus dem Umland von Smolensk, errichtet wurde. Ich befreundete mich mit den aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten stammenden Bewohnern dieser Baracke: ungelernten Arbeitern, zwei Brüdern, beide Berufsboxer, Künstlern von Roma-Ensembles und des Theaters *Romén*, Wissenschaftlern wie Michail Vasil’kov, Kandidat der Wissenschaften, Chauffeuren, Transportarbeitern, Putzfrauen etc. Die einmalige Atmosphäre dieser Baracke hat N. G. Belugina in *O Lekse i Nadežde* treffend beschrieben, und daher will ich das nicht wiederholen. Die Baracke wurde im Jahre 1956 offensichtlich von zwei Seiten angezündet – zu diesem Schluss kamen die damals “zuständigen Organe” – und brannte vollkommen nieder. Die Bewohner bekamen daraufhin Wohnungen in verschiedenen Teilen von Moskau zugewiesen.

Nach meinen Beobachtungen lebten die meisten Roma im nordöstlichen Teil von Moskau: *Russka Roma* wohnten auch hinter dem heutigen Ausstellungsgelände der Errungenschaften der Volkswirtschaft (WDNCH) auf der Isvilistaja-Straße und gegenüber in barackenähnlichen Häusern in der bekannten Mazutka-Gasse, jetzt Pavel-Korčagin-Straße.

Eingangs von Ostankino wohnte in Eintracht die Kalderaš-Familie Konstantinov. Im Sommer 1954 lernte ich Ljoša – *Ljoša šav le Savkasko* – kennen und begann daraufhin die Familie zu besuchen. Bei ihnen bekam ich die ersten “Lektionen” im Dialekt der Kalderaš und eine Vorstellung von deren traditioneller Lebensweise.

Bis zum Herbst 1956 hatten sich fahrende Roma in Zelten, aber ohne Pferde oft hinter dem Wirtschaftshof neben der jetzigen Station Severjanin der Eisenbahn aus Moskau nach Jaroslavl’ auf einer Wiese längs einer Schienenabzweigung bis zum Rand eines kleinen Waldstücks niedergelassen. Ich erinnere mich, dass ich am 1. September 1954 vom Dekanat des Instituts zum Gemüseversorgungsgebäude in Severjanin zur Aushilfe geschickt wurde. Statt für die Versorgung der Werktätigen Moskaus mit hochwertigem Gemüse und Obst zu arbeiten, verbrachte ich den ganzen Tag in den Zelten der Krim-Roma, die gerade aus der Verbannung nach Mittelasien und dem Nordkaukasus zurückkehrten. Bei ihnen hörte ich die wohlklingenden krimtatarischen Lieder, die Geschichten über das Leben auf der Krim vor dem Krieg

und im Nordkaukasus, und ich half sogar einer kranken Frau, ihren Namen mit islamischen, d. h. arabischen Buchstaben am Rand eines “heiligen” Textes zu schreiben, der in ein Amulett, *amajlés*, eingenäht war. – Ich hatte doch Urdu im Institut gelernt und kannte das arabische Alphabet. – Das sollte bei ihrer Heilung helfen. Interessant ist, dass der “heilige” Text auf einer abgerissenen Seite aus einem vorrevolutionären tatarischen Geschäftsbuch in arabischer Schrift stand. Aber davon sagte ich natürlich nichts zur gastfreundlichen Hausfrau und ihrem bitterarmen Mann in der abgerissenen Uniformjacke, die mit einem Strick zusammengehalten war.

Das war meine erste Bekanntschaft mit nomadisierenden Krim-Roma aus der Gruppe der Kirlides. Vorher hatte ich schon die Bekanntschaft des Zirkusartisten Emirveli (Miša) Mamutov gemacht, einem sehr intelligenten und gebildeten Krim-Rom, der nicht nur russisch, sondern auch krimtatarisch schreiben konnte; übrigens in arabischer Schrift.

Und jetzt zu dem vorher erwähnten Zirkus. Als ich einmal an dem Gebäude des “alten” Zirkus vorbeiging, sah ich eine Gruppe sehr ordentlich gekleideter Roma. Ich ging zu ihnen und begann unter irgendeinem Vorwand ein Gespräch über ein neutrales Thema, wobei ich plötzlich ins Romanes überging. So wurde ich mit Pjotr Stepanovič Demeter (dessen Musikstücke während der Zirkusvorstellung gespielt wurden) bekannt, ebenso mit Michajl M. Šiškov, mit “Onkel Pascha” Saveljev und mit anderen Mitgliedern der damaligen Zirkusgruppe.

Meine Freundschaft mit der Familie Demeter begann im Jahre 1954, wurde in den Jahren 1956/57 durch Vladislav Petrovič Demeter enger und reichte bis Slavas Tod; *requiescat in pace!* Aber darüber wäre gesondert vieles und ausführlich zu schreiben; so mir Gott einmal die nötige Muße gibt!

In den Jahren 1954/55 begann ich regelmäßig das Theater *Romén* zu besuchen und lernte dort viele Schauspieler kennen, besonders junge. Die häufigen Theaterbesuche nahm ich nach meinem Dienst in der Armee, in der ich ungefähr ein Jahr blieb und dann wegen meiner Augen entlassen wurde, wieder auf. Im Theater zog der Schauspieler und Dramaturg Nikolaj Georgievič Narožnyj seligen Angedenkens meine besondere Aufmerksamkeit auf sich. Wir unterhielten uns oft. Ich war in seinem Haus in der Gruzinskaya-Straße zu Gast. Ohne falsche Bescheidenheit kann ich sagen, dass N. G. Narožnyj einige Einzelheiten aus meinen Erzählungen über meine Aufenthalte bei den Roma, insbesondere bei den “Fahrenden”, in einem seiner Stücke, nämlich *Cygan Michajlo* verwendet hat. Die Nachricht von seinem sinnlosen Tod bei einer Routineoperation zur Entfernung des Blinddarms um die Mitte der 60er Jahre traf mich mitten ins Herz.

Mehrere Male traf ich mit dem Impressario des Theaters Ivan Ivanovič Rom-Lebedev zusammen. Ich war bei ihm in seiner alten Wohnung in der Tverskaja, in der Gorkij-Straße 6 zu Gast und in seinem letzten Heim in der Großen Nikitskaja, der Gercen-Straße.

Für die Fortsetzung meines Berichtes über meine Bekanntschaft mit herausragenden Persönlichkeiten der Kultur der Roma ist es nötig, zur Baracke Šovto Vérsta zurückzukehren. Bei einem meiner Besuche bei meinem guten Bekannten, Miša Vasíľkov, traf ich einen stattlichen dunkelhäutigen Rom von etwa 35 Jahren an. Ich wurde ihm vorgestellt. Er hieß Nikolaj Georgijevič Satkevič. Das war der berühmte Dichter und Vertreter des öffentlichen Lebens, dem es vor dem Krieg gelungen war, in der Moskauer Pädagogischen Fachschule bei Nikolaj Aleksandrovič Pankov zu studieren und der seine literarische Karriere mit der Publikation von Versen in Romanes im Romano-Almanach im Jahre 1934 begonnen hatte. In der Zeit seines kurzen Aufenthaltes in Moskau – er kam aus der Region Brjansk und lebte mit der Familie in Irkutsk – entschloss er sich, mich mit den Größen der Roma-Kultur der Vorkriegszeit bekanntzumachen, sozusagen mit den Gründervätern. Der erste, zu dem er mich führte, war der legendäre Aleksandr Vjačeslavovič Germano.

Aleksandr Vjačeslavovič, der zu dieser Zeit schwer – und, wie sich später herausstellte – unheilbar krank war, wohnte mit seiner Gattin Marija Vardasko in zwei benachbarten Zimmern einer Gemeinschaftswohnung in einem vorrevolutionären Mietzinshaus in der Stolešnikov-Gasse. Ungeachtet dessen, dass es sich um eine typische Kommunalwohnung handelte, waren die Zimmer – eines diente Aleksandr Vjačeslavovič als Arbeitszimmer – gepflegt und sauber. Vielleicht deswegen, weil Marija Vardasko ihrer Herkunft nach Tschechin war, wenn auch eine russische Tschechin. Ich besuchte A. V. Germano bis knapp vor seinem Tod im April 1955. Er erzählte mir viel über die Entstehung der Roma-Literatur in der UdSSR, über einzelne Persönlichkeiten und die Wiederbelebung der Roma-Kultur in den zwanziger und dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Oft gab er mir Manuskripte seiner noch nicht, d. h. niemals veröffentlichten Werke.

Ich hatte das Glück, über A. V. Germano mit einem anderen lebenden Klassiker der sowjetischen Roma-Literatur: dem Dichter und Übersetzer Nikolaj Aleksandrovič Pankov und seiner Familie, der Gattin Janina Stefanovna und den Töchtern Natalja und Ljubov bekannt zu werden. Sie wohnten in einem kleinen Zimmer in einem alten Holzhaus hinter dem Iljič-Tor ohne jeglichen Komfort. Später stellte sich heraus, dass die Chemikerin Natalja Nikolajevna Pankova in demselben wissenschaftlichen Forschungsinstitut arbeitete wie mein enger Schulfreund, und außerdem noch unter seiner Leitung. Leider verstarb sie ziemlich früh, nämlich 1991. Ljubov Nikolajevna, Kandidatin der biologischen Wissenschaften, eine bekannte Psychologin, arbeitete in wissenschaftlichen Forschungsinstituten und unterrichtete an Moskauer Universitäten. Jetzt ist sie schon lange im wohlverdienten Ruhestand.

Mit Nikolaj Aleksandrovič besprach ich viele verschiedene Probleme des Romanes und der Ausbildung der Kinder und Jugendlichen der Roma. Er war Ehrenmitglied der weltberühmten englischen Organisation zur Erforschung der Roma, der *Gypsy Lore Society*, und er erhielt deren Zeitschrift. Mit ihm saß ich lange zusammen

und wir studierten die Aufsätze in der Zeitschrift. Nikolaj Aleksandrovič beherrschte keine Sprache außer Russisch und Romanes, aber seine Frau, eine gebürtige Polin, beherrschte außer der russischen Sprache und dem in der Familie ihres Mannes gelernten Romanes auch hervorragend ihre polnische Muttersprache.

Nikolaj Aleksandrovič starb im Jahre 1959. Bei seiner Beerdigung lernte ich Tatjana Vladimirovna Ventsel' kennen, über die ich von Kulturschaffenden der vorrevolutionären Kulturbewegung der Roma schon viel gehört hatte. Sie hatte Anteil an der Abfassung der ersten Lehrbücher des Romanes für die Schulen der Roma. Vom Jahre 1959 bis zu ihrem Tod im Jahre 1988 arbeiteten wir erfolgreich zusammen und verfassten einige gemeinsame Arbeiten über das Romanes, z.B. die große Studie "Die Dialekte der Sprache der Zigeuner" für die akademische Reihe "Die Sprachen Asiens und Afrikas". Diese Arbeit findet bis heute in der Welt der Wissenschaft bei uns und im Ausland großes Interesse. Tatjana Vladimirovna war eine vielfältig ausgebildete Sprachwissenschaftlerin, aber mehr theoretisch ausgerichtet. Das Romanes beherrschte sie nicht, noch weniger deren Dialekte; dafür war ich zuständig.

Zu Beginn der zweiten Hälfte der 1950er Jahre beschloss ich, mich der Geschichte der Roma, deren Ethnographie und der Sprachwissenschaft zu widmen, zumal in den Bibliotheken unserer Hauptstadt Moskau (der Lenin-Bibliothek, der Historischen Bibliothek, der Bibliothek für Fremdsprachen) – wenn auch voneinander getrennt und nicht ganz systematisch – die Literatur darüber durchaus vorliegt. Um sich mit dieser bekanntzumachen, muss man sich allerdings (vorher) mit einigen Fremdsprachen vertraut machen. Ich möchte vorausschicken, dass das Studium und die Beschreibung verschiedener Dialekte des Romanes – und davon gibt es gerade genug – gänzlich unmöglich ist, ohne eine – wenn auch nur flüchtige – Bekanntschaft mit der Sprache der Bevölkerung, in deren Mitte die Sprecher der jeweiligen Dialekte leben oder einige Zeit vorher gelebt haben. Ein konkretes Beispiel: Ohne Kenntnis der rumänischen Sprache kann man viele Erscheinungen der Kalderaš-Dialekte nicht verstehen und beurteilen, ohne zusätzliche Kenntnisse des Ungarischen nicht die Dialekte der Lovara, ohne Krimtatarisch nicht das Romanes der Krim-Roma, usw. Ich musste manchmal hören, dass russische Roma darüber klagten, dass es bei ihnen in der Sprache sehr viele russische Wörter gibt, aber in anderen Dialekten "reine" Wörter des Romanes. Das stimmt – genauer gesagt – überhaupt nicht. In den anderen Dialekten sind statt der Lehnwörter viele Wörter aus anderen Sprachen. Bei den russischen Roma ist das Wort für 'Leben' *džiipen* indischer Herkunft, bei den Kalderaš und Lovara wird dagegen das rumänischstämmige *trajo* verwendet; bei den russischen Roma steht für 'ich lobe' *šarava*, bei den Kalderaš das rumänischstämmige *luvudiv* und bei den Krim-Roma das tatarische oder nogaische *makhtadijav*. Als einer der Autoren des 1990 in Moskau erschienenen Wörterbuchs des Kalderaš-Dialekts, Roman Stepanovič Demeter, zum ersten Mal in Moldawien war, kehrte er stark beeindruckt zurück und sagte zu mir: "Höre! Ich verstand in ihrer Rede jedes vierte Wort!"

Und daran ist nichts Erstaunliches; die Kalderaš verbreiteten sich im 19. Jahrhundert von Rumänien aus in Europa und Amerika, und in ihrem Dialekt gibt es etwa 40% rumänische Wörter.

1967 veröffentlichte R. S. Demeter mit mir als Mitautor in der moldawischen akademischen Zeitschrift *Limbă și literatura moldovenească* ‘Moldauische Sprache und Literatur’ den Artikel “Ostromanischer Einfluss auf die Zigeunersprache (Kalderaš-Dialekt)”. Das war der erste Versuch bei uns im Land, den Dialekt der Kalderaš im wissenschaftlichen Bereich einzuführen. Die nächste bemerkenswerte Publikation R. S. Demeters (mit Bruder Peter Stepanovič als Mitautor) ist der Sammelband “Proben der Folklore der Kalderaš-Zigeuner” im Verlag *Nauka* im Jahre 1981. Mit Dr. V. M. Gacak schrieb ich das Vorwort und einen Teil der Kommentare zu diesem Sammelband. Das bemerkenswerteste Werk der schöpferischen Tätigkeit von Roman Stepanovič ist das von ihm bereits in der Mitte der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts geplante Wörterbuch seiner Muttersprache, des Kalderaš-Dialekts. Für dieses Wörterbuch sammelte er Wörter und Ausdrücke im Verlauf von mehr als 30 Jahren. Ich war wissenschaftlicher Redakteur dieses Wörterbuchs und Verfasser des englischen Teils. Es wurde kolossale Arbeit geleistet. R. Stepanovič und ich trafen uns in der Verlagsredaktion, bei ihm zu Hause und bei mir zu Hause, besprachen, debattierten – manchmal sogar verbissen – kamen aber immer zu einer Einigung und zu einem Kompromiss. Im Jänner 1989 erlitt ich einen schweren Herzinfarkt durch Überarbeitung – Mögen Sie davon verschont bleiben! – aber R. Stepanovič sah nicht einmal das von ihm herausgegebene Wörterbuch. Er starb unerwartet zu Beginn des Sommers 1989; möge ihm die Erde leicht sein! Das Wörterbuch der Autoren R. S. und P. S. Demeter erschien 1990 im Moskauer Verlag “Russische Sprache”.

Zum Thema Roma begann ich aber schon etwas früher zu publizieren, nämlich 1959, als ich einen Artikel für die “Kleine Sowjetische Enzyklopädie” schrieb. Dann veröffentlichte ich im *Journal of the Gypsy Lore Society* einen Beitrag über ein folkloristisches Werk aus Bulgarien, das mir freundlicherweise der jetzt bereits verstorбene, damals in der Öffentlichkeit stehende, kulturschaffende bulgarische Rom Dimitar Golemanov zur Verfügung gestellt hatte. 1969 schrieb ich einen zusammenfassenden Artikel über die Roma der UdSSR für die französische Zeitschrift *Etudes tsiganes*. Danach publizierte ich Texte mit Kommentaren und Übersetzungen zweier Märchen der *Ursari* in zwei weiteren Nummern derselben Zeitschrift. “Daheim” in der UdSSR publizierte ich 1975 den Artikel “Literatur der Roma und Romanes” in der *Kratkaja Literaturnaja Enciklopedija* ‘Kurzen Literatur-Enzyklopädie’ und 1978 einen gleichnamigen Artikel in der *Bol’saja Sovetskaja Enciklopedija* ‘Großen Sowjetischen Enzyklopädie’. 1974 veröffentlichte ich nach Kontaktnahme mit aus dem Gebiet Braslav in Weißrussland umgesiedelten Roma einen Artikel “Romanes im weißrussischen Sprachmilieu” in *Belaruskaja Lingvistyka*.

Über Roma zu publizieren war in der UdSSR aus seltsamen ideologischen Gründen kompliziert; ich versuchte, dieses halboffizielle Verbot zu umgehen. 1979 wurde ich Mitglied der Geographischen Gesellschaft der UdSSR in Moskau und beteiligte mich aktiv an der Arbeit der Kommission für Ethnographie. Bei diesen Kommissionssitzungen wurden am Ende der 70er Jahre und am Anfang der 80er Jahre Vorträge über kleine Völkerschaften gehalten, darunter auch über Roma. Ich hielt einen Vortrag "Einige Probleme des ethnographischen Studiums der Roma in der UdSSR", der dann im Sammelband "Kleine und verstreute Gruppen des europäischen Teils der UdSSR" publiziert und von der Geographischen Gesellschaft im Jahre 1985 herausgegeben wurde. Dieser Beitrag wird bis heute von Fachleuten erwähnt, obwohl ich – ganz ehrlich gesagt – vieles davon jetzt umarbeiten würde.

Am Ende der 60er Jahre ließ mir die Roma-Dichterin Olga Pankowa über Tatjana W. Ventsel' die Adresse des überaus bekannten Roma-Dichters, Sprachwissenschaftlers und Übersetzers Leksa Manuš (Alexander Belugin) zukommen. Wir begannen einen intensiven Briefwechsel, er war einige Male bei mir in Moskau. 1970 übersiedelte Leksa nach der Heirat mit Nadja Šnurkowa nach Moskau und fand Arbeit in der Abteilung für Sprachwissenschaft der Hauptbibliothek für Gesellschaftswissenschaften der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, jetzt INION, Wissenschaftliches Informationsinstitut für Gesellschaftswissenschaften der Russischen Akademie der Wissenschaften. Das Schicksal fügte es, dass auch ich ab Dezember 1970 in dieser Einrichtung zu arbeiten begann, aber in einer anderen Abteilung. Später gesellte sich Leksa's Frau Nadja Belugina zu uns; sie beherrschte Ungarisch, Serbisch und Bulgarisch und arbeitete in der Abteilung der sozialistischen Länder. So bildete sich im Schoße der akademischen Institution ein Roma-Verein, *Trio Gadžen* wie Nadja ihn scherhaft nannte. Leksa und ich hatten viele gemeinsame Interessen, gemeinsame Ansichten über die Geschichte der Roma und deren heutigem Leben in Moskau. Über einige Fragen debattierten wir freilich erbittert, blieben aber immer freundschaftlich verbunden. Leksa und Nadja waren immer die besten Freunde meiner Familie, und sogar nach Leksa's Tod und Nadja's Übersiedlung nach Riga blieb diese Freundschaft innig und alterte keineswegs. Die Erinnerungen an die Arbeit in der INION der Russischen Akademie der Wissenschaften erwecken in mir bis heute wärmste und beste Gefühle. Ich habe in dieser Institution bis Jänner 1994 gearbeitet. Leksa verließ uns alle auf dieser Welt im Jahre 1997.

Bereits Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war im Milieu der Moskauer Roma-Intelligenz eine eigenartige "Erregung der Gemüter" bemerkbar. Von Zeit zu Zeit versammelte man sich bei irgendjemdem in der Wohnung, besprach leidenschaftlich aktuelle Fragen des Roma-Lebens, schrieb Petitionen an "kompetente Organe" mit der Bitte, die Aufmerksamkeit z.B. auf das niedrige Bildungsniveau der Roma, auf das Fehlen nationaler Schulen, auf Druck und Herausgabe von Büchern in Romanes, usw. zu lenken. Natürlich kamen keinerlei Antworten auf diese Briefe,

bestenfalls primitive, aber “ideologisch geeichte” Absagen. Einer der aktivsten Initiatoren solcher Maßnahmen war N. G. Satkevič, der Ende der 60er Jahre endgültig nach Moskau übersiedelt war. Für diese Tätigkeit gewann er seinen Freund aus dem Pädagogischen Technikum und Hauptmann i. R., den Smolensker Rom Nikolaj Alek-sandrovič Men’šikov, der in der Jugend den Spitznamen *Rakljačo* hatte, Teilnehmer des Großen Vaterländischen Krieges als Panzersoldat, Invalide, Pensionist des Verteidigungsministeriums. Ungeachtet der Folgen einer schrecklichen Verwundung – er wäre fast in einem Panzer verbrannt und trug eine Platinplatte im Schädel – war N. Men’šikov jugendhaft rüstig und aktiv. Er gewann seinerseits noch einen weiteren Kriegsteilnehmer, Ivan Pasevič. Eine Zeitlang schlossen sich ihnen auch die seinerzeitigen Kampfflieger und Teilnehmer am Großen Vaterländischen Krieg, die Cousins Fjodor und Aleksandr Muračkovskij an. Jedenfalls war diese Gesellschaft repräsentativ, nur brachte ihre Tätigkeit kein Ergebnis; Gott behüte, nicht durch ihre Schuld! Ich erinnere mich, dass an einer der Aktionen auch das Theater *Romēn* teilnahm. Im Frühjahr und Herbst des Jahres 1957 berief der Organisator des Theaters, Ivan Ivano-vič Rom-Lebedev als Parteimitglied ein *Partchozaktiv* ein “Partei- und Wirtschaftsaktiv” der Roma von Moskau und Umgebung ein. Nach dem Erlass des Jahres 1956 über die Zwangsansiedlung der Roma erreichten das Theater *Romēn* als einzige Institution der Roma Beschwerden aus verschiedenen Regionen über die Willkür der Behörden in der Verbringung von Roma in Kolchosen und andere Arbeitsstätten. Die Briefe waren, wie man so sagt, mit Herzblut und dem Gefühl der Verzweiflung über die völlige Ausweglosigkeit geschrieben. Was aber sollte das *Partchozaktiv* tun? Es ist richtig, es konnte die übliche Petition an die höchsten Organe des Staates und der Partei richten. Nun und dann hat I. I. Rom-Lebedev für dieses *Partchozaktiv* im Bezirkskomitee von Sverdlovsk der KPdSU einen strengen Verweis bekommen: “Was ist das für ein *Partchozaktiv* nach nationalen Kriterien?”

Mit dem Beginn der *Perestrojka* begann sich die Atmosphäre zu entspannen und wendete sich am Ende der 80er Jahre wesentlich zum Besseren. Damals begann ich zusammen mit anderen Mitgliedern der Ethnographischen Kommission der Geographischen Gesellschaft – natürlich auf gemeinschaftlicher Basis – in der Kommission zur Bewahrung und Wiederbelebung der Kulturen kleiner Völker des sowjetischen Kulturfonds zu arbeiten. Diese Kommission wurde von dem Korrespondierenden Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften Edcham Rachimovič Tenišev geleitet. Einmal erwähnte ich in einem Gespräch mit Georgij Stepanovič Demeter, dass ich Mitglied dieser Kommission sei, und bei meinem Gesprächspartner erhob sich sofort die Frage, ob es nicht möglich sei, im Sowjetischen Kulturfond eine Sektion zur Roma-Kultur zu organisieren. Ich sprach mit E. R. Tenišev, und dieser riet mir, mich an den stellvertretenden Vorsitzenden des D. S. Lichačov-Kulturfonds in Moskau, Georg Mjasnikov zu wenden. G. S. Demeter unterhielt sich mit G. Mjasnikov und im September 1989 fand die Gründungssitzung der Sektion Roma-Kultur statt,

bei der G. S. Demeter, Leksa Manuš, N. G. Demeter, L. N. Čerenkov und V. P. Demeter Vorträge hielten. Allmählich wurde aus der Sektion Roma-Kultur des sowjetischen Kulturfonds die Moskauer Roma-Organisation *Romano Kher* mit G. S. Demeter an der Spitze. Aber zum 4. Kongress der Internationalen Romani Union in Warschau im April 1990 fuhren wir noch als Mitglieder der Sektion Roma-Kultur, und unsere Reise wurde von den zuständigen Abteilungen des Sowjetischen Kulturfonds organisiert.

Auf dem erwähnten Kongress wurden einige unserer – noch sowjetischen – Delegation zu leitenden Organen und in Kommissionen der Internationalen Romani Union gewählt. Ich wurde Mitglied der Sprach- und Bildungskommission. Zu meinem großen Bedauern erhielt ich die Einladungen zu den Kommissionssitzungen (geleitet von Marcel Courtiade aus Frankreich, der das Romanes in seinen Balkan-Dialekten wunderbar beherrscht), erst zwei bis drei Tage vor Beginn der Sitzungen, die bald in Montpellier in Südfrankreich, bald in Brüssel oder noch irgendwo in den Weiten Westeuropas stattfanden. Natürlich konnte ich – obwohl ich es so sehr wünschte – nicht teilnehmen; über die finanzielle Seite solcher Europareisen will ich lieber ganz schweigen. Daher endete auch aufgrund dieser Umstände meine Mitgliedschaft bei den erwähnten Kommissionen. Außerdem gefiel mir die Konzeption des M. Courtiade, den allmählichen Ersatzes der vitalen Dialekte durch eine über diesen stehende Form des Romanes, die aus irgendeinem Grund vornehmlich auf den Dialekten des Balkans basieren sollte, ganz und gar nicht. M. Courtiade schuf ein künstliches Romanes, makellos vom formalen Standpunkt, aber den Roma absolut fremd. M. Courtiade ist in Europa furchtbar aktiv und hat eine Menge Lehrbücher dieses neuen Romanes für Schulen geschrieben. Er hat eine Unterrichtsmethode ausgearbeitet, aber diese Methode und die Prinzipien dieser Lehrbücher finden nur in Rumänien bei seinem Anhänger George Sarau Anwendung. M. Courtiades Bemühungen waren also nicht vergeblich, so dass sich die lebendigen ausdrucksvollen Dialekte der rumänischen Roma im Munde einiger Roma-Studenten aus Rumänien in eine Art *Volapük* verwandelten. Zugleich wenden der Europarat und andere Europäische Organisationen riesige Geldmittel für diese Tätigkeiten auf, die gänzlich ungestraft (d. h. ohne rechtliche Konsequenzen) vor dem Hintergrund absoluter Unkenntnis von der Thematik damit befasster Organe und der Suche nach „geeigneten“ Experten abläuft.

Die Bekanntschaft mit vielen Funktionären der sogenannten Roma-Bewegung hat mich sehr enttäuscht, weil ich einerseits den unüberwindlichen Wunsch, einen – vor allem materiellen – Vorteil aus der Position des ewigen „Berufs-Roms“ zu ziehen, sah und andererseits die Naivität, das Fehlen gesicherter Kenntnisse und die Leichtgläubigkeit gegenüber verschiedenen Pseudo-Experten mit Pseudo-Roma-Herkunft, die auf diesem Hintergrund versuchen, eine neue Roma-Ideologie zu schaffen.

Auf demselben 4. Kongress in Warschau machte ich die Bekanntschaft eines wunderbaren Mannes, des Sprachwissenschaftlers und Sammlers, Friedrich Mozes Heinschink. Die „Sammlung Heinschink“, die Aufzeichnungen von mehr als zehntau-

send Liedern, Erzählungen, Märchen und anderer Werke der Roma umfasst, wird im Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften aufbewahrt und ist allen Interessenten zugänglich. Im Mai 1991 war ich zum ersten Mal bei Mozes in Wien zu Besuch. Er machte mich mit vielen europäischen Roma-Wissenschaftlern bekannt, und ich begann, an nationalen und internationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen zur Thematik teilzunehmen. In den folgenden Jahren besuchte ich zwölf Länder Europas. Unter anderem nahm ich auch an einer Vielzahl internationaler Konferenzen zur Romani-Linguistik teil, die von den entsprechenden Universitätszentren in Graz (Österreich) und Manchester (Großbritannien) organisiert wurden, und bei denen ich Vorträge über die russischen Dialekte des Romanes hielt. 2008 leitete ich in Kiew Sitzungen der philologisch-pädagogischen Sektion der wissenschaftlich-praktischen internationalen Konferenz „Roma der Ukraine aus der Vergangenheit in die Zukunft“, wo ich auch einen Vortrag über die Dialekte des Romanes in der Ukraine hielt. Ich nahm auch als Lehrer für Romanes an verschiedenen Sommerkursen in Schweden, Polen und Österreich teil.

Ich begann meine reguläre Arbeitstätigkeit 1957. Ich arbeitete als Buchbinder und Schriftsetzer in einer Druckerei, dann als Zeichner in einem Projektionsbüro. Danach beschloss ich, einige meiner Sprachkenntnisse zu verwerten und arbeitete als Redakteur in Bibliotheken, unter anderem in der Bibliothek für ausländische Literatur. 1970 schloss ich mein Fernstudium an der Historischen Fakultät der Moskauer Staatlichen Universität ab. Von 1970 bis 1994 arbeitete ich, wie ich schon geschrieben habe, am Institut für wissenschaftliche Information oder Gesellschaftswissenschaften der Russischen Akademie der Wissenschaften. An den Wochenenden unterrichtete ich eine Gruppe junger Roma an der Lehr- und Erziehungsanstalt Nr. 1650 der Stadt Moskau in Romanes. Von dort wechselte ich mit der gesamten Gruppe – faktisch das ganze Kollektiv des Kinder-Ensembles *Gilori* unter der Leitung von V. P. Demeter – in das Zentrum der Kinder und Jugend *Sokol*. 1996 bot man mir am Lichačov-Forschungsinstitut für Kultur- und Naturerbe eine wissenschaftliche Stelle zur Beschreibung, Analyse und Bewahrung der traditionellen Roma-Kultur an. Ich stimmte natürlich freudig zu und arbeite als höherer Mitarbeiter des Sektors für lebendige traditionelle Kultur des zuvor erwähnten Instituts bis zum heutigen Tag und vertrete es auf internationalen wissenschaftlichen Konferenzen zur Wissenschaft von den Roma. Insgesamt wurden von mir eine Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten veröffentlicht, darunter einige an meinem Institut.

Die Bilanz meiner gesamten Tätigkeit auf dem Gebiet der Roma-Wissenschaft wurde jedoch das Werk *The Rroma. Otherwise known as Gypsies, Gitanos, Γύρτοι, Tigani, Çingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende etc. Vol.1: History, language and groups. Vol 2: Traditions and texts*. Es ist in englischer Sprache verfasst, gemeinsam mit meinem Schweizer Kollegen Stéphane Laederich, der für bestes Englisch und wichtige Unterlagen für die Geschichte der Roma in Westeuropa sorgte. Außerdem

verfügt St. Laederich, Doktor der Mathematik, über ein beneidenswertes logisches Denkvermögen. Dadurch brachte er einige meiner Schlussfolgerungen in eine argumentativ ansprechende Form. Das Buch erschien im Jahre 2004 in der Schweiz, in Basel beim bekannten Verlag *Schwabe*.

Es scheint mir, dass es Zeit ist, meinen Bericht zu beenden. Ich wollte Ihnen möglichst viel und möglichst genau erzählen, was ich erlebt und gesehen habe, aber auch unrichtiges Wissen und unrichtige Meinungen über Ereignisse korrigieren, deren Zeuge und manchmal auch Teilnehmer ich war. Aber es ist unmöglich, Unfassbares zu erfassen, daher beurteilen Sie mich nicht allzu streng!

Lev Čerenkov / Moskau / 2010

Bibliography // Библиография

- Черенков, Л. Н. 1959. Цыганский язык. *Малая советская энциклопедия*. Т. 9. М.: Советская энциклопедия.
- Čerenkov, L. N. 1962. A new version of the Song of the Bridge (ed. by B. J. Gilliat-Smith). *Journal of the Gypsy Lore Society*, Third Series, 41/3-4: 124-133.
- Čerenkov, L. N. 1963. Additional notes and emendations to the Ballad of the Bridge over the Danube (ed. by B. J. Gilliat-Smith). *Journal of the Gypsy Lore Society*, Third Series, 42/1-2: 79-80.
- Черенков, Л. Н. / Деметер, Р. С. 1967. Восточноромансское влияние на цыганский язык (кэлдэрарский диалект). *Лимба ши литература молдовеняскэ X/2*: 48-58.
- Tcherenkov, L. N. 1967. Čirikli (L'oiseau). *Etudes Tsiganes* 13/4: 1-9.
- Черенков, Л. Н. / Вентцель, Т. В. 1968. Диалекты цыганского языка и их взаимоотношения с индоарийскими языками Индии. В: В. М. Бескровный / Е. М. Быкова / В. П. Липеровский. ред. Языки Индии, Пакистана, Непала и Цейлона. *Материалы научной конференции 18-20 января 1965 года*. М.: Наука: 417-428.
- Tcherenkov, L. N. 1969. Bréve esquisse sur les Tsiganes de l'URSS. *Etudes Tsiganes* 15/3: 11-25.
- Tcherenkov, L. N. 1971. Paramisi katar ke mīca (Le chat). *Etudes Tsiganes* 17/4: 1-9.
- Чаранкоў, Л. М. 1974. Цыганскі дыялект у беларускім моўным асяродзі. *Беларуская лінгвістыка* 6: 34-40.
- Черенков, Л. Н. 1975. Цыганская литература. *Краткая литературная энциклопедия*. Т. 8. М.: Советская энциклопедия: 408-410.
- Черенков, Л. Н. / Вентцель, Т. В. 1976. Диалекты цыганского языка. В: М. С. Андронов, ред. Языки Азии и Африки: Индоевропейские языки. Ч. 1. М.: Наука: 283-332.
- Черенков, Л. Н. 1978. Цыганская литература. *Большая советская энциклопедия*. 3-е изд. Том 28. М.: Советская энциклопедия: 1811-1812.

- Черенков, Л. Н. / Гацак, В. М. 1981. Предисловие. Р. С. Деметер / П. С. Деметер. *Образцы фольклора цыган-кэлдэрарей*. М.: Наука: 5-10.
- Черенков, Л. Н. 1985. Некоторые проблемы этнографического изучения цыган СССР. В: И. И. Крупник, ред. *Малые и дисперсные этнические группы в Европейской части СССР*. М.: МО ГО СССР: 5-15.
- Черенков, Л. Н. 1987. Цыганская литература. Библиографические статьи об отдельных цыганских писателях. *Литературный энциклопедический словарь*. М.: Советская энциклопедия: 492.
- Черенков, Л. Н. / Деметер, Н. Г. 1987. Цыгане в Москве. В: *Этнические группы в городах европейской части СССР: Формирование, расселение, динамика культуры*. М.: АН СССР: 40-49.
- Черенков, Л. Н. / Деметер, Р. С. 1990. Предисловие. Р. С. Деметер, П. С. Деметер. *Цыганско-русский и русско-цыганский словарь (кэлдэрарский диалект)*. М.: Русский язык: 5-10.
- Cherenkov, L. N. 1990. Gypsy-English dictionary, A-Э. В: Р. С. Деметер, П. С. Деметер. *Цыганско-русский и русско-цыганский словарь (кэлдэрарский диалект)*. М.: Русский язык: 231-281.
- Черенков, Л. Н. / Деметер, Р. С. 1990. Краткий грамматический очерк кэлдэрарского диалекта цыганского языка. В: Р. С. Деметер, П. С. Деметер. *Цыганско-русский и русско-цыганский словарь (кэлдэрарский диалект)*. М.: Русский язык: 285-306.
- Tcherenkov, Lev. 1998. A letter to the editors. In: Elena Marushiakova / Vesselin Popov / Birgit Igla. eds. *Studii Romani V-VI. The Snake's Ring. Language and folklore of Erli from Sofia*. Sofia: Litavra: 181-186.
- Черенков, Л. Н. 1999. Цыгане Центральной России: вчера и сегодня. В: Е. Д. Андреева, ред. *Калужский край. Козельский район: Этнографические очерки*. М.: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия: 208-222.
- Tcherenkov, Lev. 1999. Eine kurzgefasste Grammatik des russischen Kalderaš-Dialekts des Romani. *Grazer Linguistische Studien* 51: 131-166.
- Tscherenkov, Lev (Stéphane Laederich). 1999. Romanes – viele Varianten und Millionen von Sprechern in Europa. *Neue Zürcher Zeitung* 24/25 Juli 1999: 53-54.
- Черенков, Лев. 2001. Образцы языка и фольклора крымских цыган. In: Birgit Igla / Thomas Stolz. eds. *Was ich noch sagen wollte ... A multilingual Festschrift for Norbert Boretzky on occasion of his 65th birthday*. Berlin: Academie: 439-448.
- Cherenkov, Lev N. 2004. The Russian variant of Lovaricka. Paper presented at the *International Colloquial on Romani Linguistics*, 11-13 November 2004, Graz.
- Tcherenkov, Lev (Stéphane Laederich). 2004. *The Rroma. Otherwise known as Gypsies, Gitanos, Гуфто, Тигани, Çingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende etc.* Vol.1: History, language and groups. Vol 2: Traditions and texts. Basel: Schwabe.
- Черенков, Л. Н. Изучение цыганской традиционной культуры в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. *Материалы III Международной конференции по вопросу изучения безгосударственных культур «The Weakest Minorities: Reconstructing Europe of Local Cultures»*, Вильнюс, 13-14 мая 2005 года.
- Cherenkov, L. N. 2005. The Plaščuny and their dialect. Preliminary notes. In: Barbara Schrammel / Dieter W. Halwachs / Gerd Ambrosch. eds. *General and Applied Romani Linguistics: Proceedings from the 5th International Conference on Romani Linguistics*. Munich: Lincom: 43-47.
- Черенков, Л. Н. 2008. Традиционная культура и фольклор цыган-кэлдэраров (по материалам

- коллекции аудиозаписей цыганского фольклора Института Наследия). В: Е. Д. Андреева. ред. *Аудиовизуальная антропология. Истории с продолжением.* М.: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва: 178-189.
- Черенков, Л. Н. 2006. Некоторые проблемы изучения цыган Украины. *Рома в Україні. Історичний та етнокультурний розвиток циган (рома) України (XVI-XX ст.).* 3 листопада 2006 р., м. Донецьк. Донецьк: Вебер: 114-125.
- Cherenkov, Lev. 2006. Who are the Lithuanian Roma? Paper presented at the 7th International Conference on Romani Linguistics, 14-16 September 2006, Prague.
- Черенков, Л. Н. 2008. Цыганская диалектология в Украине. История и современное состояние. *Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів* 15: 489-503.
- Черенков, Л. Н. 2008. Диалект цыган-риширов. Paper presented at the 8th International Conference on Romani Linguistics, 4-6 September, Sankt Petersburg.
- Čerenkov, Lev. 2009. So si e romani tradiocionalno kultura. Vortrag im Rahmen der Internationalen Jubileumssitzung zum 70. Geburtstag von Prof. Mozes Friedrich Heinschink, 21. August 2009, Wien.
- Czerenkov, Lew (Leon Muzowski). 2009. A cy na san tu Litvate? – A czy nie jesteś pan z Litwy? Gwara i samoidentyfikacja Cyganów litewskich. *Studia Romologica* 2: 199-212.
- Черенков, Л. Н. 2010. По цыганским селениям Молдавии. 1969 год. В: Е. Д. Андреева / Н. М. Габриэлян. ред. *Отаровские чтения 2008-2009. Вып. 2.* М.: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва: 158-166.
- Черенков, Л. Н. 2009. Цыгане – диаспора? *Диаспоры* 1: 239-256.
- Черенков, Л. Н. 2010. Музыка в цыганской культурной традиции (звук у цыган). В: Е. Д. Андреева. ред. *Звук и отзвук. Сборник статей.* М.: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва: 226-243.
- Черенков, Л. Н. 2011. Цыгане Смоленщины (историко-этнографический очерк). В: Е. Д. Андреева. ред. *Смоленская земля. Дорогобужский район: Очерки прошлого и настоящего.* М.: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва: 256-272.
- Черенков, Л. Н. 2013. Цыганская диалектология в России: современное состояние и задачи. В: К. А. Кожанов, С. А. Оскольская, А. Ю. Русаков. ред. *Цыганский язык в России. Сборник материалов Рабочего совещания по цыганскому языку в России: Санкт-Петербург, 5 октября 2012 г.* Санкт-Петербург: 6-24.

Serimata
Воспоминания
Memories
Erinnerungen

Прощание коллег

Вспоминая Льва Николаевича ...

Мы очень хотели, чтобы Лев Николаевич прочитал наше послание в день своего юбилея, но всё сложилось не так – его не стало. Это наша печаль и боль.

Но в нашей памяти Вы, Лев Николаевич, продолжаете жить, а мы – говорить с Вами.

Уже формально нет того коллектива, в котором мы так хорошо проработали вместе много лет. Сейчас, Лев Николаевич, Вы снова собрали нас вместе – нас, таких разных, отделённых друг от друга местами службы и новыми заботами, собрали в виртуальном пространстве, чтобы сказать Вам прощальные слова.

В 1992 году в России – Москве появился Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия.

В 1996 году в Институте Наследия появились Вы – большой, неспешный, мудрый. И все годы нашей работы в Институте Вы, человек энциклопедических знаний, не переставали удивлять и восхищать своими познаниями в филологии и лингвистике, фольклоре, этнографии и истории как русской, так и европейской.

Вы человек редкой специальности – цыгановедения. Редкая специальность по многим причинам, но остановимся на одной из них: за броской яркой внешностью и нестандартным поведением цыган, иногда выставляемыми напоказ песнями и плясками, скрывается тщательно отгороженный мир их убеждений, Закона, Суда, а также некоторых обрядов и обычаев, куда не допускаются «чужие». И это то, что остаётся у цыган неизменным при внешней ассимиляции в культурах, куда они попадали, кочуя. А Вы, Лев Николаевич, проникли в эту удивительную для всего мира культуру, понимаете её и, как мы знаем, пользуетесь у цыган самым большим уважением и доверием. Не будем гадать, как Вы этого достигли, но одно правило непреложно для всех полевых исследователей самых разных культур: нужно уважать и ценить людей, с которыми ты общаешься, о которых хочешь узнать как можно больше. И это отношение должно быть для исследователя совершенно органично: уж цыгане-то сразу поймут, кто ты такой. А интеллигентный Лев Николаевич к тому же человек естественный в самом

лучшем смысле слова: доброжелательность в отношениях с людьми, профессиональная открытость миру прекрасно сочетается с европейским пониманием такта как признания «своего» пространства и у себя, и у другого. И эти качества обеспечивают самое лучшее ответное отношение к Вам со стороны ближнего и дальнего окружения, в том числе коллег-исследователей и многочисленных информантов.

Многогранность Вашей личности, обладающей безусловным авторитетом у всех, кто соприкасался с культурой цыган, проявилась прежде всего в том, что вокруг Вас образовался центр из многочисленных специалистов, связанных своими профессиональными интересами с цыганской культурой, – преподавателей, исследователей, постановщиков кинофильмов о цыганах.

Вы автор статей о цыганах калужских, смоленских; Ваши доклады и лекции об уникальной и разнообразной в своих географических вариантах живой цыганской культуре собирали большие аудитории. С Вашим участием издавались цыганский словарь, переводы фольклорных цыганских песен, книга о Холокосте.

А каким удовольствием было находиться с Вами рядом в одном застолье и слушать, как Вы поёте!

Нам всегда будет не хватать Вас, очень горько прощаться с Вами, и сегодня все мы, кто работал все эти годы в Институте наследия, вспоминаем Вас и скорбим о Вашем уходе.

Любящие Вас коллеги: Е. Д. Андреева, А. А. Белошееева, Н. М. Ведерникова, Ю. А. Веденин, Р. Р. Мусина, С. Е. Никитина, В. И. Плужников, М. А. Полищук, С. А. Рябов, П. М. Шульгин

Надежда Белугина

Светлой памяти нашего бесценного друга

В этом году наша семья, как многие друзья Льва Николаевича, готовилась поздравить нашего замечательного, старинного и любимого друга с прекрасным, солидным юбилеем! Хотелось верить, что весной ему станет лучше, и все, кто знают и любят Лёву, порадуются за него. Но 16 апреля Лев Николаевич ушёл от нас. Как тяжело и скорбно принять это! Всегда горько терять добрых людей, а терять самых близких друзей, рядом с которыми прожил большую часть своей жизни – большое горе, утрата невосполнимая!

Наше знакомство с Лёвой было не совсем обычным. И как чудесно, что судьба дарит нам однажды удивительную встречу, за которой начинается дружба на всю жизнь!

Бывает так, что сначала судьба как бы примеряется и водит избранных ею по одним и тем же дорогам, только в разное время. Так было и у нас с Лёвой. Он дружил с моим дядей Михаилом Семёновичем Васильковым, который был в то время одним из самых образованных московских цыган, кандидатом экономических наук, уважаемым и очень интеллигентным человеком. А в Цыганском театре «Ромэн» Лев Николаевич хорошо знал многих артистов, в том числе мою тётю Любовь Петровну Василькову – очень красивую, талантливую актрису, которая своей внешностью, голосом и танцами шестьдесят три года украшала спектакли театра «Ромэн». Но мы с Лёвой знакомы не были.

Лишь много лет спустя цыганский поэт Николай Георгиевич Саткевич, узнав, что я занимаюсь филологией, с особым восхищением и гордостью рассказал мне о своих молодых друзьях Лексе Мануще и Лёве Черенкове, о том, как много иностранных языков и диалектов цыганского языка они знают. Николай Георгиевич познакомил нас с Лексой, потом вместе с ним пришёл к нам в сваты и, наконец, с женой Анастасией Михайловной (моей двоюродной тётей со стороны отца) гулял на нашей свадьбе. А на другой день мы с Лексой принимали у нас в гостях Лёву Черенкова. Так 12 августа 1970 года я познакомилась с Лёвой. А через несколько месяцев мы с Лексой были свидетелями на церемонии бракосочетания Лёвы и Элечки и желали им счастья. С тех пор прошло 45 лет, и в начале этого года я от всей нашей семьи

с радостью поздравляла Элечку и Лёву, желала им здоровья, счастья, бодрости духа и хорошего настроения.

Мы втроём: Лёва, Лекса и я двадцать лет проработали вместе в ИНИОН АН СССР (Институт научной информации по общественным наукам Академии наук СССР). Каждый день мы встречались, чтобы поговорить о новостях нашей жизни, жизни страны и о цыганских новостях, делились впечатлениями и воспоминаниями. Лекса с Лёвой подолгу обсуждали важнейшие цыганологические вопросы и гипотезы, для них это всегда было важнее всего. Нередко обсуждение переносилось на вечер и продолжалось по телефону. А бывало, что встречались и в выходные дни. Они говорили и не могли наговориться. Лёва был любимый и самый близкий друг Лексы!

Сегодня мне хочется сказать о том, что в глубине души моей лежит. Лёва всегда был нам больше, чем друг. Он был братом. Мы виделись с ним чаще, чем виделись с родственниками, да и тем для разговоров с Левой у нас было намного больше. Когда мы беседовали втроем, то чувствовали родство душ, взаимопонимание, единодушие, чувствовали, что чувство юмора и общение у нас на одной волне. А всё это дорогое стоит!

Мы вместе прошли большой путь. Были свадьбы и праздники, потери и разочарования, забота и поддержка в трудные моменты. Мы радовались успехам друг друга, выходу книг и статей. Лёва поздравлял нас с рождением сына Иманта, дочери Гиты и внучки Джулианны и все эти годы поздравлял нас в памятные даты. А мы поздравляли Лёву и его семью. Наши дети, а теперь уже и внуки от рождения и до сих пор очень любят Лёву. Каждый его приход к нам всегда был для нас праздником. И хотя мы виделись почти каждый день, Лева всегда был особенным, почётным гостем в нашем доме.

В нашем ИНИОНе в то время работало около полутора тысячи человек и многие научные сотрудники владели двумя-тремя иностранными языками. Однако наших «цыганских полиглотов» Лексу и Лёву все знали и ценили особенно. Ведь каждый из них владел более чем 30 иностранными языками и многими, часто совершенно непохожими, диалектами цыганского языка. Поэтому в сложных ситуациях сотрудники советовали: «А вот спроси у наших цыган, они все языки знают!» И, хотя я тогда знала чуть меньше 10 языков (а в их числе был редкий венгерский язык), тень славы наших знатоков падала и на меня: подходили и просили перевести с эстонского или финского, а то и с голландского.

Лёва и Лекса постоянно много читали, переписывались с иностранными учёными-циганологами, были в курсе всех опубликованных цыганологических работ.

Нередко за рубежом и у нас в стране публиковали их работы. Знания и талант Льва Николаевича и Лексы Мануша высоко ценили авторитетные

учёные за рубежом и в СССР. Неоднократно в те годы их приглашали на международные цыганологические конференции, но поездки не удавались по независящим от них причинам: то приглашения приходили по почте спустя две недели после мероприятия, то задерживали оформление визы.

Впервые друзья смогли поехать на IV Международный цыганский конгресс в Варшаву весной 1990 года, где их выбрали в рабочие комиссии по языку, истории и культуре. В сентябре того же года Венгерская академия наук пригласила Лексу Мануша выступить с докладами по цыганологии в нескольких университетах страны. Тогда Лекса сам перевёл свои работы на венгерский язык и выступал без переводчика. А Лев Николаевич начал активную цыганологическую работу в странах Европы. Позднее он перешёл на постоянную работу в Институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, где работал до недавнего времени. И всегда важнейшей для Льва Николаевича была работа в области цыганологии.

Постоянно, буквально ежедневно, читая, изучая, обдумывая, анализируя исторические, лингвистические, этнографические, фольклорные материалы, он собрал огромную массу знаний и щедро делился этим со всеми, кто обращался к нему за помощью в написании статьи, при обработке фольклорного материала, в работе над диссертацией, при составлении словаря или просто за разъяснением. Не только в Москве, но и в других городах нашей страны есть много людей, которым Лев Николаевич своим научным багажом помогал войти в цыганологию, поверить в себя, осмелиться заговорить о себе как о цыганологе. И делал это всегда терпеливо и корректно.

В нашей стране есть много изданий, вышедших в свет под редакцией Льва Николаевича Черенкова, и получилось это благодаря тому, что именно он, такой эрудированный и авторитетный учёный-цыганолог, согласился взяться за очень непростой труд. Это – участие в изданиях Ефима Друца и Алексея Гесслера, редактирование и подготовка к печати Словаря кэлдэрарского диалекта братьев Романа Степановича и Петра Степановича Деметров и много других работ. И это помимо авторских работ самого Льва Николаевича.

У Льва Николаевича была феноменальная память не только на языки. Он замечательно запоминал мелодии. Однажды услышав песню болгарских, сербских цыган, песню кэлдэрарей, сэрзов, он по прошествии времени мог напеть её. Его наблюдательность и артистизм позволяли ему абсолютно точно воспроизвести однажды увиденные характерные танцевальные движения, мимику и жесты разных людей, их стиль поведения и речи. Это – дар редкий и не единственный. Лёва был очень дружелюбный, с отличным чувством юмора. И потому у Лёвы было много-много друзей. Он был очень отзывчивым и помимо работы в институте, цыганологии, постоянно занимался общественной работой. И здесь мы были вместе: на конференциях и дискуссиях, в Секции

цыганской культуры при Российском Фонде культуры имени Д. Лихачёва, в Цыганском культурно-просветительном обществе «Романо кхэр», писали статьи для наших московских цыганских изданий, учили цыганских детей.

В первом, переведённом с цыганского языка детском сборнике стихов Лексы Мануша «Хочу лошадку» было стихотворение «Цыганская ёлочка». Эту идею мы претворили в жизнь: 26 декабря 1995 года в Москве в Федерации мира и согласия с большим успехом прошла Первая цыганская ёлка. На второй ёлке Дедом-Морозом по моей настойчивой просьбе был Лёва, и я написала для него стихотворное приветствие на цыганском языке. В образе Деда-Мороза Лёва был неподражаем!

Когда 24 мая 1997 года после продолжительной болезни не стало Лексы, Лёвина семья скорбила вместе с нами. Их участие и поддержка нам всегда очень дороги. Теперь более десяти лет я живу в Риге. Все эти годы наша дружба продолжалась. Мы общались по телефону, по Интернету и очень радостными были наши встречи, когда я приезжала в Москву. Дружба наша с Лёвиной семьёй продолжается и теперь, когда Лёвы не стало.

Дорогой Лев Николаевич!

Спасибо Тебе за то, что своим трудом, редким талантом, своими знаниями Ты поднял цыганологию на новую ступень, Ты помог многим начинающим цыганологам обрести себя в этой науке, Ты показал пример щедрого отношения к молодым учёным!

Дорогой наш Лёва!

Вся наша семья благодарит Всеышнего за то, что Ты, наш замечательный друг, был в нашей жизни! Спасибо Тебе и Твоей семье за сердечность, тепло и внимание, которое вы всегда дарили нам. Мы вас очень любим! Низкий прощальный поклон Тебе, Лёвочка! Мир и покой душе Твоей! Светлая память! А Твоим близким желаем здоровья, милости Божьей и благополучия!

С искренним уважением и большой любовью Надежда Белугина,
вдова известного цыганского поэта и цыганолога Лексы Мануша.

Вадим Торопов

О Льве Николаевиче Черенкове – друге, наставнике, коллеге

Я учёный редкой для нас, новой формации, свои основные знания я получил не в высших учебных заведениях, а в «поле», во время проживания в нескольких цыганских семьях, некогда составлявших единый табор, а сейчас живущих в районах Кубани, Абхазии, Западной Грузии. В июле 1979 года в станице Натухаевской Краснодарского края я познакомился с двумя молодыми музыкантами из станичного ВИА. Одному из музыкантов, крымскому цыгану Павлу Борисовичу Гумероглому, я предложил составить словарь его родного языка. Павел воспринял мое предложение с огромным воодушевлением и интересом, и буквально через два месяца нами уже был составлен список примерно из 750 цыганских слов. Работа кипела каждый день, вскоре я смог составить первый в своей жизни алфавит для записи слов и с его помощью записывать уже целые предложения. Время в занятиях летело: я очень быстро научился бегло говорить по-цыгански. В июле 1981 года в той же станице мною была записана первая цыганская сказка, потом другие... Особое внимание я уделял не только сбору слов, но и изучению грамматики языка. Объёмы материалов, собранных с помощью дружески настроенных ко мне крымских цыган, росли, и мне всё сильнее хотелось показать их столичным учёным-цигановедам.

На пятый год от начала своих занятий языком крымских цыган (шёл 1984 г.) я набрался храбрости, взял с собой все материалы, собранные по языку, и по совету цыган поехал в Москву в Институт этнографии и антропологии АН СССР. Там я встретился с тогда весьма молодой цыганкой, научным сотрудником Надеждой Георгиевной Деметер. Она посоветовала мне обратиться к нашему тогда старейшему цыгановеду Татьяне Владимировне Вентцель, а та, согласившись встретиться со мной в домашней обстановке, пригласила к себе Льва Николаевича Черенкова, своего коллегу, прекрасного знатока различных цыганских диалектов Советского Союза и других стран.

Госпожа Вентцель с необычайно широким радушием приняла меня в своей перенаполненной книгами квартире. Через несколько минут подошёл

и господин Черенков. Пока я смаковал незамысловатые, но весьма вкусные московские булочки, сидя напротив Татьяны Владимировны и запивая их вкуснейшим чаем, она с большим интересом стала просматривать материалы к словарю, привезённые мною. Перед ней был первый и довольно объёмный словарь этого диалекта цыганского языка. Интерес пожилого цыганолога к моей работе был явно неподдельным. Лев же Николаевич в это время был погружён в чтение сказок, записанных мною от цыган на Кубани. Татьяна Владимировна, оторвавшись от рукописи «Словаря» обратилась ко мне с вопросом: не работал ли я над грамматикой диалекта? Я скромно ответил, что пока нет. На что она полузаговорчески сказала: «А вы, попробуйте! У Вас обязательно должно получиться!» Я сконфузился и весьма уклончиво сказал, что к следующей нашей встрече я постараюсь написать хотя бы черновик грамматики.

Лев Николаевич неожиданно сказал: «Ваши сказки для меня очень интересны! Я хотел бы просить Вас, если это возможно, оставить их мне для более основательного с ними ознакомления». Внимание к моим сказкам крупнейшего цыганолога СССР польстило мне, и я передал их господину Черенкову для более серьёзного их изучения. Я тогда ещё и не знал, что как раз в это время известные советские этнографы Ефим Друц и Алексей Гесслер начинали свою работу в издательстве «Наука» по составлению нового сборника цыганского фольклора «Сказки цыган СССР», а Лев Николаевич любезно согласился быть ответственным редактором этой книги. Привезённые мною сказки как нельзя более кстати подходили под тематику книги и я неожиданно для себя, с лёгкой руки Льва Николаевича, вдруг стал «одним из советских цыганологов, с успехом изучающим у нас в стране фольклор и языки этнодиалектной группы крымских цыган».

Позднее я понял, что к словам пожилой и весьма милой Татьяны Владимировны необходимо относиться с особым прищетом, так как эта хрупкая женщина была одной из легенд советского цыгановедения, она была одним из авторов первого в нашем государстве «Букваря» для цыганских школ. Прощаясь с радушной хозяйкой, я сказал, что непременно выполню её «домашнее» задание и постараюсь написать грамматику диалекта. Уже на улице Лев Николаевич любезно дал номера своего рабочего и домашнего телефонов. Чтобы быть ближе к Москве, я в 1986 г., не без огромного сожаления, переехал на постоянное место жительства в свой родной город Иваново. Однако дружеские отношения со многими молодыми крымскими цыганами – жителями района городов Анапы и Новороссийска – прекращены не были.

Теперь я всё чаще и чаще с огромным удовольствием мог встречаться со Львом Николаевичем, работавшим тогда в Институте научной информации по общественным наукам АН СССР.

Свою первую рукопись для депонирования я подготовил при всесторонней помощи сотрудников издательства Ивановского государственного университета. Научным редактором моей первой рукописи-исследования, подготовленной для депонирования, был сам Лев Николаевич Черенков. Как я помню, он в холле института, необычайно быстро, в один присест отредактировал всю мою первую рукопись. Мне в это время было несколько не по себе: потому что я без ссылки использовал в водной статье своей рукописи некоторые материалы по истории языка крымских цыган, любезно переданные мне Львом Николаевичем для ознакомления, я чувствовал при этом в своей статье наличие некоторой доли плагиата, но все конкретные данные изо всех языков, чтобы не было ошибок, я проверил по различным словарям лично, что в некоторой степени увеличило мою долю в авторстве.

Я тогда ещё не понимал и в полной мере не осознавал того, что Льву Николаевичу при даче рецензии на мою работу потребовалась серьёзная борьба с самим собой, так как публикации по языкам народов Крыма в Советском Союзе тогда ещё находились под негласным запретом. Проведение любых исследований и публикации трудов по истории, фольклору и языку цыган Крыма в XX в. были фактически запрещены дважды: первый раз в 1937 г., когда были свёрнуты все научные исследования по цыганской тематике, при этом одновременно были ликвидированы все имевшиеся на то время в школах цыганские классы, и второй раз весной 1944 г., после депортации народов Крыма и Северного Кавказа (татар Крыма вместе с цыганами, записанными ещё в царствование Александра II в 1855 г. в документах как татары). Я буду вечно благодарен моему научному руководителю за этот непростой, но весьма благородный шаг.

Первая депонированная мною работа не стала последней, благодаря подсказкам Татьяны Владимировны и Льва Николаевича, у меня выстроился чёткий план тем, которые я хотел бы, да и мог осветить в своих работах. Работ всего было депонировано шесть общим объёмом более 14 печатных листов, в рукописях был опубликован первый, довольно большой по объёму словарь диалекта, а также рассмотрены следующие темы: состав слова, типы парадигм слов, морфология и синтаксис языка. Шестой была рукопись содержащая этимологический словарь.

В институте, в котором работал Лев Николаевич, чаще всего мы встречались и обсуждали мои проблемы в холле на первом этаже. Однако однажды Лев Николаевич пригласил меня в свой рабочий кабинет и мы поднялись по лестнице на верхний этаж. В кабинете в то время находился ещё один сотрудник. Лев Николаевич представил мне своего коллегу, назвав его просто Лекса. Как оказалось, этот сотрудник был цыганом из Прибалтики, посвятившим всю свою жизнь науке, в том числе и цыгановедению, цыганской лингвистике, свои труды он обычно подписывал как Лекса Мануш.

Мне вновь повезло, Александр Дмитриевич Белугин через некоторое время любезно согласился стать научным редактором моей первой цыгановедческой книжечки под названием: «Крымский диалект цыганского языка», изданной уже в постсоветское время на мои личные средства в издательстве ИвГУ в 1994 г. Финансовые ресурсы, которыми я тогда располагал, были весьма скромны, но эта тоненькая книжечка в 32 страницы не только появилась на свет, но и стала продаваться (её тираж составил 365 экземпляров) в одном из центральных московских магазинов научной книги, и так я, не без помощи Льва Николаевича и Александра Дмитриевича, стал автором самой настоящей книги. Давайте не будем забывать, что эта книга была первой в СССР по фольклору цыган Крыма, она всё-таки, по-настоящему пробила довольно широкую брешь во многолетнем запрете на изучение этого языка.

Общаясь со Львом Николаевичем, я постоянно восхищался его довольно редкой способностью говорить на многих языках, он прекрасно знал не только самые различные диалекты цыганского языка, но и свободно мог говорить на многих европейских языках. Один раз я спросил его, на скольких же языках он может объясняться, мой собеседник ушёл от ответа, но из разговоров с ним я приблизительно смог подсчитать это количество, которое превышало тридцать языков. Вспоминается, что один раз Лев Николаевич буквально вытащил меня на международную конференцию в Австрию, в город Грац. Дело в том, что я не мог сносно говорить ни на одном из языков международного общения, но любезный Лев Николаевич всячески поддерживал и подбадривал меня. Я до сих пор благодарен моему наставнику за помощь в подготовке английского варианта текста моего выступления.

Благодаря Льву Николаевичу, на этой конференции у меня возникла дружба с некоторыми европейскими учёными. Моим другом стал господин Тенсер, успешно защитивший докторскую диссертацию. Мы до сих пор поддерживаем связь друг с другом, я несколько раз просил молодого профессора проконсультировать меня по некоторым вопросам филологии, а также выполнял его просьбы.

Помощь со стороны Льва Николаевича для меня была всесторонней, под его руководством я, по существу, прошёл почти весь тот путь, который проходят и обычные учёные. Так пусть же каждому из них повезёт, как мне, и у каждого будет такой эрудированный, строгий, но добросердечный наставник, как Лев Николаевич Черенков, помогший мне подготовить и опубликовать почти три десятка работ по истории, культуре, фольклору и языку крымских цыган, создать алфавит для этого языка, т. е. стать практически создателем крымско-цыганской филологии как самостоятельной научной дисциплины.

Fatma Heinschink

“O trin čirikle” taj aver masalja

Eji, Čerenkov sar jekh phral isinanas mange. Avilanas oxtovardeš beršengoro. But far avela mi godjate, kana avesas amende, bešasas, gilavasas, masalja kerasas, šakades kerasas, asasas. Daha angle sinamas hep paš-paše, mos-moste. Akana daha but našti ti keras šakades, ja ki kjomputeri, ja ko telefoni ti keras amenge lafi. Phrala Lev, adala masalja kerdom len ti sajgiske! Rahmeti ti theres, o Dovol ko dženleti ti bičhavol tut!

Amari Hajrija

Amari Hajrija, i koroli Hajrija, lakoro dat isi mo kak o Samsonlus, lakiri daj isi mi bibi i bari Menekša. Ama voj mangelas eke Tepečiklis. Anav leskoro isine Hüsein, ama sare leske ‘Karakaš Hüsein’ vakernas: Kale phuvja, kale jakha, esmergüzeli jek čhavo isine. I Hajrije našlas lesar!

Ka našlas, mo kak o Samsonlus rahmetlis, isine baro diktatori. Vakerdas “na!” – na! Gelo ko karakoli, i čhaj da isi xurdi ko breša: “Ja mi čhaja ka den, ja ka umlavav ma!” O polisja dine i čhaja. Akana so ka kerel mo kak, mi bibi? Mangena sigo ti prandiskeren la javereste. I Pašaskere dadeskoro anav isine Vejis, ama o Roma Vejsel vakerenas leske. I dajakoro anav isine Tuto. Ama lače Roma, godjavera Roma sine. Von isine Kardičakere. Akana von da kerde lafi rom-romli, i Vejsisa i Tuta, mangena ti mangljaren i Piniskere čhaja i Salija, la mangena ti mangljaren i Pašaske, i Pašaske ti prandiskeren la. Von akana kerde pes lafi ka mangljaren i Salija. Von akana linde po drom džana ko Pinis, ti mangen i čhaja.

Akana mo kak, mi bibi katar šunde, na džanava. Mi bibi mo kak vurtinde len katar ko drom, linde len pumare khereste. So kerde, kerde, i Hajrija dine la ko Pašas. Ama i Hajrija na mangela i Pašas, i Hajrija mangela okule čhaves, vov da romano čhavo isine, o Tepečiklis Hüsein; sade amare Romendar nane. Akana si adikas jek adeti mi bibijate da, mi kakeste da. Adikas sine, ke von i džamutren i borjen but mučarenas len, sora o čhaja, o čhabe lengere lafistar avri na nikjonas. So ka vakerelas i daj o dad, oduva ka kerenas, o čhaja da o čhabe da. Astarenas pi dajakoro lafi, kan denas, so vakerela oduva, kerenas. Akana sade von hep mučarena i borjen i džamutren. Ozaman na sine češmes andre ko khera, avri sine ko sokakja. Mo čoro Pašas, denas les duj kazanja, adikas jek rovlik, jek kazani akate, jek kazani akate čhuvolas pi dumeste. Isine len duj, trin varelja. Adala duj,

trin varelja isine i Pašaskiri buti, vov ka pherel len. Mo čoro Pašas, katar ki buti avelas, hep pani akharelas. “Paša akava ker!”, “Paša okuva ker!”, “Paša dža akhar pani, pher o varelja!”, “Paša thov amare kilimja!” Hep vov kerlas.

O Pašas čalilo. Gelo o Jamjam Ismaili, leskoro phral, vov da gelo pi phraleste, phiraimaske. Kaj gelo pi phraleste, akana Hajrije geli pi dajate, vakerdas pe romeske: “Mej džava mi dajate!” Ama na geli pi dajate! Geravel pes agore, ti šunel, so lafi kerena o duj phrala. Šektani sine. Akana vakerla o Pašas pi phraleske: “Mo phral”, vakerdas, “aboka izijeti čidava, sasto dives buti kerava, katar ki buti avava, kelimja thovdarena man, duj varelja, trin varelja pani akharava katar ki češma, mo phiko dukhala man. So ti kerav? Mej adale romlja mangav ti mukav la!”, vakerdas. “Iji mo phral”, vakerdas akana o Ismaili o Jamjami, “muk la, jala tuke amende!” – “Ama”, vakerdas, “lazimi isi o kemerri ti lav!” Amende amare Romende opral lende sine o love, kemerri therenas o džuvlja. Sare pi love opral ki romli ko kemerri isine, i banka isine i romli. “Sar ka-les o kemerri?”, vakerdas. “Sar sovola”, vakerdas, “ka-dikhav ti čorav o kemerri, barima mi love ma ti mukav. Ka-lav o love da, ka-avav mange”, vakerdas. “Tu ušti javinakoro, dža tuke, mej kana ka-lav o kemerri mej da ka-avav mange!” – “Iji”, vakerdas o Jamjami. Odija rjat sutas.

Voj akana šundas o lafi, džal pi dajate. “Dajo”, vakerdas, “o dinlo mangela ti mukel man. Ama”, vakerdas, “mangela o kemerri ti čorol!” – “Aj mi čhaj, an o kemerri mande, ti gidas xani gazetes, dīrimlides ti čhinas, o love ti las, o gazetes ti čhuvas andre. Kana ka putrel čorimaske, hič ma de tut andre. O love hep mande ti ačhon, mej ka geravav len!” – “Iji dajo”, vakerdas. O Pašas da asavki jek buti kerlas, gazetes kinelas, šišedes, asavke butja. Džal voj, katar ko torbas lel jek demeti gazetes, geldas pi dajate. I daj čhindas, čhindakerdas len sar love. Söktinela o kemerri, lel o love, suvela o gazetes, sudas, tamam. “Ajdi”, vakerdas, “phande adava!” I Hajrija phandas po kemerri pi dumeste. Nejse bešlas keti bešlas, geli peske khore.

Ka dikhela, o Jamjami Ismaili sovela, o Pašas bešela. Voj da čhutas pes paše ko Pašas. O Pašas kerlas o jatakja, o jatakja isi hazíri. Čhude pes, sute peske akana. Tam epkaš i rat avilo, o Pašas po xani, po xani puterdas o kemerri, lel o kemerri. Javinnaskoro uštindilo dünles. “Ajdi mo phral, ušti!”, vakerdas. Lel pi phrales, asavki buti kerdas pes, ama kotar džal peske pi dajate. Lel po torbas, ka kinelas gazetes, medžmades, ko torbas čhuvolas. Lel pe, džal peske pi dajate.” Aj s’ avilas?” – “Muklom la, dajo, džak akatar avilom. Kerena man, sar jek īrgati buti kerdarena man. Muklom la, našlom mange!” – “Are mo čhavo”, vakerdas. Isine les jek čhaj da, Ajša. “Isi tu jek čhaj, a re mo čhavo!”, vakerdas. Godjaver isine i daj leskiri da, o dat da. “Aman dajo, biktīm lake, ama lindom o kemerri da, našlom.” – “Iji”, vakerdas voj. Linde o kemerri, ka putrena, so ka dikhen? O gazetes, nane o love! O Pašas lel po torbas, palpale gelo peske ki buti, katar ki buti gelo peske khore. Gelo peske khore. “A re dilineja”, vakerdas i romli, “so kerdan? Save budžande sinen tumen”, vakerdas, “o love linden, čhuden andre o kartja. Čordom o kemerri ama o kemerri phordo sine kartja”, vakerdas.

Othe ka sinomas, athe avilom!

I tiraxengiresar i mačhongoro

Isine ma ka sine, isine jek tiraxengoro tamirdžis. But buti kerelas, xani love lelas, po kher zorisar dikhelas. Isine les jek xurdo dükanı. Paše leskere dükaniste isine jek lokanta mačhengiri, ama i lokantakoro sajbis isine xulaj. Kiti xulaj isine, aboka da bokhalo jakhakoro isine! I tiraxengoro her dives javinaskoro ka ušila, thovela po muj, vurjarela pes, jek kotor mandro lela, čhuvela pi džobate. Džala peske pi butjate, o tiraxa tamiri kerela. Ko eleni nikjola. Pi dükaniskere vudarjate anglal nikavela pi džobatar po mandro. Ki lokanta ka pekona, odule mačhengere sungasar xala po mandro. Her dives adikas xalas po mandro.

Jek dives dikhlas les i lokantakoro sajbis. Golo paši leste: “Dikh mande, adže jekfar kana ka xas mi mačhengere sungasar to mandro, isi ti pokines panč groša! Ma ti pokinesa, adže jekfar ma ti dikhav tut athe!” I tiraxengoro idžekše na vakerdas. Golo peske andre ko dükanı.

Javinaskoro ko eleni pale nikištilo, anglal ki dükaniskiri vudar nikaldas po mandro pi džobatar, xala pale. Avilo i lokantakoro, bokhalo jakhakoro gadžo: “Mej tuke idži vakerdom, athe kana ka xas to mandro ka pokines mange panč groša! Sigo pokine mi panč groša!”, vakerdas. I tiraxengoro uštindilo, golo andre ko dükanı. Isine les jek xurdi kutija. Odule kutijate isine xani love. Lindas i kutija, avilo paši leste. Putardas i kutija: “Dikh!”, vakerdas, sikadas leske o love, jek da kunadas o love. Šikir, šikir bašenás o love. “Ej šundan akana i lovengoro sesi? Ake pokindom tuke ti mačhengiri sung! Adže so mangesa?”, vakerdas.

Othe ka sinomas, athe avilom!

O trin čirikle

Adaja masali mej na šundom idžekestar, mej korkori kerdom la tindre ti sajgijke:

Isine ma ka sine, isine jek phuri jek phuro. Ama adale phurjasa o phuro sine čorole. Adikas agore ko veš isine len jek kaliva. Phares nakhjonas. O phuro her dives džalas ko veš, kašta čhinelas. Džalas ko gav, biknelas, ama na kanzandinlas but love, kaj xanas, kaj na xanas, adikas nakhjonas. Jeg dives o phuro pale gelo kaštenege ko veš ti čhinel kašta. Isine othe jek folja. Ki folja bešelas jek čirikli, sine da trin tane xurde. Avilo jek kerkenezi, xalas i čiriklja, ačhil’ o xurde. Akana o phuro dela pes godi, so ti kerel? Ti mukel len ko veš, nane kon te parvarel len e xurden, ka meren. “Hajdi ti lav len khore”, vakerdas “kana ka babalindivon, ka len ti hurjan, ti dikhav len džak ozaman, palal von korkori našena peske!” Lindas len e foljasar, čhindas pi kašta, lodadas pi xerja, lel odule foljasar i čiriklen, gelo khore.

Anglal gelo ko gav, bikindas o kašta, palal gelo khore, i phurjake vakerla: “Če phurije”, vakerdas, “adives avilo o kerkenezi, xalas lengere daja, adala trin čirikle ačhile čorole, nane kon ti parvarel len, mej da andom len khore. Xani ti barjaras len, kana ka babalindivon ka len ti hurjan, von korkori našena peske!” I phuri vakerdas: “Dikh, so mangesa ker, ama andre ko kher na mangava i čiriklen. Avri dikh len, parvar len!” Vov da so ka kerel, ka džal ki kaliva ko keramides, čhudas len i foljasar, othe muklas len. Her javinaskoro ka uštila, en angle džala ko čirikle. I čiriklen parvarela, palal vov xala so si, so si tavela peske, xani šuko mandro ja kirral mandro. Džala ko veš, čhinela kašta, džala ko gav, biknela, katar ko gav so avela, hemen i xerja phandela, palal ko čirikle džala.

I čiriklen parvarela, i phurjake adava zori avela! “So si adava?”, vakerela i phuri, “javinatar so putresa ti jakha ko čirikle, katar ki buti so avesa, pale ko čirikle. So si adava? Mej adale čiriklen”, vakerla, “na mangava len!” O phuro vakerela: “Ah če phurije, beza si, muk adže xani, ti dikhas len, von korkori ka našen peske!”

I phuri pale na dela pes andre, o phuro pale parvarela len, lena o čirikle ti barjon. Xani adikas lena ti hurjan, ti keren mi čore, ama nane sar isi lazimi. I phuri džala, lela i folja lengiri, phangela, furatinela la, mukela i čiriklen bi foljakere. O phuro avela katar ki buti, džala ko gav, biknela o kašta, k' avela khore, ka dikhela: Nane i folja. O čirikle mi čore opral ko keramides ačhona, ama nane kaj t' ačhon. O phuro pale kerela lenge jek folja, čhuvola len othe. I phurjake vakerla: “Ah če phurije, ma astardžuv i čiriklendžar, beza si. Muk,” vakerla, “čorole ačhile, i daja xalas la o kerkenezi. Beza si, muk xani adže, zate linde akana ti babalindivon, xani adže ka phakalivon, von korkori ka džan peske!” I phuri na dela pes andre.

Pale nakhela ek, duj kurke, o phuro pale ki buti. Kaj džala voj? Pale i folja lengiri xalavola, ama o čirikle akana lena ti hurjan. Xalavola i folja lengiri, lena pes o čirikle džana ko ormani. Ka džana k' ormani, ka dikhena o phuro kaš da čhinela. Džana opral ki phureskere phike. O phuro ka dikhela, axavela len. Pale o phuro lela len, lela pi kašta, džala ko gav, biknela o kašta, palal len pale gelela othe khore. I phuri ka dikhela, xoljanela. Vov pale kerela lenge jek folja opral ko keramides, pale dikhela len, parvarela len.

I phuri pale ek dives lela odija folja, phabarela la, i čirikljenge bara čhuvola, kaštesar pala lende, o čirikle našena peske ko ormani. Ka džana ko ormani okule čiriklen pučhena: “Kaj isi amaro krali? Isi amen krali ja nane amen?” – “Ah”, vaker-na o čirikle, “isi amen krali!” – “Kaj isi?” – “Jalan ti gelav tumen!” Lena len o čirikle, gelena len ko krali. I kraliske vakerena: “Dikhen”, vakerna, “krali, amen isine amen daj, ama amare daja xalas la o kerkenezi, ačhilam čorole. Jek phuro lindas amen pi kalivate, opral ko keramides kerdas amenge folja, dikhlas amen, ama i phuri na mangela amen. Hep amari folja xalavola, amen kuvaladinela. So ti keras amen adale phurjasar? O phuro isi but lačho, mangasa i phures, ama i phuri si but bilačhi! So ka keras?” O krali vakerela: “Dikhen, ti gidas amen sare o čirikle, ti džas ki phurjakiri kaliva i phurja ti daravas la. Pale i phuri, ti dikhas, so ka kerel!”

Lena pes o čirikle, džana ki phuri. I phuri ki kaliva. Sar pekelas mandro sar[‘] o čirikl’ opral late. Okuva čiriklo lakere balendar, okuva lakere rutunjatar, dandarela la lakere kanendar, lakere čangendar. I phuri, so ka kerel mi čori? Katar ki dar lela pes, džala peske ko gav. “Adže jekfar”, vakerela “mej akale kalivate nan[‘] avava. Adala čirikle ka xan man!” Nejse, i phuri džala peske ko gav. O phuro akana avela khore, dikhela i phuri nane. Vakerla: “Kaj gelis adaja phuri, ti džav ti rodav i phurja!” Ama o phuro axavela, o čirikle kana daravena i phurja.

Lela pes o phuro džala ko gav, rodeli i phurja, arakhela la. “Ax če”, vakerla, “s[‘] avilo? Soske našlan?” – “Ka xanas man ti čirikle!”, vakerla, “dikh mi rutuni, mo kan, mi bala, mi čanga! Dikh so kerde len! Mej na mangava tut, phureja! Beš tuke ti čiriklendžar! So si adava?” – “Ax če phurije, ma ker xoli adale brešende”, vakerla, “o čirikle mangena tut, ama tu i čiriklen hep kuvaladinesa len, othar xoljasajle! Vurtine, jala ti khereste! Xani i čiriklen tuj da parvar len, von da ti mangen tut. Hajdi”, vakerla, “jala!”

Lela i phurja, gelela la ki kaliva. “Dikh”, vakerla lake o phuro, “čhave nane amen, džukel nane amen, mačka nane amen, barima adale čiriklendžar ti nakhavas amaro vakti!” I phuri dela pes godi. Lela pes i phuri džala peske khore. Palal sora so si e phurja, ama šuko mandro, ama giv, čhuvoli i čirikljenge. Ti si džuvde džak adives i čirikljendžar dosti si. Lačhes nakjhola, pi phuresar da jek džuvdola!

Othe ka sinomas, athar avilom!

O čhavo kaj sine xani xaxos

Adaja masali xurdjarola šundomas. Tam romani si!

Isine ma ka sine, isine jek phuri jek phuro. Isine len jek da čhavo. O čhavo lengoro isine xani xaxos. Ama mi čori, i phurjasar o phuro vakerla: “Ti prandiskeras adale čhaves, amen phurilam, ka meras so k’ avel leskoro hali?” Sar nejse, dena pes godi, arakhena eke čhaja, džana, mangljarena la. Dena la. Kerena o biav, lena la romljake.

Ama o čalado, o dilino na sovola pi romljasar. Na sovola pi romljasar jek masek, duj masek, trin masek na sovola. Akana i čhaj avili šukar, terni, lošasar avili. Akana ma ka sovola lasar o rom lindas mi čori ti maranginel sar jek luludi. Namborosajli. Oduva šukaripe lakoro golo. Avili mi čori sar jek mačka kašmeri. Ka dikhle akana adikas o komšudes adžidinena lake. “Devlam”, vakerna, “dikh beza. Terni, saji šukar avili, dikh kiti namborosajli athe.”

Avela o dives, i phurjasa o phuro merena. Ačhola voj rom romli akana. Ama mi čori dives-divesestar sar jek luludi ka marangjanelia. Dives-divesestar marangjanelia, hep namborindivola. O komšudes vakerde: “Ti las la, ti gelas la eke hodžaste. Beza mi čori, nane kon ti gelel la eke thaneste. Arakhena eke hodžas, lena la, gelena la, gelena la ko hodžas. Vov da džala lendžar akana o rom da.

Akana o hodžas kerela lasar lafi. Axavela o hodžas, o rom na sovela lasar, othar mi čori odule sīkintistar marangjaneli i čhaj. "Hajde", vakerla i komšudenge, "tumen nikjon avri, mej ka kerav lafi xani lakere romesar".

Sare nikljona avri, o hodžas vakerla: "Dikh", vakerla leske, "adale ti romljakoro namborope si katar ko soipe." – "Ej, mej lasar her rat sovava!" – "Adava soipe nane", vakerla, "adikas, adikas, adikas ka keres!" – "Iji", vakerla o čhavo. Lena pes džana khore. Odija rat sovola pi romnjasar. Leske da šukar avela, voj da xanik ki loš avela. Xanik ka dikheda la, dives- divesestar, dives-divesestar, dives-divesestar sastjola. Sar so sine adikas avela. Akana vakerla: "Ej bre Devlam, mej sar na axadom mi dajakoro, mi dadeskoro derti? Mej dikh, soimasar mi romnja sastjardom! Ti džanavas adava ka sine sastipe, mi dajasar da ka sovavas, mi dadesar da, džak adives saste k' avenas, ma ka merenas!"

Othe ka sinomas, athe avilom!

Phrala Lev, i Devlestari mangavas pale ti rakhindivas,
mos-moste ti kerasas amenge šakades!

Dragan Jevremović

Le Levoskê

Kamlemas le Levoskê vuni asamaskê vorbe pe lesko sastimos, te slavis pesko oxtovardešto bijando djes. Xancî phirjasa te kêrdamas! Bezêx, či reslas pesko baro djes, numa gelas-tar amendar maj anglal. Paćivakê kêrdem kodola djilja taj paramiča.

O Řom taj o rašaj

Sas taj sas, cîni e rjat baro o djes, jek Řom aj nas les bući, ašilo bi bućako. Numa vo gîndil pe, sar te kêrel kak lovořê, te pravarel peskê šavořen. But vrjama gîndisajlo, kaj te lel e bući ando vas, savi bući te lel ando vas? No atunč dja po gor, kê ande khangêri but žene aven haj paćan ando Del, čumiden le svecur aj thon po kak lovořê kotekê. Haj gîndisajlo: "Devla munreja, avelas bi mišto, te žav ka rašaj te pušav, te avav lesko sluga, kê kote vareso kam avel ma."

Lja pe vo jeg djes haj gêlo-tar ka rašaj. Kaj gêlo mardja po vudar, avel o rašaj: "T'aves sasto, baxtalo, raja rašaja!" – "Ah, t' aves sasto!", o rašaj kam phenel leskê. "So šaj te ažutiv tu? Kon mulo?" – "Ah, te aves baxtalo, khonik či mulo numa bi bućako sîm." – "Po so kames tu mandar?" – "Pa te des ma bući, te vareso kêrav tute bući taj kana sî tu lovořê te des ma varesogodi, de ma!" – "Ah", phenkê, "ako, mišto aviljan! Me rodav ekê manušês savo katka ažutil ma xancî, numa na svako djes. Kana šaj aves, vareso lašares kata e khangêri katkar, khoses le svecur, so šaj te kêres, kêres!"

No, o Řom kodja dabi dikhlija, teharin o djes žal-tar vo. Kêrel, lašarel, khosel, vraniko, sila! Haj čumidel le svecur, ankälavel love haj vo thol kak lovořê. Po jek thol, po trin lel. No nakhli jek rîndo vrjama, o rašaj avel ande khangêri, dikhêl but stuřo lovengo. Kana o sluga čistol, kêrel, love sa maj ciřa dičhon. Numa akana o rašaj či žanel kon řandel kodola love, kon lel le, kê aven but žene ande khangêri. "Numa Devla, sar te kêrav mo, te na muřo sluga lel kakala love katkar?"

No gîndil pe o rašaj sar te kêrel, so te kêrel? "Maj jeg djes kam thav ma me čoriš, kana vo či žanel kê sîm ande khangêri haj kam dikhav dal vov lel le love!" Khanči, djes po djes o sluga, aj o rašaj mothol leskê: "Slugo, žav-tar me ži ando foro aj adjes katka sî te avel jeg bolimos ande khangêri aj tu ža, lašar inča, khos te avel šukarimos, lašar!" – "Oh", phenkê, "rašaja, kêrav me kodo, sila sî t' avel!"

Kana sas, óo rašaj či gêlo ando foro, numa gêlo-tar ande khangêri. Kaj gêlo ande khangêri, phandadja o vudar andral aj ankadalja e čija. Aj vi ka sluga sî jek čija. Kaj o rašaj ankadalja e čija aj garadilo ando oltari inča, kaj našti del svako andrê kote. Kaj

garadilo ažukêrel vo, ažukêrel, ažukêrel, ažukêrel. Gîndil pe vo: "Devla, so sî le slugasa, naj t' avel. Maj cîra ažukêrav les aj žav-tar." Lja les e lindri.

Či nakhlo but, eta avel varekon pîterel e khangêri. Haj numa leste sî e cîja. Kaj pîterdjia e khangêri, kêrel vo trušul, čumidel inča le svecur, lja te kêrel ka svako sveco, lel po 'g zaloga aj thol ando poznari. Žal ka aver sveco, dikhêl sode love sî, kaj sî cîra love či lel, numa kaj sî xancî maj but vo lel. Kana anda 'g data ašunel, varekon ande khangêri. "Ej", phenkê, "so keres kodo? Bezêx sî kaj tu čores love andaj khangêri!" O sluga darajlo, dikhêl, phenkê, "Kon san tu?", pušel les. Haj phenkê: "Me sîm o Del!" – "Oh Devla munreja," phenkê, "so daradan ma, me gîndisardem, kê sî o rašaj!"

Atunč astardja les o rašaj, kê vo lel le love. Numa kodola bêrsa zî kaj kêrdja, vo kêrdja peskê jek kolibica khêreski pa khangêrjakê love aj phendja le rašaskê, phenkê: "Rašaja, me čordem xancî, kêrdem mangê jek kolibica aj tu čordjan kêrdjan jek palata!", mothodja le rašaskê! "Me", phenkê, "kêrdem jek kolibica te šaj bêšen muře šavoře, me či čordem – numa lem!"

Gele duj Řom ando gav

Gele duj Řom ando gav, bis te bičinen le kakavja aj dine ka je khêr. Pušen le gažes: "Mo", phenkê, "gazda, trobul tu, s' amen but laše kakavja, neve, xarkune, kaj šaj but vrjama te kanden tu!" O gažo phenkê, "trobul, den andrê!" Dine von ande avlija aj o gažo losardja e kakavi haj pogodisajle palaj kakavi. O gažo lengê počindja šukar.

Numa le Řom kana bičinen e kakavi kaj naj prja but laši, kaj sî diji bužo, atunč šaj desil pe te thavdel e kakavi. Kana o gažo thol šudro paj ande late, kodo bužo īnkêrel o paj. Numa kana thol la pe jag aj kamel te éiravel, atunč e kakavi kam thavdel, savi sas la krpe, kaj sas numa diji bužo. Ali o Řom žanel, kê kodja kakavi phařadi sas, numa bužesa makhli, diji bužo. O gažo počindja lengê.

"Oh" phenkê, "majstori, ásaven, tume san dromutne, čine, akana e gaži kêrel tu-mengê te xan, te pen, pačav kê či xalen ando gav!" Numa von bokhale sar je žukêl, numa lengê dar akana, te zumavel o gažo e kakavi, kam thol la pe jag kam thavdel, atunč musaj te bolden le gažeskê love vaj šaj o gažo marel le. "Na", phenkê o Řom "xaljam, či sam bokhale!" Pale kuko aver řom či ácarel mišto e bući aj phenel: "Pa gazda, t' avela tu vareso xamaskê, šaj!" Phenkê: "Aš, thon pe le beng ande tu, na kadja, numa de ma muj 'žas-tar!', kê te thavdja e kakavi musaj te boldav le saja le gažeskê!" Ali kuko kam pušel les: "Po sar te dav tu muj? Te ašunel o gažo anav." Phenkê: "De ma muj 'O khandino palaj bar!'"

Ali vo phenel leskê: "Govnane ajdemo, znaš da naša deca su bolesna, amare šavořen nasvale měkljam len nasvale, trobul te žas, te īngras le! "Na, den e beng ande tu, na kadja!" Po phenkê: "Sar?" – "Po khandino palaj bar!" Vo pale: "Govnane nemamo

puno vremena, treba da idemo, ma naj ame but vrjama!” Xoljajo o čořo, kam marel les angla o gažo, kē phenel leskē ‘Govnano’. Kana sas, o gažo mothol: “Govnane, pa dobro, ako žurite, ako su vam deca bolesna idite!” Dabi dikhļja vo te žal-tar. Kana gele-tar von inča line te xan pe. “Bre soste kērdjan ma lažaveskē angla o gažo, tu phendjan mangē ‘Govnano’ bušel mangē!” – “Bre, po tu phendjan ‘o khandino palaj bar’! Po so khandel palaj bar? O khul!” Phenkē: “Dileja, o bosiljako, o bosiljako khandel palaj bar!” – “So či phendjan ‘ajde Bosiljače?’” Aj kadja von xale pe aj dabi sképisajle.

Haćares? Kana le Řom bićinen bilaši bući, von či phenen pesko čačo anav, nego mothon kak xoxavno anav. Atunč len von le love taj so maj sigo dikhēn, te den punřo te žan-tar, te na bi o gažo zumavelas e kakavi. Atunč lengē maj drago fugo te žan-tar. Aj korkořo našti te phenel: “Žas-tar!”, kē o gažo kam haćarel. Nego phenel kukoleskē: “Bre, de ma muj!” Aj kukoči žanel, sar phendja o anav ka o gažo, aj o phral phendja ka o gažo, kē leskē bušel ‘Bosiljako’.

O Řom mangēl bori pala pesko šav

Gêtil pe je Řom, te žal te mangēl jeg bori pala pesko šav ka je Řom. Numa gîndil pe, “Devla, kana me žav ka kodo Řom, pušela ma kodo Řom, so sî ma, savo takumo sî ma? Numa kana me phenava korkořo, kodja bušel, kē me kērdjov bari bući, kē me fali ma, kē me luvudi ma. Nego maj feder te arakhav jekhès, te mothol anda mande, savo takumo sî ma, so sî ma. Gîndil pe vo, phenkē: “Žav me, te lav le Petres, kē o Petre žanel kodja sar makhljarel, sar kêrel, sar del bužo avères.”

Žal ka o Petre, phenkē: “Petre, ansîriv le šaves, numa tu te kères mangē vareso pala vas, te lav la borja, te phenes vareso, kak šukarimos, kak mištimos anda mande, anda muře šave, žanes?!” O Petre dabi kodja azukêrdja: “Jo phrala, žav tusa!” – “Žanes”, phenkē “sogod tu phenes, me sa duplo sî te phenav, naj problemo!”

Kana gele-tar von, gêtisajle, gele-tar inča. “T’ aves baxtalo phrala, te trajis mišto. Avilem...” Kêrdja kodo xanamik xamos, pimos. Ka mothol o Petre: “Mo xanamika, amen xaljam, piljam, numa khonik či pîtreł o muj, te mothol soskê aviljam amen!” – “No”, phenkē o gazda, kodo Řom, “fajma me aćardem soskê tumen avilen!” – “No so gîndis, sostar aviljam?” – “Fajma ašílo tumengē ži borjaké?!” – “Trajil o Del će šaven, sargod kē sanas amenca, sargod kē ašundjan sa so phendjam! But godjaver san! Kodolakê vi aviljam.” – “No phrala, mišto avilen!” Xuklo vo, čumidel pe lenca.

“Mišto avilen! Sî tu šav ansîrimaskê, man sî šej méritimaskê! Astardjos xanamik, naj problemo! Numa”, phenkē, “či prinžanav tumen mišto, či žanav či kon san, či će manuš san, čiti savo barvalimos, savo takumo sî tumen. No”, phenkē, “kamavas le xanamikes te ašunav!” – “Eta”, phenkē, “o xanamik mek mothol tukê! O xanamik kaj mangē ča ša vo či falil pe. Sa sogod sî les, vo sa maj cîra phenel. Me žanav les les. Žanav les me but bêrš savo sî

vol!” – “No”, phenkê, “ako mek mothol! No xanamika, so sî tu, xanamika, sar, savo takumo sî tu?” – “Ej xanamika, so te phenav tukê, sî ma duj grastoře!” Kuko o Petre, phenkê “te na pačas, štar sî les aj kodo save gras, sî te dikhê, naj Řomeste! Dikhê, phendem me tukê, kê či vo luvudil pe!” – “Dobro xanamika, sî tu vurdon, sî tu cêra?” – “Sî ma jek vurdonic, numa kak data phadjon le řate aj me kérav le, lašarav le, xanamika!” O Petre phenel: “Xoxavel”, phenkê, “te dikhê o vurdon lesko šatirime, kaj či dikhlan an éo trajol”, o Petre phenel.

“No, t’ aves baxtalo, dikhê! Aj kaj bêšes, sî tu khêr?” – “Pa naj ma khêr, aj sî ma jek cêra, kadja xancî phařadi, kana del o bîršind, pičal, numa thas pirja tela cêra te na lel amen o paj!” O Petre inčal xutel. “Xanamika”, phenkê, “phendem tuke, kê naj kodo Řom kaj luvudil pe. Sî te aves, te dikhê savi cêra sî les, zaruji sar khanikaste naj i vuluva sî les, sogod kames!” – “Čačes?” – “Aj anda sumnakaj, anda love, te na phenav tukê so sî les!” Sa o Petre sa vov dupliril. “Ej fala le Devleskê, kasave xanamikes me rodav! Te ašundjol, kê sim me xanamik barvale Řomenca, pačivale Řomenca! Dobro xanamika, sa phendjan amengê, numa či aviljan ée šavesa. Sar sî čiro šav?” – “Oh”, phenkê, “maj lašo šav či bijandjol!”, o Petre mothol. “Numa vareso musaj phenav tukê”, phenkê. “Muřo šav”, phenkê, “xancî falično, pe jek jakh či dikhêl!” Pale xuklo óo Petre inčal: “Ajde”, phenkê, “sa xoxavel, pe li duj či dikhêl!” Xoxadilo, kê vo sičilo sa po duplo te phenel. “Ah, či dikhêl pe li duj? Xanamika”, phenkê, “ašasa xanamika atunč kana avesa ée šavesa, te dikhas pala kaste kam dav muřa ša, kê takumo, ašundem, kê lašo sî tu, numa anda šavořo xancî kaj pe li duj či dikhêl, musaj e šej te dikhêl le šaves!”

T’ aves sasto taj baxtalo!

Ma naj maj but sar kaj sas kak data

*Ma naj maj but sar kaj sas kak data,
maškar le Řom phadjili e řata.
Desar trajin le Řom ande l’ khêra,
či maj phabol e jag anglaj cêra.
Ma naj maj but o khêr pe štar řate,
desar le Řom kérde le palate.
Baxtale Řom ketane phirenas
Jek avreskê pačiv anzarenas.*

Pačav kê kaća mří cini paramič taj le djilja xancî te kérdesas lesko trajo maj lošalo, maj veselo. Phrala Lev, te aves le Devlestari jerto!

O Dragano le Trumpesko

Нрама
Статьи
Contributions
Beiträge

The first suggestion of an Indic connection of the Romani language: Tentzel 1689

It is commonly assumed that the discovery of the Indic origin of the Romani language took place in the 1770s and 1780s, although it is difficult to say exactly who was the first to discover this, or even who was the first to claim this in print. Even if one could pinpoint a first printed mention of the Romani-Indic connection, the network of scholars who met and corresponded intensively with each other, and discussed Romani, makes it difficult to provide definite proof of who was the first to suggest this in the years around 1780 (see e.g. Matras 1999: 90).

The contestants are Hartwig Bacmeister, Christian Büttner and Johann Rüdiger (1782) in Germany, William Marsden (1785) and Jacob Bryant in Britain, and Samuel Ab Hortis or the student Stefan Valyi in the Netherlands and Hungary and perhaps Peter Simon Pallas in Russia (1782: 96¹; 1787-1789). Of these, Rüdiger can be said to be the one to have provided the linguistic proof, by showing the lexical and grammatical similarities between Hindustani, even suggesting the areas of grammar where European languages had changed the typological make-up of Romani. Rüdiger relied on a Sinti speaker, Barbara Makelin, for Romani, and a recently published grammatical description of Hindustani by Benjamin Schultz (1744) in Germany (see Pelikan 1987 for discussion of this grammar). I will not try to solve who was the first in the 18th century to suggest the Romani-Indic connection, I just refer to some of the main studies of claims: Sampson (1911), Hancock (1993), Matras (1999). Research on the scholarly networks of correspondence at the time, may shed new light on the question of who discovered what and when.

In this contribution, I will advance the date of the first comparison between Indic languages and Romani with almost a century, and perhaps even the date of the discovery of the Indic origin. What I like to focus on here, is a proposed link between Romani and Indic languages (more concretely Sinhala) as early as 1689, backed up with language data. This suggestion was done in a German scholarly journal attribu-

1 “In der Sprache der in Astrachan wohnenden Indianer will man einige Aehnlichkeiten einzelner Worte, mit der Zigeunersprache bemerkt haben.” (Pallas 1782: 96).

ted to the editor Wilhelm Tentzel. Tentzel had noted the similarity of one of the labels for the Roma, namely Cinganos, with the name of one of the populations of the island of Ceylon (now Sri Lanka), the Cingalos. On the basis of language data, he also noted some words that are remarkably similar.

1 Wilhelm Tentzel

Wilhelm Tentzel (1659-1707) was a German scholar, who had studied theology, philology and history in Wittenberg (Wegele 1894). He is mostly known for his numismatic and historical work, as well as for his monthly scholarly journal published in Germany in which new books were discussed in depth. The journal was called, in translation, ‘Monthly discussions of all kinds of books between some good friends’. In this journal, the new books were reviewed from several viewpoints by several people, in a dialogic discussion in which the participants all gave their opinions on aspects of the books, challenged the other people’s viewpoints, and contributed with their own knowledge and views. This formula with multiple (fictitious) scholars, enabled readers to form an opinion on the basis of arguments put forward by the discussants.

One of the books discussed in 1689 was the account by the Brit Robert Knox relating to his stay in the Kandy kingdom of Sri Lanka (at the time Ceylon) during almost 20 years. Among the many aspects of the society of the island, Knox discussed the Sinhala language spoken on parts of the island, which he had learnt to speak well. The discussion of Knox’ book in the August 1689 issue of the journal starts on page 777 and continues to page 843. The linguistic discussion fills a few pages (Tentzel 1689: 832-839), and relates to the possible link of Sinhala with the Romani language, two languages that are related. Both belong to the Indic branch of the Indo-European language family.

2 What was known about Romani in 1689?

When Tentzel compared Sinhala with Romani, there were not many published sources on Romani (cf. Miklosich 1874). There was the vocabulary collected by Scaliger (published in Vulcanius 1597; see N.N. 1930), the phrases in Borde (1547; see Crofton 1907), a version of the Lord’s prayer of 1622 (Gramaye 1622; see Bakker 2011)² as

² Adiego (in press), however, shows convincingly that the 1622 text is not authentic.

well as a few phrases in a Spanish comedy of the 16th century (Adiego 2013) and in an Italian comedy of 1646 (Ranking 1913, Piasere 1994) and some text in the Turkish travelogue of Evliya Çelebi of 1666 (Friedman/Dankoff 1991). Not all of these sources were known or available to Tentzel.

It must be said that, at the time, the European Roms were often confused with peripatetic peoples of Europe, some of whom could speak a secret language called Rotwelsch beside their mother tongue. Sometimes the Rotwelsch and Gypsy languages were assumed to be one and the same – which was and is incorrect (see also Matras 1998). Furthermore, an Egyptian origin of the Roms was often assumed, and therefore the language of the Roms was sometimes compared with the language of the Nubians, a population group in Southern Egypt and Sudan. The language of the Gypsies was sometimes compared with languages in ‘Aethiopia’. In the early days, Roms who arrived in Europe, regularly claimed to be from “Little Egypt” (Tcherenkov/Laederich 2004: 77-87), and therefore several of the ethnic labels of the Roms derive from a word for ‘Egyptian’, such as the English word ‘Gypsy’, the Basque word ‘Ijito’, the Spanish word ‘Gitano’, the Greek word ‘Jifti’, and the obsolete Dutch label ‘Egyptenaren’. Some early authors also compare Nubian language sources with Romani, or Romani is called Nubian (e.g. D’Avity 1637: 375, Gramaye 1622: last page).

Tentzel did not know all these pre-1689 sources for Romani, as many of them were published in other countries in different languages, or unknown, or inaccessible. Since Tentzel’s days, a number of manuscripts of Romani existed as well. A number of earlier sources have been discovered since, notably the 1515 manuscript word list by Grafing from München (Knauer 2010) and the word list from the mid-1500s from the northern part of the Netherlands (Kluyver 1899-1900, 1910). Obviously, the manuscripts were unknown to Tentzel, but also some of the printed sources were unknown or inaccessible to him at the time.

As all scholars at the time, Tentzel corresponded with other learned people. One of them was the philologist Hiob Ludolf, author of several books on the languages of East Africa, such as Amharic and other Ethiopian languages. Tentzel wrote to Ludolf in 1687 about some sources he had found on the Roma, among others in the works of the theologist Hottinger (1654: 32) and J.J. Scaliger. In the 1680’s, Ludolf reacted on articles written by Tentzel about the origin of the Roms (admittedly, the chronology and sources are not clear here). He corresponded with Tentzel about the possibility of a Nubian (East African) origin of the Roma. They exchanged a number of letters about the Roms and their language in 1687. Ludolf published a book in 1691 in which he discussed the claim that Romani would be a language of East Africa, which Tentzel referred to in a journal dated 1689-1690. In his book, Ludolf rejected this idea of an East African connection of Romani resolutely (1691: 214), as there are no similarities between Romani (of which he collected some data himself) and Nubian, Egyptian – or any Ethiopian or East African language for that matter.

3 Tentzel's comparison of Romani with Sinhala

Tentzel compared the lexicon of Romani with that of the Sinhala language. Sinhala is an Indic language spoken by the majority of the population on the island of Sri Lanka. Sinhala is an outlier among the modern Indo-Aryan languages, but there is no doubt about its affiliation with the Indic languages. The earliest texts in Sinhala from Sri Lanka are more than 2,000 years old, hence we can assume that Sinhala must have split off from the rest of the group of Indo-Aryan languages at least two millennia ago. As Romani split off from Indo-Aryan probably around a millennium ago, Sinhala and Romani may not share much vocabulary or grammar with each other. Nevertheless, Sinhala was the Indic language that Tentzel had access to, thanks to the recent publication of a book by Robert Knox about his adventures in Sri Lanka, where he had resided almost 20 years. Knox had included a vocabulary and a number of phrases in his book (Knox 1681: chapter IX). Tentzel had the book, and, intrigued by the similarity of the ethnonyms *Cingaros* for the Roma, and the *Chingulay* language of the Sinhalese, he set out to check lexical similarities between the two languages.

In the discussion relating to Knox' book on Sri Lanka, he quotes one Bochartus (Bochart 1681) who had written that one medical researcher of the 11th century called Serapion, aware of the frequent alternation between /r/ and /l/, had proposed an etymological link between *Chingali* ('Sinhalese') and Arabic *chingar* 'timid and cowardly man'. Samuel Bochart (1681: 774; 1695: 691, 694-695) wrote that the *Chingali* were victims of contempt, and the names of these peoples would go back to Arabic *chingar*, which would mean 'a timid and cowardly man'. Inspired by the similarity of the names of the inhabitants of the island of Ceylon with the name given to the "Zigeuner" in Italy, namely *Cingari* and *Cingali*, Tentzel surmised that the Roms who had come to Germany in 1418, could have come from the island of Ceylon, and thus they would have been *Cingulayen* in origin. He points to some cultural similarities, such as the existence of astrology and fortune-telling, which leads to the idea that he explores that the Gypsies would have their origin in beggars from Ceylon. Also, both groups have in common, according to Tentzel, for example, that they go begging in larger groups consisting of men, women and children. He realizes that just the etymology of the name of the people is not a reliable ground for making such claims of a common origin, and therefore one can take language as an indicator. In order to check this, he consulted two sources on the language of the Gypsies: Vulcanius (1597) and Gessner (1555).

Vulcanius (1597) is indeed one of the earliest printed sources of Romani, but Gessner is not. Gessner is famous for his book *Mithridates* (1555) in which he sup-

plies samples of the world's languages, mostly in the form of a text, the Lord's Prayer. In his book, Gessner (1555: 71v.-72r.) includes a section on languages with 'fictitious vocabularies', and the first one is that of the *Zigaris* or *Cianis* who travel around, and who are called *Zigynier* in the vernacular. He describes a population group that arrived in Germany in 1417, somewhat dark-skinned due to exposure to the sun. These people are called *Tartaros* or *Cianos*. They are described as having their own language, *Rotwelsch*. Besides, they speak the language of the country they reside in. Gessner believes they come from the area of the *Zogor*. On pages 73r. to 77v. he presents a longish word list of what he calls 'words of the fictitious language of the Gypsies and beggars'. None of the words, however, are from Romani. Gessner has just copied a *Rotwelsch* word-list from an earlier source (see Kluge 1901: 53, who identifies the word list as originating from the German *Liber Vagatorum* of 1510). Even though some Romani words became part of *Rotwelsch* in later centuries (Matras 1998), at the time no Romani words were part of *Rotwelsch*. Not surprisingly, Tentzel does not find any convincing similarities between this list and the list of Sinhala words in the Knox book.

It is different, however, when Tentzel compares Sinhala and the (Sinti Romani) word list compiled by Joseph Scaliger and which was printed in Vulcanius' book. Both sources are quite restricted and contain only around 70 words each. Tentzel notices some striking similarities: Romani *rai* 'noble person', Sinhala *raja* 'king'; Romani *manosch* 'man', Sinhala *minnia* 'man'; and Romani *gagi* 'woman', Sinhala *gani*. The other words with shared meanings, however, show no similarity, e.g. Romani *panin* 'water, Sinhala *deure*; Romani *beinck* 'devil', Sinhala *jacco*; Romani *yago* 'fire', Sinhala *gindere*, Romani *xavea* 'son', Sinhala *puta* or *purandi*, Romani *xai* 'daughter', Sinhala *dua, donianna*, etc. Three words are similar, five words are not. One of Tentzel's discussants conclude: "As the language of the Gypsies differs so much from the one of the Sinhalese, they can impossibly be one people" (Tentzel 1689: 835, my translation). His exposé has the form of a conversation between a few well-informed gentlemen, so that it is not always clear what Tentzel's own opinion is. Somewhat later in the text another fictitious discussant does claim a connection between Sinhala and Romani. The discussion becomes especially tricky when he relates the dominant opinion of the time, shared by Scaliger and Thomasius, that the first Gypsies came from the Nubia region. But that has been shown wrong by Ludolf, he wrote. Here, he must refer to correspondence, as Ludolf's statement was, as far as I could establish, published after Tentzel's observation (Ludolf 1691: 214), unless the journal was published after the indicted date.

The theory proposed by Tentzel's alter egos at that point is quite interesting, for several reasons. According to the theologian Hottinger (1654: 32), the Roms would be descendants of the soldiers of the army of Timur the Lame (born in the 1320s or 1330s, died 1405), whose violent Islamic expansion led to huge massacres in Persia

and surroundings. His reign (1370-1405) stretched from eastern Turkey to Western India. Timur's army would have consisted of people from many nations.

It would have been the remainders of Timur's army which consisted of a range of peoples and nations, also probably Sinhalese. As Timur had travelled through a large part of the world, one cannot doubt this mixture. Furthermore, the language itself gives reason to conjecture this, because not only Sinhala but also Greek, Bohemian and German words are encountered in the [Gypsy] language, and even the name itself seems to be taken from the Sinhala. (Tentzel 1689: 836)

Indeed, Greek, west Slavic and German loans are conspicuous in the Romani varieties Northern conglomerate, including the Sinti variety. And then the author suggests that these languages may go back to, what could be called, Proto-Indo-European:

Not in the least would I rather say that the Gypsy language is a daughter of the old Scythian language, from which the Greek, Bohemian, German and other European language also descend. Why not also Sinhala?

This is a remarkably early assumption of the existence of a language family that unites Greek, Slavonic, Germanic and Indic, including the idea of an ancestral language, no longer spoken. The discussion continues with an attempt to explain the observed Ceylon-Gypsy link. The speculations hereafter suggest an early presence of Europeans on the island of Sri Lanka – for which there is of course no evidence. Neither that Timur's army consisted of Sinhala/Romani speakers. One can speculate, however, that Timur's aggression around 1400 would have led to an influx of Romani refugees from Western Persia into Europe. An extended stay of the ancestors of the Roms in a Persian/Iranian speaking area is beyond any doubt (cf. Tcherenkov/Laederich 2004).

Tentzel's suggestion of an Indic-Romani link is intriguing. It is not completely clear whether he himself is convinced of a common origin, as more words differ between Sinhala and Romani, but he correctly identified a few cognate forms between Sinhala and Romani and Indo-Aryan. The words for 'king, gentleman' and 'man' are cognates. The suggested link for the word for 'woman' is not (see table 1 below).

If Tentzel would had more elaborate sources for Romani at his disposal, he could easily have identified Romani cognates also for other Sinhala words, most obviously 'to eat', 'to give', 'me', 'bird', 'town', and 'to do'. Table 1 provides an overview of the words that Tentzel compares from Vulcanius (1597) and Knox (1681), and additional cognates he proposed from other languages in the last column. I added modern Sinhala forms and Old Indo-Aryan forms from Turner (1962).

Table 1: Romani and Sinhala words compared by Tentzel

English	Romani in Vulcanius	Modern Romani	Sinhala in Knox	Modern Sinhala	Old Indo-Aryan (Nrs. refer to Turner)	Other in Tentzel p. 837
‘gentleman’	<i>rai</i>	<i>raj</i> ‘nobleman’	<i>raja</i> ‘king’	<i>mahatteya</i> (old Sinhala rajiyahī 'in the reign')	<i>rājyā</i> 'kingship' 10694	
‘man’	<i>manosch</i>	<i>manuš</i>	<i>minnia</i>	<i>minisā,</i> <i>minihā,</i> <i>miniha</i>	<i>manuṣyā</i> 'human' 9828	<i>Mann</i> (German)
‘woman’ (non-Romani)	<i>gagi</i>	<i>gadži</i>	<i>gani</i>	<i>gəni,</i> <i>aṅguna</i> 'woman, wife'	(etymology contested)	<i>Qvena</i> (archaic Germanic), <i>gunaika</i> (Greek)
‘water’	<i>panin</i>	<i>pani</i>	<i>deure</i>	<i>vatura</i>	<i>pānī'ya</i> 'water' 8082	
‘devil’	<i>beinck</i>	<i>beng</i>	<i>jacco</i>	<i>yakaa</i>		
‘fire’	<i>yago</i>	<i>jag</i>	<i>gindere</i>	<i>gindara</i>	<i>agní</i> 'fire' 55	
‘son’	<i>xavea</i>	<i>čhavó,</i> <i>čhaveja</i>	<i>puta,</i> <i>purandi</i>	<i>putaa</i>	* <i>putrá</i> 'son' 8265 * <i>chāpa</i> 'young one' 5026	
‘daughter’	<i>xaj</i>	<i>čhai</i>	<i>dua,</i> <i>dionianna</i>	<i>duwa</i>	* <i>chāpa</i> 'young one' 5026	

4 Conclusions

As far as I am aware, Tentzel's hunch about Romani and its links with South Asia has never been mentioned in older or modern international literature on the history of research on the Romani language. Some historians at least seem to have been aware of Tentzel. Gilman (2013) recently wrote that Tentzel "correctly argued that the 'Gypsies' had come from South Asia, even if their exact origins were uncertain (Tentzel's guess was Ceylon)". Earlier, the Danish historian Dyrlund (1872: 1-3) had summarized Tentzel's discussion, and its aftermath, in his book on Danish Travellers and pariahs. As far as I am aware, no one else has referred to Tentzel's observations.

It is remarkable that Tentzel mentioned the existence of a language family with at least four branches (Germanic, Greek, Indo-Iranian, and Slavonic). He seems to antedate the discovery of the Indo-European family, usually attributed to William Jones in the late 1700s (Jones 1793). However, the idea of an Indo-European family was much older, going back to at least the Dutch scholar Marcus van Boxhorn in 1647 (see Van Driem 2005). Van Boxhorn called the ancestral language *Scythian*, just like Tentzel did, and we have to assume there is a direct or indirect connection with Van Boxhorn's theory.

Tentzel's idea of a Romani-Sinhala connection was inspired by the similarity of two ethnonyms, but this similarity is pure chance. It is clear that Tentzel was the first who investigated a South Asian origin of the Roma, and the first who used language data to make his case. At a time when just ca. 70 Romani words were at his disposal and a similar number from Sinhala, this finding is a remarkable feat. Whether he himself was convinced of his findings in the form of a few striking lexical similarities between Sinhala and Romani cannot be unequivocally established.

Acknowledgements

I like to thank Jürgen Gröschl of the Franckesche Stiftungen zu Halle for answering my question about dates in Ludolf-Tentzel correspondence, and Peter Slomanson for most of the modern Sinhala words in table 1.

References

- Adiego, Ignasi-Xavier. 2013. The oldest attestation of the Romani language in Spain: The *Aucto del finamiento de Jacob* (sixteenth century). *Romani Studies* 23/2: 245-255.
Adiego, Ignasi-Xavier. in press. Romani or Pseudo-Romani? On the Lord's Prayer in 'Nubian' by Jean-Baptiste Gramaye (1622).

- Bakker, Peter. 2011. A new old text in Romani: Lord's Prayer, 1622. *International Journal of Romani Language and Culture* 1/2: 193-212.
- Bochart, Samuel. 1681. *Samuelis Bocharti geographia sacra*. Francofurti ad Moenvm, impensis Johannis Davidis Zunneri. typis Balthasaris Christophori Wustii.
- Bochart, Samuel. 1695. *Samuelis Bocharti Geographia Sacra, Seu Phaleg Et Canaan: Cui Accedunt Variae Dissertationes, Philologicae, Geographicae, Theologicae &c. Antehac ineditae: Ut Et Tabulae Geographicae Et Indices, longe quam antea luculentiores et locupletiores*. Leiden/Lugduni Batavorum: Boutevesteyn & Luchtmans.
- Borde, Andrew. 1547. *The Fyrst Boke of the Introduction of Knowledge*. No publisher.
- Crofton, Henry Thomas. 1907. Borde's Egipt speche. *Journal of the Gypsy Lore Society*, New Series 1: 157-168.
- D'Avity (Davyt), Pierre. 1637. *Description Générale d l'Afrique*. Paris: Claude Sonnius.
- Dyrlund, F. 1872. *Tatere og Natmandsfolk i Danmark – betragtede med hensyn til samfundsforholdene i det hele*. Copenhagen: Gyldendal [reprint 1974, Copenhagen: Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie]
- Friedman, Victor A./Dankoff, Robert. 1991. The earliest known text in Balkan (Rumelian) Romani: A passage from Evliya Celebis Seyāhat-nāme. *Journal of the Gypsy Lore Society*, Fifth Series 1: 1-20.
- Gessner, Conrad. 1555. *Mithridates. De differentiis linguarum tum veterum tum quae hodie apud diversas nationes in toto orbe terrarum in usu sunt observationes*. Zurich: Froschowerus [reprint: Aalen 1974: Scientia]
- Gilman, Sander. 2013. Aliens vs. predators: Cosmopolitan Jews vs. Jewish nomads. In: Steven E. Aschheim / Vivian Liska, eds. *The German-Jewish Experience Revisited*. Berlin: de Gruyter: 59-74.
- Gramaye, Joannes Baptista. 1622. *Oratio Dominica centvm et amplius diversis expressa linguis seu dialectis, ex varijs auctoribus laudatis in libro de litteris et linguis uniuersi orbis*. [The Lord's Prayer as expressed in over a hundred languages or dialects, from various praised authors in a book on the literature and languages from the whole world]. Bruxellae [Brussels]: Pepermanus.
- Hancock, Ian F. 1993. Lo studente Ungherese Valyi Istvan e le origini indiane della lingua romani [The Hungarian student Valyi Istvan and the Indian origin of the Romani language]. *Lacio Drom* 29/5: 21-23.
- Hottinger, Johann Heinrich. 1654. *Historiae Ecclesiasticae, Novi Testamenti Seculum XV: Quo res Christianorum, Iudeorum, Gentilium, Muhammedanorum, Gingischanicorum, seu Tartarorum, breviter, succincte et Aphoristice primo propununtur ...; Accedunt Andreeae, Archiepiscopi Crainensis & Cardinalis Gesta, Commentariis Petri Numagen, Trevirensis, illustrata*. Tiguri: Schufelbergerus.
- Jones, William. 1793. Discourse the ninth: Origins and families of nations, delivered 23^d February 1792. *Asiatick Researches*, III/XVI: 479-492.
- Kluge, Friedrich. 1901. *Rotwelsch. Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen*. Strassburg: Karl Trübner.
- Kluyver, A. 1899-1900. Eene onuitgegeven lijst van woorden, afkomstig van Zigeuners uit het midden der zestiende eeuw [an unpublished list of words, originating from Gypsies from the middle of the 16th century]. *Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden over het jaar 1899 en 1900*: 45-55.
- Kluyver, A. 1910. Un glossaire tsigane du seizième siècle. *Journal of the Gypsy Lore Society*, New Series 4: 131-42.
- Knauer, Georg Nicolaus. 2010. The earliest vocabulary of Romani words (ca. 1515) in the Collectanea of Johan-

- nes ex Graffing, a student of Johannes Reuchling and Conrad Celtis. *Romani Studies* 5/1: 1-15.
- Knox, Robert. 1681. *An Historical Relation Of the Island Ceylon, in the East-Indies: together with an account of the detaining in captivity the author and divers other Englishmen now living there, and of the author's miraculous escape. Illustrated with figures, and a map of the island. By a captive there near twenty years.* London: Richard Chiswell, Royal Society.
- Ludolf, Hiob J. 1691. *Iobi Ludolfi alias Leutholf dicti, ad suam Historiam Aethiopicam antehac editam Commentarius.* Frankfurt/M.: Johannes David Zunner.
- Marsden, William. 1785. Observations on the language of the people commonly called Gypsies. *Archeologica* 7: 382-386.
- Matras, Yaron, 1998. The Romani element in Jenisch and Rotwelsch. In: Yaron Matras. ed. *The Romani element in non-standard speech.* Wiesbaden: Harrassowitz: 193-230.
- Matras, Yaron. 1999. Johann Rüdiger and the study of* Romani in 18th-century Germany. *Journal of the Gypsy Lore Society*, Fifth Series 9: 89-116.
- Miklosich, Franz. 1874. Die ältesten Denkmäler der Zigeunersprache. *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften* 77: 759-771.
- N.N. 1930. Vulcanius' Romani vocabulary. *Journal of the Gypsy Lore Society*, Third Series 9: 16-25.
- Pallas, Peter Simon. 1782. Etwas über die zu Astrachan wohnenden Indianer. *Neue Nordische Beyträge* 3: 84-96.
- Pallas, Peter Simon. 1786. *Linguarum totius orbis vocabularia comparativa.* Saint Petersburg.
- Pelikan, Heike. 1987. *Die "Grammatica Hindostanica" des Benjamin Schultze: Quelle zur Erforschung des Dakkhini des 18. Jahrhunderts.* Halle: Martin-Luther-Universität.
- Piasere, Leonardo. 1994. Il piu antico testo Italiano in Romanes (1646): una riscoperta e una lettura etnistorica [The oldest Italian text in Romani (1646): a rediscovery and an ethnohistorical reading]. *Università degli Studi di Verona. Facolta' di Lettere e Filosofia, Istituto di Psicologia, Report* 56.
- Ranking, D.F. de l'Hoste. 1913. An Italian Gypsy comedy. *Journal of the Gypsy Lore Society*, New Series 7/1: 59-68.
- Rüdiger, Johann C.C. 1782. *Von der Sprache und Herkunft der Zigeuner aus Indien.* Leipzig. [reprint: Hamburg 1990: Buske]
- Sampson, John. 1911. Jacob Bryant: being an analysis of his Anglo-Romani vocabulary, with a discussion of the place and date of collection and an attempt to show that Bryant, not Rüdiger, was the earliest discoverer of the Indian origin of the Gypsies. *Journal of the Gypsy Lore Society*, New Series 4: 162-94.
- Schultz, Benjamin. 1744. *Viri plur. Reverendi Benjamin Schultzii Missionarii Evangelici Grammatica Hindostanica collectiis in diuturne inter Hindostanos Commoratione in justum Ordinem redactis ac larga Exemporum Luce perfusis regulis constans et Missionariorum usui consecrata. Edidit et de suscipienda barbarum Linguarum Cultura porefatus est D. Jo. Henr. Callenberg.* Halle Saxonum: in typographia Instituti judaici.
- Tcherenkov, Lev / Laederich, Stéphane. 2004. *The Rroma. Otherwise known as Gypsies, Gitanos, Jifti, Tsiganes, Tiganî, Çingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende, etc.* 2 Vols. Basel: Schwabe.
- Tentzel, Wilhelm. ed. 1689. *Monatliche / Unterredungen / Einiger / Guten Freunde / Von / Allerhand Büchern und andern / annemlichen Geschichten; / Allen Liebhabern/ Der Curiositäten / Zur / Ergetzlichkeit und Nachsinnen / heraus gegeben / Von / A. B. / JANUARIUS 1689 / Sine censura & approbatione Actoris. / [Ornament-Linie] / In Verlegung Johann Christian Laurers Buch- / Händlers.*
- Turner, Ralph L. 1962. *A comparative dictionary of the Inda-Aryan Languages.* Oxford: Oxford University Press.

- Van Driem, George. 2005. Sino-Austronesian vs. Sino-Caucasian, Sino-Bodic vs. Sino-Tibetan, and Tibeto-Burman as default theory. In: Yogendra Prasada Yadava / Govinda Bhattacharai / Ram Raj Lohani / Balaram Prasain / Krishna Parajuli. eds. *Contemporary Issues in Nepalese Linguistics*. Kathmandu: Linguistic Society of Nepal: 285-338.
- Vulcanius, Bonaventura. 1597. *De literis & lingua Getarum sive Gothorum*. Leiden: Raphelengius.
- Wegele, Franz Xaver von. 1894. "Tentzel, Wilhelm Ernst" in: Allgemeine Deutsche Biographie 37: 571-572.
<http://www.deutsche-biographie.de/pnd117256471.html?anchor=adb>

Archival materials

Letter from Hiob Ludolf to Wilhelm Tentzel, August 24, 1681. [probably wrong year]

Signatur: FB Gotha, Chart. B 202, Bl. 3r-3v, 5v

http://192.124.243.55/cgi-bin/gkdb.pl?t_show=x&reccheck=97829

Letter from Wilhelm Tentzel to Hiob Ludolf, 1687.

Signatur: FB Gotha, Chart. B 202, Bl. 13v-14v

http://192.124.243.55/cgi-bin/gkdb.pl?t_show=x&reccheck=102177

Michael Beníšek

Miklosich's vocabulary of Galician Romani and its affinities with today's North Central Romani of Halychyna

1 Introduction

Miklosich, in the sixth part of his famous work about Romani dialects (Miklosich 1876), published a vocabulary of a dialect of the Gypsies of Galicia. Galicia was, at that time, an Austrian province in East Central Europe, whose territory now forms part of southeastern Poland and western Ukraine. The material for the vocabulary was given to Miklosich by Stefan Dubrawski, a teacher in the secondary school (*Oberrealschule*) in Stryj, who had collected the words from an older woman (*Mütterchen*) in a village called Topolnica in the Galician district (*Kreis*) of Sambor. Topolnica is the historical name of present-day Topilnycia, a village located in a valley along the river of the same name in the district (*rajon*) of Staryi Sambir in the Lviv Oblast of western Ukraine. The introduction to the glossary contains a brief note that there were numerous Gypsies in the Sambor and Stryj districts in the past but a considerable number of them had emigrated to Hungary. Those who remained were said to make their living partly as blacksmiths and partly as beggars.

The vocabulary contains more than 500 lexical entries and several dozen short sentences with their German translations. Most entries comprise brief notes made by Miklosich, including corrections of forms and meanings, etymological notes on the Hungarian and Slavic loanwords, and infrequent references to counterparts in other Romani dialects. The Slavic loanwords are most often complemented by their equivalent in Ukrainian which, in line with the nomenclature of the time, is called Little Russian. Many words were documented in short sentences, so Miklosich abstracted such words and also segmented the verbs to present their base (root or stem) forms. The collector, Stefan Dubrawski, obviously had no previous knowledge of Romani. He was not able to properly segment sentences into words, he misheard or misspelled a number of words, and his orthography was, in general, somewhat

haphazard. He was inconsistent in writing a single word or even a single grammatical morpheme: for example, the first-person singular present suffix is inconsistently written in verbs as *-av*, *-au*, *-ov* or *-o*. Furthermore, there are inaccuracies and errors in the meanings of some words that were probably caused by misunderstanding during the elicitation. The plural noun *džuva* is ascribed the meaning 'ears' instead of the correct meaning of 'lice', a misunderstanding brought about by the similarity of Polish *uszy* 'ears', which Dubrawski probably asked about, and *wszy* 'lice'. Some of these errors, including the latter example, were identified and corrected by Miklosich. Still, some words were not recognised even by Miklosich (marked as "dunkel", i.e. obscure). For example, the verb *teuxamen* 'to comb', as well as an alleged noun *uxalen* 'hair', both considered obscure by Miklosich, point to a verb *uxan-* 'to comb' (the former in an infinitive form *te uxanen*), which is typical of eastern dialects of North Central Romani (NCR) in Slovakia, Transcarpathian Ukraine (Uzh dialects) and parts of southeastern Poland. A somewhat less straightforward case is another unrecognised verb, *mehren*, in a sentence *čhai khe dai mehren* 'The daughter looks like [her] mother' (*Die Tochter ist der Mutter ähnlich.*), which is perhaps *mareł* of the root *mar-* 'to beat' used in the meaning 'to look like, to resemble' in eastern dialects of NCR again. Rarely, the glossary contains non-Romani words that were misinterpreted as Romani ones, e.g. *thu* 'here', which is Slavic *tu(t)* and cannot have appeared in Romani, even as a loanword. A number of other words and their meanings remain obscure.

In spite of these inaccuracies, the vocabulary is an invaluable linguistic source and the only documentation of this Romani dialect from the 19th century. Even a superficial look at the glossary reveals that its material points to a NCR variety that is in many respects close to Romani dialects of eastern Slovakia, southeastern Poland or Transcarpathian Ukraine (cf. Boretzky 1999, 2007; Boretzky/Igla 2004). Still, it also possesses some specific innovations and, more interestingly, a couple of features rather atypical of Central Romani. Apart from the Miklosich evidence, no similar dialect has ever been documented, and no mention of the presence of Central Romani in the Ukrainian part of Galicia (Halychyna as it is called in Ukrainian) was made in recent introductions to Romani linguistics, such as Matras (2002), or the dialectological atlas of Boretzky and Igla (2004), with the only exception being works of Čerenkov (2008: 497; 2011).

More than 130 years after the vocabulary was published, Viktor Elšík, in collaboration with Zuzana Bodnárová and myself, started a project¹ to extensively document Central Romani with the aim of producing a dialectological atlas, which is still in progress. The aim entailed the assumption that we would document Central Rom-

1 The Linguistic Atlas of Central Romani, Czech Science Foundation, P406/11/0818.

ani in all the traditional regions where it has been spoken, i.e., including Galicia.² In the summer of 2011, I conducted preliminary fieldwork in the western Ukrainian city of Sambir, where two distinct NCR varieties have been revealed. First, a dialect of a single extended family whose members are descendants of Lemko Roms displaced from the Low Beskids in southeastern Poland after the Second World War, due to Operation Vistula. This dialect will not be considered in the following discussions. Second, a more local dialect spoken in the town by members of a tiny Romani community whose ancestors lived in the surrounding countryside before Second World War and also settled in the town in the 1940s. The recorded linguistic material of this dialect turned out to exhibit compelling links to the variety of Miklosich's vocabulary. In the spring of 2012, I returned to the region to carry out

Map 1: Border area of Ukraine, Poland and Slovakia.



² The dialects in Transylvania, more specifically the Northern Transylvanian dialects (cf. Heuvel and Urech 2014), are also sometimes included into the branch of (North) Central Romani, particularly in works by Boretzky (e.g. 2007), but they were excluded from our definition of Central Romani for the Atlas. In this paper, the term 'North Central Romani' is used in its narrower sense to refer to dialects traditionally spoken in Slovakia and some adjacent regions in Poland and Ukraine, plus in the Czech Republic, and not to those in Transylvania, but this should not be taken as a claim of any dialectological classification of the Northern Transylvanian dialects.

further documentation, not only in Sambir but also in the nearby town of Boryslav, where more speakers of Central Romani now live (Beníšek 2014). The main tool of language documentation during both field trips was an elicitation of a Ukrainian version of the *Linguistic Questionnaire for the Documentation of Central European Romani* (Elšík 2008–2011), which contains 1,500 sentence examples translated by respondents into local Romani. Three complete questionnaires were recorded with three female speakers, who were variously born in 1940, 1950 and 1962, and it was complemented by recording approximately five and half hours of spontaneous speech with various speakers. In this paper, I will call this dialect Halychyna Romani, after the Ukrainian name of Galicia and the name the region is commonly called in Ukraine.

Map 1 shows the border area of Ukraine, Poland and Slovakia. The triangle points to the village of Topolnica (Topilnycia), where Dubrawski collected the material for Miklosich's vocabulary. Sambir and Boryslav are towns where the recent fieldwork research on local North Central Romani has been carried out.

In the following, the material of Miklosich's vocabulary will be analysed from a dialectological point of view and compared with current Halychyna Romani. The objective is to show to what degree the variety recorded by Dubrawski in the 19th century agrees with the dialect documented at the beginning of the 21st century in approximately the same area, and whether any direct genetic link between them can be established. The discussion will start by comparing features the vocabulary shares with the current dialect and will be followed by an analysis of those features which are not shared.

Examples of the vocabulary are kept in their original orthography, the only exception being the velar or uvular fricative /χ/, which is written as a digraph <ch> in the glossary (e.g., *pendech* 'nut'), as in German or West Slavic but, for the sake of consistency with common practice in Romani linguistics, it is replaced here by <x> (*pendex*). Palatal consonants are commonly indicated by the grapheme <i>, as in *nianiar-* 'to bath', *vadios* 'bed', *tatipen* 'heat'. Aspiration is indicated inconsistently, sometimes it occurs (*phirau* 'I walk'), sometimes it does not (*piras* 'we walk'). Occasionally, aspiration occurs in words where it should not, which is particularly the case of <th> (e.g. *thosara* 'in the morning', *thu* 'you'). Forms documented during my fieldwork are given only if they substantially differ from those of the glossary; plain orthographic differences (e.g., *vadios* in the vocabulary as against *wados* in the current dialect) are usually not indicated. Transcription of the current forms conforms to the common writing convention in Romani linguistics; palatals are indicated by the caron (háček) and its modifications, i.e., <d>, <t>, <n>, <l>. The grapheme <ɿ> indicates a velarised lateral approximant [ɿ], which, unlike in Standard Polish, is not vocalised in Halychyna Romani.

2 Features shared with today's Halychyna Romani

2.1 North Central features

The vocabulary represents an unambiguous NCR dialect closely related to Romani dialects in eastern Slovakia, southeastern Poland and the west of Transcarpathian Ukraine. It is indicated, first of all, by an inventory of function words and their phonological properties, such as the third-person present copula *hin*, the deictics *arde* 'hither', *auka* 'so, in such a way', *oda* 'it' (translated as *dieser* 'this' in the vocabulary), the interrogatives *kana* 'when' and *keci(k)* 'how much'. A number of Hungarian-derived function words commonly encountered in Central Romani also occur in the vocabulary, e.g., *imar* and *mar* 'already' (Hungarian *immár* and *már*), *jigen* 'very' (*igen*), *meng/men* 'still, more' (*még*), *mindjer* (current *mindár*) 'immediately' (*mindjárt*). Another function word, a paucal quantifier *jeknaj* (*jecknaj*) 'a little', has a more limited distribution within NCR, being found in some varieties of easternmost Slovakia and in a few adjacent Uzh varieties in Transcarpathia in addition to Halychyna (cf. Elšík 2014).

The lexical words and their phonological forms are also indicative of their North Central affinity, e.g., *garuv-* 'to hide', *kamp-* 'to need' (translated as *notwendig* 'necessary'), *lem(av)-* 'to hit', *liker-* 'to hold', *paliker-* 'to thank', *užar-* 'to wait', *vaker-* 'to speak', *verdan* 'vehicle', including a significant number of Hungarian loanwords, such as *binos* 'sin' (Hungarian *bűn*), *fadin-* 'to freeze' (*fagy*), *fala* 'wall' (*fal*), *kečen* 'loan' (*kölcsön*), *kyrystos* (*kerestos*) 'cross' (*kereszt*), *mačka* 'cat' (*macska*; *mačka* also in South Slavic and Slovak), *palinka* 'brandy (*pálinka*, *Branntwein*)', *sivin-* 'to smoke' (*szív* 'to suck'), *vadios* 'bed' (*ágy*), (*za)zarin-* 'to close' (*zár*), etc.³ Some of these Hungarian loanwords have their distinctive distribution within North Central dialects. For example, the verb *sivin-* 'to smoke' only occurs in the northeasternmost part of Slovakia, in the Uzh dialects of Transcarpathia and in Halychyna. The verb *zarin-* 'to close' can also be encountered in northeastern Slovakia, but its distribution is larger and reaches some varieties in Poland but, at the same time, does not occur in Transcarpathia.

Given word forms and sentence examples display distinctive Central Romani phonological features, such as debuccalisation of the sibilant /s/ > /h/ in an intervo-

³ Of these Hungarian loanwords only *kečen* does not occur in my data of the current dialect, but it is known from other eastern NCR dialects.

calic position in the instrumental (cf. *devleha* 'with the God', *thuhā* 'with you'), and in verb inflection (cf. *džaha* 'you/we will go'). Some phonological features are typical of an eastern NCR dialect, e.g. alveolar affrication of the initial consonant in words *cerāl* 'cheese', *cikno* 'small', *cin-* 'to buy', *cindo* 'wet'. Some word forms, such as monosyllabic *čha* 'child, son' (from *čhavo), have a more narrow distribution limited to the easternmost NCR dialects or, as for example the verb *naniar-/nianiar-* 'to bath', even to their northeastern periphery. A close affinity to dialects in northeastern Slovakia is also indicated by a consistent reflex of the consonant cluster */nr̩/ as /ndr/ not only in words such as *jandro* 'egg' or *pindro* 'foot', but also in the much rarer conservative forms *mandro* 'bread', *mindrikle* 'bead necklaces' and *mindro* 'my'. All these features are shared with today's Halychyna Romani.

Some verbs are written with an initial segment *te* (also written as *the* or *ty*), which is clearly a Romani non-factual complementiser, and in a form ending in -(e)n. This indicates that this dialect developed a 'new infinitive' (cf. Boretzky 1996) based on the generalised 2/3PL verb forms, as in a sentence example *musinas khere te bešen* 'We have to sit at home.' with the modalised verb *bešen* 'to sit' non-agreeing with the modal verb *musinas* 'we have to'. This kind of infinitive is another feature common to Central dialects in the easternmost parts of Slovakia, Transcarpathian Ukraine and Ukrainian Galicia.

Last, in expressions of the predicative possession ('to have'), two ways of marking the possessor occur in sentence examples: the conservative independent oblique ('accusative') possessor in *bud man hin love* 'I have a lot of money.' and the locative possessor in *mande jesas love* 'I had money.' Both constructions occur in current Halychyna Romani too, but the former, with the independent oblique marking, is obsolete, used rarely by the oldest speakers; the locative is the most common way these days of marking the possessor. It cannot be ruled out that in the time of Miklosich both constructions were semantically differentiated, as they are still in dialects in Slovakia, where the locative possessor refers to some kind of temporary possession (e.g. 'I had some money with me/on me at that moment.' and the like; cf. Lípa 1963: 52).

2.2 Non-Central features

Although the variety of Miklosich's vocabulary is obviously a NCR dialect, still it contains certain features, atypical of Central Romani, that rather remind us of the neighbouring Northeastern Romani dialects (cf. Matras 1999; Boretzky/Iglá 2004; Tenser 2008 etc.). All these features also occur in current Halychyna Romani.

First, there is at least one word in the glossary that has an identical counterpart in Northeastern Romani but is rare within Central Romani, viz. *dores-* 'to get'. Besides Halychyna, this verb can also be found in some Central varieties in

Poland, so in other areas contiguous to those where Northeastern Romani has been present.

Furthermore, the person interrogative pronoun ‘who’ occurs in a conservative form with the final nasal *kon*, while almost all other Central Romani dialects possess an apocopic form *ko*. Still, the fieldwork-based data we gathered for the Atlas have shown that there are more Central varieties that have the conservative form *kon*, and all these varieties are, once again, restricted to the northeastern periphery of the NCR continuum, including a single variety in northeastern Slovakia (spoken in a village in Klenová).

Even more interestingly, the 2SG copula is given in the glossary with the ending *-an* (cf. *sar esan* ‘How are you?’). This corresponds to the 2SG copula *san*, irrespective of the number, in current Halychyna Romani, but is in stark contrast to all other NCR dialects in East Central Europe, in which the 2SG copula has the form *sal* and *san* is reserved for the plural only.

Related to the previous point, there is evidence of the 2SG marker *-an* in perfective inflection of verbs, at least with respect to the translation given by Miklosich.⁴ Apart from Halychyna, the 2SG perfective marker in Central Romani is *-al*, while *-an* is the 2PL marker, as in the copula. In the vocabulary, no 2PL perfective form is attested.⁵

As mentioned above, all these non-Central features are shared with the neighbouring group of Northeastern dialects, which have also been present in the territory of current Poland and Ukraine, and they accordingly give Halychyna Romani certain characteristics of a transitional dialect. While *kon* may represent an example of a retention on a periphery of the dialect continuum, the 2SG suffix *-an* in the copula and the perfective inflection may have been diffused from a Northeastern dialect.

2.3 Dialect-specific features

The vocabulary contains unique dialect-specific expressions that have been documented in today’s Halychyna Romani as well. For example, the meaning ‘to sing’ is evidenced by a sentence *me gili peno* ‘I sing’, literally ‘I tell a song’, and the same periphrasis (*pxen- gili*) occurs in the current dialect, instead of the typical NCR verb *gilav-/gilav-*. Another example is a word for ‘pillow’, given in the glossary by the forms *širandani*, *šerandunia*, which is obviously the current noun *šeranduňi* of the same meaning, based upon an internal derivation from *šerand* ‘head of the bed’.

⁴ For example, *gehlan palende* (= *pal lende*) translated as *Du bist nach ihnen gegangen*. ‘You went after them.’, *soske na gehlan* ‘Why didn’t you go?’, *lilan* ‘you have taken’, *musindian* ‘you had to’.

⁵ In today’s dialect, it is marked by *-e* as the 3PL.

The glossary also gives evidence of the semantic characteristics of several words that have been attested in the present-day dialect. The Armenian loanword *bokeli*, in the word list mistyped as *bobeli*, refers to a kind of round bread roll common in Central and Eastern Europe (German *Semmel*, East Slavic *bulka*), while in the Romani dialects of Slovakia it usually expresses some form of sweet cake (German *Kuchen*). The most peculiar semantic shift is found in the Hungarian loanword *galamba* (cf. Hungarian *galamb* 'pigeon'), which has a meaning 'frog' in both the vocabulary and the present-day dialect. There is no other Central Romani dialect that would borrow the Hungarian word for pigeon in the meaning 'frog'. The original Romani word for 'frog' is *žamba* from Greek, and it seems that this word may have become taboo in Halychyna and was therefore replaced by a similar word ending in *-amba* that had formerly been referring to another animal, viz., 'pigeon'. As the vocabulary indicates, such a semantic shift must have taken place in the 19th century at the latest.

In addition, the forms of some words in the vocabulary reflect a phonological development that does not occur elsewhere in NCR. The most indicative example is the development of the original high vowel /i/ in a position between /c/ and /r/, where it is lowered and more centralised, cf. *cerax* 'boot' and *cerəl* 'cheese'. Another word with the unique vowel /e/ is *kerlo* 'throat', as against *kirlo* or *krlo* elsewhere in NCR.

Although not so substantial in determining a dialect affinity, it is appropriate to mention here that the vocabulary already contains certain loanwords and loan translations from Polish, and in particular from Ukrainian, that are present in the current dialect as well, e.g. *paxnin-* 'to smell good' (Polish *pachnieć*), *košykos* 'basket' (Polish *koszyk*, Ukrainian *кошык*), *hrados perel* 'it is hailing', a semi-calque of Ukrainian *padaje hrad*, literally 'hail is falling', etc. The variety of the vocabulary had already been influenced by Ukrainian to a considerable degree, which is reflected not only in numerous loanwords (see also Section 3.2 below), but also in loan morphemes, such as aktionsart prefixes that have a clear-cut Ukrainian origin, e.g. *pid-/pit-*, as in *pid-vaker-* given with the meaning 'to flatter' (*schmeicheln*) in the glossary, but attested in the meaning 'to instigate, to persuade by talking' in the current dialect (cf. Ukrainian *pid-movljaty*), and *vid-/vit-*, as in *vit-pen- (-pxen-)* 'to answer'. It indicates that the speakers of this dialect must have already been present in the Ukrainian-speaking territory some time before Dubrawski collected his material.

3 Features which are not shared with today's Halychyna Romani

3.1 Retentions

The most obvious difference between the vocabulary and the recently documented dialect is that the glossary contains archaic words which are nowadays no longer used, e.g., *bałania* (plural?) ‘trough’, *baś-* ‘to bark’, *xandro* ‘sword’, *xerxel/xerxes* ‘pea’, *mathi* ‘fly’, *prajta* (plural?) ‘leaf’. Instead of these items, only Ukrainian loanwords have been documented during the recent fieldwork, and the same holds true for some Hungarian loanwords that are not familiar to today's speakers, e.g. *songalin-* (Hungarian *szolgál*) ‘to serve’ (now *služin-*). Even Polish and Ukrainian loanwords are not identical to some degree. For example, the restrictive particle ‘only’ in the vocabulary is *eno*, from the now archaic Polish *jeno*, instead of which other loanwords occur today, such as *xiba* (cf. Polish *chyba* ‘probably’, Slovak *iba* ‘only’), *tilko* (Polish *tylko*, Ukrainian *til'ky*) and *łyś* (Ukrainian *łyś(e)*). The word for ‘hammer’ is *klevecs* in the vocabulary (*klevecs?*), cf. Ukrainian dialectal *klevec'* (originally ‘horseman's pick’), while now it is *molotkos* borrowed from Standard Ukrainian.

The material of Miklosich is also more conservative in the semantics of certain words. The adjective *čoro*, for example, is still recorded in its original meaning ‘poor’ in the vocabulary. In present-day Halychyna Romani, *čoro* means ‘evil’, while the meaning ‘poor’ is expressed by a lexicalised diminutive *čororo*. Another semantic discrepancy pertains to two words whose original meaning is ‘hat’: *stadi* (from Greek) and *kałapa* (from Hungarian). In the glossary, the meaning ‘hat’ is ascribed to *stagi* (sic), while *kałapa* is stated as referring to ‘cap’. In the present-day dialect, the situation is just the opposite: *stadi* means ‘cap’, while *kałapa* refers to ‘hat’. Partial disagreement also pertains to the meaning of the inherited verb *gen-*. In the word list, *gen-* has its original meaning ‘to count’, while nowadays it usually means ‘to read’⁶ and only rarely ‘to count’ (attested from a single respondent of the current dialect).

As for phonology, current Halychyna Romani is characterised by what Matras (2002: 54) describes as velarisation of the aspirated articulation, namely by decomposition of aspirated consonants /čh/, /kh/, /ph/, /th/ into clusters of two phonemes /čx/, /kx/, /px/, /tx/, therefore *čxa* ‘son’, *pxrat* ‘brother’, etc. There are no hints of such

6 In the vocabulary, the meaning ‘to read’ is exemplified by a Slavic-derived verb *čitin-*.

a development in Miklosich's vocabulary, judging from the inconsistent writing of voiceless aspirated consonants as either ⟨Ch⟩ or just ⟨C⟩. There is also evidence for the existence of an aspirated palatal stop /f̥/ in the variety of the vocabulary, in words such as *mathi* 'fly', *morthi* 'skin, leather', *thil, thiel* 'butter', which is matched by an alveolo-palatal affricate /č/ plus /x/ in the current dialect (*morćxi, čxil*). Furthermore, there are fewer words in the glossary that possess a prothetic palatal approximant: while *jandro* 'egg', *jasa-* 'to laugh' and the verb *jav-* (alongside *av-*) 'to come' display the prothesis in *j-*, the respective words for 'cabbage' and 'flour', *armin* and *aro/ahro*, still lack it. In the current dialect, the prothesis in *j-* is more common and consistently occurs in both *jarmen* and *jaro*, optionally in many other words, such as (*j)awer* 'other', (*j)awka* 'so, in such a way', (*j)awri* 'outside' etc. Moreover, there is another frequent prothetic element in today's dialect: the labial approximant *w-* in words that historically began in *u-* (e.g. *wučo* 'high'), but no evidence for such a kind of prothesis in the vocabulary (*učo*). Last, the word for 'finger' occurs with a vowel ending in the word list (*angusto*), as it does in some other NCR dialects (*angušto*), but it currently ends in a consonant (*angust*).

3.2 Innovations

Finally, mention should be made of the features that represent linguistic innovations in the vocabulary compared to the recently attested forms. Such innovations might be the only objection to linking the variety of Miklosich's vocabulary with a direct ancestor of today's Halychyna Romani.

First, there are certain Slavic loanwords in the glossary instead of inherited words documented for the current dialect, especially among verbs, e.g., *nazvin- pes* 'to be called' (now *bucxuw-*), *poxvalin-* 'to praise' (now *ašar-*), *rozumin-* 'to understand' (now *axałuw-*), *zbirin-* 'to collect' (now *kid-* or its aktionsart modifications *skid-, poskid-* etc.), *živin-* 'to live' (now *džiw-*). It cannot be ruled out that at least some of these loanwords were documented just because of the improper methodology employed during the data collection. In other words, their occurrence could have been reinforced by translation elicitation, leaving their inherited counterpart that would normally be used in spontaneous speech unrecorded. It should be noted that, for a number of verbs, there are two forms documented in the vocabulary: one borrowed and another one inherited, e.g., *diakovin-* alongside *paliker-* 'to thank', *kupin-* alongside *naniar-* 'to bath', *pisin-* alongside *čin-* 'to write'. In the current dialect, only the latter non-borrowed words (*paliker-, naňar-/ňaňar- and čxin-*) have been attested.

Second, there is evidence for the diphthongs /ou/ and /ej/ in words such as *govnu* 'bag', *łovlo* 'red', *šejlo* 'cord', *šejro* alongside *šeru, širo* 'head', which nowadays

contain no diphthong (*gono*, *łolo*, *šelo*, *šero*).⁷ Diphthongs in such words are a characteristic trait of the easternmost Central dialects in Slovakia and in the adjacent Uzh region of Transcarpathia. They may have existed in the Halychyna Romani of the 19th century as well but may have been lost later, which would lead to the restoration of the original state, without diphthongs.

Furthermore, several words exhibit phonological innovations that do not occur in their current cognates. The word for ‘ring’ is *angrusci* with an affricate /c/ in the word list, reminding us of the form the word has in parts of eastern Slovakia, but not in current Halychyna, where it has the more conservative form *angrušti* with the palatal stop /t̪/ but, on the other hand, with the secondary palatal sibilant. A similar issue is a form of the temporal adverb ‘in the morning’: *tosarla* in the current language, but *thosara* with the missing lateral in the vocabulary, which is closer to the form *tosara* and the like in most eastern NCR dialects in Slovakia. However, given the numerous typing errors the glossary contains, it cannot be ruled out that *thosara* was one of the forms misheard or inaccurately noted by Dubrawski (note also doubtful aspiration). Another adverbial expression with the more innovative vocabulary form is *ada dive* ‘today’ with a sibilant apocope from *ada-dives*, literally ‘this day’. Apocopic forms like *adadive* occur to the south and southwest of Halychyna in the Uzh dialects of Transcarpathia, as well as in varieties of, especially, southeastern Slovakia, but not in current Halychyna.

4 Conclusion

It is beyond any doubt that the vocabulary of the Galician Romani published by Miklosich in 1876 represents a North Central variety that is close to dialects in easternmost parts of Slovakia and in the Uzh region of Transcarpathia, partly also to those in southeastern Poland. The variety can be definitely linked to the Romani dialect of Ukrainian Galicia (Halychyna) documented in 2011 and 2012 in the towns of Sambir and Boryslav in western Ukraine. Such a conclusion can be drawn from idiosyncratic features common to both the vocabulary and the current dialect. More specifically, it is corroborated by the combination of North Central features with features that are either rare or lacking elsewhere within Central Romani. Some of these latter features point to the neighbouring branch of Northeastern Romani dialects, while some are distinctive, dialect-specific innovations.

⁷ Another word with a diphthong /ej/ is *pejky* with the given meaning ‘potatoes’ (*Erdäpfel*). The meaning is probably incorrect, brought about by misunderstanding during the data collection, cf. Romani *peko* ‘baked’. In the current dialect, however, the adjective ‘baked’ is expressed by a regular participle *peklo*, while ‘potato’ is *bulwa* (cf. Polish *bulwa*, Ukrainian *bul'ba* ‘tuber’, in dialects ‘potato’).

Most features where the vocabulary differs from the current dialect may be explained by the time gap. The word list presents a language of the third quarter of the 19th century, so it should be no surprise that it reflects features that have later been lost, replaced or changed. Several innovations of the vocabulary compared to the current dialect can also be due to the imperfect methodology used by Stefan Dubrawski, a layman in Romani, when collecting the data, and in their inaccurate presentation, even though not all innovations can be explained in this way.

Even the current Halychyna Romani dialect is not a homogeneous idiom, although almost all features ascribed to the current dialect in this paper have consistently been attested from three different speakers. As already indicated in the introduction, this dialect was formerly spoken in various locations in rural areas around the towns of Sambor and Stary Sambor (now Sambir and Staryi Sambir). Ancestors of the three main respondents grew up in different villages, where slightly distinct local varieties were probably spoken. Halychyna Romani should therefore be taken as a cluster of closely related varieties that were spoken in distinct localities of a single region. In this respect, Topolnica (Topilnycia), where the material for the vocabulary was collected, is the southernmost documented location of Halychyna Romani. A few kilometres south of Topilnycia there is the district (*rajon*) of Turka. Although there are still Roms living in the Turka district, they no longer speak Romani and their traditional Romani variety is therefore undocumented. It is likely that there was a dialect continuum from the region of Sambir to that of Turka and at least some of the features in which the vocabulary differs from the recently documented dialect were, in fact, features of now extinct Turka Romani. Note that some of these "unshared" features have identical counterparts in more southern dialects in eastern Slovakia and Transcarpathia, spoken more than 60 kilometres further south and southwest, so that some kind of historical continuum from Halychyna down to these regions may have existed in the past.

References

- Beníšek, Michael. 2014. Rediscovered Central Romani in Ukrainian Galicia. Paper presented at the 11th International Conference on Romani Linguistics, Oslo, 15-17 September 2014.
- Boretzky, Norbert. 1996. The 'new' infinitive in Romani. *Journal of the Gypsy Lore Society*, Fifth Series 6/1: 1-51.
- Boretzky, Norbert. 1999. Die Gliederung der Zentralen Dialekte und die Beziehungen zwischen Südlichen Zentralen Dialekten (Romungro) und Südbalkanischen Romani-Dialekten. In: Dieter W. Halwachs / Florian Menz. eds. *Die Sprache der Roma*. Klagenfurt: Drava: 193-256.
- Boretzky, Norbert. 2007. The differentiation of the Romani dialects. *Sprachtypologie und Universalienforschung* 60: 314-336.

- Boretzky, Norbert / Igla, Birgit. 2004. *Kommentierter Dialektatlas des Romani. Teil 1. Vergleich der Dialekte*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Čerenkov, Lev. 2008. Cyganskaja dialektologija v Ukraine. Istorija i sovremennoe sostojanie. *Naukovi zapiski Zbirnyk prac' molodyx včenych ta aspirantiv* 15: 489-503.
- Cherenkov, Lev. 2011. The Romani dialects in Ukraine: Some non-resolved problems of classification. Paper presented at the *Annual Meeting of the Gypsy Lore Society*, Graz, 1-3 September 2011.
- Elšík, Viktor. 2008-2011. *Linguistic Questionnaire for the Documentation of Central European Romani [= LQCR]. Version 4*. Prague: Charles University.
- Elšík, Viktor. 2014. Multal and paucal quantifiers in Central Romani. Paper presented at the *11th International Conference on Romani Linguistics*, Oslo, 15-17 September 2014.
- Heuvel, Wilco van den / Urech, Evelyne. 2014. Romani dialect variation in Transylvania: Migration and diffusion. *Romani Studies* 24/1: 43-70.
- Lípa, Jiří. 1963. *Příručka cikánštiny*. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
- Matras, Yaron. 1999. The speech of the Polska Roma: some highlighted features and their implications for Romani dialectology. *Journal of the Gypsy Lore Society*, Fifth Series 9/1: 1-28.
- Matras, Yaron. 2002. *Romani: A linguistic introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Miklosich, Franz. 1876. *Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europas VI*. Wien: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.
- Tenser, Anton. 2008. *Northeastern group of Romani dialects*. Unpublished PhD thesis. Manchester: University of Manchester.

Николай Бессонов

Этнонимы и прозвища цыган в СССР и на постсоветском пространстве

На территориях, которые были включены в состав Российской империи, а далее СССР, существовало множество цыганских этнических групп. Ныне они проживают в независимых государствах, образовавшихся на развалинах Советского Союза. В рамках данной работы речь пойдёт об этногруппах из следующего списка: *ру́сска ромá¹, лóты, литóвска ромá, польска ромá, котлáры, ловáри, чокэнáри, кишинéвцы, крымы, плащúны, сérвы, влáхи, ричáры, урсáры, чокэнáри, лингурáры, молдовáне, мадья́ры, мугáты (люлй)*.

1 Литература

В ходе полевых работ исследователи фиксировали этнонимы, услышанные от цыган. Среди зарубежных авторов назовём Е. Марушиакову (Marušiakova 1988), В. Толейкиса (Toleikis 2001) и А. Чайковского (Чайковский 2005). В 1960-е гг. Инга Андроникова записала для своей диссертации названия патронимических групп у русских цыган Смоленской, Новгородской и Псковской областей (Андроникова 2006). Родовое деление *котлáров* хорошо описали Роман Деметер и Пётр Деметер на основе записок своего отца – Ишвана Деметера (1879–1969) (Деметер, Деметер 1981). О *котлárских* родах нашего времени сделала доклад Ольга Абраменко (Абраменко 2008).

Узбекский цыган Хол Назаров ещё в 1980-е гг. привёл фактический материал по этнонимам группы *мугáт* (Назаров 1970). Качественной была публикация Иона Дрона об антропонимии цыган Молдавии (Дрон 1999). Не во всём удачную попытку описать этнонимы «балтийских» цыган предпринял Вальдемар Калинин (Калинин 2005). Несамостоятельной и содержащей доносительные технические ошибки была статья Надежды Деметер (Деметер 1984).

1 Курсивом даются все языковые примеры, взятые как из цыганского, так и из других языков, на которых говорят цыгане, а также все имена и прозвища.

О родах *ловáрей* писал Георгий Цветков (Цветков 2008). Этнонимы крымских цыган перечислил Вадим Торопов (Торопов 1994). Сведения о цыганах Белоруссии собирала Ольга Бартош (Bartosh 2009). Ряд названий родов кубанских *влахов* опубликовал в своём докладе Януш Панченко (Махотина, Панченко 2014). Высоким научным качеством отличались тексты Льва Черенкова, посвящённые этнонимам (Черенков 1985; Tcherenkov, Laederich 2004).

Как нетрудно заметить, специальная литература даёт мозаичные сведения по разным регионам и этногруппам. В 2000 г. Н. Бессонов (в соавторстве с Н. Деметер) попытался дать обобщающую картину в монографии (Бессонов и др. 2000). Упомянутый труд не был лишён недостатков – прежде всего потому, что был написан (по условиям грантовой оплаты печати) всего за 4 месяца. Однако теоретические положения главы об этнонимах не устарели и в ходе дальнейших исследований подтверждались новым материалом.

Предлагаемая вниманию коллег статья подводит итог 15-летней полевой работы автора. Впервые читатели ознакомятся со столь значительным числом этнонимов. Также впервые в рамках одной публикации рассматриваются практически все этногруппы бывшего СССР.

2 Система внутреннего деления цыган

Существуют десятки исторически сложившихся этнических групп (которые отличаются друг от друга диалектом, культурой, профессиональной специализацией и т. д.). Этногруппы нередко делятся по географическому принципу на региональные группы. Ещё более мелкой единицей является патронимическая группа (род). В род входят отдельные семьи².

Описанная здесь система по-своему очень логична. Представляясь, человек вначале называет свою цыганскую «нацию», допустим: «Я – русский цыган». Потом называет род, например, говорит: «Рóдо – мурáшки». А ещё может уточнить регион: «Из смолéнска ромá».

Большая семья часто базируется на имени или прозвище общего предка. От Бориса могут происходить *борисёнки*; дети и внуки курносого цыгана будут называться *курносёнки*. Разберём возникновение подобных названий на примере нескольких этнических групп (чтобы показать, что принцип универсален). Для начала возьмём *котлáров*. По одной из *котлáрских* версий прозвище у рода *са-поррóни* возникло в результате того, что у беременной цыганки ребёнок вёл себя в животе очень беспокойно. Однажды она сказала, что он вертится как змеёныш

2 Деление на этом низшем уровне находится за рамками данной статьи.

(*сапорро*). Появившись на свет, мальчик тут же получил упомянутую кличку – а потом его дети стали именоваться *сапорроны*. *Крэстэвецоны* – от цыганского слова ‘огурец’. Как-то мужчины выпивали, а одному не хватило стакана. Тогда находчивый цыган разрезал огурец пополам, вырезал из него мякоть и налил водку внутрь. Это и положило начало прозвищу «огурцы» – *крэстэвецоны*.

Итак, не только имя может лежать в основе названия.

Порой цыгане отталкиваются от какого-то предмета. Например, крымский род *чёрапéнгэрэ* происходит от слова *чёра́пи* ‘чулки’. По рассказам цыган, основатель ловáрьского рода носил короткую куртку и по этому предмету одежды его многочисленные потомки именуются *бундáша*.

Род может иметь не только нейтральное, но и смешное название. Так у *влахов* мы видим «породы», которые звучат: *нангорэ*, *пэрнангэ*, *бикалицэнди* (в переводе с цыганского: голытьба, бояки, беспортошные). Очевидно, в прошлом эти семьи жили в нищете³. Анекдотичная ситуация привела к появлению влашского рода *квашéнки*. Во время гадания деревенская баба поссорилась с цыганкой и разбила ей об голову кринку с квашеным молоком. Отсюда – и прозвище.

Иногда в названии патронимической группы отражается профессия. Старинный род цыган-*кишинёвцев* *вэкэрéште* получил такое название, поскольку далёкий предок был пастухом, ср. рум. *văcăr* ‘пастух’. *Вláхи* из рода *вадráря* делали вёдра, а род *лондó* по сию пору торгует солёной рыбой (*лон* по-цыгански – ‘соль’).

Даже у *мугáтов* Средней Азии, которые говорят на узбекском и таджикском языках, названия патронимических групп возникают точно так же, как в России. Род *джайрахур* основан на базе таджикского слова *чайра* ‘дикобраз’. Считается, что представители этой общности любят мясо дикобраза. *Койсафíйд* – имеются в виду седые брови. *Подарóз* – длинные ноги. *Сагбóз* – устроители собачьих боёв. Интересно, что этот род имеет также дублирующее название *кучукбóз* (‘собака’ по-таджикски – *саг*, по-узбекски – *кучук*).

Полагаю, этих примеров достаточно. В таблицах, помещённых ниже, приведены сотни названий патронимических групп. Лингвисты без труда поймут, какие слова (и на каких языках) послужили для них основой. Уже в самом начале статьи отметим, что полной картины мы не будем иметь никогда. По природе вещей названия патронимических групп не могут сохраняться вечно. Со сменой поколений род разрастается и неизбежно становится таким обширным, что дробится на более мелкие семьи. Естественно – с новыми именами. У одних цыган название рода держится три-четыре поколения. У других семь-восемь. Но рано или поздно всё забывается. Только если мы имеем письменные источники (а в данной области цыгановедения это невероятная редкость) можно восстановить некоторые старинные названия патронимических групп.

3 Один из влашских родов (вполне благопристойный по звучанию) за глаза называют *хындó*.

3 Исключения: прозвища по имени матери

Важно отметить, что у цыган в родовом делении нет строгой предопределённости, характерной для ряда других народов. Конкретный человек может выбирать, как представляться. Если репутация его рода по мужской линии в чём-то сомнительна, он предпочитает называть свою принадлежность по материнской линии.

У кубанских *влáхов* есть род *марьянура* (от имени *Марьáна*). Вызвано это тем, что фактическим родоначальником был русский человек, усыновлённый цыганами ещё в дореволюционные времена. Хотя этот *гаджó* вырос в таборе, хорошо знал язык и соблюдал национальные обычаи, сыновьям было приятнее представляться детьми чистокровной цыганки.

Бывало и по-другому. Случалось, что отец-цыган умер молодым от болезни или был убит. Детей в этом случае воспитывала мать. В её честь и называли род.

Порой влияние на выбор названия рода оказывало важное событие. Например, во время оккупации каратели расстреляли цыган деревни Александровка в Смоленской области. Однако уже на краю могилы Арина (Ирина) Матвеевна Конашенкова ухитрилась спасти свою семью. По её прозвищу теперь именуются дети и внуки. Цыганка имела привычку курить трубку – а потому носила кличку *Пáтка* (рус.-цыг. ‘трубка’). Соответственно, род имеет название *пáтки*.

Приведу далее ряд примеров, показывающих, что подобные исключения из правил встречаются в разных этногруппах. В Ярцево у русских цыган есть род *мýси* (по имени матери). *Сэрвицкий* род *паранькý* получил название от женского имени *Парáня*. У донецких *влáхов* род *цокéнки* именуется по разговорчивой цыганке, носившей прозвище *Цокотúха*. Даже *котляры* иногда отступают от традиций патриархата. От цыганки по имени *Вóржа* произошли *воржóни*. В Харькове живут именуемые по матери *манирвóни*. В Воронеже *зузóни*. В Днепропетровске мне с восхищением рассказывали о цыганке *Тэрэзé*, которая отличалась сильным характером и большим умом. Она вела переговоры с властями по разным конфликтным ситуациям и сгинула после ареста киевским НКВД. Её потомки именуются *тэрэзóни*. Георгий Цветков (*ловáрь* по происхождению) также приводит примеры «женских» названий, употреблявшихся в *ловáрьском* подразделении *чокéщи*. От имени *Кéжа* произошёл род *кежéщи*, а от цыганки *Сíрки* – род *сиркéщи*. Это на сей момент малочисленные «угасающие» группы (Цветков 2007: 475). Между тем, до сих пор *ловáри* помнят, что уважение к *Сíрке* и *Кéже* было очень большим. Достаточно сказать, что обе они имели голос во время цыганского суда (именуемого *криц*).

Перейдём к разделам, которые посвящены отдельным этногруппам. Основой нам послужат данные, собранные автором во время поездок по России, Белоруссии и Украине, а также материалы коллег.

4 Русские цыгане

Наш разбор следует начать с этногруппы *ру́сска ромá*. Сразу же отметим, что не каждый цыганский термин укладывается в описанную выше схему.

К примеру, информант говорит: «Я из *клыдáря*» или «Мои предки – *кофáря*». Начинающий исследователь может сделать опрометчивый вывод, будто цыган назвал свой род. Между тем, в данном случае перед нами так называемые профессонимы. *Кофáря* были торговыми цыганами. Речь идет о семьях, которые жили меной лошадей и брали *кóбо*, то есть барыш. *Клыдáри* – профессоним противоположного плана. *Клыдýн* по-цыгански – ключ. Соответственно, *клыдарья* – это цыгане, которые подберут ключ к любому чужому добрю или украдут лошадь.

Несколько иного плана распространённый термин *бóбры*. Это обозначение для сообщества русских цыган, уважающих старинные обычаи и традиции⁴. *Бóбрами* могут называться люди из разных родов. И в любом случае данный этноним невозможно включить в региональную систему внутреннего деления.

Для того чтобы понять эту систему, нам надо обратиться в дореволюционные времена. До сих пор в национальной среде можно услышать похвалу – *ни-колáевска чавé*. Так именуют «правильных» цыган, которые живут так же, как их уважаемые предки во времена царя Николая II.

В далёком прошлом кочевые не было беспорядочным поиском новых дорог. Цыганские семьи были исторически привязаны к определённой местности. Летом они могли ездить по всей России, но зимовать возвращались в те деревни, где их хорошо знали и охотно сдавали им жильё. Отсюда «географические» термины: *смоляки*, *пскóвска ромá*, *брýнска ромá*, *сибиряки*. Это не значит, что в дореволюционную эпоху цыгане избегали Тулы, Арзамаса и других городов. Отдельные семьи жили в самых разных местах. Но их было не настолько много, чтобы появились понятия той же весовой категории, как *смолéнска ромá*.

До сих пор упоминались только «крупные» географические этнонимы. Но существовали и региональные термины, возникшие благодаря какой-то местности. Скажем, *пинежáны* – жили на Пинеге, *каргапóлы* связаны с названием города Каргополь. *Белозёрска ромá* – проживали на северо-западе Вологодской области. К старинным терминам относятся *сéбежска ромá* и *сéвска ромá*. Полагаю, читатель без всяких авторских комментариев догадается о причинах появления таких названий, как *валдáйцы*, *тоболáки*, *тóмска ромá*, *алтáйска ромá*.

4 Характерна самоидентификация, отразившаяся в их любимой присказке: «Амá бóбры – у нас кони дóбры». Географически *бóбры* проживали в Псковской, Липецкой, Рязанской и Орловской областях, хотя их таборы заезжали также в Белоруссию и Прибалтику. Автор встречал их представителей в Тульской и Смоленской областях. Из родов автору известно только название *зgáльна*.

Патронимическая группа у русских цыган может называться по-разному. В зависимости от региона употребляются слова: *róðo, poróða, pripróða*. В Окуловке Новгородской области при знакомстве могут спросить: «*Савí тұтэ прýроды?*». Интересно, что слово *poróða*, будучи совершенно привычным в одних местах, может восприниматься кое-где как оскорбление. Некоторые русские цыгане с возмущением поясняли автору, что порода бывает у собак, а не у людей.

Отметим также, что название одного и того же рода может произноситься с разными окончаниями. В целях экономии места автор записывал этнонимы в единственном варианте. Однако для примера несколько патронимических групп в таблице приведено с разными суффиксами (варианты *-ята/-ёнки* и т.д.).

региональная группа	Род (<i>róðo, poróða, pripróða, прýроды</i>)
пскóвска ромá сéбежска ромá	Петербург и Ленинградская область: <i>балóны</i> (Володарка, Петербург), <i>борисéнки, бóты, гóпы, дёмбы, жандарéнки, жундулéнки, ефпотéнки, кóэлы, козлéнки</i> (Горелово), <i>копчёна, котéнки, крótки, курчóнки</i> они же <i>кúрки</i> (Горелово), <i>курносéнки, марьянéнки, михалычóнки, моторéнки, назарýта, николаéнки, парнячéнки, пíччины</i> (<i>пíччины</i>), <i>пузды́рки, пупанéнки, субутéнки, тиханýта, федорéнки</i> (делятся на <i>пупанéнков</i> из Горелово и <i>финéнков</i> из Пскова), <i>фильчóнки</i> (делятся на: <i>трофимéнков, барканéнков, вовчóнков и лексиéнков</i>), <i>фи́ничи</i> (Володарка), <i>цибулéнки, чухарéнки, шабанéнки, шубéнки, якхачéнки, яшóнки</i> Псков: <i>зубарéнки, комéнки</i> (Опочки), <i>курчóнки</i> они же <i>кúрки, финéнки, шиванéнки</i> (Поповка) Псков, Новгород: <i>адамéнки, алексиéнки, марьянéнки, николаéнки, писарéнки, пузды́рки</i> Новгородская обл., Окуловка: <i>гонорóнгирэ, гурюны́, колдунéнгирэ, никитéнгирэ, ленинéнгирэ, немцы</i>
валдайцы	<i>добровíчи, пиховíчи, мурýта</i>
смолéнска ромá (смолáки)	Смоленск: <i>александréята, бэбéнки</i> они же <i>бэбáта, вайдéнки, гура́та</i> они же <i>гурунýта</i> и <i>гурина́тa, жúчки, игоренýта, кири́та</i> они же <i>кíри, лягúшки, монголýта, мóши, мурáшки, петречинýта, питчóнки, пэнтéнки, сенчóнки, синчинýта, тýмченки, троцинýта, филинýта, хабарчáта, хатýра, харитонýта, хванéнки, хочóнки, юzáта</i> дер. Александровка: <i>ворончакý, пíпки, прущóнки, филинýта</i> Ярцево: <i>артимáтиа, ахримáтиа, баkráтиа, глинчóнки, лисéнки, машинýтиа, мýси, павличóнки, панéнки, сидоренýтиа, симанýтиа, смóгuri, федóрки, фильчóнки, ходорáтиа, хнальчóнки, ящóнки</i> Сафоново: <i>абрамáтиа, ахтымáтиа, александréята, алексинýтиа, будéнки, власýтиа</i> они же <i>власéнки, воцинýтиа, головéшки, горичéнки, каракулáтиа, кильчáтиа, лефанýтиа, лежачáтиа, макаéнки, мурáшки, поносýтиа, роговýтиа, склянчóнки, финýтиа</i> они же <i>финóвечи, хаданýтиа, хрипчинýтиа</i> они же <i>хráтки</i> Демидовский район: <i>яхимáтиа</i>

<p><i>сибирска рома</i> (<i>сибиряки</i>): <i>тоболяки</i>, <i>томска рома</i>, <i>алтайска рома</i>, <i>забайкальские</i> и т.д.</p> <p>Перебравшиеся в Казахстан роды тоже причисляют себя к <i>сибирякам</i>.</p>	<p>Сибирь (без упоминаний о городе): <i>ангáцы</i>, <i>балáны</i>, <i>бéдна</i>, <i>бабарéвичи</i>, <i>ванюры</i>, <i>ворошиловы</i>, <i>горóхи</i>, <i>гráчи</i>, <i>кизи</i>, <i>конюхóвичи</i>, <i>мáлки</i>, <i>матвéичи</i>, <i>минусíнские</i>, <i>нérченки</i>, <i>патáни</i>, <i>чернáвские</i>, <i>чубрéвичи</i>, <i>чириклé</i> живущие «везде» (по выражению информантов): <i>баланчúки</i>, <i>бантобáичи</i>, <i>зюкалы</i>, <i>коржóбы</i>, <i>ю́рченки</i></p> <p>Алтай: <i>бэрни́ки</i>, <i>данíлычи</i>, <i>лошáны</i>, <i>макарéвские</i>, <i>пáнченки</i>, <i>сталю́ки</i>, <i>фóмки</i></p> <p>Екатеринбург: <i>ильи́чи</i>, <i>кабатáта</i>, <i>калмы́ки</i>, <i>мишавíчи</i>, <i>пухýры</i>, <i>пискáны</i>, <i>решéтники</i>, <i>рябинáта</i>, <i>санбóрские</i></p> <p>Забайкалье: <i>главáтские</i>, <i>капитáны</i>, <i>степанáта</i></p> <p>Красноярск: <i>зинтéу</i>, <i>лудéльщики</i>, <i>осинóвские</i></p> <p>Новосибирск: <i>астáфичи</i>, <i>бакúлы</i>, <i>вишнякóбы</i>, <i>вороши́лы</i>, <i>дандáри</i>, <i>дисáны</i>, <i>зинтéу</i>, <i>макéи</i>, <i>матвéичи</i>, <i>орéлки</i>, <i>орлóвичи</i>, <i>пáвли</i>, <i>потáни</i>, <i>пúни</i>, <i>решéтники</i>, <i>рúвы</i>, <i>рúки</i>, <i>рыбáки</i>, <i>сивáнки</i>, <i>сталю́ки</i>, <i>фóмки</i>, <i>хрúли</i></p> <p>Омск: <i>грабóвские</i> (они же <i>барвальы</i>), <i>калтывáнские</i>, <i>решéтники</i>, <i>юрéвичи</i></p> <p>Тобольск: <i>бенганиóки</i>, <i>кальиши</i>, <i>сухóвские</i>, <i>чернонóговы</i></p> <p>Тюмень: <i>бéрги</i>, <i>пúтки</i></p> <p>Урал: <i>анéáцы</i>, <i>андréичи</i>, <i>апóловы</i>, <i>балавáски</i>, <i>балáны</i>, <i>бамберáта</i>, <i>барэ шэрítka</i>, <i>басакóвские</i>, <i>бенганиóки</i>, <i>блатéвичи</i>, <i>буздыгáны</i>, <i>бéрки</i>, <i>вайдалóвичи</i>, <i>волковы</i>, <i>гóшечки</i>, <i>кабатáта</i>, <i>калмы́ки</i>, <i>каловичи</i>, <i>калтунáта</i>, <i>камлéнки</i>, <i>канкалаши</i>, <i>козлóвские</i>, <i>конюхóвичи</i>, <i>крюкóвские</i>, <i>лáбы</i>, <i>лампáчи</i>, <i>лéтники</i>, <i>лимáнские</i>, <i>литóвки</i>, <i>марорé</i>, <i>матюшéнки</i>, <i>минусíнские</i>, <i>михаильченки</i>, <i>мишовíчи</i>, <i>остáфичи</i>, <i>пáтáни</i>, <i>пискунáта</i>, <i>рéвки</i>, <i>репéй</i>, <i>рúвы</i>, <i>рыпсáки</i>, <i>сергéичи</i>, <i>серебрýки</i>, <i>скоблáны</i>, <i>солдатéнки</i>, <i>туринские</i>, <i>федосéичи</i>, <i>харьkóбы</i>, <i>чепéвские</i>, <i>чернонóговы</i>, <i>хорькóбы</i>, <i>якимáта</i></p> <p>Челябинск: <i>дейнéки</i>, <i>пискунáта</i></p> <p>Казахстан: <i>андréичи</i>, <i>бадúлы</i>, <i>балавáски</i>, <i>баре ширítka</i>, <i>бармáны</i> (от них пошли <i>дорóши</i>), <i>басакóвские</i>, <i>бáйны</i>, <i>белéвичи</i>, <i>белошéнки</i>, <i>блатéвичи</i>, <i>бодráги</i>, <i>бéрги</i>, <i>вертуны⁵</i>, <i>дандáри</i>, <i>динéки</i>, <i>дороши</i>, <i>золотарéвы</i>, <i>калмы́ки</i>, <i>камлéнки</i>, <i>китáйцы</i>, <i>конюховичи</i>, <i>крéсти</i>, <i>кузнецы</i>, <i>лáнчи</i>, <i>лампáчи</i>, <i>мáлки</i>, <i>марковичи</i>, <i>маскалатáта</i>, <i>матюшéнки</i>, <i>мéтки</i>, <i>минусíнские</i>, <i>мýны</i>, <i>михаильченки</i>, <i>назáрычи</i>, <i>остáфичи</i>, <i>панфилиáта</i>, <i>пáршуки</i>, <i>пискунáта</i>, <i>пугарéвичи</i>, <i>пúни</i>, <i>рéвки</i>, <i>рыпсáки</i>, <i>садкевичи</i>, <i>садовские</i>, <i>сергéичи</i>, <i>солдатéнки</i>, <i>сталю́ки</i>, <i>туринские</i>, <i>фóмки</i>, <i>харьkóбы</i>, <i>шутлáги</i>, <i>яговíчи</i>, <i>якимáта</i></p>
--	---

Таблица составлена по материалам Н. Бессонова

История XX века внесла коррективы в картину расселения цыган. Конфликты с властями, семейные причины или возможность больше заработать дробили некогда единые роды. Часть цыган уезжала из мест своего исторического обитания. В наши дни многие *сибиряки* живут в Москве (например, *китáйцы*), а кого-то судьба забросила на Украину. Смоленские цыгане *лóбья* и *кучкы* уехали в Минск. Автор вынужден предупредить о возможных мелких неточностях, связанных со спецификой сбора этнографической информации. Зачастую цыгане искренне перечисляют в качестве коренных обитателей тех, кто приехал

5 Здесь и далее отсутствие знака ударения означает, что нам оно неизвестно.

половека назад (причём это подтверждается в ходе двух-трёх перепроверок). К примеру, многие цыгане включали в сообщество смолéнска *ромá* род *максими́та*. И только побывав непосредственно в их доме, я услышал, что приехали *максими́та* половека назад из-под Белгорода. Точно так же в Ярцево лево-*нýта* – приезжие из Белоруссии.

Итак, не исключено, что некоторые данные подвергнутся справедливой критике со стороны цыган-знатоков старшего поколения.

Вокруг Москвы, в множестве провинциальных городов, дисперсно расположено относительно «новое» цыганское население. Но это не успело ещё привести к появлению понятий *москóвска ромá*, *тульска ромá* и т. п.

Составленная мной таблица деления *ру́сска ромá* страдает от неполноты. В неё, к примеру, затруднительно включить группы цыган, проживающие восточнее и северо-восточнее Москвы, поскольку для них не существует понятного всей этногруппе термина.

Изменения последних десятилетий требуют от этнолога внимательной реакции. Как нам представляется, следует заняться фактическим проживанием цыганских родов в настоящее время. Этот шаг позволит зафиксировать данные о расселении русских цыган в начале XXI в. Естественно, при таких условиях один и тот же род будет фигурировать в разных географических разделах. Несомненно, через несколько десятилетий «моментальный снимок» даст весьма изменившуюся картину. Но это позволит проследить динамику.

Обращаясь к следующему поколению этнологов, я приношу извинения за неполноту информации. Вне поля зрения осталось множество городов и посёлков; предпринять же комплексную экспедицию было невозможно по материальным причинам. Впрочем, и в таком виде вы найдёте здесь сведения, которые никогда ранее не публиковались.

В г. Советск Тульской области я получил сведения о роде *капсулýта* (они кочевали до Указа по маршруту: Липецк, Тула, Щёкино, Орёл, Ефремово, Козельск). Тульская область: *захарýта* (Советск), *митрýта*, *носéнгирэ*, *рудéнгирэ*, *силóйта* (и родственные им *холуя́та*), *орéшки* (они живут также в Ростовской обл.); *тата-рýта* (рядом с Серпуховым), *хабарýта* (Волоколамск), *гринýта* (Калуга), *пескарýта* (Орёл, Липецк, Калуга). Арзамас: *клевчáта*, *грубáта*, *войвоýта*. Нижний Новгород: *бэрки*, *боксéры*, *головáны*, *горбунóвы*, *зоотéхники*, *китáйцы*, *лампáчи*, *липéнки*, *фрóнты*, *чернонóговы*. Нижний Новгород и Нижегородская область: *бáстры* они же *ба-ст्रýта*, *бородáчи*, *войвоýта*, *гарáси*, *калéнгире* (г. Лысково), *карандáши*, *каширýта*, *киргíзы*, *лéгкие*, *лёнки*, *мозольки*, *мордвáта*, *наливчáта*, *нейры*, *поковíчи*, *прячонки*, *пулемéты*, *réзаные*, *рыжáки*, *седáки*, *сйтные*, *скворцéнгире*, *стильные*, *якхáчи*. Самара: *блатéвичи*, *калываáнские*, *назáрычи*. Кострома: местные «природы» – это *ва-далáи*, которые поделились на: *баюмы*, *гарáни*, *курна*, *лагуны*; кроме того, есть приезжие *шестипáлы* и *нейры* (последние из Горьковской обл.). Ещё живут *кузнéцы*.

5 Лотвы

Очень простая и логичная система деления была у латышских цыган. Этническая группа *лóтвы* делилась по двум основным землям Латвии (Видземе и Курзиме), а для уточнения могли назвать себя по городу (например, *тúкумниеки* – обитатели Тукума). Но и эта схема находится в стадии разрушения из-за послевоенных миграций. Часть *лóтвов* перебралась в Россию (в частности ряд семей живёт в подмосковных посёлках Быково и Раменское). Часть эмигрировала в Англию и т. д. На данный момент они ещё сохраняют память о своём родовом и географическом делении времён жизни в Прибалтике.

самоназвание этногруппы	региональная группа	род (сэмэнци)
<i>лотфйтка ромá (лóтвы)</i>	<i>выйдзэмниеки</i>	<i>крауучи, прónче, чíчи</i> <u>Елгава:</u> <i>кáчи, пáучи, сóнейши</i>
	<i>кўрзэмниеки</i> (среди них <i>тúкумниеки, тáсылниеки,</i> <i>дóбельниеки</i> и т. д.)	<i>дўнчи, фра́йти, пáули, грáновоу</i> <u>Рига:</u> <i>пўджи, сýмани</i>

Таблица составлена по материалам Н. В. Бессонова

Будучи в Белоруссии, я узнал, что *лóтвами* здесь считаются следующие роды: *барбужонки, бичибáкирэ, дончонки, лабучонки, молонéнки, пекарéнки, писаронки, родáскирэ*. Однако Л. Н. Черенков полагает, что в основном это (по признаку диалекта) так называемые белорусско-латгальские цыгане.

6 Литовска рома

Польский этнолог Анджей Чайковски приводит названия родов: *бáужи, булдáви, валóки, жéмши, зязóки, зямзюры, кры́сы⁶, кхéйби* (Чайковскі 2005: 348).

Лев Черенков любезно посоветовал добавить в этот список роды: *балтру́ки, митру́ки, ля́нги, и флю́ки* (причём последние помнят своё происхождение от немецких цыган).

6 Их же чаще называют *жюрки*.

У литовского автора В. Толейкиса дополнительно находим этнонимы: *бусилёнки, гельбуты, гаджорэ, гóпы, ежю́ки, кáлци, чири́ки, серо́нки, стáхири* (Toleikis 2001)⁷.

Кирилл Кожанов записал также названия: *брáжи, жя́жи* (они же *жяжу́ки*) и *на́ри*. Коллега уточняет, что *кры́сы* именуются также словом *жю́рки*. Дополнительно К. Кожановым зафиксирован этноним *елбуты* (очевидно другое написание упомянутого выше рода *гельбуты*).

Мне не удалось собирать материал непосредственно в Прибалтике. Но, будучи в Белоруссии, я записал, какие роды литовских цыган частично проживают в северной части этой страны: *баяро́нки, бокхалэ, бра́ужи, булда́ви, валио́ки, зязю́ки*⁸.

7 Польска рома

На территории Польши у цыган свои роды. Здесь рассматриваются этнонимы *польска рома*, проживающих в Белоруссии. Ольга Бартош пишет, что к польским цыганам себя относят: *бэрня́ки, удейки и корса́ки* (Bartosh 2009). Мне же местные информанты добавили роды: *бобёнки, дончо́нки⁹, липе́нцы*.

8 Влахи

Очень многочисленной является этногруппа *влáхов*. Эти цыгане, выходцы из княжества Валахия, появились на Украине в середине XVII в. В настоящее время они живут и в России. *Влáхи* были кочевыми ремесленниками, в основном кузнецами. Их численный рост привёл к появлению большого количества патронимических групп. Система деления у *влáхов* практически идентична с рассмотренной выше русско-цыганской.

7 Отметим, что В. Толейкис ошибочно считает *лóтвов* родом литовских цыган.

8 Иное произношение слова *жяжу́ки*.

9 *Дончо́нки* встречаются выше в списке *лóтвов*. Однако от других информантов можно услышать, что это польские цыгане. Вероятно, прав Л. Н. Черенков, который полагает, что это цыгане, говорящие на белорусско-латгальском диалекте. Отсюда и сложности с их идентификацией.

региональная группа	род (<i>природа, порода</i>)
заволжские	Астрахань: бакré, бўбликура, бўлкура, бутылкура, гажикура, густёнкура, дромэнкура, дэхэнкура, дэмкура, жукланы, карачай, копитанура, лондэ (маринки), лўчкура, мерзлякура, парнэ, паршёнкура, перстакура, петрашёнки, потюкура, пужлёбура, пумючи, самонура, тыйтури, харéщи, шингалэ Волгоград: белашíй (белашура), бану́кура, гришёнкура, джебура, кануче́нкура, карача́й, кваши́нки (квашёнкура), крольюра, курякура, палиюки, паршёнкура, пилёнкура, пэлэнкура, цибулáта, скаку́нура, троши́нки (трошёнкура), хороши, цибулёнкура Элиста: куксéнкура
кубанские	Ставрополь: бикалцéнди, бурдёнкура, габóры, голобкура, горловонáта, горнáгура, грэцнки, губáнури, гэрдэнкури, джамбуре, джиджéлури, мánкоря, нангорэ, пэрнанеэ, ráшишле, рябёнкура, самонури, судзбни, чичельникури, чýчкуре, шáшиле. Благодарный: гопура, домэнкура, доманэнкура, когнире, ульбáкури, ташáнура
	Краснодар: бикалцéнди, вадráя, влásура, горнáгура, горошкура, кирпáчи, крючкура, лéбеди, марья́нура, масéнки, му́рлупэ, руки (рукура), сирéнки, чорнэнки Армавир: смы́кура станица Брюховецкая: зорéнкура, пипéра, хаптэнкура, цвирюра, чердáкура Воронежское: марья́ны, шэрэмэты Кропоткин: влásура, гордóбыцы, нангорэ, пáнькура, турикура, скаку́нура, судзбни, ташáнура, щербаки Кирпили: пумюки Тимашевск: горнáгура, горошкура, гусéнки, масéнки, шэрэмэты станица Тбилисская: баливасáры, влásы (власура), губáнура, ручéнкура, ташáнура Славянск-на-Кубани: донченки, масéнки, рочéнки, субóры
донские	Ростов и Ростовская область: белашíй, берéзки, бикалцéнди, гордэнкура, гráкура, дэвлора, когнире, кхулáри, марчнки, нангорэ, паршёнки, патрушиёнки, пилёнки, пипрёнкура, сандáлия, слибура, томрюкура, христюкура, чернэнки Миллерово и Чертково: гоздэнки Новочеркасск: дубинды Шахты: гейрүнуря, тумáнура Батайск: баэмутура, бикалцéнди, пушкинуря
горские	Нальчик: стомардé, марья́нура
	Минеральные воды: болéнкури, марья́нура
	Пятигорск: дэхэнкури, пэрдэнки, марья́нура
донбасские	Донецк и Донецкая область: белашíй, гráкура, кваши́нки, ликалэ, пипéра, слибура, цибулáта, цокéнки, цэклэтэнки Иловайск: пэрдэнки
	Лугansk и Lуганская обл.: бéдрини, горловонáта Лисичанск: дэвлора, кожúхура

Таблица составлена по материалам Н. В. Бессонова

Информанты зачастую отмечают фактическое проживание тех или иных *влáших* родов, упуская их происхождение. Поэтому, например, одно и то же название может встречаться в разных графах. Бывает, что ставропольские *влáхи* переехали в Краснодар, а краснодарские в Пятигорск. Для того, чтобы отследить все эти перемещения требуется отдельное исследование. Таблица в нынешнем её виде составлена после полевой работы автора в Волгограде, Донецке и Краснодарском крае; значительная часть информации – от *влáхов*, приезжающих на заработки в Москву.

После указа 1956 г. *влáхи* вынуждены были осесть во многих городах и посёлках, в том числе там, где ранее не проживали (Липецк, Воронеж, Мичуринск). Ниже приводятся выборочные сведения об их расселении в настоящее время.

город	род (<i>порóда</i>)
Гагарин	<i>пэрнангэ́з, харéщи</i>
Саратов	<i>корáкуря, тагарá, хорóши</i>
Борисоглебск	<i>судéбни</i>
Липецк	<i>краснéнки</i>
Грязи	<i>карачáи, краснéнки</i>
Мичуринск	<i>пипéря</i>
Тольятти	<i>батýмуря, мэ́куря, чíпуря (ранее ставропольские)</i>
Самара	<i>жуклáны (изначально заволжские)</i>
Пенза	<i>хорóши</i>
Балаково	<i>хорóши</i>
Фролово	<i>самóнуря</i>
Белгород	<i>свинчáткуря</i>
Днепропетровск	<i>толпáри</i>
Новомосковск	<i>бутылкуря</i>

Таблица составлена по материалам Н. В. Бессонова

В 2014 г. Януш Панченко, работая в среде кубанских *влáхов*, собрал следующие названия родов¹⁰: *болэнкуря, бу́дкуря, бужэ́ (лималэ), газэнкуря, гарнáгуря, гонорé, гермáнцуря, голóвкуря, гудéнкуря, диджéлы, домэнкуря, дэмкуря, дранчéнкуря, ёхýмы, кащуны, коксéнкуря, корзынуря, кóтуря, крючкуря, молдовáнуря,*

10 Уже упомянутые выше в этом списке не дублируются.

нифáтуря, пилéнкуря, пётрашéнкуря (мáрчинкуря), тру́сыкуря, нэчипóуря, пэрдэнкуря, ружéнки, тэмрюкý.

9 Молдоване

Так называемые *молдоване* (происхождение которых автору не ясно)¹¹ исторически кочевали в районе Донбасса и Ростова-на-Дону, а в северном направлении заходили не далее Воронежа.

самоназвание этногруппы	региональная группа	род
<i>молдовáне</i>	таганрогские, донецкие, ростовские и т. д.	буќé, гуркí, вакáюря, дмэтрénки, нóмуря, чувáлуря, хмуркý (а ныне гаврилы), тарасáта

Таблица составлена по материалам Н. В. Бессонова

Современное проживание молдован таково: буќé – Донецк, Ростов, Москва; чувáлуря – Донецк, Лисичанск, Россошь; нóмуря – Донецк; вакáюря – Донецк; тарасáта – Россошь; гуркí – Свердловка, Луганская обл.; дмэтрénки – Амбросьевка.

10 Крымы

Цыгане, отколовшиеся от молдавских *урсáров* и обосновавшиеся на Крымском полуострове, стали именовать себя *крыымítика ромá*. В течение своего длительного пребывания среди крымских татар, они заимствовали многое в языке и обычаях. Отсюда второй этноним *татарапtика рома*. По всей видимости, к XIX в. относятся первые географические термины. Это могли быть привязки к конкретным городам (например, *джюнтукéя* – жители Джанкоя). Появились и чисто описательные термины (например, *барé панéнгире* – приморцы, от цыганского *барó пани* ‘море’).

Советский период внёс корректиды в картину расселения крымских цыган, что отразилось и на их географических самоназваниях. Голод выдавил

11 Есть версия, что это отколовшаяся часть молдавской этногруппы *чокэнари*.

часть этногруппы на Кубань и черноморское побережье Кавказа. Соответственно, появились термины *кубанлӯдес* и *чёрноморлӯдес*. Отметим, что для *кры́мов*, обосновавшихся в центральной России, так и не появилось внятных обозначений (хотя история московской диаспоры насчитывает уже 80 лет).

самоназвание этногруппы	региональная группа	род (<i>тухұ́мъя</i>)
<i>Кырымлѝтика рома</i> (<i>кырымлѝтика, хорохая, татарлѝтика рома</i>)	кырымлӯдэс (Крым), кубанлӯдыс или кубанлӯдэс (Кубань), чёрноморлӯдэс (черноморское побережье Кавказа). Есть также уточняющие названия по местностям: <i>гхәришлӯдэс</i> - жители Керчи, <i>гәзлүлидэс</i> - жители Евпатории, <i>орлу́дэс</i> - жители Перекопа, <i>джюнтуке́йа</i> , <i>дюндюкёйа</i> - жители Джанкоя, <i>қәфлӯдэс</i> - жители Феодосии, <i>қырлӯдэс</i> - степняки, <i>барз панёнгэрэ</i> - приморцы, <i>кишайалэ</i> - вероятно проживали в песчаных местностях (живут в Каховке); <i>арықя</i> (чёрноморлӯдэс)	бузмани́дэс, о дәшá дәшиэнгэрэ, карачюра́дэс, карородэс, пуха́дэс, тодоридес, ханаидэс, чёрапе́нгэрэ

Таблица составлена по материалам В. Г. Торопова

11 Кишинёвцы

Цыгане молдавского происхождения. После отмены крепостного права они откочевали на территорию Украины. Далее часть кишинёвцев перебралась в Россию. Этот исторический процесс отразился в современном делении этногруппы.

самоназвание этногруппы	субэтническая группа	род (<i>выйца</i>)
<i>кишинёвцы</i>	донские кишинёвцы	<i>бобкёште, боулéште, григорéште,</i> <i>каланджиéште, костéште, вэкерéште</i> (<i>милионéште</i>), <i>софронéште, стрелокéште,</i> <i>фёдорéште, харулéште, туркулéште,</i> <i>хоцоманéште, якубéште</i>
	украинские кишинёвцы (в прошлом <i>таврийкэ</i>)	<i>байдакéште, дұхжéште, конанéште,</i> <i>мигаéште, модорáи, мочолéщи, мыцéште,</i> <i>пампүéште, хоркéште</i>

Таблица составлена по материалам Н. В. Бессонова

В прошлом украинские кишинёвцы именовались *таврийцами*, очевидно, по названию Таврической губернии. Сейчас этот этноним вышел из употребления.

Кишинёвцы, проживающие в России, до сих пор называют себя «дона́нскими», хотя многие из них родились в центральных областях и никогда не бывали на Дону. Тех, кто остался на Украине, донские кишинёвцы иногда называют *брэздя́ми*. Последний термин носит обидный оттенок.

12 Плащуны

Плащуны – очень маленькая этническая группа, и к тому же с короткой исторической памятью. Они имеют территориальное деление по состоянию на середину XX века. Спасаясь от войны, часть плащунов покинула Украину и рассредоточилась по многим местам, включая столицу Азербайджана. Мне называли следующие термины: *бакинские*, *лимбу́ржские*, *буйнские* (рядом с Саратовом). Разумеется, сейчас эта система размывается за счёт новых переездов. Что касается родового деления, то употребляются слова: *о рóдо* (ед. ч.), *о рóды* (мн. ч.). Поскольку плащунская этногруппа малочислена, особой нужды в названиях родов не было. Мне говорили, что их стали употреблять относительно недавно. Так от цыгана по имени Гандоро пошёл род *гондорéште* (живущий в Горловке и в Краснодарском крае). Другая семья, в которой мужчины носили красные сапоги, получила прозвище *казачкóвы*. В Горловке живут *липовáнуря* (*липовáны*).

Кроме того, существуют большие семьи, в которых заключалось много смешанных браков между *плащунами* и *влáхами*. Среди таковых называют роды: *засоренки* и *халимки*, проживающие в Макеевке. Звучит в этом контексте и этноним *полешáне*.

13 Котляры (кэлдэрары)

Традиционное занятие этих цыган – металлообработка. Особенностью кэлдэрáров долгое время являлась приверженность «реликтовым» географическим понятиям. В Россию эта группа цыган приковчевала в конце XIX – начале XX века. Сформировавшись на территории Румынии, кэлдэрáры мигрировали в другие страны. Соответственно, появились такие термины, как *сербия*, *молдовáя*, *грéкуря*, *у́нгрика* и *доброжáя* (зафиксированные Р. С. Деметером в его публикации 1981 г.) (Деметер, Деметер 1981: 243). Заметим,

что часть *котляров*, откочевавшая во Францию после Октябрьской революции также называется по «прежнему» месту пребывания – то есть *руси́я*.

В начале всего XX века таборы *котляров* отличались большой мобильностью. В поисках работы по лужению и рынков сбыта для своей продукции они ездили по всем регионам страны. Важно отметить, что при этом так не возникли новые географические термины. В каком бы месте ни обосновывались таборы лудильщиков, они продолжали оперировать понятиями *молдовáя* и *унгрика*¹². Теперь это было, прежде всего, указание на общность происхождения. *Вíцы*, входившие в упомянутые крупные группы, знали о своём близком родстве.

Однако, годы шли и «реликтовое» деление постепенно стало забываться (или подвергаться переосмыслению). Так слово *доброджáя* употребляется современными поколениями в значении *вíцы*. То же самое можно сказать про термин *сербия*.

Ниже приводится таблица прежнего деления *котляров*, сделанная на основе данных Р. С. Деметера¹³.

самоназвание этногруппы	региональная группа (<i>на́цыя</i>)	род (<i>вица р. вица цигни</i>)
кэлдэрáя	ўнгрикэ	бадони, ѹонéши, минéши, паракóни, петрёши, чайкóни, шандорóни
	молдовáя	ангелéши, балищéни, баляро́ни, бобокóни, болоцóни, ботóни, бумбулéши, бурикóни, булуцóни, вицбóни, вовбóни, гэнéши, гырцóни, дешудúй шерó, диликóни, дикóни, дицбóни, дукóни, дэмóни, дюркóни, колóни, крестевецóни, кумбрие́ши, мигэ́ши, молокóни, мургулóни, мурулóни, парпаулóни, понтóни, поррóни, рубóни, сапорбóни, сзвулóни, тошибóни, трокóни, чукурóни, чичéни, чяндорóни
	доброджáя грéкуря сербия	На момент сбора сведений, эти малочисленные региональные группы не делились на вицы. <i>Бидони</i> , отнесённые Р. Деметером к <i>унгрика</i> , – это в реальности цыгане из группы <i>грéкуря</i>

Таблица составлена по материалам Р. С. Деметер

12 Более подробное и во многом отличающееся описание котлярского родового деления дано в (Ослон рук.) – прим. ред. М. В. Ослона.

13 В ней исправлены незначительные неточности, допущенные при фиксации этнонимов.

Сейчас многие котляры не помнят, что доброжая прибыли некогда из местности Добруджа. Согласно наивной народной этимологии, «доброжая – это добрые люди». Зато про род бэнэцая, проживающий в Малоярославце, говорят, что эти цыгане пришли из Баната¹⁴.

Далее я приведу собранные мною данные о дроблении старинных родов. Вицы барé продолжают делиться на более мелкие вицы цигнé.

Из рода миғэёшти выделились: *василёни, вошони, воржони, рымбулони, грэнбони*¹⁵, *дынёни, тимони*. Чичёни поделились на *вачулони* (Днепропетровск), *зуркони* (Николаев), *манировони* (Харьков), *парпавулони* (Симферополь), *тэрэзёни* (Днепропетровск). В Волгограде дэмёни поделились на: *гогони, гогулони, гэпони, карфолони, мутони, томикони, фрэнциони, юркони*. От дэмёни пошли ёникони и *гранчони* (живут в Свердловске и Воронеже). В Малоярославце ѹонёшти поделились на: *бузуёщи, германцев и чигони*. Упомянутые выше доброжая также поделились. Уже есть *орвотони*, а в Воронеже живут *зузони*. Балерони поделились на: *лацони и никитони* (Старый Оскол).

Интересным источником является книга котлярского автора Мурши ле Ристаско (О. Н. Петровича) (Петрович 2007). Это фактически «взгляд изнутри», позволяющий проследить, как происходило дробление, как возникали названия новых родов и так далее. Между прочим, мы находим в данном тексте список родов. Некоторые из них не фигурировали в списке Р. Деметера. Перечислим эти названия (опустив упомянутые выше): *бринзони, бузони, булбарэ, ёвони, ёнёшти, жоциони, карабетони, колони, комбоёни, котрымбони, логоррони, менёшти, митони, мизёшти, мошони, немцони, паракони, пелитони, стойкони, чайкони, чёкыртони, хунанайцы, хымбулони* (там же: 518–519).

Степания Кулаева, которая вела полевые исследования в 2006–2007 годах, ввела в литературу этнонимы: *василикони, волохони, геролони, гымбуёни, кумбуёни, молохони, пущони* (Абраменко 2008). Кроме того, мне называли вицы: *букурони, грэнчони, карчулони, пэдорони*.

В данный момент существует множество компактных котлярских поселений. История некоторых из них насчитывает уже десятки лет. Приведём ниже данные о расселении котлярских родов по состоянию на начало XXI в.¹⁶

14 Но с тех пор они породнились с ёнёшти.

15 Были почти истреблены немцами во время войны.

16 Автор не претендует на полную точность. В связи с переездами цыган часть информации могла устареть.

Абакан	<i>бурикóни</i>
Айша (Татарстан).	<i>ёнéшти, карфолóни, тошóни</i>
Алма-Ата	<i>сапорróни</i>
Батайск	<i>бидóни, савулóни</i>
Белгород	<i>мигэéши (чайкóни)</i>
Борисполь	<i>чучóни</i>
Брянск	<i>чукуро́ни</i>
Верхнеднепровск	<i>доброжáя</i>
Вильнюс	<i>каричлóни, паракóни, петрёшти</i>
Владимир	<i>доброжáя, тошóни</i>
Волгоград	<i>дэмóни</i>
Воронеж	<i>болосóни, бурикóни, гранчóни, доброжáя, дынóни, зузóни, савулóни</i>
Дзержинск (Новгородская обл.)	<i>чукуртóни (чёкыртóни)</i>
Днепропетровск	<i>чучóни</i>
Екатеринбург	<i>болосóни, гранчóни, лолоррóни</i>
Иваново	<i>немцóни</i>
Ижевск	<i>чукуртóни</i>
Йошкар-ала	<i>бедóни, ѹонéши</i>
Калинович-Котовск	<i>крестовецóни, гогóни</i>
Караганда	<i>мошóни</i>
Коломна	<i>савулóни</i>
Конаково (и рядом Редькино)	<i>мигэéши</i>
Косая гора	<i>василéни, дынóни</i>
Красноярск	<i>бурикóни</i>
Киев	<i>сапорróни</i>
Клин	<i>дэмóни</i>
Курган	<i>сапорróни</i>
Курск	<i>минéши</i>
Липецк	<i>балерóни, дынóни, чукуро́ни</i>
Малоярославец	<i>бэнцáя, ѹенéши</i>
Москва (Ховрино)	<i>ёнéшти, минéши</i>
Москва (Пушкино)	<i>петрёшти, чукуро́ни</i>
Нижний Новгород	<i>савулóни</i>
Николаев	<i>чичóни (вица зуркóни)</i>
Новосибирск	<i>бидóни, мигэéши</i>
Омск	<i>дэмóни, савулóни</i>
Орёл	<i>немцóни</i>
Пенза	<i>дукóни</i>
Пери (рядом с Петербургом)	<i>мигэéши, сапоррóни</i>
Пермь	<i>рубóни</i>

Петушки	<i>дешудүй</i>
Плеханово	<i>дукони, дынёни, митроны</i>
Рязань	<i>чукуроны, крэстэвецоны</i>
Ростов	<i>колони, мошони</i>
Самара	<i>дэмёни</i>
Саратов	<i>молоконы</i>
Свияжск	<i>лолороны</i>
Серпухов	<i>дынёни</i>
Симферополь	<i>чишёни (вица парпавулёни)</i>
Старый Оскол	<i>болероны (вица никитёни)</i>
Тайнинка (Московская обл.)	<i>минёшти, петрёшти</i>
Тамбов	<i>ботоны, порроны, чукуроны</i>
Татьянинко и Арсаки, Александровский р-н., Владимирская обл.	<i>болероны, доброжая</i>
Тверь	<i>санорроны</i>
Тула	<i>дынёни</i>
Тюмень	<i>биодёни, мигэёшти</i>
Ульяновск	<i>дэмёни</i>
Усад	<i>йонёшти</i>
Уфа	<i>биодёни</i>
Харьков	<i>чишёни (вица манировёни)</i>
Чебоксары	<i>йонёшти</i>
Челябинск	<i>порроны</i>
Чудово (рядом с Петербургом)	<i>мигэёшти</i>
Ярославль	<i>доброжая (заинёни), йонёшти, бузёни</i>

Таблица составлена по материалам Н. В. Бессонова

14 Ловари

Ловáри, сформировавшиеся как этногруппа в Венгрии, прикочевали в Россию в конце XIX – начале XX в. В отличии от котля́ров, они не принесли с собой реликтовых географических этнонимов. Кроме того, они были относительно малочисленными. По имеющимся устным сведениям вначале в Российской империи прибыли всего два рода: бундáша и чокéщи. Несколько позже появился третий род, который стал известен как унгри, поскольку эти цыгане «только что» покинули Венгрию. Род у ловáрей именуется вйцей, но в старину употреблялось слово фáйта.

В течение XX века шёл нормальный процесс дробления патронимических групп, и в итоге мы наблюдаем картину, отражённую в таблице.

самоназвание этногруппы	род (<i>вýца</i>)
ловáря	чокéщи (делятся на: болтощéщи, груéщи, дошкéщи, кэжéщи, мишкéщи, маргощéщи, сиркéщи) бундáша (делятся на: мадярéщи, метéщи, янкéщи) ўнгри (делятся на: андришиéщи, богéщи, канглáра, пэкéщи хурдéщи, чабáша)

Таблица составлена по материалам Л. Н. Черенкова и Г. Н. Цветкова.

Следует заметить, что российские *ловáри* убеждены в доминировании трёх своих старинных родов во всём мире. Автору не раз приходилось слышать от них заявления, что за рубежом, как и у нас существуют только чокéщи, бундáша и ўнгри. Чтобы рассеять это заблуждение, я привожу данные о ловáрях Словакии, Венгрии, Австрии и Германии. Информацию предоставили мои коллеги Е. Марушиакова (Marušiákova 1988) и Л. Черенков – словацкие: *барабáшки, богранéшти, боугéшти, дриздáри, йибóшти, куркéшти, маркóшти, мачкéшти, менкéшти, мукéшти, феркóшти, фижачéшти, чурéшти*; венгерские: *дудумéшти, шошоéшти*; немецкие: *форкéшти*; австрийские: *баранéшти*.

15 Сэрвы

Внутренняя структура украинских цыган *сéрвов* плохо оформлена. Прежде всего, следует отметить деление по языковому признаку. Часть *сéрвов*, забывающих цыганскую речь (и говорящих по-украински), называют *хóхлы*. Географическая терминология выражена слабо, хотя существует понятие о «поворжских» *сéрвах*, хорошо сохранивших свой диалект. Если же говорить о категориях, близких к делению прочих цыган, то здесь картина такова. Часть цыган идентифицирует себя как просто *сéрвов* – без всяких дополнительных уточнений. Есть, однако, *гýмпены* и *ханджáры*. Последние иногда называют себя «русскими» *сéрвами*, хотя реально живут по всей Украине.

В качестве курьёза упомянем несколько родов из окрестностей Львова, которых называют «индейцами». Изначально термин возник по звунию со словосочетанием «посёлок индивидуальной застройки», но смысловое напол-

нение содержит намёк на архаичность обычаяев этих цыган (патронимическая группа *корчі*).

Ниже приведены выборочные данные о расселении сэрвицких родов, собранные автором в ходе полевых работ на Украине, а также от цыганских информантов, проживающих в России.

Киев и Киевская область	<i>барз, болобы, вантюкі, варорёнки, гогі, гулáи, гулэнки, каткі, клюї, мэдзэгэллы, наўмкі, паранькі, педáны, пузаны, рупэнки, фросыкі, черноухі, шепéли, щербакі</i>
Яготин (Киевская обл.)	<i>корчі</i>
Кременчуг	<i>мищерякі</i>
Запорожье	<i>берники, бурячки, гарбузы, губаны, заднепряны, киренки, кишинки, калычі, никифоры, орешкёнгире, пуды (пудунёнгире), сундуки</i>
Харьков	<i>хурбёты</i>
Львов	<i>ардаши, берники, галушки, камыши, каштаны, кефиры, клюи, корчі, лангорé, мынёнгире, орешкёнгире, пíси, усаны</i>
Черкасы (Львовская обл.)	<i>кефиры, пашёнгире</i>
Донецк	<i>варепёнки, воячэнки, гáпченки, глáзы (они же глáзуря), гонорёнки, губаны, гўнди, зíкманы (они же зикманята), исай, казарезы, калявай, кулябы, клещинкі, пашёнгире, ризины, смóлыки, ярмашатá, ярошкі</i>
Мариуполь (Донецкая обл.)	<i>гаджорз, мётры</i>
Селидово (Донецкая обл.)	<i>границы</i>
Макеевка (Донецкая обл.)	<i>пузаны</i>
Горловка (Донецкая обл.)	<i>гонорёнки</i>
Луганск	<i>войки, гонорёнки, зíкманы, исай, пашёнгире, пíси, скакуны</i>
Стаханов (Луганская обл.)	<i>восьма́куря, пáпченкуря</i>
Краснодон (Луганская обл.)	<i>бамбулы, лахманы, лопухи</i>
Свердловка (Луганская обл.)	<i>крикунури, мазаничэнки, турчаки</i>
Одесса	<i>берники, каганцы, лангорé, ульчэнки</i>
Днепропетровск	<i>белоусы, беспальки, бушкі, бушуй, гастряки, корчі, калыши, кыцуны, манчэнки, миколэнки, орешкі, смóлыки, харипуны, тэлтыши, федорёнки</i>

Волгоград	<i>адорчáты, балáбануря, галúшки, гонорé, лангорé</i>
Фролово (Волгоградская обл.)	<i>балавасá, губáны, гучуку́, зоралó (они же лíвенские), мánки, монеóлы, сínие, судéбны, ýсики, халамéу, хáнджи, хрóли, шíлы</i>
Урюпинск (Волгоградская обл.)	<i>горюоны, сýмы</i>
Михайловск (Волгоградская обл.)	<i>барз</i>
Ростов	<i>малаí, маслюкí, мынéнгире, пашéнгире, скакуны́, усаны́, ярмашиáта</i>
Новочеркаск (Ростовская обл.).	<i>войки</i>
Новошахтинск (Ростовская обл.)	<i>скакуны́, сырмыниáта, хриплиевые</i>
Морозовск (Ростовская обл.)	<i>каганцы́</i>
Гуково (Ростовская обл.)	<i>видéрники, горбáчи, пидáны, пурорó, муторó, стрóжки, хриплиевые</i>
Воронеж	<i>ардашí, гонорé, каштаны́, клюй, лíвенские</i>
Россошь (Воронежская обл.)	<i>жадáнура</i>
Поворино (Воронежская об)	<i>барз, блáги, бобрóвы, зоралó, лимáнские, рыжúхи, усáны</i>
Борисоглебск (Воронежская обл.)	<i>блáги, гвóзди, губáны, гурувáри, жбáны, зéмские, ѹоси, каналó, капсóли, козырные, манéки, мэдзэгэлзы, рябýны, смазныé, солдáты, ýшки, хантýу, чирáки, чучúки (чучúнура), шпáки, штыки, щербáки, щетынны</i>
Новохопёрск (Воронежская обл.)	<i>адорчáты, гýнди, гусакí, зíкманы (они же жигуныí), капитóны, кармусá, королí, лимáнские, никýты, шýги</i>
Краснодар	<i>усаны́</i>
Старый Оскол (Белгородская обл.)	<i>войки, кóкари, пíси</i>
Ташкент	<i>бérники</i>
Самарканд	<i>бérники</i>
Андижан	<i>бérники</i>
Самара	<i>казáки, лукóни, маслюкí, собакáстирэ</i>
Раменск	<i>маслюкí, пуды́ (пудунéнгире).</i>
Москва	<i>жукуря (ранее Ростóвские), кефиры́, клюй, кóкари, лангорé, орешкéнгире, пуды́ (пудунéнгире).</i>

Таблица составлена по материалам Н. В. Бессонова

Кроме того, автору называли не локализированные по местности роды: *баглай*, *брыйкуря*, *вэрбы*, *карасй*, *лапынки*, *недостройки*, *носорогоря*, *порядынски*, *пýжики*, *струлы*.

Картина на постсоветском пространстве будет неполной без упоминания Молдавии. К сожалению, у меня не было возможностей проводить исследования в этой республике с многочисленным цыганским населением. Пытаясь частично восполнить этот пробел, я обратился к материалам своих коллег. При всей отрывочности этих сведений видно, что этнонимы молдавских цыган формируются на той же принципиальной основе, как в России и на Украине.

16 Урсары

И. В. Дрон приводит названия ряда патронимических групп. Касаясь этногруппы *урсáров*, он называет роды без указания ударения: *ганчешти*, *гердешти*, *захариешти*, *панаки*, *пандика* (Дрон 1999: 39-40).

17 Чокэнаря

Об этих потомственных работниках по металлу имеются сведения в литературе. Согласно публикации И. В. Дрона, этногруппа чокэнáри включает в себя такие роды, как: *бэндэшти*, *кашука¹⁷*, *крэпештáну¹⁸*, *харабляри*, *чороéшти*, *якобéшти* (Дрон 1999: 40). Как известно, многие чокэнáря проживают в г. Сороки (Молдова). Именно там В. Кочанский записал ещё несколько родовых названий: *бахметцéшти*, *vasилéшти*, *гырлецéшти*, *короéшти¹⁹* (Кочанский 2002: 4). Встретившись в Краснодарском крае с чёкэнáрями из Сорок я записал роды: *мотонéште*, *наяли²⁰*, *фрунзуléште*, *ымперецéште*. В Закарпатской области Украины я встретился с группой, имеющей сходный этноним (*чёканáра*). Это ремесленники, выполняющие работы по металлу, из компактных поселений: Подвиноградово и Королёво. Их диалект имеет отличия от диалекта сорокских цыган. В ходе полевой работы я узнал названия местных родов: *бундéшти*,

17 Они же *кашукаéште*.

18 Они же *крэпештéя*.

19 Произношение двух родов помогли исправить автору сорокские *чокэнáри*.

20 Как объясняли информанты, название образовалось потому, что бабушка была шестипалой.

кутéши, лацéши, мадяréши, моурéнци, фицéши. При этом мне сказали, что род называется словом *фáйта*.

18 Лингуары

Ещё одной этногруппой молдавского происхождения являются румыноязычные *лингурáры*. Как известно, исконной профессиональной специализацией этих цыган было изготовление деревянных ложек (отсюда и название группы). Будучи в Закарпатье, я встретил на базаре цыганок, продающих ложки. По сведениям, полученным от этих *лингурáрок*, в их посёлке проживают патронимические группы: *кодéши, лэпорéши, фэрéши, чупилитéши*.

19 Ричары

Практически неизвестна прочим цыганам этногруппа *ричáры* (или *рищáры*). Некоторые из моих пожилых информантов кочевали когда-то вместе с ними. Несмотря на название, происходящее от слова *рич* ‘медведь’, данная этногруппа разводила и продавала коней. Сейчас эти цыгане живут под Сальском (Калмыкия), практически никуда не выезжая. Автору удалось во время случайной встречи записать всего одно название *ричáрского* рода – *бизюнята*. Кроме того, ещё одно родовое прозвище (*ямпили*) зафиксировано в литературе (Черенков 2013: 16).

20 Мадьяры

Венгерские цыгане пополнили число цыганских этногрупп Украины в результате территориальной экспансии СССР. В конце Второй мировой войны была отторгнута часть Венгрии вместе с многочисленным цыганским населением. Таким образом, венгероязычная этногруппа, именующая себя «модёр циганёк» была разделена государственной границей. Те, кто оказался на «советской» территории именуют себя «карпатоёши циганёк», а своих зарубежных собратьев именуют «модёрусаги циганёк».

Венгерские цыгане подверглись значительной ассимиляции и утратили большинство национальных традиций, но при этом сохранили родовое деле-

ние. Ниже перечислены патронимические группы, названия которых собраны автором в ходе полевой работы в г. Берегово Закарпатской области.

самоназвание этногруппы	региональная группа	род (бóндо)
модёр циганёк	модёрусаги циганёк (цыгане Венгрии)	
	карпатооёши циганёк (цыгане Закарпатской Украины)	вок, гéрич, гéйбии, дíно, дўди, жéно, кéке, кóуунифери, кўки, лéнке, мáришко, мénюш, мýйом, мóкоу, мэссе, пинáш, пóно, прáчуш, ракоши, рóходи, сидло, сýси, фóдю, чýби, чýтураши, шýми, шýнтийр, эйо

Таблица составлена по материалам Н. В. Бессонова

21 Мугаты (люли)

Данная этногруппа не имеет прямого родства с европейским сообществом *ромá*. Некоторые авторы отказывают люлѝ в принадлежности к цыганскому народу. Между тем Государственная перепись населения 2010 г. имела для люлѝ отдельную рубрику с названием «среднеазиатские цыгане». Этнологи XIX и XX вв., которые вели полевые исследования (К. Патканов, И. Оранский, Г. Снесарев, А. Троицкая, Х. Назаров), однозначно называют мугáтов «цыганами». В пользу этого мнения говорит как кочевой образ жизни, так и «цыганские профессии» (барышничество и ремесло у мужчин, гадание и сбор подаяния у женщин). Приведя собственную полевую работу, автор данной статьи выразил солидарность с мнением коллег (Бессонов 2008). Особо отметим, что внутренняя структура мугатов практически идентична с влашской или русско-цыганской.

самоназвание этногруппы	региональная группа	род (<i>tup</i> , <i>tupar</i>)
мугати тубжон	самаркáндихо (самаркандские)	бойтúп, булгáн, гирбучáй, джайрахур, джёсибóр, калтатúп, (кх)ирк, коканú (баттуп), кучукбóз (сағбóз), оргуты́, самаркáнди, тавоктарóши, хóджитуп
	мугатоу бухóрги (бухарские)	абдураим, балхé, бабо кафтари, бигмáт, камчýн, кафтáр, оýмагмáт, подарóз
	карийгихо (окрестности Карши)	абдураим, балхé, бигмáт, джайрахур, ёрмат, койшафиýд, неёзкулú, оýмагмáт, потараý, тавоктарóши, юлдáши (юлдоши).

<i>мугати тубжон²¹</i>	<i>мугáти тошкáнты</i> (ташкентские)	<i>тавоктарóши</i>
	<i>навоигоҳо</i> (г. Навои)	<i>ала(кх)он, (кх)áлаги, мийонколи</i>
	<i>шахрэсавзигэ</i> (Шахрисабз)	<i>бойтúп, джайрахур, тавоктарош, камчийн, оймагмáт</i>
	<i>куканыхо</i> (кокандские)	<i>тавоктарóши</i>
	<i>кургантиюбихо</i> (Курган-Тюбинская область)	<i>буригí, коркилó, сакбóз</i>
	<i>кулябские</i>	<i>дарвозá, курбаншайд, тóмин</i>
	<i>гиссарские</i>	<i>джайрахур</i>

Таблица составлена по материалам Н. В. Бессонова

22 Цыганские экзонимы

Существуют термины, которые цыгане используют для обозначения чужих этнических групп. *Ловáри* называют всех остальных цыган словом *рому́нгры*. *Котляры* называют остальных цыган словом *лэéцы*, а русских цыган и сéрвов – *поляча*. *Котляры* *грéкуря* называют русских цыган – *дифрутя*. *Кишинёвцы* раньше называли русских цыган словом *влахыя* (но это слово не относилось к *ловáрям*, *лóтвам* и т. д.). *Лóтвы* называют русских цыган словом *фандáри* (калька с *халадытка рома*). Русские цыгане называют эстонских словом *чúхны*. В Белоруссии местные цыгане называют *лóтвов* словом *партиzáны* за то, что они во время войны прятались по лесам. Русские цыгане-*сибиряки* называют прочих русских цыган *rossияки*.

21 *Мугати тубжон* – это так называемые «местные цыгане». Они проживают в Средней Азии очень давно и составляют численное большинство (по Назарову – около 90%). Кроме них существуют *мугати хунди* и *аугон мугат* – позже приковавшие группы. По сведениям советских этнологов, они отличаются более выраженным индийскими чертами во внешности. Я встречал в Петербурге *аугон-мугат*, но не имел возможности собрать о них более подробные сведения.

23 Цыганские прозвища

Клички у цыган зачастую заменяют официальные имена. В части европейских стран это иногда вызывало раздражение властей, поскольку затрудняло розыск провинившихся. К примеру, австрийские законы в конце XVIII в. запрещали цыганам пользоваться прозвищами. Но любые административные усилия в этой области бесперспективны. В Российской империи (и СССР) никто не мешал древней традиции, и большинство цыган следует ей.

Во внешнем мире цыгане известны по имени и фамилии. Но паспортные данные часто не играют никакой роли внутри национального сообщества. «Среди своих» цыгана знают по кличке²².

Мы говорим об этом по той причине, что название рода может происходить от прозвища его основателя. Так из записей, сохранившихся в семье русских цыган Панковых²³, видно, что в начале XIX века существовал род *страмку́скирэ* (сюда входили семьи, носящие ныне русские фамилии: Панковы, Загряжские, Ильинские, Солдатовы, Бауровы). А родоначальником был цыган по кличке *Стрámку*. Существовал в XIX столетии и род *колковичи* (от прозвища *Кólко*) – Масальские из их числа. Кстати, московские Масальские отзывались на прозвище *вэрэсы*. В ходе полевой работы я выяснил, что род *вэрэсы* существует до сих пор – в частности упомянутый этноним помнят во Владимирской области.

Ниже будут приведены примеры кличек. Корневое слово может быть как русским, так и цыганским. У разных этногрупп в этой области непохожие традиции. Русские цыгане издавна предпочитали брать за основу русскую лексику. В других «нациях» предпочтение зачастую отдают цыганским словам.

Прозвища кочевых русских цыган XVIII в., записанные со слов хорового цыгана Фёдора Ивановича Губкина, носящего прозвище Жидкий (1789-1904) его учеником Александром Панковым (1892-1988): *Кréма, Кólко, Кувáри, Стрámку*

Прозвища русских цыган из дореволюционных хоровых и торговых семей. Записаны хоровым цыганом Александром Александровичем Панковым (1892-1988):

Мужские: *Арабчик, Балдыха, Баран, Барбансон, Барвалó, Белый, Беркут, Бес, Битюг, Бормата, Бурда, Бурлак, Бурюба, Бухтар, Бычек, Вака, Вангар, Волк,*

22 Впрочем, известны случаи, когда цыганская кличка со временем переходила в паспорт, становясь официальным именем.

23 Ныне в архиве автора.

Вязанай, Гусак (Гусако), Гусар, Давышь, Дёготь, Добрый (Добро), Дока, Ерёма, Ёжо, Жидкий, Жуко, Забега, Закачура, Запалённый, Зимогоро, Змей, Зоб, Зуб, Ирдын, Казачёк, Кажо, Калган, Калина, Канашка, Кирпач, Колаза, Колазёнок, Короткий-Ханай, Корыто, Косой, Кривой, Крошка, Крюк, Кубик, Курна, Курносый, Ладный, Лана, Лещ, Линейщик, Лен, Лоскуто, Ляма, Мазанай, Макаркин, Маклышка, Мамон, Матихин²⁴, Микоша, Миндра, Молдаван, Молько, Монашек, Мудро, Мурзик, Негр, Нос, Носан, Носорог, Осколок, Паяла, Перчик, Петух, Пичкур, Пономарь, Прокуда, Прохорыч, Пухырка, Пухыркин, Пэтако, Пэтало, Пятачок, Пятка, Раскольник, Рог, Рыча, Рябчик, Саламандра, Салыня, Санинько, Серый, Синий, Слепой, Смоляк, Спаржа, Сумкин, Сыч, Сэлдари, Тарантас (Тарантасо), Татарин, Тихоня, Тихун, Топорик-старший, Топорик-младший, Труна, Тунгуз, Тхулó, Тынта, Уголёк, Федулка, Федя²⁵, Фырса, Фэнко, Хадан, Халька, Халькин, Ханай, Хариуз, Хата, Хлюст, Хрипун, Хрусталь, Хыля, Чалай, Чало, Чалопка, Чардак, Чародей, Чемодан, Чёрный ворон, Чувелька, Чума, Шапочка, Шаман, Щелкун, Шельмо, Шепери, Шкворень, Шманалка, Шмырка, Шпако, Шпаниной, Шприя, Яргá

Женские: Баба, Балдыха, Балычиха, Барка, Белка, Битюжиха, Богородица, Бока, Болгарка, Бубенчик, Буланиха²⁶, Ветерок, Володина, Волчиха, Газель, Галачка, Галка, Ганибалиха, Гóжо, Горлинка, Графиха, Докука, Дурлюдка, Жамка, Журавушка, Забега, Закачуриха, Йгла, Иволга, Каляска, Калинько, Калымага, Канашина, Кантролюша, Кандыба, Картошка, Кирпа, Китайка, Кортавка, Косая, Кукушка, Курноска, Левина, Лёдка, Лохмачка, Мальчиха, Макаркина, Маковка, Матрушка, Молдаваниха, Мужичиха, Муха, Мыйца, Набатиха, Носорочиха, Оглобля, Палаша, Пруния, Пташка, Пурумка, Пухлая, Пухыркина²⁷, Рыба, Рыжка, Рябинка, Сиротинка, Слепого, Солдат, Стрига, Сухарик, Сухота, Телега, Торопка, Тянька, Фантурка, Француженка, Харитониха, Хлебола, Хлопотошка, Хрычка, Хылина, Ципариха, Чайка, Чижик, Шляндориха, Шумила

Далее следуют прозвища, собранные автором в ходе полевой работы.

24 Реальные имена фамилии и отчества цыган из этого списка известны. В данном случае кличка похожа на фамилию, но не имеет даже созвучия с паспортными данными.

25 Прозвище цыгана по имени Николай.

26 В женских прозвищах просматривается иногда зависимость от реальных имён и фамилий. Так, Буланиха – это Анфиса Буланова. Макаркина – в реальности Пелагея Макаровна. Такую же кличку носила её сестра Мария Макаровна.

27 Здесь налицо зависимость от прозвища хорового мужчины. Кличку Пухыркина носили сразу три цыганки (см. прозвище Пухыркин в предыдущем списке). Были в хоре две Харитонихи. А Носорочиха – это производное от мужской клички Носорог.

Прозвища русских цыган из Новгородской области, г. Окуловка (начало XXI в.):

Мужские: *Бáнка, Батóн, Галáха, Гárба, Гриб, Игólка, Кáлинъко, Каráсь, Кáрлико, Картóшка, Кóрма, Лéнька, Лéба, Мýшио, Нéмо, Пузýрь, Пýга, Разýня, Рахít, Рúль, Сýво, Чóмба, Чугúн, Шлéпень.*

Женские: *Гвóздь, Кызы́ма, Лыйтка, Навóз, Поварéшка, Скрíпка, Сýно* (она же *Сýн горóховыи*), *Тушионка, Цáпля.*

Прозвища русских цыган из Смоленской области (XX в. - начало XXI в.):

Мужские: *Бакró, Бамбúся, Бангó, Бастóно, Баяníсто, Бóбро, Брáбус, Б्रýтва, Булáн, Бычóнок, Бéба, Вандýла, Грáф, Гýрко, Гýро, Дрéлё, Дрысня, Жýко, Зýбо, Калéка, Каписáла, Кирпíчо, Китáйцо, Кóльчик, Коммуни́сто, Конурка, Коршáко, Кри́во, Лангалó, Лéлька, Лóбо, Мадléга, Мéндель, Монгóл, Мóша, Нéмо, Пáн, Панéнок, Парнó, Партизáн, Петýхо, Пýскля, Прýнцо, Пуркáч, Пéнтия, Пýзо, Рýба, Рýжо, Рýча, Сáндо, Татýся, Тéрех, Тра́на, Трафéла, Трохýм, Утка, Учитель, Фáно, Фýнто, Хабóто, Халю́та, Хóхло, Цýля, Цýца, Чáва, Чýчико, Шулó.*

Женские: *Бандýтка, Бóба, Бобýлка, Вóка, Длэнгí, Калдúно, Калю́чо, Калáда, Кандýбка, Китáйка, Кнóпка, Корорý, Лéнька, Мамóлка, Манýха, Пéсо, Пушýн, Пэнти́ха, Снегýрка, Солдáт, Тýвка.*

Прозвища русских цыган, собранные во Владимирской области (XX в.):

Мужские: *Байно, Вáга, Колхóзо, Мелýва, Обормóт, Пóваро, Скáнцо, Хóхло, Чеки́сто, Юдо.*

Женские: *Мáля, Махóня, Нéмка, Утja.*

Прозвища русских цыган из Москвы (середина и вторая половина XX в.):

Мужские: *Авгéн, Армáн, Бобы́ль, Болгár, Боксéр, Бýрля, Вéндель, Глýхо, Горбáтыи, Дерéвня, Дры́ля, Жýк, Кацó, Кýря, Кóтja, Курмéн, Лáзо, Лобáстыи, Лохмáч, Минáй, Мýшика косолáпыи, Морýк, Морячóк, Мужикóскиро, Мустафá, Нéгро, Нýрко, Рýбо, Сýво, Хабóто, Шкýля, Шульгá, Ягóра.*

Женские: *Горбáтая, Длéнго, Дрында, Зáйчик, Калýнджа, Квáшиня, Китáйка, Ко́ролéк, Красноноска, Мáчеха, Мордáшка, Мыши́нка, Мýха, Сáра, Сербийнка, Ха́бóточка, Хрю́шка, Чýрка, Шансонéтка.*

Прозвища русских цыган-сибиряков (XX в.):

Мужские: *Барвало, Буздыгáн, Верту́но, Выйивка, Гóрдя, Горéлка, Грáч, Евдя, Желéзный, Зайка, Закуска, Канвало, Капу́ста, Корчагин, Лангало, Лáпко, Медáль, Мéдный, Нíщий, Рýжий, Хрумá*.

Женские: *Белокúриха, Гóжо, Кабатíха, Сероглázка, Сластéна*.

Прозвища польска ромá из табора, кочевавшего по западной Белоруссии (послевоенные годы):

Мужские: *Бóлька, Горбáтый, Дюбка, Кожárка, Корорó, Кхурó, Máтя, Паўк, Пíртынь, Пхагирдó, Рéнька, Хрушéв, Шукó*.

Женские: *Гындýичка, Калы́, Лунá, Мацónя, Мурзáйка, Пасты́рка, Патры́на, Пíпка, Пóтia, Саплы́н, Цыци́ля*.

Прозвища лóтфов (середина XX – начало XXI в.):

Мужские: *Бáлё, Бангó, Бíящис, Кáчо, Ковáлëс, Лангало, Пíля, Сúка, Цéрма, Чириклó*.

Женские: *Гаджí, Калы́, Жýрка, Козá, Лéля, Махля́вка, Смэ́лда*.

Прозвища сэрвов (середина XX – начало XXI в.):

Мужские: *Ахréма, Бáба-Ягá, Баклажáн, Бакró, Бúнчик, Буржúй, Бéнджик, Варéник, Верблю́д, Галáно, Галу́шка, Гвóзδь, Господýн, Грабáрь, Гурувáрь, Губáн, Евréй, Ёя, Жáреный, Жигу́н, Жýла, Жýк, Индю́к, Казбéк, Кармúс, Кацáп, Карандáш, Каشتáно, Кефíр, Китáец, Клызы́мáк, Кобы́ла, Козы́рно, Копчéный, Крýча, Лондó, Магорó, Мину́тка, Монгóл, Мулó, Пингвýн, Писю́нчик, Похалáява, Прýни, Прокурóр, Прахáрь, Прýник, Пузáн, Пу́шкин, Сирóтка, Слы́ва, Смазнóй, Соломóн, Сýний, Уса́но, Фыты́з, Хáнджа, Хохóл, Хрéнык*.

Женские: *Бабу́ся, Бакрý, Балды́ха, Барý, Бéлка, Вíшия, Вэсéлка, Гвоздíха, Глычи́ха, Жбáниха, Жýзня, Жýчка, Камсá, Каналíха, Клызы́мýичиха²⁸, Кно́пка, Колбасá, Косорúчка, Кры́са, Лымалы́, Ману́на, Маргúчка, Москви́чка, Мúха, Мыня́чка, Настя́лы́ха, Олимпиáда, Печéнье, Полковáя, Прахáрька, Пхабáйка, Пысы́ха, Семилéтка,*

28 Значительная часть женских сэргицких прозвищ, это производная от клички мужа.

Синичка, Слива, Солдатка, Сопелка, Сюсавка, Усаныха, Хасавка, Хриоха, Хусаны́, Чайка, Чувашка.

Прозвища валахов (XX век – начало XXI в.):

Мужские: Бэргáно, Гардóвцо, Дáбра, Крыхта, Мáчо, Пáршио, Поéт, Сэдóрка, Сюра, Чердák Калмык, Цвýря.

Прозвища кишинёвцев (XX в. – начало XXI в.):

Мужские: Бабалáй, Бангó, Бидáла, Бóбчик, Бозгорóй, Бостáно, Бубúш, Бúрка, Бýко, Бéбит, Бéдо, Гажé, Гермáнио, Глóдо, Гуладó, Джяляй, Ёршио, Жýдоо, Ка́ло, Кацáп, Клóпо, Колымá, Комсомóльцо, Корó, Куту́зов, Кýя, Лолó, Лу́нго, Мещерéйк, Молочкó, Монгóл, Морýк, Москáло, Пéрец, Пигмéй, Пикинэс, Пэралó, Ру́во, Рябóй, Ру́лё, Тарзáн, Тхулó, Ушталó, Фанé, Хобáй, Цóлик, Чикавóй, Шукó, Шту́цир.

Женские: Бангí, Барáнка, Бéлка, Бýза, Вакуíрованная, Горчáнка, Грузы́нка, Гы́ца, Ерзáчка, Индéйка, Киши́ли, Крастаéчка, Лилия́чко, Лóдка, Мáрыюшка, Мýля, Мóторка, Музузáйка, Мулý, Мýрка, Муру́ня, Мы́ца, Нямцóйка, Парнý, Пичу́жка, Полáчка, Пухóвка, Рéна, Сéверная, Турýна, Учý, Черéма, Чибурéла, Чýта, Чувáшка.

Библиография

- Абраменко, О. А. 2008. Деление российских цыган-котляров на «племена»: взгляд изнутри. Доклад на 8th International Conference on Romani Linguistics (4 сентября 2008 г., Санкт-Петербург. Институт лингвистических исследований Российской академии наук).
- Андроникова, И. М. 2006. Закономерности расселения русских цыган в связи с их миграциями. В: С.В. Кучепатова. сост. Язык цыганский весь в загадках: Народные афоризмы русских цыган из архива И. М. Андрониковой. СПб.: 587–590.
- Бессонов, Н. В. / Деметер, Н. Г. 2000. История цыган – новый взгляд. Воронеж: ИПФ «Воронеж»: 83-89.
- Бессонов, Н. В. 2008. Среднеазиатские цыгане и их кочевье по России. Этнопанорама 3-4 (25): 27-39.
- Деметер, Р. С. / Деметер, П. С. 1981. Этнические сведения о цыганах-кэлдэрарях. В: Образцы фольклора цыган-кэлдэрарей. М.: Главная редакция восточной литературы: 243.
- Деметер, Н. Г. 1984. Этнонимия цыган Европейской части СССР. Этническая ономастика. М.: 28-35.
- Дрон, И. В. 1999. Антропонимия цыган Молдавии. В: Цыгане: Сборник статей. М.: 36-45.

- Кочанський, В. 2002. Хочеться, щоб роми частіше зустрічалися. *Романі яг.* 27 февраля 2002. Ужгород: 1: 4.
- Махотина, И. / Панченко, Я. 2014. Материалы для изучения цыган-влахов и их диалекта (территориальное подразделение кубанцура). *Romii/Tiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-traditională (1414-2014)*: 130-131.
- Назаров, Х. Х. 1970. Влияние Октябрьской революции на положение и быт среднеазиатских цыган. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М.: МГУ имени М. В. Ломоносова.
- Калинин, В. 2005. Загадка балтийских цыган. *Очерки истории, культуры и социального развития балтийских цыган*. Минск: «Логвинов»: 158-165.
- Ослон, М. В. рукопись. Язык котляров-молдавая. Грамматика кэлдэрарского диалекта цыганского языка в русскоязычном окружении:
<https://dl.dropboxusercontent.com/u/21280621/Ослон.Язык%20котляров-молдавая.pdf>.
- Петрович, О. Н. (Мурша ле Ристаско ай ла Ленако). 2007. *Бароны табэра сапоррони*. СПб.: Анима.
- Торопов, В. Г. 1994. *Крымский диалект цыганского языка*. Иваново: 5.
- Цветков, Г. Н. 2008. История и социальное развитие цыган-ловаря. *Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів* 15: 474-476.
- Чайковські, А. 2005. Норми поведінки литовських ромів. Характеристика литовських ромів у Литві. *Народознавчі зошити* 3-4 (63-64): 348.
- Черенков, Л. Н. 1985. Некоторые проблемы этнографического изучения цыган СССР. В: И. И. Крупник. ред. *Малые и дисперсные этнические группы в Европейской части СССР*. М.: МО ГО СССР: 5-15.
- Черенков, Л. Н. 2013. Цыганская диалектология в России: современное состояние и задачи. В: К. А. Кожанов / С. А. Оскольская / Русаков А. Ю. ред. *Цыганский язык в России: Сборник материалов Рабочего совещания по цыганскому языку в России. Санкт-Петербург, 5 октября 2012 г.* С.-Пб: Нестор-История.
- Bartosh, Olga. 2009. The Roma in Belarus: in the Light of Transformations. *Interstitio. East European Review of Historical Anthropology* 2 (4): 17-29.
- Marušiaková, Jelena. 1988. Vzťahy medzi skupinami Cigánov na Slovensku. [The Relation Among the Gypsy Groups in Slovakia]. *Slovenský národopis*, 1: 58-80.
- Tcherenkov, Lev / Laederich, Stephane. 2004. *The Rroma*. Vol. 1. Basel: Schwabe: 314-316.
- Toleikis, Vytautas. 2001. Lietuvos čigonai Antrojo pasaulinio karo metais. *Lietuvos čigonai: tarp praeities ir dabanties*. Vilnius: 17-34.

Zuzana Bodnárová

Spontaneous bottom-up revitalization: The development of Dunajská Streda Romani

1 Introduction

Intensive language contact may result in the emergence of new languages such as pidgins, creoles and mixed languages or, more commonly, in the disappearance of the non-dominant language (e.g. Thomason 2001). The process of language shift may also be reversed; as is proven by several more or less successful models of language revitalization (see e.g. Fishman 1991). These models usually involve a deliberate effort of language activists (from inside or outside the speech community), government officials and/or linguists to restore the use of the non-dominant language. The present paper examines a different scenario of language revitalization. It deals with a Romani variety, once in gradual decline, that became revitalized spontaneously. However, probably due to limited access to fluent speakers the variety did not recover its previous form. Instead, it represents the fossilization of the moribund language which exhibits several linguistic changes that are typically involved in language shift situations (e.g. imperfect learning, linguistic interference, morphological and syntactic reduction, and development of variability; see Campbell/Muntzel 1989). As reported by Pintér (2010: 67–68), the variety was recently threatened again by language shift.

Dorian (1981: 154) pointed out that the linguistic changes in language shift situations are not notably different from changes in vital languages, but “the timespan for [such] change seems to be compressed and the amount of change seems relatively large”. Although the variety being examined forms a dialect continuum with the neighbouring Romani dialects, I will show, by drawing on comparative methods, that many of the variety’s innovative features do not originate from the gradual accumulation of linguistic changes. Rather, these features are the result of changes accelerated by language shift and, consequently, in the attempts of the community to reverse this shift.

This paper discusses several language features which deviate from the features found in neighbouring Romani dialects or in Romani in general. In absence

of data (see section 3), the paper does not provide an accurate account of the time when the process of language shift was interrupted, neither of the motivation of the community for (re)learning Romani.

2 The variety

Dunajská Streda Romani is a Romani variety spoken by the Roms of Dunajská Streda (Romani *Serdahela*, henceforth DS), a town of ca. 22 000 inhabitants that is situated in the Žitný ostrov region of south-western Slovakia. According to the 2011 census,¹ the most numerous ethnic group of DS are Hungarians (ca. 75 percent), followed by Slovaks (ca. 20 percent) and Roms (ca. 3 percent). The number of Roms is most probably under-represented in these data, considering the low social status of Roms in Slovakia and the fact that the census is based entirely on the self-declaration of respondents. DS is inhabited by two Romani groups: by the ‘Musician Roms’, speaking a so-called South Central dialect of Romani, and the close-knit community of Vlach Roms who speak a different dialect of Romani. The two groups live in geographically separate locations in the town (cf. Pintér 2010: 61). This paper deals with the variety spoken by the ‘Musician Roms’ (henceforth DS Roms).

By drawing on the Linguistic Atlas of Central Romani project data (see Section 3), we find that DS Romani belongs to the South Central dialect group (for the dialect classification of Romani, see Bore茨ky 1999). For example, it employs the imperfective marker *-ahi* which is one of the most typical features of this group (Elšík et al. 1999: 351). DS Romani constitutes a dialect continuum with the adjacent varieties of South Central Romani in Slovakia, thus sharing several local innovations with them:

1. the original feminine form of the third-person pronoun *ój* with a gender-neutral function ‘he, she’ (cf. Elšík 2007: 271),
2. reduction of the genitive marker **-ker-/ger-* > *-k-/g-*,
3. reduction of the possessive pronouns *mr-* > *m-* ‘my’ and *tr-* > *t-* ‘your’,
4. development of the reflexive pronoun *pet* (< *pe*),
5. development of the directive interrogative *kija* ‘to where’ (< *káj* ‘where, to where’),
6. reduction of the verbal particle *ández* to *án* ‘in’,
7. reduction of the preposition *ande* to *an* ‘in, into’,
8. the syncopated pronouns *adna/anna* (< *adana*) ‘these’ and *odna/onna* (< *odona*) ‘those’,
9. employment of the oblique plural suffix *-on-* (cf. **-en-*) in athematic nouns as in *barát-on-ca* ‘lit. friend-OBL.PL-INS, with friends’,
10. development of the form *potosi* (cf. **positi*) ‘pocket’.

¹ 2011 Population and Housing Census. <http://census2011.statistics.sk/index.html> (2015/09/17)

DS is the southernmost locality in south-western Slovakia where Central Romani is spoken. There are no Central Romani speakers in the area between DS and the Slovak-Hungarian border, while on the other side of the border we find only a few language islands at about 100 kilometres distance from DS. These isolated varieties are closely related to the South Central varieties spoken in south-western Hungary, eastern Austria and northern Slovenia. In spite of the relatively large distance, DS Romani shares some features with these South Central varieties too. For example, the participles derived by *-im-* are inflected for gender and number in most South Central varieties of Austria, Slovenia and Hungary (e.g. *feštim-o* ‘colored-M.SG’), while they are uninflected in the South Central varieties of Slovakia (e.g. *feštime* ‘colored’). In DS Romani both variants of the participles, i.e. inflected and uninflected, are possible. An innovation found in both DS Romani and some southwestern varieties of South Central Romani is the apocope of /o/ in *čháv* (< *čhávo*) ‘boy, son’ and *sav* (< *savo*) ~ *asav* (< *asavo*) ‘so, such’.

The language use of DS Roms was thoroughly investigated by Pintér (2010) on a sample of 20 participants by drawing mostly on quantitative methods. One of his findings is that Romani is in gradual decline in DS, with only passive speakers found under the age of 25. Hungarian is the dominant or the only language used in all usage domains, while the use of Slovak is restricted only to certain formal domains. Although Romani is represented in some informal domains such as family, friends and community internal communication, Hungarian is frequently used in these domains too.

Romani as mother tongue was chosen by six of Pintér’s respondents, Hungarian by 13, and one respondent declared both Romani and Hungarian as first languages. Pintér (2010: 65) notes that the respondents’ choice seems to be made on the basis of their self-perceived competence in Romani rather than for reasons of identity-flagging. The emotional link to Romani was typical for the eldest speakers, primarily those who marked Romani as their mother tongue. On the other hand, he remarks that the DS Roms are proud of their Romani identity, which is often manifested by the use of Romani in the family. Pintér attributes the low figures for Romani as mother tongue to an on-going language shift towards Hungarian.

My observation made in the field is similar to that of Pintér (2010); DS Romani functions as the ethnically emblematic but non-native language; Hungarian is the native language of the DS Roms, and Slovak is the secondary non-native language. However, in contrast to Pintér, I would argue that these data do not necessarily indicate a recent process of language shift. It is equally possible that Romani has already been transmitted for some time merely as a second language to the next generations. This would explain why DS Romani displays a relatively large number of features that are often attributed to language shift, which became partly fossilized in the course of time.

The Romani language spoken by DS Roms appears to have resulted from the reversed process of language shift, on the one hand, and from the process of linguistic interference on the other. The first process accounts for some phonological and morphological changes particular to DS Romani, not found in other Romani dialects. These features seem to be related to the imperfect acquisition of Romani (see section 4). The latter process refers to the influence of Hungarian, which had an enormous impact on all levels of the DS Romani grammar (see section 5). As preliminary data suggest, the heavy interplay between Hungarian and Romani led to instances of disintegration of grammatical paradigms in some structural domains of DS Romani. By considering the development of DS Romani, the contact with other Romani dialects should also be taken into account (see section 6).

3 Data and methodology

This paper employs elicited language data from two female speakers to examine the phonological and morphological changes which have developed in DS Romani. The sample comprises of 2116 recorded sentences which were translated from Hungarian to Romani by the speakers. The field research to DS was conducted in February 2010 within the Charles University's project *Linguistic Atlas of Central Romani* (Czech Science Foundation; P406/11/0818). The data from other Central Romani varieties comes from the same project.

The two speakers are not related or descendants of the same family. Both speakers claimed to be fully competent speakers of DS Romani. The first speaker was in her mid 60's. At the time of the field research she was residing in the adjacent village of DS, Veľké Blahovo (Romani *Abaňiba*). The elicitation session took place in the village bar and continued in the local community centre. The session was conducted by me; no other speakers were present. The second speaker was aged around 35. She was interviewed in her home in the presence of other speakers. These speakers did not participate actively in the session, although they were encouraged to do so, and only rarely corrected the main speaker. I conducted this session with Viktor Elšík.

Since the sample represents two age groups each by one idiolect, the representativeness of the data is very limited. I will therefore focus on the innovative features found in the sample of both DS Romani speakers, and discuss only marginally features which are unique to their individual idiolects.

4 Features resulted from imperfect acquisition

Imperfect learning of Romani gave rise to some unexpected analogical changes and several phonological changes including assimilation, dissimilation and metathesis among others. It may be noted, however, that it is difficult in some cases to distinguish changes that developed due to imperfect acquisition from changes found in ‘normal’ language change.

4.1 Analogical changes

The most striking development of DS Romani is that the second person singular marker *-al* used in the past tense was replaced by *-as*, e.g. **kerd'-al > kerd'-as* ‘you did’, **áj-al > áj-as* ‘you came’, **tád-al > tád'-as* ‘you cooked’, **uštidind'-al > uštidind'-as* ‘you got’, etc. The innovative marker *-as* is applied also in the unrealis e.g. *áj-as-áhi* (1) < **áj-al-áhi* ‘you would have come’ and *dikj-as-áhi* (1) < **dikj-al-áhi* ‘you would have seen’, the present second-person singular copula *s-as* (2) < **s-al* ‘(you) are’, and the past second-person singular copula *s-as-áhi* (3) < **s-al-áhi* ‘(you) were’. Thus, the innovative form entirely replaced the original *-al*.

- (1) *te ídž áj-as-áhi, šäj le dikj-as-áhi*
if yesterday come-PFV.2SG-IRR could him see-PFV.2SG-IRR
'If you had come yesterday, you would have seen her.'
- (2) *tu na sas khére.*
you not COP.2SG at_home
'You are not at home.'
- (3) *íč tu nasváli sasáhi.*
yesterday you sick COP.PRT.2SG
'Yesterday you were ill.'

The marker *-as* developed most probably as an analogy to the second-person singular marker used in present tense, -(V)s (see Table 1), e.g. *ker-es* ‘you do’, cf. *kerd'-as* ‘you did’. In several other Romani dialects, on the other hand, the original second-person singular marker *-al* became *-an*, by an analogy to the second-person plural form of the same paradigm (Matras 2002: 144-145, Elšík and Matras 2006: 99).

Table 1: Person and number markers

	Present	Past
1SG	-v	-om
2SG	-s →	*-al > -as
3SG	-l	-a
1PL	-s	-am
2PL	-n	-an
3PL	-n	-e

Another innovation found in DS Romani is that the perfective root *leg-* ‘to take away’ has been generalised in both perfective and non-perfective paradigms (Beníšek 2013: 475), e.g. *leg-el* ‘s/he takes away’, cf. *leg-ed-a* ‘s/he took away’. By contrast, the suppletive forms *ledž-* (non-perfective) and *leged-* (perfective) are preserved in most varieties of South Central Romani, including the neighbouring dialects of DS Romani.

As a result of morphological reduction typical to moribund languages (Campbell and Muntzel 1989: 191-192), in DS Romani the irregular possessive pronouns are sporadically replaced by newly-created regular forms. Possessive pronouns agree in gender, number and case with the possessed object, and are formed by a possessivity marker which is attached to the oblique stem of personal pronouns (see Elšík 2000: 77-80). The set of oblique stems in DS Romani comprises 1SG *man-*, 2SG *tu-*, 3SG.M *les-*, 3SG.F *la-*, 1PL *amen-*, 2PL *tumen-* and 3PL *len-*. The possessivity marker equals to the regular genitive marker *-k-/g-* in case of third person pronouns (i.e. *les-k-* ‘his’, *la-k-* ‘her’ and *len-g-* ‘their’), while the irregular marker *-ar-* is added to the reduced stems in the first and second person plural, i.e. *am-ar-* ‘our’ and *tum-ar-* ‘your’. The stem is also reduced in the first and second person singular to *m-* and *t-*, respectively, followed by the irregular possessivity marker *-r-*, i.e. *mr-* ‘mine’ and *tr-* ‘yours’. DS Romani distinguishes a further reduced variant in the first and second person singular, which involves only the mono-consonantal stem, i.e. *m-* ‘my’ and *t-* ‘your’. These are called minimal possessives by Elšík (2000: 81). The minimal possessives are used attributively in DS Romani, while the forms *mr-* and *tr-* occur only in predicative position.

- (4) *m-o dades-k-o gad čak pánc koroneha sáhi kučeder sar mr-o*
 my-M.SG father-GEN-M.SG shirt only five crowns were cheaper than mine-M.SG
 ‘My father’s shirt was only five crowns cheaper than mine.’

In DS Romani, the irregular first and second person possessives are sporadically replaced by the innovative forms which developed as an analogy to the nominal possessives (e.g. *dades-k-o kher* ‘father-GEN-M.SG house ‘father’s house’) and regular pronominal possessives (i.e. *les-k-*, *la-k-*, *len-g-*). Consider the following examples:

- (5) *mang-i romňi náne čór*
my-F.SG wife is:not thief
'My wife is not a thief.'
- (6) *sa tuk-e lóve kőtindas uppe lumňa*
all your-PL money spent.2SG on women
'You spent all your money on women!'
- (7) *adá tumeng-o kher hi.*
this your-M.SG house is
'This is your house.'

As it may be observed, the innovative forms are created regularly from the full oblique stem by the genitive marker *-k-/g-* (see Table 2). The set of innovative pronouns was used by the younger speaker, and it occurred only once in the sample of the older speaker. The first person plural *ameng-* has not been attested in the data.

Table 2: Set of possessive pronouns in DS Romani

	Singular		Plural	
	regular	irregular	regular	irregular
1	<i>man-g-</i>	<i>mr- ~ m-</i>	<i>*amen-g-</i>	<i>am-ar-</i>
2	<i>tu-k-</i>	<i>tr- ~ t-</i>	<i>tumen-g-</i>	<i>tum-ar-</i>
3	<i>les-k-</i> <i>la-k-</i>	-	<i>len-g-</i>	-

The imperfect acquisition of Romani may also be the reason why DS Romani replaced the third-person plural personal pronoun **ón* by the demonstrative pronoun *onna* (< *odona*) ‘those; they’. On the other hand, DS Romani preserved the inherited third-person singular pronoun *óy* ‘s/he’ which is used for both masculine and feminine genders.

4.2 Phonological changes

The phonological changes attested in both idiolects include the change from /l/ to /n/ in the verbal particle *tén(e) < *tél(e)* ‘down, below’ as well as in the adverb *ténal < *téral* ‘down, below’ and its derivations such as *ténarú < *télarú* ‘from down’ or *ténder < *téder* ‘more down’. Interestingly, the preposition *talal (< *telal)* ‘under’ has preserved the original form in /l/. There is no similar sound change attested in other Central Romani dialects.

In DS Romani the aspirate /kh/ was replaced by /g/ in the noun **jakh > jag* ‘eye’, as well as in its inflectional forms, e.g. **jakha > jaga* ‘eyes’, **jakhenca > jagenca* ‘with eyes’. Thus, it became homonymous with the word for ‘fire’, *jag* ‘fire; eye’. Other words have not been affected by this change, cf. *bokh* ‘hunger’, *bokhálo* ‘hungry’.

Further innovations unique to DS Romani include reduction of the stem in *vakingér-en (< *vaker-ingér-en)* ‘to chat’ before the iterative marker *-ingér-*, dissimilation of /l/ in *barval < *balval* ‘wind’, shift from /l/ to /r/ in *kheren < *khelen* ‘to play; to dance’, optional insertion of /l/ or /r/ before /d/ in the demonstrative pronouns *adá > ardá/aldá* ‘this’ and *odá > ordá/oldá* ‘that’, and metathesis developed in *hovel < *holev* ‘trouser’ and *ringlálo ~ rindlálo < *lindrálo* ‘sleepy’.

The features attested only in the older speaker’s idiolect include the optional assimilation of vowels in the prepositional phrases *ond’ odá < and’ odá* ‘in that’ and *ond’ oki < and’ oki* ‘in that one’, as well as the use of some unexpected forms such as *barváro* alongside the inherited *barválo* ‘rich’, *sírom* instead of **smírom* ‘peace’, *čikan* instead of **čekat* ‘forehead’, and *bibiskeren* instead of **pobiskeren* ‘to forget’. The form *ovár* ‘last’, used by the older speaker, appears to be a merger of the phrase *o áver* ‘the other’.

5 Features resulted from linguistic interference

Apart from the heavy increase of Hungarian loanwords, intensive contact with Hungarian resulted in several structural changes in DS Romani. Among the most salient changes is the disintegration of gender marking. In contrast to Romani, Hungarian does not make distinctions in grammatical gender. For instance, as a result of the prolonged contact between DS Romani and Hungarian gender ceased to be assigned in case of the third-person singular pronoun *ój* (see Section 2). The surrounding varieties of DS Romani underwent the same development. However, in contrast to those closely related varieties, the gender marking of DS Romani has been affected on several other levels too.

In DS Romani, the assignment of masculine or feminine gender to nouns is for the most part accurate. However, there are several nouns in which the speakers coded masculine and feminine gender interchangeably. For example, the older speaker assigned feminine gender to the originally masculine noun *gav* ‘village’ 14 times and masculine gender only 6 times. The same speaker used the originally feminine noun *barval* ‘wind’ as a masculine noun 4 times and as a feminine noun 3 times. Generally, the two speakers were not consistent in assigning gender to nouns. For example, the younger speaker used the noun *čúri* ‘knife’ as a feminine noun (correctly), but the older speaker ascribed to it masculine gender. On the other hand, both speakers treated the originally feminine nouns *ráti* ‘night’ and *hovel* ‘trouser’ as masculine nouns.

Furthermore, there is a slight tendency towards assigning masculine gender to feminine nouns in other than nominative case, e.g. *däj* ‘mother’ > *däj-es-ke* ‘mother-OBL.M.SG-DAT; for mother’, *koron-a* ‘crown’ > *koron-e-ha* ‘crown-OBL.M.SG-INS; with crown’. This is consistent with the observation of Elšík and Matras (2006: 138), who state that masculine is the gender value that is more likely to extend to the feminine in Romani in general.

Similar variability is found in case of gender agreement between adjectives/possessives and nouns. In Romani the adjective/possessive agrees in gender and number with its head noun, while it takes the oblique case when combined with a noun in other than nominative case. The suffix *-o* is employed in nominative masculine singular, the suffix *-i* in nominative feminine singular, while the suffix *-e* in nominative plural and oblique case. DS Romani applies the same rule in the majority of cases; however, in the sample we find a significant amount of examples of gender, number and case disagreement between the adjective/possessive and its head noun. Consider the following examples:

- (8) *m-i phur-i papu jék góno listo anda* (...)
my-F.SG old-F.SG grandfather a sack flour brought
'My grandfather brought a sack of flour (...)'

(9) *adá hi ola d'újak-o búti.*
this is the female-M.SG job
'This is a job for women.'

(10) *čiv téne odá kávé forón-o pániha!*
put down that coffee hot-M.SG water.INS
'Pour the coffee with hot water!'

In (8), the masculine noun *papu* ‘grandfather’ is modified by the feminine form of both the possessive pronoun *mi* (cf. masculine *mo*) ‘my’ and the adjective *phuri* (cf. masculine *phuro*) ‘old’. Similarly, there is a gender disagreement in the second example (9) between the feminine noun *búti* ‘job’ and the masculine adjective *d'újak*

(cf. feminine *dújaki*) ‘female’. The third example (10) illustrates that the instrumental form of the noun *páni* ‘water’ is preceded by the nominative masculine form of the adjective (i.e. *forón-o*), although the oblique form (i.e. *forón-e*) would be expected.

I examined the agreement in gender, number and case between nouns and adjectives/possessives found in the first 600 elicited sentences in the sample of each speaker. In Table 3 the numbers display the token frequency of adjectives/possessives in combination with a masculine singular, feminine singular, plural and other than nominative head noun as found in the sample of the younger (Speaker 1) and the older speaker (Speaker 2). Thus, the inflectional suffix expected in the first column is *-o*, in the second column *-i*, while in the third and fourth column *-e*.

Table 3: Token frequency of adjectives/possessives in the sample

	m.sg	f.sg	pl	obl
Speaker 1	190	121	60	38
Speaker 2	187	121	54	41

Figure 1: Percentage and type of inflectional markers (Speaker 1)

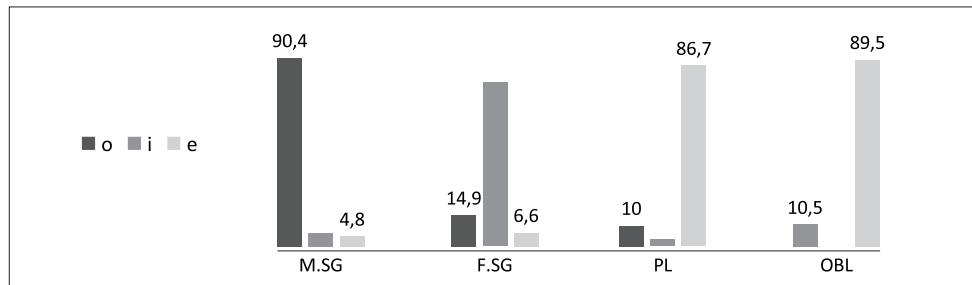
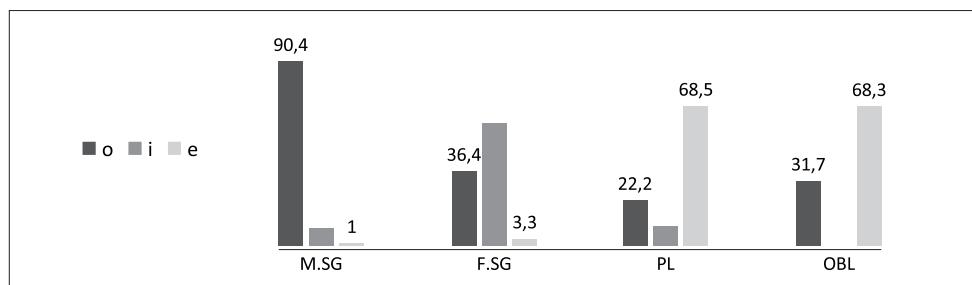


Figure 2: Percentage and type of inflectional markers (Speaker 2)



Figures 1 and 2 indicate percentage and type of gender, number and case markers employed by each speaker for each inflectional form. It may be observed that Speaker 1 was slightly more accurate in using the inflectional markers than Speaker 2. What is, however, more striking is that both speakers tended to use the originally masculine singular suffix (-o) also alongside feminine, plural and other than nominative nouns. Speaker 1 employed the ‘incorrect’ suffix -o in around 10-15% of cases, while Speaker 2 in around 22-36% of cases. It is not clear whether the decline of grammatical gender accounts for the recent language shift or whether it is a matter of ongoing change towards generalizing the masculine marker throughout the inflectional paradigm. Additional data from different age groups would be necessary to shed light on the issue.

Furthermore, I observed a strategy in DS Romani to eliminate the use of gender markers in prepositional phrases. In Romani, prepositional phrases generally include a definite article which is inflected for gender. The article *i* is used in feminine singular, and the article *o* in masculine singular and plural. However, both DS Romani speakers most often omitted the article in prepositional phrases, e.g. *andar gav ~ andar o gav* ‘from the village’, *uppal phú ~ uppal i phú* ‘from the ground’, *uppe drom ~ uppo drom* (< **uppe o drom*)² ‘on the road’, *uze kher ~ uzo kher* (< **uze o kher*) ‘at the house’, *ande khangéri ~ andi khangéri* (< **ande i khangéri*) ‘in the church’. This strategy is applied especially when the head noun is of Hungarian origin, e.g. *andar had'ma* ‘from onion’, *ande erdó* ‘from the forest’, *uze tengeri* ‘at the sea’. The reduced form of the preposition *ande, an*, does not require a definite article either, e.g. *an mozi (ande mozi ~ ando mozi)* ‘to the cinema’. This preposition, however, is also found in the neighbouring dialects of DS Romani (see Section 2).

The definite article is also involved in the Hungarian equivalent of the DS Romani prepositional phrases. The corresponding Hungarian expressions are either postpositional phrases or nouns marked by case suffixes, e.g. *palal kašt* ‘lit. behind tree; behind the tree’, cf. Hungarian *a fa mögött* ‘lit. the tree behind’; *uppe drom* ‘lit. on road; on the road’, cf. Hungarian *az út-on* ‘lit. the road-on’. Thus, the omission of the article in prepositional phrases does not replicate the Hungarian pattern. The source of this innovation lies rather in the fact that the definite article is marked for gender. Moreover, it seems that the genderless system in Hungarian created a conflict in the DS Romani system, which is being resolved by the reduction of gender markers through omitting the definite article in prepositional phrases.

The inflectional markers are also optionally dropped in the possessive pronouns *amár-/amar-* ‘our’ and *pumár-/pumar-* ‘their own’. For instance, the form expected in (11) would be *amár-i* ‘our-F.SG’, *pumár-o* ‘their_own-M.SG’ in (12) and

2 In Romani, the final -e of the preposition is dropped before the article (see Elšík et. al. 1999: 375).

amar-e ‘our-OBL’ in (13). This innovation is attested in both DS Romani idiolects, but it is absent in other Central Romani dialects.

- (11) *amár čajóri még čak trin beršiki hi.*
our-Ø daughter still only three years-old is
'Our daughter is just three years old.'
- (12) *kamen te vakeren uppal pumár fiatalšágó.*
like to speak about their-Ø youth
'They like to speak about their younger days.'
- (13) *phendom amar čáveske (...)*
told.1SG our-Ø son.DAT
'I told to my son (...)'

Further Hungarian-induced changes include the decline of aspirated sounds, especially in the case of the younger speaker (e.g. *kher* > *ker* ‘house’, *phúro* > *púro* ‘old’, *than* > *tan* ‘place’, *čá* > *čá* ‘boy, son’), the frequent use of the singular noun form after numerals higher than one (such as *romani čajóri* in 14), and the sporadic omission of the copula in the present tense of third person singular (15) and plural (16).

- (14) *štár romani čajóri kherel andi bár.*
four romani girl play.3SG in:the garden
'Four Romani girls are playing in the garden.'
- (15) *adi soske asav hojardi?*
this.F why so angry
'Why is this (woman) so angry?'
- (16) *ko adana nípi?*
who those people
'Who are those people?'

The interrogative *mäthar* ‘from where’ appears to originate in the Romani form *káthar* contaminated by the Hungarian interrogative *merről* ‘from which direction’. On the other hand, the origin of the adverb *ärädí* ‘today’ is unknown, though it is certainly based on the original form *adádí* ‘today’. The first constituent of the compound resembles the Hungarian demonstrative *erre* ‘this way’; however, a corresponding form was not attested in the DS Romani sample.

6 Influence of other Romani dialects

One possible reason why the language shift of DS Romani was interrupted and reversed is that the symbolic value of the local Romani dialect was re-defined due to some external factors, such as the arrival of members of other Romani groups to the town. This scenario would be supported by the existence of a few DS Romani features that originate in other Romani dialects. These are the verbs *cinen* ‘to buy’ and *denášen* ‘to run’ and the adjective *dillo* (alongside *dilino*) ‘stupid’.

In South Central Romani, the verb for ‘to buy’ has either the original form *kinen* (Boretzky and Igla 1994: 319) or one of the innovative forms *tinen* or *tinen*. In the region where DS Romani is spoken the palatalised form *tinen* is employed. The DS Romani variant with the initial affricate, *cinen*, is also attested in the varieties of the North Central dialect group of East Slovakia, in a distance of more than 200 kilometres from DS. While in DS Romani the sound change *ki* > *ci* is restricted to the verb meaning ‘to buy’, in some North Central varieties it also affected the forms *pocinen* (cf. DS Romani *potinen*) ‘to pay’ and *ciral* (cf. South Central Romani *tiral* or *kiral*; unattested in DS Romani) ‘quark; cheese’.

The varieties of the South Central group generally use the verb *nášen* to express the meaning ‘to run away; flee’ and/or ‘to run’. The innovative variant *denášen* is found in the varieties of the North Central group, including in a few South Central varieties in the border area of North and South Central Romani. Although DS Romani belongs to the South Central dialect group, and it is not situated in the border area of the two dialect groups, it shares the innovative form *denášen* with the North Central dialects.

If we disregard the possibility that the innovative forms *cinen* and *denášen* were developed independently in DS Romani and in the North Central group, we come to the conclusion that there must have been contact between speakers of the two Romani dialects. From this point of view it is interesting that neither Pintér (2010) nor my consultants mentioned the existence of North Central speakers in DS. Moreover, my consultants did not refer to the existence of mixed marriages with members of other Romani groups. This of course does not exclude the possibility that the DS Roma inter-married with some newly-immigrated North Central Romani speakers from East Slovakia who had become linguistically assimilated, but left their footprint in the form of the innovations *cinen* and *denášen*.

The adjective *dillo* ‘stupid’ attested in DS Romani is characteristic to the varieties of the Vlach dialect group. The Central Romani varieties employ the form *dilino*, which is in DS Romani a possible variant alongside *dillo*. This is, however, not surprising, given that DS is inhabited also by a Romani group speaking the Vlach dialect of Romani (see Section 2).

7 Summary

At a certain time in the past DS Romani was being gradually replaced by Hungarian in most domains of language use, and stopped to be transmitted as the first language. This process has been interrupted and reversed for reasons that remain to be uncovered. At this point, DS Romani has fossilized and is being transmitted as such to the new generations in the form of a second, non-native language.

The decrease of native speakers of DS Romani resulted in the imperfect acquisition of Romani by the following generations. The paper discussed the replacement of the original second-person marker *-al* by *-as* in the past tense, the irrealis and the present and past copula forms. Another feature which seems to have been introduced through imperfect learning is the regularization of the possessive pronouns *mang-* (cf. *m-*) ‘my’, *tuk-* (cf. *t-*) ‘your.SG’ and *tumeng-* (cf. *tumar-*) ‘your.PL’, by an analogy to the third person pronouns *lesk-* ‘his’, *lak-* ‘her’ and *leng-* ‘their’. The source behind unpredictable phonological changes such as in *téne* < *téle* ‘down’ may also be found in imperfect learning, given that these changes are mostly limited to a single lexeme and they are absent in the closely related varieties of DS Romani.

DS Romani is further shaped by the heavy influence of Hungarian on the one hand and by other Romani dialects on the other. It has been shown that contact with genderless Hungarian led to the disintegration of gender marking in DS Romani. The decline of gender marking is manifested by the inaccurate assignment of grammatical gender to nouns and the gender disagreement between the head noun and its modifiers. In response, DS Romani employed the strategy to a) extend the masculine marking to all inflectional forms and b) to eliminate the inflectional markers in the prepositional phrases as well as in the possessive pronouns *amár* (< *amár-o/-i/-e*) ‘our’ and *pumár* (< *pumár-o/-i/-e*) ‘their own’. Finally, this analysis highlights that DS Romani shares the innovations *cinen* ‘to buy’ and *denášen* ‘to run’ with the (eastern) varieties of North Central Romani, which is rather unlikely to have developed without contact between the speakers of these two dialects.

Further research could be focussed on the speakers’ current language attitudes towards DS Romani, the extent of intergenerational language variation in order to determine the stability of the newly introduced structures in DS Romani, and the role that can be attributed to North Central Romani speakers in the development of DS Romani.

References

- Beníšek, Michael. 2013. Central Romani lidža-/ledž-. A vestige of an Indo-Aryan compound verb and its cross-dialectal variability. *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 66/4: 471-486.
- Boretzky, Norber / Birgit Igla. 1994. *Wörterbuch Romani-Deutsch-Englisch für den südosteuropäischen Raum. Mit einer Grammatik der Dialektvarianten*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Boretzky, Norbert. 1999. Die Gliederung der Zentralen Dialekte und die Beziehungen zwischen Südlichen Zentralen Dialekten (Romungro) und Südbalkanischen Romani-Dialekten. In: Dieter W. Halwachs / Florian Menz. eds. *Die Sprache der Roma. Perspektiven der Romani-Forschung in Österreich im interdisziplinären und internationalen Kontext*. Klagenfurt: Drava: 193-256.
- Campbell, Lyle / Muntzel, Martha C. 1989. The structural consequences of language death. In: Nancy C. Dorian. ed. *Investigating obsolescence: Studies in language contraction and death*. Cambridge: Cambridge University Press: 181-196.
- Dorian, Nancy C. 1981. *Language Death: The Life Cycle of a Scottish Gaelic Dialect*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Elšík, Viktor. 2000. Dialect variation in Romani personal pronouns. In: Viktor Elšík / Yaron Matras. eds. *Grammatical relations in Romani: The noun phrase*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins: 65-94.
- Elšík, Viktor. 2007. Grammatical borrowing in Hungarian Rumungro. In: Yaron Matras / Jeanette Sakel. eds. *Grammatical borrowing in cross-linguistic perspective*. Berlin / New York: Mouton de Gruyter: 261-282.
- Elšík, Viktor/Matras, Yaron. 2006. *Markedness and language change: The Romani sample*. Berlin / New York: Mouton de Gruyter.
- Elšík, Viktor / Hübschmannová, Milena / Šebková, Hana. 1999. The Southern Central (ahi-imperfect) Romani dialects of Slovakia and Northern Hungary. In: Dieter W. Halwachs / Florian Menz. eds. *Die Sprache der Roma. Perspektiven der Romani-Forschung in Österreich im interdisziplinären und internationalen Kontext*. Klagenfurt: Drava: 277-390.
- Fishman, Joshua A. 1991. *Reversing language shift: theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Matras, Yaron. 2002. *Romani: A Linguistic Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pintér, Tibor. 2010. Nyelvhasználati sajátosságok a dunaszerdahelyi romani közösségen [Characteristic features of the language usage of Romani community in Dunajská Streda]. *Fórum Társadalomtudományi Szemle* XII/1: 61-84.
- Thomason, Sarah G. 2001. *Language contact: An introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Das historische Verhältnis von Welsh Romani und Sinti

1 Zur Einführung

Das Romani tritt uns in einer Fülle von Varianten entgegen, die alle aus einer gemeinsamen Urform der Sprache zu stammen scheinen. Daraus ergibt sich natürlicherweise die Frage, wie es zu dieser Vielfalt gekommen ist, und weiter, ob eine gewisse Ordnung, eine Gliederung in dieser Vielfalt zu erkennen ist. Im Laufe der Forschungen hat sich eine Gliederung in Dialektgruppen oder -familien herausgeschält, die in der Praxis von den meisten mit der Erforschung des Romani befassten Linguisten *grosso modo* anerkannt wird. Streitpunkte ergeben sich eher bei der Frage, auf welchem Wege sich die Dialektgruppen aus einer gemeinsamen Urform der Sprache ausgegliedert haben könnten. Wenn man davon ausgeht, dass die Vorfahren der heutigen Roma nicht in einem Pulk nach Europa gekommen sind, sondern in aufeinanderfolgenden kleinen Gruppen, vielleicht nur in großen Sippenverbänden, dann ist es das Natürliche anzunehmen, dass im Lauf der Abwanderung aus Indien zunehmend Innovationen aufgetreten sind, die in verschiedenen Gruppen verschiedene Ergebnisse gezeitigt haben. Diese Anschauung entspricht in etwa dem Modell, das die Indogermanistik in Bezug auf die indogermanischen (indoeuropäischen) Sprachen, zumindest für die Wanderphase bis zur endgültigen Niederlassung, entwickelt hat. Mit der Trennung bestimmter Gruppen entwickeln sich divergierende Dialekte, im Verlaufe des Weiterwanderns gliedern sich diese Dialekte weiter auf, es entstehen neue Dialekte und schließlich neue Sprachen. Es scheint, dass sich dieses Modell auch auf das Romani anwenden lässt, wobei die Aufgliederung, nach ebenfalls verbreiteter Anschauung, nicht bis zur Entstehung neuer Sprachen geführt hat. Spätere Mischung von Kleindialekten kann nicht ausgeschlossen werden. Ein Gegenmodell stammt von Yaron Matras (s. besonders Matras 2005: 7-22, Matras 2013: 199-243 speziell über rumänische Romani-Dialekte, und kritisch dazu van den Heuvel/Urech 2014: 43-70), der annimmt, dass Romani in einer im Wesentlichen einheitlichen Form nach Europa gelangt ist, um sich dann nach der Niederlassung erst substantiell in den jeweiligen Siedlungsgebieten (*in situ*) zu differenzieren, und zwar im Wesentlichen durch den Mechanismus der Diffusion von Innovationen. Hierzu ergeben sich einige Fragen. Wie kann man

konkret feststellen, wo *in situ* für die einzelnen Dialekte liegt, in den heutigen oder doch in früheren Wohngebieten? Auch bezüglich Diffusion ergeben sich Fragen. Anders als die meisten europäischen Sprachen besiedeln die Roma kein zusammenhängendes, kohärentes Gebiet, sie leben immer unter anderen Völkern, oft ohne direkten Kontakt zueinander. Diffusion von Neuerungen setzt aber Kontakte und normalerweise sogar kontinuierliches Siedeln voraus, und selbst wenn solche Kontakte vorhanden sind bzw. waren, bleibt das Problem, welche Faktoren die Diffusionsrichtungen beeinflusst bzw. gesteuert haben könnten. Es ist kaum möglich anzunehmen, dass sich Neuerungen willkürlich, ohne determinierende Bedingungen, ausbreiten, die eine Neuerung sich, sagen wir grob, nach Osten, eine andere Neuerung aus demselben Gebiet, nach Westen ausgebreitet hat, ohne dass sich die äußeren Bedingungen geändert hätten. Diffusionen kennen wir für andere Sprachen aus kohärent besiedelten Gebieten, zum Beispiel aus dem deutschen oder dem französischen Dialektraum, aber dort sind auch die Bedingungen für unterschiedliche Ausbreitung erkennbar, politische, wirtschaftliche Zentren, wie auch die Mehrheitsverhältnisse (Bevölkerungszahlen) für die Richtung der Diffusionen. Eine weitere Frage ist, wie ein Verlust diffundieren soll, sofern nicht schon ein gemeinsamer Ersatz für eine Einheit bereit steht. Wo eine Gruppe in das Gebiet einer anderen einwandert und unter deren Einfluss gerät oder selbst Einfluss ausübt, ist die Übernahme von Elementen plausibel, aber hier wird man auch nicht unbedingt von Diffusion sprechen wollen.¹

Wir wollen uns nach dieser allgemeinen Erörterung dem konkreten Fall von Sinti und Welsh widmen. Nach allgemein verbreiteter Ansicht gehören beide der Nördlichen (ND) bzw. Nordwestlichen Gruppe an, deren einzelne Dialekte als nur lose miteinander verwandt gelten: Britisch untergliedert in Angloromani und Welsh, die aus einer Wurzel zu stammen scheinen, und Sinti mit vielen Untergruppen im deutschsprachigen Raum und angrenzenden Ländern bis Südfrankreich und Norditalien, weiter Skandinavisches Romani mit Untergruppen in Norwegen und Schweden, Finnisches Romani, und im Süden Iberisch mit Caló und seinem Ableger Rumanho in Portugal, weiter Katalanisch und Baskisches Romani. Enger zusammen zu hängen innerhalb ND scheinen nur (deutsches) Sinti, Skandinavisches und Finnisches Romani. Piemontesisches Sinti (mit Sinti als Eigenbezeichnung) weicht von deutschem Sinti mit seinen Ablegern in Mittelfrankreich (Manuš), Österreich, Ungarn und Venetien nicht unerheblich ab, was wohl mit eigenständiger Entwicklung, vielleicht auch mit Dialektmischungen zu tun hat. Wie kann nun die Vorgeschichte

1 Ein Beispiel sind die in der Slowakei, Südpolen, Ungarn und Österreich gesprochenen Lovari-Dialekte (Nordvlach; NVL), die manches von Südzentral (SZD) angenommen haben; vgl. NVL Artikel Pl. *le* bzw. *ol*, aber in den genannten Gebieten *o*, ganz wie in SZD. Hingegen hat ein Lovari-Dialekt in Südpolen (Pobožniak 1964: 38) *le* behalten.

der Ausgliederung ausgesehen haben? Zur Wahl stehen wieder zwei (zunächst extrem formulierte) Modelle:

- a) Die Vorläufer haben sich spätestens auf dem Balkan getrennt
oder
- b) die Differenzierung ist erst im mitteleuropäischen Raum erfolgt.

Wir wollen zunächst phonologische und morphologische Probleme erörtern, um uns dann die Lexik anzuschauen.

2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Phonologie und Morphologie

In Lautstand und Lautdistribution (Morphophonologie) stehen sich die beiden Dialekte sehr nahe, was vor allem auf das gemeinsame Romani-Erbe zurückgeht. Vokal- und Konsonantenbestand sind sich sehr ähnlich, Vorgänge wie Vokaldehnung, Labialisierung und Zentralisierung haben allenfalls späte Differenzen geschaffen; bei den Konsonanten sind [r] und [ř] zusammengefallen (aber gelegentlich noch Schreibung <rr> im Sinti), altind. [ɳd] hat ebenfalls einfaches [r] ergeben. Palatalisierungen von Dentalen und [n] sowie von Velaren sind nicht die Regel, tauchen aber unregelmäßig bei einzelnen Wörtern auf. [čh] hat seine Aspiration verloren, vermutlich spät. Beide Dialekte gehen auch zusammen in einem Wandel, [lj] > [j], was aber für ganz ND und Nordöstlichen Dialekte (NOD) zutrifft. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass dieser weit verbreitete Wandel unabhängig voneinander immer wieder auftritt. In den morphonologischen Grenzbereich gehört das folgende Problem: Im Auslaut ist “grammatisches” -s weitgehend erhalten, wiederum in ganz ND. Anders verhält es sich jedoch mit inlautendem -s- in Instr.Sg. und 2.Sg.Präs. -esa und vor allem mit anlautendem s- in Funktionswörtern². Während s- in normalen Lexemen in ND wie auch sonst im Romani erhalten bleibt, geht es in Funktionswörtern im deutschen Sinti in h- (-h-) über. So entsprechen Welsh *savo* ‘welcher’, *sa* u. *sare* ‘alle(s)’, *sakon* ‘jeder, so’ ‘was’, *sar* ‘wie’ und Kopula *šom*, *šan*, *šen*, *si*, *sas*, *šomas* usw. (und ganz übereinstimmend Angloromani -esa, *savo*, *sor*, *sorkon*, *so*, *shom*, *shan*, *sas*), im Sinti mit h- anlautende Formen: *havo*, *ha(lauter)*, *hako* u. *hakeno*, *ho*, *har*, in der Kopula *hom*, *hal*, *han*, *hi*, *his*,

² Einen Überblick über die Charakteristika von Sinti bietet Igla (2005). Dabei werden auch die Unterschiede zu den anderen ND diskutiert.

homes usw. *h*-Formen gibt es auch sonst hier und da im Romani, sie scheinen sich als Alloformen zu den *s*-Formen als Abschleifungen (Allegroformen?) entwickelt zu haben. Im Britischen Romani (Brit.) sind diese *h*-Formen möglicherweise nicht vorhanden gewesen, eher aber wieder geschwunden, im Sinti haben sie umgekehrt die *s*-Formen verdrängt. Für solche Prozesse muss man eine gewisse Zeitspanne ansetzen, das heißt im Sinti sollten die *h*-Formen, die ja teilweise auch in den Nordzentralen Dialekten (NZD) (*har, havo; hi, has, nahas*, aber *sa, so, sako*) vorkommen, bereits lange vor Erreichen des deutschen Siedlungsgebiets entstanden sein. Der Unterschied gewinnt auch dadurch Gewicht, dass die Kopula weitere Unterschiede aufweist: 2.Sg. im Sinti *-al*, Brit. jedoch *-an* wie in NOD, Vlach und Balkandialekten (SB), im Anlaut Brit. *šom* < **sjom* usw. gegen *hom* < *som* (zur Kopula allgemein s. u.). Für piemontesisches Sinti (Sinti Piem.) können wir nicht von demselben Stand wie für die deutsche Variante (mit ihren Ablegern) ausgehen, denn dort kommen beide Formen vor: Instr. *-esa/-eha*, und durchgehend für die Kopula *som/om, sal/-al, si/i (hi), sas/is, nasas/najas*, aber wohl nur *sar* und *so*. Piem. repräsentiert also einen früheren Stand, mit zwei Varianten, die wohl funktional geschieden waren. Das impliziert auch, dass deutsches Sinti (Sinti Dt.) und Sinti Piem. sich nicht erst im deutschen Sprachraum voneinander differenziert haben.

In der Morphologie beschränken sich die Unterschiede auf wenige Kategorien. Auffällig ist in der Wortbildung die unterschiedliche Entwicklung der Adjektivsuffixe. Sinti weist hier **uno* und *-tuno* auf, **uno* bei Stoffbezeichnungen (z. B. *rup-ono* ‘silbern’), aber *-tuno* bei Ortsadverbien (z. B. *tel-duno* ‘untere’), wohingegen in Welsh beide in *-ano* zusammen gefallen sind (*rup-anو = tal-anو*), sonst kaum im Romani zu finden und sicher eine Neuerung.

Die Kasusflexion, soweit noch erhalten, geht auf gemeinsame Vorformen zurück. In Sinti werden Lok. *-este* und Abl. *-ester* lautlich traditionell unterschieden, in Welsh hat der Abl. sein *-r* verloren, aber durch den Auslautvokal scheint immer noch die Unterscheidung aufrecht erhalten zu sein, also *-este* gegen *-esti*. Vermutlich handelt es sich um einen späten Wandel, der mit dem Charakter des engl. *r* zu tun hat. Für den Genitiv gibt es im Romani eine Langform *-es-kero* und eine Kurzform *-eskō*, die sich nur auf den ersten Blick eindeutig auf die verschiedenen Dialektfamilien verteilen (*-eskō* besonders Vlach, dazu teilweise in SB I u. II). Bei genauerem Hinsehen stellt sich aber heraus, dass viele Gruppen beide Formen aufweisen, zum Beispiel in NOD, und selbst im Vlach gibt es Reste der Langform (s. Boretzky 2003: Karte 50), die sehr schön die ursprünglichen funktionellen Unterschiede zwischen den beiden Varianten erkennen lassen. Im Vlach ist das seltene *-es-kero* deutlich die markierte Form (entweder selbständige nominalisiert oder betont dem head noun nachgestellt), *-eskō* die normale. Dies scheint die ursprüngliche Verteilung im Romani gewesen zu sein, während später die meisten Dialekte eine der beiden aufgegeben haben. Sinti hat nur die Langform bewahrt, Brit. hingegen beide, wobei *-es-kro* auf lexikaliisierte (selb-

ständige) Genitive beschränkt wurde. Dies liegt nicht so weit von der für Vlach festgestellten Lösung entfernt. Die häufige Verwendung des Genitivs für Wortbildungen (Nominalisierungen) ist besonders den ND (Welsh, Sinti, Finnisch) eigen. Wir finden sehr viele maskuline Berufsbezeichnungen dieser Art, z.B. *mar-eskero* u.ä. ‘Bäcker’ in den drei Dialekten. Wie der Unterschied zwischen Sinti *balengero* ‘Schweinehirt’ zu *balo* und Welsh ‘Barbier’ zu *bal* vermuten lässt, dürfte den Dialekten nur das Verfahren gemeinsam sein, nicht aber die individuellen Bildungen. Bei der Bildung des Verbalnomens sind in beiden Dialekten die konservativen Formen *-iben* u. *-ipen* erhalten, aber in Brit. findet sich auch noch *-imos* (*-imus*), das offenbar auf griech. Morpheme (-μό^ν bzw. -μο^ς) zurückgeht, wie sie besonders im Vlach (s. Boretzky 2003: 34f.) verbreitet sind. Man kann vermuten, dass dieses Formans zunächst nur an entlehnte Verben trat, später aber eine Vermischung stattfand, weshalb im Vlach oft beide Bildungen von einem Verb belegt sind. Deutsches Sinti kennt diese Form nicht, aber aus der piem. Variante lässt sich eindeutig *-av-imo* dazu stellen, wobei *-av-* ursprünglich der Adaptationsmarker für Lehnverben in ND war, an den dann *-imo* trat; vgl. für Piem. *romed-av-imo* ‘Heirat’ u. *ker-av-imo* ‘Verhalten’ (Boretzky/Igla 2004 I: 70f.). Dieser Befund passt genau zu dem, was zu dem historischen Verhältnis von Sinti Dt. und Sinti Piem. bezüglich *s- > h-* gesagt wurde (s. o.), das heißt es stützt die Ansicht, dass sich die Sinti-Varianten schon vor dem Erreichen Mitteleuropas differenziert hatten, was erst recht für das Verhältnis von Brit. und Sinti gilt.

Die Kopula weist im Sinti *h*-Formen auf, im Brit. aber nicht nur die älteren *s*-Formen, sondern solche mit dem komplexeren Anlaut **sj-* (s.o.), die sonst allgemein nur in SBII verbreitet sind. Es ist von sekundärer Bedeutung, ob diese Formen durch die Einwirkung von 3.Pers. *si* auf das Gesamt-Paradigma entstanden sind oder andere Vorformen (etwa *sjom* < *sinjom*) haben, wichtig ist die Auseinanderentwicklung in der Vorgeschichte der Dialekte. Noch bedeutsamer ist der schon erwähnte Unterschied in der 2.Sg., bei der Kopula Sinti *hal(sal)*, aber Brit. *šan*, was sich in der 2.Sg. des Präteritum des Verbs wiederholt: Sinti *-al*, aber Brit. *-an*.³ In der 2.Pl. stimmen Welsh *š-an* und Sinti *h-an* aber soweit überein, wie auch *-an* gegen *-en* im Präteritum des Verbs, aber Sinti setzt sich doch wieder durch eine idiosynkratische Neuerung ab: 2. u. 3. Pl. fallen in Sinti Dt. *-an*, Piem. *-en* zusammen, was auch nicht erst im deutschen Raum passiert sein dürfte. Auffällig sind auch die Unterschiede bei der Adaptation von Lehnverben: in Sinti *-ev- < -av-* und *-er(v)- < -ar-*, beide sonst im Romani als Transitivmarker bekannt, in Welsh aber *-as-*, unsicher *-er-*, aber es gibt auch Reste von weiteren Markern:

3 Der Unterschied zwischen *-al* und *-an* in der 2.Sg. scheint sehr alt zu sein. Nach Bloch (1932) geht [l] im Romani und [r] im Domari auf angefügtes *tu* ‘du’ zurück (diskutiert auch in Matras 2002: 144ff.), vergleichbar dt. *gehes-tu* zu festem (*du*) *geh-st*. Wegen Domari dürfte [l] in Sinti wie in den Zentralen Dialekten altererbt sein. Diffusion ist nur für *-al* im NVI Lovari anzunehmen, das durch späte Migration unter den Einfluss von NZD geraten ist.

in Welsh imp. *-as-ar!*, was an Vlach *-isar-* erinnert, und in Sinti immerhin noch *r-isar-* ‘drehen’ < *yvpič-* (s. Boretzky 2012 Grätz., Karte 12). Besonders bedeutsam ist in Welsh der Lehnverbmarker *-in-* in einigen impersonalen Verben, der allgemein in SBI, ZD und NOD vorkommt und sicher schon aus der griechischen Zeit stammt (*-είν-ει, -ύν-ει*), aber keine Spuren in Sinti hinterlassen hat; vgl. Welsh *molon-in-i*, es blitzt’ (mit Grundwort *molona*) bei einem Slavismus, sowie *zilv-in-i* ‘eifersüchtig sein’ bei einem Grätzismus (s. Sampson 1926: 117 u. 189), während Sinti und besonders Manuš *zilb-/zibl-* ohne Lehnmarker aufweist. Eine zusätzliche Besonderheit dieser Lehnverben in Welsh ist *-i* neben *-el* in der 3.sg, das vielleicht doch auf griech. *-ει* zurückgeht – womit also zwei griech. Marker zusammen vorkämen. Eine Parallele dazu bietet NOD Baltisch, ebenfalls bei Lehnverben, z. B. *brauc-in-i* < lett. *braukt* ‘fahren’, aber auch Varianten des Arli (westliches SBI) bei Lehnverben wie *pomož-in-i* < *pomože* ‘hilft’ sowie (sekundär?) in zweisilbigen ererbten Stämmen wie *tasav-i* ‘ersticken’ (s. Boretzky 2008: 24). So dürfte *-in-* in Welsh sehr alt sein, aber für Sinti ist es bislang nicht nachweisbar. Wenn einmal vorhanden, sollte es viel früher als in Mitteleuropa geschwunden sein. Es gibt weiter bei den einzelnen Verben in der Präteritalbildung Unterschiede zwischen Brit. und Sinti, wobei sich Welsh als konservativer erweist: in Welsh Präteritalmarker *-dj-*, in Sinti auch noch, aber Tendenz zu *-d-*. In Welsh sind die Anlautvokale *a-, u-* im Allgemeinen erhalten, aber in Sinti eher geschwunden; vgl. *vejom* (*vom*) ‘kommen’, *štej-om* ‘aufstehen’. Bei ‘gehen’ ist in Sinti der Anlaut des Präsens *dž-* auf das Präteritum übertragen worden, also *dzejum* (*džum*) statt *gijom*. All dies dürfte aber recht spät abgelaufen sein, aber Analogiebildungen können jederzeit eintreten, müssen jedoch nicht.

Auch bei den Funktionswörtern hat sich einiges divers entwickelt. Zunächst zu den Präpositionen: Hier scheint die Ausgangslage (mit *andre, andral, opre, opral, tele, telal, anglat, paše, trujal*, aber kaum *andar* u. *katar*) für beide gleich gewesen zu sein. Selbst *te* (*to, ti*) ‘zu, bei’ in Welsh und Skandinavisch scheint eine Spur in Sinti hinterlassen zu haben; vgl. in Bischoff (1827: 37) *taisa, pennum, wela a jowa de me* ‘morgen, hab ich gesagt, kommt jener zu mir’. Auf der genannten Grundlage hat sich aber recht viel differenziert, besonders auffällig *opre* ‘auf, über’ > *apre* > *ap* (!) in Sinti, aber *opre, pre* in W., und parallel dazu (*a)pral* in Sinti, aber *oparl* in Welsh – also deutlich auseinander entwickelt; weiter *andre* > *an-* in Sinti, aber in Welsh auch *ar-*; *andral* ‘aus ... heraus’ > *dran/dren* in Sinti wohl über **andran*, aber > (*a)dral, aral* in Brit.; *anglat* ‘vor’ > **anglan* > *glan* in Sinti, in Brit. zwar auch *anglan*, aber daneben auch *aglat*; *telal* ‘unter’ > *tel* in Sinti, aber > *talal/tal* in Brit. Besonders stark sind die Unterschiede bei *trujal* > *trujul* ‘um ... herum’, aber auch *trujum* in Sinti (mit Einkreuzung von dt. *um?*), aber in Brit. die schwer ableitbaren Formen *trušal⁴* und sogar *trustal*. Wie es aufgrund universaler Trends zu erwarten war, wird bei Präpositionen als Funktionswörtern

4 Es wäre wohl etwas gewagt, eine Einkreuzung von *trušul* ‘Kreuz’ gewissermaßen als ‘kreuz und quer’, anzunehmen.

Einsilbigkeit angestrebt, aber man gewinnt nicht den Eindruck, dass die Prozesse in den beiden Dialekten in engem Kontakt zueinander abgelaufen sind – offenbar wieder ein Argument gegen eine Trennung erst in Mitteleuropa.

Eine andere Klasse von Funktionswörtern, die Pronomina, sind in den beiden Dialekten ziemlich gleichartig ausgebildet. Bei den Demonstrativa hat jede Dialektgruppe ihre eigene Kombination von Elementen. In ND sind dies *kava* (und *kova*, auch ‘Sache’), dazu (*a)dava* u. (*o)dova*, aber die komplexen Typen *kada* und *kaka* fehlen. Hingegen weist NOD die Typen *ada(va)* u. *kada(va)* auf, während der Typ *kava* stark zurückgedrängt ist, und in den NZD finden wir *dava* u. *kada*, aber *kava* eher reduziert. Der Typ *kaka* hat sich nur in Vlach u. SBII herausgebildet, offenbar nachdem die Vorläufer von ND bis ZD nach Norden abgewandert waren, also keine Kontakte mehr zwischen den beiden Komplexen herrschten. So scheinen die Dialektgruppen bezüglich der Demonstrativa eher früh geprägt worden zu sein.

Bei den Personalpronoma stimmen auch die Wandel in beiden Dialekten weitgehend überein. In der 1.Pl. finden wir *ame/me* ‘wir’ < *amen* und (*a)maro* (*moro*) ‘unser’ < *amaro* in Brit. und ähnlich *ame, me, mer* und *maro*, in Sinti, also mit *a*-Elision, durch die *me* ‘ich’ und *me(r)* ‘wir’ nicht mehr ideal unterschieden sind, auf jeden Fall aber die Pluralformen als die markiertere Kategorie keine längeren Ausdrücke mehr haben als die Singulare, das heißt die allgemeine Tendenz zur lautlichen Reduktion setzt sich gegen die Tendenz zur Markiertheitsdifferenzierung durch. In den 3.Perss. haben *jov, joj, jon* ‘er, sie; sie’ j-Vorschlag, wie in NOD und auch schon weiter südlich in den NZD – also offenbar auch ein älterer Wandel vor dem Erreichen des deutschsprachigen Raums. Der gegenteilige Vorgang, also Entstehung von j-Formen in einem der Dialekte und Ausbreitung durch Diffusion, ist schwer vorstellbar: von NZD, die offenbar später gekommen sind, westwärts auf Sinti und von dort weiter auf Brit., sowie ostwärts auf NOD, oder von Sinti auf NZD – aber wo, wann und unter welchen Bedingungen? Die enklitischen Formen *-lo, -li, -le* haben ebenfalls höheres Alter, sie sind bereits im Süden, teils in NZD, ganz in SZD wie auch meist im Nordvlach nachweisbar, und in begrenzter Distribution selbst in den SB. Als Neuerung sind nur die reduzierten *-o, -i, -e* im Sinti zu werten, die eventuell *in situ* entstanden sind, ausgehend von der Position nach 3.Sg., z. B. (*ker*)-*el-lo* > *-el-o*. Natürlich wäre es abwegig, die Entstehung der Enklitika spät in das 15. Jahrhundert zu verlegen und eine Diffusion von den ZD oder gar dem Vlach nach Norden zu postulieren. Ebenfalls bereits ererbt sind die Pluralformen beim Reflexivum, *pen, penge* ‘sich’ zu *pes, peske* usw., die wiederum schon in den NZD und teils in NVL vorhanden sind, während in SZD und SB Pl. *pumen* entstand. Pl. *pen-* bietet sich als Analogiebildung gewissermaßen an, während *pumen* eher eine eigenwillige Kreation ist.⁵

5 Es handelt sich offenbar um eigenständige Entwicklungen im Romani, Vorbilder in Kontaktsprachen scheint es nicht zu geben.

Auch bei sonstigen Pronomina, Adverbien, Numeralia u.a. ist die Übereinstimmung von Brit. und Sinti ausgesprochen hoch. In *kon*, obl. *kas-* ‘wer’ ist die Nominalivform verallgemeinert worden, also *kones-* (so auch in NOD, aber nicht weiter südlich), ein möglicherweise später analogischer Wandel. Ganz alt sind die Bildungen mit *-moni*, also *ko-monī* ‘jemand’ und *či-monī/čo-monī* ‘etwas’, die Parallelen in SBI Süd *-muni* haben, wodurch sich heute für Romani eine Marginalverteilung des Elements ergibt. Auch *či* u. *čiči* ‘etwas, nichts’ sind Brit. und Sinti gemeinsam (etwa gegen NOD *ni-čiči* ‘nichts’), offenbar doch alt, weil *č(h)i* auch in NVI und SBI vorkommt. Dieselbe Entwicklung hat auch *kaj-jek* ‘etwas’ genommen, so noch erhalten in Iber. *caique*, aber in Welsh und Sinti zu *k-ek* ‘kein’ kontrahiert, offenbar gemeinsam und eher spät. Bei den Zahlwörtern auffällig ist die gemeinsame Bildung *paš-šel* ‘fünfzig’, also ‘halbes Hundert’ (auch in Sinti Piem. und sogar in einigen NZD), aber sonst nicht mehr belegt, vielleicht erst nach dem Verlust von *peninda* als geheimsprachliches Wort geprägt. Alt ist dagegen ein Ausdruck für ‘erster’, in der älteren Form *avgo(s)* u. ä. in SB Ost (Boretzky 2008, Karte 51), und weiter in SZD *a(v)gun*, hingegen in ND und NOD mit Metathese *vago*, in Welsh und Sinti Dt. fast kaum noch nachweisbar (Bischoff *vagester*, schwed. *vagerst*, als Superlativ behandelt) – wieder ein natürlicher Wandel. Da auch NOD schon die Metathese aufweist, kann der Wandel in eine Zeit vor dem Erreichen Mitteleuropas gelegt werden. Für das Element ‘-mal’ haben beide altererbtes *-var*, aber in Sinti überwiegen die entlehnten *-kopo*, pl. *-kopi/-kope* und dt. *-molo*. Wenn *-kopo* auf griech. *κοπή* ‘Schnitt, Prägung’ zurückgeht, müsste es ebenfalls schon im griech. Raum entlehnt worden sein. Allerdings spricht die Verteilung nicht für griechische Herkunft, weshalb wohl eher provenzalisch *cop* ‘Schlag, -mal’ (vgl. franz. *coup*) die Quelle ist. Vermutlich sind verschiedene Gruppen von Sinti nach ihrer Ankunft in Mitteleuropa in dem Raum zwischen Norddeutschland und Norditalien hin- und hergewandert, wodurch sich die wenigen romanischen Elemente im deutschen Sinti erklären würden.

Interessant sind die Veränderungen bei dem Modale ‘können’. Altes *šaj* fehlt in ganz ND u. NOD (s. Igla 2005: 36), also auch in Sinti und Brit., aber trotzdem ist die Entwicklung ganz unterschiedlich gelaufen: in Brit. Dekomposition der negierten Form zu *asti-s* u. ä., in Sinti Umdeutung von neg. *našte* zu positiv ‘können’ (neg. *našte...gar*). Es hat also den Anschein, dass der Verlust von *šaj* bereits früher, eventuell gemeinsam erfolgt ist, der Aufbau eines neuen Elements aber spät, mit je unterschiedlichen Mitteln.

Ungewöhnliches lässt sich bei der Konjunktion ‘dass’ bzw. den Nebensatzkonstruktionen beobachten. Sinti verhält sich hier ganz normal, es hat ererbtes *te* für nichtindikativische⁶ und *kaj* ‘wo’ (o. a.) für indikativische Objektsätze, während in

6 Diese Sätze sind teilweise ein Äquivalent für Infinitiv-Phrasen anderer Sprachen.

Welsh für Romani fast einmalig nur *te* für beide Fälle eingesetzt wird (s. Matras 2002: 181ff.). Letzteres läuft auch den Regeln in den Balkansprachen zuwider, was man auf zweierlei Weise deuten könnte: Es gab keine langen Kontakte mit dem Griech., oder der Zusammenfall fand spät unter englischem Einfluss statt, was auf jeden Fall erstaunlich bliebe. Es ist fraglich, ob der Kontrast von *te* und *kaj* wie auch der Schwund des Infinitivs im Romani wirklich Balkanismen sind oder aus einer älteren Zeit datieren. Andere Balkanismen wie das ‘wollen’-Futur und der sog. Zusammenfall von Genitiv und Dativ kommen für die nördlichen Gruppen ohnehin nicht in Betracht. Ein mit ‘wollen’ gebildetes Futur findet man nur in SB und teilweise in Vlach, die Balkaneinflüssen länger ausgesetzt waren, wohingegen ein Zusammenfall der beiden Kasus nirgendwo im Romani zu beobachten ist.

Eine Wertung all dieser Fakten ergibt folgendes: Das gemeinsame Erbe von Brit. und Sinti in Lautstand und morphologischem Bestand ist recht hoch. Daran haben späte Wandel nicht allzu viel geändert, die beiden Dialekte gehören dadurch recht eng zusammen. Verstärkt wird die Ähnlichkeit durch einige gemeinsame Neuerungen wie *lj* > *j*, *amen* > *men* > *me (mer)*, *ov* > *iov* (schon in NZD), Pl. *pen* zu *pes* (auch NZD u. Vlach), obl. *kon-es-* für *kas*, *kajek* zu *kek*, *paš-šel* ‘fünfzig’ für *peninda*, bzw. *pandžvardeš*, was nicht sehr viel ist und zudem kaum für beide exklusiv gilt. Demgegenüber stehen doch einige beachtliche Unterschiede, die (relativ) alt sein müssen.

Lehnverbmarker *-in-* nur Brit., 3.SG an Lehnverben *-i* nur Brit., griech. Verbalkomplex *-imo(s)* nur Brit., aber für letzteres Element muss schon einschränkend gesagt werden, dass auch Sinti Piem. Reste davon aufweist, also die Vorstufe von Sinti mehr enthalten hat als heute noch in der deutschen Variante greifbar ist. Das gilt ebenso für das Genitivproblem, wo auch Sinti einmal beide Formen gekannt haben könnte (Schwinden von *-esko* zu einem unbekannten Zeitpunkt), und weiter für den Anlaut der Kopula in Brit. *š-*, der spät analogisch entstanden sein kann, aber auch mit südbalkan. *s(i)jom* in Verbindung stehen könnte. Ein schwieriges Problem stellt die Differenz zwischen 2.Sg. *-al* im Sinti und *-an* in Brit. dar. Diese Differenz ist offenbar sehr alt (s. auch FN 1). Vielleicht trifft es zu, dass es hier längere Zeit funktionell verschiedene Alloformen gegeben hat, von denen sich nach Dialektgruppe unterschiedlich später je eine Form durchgesetzt hat. Eine späte Diffusion von ZD nach Sinti/Finn. oder von Sinti nach ZD ist wegen des Alters von *-al* ganz unwahrscheinlich. Einige Differenzierungen bei den Präpositionen erlauben auch kein sicheres Urteil. So könnte die Wahrheit in der Mitte liegen: Deutschland als Differenzierungsraum ist jedenfalls zu spät, aber der südliche Balkan (Nordgriechenland, Bulgarien, Makedonien) kurz nach der Einwanderung zu früh. Leider fehlen uns die Mittel, den Wandelraum genauer zu bestimmen. Die Zugehörigkeit zu *einem* Dialekt schließt nicht aus, dass sich Sippenmundarten in Details unterscheiden und diese Unterscheidungen tradiert werden (s. FN 2). Für ND bedeutet dies, dass sich Sinti, Skand. und Finn. näherstehen, aber Brit.

eben nicht so weit entfernt ist. Es hat den Anschein, dass die Vorläufer von Brit. erst nach denen des Sinti nach Mitteleuropa gekommen sind und den Raum schnell durchquert haben. Eben deshalb konnten in Mitteleuropa kaum gemeinsame Neuerungen in Gang gesetzt werden.

3 Die Entwicklung der Lexik

Auch die Sichtung der Lexik kann zu Klärung der Fragen beitragen. Lexik ist zwar unübersichtlich und kaum festen Strukturen unterworfen, aber eine gewisse Aussagekraft haben Gemeinsamkeiten, Schwund von Lexemen und lexikophonologische Innovationen (Lautwandel an Lexemen) doch.

Wir wollen die Untersuchung mit den europäischen Lehnschichten beginnen, weil wir deren genaues Alter am besten einschätzen können. Die älteste Lehnschicht sind die Gräzismen (s. Boretzky 2012). Da sie offenbar direkt, in griechischem Sprachgebiet (Anatolien und später Europa), entlehnt worden sind, zeigen sie trivialerweise, dass die ganze Schicht in den beiden Dialekten älter sein muss als *in situ*. Das Material deutet darauf hin, dass der Kontakt der Vorläufer von ND mit dem Griech. vielleicht nicht sehr intensiv gewesen ist, denn mehr als zwei Dutzend, die in südlicheren Gruppen vorkommen, fehlen hier, darunter im Alltag so wichtige wie *amonis* ‘Amboss’, *kopana* ‘Trog’, *kuna* ‘Wiege’, *luludi* ‘Blume’, *maxrin-* ‘beschmutzen’, *muxli* ‘Nebel’, *kombos* ‘Knoten’, *rumin-* ‘zerstören’, *salja* ‘Speichel’, *savato* ‘Samstag’, *sfiri* ‘Hammer’, *vrsasi-del* ‘sieden’, dazu auch das Wort für ‘Igel’, *kanzavuri* u. ä., das erstaunlicherweise nur in Vlach und SBI vorkommt. Sollten all diese Wörter im Romani insgesamt einmal vorhanden, aber später wieder verschwunden sein?

Umgekehrt finden sich nur wenige Gräzismen, die in ND (und NOD) erhalten sind, aber sonst im Romani fehlen (s. Boretzky 2012: 23). Hier sind zu nennen *dromin* ‘Taler’, *pilsteri* u. ä. ‘Taube’ (ein Beleg *pinsteri* aber auch in Siebenbürgen), *raxemi* ‘Fetzen, Kleidungsstück’, weiter *zervo* ‘links’ in ND und NOD. Ganz wichtig ist *vali(n)* ‘Glas’ < *valí*, das wegen des *v*-Anlauts ja eine Vorform mit labialem [v], etwa [walí] gehabt haben muss, am ehesten in einem anatolischen Dialekt, und eine Leitform nur für ND darstellt. Auch der seltene und bisher kaum behandelte Gräzismus *zilvin-* ‘eifersüchtig sein’ < *ζηλευ-*, der außer in den beiden Dialekten nur noch in den Nordostlichen Dialekten (NOD) vorkommt, macht eine auffällige Ausnahme. Was bedeutet es, dass nur in Welsh eine Adaptation mit *-in-* vorgenommen wurde, in Sinti aber bloßes *zilb-* vorkommt? Es ist nicht recht glaubhaft, dass solche Wörter einmal im gesamten Romani vorhanden waren. Vielmehr muss man annehmen, dass es sich um isolierte Entlehnungen handelt, also Belege für eine frühe Isolierung von kleinen Sprecher- und Mundartengruppen.

Nun zu den Unterschieden zwischen den beiden Dialekten. Insgesamt gibt es eher wenige Wörter, die entweder nur in Sinti oder nur in Welsh erhalten sind, so etwa *rutni* ‘Nasenloch’ nur in Welsh und Finnisch, aber nirgends in Sinti, in SBI u. Vlach aber belegt – also in etwa Marginalverteilung. Umgekehrt findet sich in Sinti und allgemein in ND, aber auch in NOD *harga, hara, raha* ‘vor langer Zeit’, vermutlich < *αργά* ‘spät, langsam’, das jedoch im Brit. fehlt.⁷ Aus dieser Verteilung lässt sich bezüglich Ausgliederung kaum etwas folgern. Den meisten Aufschluss sollten die Etyma liefern, die zwar in beiden Dialekten, aber in unterschiedlicher Lautung vorkommen. Aber auch hier lässt uns die Beleglage eher im Stich. Auffällige Unterschiede haben wir in Sinti *xamzin-* gegen Welsh *xamav-* ‘gähnen’, einem Verb, das schon im Griech. in einer Fülle von Varianten (*χαζμ-, χαμονδιαζ-, χαμιζ-* u. a.) vorkommt, weshalb je individuelle Entlehnung wahrscheinlich ist (s. Boretzky 2012: Karte 54). Bei Sinti *savaris* gegen älteres AR. *salivarus* ‘Zügel’ kann die Silbenreduktion spät in Sinti eingetreten sein. Bei Sinti *paristovin* u. ä. gegen Welsh *parasko* ‘Freitag’ geht Sinti mit NZD-Formen (*paraščovin*) zusammen, während die Form in Welsh nicht wie eine späte Reduktion wirkt, sondern eher eine andere Ausgangsform voraussetzt (**paraskoj* < *paraskev(i)?*). Die Formen für ‘Elster’, Sinti Dt. *kaškeraka* und Welsh *kakaračka*, mit Piem. *kakeraška*, weisen zwar beide Metathesen gegenüber *karakážča* auf, aber mit verschiedenen Resultaten, wobei die griechische Konsonantenfolge in [karakaksa] nirgends im Romani erhalten ist. In dessen scheinen die ersten Schritte die Dialekte doch gemeinsam durchlaufen zu haben: **karakakša* > *karakaška* > *kakaraška* bzw. *kakaračka*, die Welsh-Form, und von *kakaraška* zu *kaškeraka*, eine Form in Sinti, aber völlig offen wo entstanden. Auffällig sind auch die Unterschiede bezüglich Palatalisation: Welsh *xoj* ‘Galle’, *klisin* ‘Schlüssel’, *kusi/kusi* ‘Krümchen, bisschen’, dazu unklares *dročin* ‘Tau’, gegen konservativeres Sinti mit *xolin*, *klidin*, *kuti*, *drosin*. Vermutlich handelt es sich auch hier um ältere Unterschiede. So spricht wiederum mehr dafür, dass die Vorläufer beider Dialekte in Mitteleuropa schon getrennt waren, aber nicht unbedingt für eine sehr frühe Trennung.

Eine spätere Schicht sind die Slavismen (s. Boretzky 2013 und 2015 mit Karten), die offenbar aus verschiedenen slavischen Sprachen stammen, wie die Lautunterschiede zeigen. Darunter finden sich einige, die südslavische Lautform haben, so *tamlo* < serb. *tamno* ‘dunkel’, übrigens nur in ND und NOD (auch Siebenbürgen) vorkommend, ähnlich *staklo* ‘Glas’ < serb. *staklo*, und weiter Welsh *smentena/S. smentana* ‘Sahne’ mit [en] aus einem älteren slav. Nasal, so wiederum nur in ND und NOD, offenbar aus dem frühen Südslav. Insgesamt gibt es etwa zwanzig Etyma, die in beiden Dialekten in etwa gleicher Form auftauchen, darunter *celo* ‘ganz’, *krali(s)* ‘König’ oder *lovina* ‘Bier’, letzteres mit Sicherheit eine alte Entlehnung, die nicht erst spät zum Beispiel aus dem Poln.

⁷ Dafür in Welsh ererbtes *čerla*. Die Bedeutungen von *harga* in Griechisch und Romani sind ziemlich verschieden, aber auch innerhalb des Griechischen lässt sich ein starker semantischer Wandel beobachten, was diese Etymologie eher stützt.

übernommen worden sein kann. Eine Form wie Welsh *skorni* ‘Schuhe’ mit [s], in Sinti noch *škorni*, dürfte aber *in situ*, also spät unter engl. Einfluss entstanden sein. Selbst eine Form wie Welsh *kušni* ‘Korb’ gegen Sinti *košnica* kann seine starke Reduktion erst spät erfahren haben, vielleicht erst im Zuge des Obsoletwerdens dieses Wortes. Stärker unterscheiden sich die folgenden Wörter: Welsh *zelano* gegen Sinti *zenelo* mit Metathese aus slav. *zeleno* ‘grün’, aber auch die könnte noch spät im Sinti erfolgt sein, wenn sie denn nicht im gesamten Großdialekt vorkäme!; Welsh *mazos/S. moreso* < *mraz* ‘Frost’ (poln. *mroz*?), möglich auch hier noch Differenzierung *in situ*; Angloromani *hojno* ‘ärgerlich’, aber in Sinti ‘anständig’ < tschech. (poln.) *hojn-* ‘rege, reichlich’, wo wir in Angloromani eine recht abweichende Bedeutung finden. Rätselhaft ist der Fall Welsh *dosta*, aber Sinti neben *dosta* auch *doha*, beide < südslav. *dosta* ‘genug’. Neben entlehntem *dosta* ist also offenbar im deutschen Raum *doha* entstanden, wohl über reduziertes **dosa* (wie oft in Funktionswörtern), dann mit s-Verhauchung wie in anderen Funktionswörtern (vgl. *ho* < *so* ‘was’, *har* < *sar* ‘wie’, *hi* < *si* ‘ist’ u. a.), aber in *dosta* eben im Inlaut. Können wir diesen Wandel wirklich als jungen Prozess einstufen? Bei einer kleinen Zahl von Fällen haben Welsh und Sinti unterschiedliche Slavismen bewahrt, in Welsh nur eine Handvoll, in Sinti etwa ein Dutzend. Für die Trennung der beiden Dialekte kann man daraus kaum etwas folgern, aber es gibt wieder Elemente, die auf Grund ihrer Form nicht erst aus dem Westslavischen stammen können: Welsh *vodro* ‘Bett, Liege’, *tuga(no)* ‘Trauer, traurig’ statt *tužno*, oder Sinti *glenderi* ‘Spiegel’ mit altem slav. Nasal, *jalo*, ‘roh, frisch’ gegen jüngeres slav. *jalovo*, sowie *džilto* ‘gelb’. Insgesamt ergibt sich aus den Slavismen kein klares Bild darüber, wie lange Brit. und deutsches Romani in engem Kontakt miteinander gestanden haben könnten. Es deutet aber vieles darauf hin, dass die meisten Slavismen bereits aus dem Südslavischen übernommen wurden, und zwar eher in einer Phase von Kontakten zwischen den Keimzellen beider Dialekte. Deutlich westslavisch, also spät, sind allenfalls *blavato* ‘blau’, *hojno* (s.o.) und *sta(j)nja* ‘Stall’.

Die jüngste Schicht stellen die Germanismen dar. Wenn wir davon ausgehen, dass die Vorfahren der Britischen Roma den deutschsprachigen Raum durchqueren mussten (kaum über Norditalien und Frankreich nach England), fällt auf, das Welsh nur äußerst wenige Germanismen aufweist. Gerade die sonst in ND und NOD weit verbreiteten *berga* ‘Berg’, *felda* ‘Feld’ und *šteto* ‘Ort, Platz’ kommen in Welsh nicht vor, obwohl nur engl. *field* ohne Probleme Ersatz bieten konnte, während es für ‘Berg’ keinen wirklich guten Ausdruck gab.⁸ Für ‘Ort’ stand allerdings noch *than* zur Verfügung. Man

8 Die drei Lexeme sind im Sinti nur belegt, sofern der Dialekt außerhalb des deutschen Sprachgebiets gesprochen wird. Wortlisten aus Deutschland enthalten keine deutschen Wörter, weil die Sammler deren Aufnahme für unnötig gehalten haben. Dass die drei aber doch verwendet wurden, lässt sich indirekt aus Bischoffs Deutsch-Romani-Verzeichnis (1827) erschließen, wo ‘Berg’, ‘Feld’ und ‘Stätte’ auch als deutsche Stichwörter gar nicht aufgenommen wurden. Man muss für den Nachweis also Texte auswerten (für deutsches Sinti *berga* und *folda* nachweisbar). *šteto* scheint später durch dt. *placa* (*plasa*) verdrängt worden zu sein, was in Manuš und südlichem Sinti vorkommt, wiederum nicht nach dem Genus des deutschen Wortes adaptiert.

kann daraus wiederum folgern, dass sich die Sprecher nur kurz im deutschen Raum aufgehalten haben, und weiter, dass die Vorläufer beider Dialekte in Mitteleuropa in keinem engen Kontakt mehr standen. Um so mehr fällt der Unterschied von Welsh zu den südlichen Varianten des Sinti (Venetisch und Piemontesisch) auf, in denen die Zahl der Germanismen immer noch sehr hoch ist, obwohl sie ebenfalls seit langer Zeit außerhalb des deutschen Sprachgebiets angesiedelt sind. Das spricht gegen die Annahme, im Welsh könnten viele Germanismen später zufällig wieder weggefallen sein.

Bei den indischen Erbwörtern liegt das Problem anders. Wir müssen annehmen, dass diese Wörter im Romani seit indischer Zeit überall vorhanden waren, also nicht ihr Aufkommen, sondern allenfalls ihre Veränderung (lautlich, morphologisch, semantisch) und der Zeitpunkt ihres eventuellen Schwindens Aufschluss über die Geschichte des Romani geben können. Eine Sichtung der Erbwörter (einschließlich Iranismen und Armenismen) liefert ein diffuses Bild. Aus diesem Bereich sind über siebzig Etyma in Sinti und Welsh geschwunden, aber kaum exklusiv nur in den beiden Dialekten, sondern eher in ganz ND oder noch weiter bis ZD. Schon diese Konstellation macht ein Schwinden *in situ* unwahrscheinlich. Unter den verlorengegangenen sind auch für die Roma wichtige Begriffe, aber einige davon sind vielleicht aus Sachgründen geschwunden, z. B. *beli* ‘Zeltpflock’, *berand* ‘Zeltstange’, oder die Benennungen für Schmiedewerkzeuge. Bei anderen sind irgendwelche Motive aber nicht auszumachen, z. B. bei *bradi* ‘Kanne’, *budžo* ‘Bündel’, *čenja* ‘Ohrringe’, *haravli* ‘Sack’, *koč* ‘Knöchel (Knie)’, *khak* ‘Achsel’, *xarno* ‘klein’, *ličhar-* ‘quetschen’, *puršuk-a* ‘Krümel’, *sosten* ‘Unterhose’, *thavd-el* ‘tropfen, fließen’, *umblal* ‘Holzscheit’, *urjal* ‘fliegen’, und vor allem *ilo* ‘Herz’, für das (*o*)*gji* ‘Seele, Bauch’ eintritt – ein keineswegs trivialer Wandel. Geschwunden ist in ND auch *murdar-* ‘töten’, aber dafür tritt *mar-* ein, dass teilweise noch ‘schlagen’ bedeutet. Für letztere Bedeutung steht dann *kur-* bereit, während für ‘töten’ von *mer-* ‘sterben’ ein Kausativum *mer-dar-* u. ä. gebildet wird. Erstaunlich ist das Schwinden von *inklj-* ‘hinausgehen’ und *inkal-* ‘herausnehmen’, die allerdings auch in NOD und bereits in ZD fehlen. Hier gibt es aber Ersatz durch *džal avri* bzw. *lel avri*, die offenbar durch transparente Bildungen in den Kontaktssprachen (mit slav. *vy-* bzw. *iz-* und dt. *hinaus-*) ausgelöst wurden. Eine Weitergabe von Verlusten müssen wir hier nicht annehmen, weil vermutlich zuerst die Substitute aufgekommen sind, ehe die Erbwörter obsolet wurden. Auch von den iran./armen. Entlehnungen fehlt manches wichtige Wort, aber hier können wir nicht sicher sein, ob sie überhaupt von allen Gruppen entlehnt wurden; es fehlen zum Beispiel *patjar-* ‘einpacken’, *rikono* ‘Welpe’, *umal/alindž* ‘Feld, Wiese’, obwohl gerade für letzteren Begriff, sei es das freie Feld oder das Ackerfeld, ein älteres Wort fehlt (vgl. oben *felda*). Sehr oft betrifft der Schwund die ganze Gruppe ND, aber in einigen Fällen hat das Etymon in den Iberischen Dialekten überlebt, eher selten aber in den Skand. Dialekten oder im Finn. Romani. In dem Fall könnte man annehmen, dass die betroffenen Etyma auch in unseren beiden Dialekten einmal vorhanden waren, aber ganz zwingend ist dieser Schluss nicht, weil im südlichen Teil von

ND (Iber., Piem. Sinti) und sogar im Finn. Kontakte mit Dialekten anderer Gruppen zur Aufnahme solcher Wörter geführt haben können.

Begrenzter ist die Zahl der Wörter, die in einem der beiden Dialekte geschwunden, in dem anderen erhalten sind (so in Welsh etwa 35, die in Sinti fehlen – eine doch beachtliche Zahl). Ein interessanter Fall ist *than* ‘Ort, Platz’, das in Brit., Skand. und Finn. überlebt hat, aber anscheinend nirgends in Sinti, zumindest nicht selbstständig.⁹ Hier ist dieses *than* offenbar zunächst durch *šteto* ersetzt worden, und danach *šteto* durch *placa* (s. o., auch Fn. 4). Auch im Falle unterschiedlicher Bewahrung von Lexemen fehlen uns klare Kriterien zu bestimmen, wie alt diese Unterschiede sind. Es spricht aber nichts dafür, dass sich die Unterschiede erst in Mitteleuropa, einer Art *in situ*, herausgebildet haben, auch schon weil vermutlich gar nicht genug Zeit für die Wandel zur Verfügung stand. Umgekehrt haben die beiden Dialekte etwa 230 Etyma gemeinsam erhalten. Alles zusammengenommen spricht, vorläufig geurteilt, nicht für eine frühe radikale Trennung, aber eben auch nicht für eine gemeinsame Geschichte bis Mitteleuropa. Als letztes sollen die Etyma untersucht werden, die sich in den beiden Dialekten lautlich wesentlich verändert haben, und zwar einmal die, die etwa gleiche Wandel durchlaufen haben, und die, die deutlich unterschiedliche Ergebnisse gezeigt haben.

4 Innovationen mit gleichem Wandel in beiden Dialekten

Die Zahl dieser Fälle ist nicht sehr groß, aber sie sind doch aufschlussreich.

- In *bis(t)er-*, AR. *biser-* ‘vergessen’ ist auffällig der partielle Schwund des [t], obwohl ja Cluster wie [st] im Romani durchaus geläufig sind und normalerweise nicht abgebaut werden. Im übrigen ND ist diese Reduktion nicht erfolgt.
- Bei *čamjer(v)-* ‘kauen’ liegt die Gemeinsamkeit in der Bildung eines erweiterten Verbs, während sonst älteres *čamb-el* vorliegt. Auch Skandinavisch und Finnisch gehen hier nicht mit.
- Ganz ähnlich ist das Verhältnis von *čumer(v)-* ‘küssen’ zu ursprünglichem *čumid-* sonst in ND, mit vereinfachten Formen allenfalls noch in Skandinavisch und Finnisch
- Das Verb Welsh *durker-*, Angloromani *durik-* bzw. Sinti *durkev- < dori-ker-* ‘wahrsagen’ ist im Romani ohnehin recht isoliert (sonst fast nur ähnlich Teile von Südvlach), also doch eine beachtliche Gemeinsamkeit unserer beiden Dialekte.

9 Vgl. aber Sinti *ketane/ketene* ‘zusammen’ < jekhe thane.

- Auch assimiliert *žužo* (teils ND, dazu NOD) bzw. *džu(d)žo* (Welsh), gegen *šužo* < **sudhya-* (SB, SZD) bzw. bzw. *užo* (Vlach) finden wir nur in ND.
- In *graj*, obl. *grajes*, kontrahiert *gres* 'Pferd' (ND und NOD) scheint die Ausgangsform in *gra*, obl. *graj-es* zu liegen, das heißt [j] ist vom Obliquus auf den Nom. übertragen worden – auch wieder eine ungewöhnliche, idiosynkratische Entwicklung. *gra* kommt aber auch in SZD vor.
- Bei *hajav/hajev* 'verstehen' < **haljav* in fast ganz ND fällt die aktive Form auf, obwohl pass. (*a)halj-ol* ursprünglich zu sein scheint (Eigenentwicklung in Vlach mit aktivem *haljar-* bzw. unerklärtem *hatjar-*).¹⁰
- Bei *kirivo* 'Gevatter' gegen sonst überwiegend *kirvo* ist nicht sicher, welches die ältere Form ist, aber ND und NOD gehen wieder durch diese Form zusammen, die wohl die ältere ist, weil es kein Motiv für späten *i*-Einschub gibt und Reste von *kirivo* auch im Süden vorkommen. Die ältere Form scheint also nach Norden mitgebracht.
- Bei *urjav* 'anziehen' setzen sich unsere beiden Dialekte deutlich mit *riv-* von der älteren Form ab, denn es handelt sich ja nicht nur um den Verlust des Anlautvokals. Der gemeinsame Wandel muss also schon früher eingeleitet worden sein. *ryv-* in NOD Nordpolnisch kann vom Kontakt mit dem Sinti stammen.
- *duru(v)li* 'Fass', allgemein selten, hat die Form *tureli* nur in den beiden Dialekten, gegen Finn. *dunnuri/dulluris* und Piem. *duruli*, sollte also auch gemeinsamer Entstehung sein.
- *raker-* 'sprechen' in ND und NOD < *vaker-* sonst scheint schon früher entstanden zu sein, denn im Süden gibt es bei Paspati (1870) neben *vaker-* auch *vraker-*, das also durch Antizipation von [r] und weiter durch Reduktion eines ungewöhnlichen Anlauts zu *raker-* geworden wäre. Es ist nicht vorstellbar, wie sich eine späte Innovation (in zwei Schritten!) im Norden ausgebreitet haben sollte.

Man könnte einwenden, dass dies eher wenig Evidenz für gemeinsame Entwicklung ist, aber sie ist eben doch nicht wegzulassen. Wichtiger ist aber das folgende Argument: Wenn wir in Rechnung stellen, dass Brit. Romani kaum Germanismen aufweist, also im deutschen Raum nicht (mehr) eine enge Gemeinschaft mit Sinti gebildet haben kann, dann können diese Entwicklungen nicht erst im mitteleuropäischen Raum erfolgt sein. Es liegt doch außerhalb jeder Vorstellung, dass hier Diffusionen entweder von Deutschland nach England oder gar umgekehrt von dort auf das Festland erfolgt wären. So sind die Wandel zwingend früher anzusetzen.

¹⁰ Wie sich grundsätzlich einheitliche Dialekte in wichtigen Details unterscheiden können, zeigt Kalderaš in Nordserbien. 2. u. 3.PL.PRÄT haben in einer Variante traditionell *mard-en* u. *mard-e*, in der anderen aber zusammengefallen in *mard-e*. Die 1.Sg.pass. lautet in der einen *mard-iv-av*, in der anderen *mard-j-av* (Boretzky 1994: 70, 79), Südvlach teilweise *-jov*, alle wohl spät aus *-jov-av* kontrahiert.

Hinzu kommt ein weiterer Wandelkomplex, der hier relevant wird, der Schwund der Anlautvokale (s. Boretzky 2012: Karten S. 122 u. 208). Oberflächlich betrachtet könnte es so aussehen, als ob unbetontes *a*- und *u*- wie auch *i*- in *ivend* ‘Winter’ und *o*- in *ogi* ‘Seele’ erst im Norden, in ND, NOD und teilweise NZD, geschwunden wären. Dem steht aber entgegen, dass auch der isolierte Dialekt von Ajios Athanasios (SBI) (Schidou 2011) bei Thessaloniki denselben Wandel für *a*- und *u*- erkennen lässt: *rakh-* < *arakh-* ‘schützen’, *s-al* < *as-al* ‘lachen’, *kuš-* < *akuš-* ‘fluchen’, und *yrv-* < **uyrav-* < *urjav-* ‘anziehen’, *čhar-* < *učhar-* ‘bedecken’, *šan-* < *ušan-* ‘kneten’, vergleichbare Prozesse also durchaus schon früh in Südosteuropa eingesetzt haben können. Bei *vend* geht ND überdies mit dem Süden von SBI zusammen, bei *gi* (*zi*) teilweise mit SBI und durchweg mit dem Vlach. Zudem ist zu bedenken, dass in nördlichen Dialekten eine Verlagerung des Akzents auf die erste Silbe läuft, ein Vokalschwund also früher, bei noch unbetontem Anlautvokal, anzusetzen wäre (s. Iglă 2005: 25). Schließlich die Frage, wo genau der Schwund, wenn im Norden, begonnen haben sollte, in ND Sinti oder in NOD oder gar in Brit.? Vorzuweisen wäre *ein* Dialektraum, in dem alle Wandelfälle eingesetzt haben können, keine wechselnden Ursprungsgebiete. Es ist aber zweifelhaft, dass es diesen Raum im Norden gegeben hat, einmal angesichts der vorauszusetzenden geringen Siedlungsdichte der Roma und weiter wegen des Fehlens fest etablierter Kontaktwege zwischen den Gruppen und wie auch des Fehlens von Dialekthierarchien. Es deutet nichts darauf hin, dass der Ausgangspunkt etwa in den NOD gelegen haben könnte, sofern sie überhaupt an dem Phänomen beteiligt sind. Wie sollte es ein Wandel dann bis nach England oder Finnland geschafft haben? So ist damit zu rechnen, dass der Schwund von (unbetonten) Vokalen im Anlaut – ein universal präferierter Wandel – schon im Süden eingesetzt hat, wobei die Details außerordentlich komplex gewesen sein müssen und daher nicht mehr im Detail rekonstruierbar sind. Für eine gewisse Zeit müssen wir im Süden eine Mobilität mit vielen wechselnden Kontakten und Einflussmöglichkeiten voraussetzen.

5 Die British und Sinti differenzierenden Wandelfälle

Die Zahl dieser Fälle ist durchaus größer, aber einheitliche Linien sind nicht zu erkennen. Bei einigen Fällen mag es sich um späte Wandel *in situ* handeln, bei anderen um viel frühere Vorgänge. Formen wie Welsh *kol* gegen Sinti *kolin* ‘Brust’, *kočo* gegen *kočik* ‘Knopf’, *kri* gegen *kiri* ‘Ameise’, *raxuni* gegen *raxemi* ‘Fetzen’, *xelia* (< **xer(e)* *lj-a?*) gegen *hiril-a* ‘Erbsen’, *zeravo* gegen *zervo* ‘links’, *para* gegen *parav-* ‘wechseln’, *paver-* gegen *praver-* ‘ernähren’ wirken wie späte Verballhornungen, vielleicht auch

durch englische Phonetik (Charakter des *r*) beeinflusst, aber anderes wirkt systematischer. So haben wir wieder Palatalisierung in Welsh *čiox* < *čiråx gegen Sinti *tirax*, *poci* < *poćisi gegen *potisa* ‘Tasche’, *lacer-* gegen *ladini* < latedini ‘treten/Fußtritt’, wohl ein älterer Unterschied. Unterschiedliche Metathese plus Assimilation hat stattgefunden in Sinti *nijal* < nilaj, aber Welsh *lilaj* < nilaj. Welsh *kuš-* gegen Sinti *koš-* ‘schimpfen’, *kerko* gegen *kirko* ‘bitter’ oder *ked-* gegen *ken-* ‘sammeln’ wirken vereinzelt, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass sich dahinter altindische Ablautunterschiede verbergen. Alt sollte aber Welsh *v*-Vorschlag in *vånger* ‘Kohle’, *vangušter* ‘Ring’ und *vangušt* ‘Finger’ gegen Sinti *anger*, *nguštrin* u. *gušto* sein, vergleichbar eben *v*-Vorschlag in *anřo* ‘Ei’ bzw. *ařo* ‘Mehl’ in verschiedenen Dialekten, für unsere beiden Dialekte speziell in Welsh das Paar *jaro/varo*, aber in Sinti *jaro/jaro*. Man denke auch an den Gräzismus *valin* ‘Glas’ (s. o.). Sehr verschieden und nicht auseinander ableitbar sind auch Welsh *tard-*, aber Sinti *cird-* ‘ziehen’ oder Welsh *azer-*, aber Sinti *had-* ‘heben’, die beide auf *vazd-* zurückgehen. In Sinti werden wie überall im Romani unterschieden *liger-* (neben *hidž(ev)-*, das zu NOD, NZD *lidž-al* und SZD *ledž-el* gehört!) ‘führen, bringen’ und *riker(v)-* ‘halten’, aber in Welsh und Angloromani sind beide in *riger-* zusammengefallen.¹¹ All das kann nicht spät direkt nebeneinander passiert sein. Bei ‘greifen’ liegt in ganz ND u. NOD dasselbe Element *uxtil-* zu Grunde, aber die lautliche Reduktion ist verschieden verlaufen: in Sinti über *xtil-* > *štil-/stil-*, in Brit. aber mit Wegfall der ersten Silbe zu *til-* (*thil-*). Da *st-* im Anlaut überall toleriert wird, kann in Brit. die Entwicklung also nicht über *xtil-* gelaufen sein. Hier hebt sich Brit. von allen anderen nördlichen Dialekten ab! Die Lexik scheint also das bei den grammatischen Elementen gewonnene Bild eher zu bestätigen, zumindest nicht in Frage zu stellen.

Gemeinsame Neuerungen wie auch Differenzierungen weisen in dieselbe Richtung, nämlich Wandel vor dem Erreichen mitteleuropäischen Gebiets. Die Wahrheit liegt in der Mitte: keine Differenzierung erst in deutschem Raum, aber auch nicht schon ganz früh auf dem südlichen Balkan, zumindest nicht in der Masse. Einzelnes kann sehr alt sein.

11 Im deutschen Sinti scheint die eigentlich Form *hidž(er)-* zu sein, während *liger-* vielleicht im Kontakt mit NOD hereingekommen ist. Piem. weist *indž-*, *indžar-* u. *idžar-* auf, offenbar auf *i(n)ger-* (vgl. Vlach) zurückgehend, aber *indž-* scheint eine Kontamination von *hidž-* und *indžar-* < *inger-* zu sein. Ob es im Sinti Idioklekt gibt, die *hidž-* und *liger-* nebeneinander gebrauchen, muss offen bleiben, obwohl Bischoff (1827) unter ‘tragen’ beide verzeichnet.

Literatur

- Bischoff, Ferdinand (1827): *Deutsch-zigeunerisches Wörterbuch*. Ilmenau.
- Bloch, Jules. 1932. Quelques formes verbales du Nuri. *Journal of the Gypsy Lore Society*, Third Series 11: 30-32.
- Boretzky, Norbert. 1994. *Romani. Grammatik des Kalderaš mit Texten und Glossar*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Boretzky, Norbert. 2003. *Die Vlachdialekte des Romani. Strukturen – Sprachgeschichte – Verwandtschaftsverhältnisse*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Boretzky, Norbert /Igla, Birgit. 2004. *Kommentierter Dialektatlas des Romani*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Boretzky, Norbert / Cech, Petra / Igla, Birgit. 2008. *Die südbalkanischen Dialekte des Romani (SBI) und ihre innere Gliederung*. Graz: GLM.
- Boretzky, Norbert. 2012. *Studien zum Wortschatz des Romani*. Veliko Tărnovo: Faber.
- Boretzky, Norbert. 2013. Lexikalische Slavismen im Romani. *Zeitschrift für Balkanologie* 49/1: 10-46.
- Boretzky, Norbert. 2015. *Untersuchungen zur Lexik des Romani. Ergänzungen*. Graz: GLM.
- Heuvel, Wilco van den / Urech, Evelyne. 2014. Romani dialect variation in Transilvania: Migration and diffusion. *Romani Studies* 24/1: 43-70.
- Igla, Birgit (2005): Sinti-Manuš: Aspects of classification. In: Schrammel, Barbara / Halwachs, Dieter W. / Ambrosch, Gerd. Hrsg. *General and Applied Romani Linguistics*. München: Lincom: 23-42.
- Matras, Yaron. 2002. *Romani. A Linguistic Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Matras, Yaron. 2005. The classification of Romani dialects: A geographic-historical perspective. In: Schrammel, Barbara / Halwachs, Dieter W. / Ambrosch, Gerd. Hrsg. *General and Applied Romani Linguistics*. München: Lincom: 7-22.
- Matras, Yaron. 2013. Mapping the Romani dialects of Romania. *Romani Studies* 23/2: 199-244.
- Paspati, Alexandre G. 1870/1973. *Études sur les Tchinghanés ou Bohémiens de l' Empire Ottoman*. Constantinopel: Koromela.
- Pobožniak, Tadeusz. 1964. *Grammar of the Lovari dialect*. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Sampson, John. 1926/1968. *The Dialects of the Gypsies of Wales*. Oxford: Clarendon Press.
- Sechidou, Irene. 2011. *Balkan Romani: The Dialect of Ajios Athanasios*. Greece. München: Lincom.

The Romani oikonym *Požom(b)a* ‘Bratislava’

1 Introduction¹

Although the oikonym *Požom(b)a*, a Romani name of the Slovakia’s capital Bratislava, is clearly related to the Hungarian name of the city, *Pozsony*, its precise origin is somewhat obscure. In this paper I will argue that the Romani oikonym *Požom(b)a* ‘Bratislava’ is a loanword of the dialectal Hungarian inessive-illative case form *Pozsomba* ‘in/to Bratislava’ and describe the oikonym’s dialectological and historical linguistic position among the various Romani names of the city.

The cross-dialectal data on the oikonym *Požom(b)a* and the other Romani names of Bratislava have been acquired through linguistic fieldwork in Romani communities of East Central Europe for the planned *Linguistic Atlas of Central Romani* (cf. Elšík *et al.*, in prep.). The major tool of the project was the *Linguistic Questionnaire for the Documentation of Central European Romani*, a structured list of 1,500 sentences in several language mutations used for reverse translation elicitation, i.e. elicitation of translations from a contact language into the Romani variety to be documented. The name of Bratislava occurs in five different sentences in the Slovak and Czech mutations of the questionnaire, in three different sentences in the Hungarian mutation, and in a single sentence in the Polish, Ukrainian, and Russian mutations.² We have acquired data for the name of Bratislava in 300 local varieties of Romani: 290 varieties of Central Romani spoken in four different countries³ and ten varieties of Slovakia’s Lovari-type (i.e. Northwestern Vlax) Romani. The oikonym *Požom(b)a* has been attested in 49 of the documented local varieties (see Appendix for details). Altogether

1 The work on this paper was supported by the project Centrum pro výzkum kolektivní paměti (UNCE 204007) carried out at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague.

2 Names of towns were culturally transposed rather than translated in the different mutations of the questionnaire. The German and Slovene mutations of the questionnaire, which were used for fieldwork in the Burgenland region of Austria and in the Prekmurje region of Slovenia, unfortunately contain no instance of the name of Bratislava.

3 248 varieties in Slovakia, 27 in Hungary, ten in Poland, and five in Ukraine.

we have elicited 1,129 tokens of the name of Bratislava during the project, including 202 tokens of the oikonym *Požom(b)a*.

The structure of the paper is as follows: Section 2 presents, as a background to further discussion, a brief outline of the oikonymy of Bratislava in the context of the city’s multilingual history. In Section 3, I will present my hypothesis regarding the origin of the Romani oikonym *Požom(b)a* and some arguments in favour of the hypothesis. Section 4 describes the cross-dialectal distribution of the oikonym *Požom(b)a* and its variants within Romani and explores its dialectological and historical linguistic position among the various Romani names of the city. Section 5 concludes.

2 Names of Bratislava in contact languages

Bratislava, a city in southwestern Slovakia, on the border with Hungary and Austria, has a long multilingual history (e.g. Salner 2001) and has carried a variety of names in different languages (cf. Stanislav 2004/1948, Žigo 2002):

- (1) Bratislava castle was an important center of the Slavonic state of Great Moravia (ca. 833-907 CE). Its Slavonic name has been reconstructed as **Braslavjí gradū*, i.e. ‘Braslav’s castle’ (Žigo 2002), on the basis of German versions of the name such as the semicalqued compound *Brezalauspurc* in the first written reference to the castle in 907 CE. In 1837, having misanalysed a version of the early medieval name of Bratislava as being derived from the name of the 11th-century Czech duke Bretislaus (*Břetislav*), the Slavist and Slovak national revivalist Pavel Jozef Šafárik created the artificial neologism *Břetislav* to name the city in Slovak. The Slovak oikonym *Bratislava*, a version of Šafárik’s neologism from 1843, became the official name of Bratislava in March 1919, soon after the annexation of the city by Czechoslovak Legions and its incorporation into the newly formed Czechoslovakia (e.g. van Duin 2009: xi), though ethnic Slovaks became the dominant group in the city only after WWII (e.g. Salner 2001: 236-237, 241). The official Slovak name is the source of the present-day official names of the city in all other languages with the exception of Hungarian.
- (2) By 1000 CE, the region around the Bratislava castle was incorporated into Hungary as an administrative county and remained part of the country until 1919. The city of Bratislava was the capital of the kingdom in 1536-1783. The etymology of the Hungarian name of Bratislava, *Pozsony* (or dialectal *Pozson*), first attested as *Poson* in 1001, is disputed, though several Slavic etymologies have been suggested, e.g. **Božanjb* (Stanislav 2004 [1948]) or **Pošenjb* (Žigo 2002).

The oikonym continues to be used in the Hungarian language, both in Hungary and by Hungarian speakers in the neighbouring countries, until the present day. The Hungarian name was also borrowed into Polish (as *Pożoní*), Romanian (as *Pojon*), and Serbian/Croatian (as *Пожун / Požun*); however, these oikonyms of Hungarian origin are presently only used in historical or unofficial contexts.

- (3) German speakers were the dominant group in Bratislava since the 13th century until 1890's (e.g. Salner 2001: 236-237, 241). The early medieval German oikonym (*Brezalauspurc* etc.) has developed into its modern German form, *Preßburg*, which was the official name of the city until 1919. The German oikonym is also the source of the historical, pre-1919, Slovak name, *Prešporek* or *Prešporok*, and has been borrowed into several European languages; these oikonyms of German origin are presently only used in historical contexts.

3 The origin of *Požom(b)a*

Although the Romani oikonym *Požom(b)a* ‘Bratislava’ is clearly diachronically related to the Hungarian name of the city, it is not a *regular* loanword of the Hungarian oikonym in that it does not derive from its base, i.e. nominative form. The actual source of the Romani oikonym must be sought elsewhere.

Of the two attested variants of this Romani oikonym, *Požomba* [‘požomba’] and *Požoma* [‘požoma’], the former represents a better clue to the oikonym’s origin than the latter. The variant *Požomba* contains the final segment /ba/, which is identical to the dialectal Hungarian inessive-illative suffix *-ba*,⁴ and I suggest that the Romani oikonym is, indeed, a loanword of the dialectal inessive-illative case form *Pozsom-ba* [‘požomba’] ‘in/to Bratislava’ of the Hungarian oikonym *Pozsony* or *Pozson*. This dialectal case form, which has developed from *Pozsony-ba* [‘požonba’] or *Pozson-ba* [‘požonba’] through place-of-articulation regressive assimilation of the nasal,⁵ is well attested in Hungarian dialects, including those spoken in the vicinity of the city of Bratislava (e.g. Menyhárt

4 In Standard Hungarian (e.g. Majtinskaja 1955: 137-138, Kenesei et al. 1998: 236), the inessive in *-ban ~ -ben* is the stative interior case ('in, inside of') and the illative in *-ba ~ -be* is the directive interior case ('into'). In all Hungarian dialects and in colloquial Hungarian, the inessive has merged with the illative (e.g. Horger 1934: 125, Tompa 1968: 194, Imre 1971: 316), and so most varieties of Hungarian possess a syncretic inessive-illative case in *-ba ~ -be*, i.e. a stative-directive interior case ('in, inside of, into').

5 While the place-of-articulation regressive assimilation of an underlying alveolar nasal, e.g. /n+b/ > [mb], is general in Hungarian, an analogical assimilation of an underlying palatal nasal, e.g. /ny+b/ > [mb], is dialectally restricted (Siptár/Törkenczy 2000: 211).

2006: 60). If the proposed etymological hypothesis is correct, the variant *Požomba* must be the original form, while the variant *Požoma* must have developed from it through a reduction of the homorganic consonant cluster, i.e. [mb > m].

The Romani form *Požom(b)a* is, unlike its Hungarian source form, the base form of the oikonym: synchronically, the final /a/ in the Romani form is analysed as the nominative singular suffix -a and the oikonym is integrated into the xenoclitic feminine class of nouns⁶ and inflected accordingly, e.g. the locative *Požom(b)-a-te* [-OBL.SG.F-LOC] ‘in/to Bratislava’ or the (Romani) illative⁷ *Požom(b)-u* [-ILL] ‘to Bratislava’. The hypothesis presented above thus assumes that the speakers of Romani have borrowed a case-inflected form from their L2 and reanalyzed it as the base form in Romani.

While the perfect phonological match between Romani *Požomba* and the dialectal Hungarian inessive-illative *Pozsomba* is suggestive by itself, there is, importantly, another kind of evidence in favour of the hypothesis: the borrowing and reanalysis of Hungarian inessive-illative forms is attested in a number of other Romani oikonyms of southwestern Slovakia. For example, the Romani oikonyms *Abaňiba* ‘Velké Blahovo’, *Diákiba* ‘Diakovce’, *Királiba* ‘Horná Králová’, *Kirájfaluiba* ‘Kráľová nad Váhom’, *Komjátiba* ‘Komjatice’, and *Taroškediba* ‘Tvrdošovce’ are loanwords of *Abany-iba*, *Diáki-ba*, *Királi-ba*, *Királyfalu-ba*, *Komját-iba*, and *Taroskegy-iba*, respectively, which are the (dialectal) inessive-illative case forms of the Hungarian oikonyms *Abany*, *Diáki*, *Királi*, *Királyfalu*, *Komját*, and *Taroskegy*, respectively.⁸

Now, the reanalysis of the Hungarian inessive-illative forms of oikonyms as Romani nominatives has cross-linguistic parallels, for which typological explanations have been suggested. There are a number of examples from different languages of diachronic developments whereby spatial case forms of nouns referring to places, including oikonyms and other geographical names, are reanalyzed as base forms (e.g. Mańczak 1958, Tiersma 1982: 843-844, Koch 1995: 48). Tiersma (1982) considers such developments to be evidence of unmarkedness of spatial cases of nouns referring to places, an instance of a “local” markedness pattern, i.e. principled and semantically motivated exception to a general markedness pattern. While Tiersma is aware of the role of token frequency in markedness patterns, Koch (1995: 46-57) states explicitly that the reanalysis of “locally” unmarked values of a grammatical category as

6 This is the most common pattern of morphological integration of borrowed oikonyms in Romani of Slovakia.

7 The Romani illative case in -u is a regular means of encoding spatial direction with oikonyms (e.g. *Braťislav-u* ‘to Bratislava’) in some Central Romani varieties of Czechia, western and south-central Slovakia, and northern Hungary. In some of these varieties, the Romani illative is also attested with other nouns referring to places (e.g. Csobánka Romani *ésak-u* ‘to the north’ or *kilfeld-u* ‘abroad, to a foreign country’). Its origin remains unclear.

8 The Hungarian forms given above are dialectal, cf. Standard Hungarian *Abony*, *Deáki*, *Királyi*, *Királyfa* (official *Vágkirályfa*), *Komját*, and *Tardoskedd*, respectively.

zero-marked values is economically motivated. As for nouns referring to places, this amounts to saying that they are predisposed to represent reference points in spatial relations, and so likely to occur in spatial constructions (cf. Creissels 2008: 611).

Thus, typological research suggests that the reanalysis of Hungarian inessive-illative case forms of oikonyms as nominative forms should result from their high token frequency relative to the frequency of the other case forms. This prediction seems to be borne out by the available data. Consider Table 1, which shows the absolute and relative frequencies of all Standard Hungarian case forms of the oikonym *Pozsony* based on Google searches:⁹

Table 1: Frequency of Standard Hungarian case forms of *Pozsony* ‘Bratislava’

Case	Case Form	Frequency	
Nominative	<i>Pozsony</i>	575,000	54.47 %
Inessive	<i>Pozsonyban</i>	314,000	29.75 %
Illative	<i>Pozsonyba</i>	66,200	6.27 %
Eitative	<i>Pozsonyból</i>	35,100	3.33 %
Accusative	<i>Pozsonyt</i>	16,200	1.53 %
Ablative	<i>Pozsonytól</i>	14,600	1.38 %
Terminative	<i>Pozsonyig</i>	7,560	0.72 %
Adessive	<i>Pozsonynál</i>	6,090	0.58 %
Dative	<i>Pozsonynak</i>	5,100	0.48 %
Superessive	<i>Pozsonyon</i>	4,140	0.39 %
Allative	<i>Pozsonyhoz</i>	3,640	0.34 %
Instrumental	<i>Pozsonnyal</i>	3,467	0.33 %
Sublative	<i>Pozsonyra</i>	1,980	0.19 %
Delative	<i>Pozsonyról</i>	1,710	0.16 %
Causal-final	<i>Pozsonyért</i>	615	0.06 %
Essive-formal	<i>Pozsonyként</i>	171	0.02 %
Translative	<i>Pozsonnyá</i>	8	0.00 %
Total		1,055,581	100.00 %

⁹ The searches for the forms, entered within quotation marks, were made on 18 December 2015.

The inessive and the illative forms are the second and the third most frequent, respectively, making up over a third (36.02 %) of all tokens of the oikonym if counted together to account for the inessive-illative syncretism in most varieties of Hungarian. Although the nominative is the most frequent case form, making up over a half (54.47 %) of all tokens, it must be borne in mind that it frequently occurs in its extra-syntactic, naming (i.e. quotation and designation, cf. Creissels 2009: 446), function on the net, and so it is likely that its relative frequency in spoken language is much lower. The remaining 14 case forms counted together amount to less than a tenth (9,51 %) of all tokens of the oikonym.

Given its very high frequency relative to the frequency of the other case forms, the inessive-illative form of the Hungarian oikonym *Pozsony* is a perfect candidate for a reanalysis as a base form. However, we do not find such reanalysis intralingually, i.e. within Hungarian, but interlingually, i.e. in a language contact situation. The Romani-Hungarian bilinguals were, presumably, most frequently exposed to the inessive-illative form of the Hungarian oikonym, and so they adopted precisely this form as the nominative of the Romani oikonym. Again, there are cross-linguistic parallels to such a development in language contact situations: Tiersma (1982: 839–841), for example, discusses numerous instances of borrowing of “locally” unmarked, i.e. frequent, plural noun forms in an L2 as base (i.e. singular or number-indifferent) forms in an L1.

Interestingly, all Romani varieties that possess the reanalyzed oikonym and whose speakers continue to be bilingual in Hungarian have developed the phonologically reduced variant of the oikonym (see Appendix for details). This means that these Romani-Hungarian bilinguals now have two synchronically distinct forms in their languages: the inessive-illative *Pozsomba* in their Hungarian and the reanalyzed and reduced nominative *Požoma* in their Romani. The functional split appears to have licenced the phonological split.

4 Names of Bratislava in Romani

The oikonym *Požom(b)a* is only one of several different Romani names of Bratislava. In this section I will describe the cross-dialectal distribution of this oikonym within Romani and explore its historical linguistic position among the various Romani names of the city.

In principle, two historical types of Romani oikonyms may be distinguished: those that are regular (i.e. nominative-based) loanwords of the name of the locality in a current contact language of the Romani variety in question and those that have a

different origin.¹⁰ For the lack of better terms, I will call the former *modern* oikonyms and the latter *traditional* oikonyms. Most Romani varieties of East Central Europe use a modern name of Bratislava, i.e. a regular loanword of the official name of the city in their current contact language:

- (1) The modern oikonym *Bratislava* [bracislava], a loanword of the present-day official Slovak name of the city, *Bratislava* [bracislava], is used in most Romani varieties of Slovakia. This oikonym exists in all documented Central Romani varieties spoken in the middle and east of the country as well as in some spoken in the western part of the country. Importantly, this loanword from Slovak, the administrative language of the country, is also employed in most Central Romani varieties of Hungarian bilinguals. As for Lovari-type Romani, the oikonym is only attested in the speech of younger speakers in varieties spoken in eastern Slovakia.
- (2) The Central Romani varieties of Poland and Ukraine, which use *Bratislava* [brat̪isw'ava], *Bratislava* [brat̪isl'ava], or *Brat'islava* [brat̪'isl'ava], have borrowed these modern oikonyms of ultimately Slovak origin via Polish (*Bratysława*), Ukrainian (*Братислава*), Rusyn (*Братислава*), or Russian (*Братислава*).¹¹
- (3) The modern oikonyms *Požoň* ['pozɔŋ], *Požoňa* ['pozɔna], or *Požoňi* ['pozɔni], all of which are regular loanwords of Hungarian *Pozsony* ['pozɔŋ], are used in all documented Central Romani varieties of Hungary¹² with the exception of a single local variety on the border with Slovakia. The unadapted, feminine or masculine, variant *Požoň* occurs in the Vend varieties of southwestern and western Hungary;¹³ the adapted feminine variant *Požoň-a* in the Central Romani varieties of the Pest and Nógrád regions of northern Hungary; and the adapted masculine variant *Požoň-i* is typical of the Central Romani variety of Versend in southern Hungary. The adapted feminine variant is also attested in

¹⁰ In the Romani variety of Dunajská Lužná (Žitný ostrov dialect region, South Central dialect group), a village just outside of Bratislava, the city is always referred to simply as *fóro*, i.e. ‘town, city’, i.e. no proper oikonym is used.

¹¹ We have no data on how Bratislava is referred to in the Central Romani varieties of Slovenia and Austria (see Section 1) or how it was referred to in the traditional Czech Romani, i.e. in the pre-war Central Romani varieties of present-day Czechia.

¹² In addition, the modern oikonym *Požoňa* is attested in a single local variety in Slovakia, viz. Pašková (Eastern Gemer dialect region, North Central dialect group).

¹³ The lack of overt adaptation of nominal loanwords is not restricted to oikonyms in Vend Romani (cf. Bodnárová 2014).

teaching materials on Hungarian Lovari, in the orthographical form *Pozhonya* (Lovári nyelv 2014: 11).

Now, in addition to the modern Romani names of Bratislava, there are two traditional names, which are loanwords from a historical contact language and/or irregular loanwords:

- (4) The traditional oikonym *Požono* ['pozono], a regular loanword of the historical and colloquial Romanian oikonym *Pojon* ['pozon], itself a loanword from Hungarian (see Section 2), is attested in all documented Lovari-type Romani local varieties of Slovakia, though it is being replaced by a modern oikonym in the varieties of eastern Slovakia. Romanian, the source of the loanword, represents a historical contact language for Lovari-type Romani of Slovakia.¹⁴
- (5) The traditional oikonym *Požom(b)a*, an irregular loanword from Hungarian (see Section 3 for details), is used in numerous Central Romani varieties of western and south-central Slovakia and also attested in a single local variety in Hungary, just on the border with Slovakia (see Appendix). The conservative variant *Požomba* ['pozomba] is attested in several Central Romani varieties of northwestern Slovakia, in the Kysuce and Turiec regions. The innovative variant *Požoma* ['pozoma] is used in most documented Central Romani varieties of southwestern Slovakia and also attested in a few Central Romani varieties of the historical Nógrád county.¹⁵ Though speakers of some of the Romani varieties that possess the oikonym are bilingual in the source language of the loanword, for most of the Romani varieties Hungarian is only a historical contact language. (See Appendix for details on the geographical distribution of the oikonym and its variants.)

Each of the traditional Romani names of Bratislava is thus associated with a different dialectal and subethnic group: *Požono* is the traditional Lovari-type Romani oikonym and *Požom(b)a* is the traditional Central Romani oikonym. Note that the attribute *traditional* as used here is not meant to imply that these oikonyms must have existed in all varieties of a given dialect group in the past.

14 Alternatively, the Lovari-type Romani oikonym may be a direct loanword of the Hungarian dialectal variant *Pozson*.

15 A native speaker of the Romani variety of Trenč (Lower Nógrád dialect region, South Central dialect group) uses the oikonym *Požoma* to refer to Prague, the capital of the former Czechoslovakia, rather than to Bratislava, which she refers to by the modern oikonym *Braťislava*. This confusion indicates the recessive character of the traditional oikonym in Central Romani of the Nógrád region.

Both traditional oikonyms are all but restricted to Romani varieties of Slovakia, the country where the designated city is located; one may refer to this factor, figuratively, as administrative proximity. Within Slovakia, especially in case of Central Romani, geographical distance between Bratislava and the locality where the variety is spoken appears to be a relevant factor: the smaller the distance, the greater the likelihood that the variety possesses the traditional oikonym. In addition, geographical distance also plays a role in the distribution of the two variants of the traditional Central Romani oikonym: the varieties that have developed the innovative variant *Požoma* are, generally speaking, spoken closer to the city of Bratislava than those that retain the conservative variant *Požomba*.

Both of these factors, the administrative and the geographical proximity of a variety to Bratislava, presumably correlate with a higher frequency of reference to the city in the variety: other things being equal, there is a greater chance that one will refer to a place in his or her own country, especially if it is the country's capital, than to a place abroad; and a greater chance that one will refer to a nearby place than to a distant one. The higher frequency of reference, in turn, motivates both the lexical retention of a traditional oikonym and reductive phonological developments such as the one evidenced in the innovative variant *Požoma*.

Finally, note that no documented Romani variety of Slovakia (or the neighbouring countries) employs a loanword of the historical German name of Bratislava, *Preßburg*, although it was the official name of the city until 1919, or of its loanword into Slovak, i.e. *Prešporek* or *Prešporok*. The German-origin oikonym could not have been borrowed into those Romani varieties that possess one of the traditional oikonyms and, if it was ever used in the other Romani varieties of Slovakia in the past, it has been replaced by a loanword of the present-day official name.

5 Conclusions

In this study in Romani toponymy I have suggested that the oikonym *Požom(b)a*, the traditional Central Romani name of the city of Bratislava, is a reanalyzed loanword of the inessive-illative case form of the Hungarian name of the city. This unusual borrowing pattern has been shown not to be unique to the name of Bratislava (as there are a number of further oikonyms in the Central Romani varieties of southwestern Slovakia that originate in inessive-illative case forms of Hungarian oikonyms) and to have cross-linguistic parallels (viz. reanalysis and borrowing of frequent non-base forms). The proposed etymological hypothesis thus appears to be supported by both dialectological and typological evidence.

In addition, I have argued that frequency of use is relevant in explaining both the origin and the geographical distribution of the Romani oikonym *Požom(b)a*: the high relative frequency of the inessive-illative case form of the Hungarian oikonym explains why it was precisely this form that was adopted and reanalyzed in Romani; and the presumed higher frequency of reference to the city in varieties spoken in its relative geographical proximity and within the same country motivates both the lexical retention of a traditional oikonym and the development of a phonologically innovative form.

Appendix: Attestation of the oikonym Požom(b)a

The Appendix provides a list of 49 documented local varieties of Central Romani where the oikonym *Požom(b)a* ‘Bratislava’ is attested. The first column of the table shows the official name of the locality (i.e. town or village) where the Romani variety is spoken (HU = Hungary). The second and third columns provide information on the classification of the local variety into a low-level grouping termed “dialect region” and a larger dialect group (viz. North Central vs. South Central), respectively, according to the classification used in Elšík *et al.* (in prep.). The fourth column shows the primary current contact language of the Romani local variety. The final column provides the variant of the oikonym used in the local variety.

Local Variety	Dialect Region	Dialect Group	Primary l2	Variant
Vysoká nad Kysucou	Upper Kysuce	North Central	Slovak	<i>Požomba</i>
Čadca	Upper Kysuce	North Central	Slovak	<i>Požomba</i>
Martin	Turiec	North Central	Slovak	<i>Požomba</i>
Myjava	Nové Mesto Považie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Hrachovište	Nové Mesto Považie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Pobedim	Nové Mesto Považie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Prašník	Nové Mesto Považie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Biely Kostol	Nové Mesto Považie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Madunice	Hlohovec Považie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Záhorská Ves	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Závod	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Kuklov	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Čáry	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Gbely	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>

Kopčany	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Skalica	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Močidľany	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Štefanov	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Hradište pod Vrátnom	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Prievaly	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Kuchyňa	Northern Záhorie	North Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Vysoká pro Morave	Southern Záhorie	South Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Zohor	Southern Záhorie	South Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Lozorno	Southern Záhorie	South Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Jablonové	Southern Záhorie	South Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Podunajské Biskupice	Žitný ostrov	South Central	Hungarian / Slovak	<i>Požoma</i>
Štvrtok na Ostrove	Žitný ostrov	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Rastice	Žitný ostrov	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Dunajská Streda	Žitný ostrov	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Jelka	Middle Podunajsko	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Sládkovičovo	Middle Podunajsko	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Kajal	Middle Podunajsko	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Diakovce	Middle Podunajsko	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Tomášikovo	Middle Podunajsko	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Jelenec	Northern Podunajsko	South Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Choča	Northern Podunajsko	South Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Volkovce	Northern Podunajsko	South Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Neded	Eastern Podunajsko	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Vlčany	Eastern Podunajsko	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Selice	Eastern Podunajsko	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Váhovce	Eastern Podunajsko	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Mojmírovce	Eastern Podunajsko	South Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Komjatice	Eastern Podunajsko	South Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Šarovce	Eastern Podunajsko	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Pukanec	Pukanec	South Central	Slovak	<i>Požoma</i>
Bušince	Lower Nógrád	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Mučín	Lower Nógrád	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Trenč	Lower Nógrád	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>
Nógrádzakál HU	Lower Nógrád	South Central	Hungarian	<i>Požoma</i>

References

- Bodnárová, Zuzana. 2014. Loanword integration: A case study of Kisbajom Romani. *Romani Studies* 5/24: 71-91.
- Creissels, Denis. 2008. Spatial cases. In: Andrej Malchukov / Andrew Spencer. eds. *The Oxford handbook of case*. Oxford: Oxford University Press: 609-625.
- Creissels, Denis. 2009. Uncommon patterns of core term marking and case terminology. *Lingua* 119: 445-459.
- van Duin, Pieter C. 2009. *Central European crossroads: Social Democracy and national revolution in Bratislava (Pressburg), 1867-1921*. New York: Berghahn Books.
- Elšík, Viktor / Beníšek, Michael / Bodnárová, Zuzana. *The linguistic atlas of Central Romani*. In preparation.
- Horger, Antal. 1934. *A magyar nyelvjárások rendszere*. Budapest: Kókay.
- Imre, Samu. 1971. *A mai magyar nyelvjárások rendszere*. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- Kenessei, István / Vago, Robert M. / Fenyvesi, Anna. 1998. *Hungarian*. London & New York: Routledge.
- Koch, Harold. 1995. The creation of morphological zeroes. In: Booij, Geert / van Marle, Jaap. eds. *Yearbook of morphology 1994*. Dordrecht: Kluwer. 31-71.
- Lovári nyelv 2014 = Lovári nyelv emelt szintű írásbeli vizsga. Javítási-értékelési útmutató. Budapest: Emberi Erőforrások Minisztériuma.
- Majtinskaja, Klara E. 1955. *Vengerskij jazyk I: Vvedenie. Fonetika. Morfologija*. Moskva: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR.
- Mańczak, Witold. 1958. Tendances générales des changements analogiques. *Lingua* 7: 298-325 et 387-420.
- Menyhárt, József. 2006. *Nyékvárkony nyelve*. PhD Thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
- Salner, Peter. 2001. Ethnic polarisation in an ethnically homogenous town. *Czech Sociological Review* 9: 235-246.
- Siptár, Péter / Törkenczy, Miklós. 2000. *The phonology of Hungarian*. Oxford: Oxford University Press.
- Stanislav, Ján. ²2004/¹1948. *Slovenský juh v stredoveku II*. Bratislava: Literárne informačné centrum.
- Tiersma, Peter M. 1982. Local and general markedness. *Language* 58: 832-849.
- Tompa, József. 1968. *Ungarische Grammatik*. The Hague: Mouton.
- Žigo, Pavol. 2002. Bratislava – Braslauespurch / Preßburg (Prešporok) – Pozsony. *Österreichische Namenforschung* 29/2001: 219-223.

Sound recordings of Romani soldiers in German and Austrian prisoner-of-war camps, 1915-1918: Protagonists, contexts and contents

1 Introduction

About a year after the beginning of the Great War, Austrian and German academics saw their chance to tackle large-scale projects that would have been impossible in peacetime. The fact that countless soldiers of the Entente were held captive in prisoner-of-war (POW) camps brought up the idea to make use of this “extraordinary research opportunity”¹ (Pöch 1915: 219). During the following three and a half years anthropometric studies and ethnographic research were carried out in Austrian and German POW camps, to an unprecedented scale both in terms of the number of the ‘studied’ individuals and scientists involved as well as of the employed methods and collected data. In recent years, these undertakings and their questionable research context have been the subject of several studies (mainly in the fields of cultural and postcolonial studies and history of science) that focused on the analysis of the pertinent scientific background and (ideological) mindset, actual research circumstances and methods (e.g. Lange 2011, 2013; Berner 2003, 2010; Hoffmann 2014). The present contribution deals with a rather ‘small chapter’ of these projects – ethnographic research and sound recordings with captured Romani soldiers – and aims at taking a closer look at the involved protagonists, by reviewing the then produced and now archival historical sources. Although these materials widely mirror the perspective and methods of their ‘collectors’, they remain, however, as media representations of those who were investigated. Therefore, the contents of the recordings and the context of their production will be discussed.

¹ Original quote in German: “[...] diese außerordentliche Forschungsgelegenheit [...]. In the following, all citations within quotation marks are English translations of texts originally written in German.

2 The projects

In Austria, the members of the Anthropological Society in Vienna decided, in June 1915, to launch a project on “anthropological studies” among soldiers of the Russian army, who were interned in various POW camps on the territory of the Austro-Hungarian Empire. The Society entrusted Rudolf Pöch with the implementation of this undertaking; the physician, anthropologist and ethnographer had since 1913 been the first associate professor of anthropology and ethnology at the University of Vienna. The project, carried out with permission and support by the War Ministry, was largely subsidized by the Imperial Academy of Sciences. The funding by the Academy was subject to the condition that sound recordings of the interned soldiers should be made as well. By the end of the war, Pöch and his co-workers had carried out anthropometric examinations of ca 7,000 men captured in camps of the k.u.k. Monarchy, additionally in Germany and Romania.² Complying with the Academy’s condition also sound recordings were made with the *Archiv-Phonograph* provided by the Academy’s *Phonogrammarchiv*. During the first year of the project Pöch himself carried out this additional task; he was well experienced with then modern technology and had deployed phonographic recording, filming and photography during his previous expeditions overseas.³ However, from autumn 1916 onwards sound recordings were mainly made by the archive’s staff members, while the Viennese musicologist Robert Lach was engaged in comparative music studies (cf. Scheer 2010: 297ff., Lange 2013: 361ff.). By the end of September 1918 a total of 355 *Phonogramme* (wax discs of ca two minutes’ duration, recorded with the vertical cut technique) had resulted from the ethnographic inquiries in Austrian POW camps, comprising songs, poems, sayings, tales and other narratives in ca 30 different languages, and some instrumental music; the 139 recorded prisoners came from various Eastern and Northern European countries (then part of the Russian Empire), but also from the Italian peninsula and Sardinia. The recordings were archived in the Vienna Phonogrammarchiv, complimented by a written documentation according to the archive’s requirements. In addition, Pöch

-
- 2 Aiming “at defining racial features and types” (Berner 2010: 251), these investigations included systematic body measurements and morphological appraisals, catalogued on detailed data sheets; other ‘outputs’ were standardized photographs (5,000), ca 300 plaster casts of whole heads or other body parts, and (less frequently) palm and foot prints on paper, or hair samples (Lange 2013: 106ff.; cf. Pöch 1918: 150; Berner 2003: 126). For more information on the problematic methodology and analyses of the racial studies and their role and later reception in the science’s history see Berner 2003, esp. 129–132, and Berner 2010.
- 3 Pöch’s sound recordings made in Papua New Guinea (1904–06) and the Kalahari (1908) are preserved in the Vienna Phonogrammarchiv (see <http://catalog.phonogrammarchiv.at>; excerpts of his ethnographic films are accessible at <http://www.oesterreich-am-wort.at/>). – From November 1910 until end of October 1913 Pöch worked as assistant in the Phonogrammarchiv.

had shot films already during his first ‘field trips’ to the camps in Eger (Cheb) and Reichenberg (Liberec, North Bohemia) in summer 1915.⁴

While the Viennese scientists started their investigations, arrangements for another project in Berlin were under way. The idea to build a “sound museum” (lit. *Lautmuseum*) by using POWs in German camps was brought up by Wilhelm Doegen, a teacher, trained in English and French philology and phonetics, who promoted the use of audio recordings in language instruction (Doegen 1925: 9). After he had gained permission of the War Ministry to make phonographic recordings in the camps, Doegen applied, together with renowned academics, for a project on this issue at the Ministry of Culture. As a result a scholarly committee was founded in October 1915, consisting of known experts in disciplines such as linguistics and philologies of various languages, anthropology or Oriental and African studies; the *Königlich Preußische Phonographische Kommission* was chaired by Carl Stumpf, at that time professor at the psychological institute at the Friedrich Wilhelm University where he had established the *Berliner Phonogramm-Archiv* in 1900. In order to achieve the aim of systematically building a sound collection with “the languages, music and sounds of all peoples in German POW camps”, more than 30 researchers were hired to carry out the practical ‘field work’. Doegen himself functioned as executive and technical director, managed the logistics and supervised, together with an academic expert, recordings on-site (*ibid.*: 10).

The Royal Prussian Phonographic Commission worked with two different recording technologies. Mainly concentrating on language recordings, Doegen was accompanied by a technician, who operated a gramophone recorder, while (from spring 1916 onwards) the musicologist Georg Schünemann, then assistant at Stumpf’s psychological institute, recorded in the same camp exclusively songs and other music with an Edison phonograph of the Berlin Phonogramm-Archiv. Between December 1915 and December 1918 the personnel of the Phonographic Commission worked in more than 30 camps with several hundred captive soldiers who came from various European regions and from countries of Africa, Asia and Oceania, at the time colonies of France and the UK. Out of these studies resulted 1,022 wax cylinders (of ca 1.5 to 2.5 min each) with music recordings, and 1,651 gramophone discs (of ca 3.5 min), comprising mainly language recordings (tales and various other genres of oral literature, song texts, word lists, etc.), but singing and

⁴ The films had a total length of ca 600m (with a frame rate of 16-18 fps). The 15 preserved sequences (now stored in the Filmarchiv Austria) show several dances, a theatrical performance, a Muslim prayer ritual, wrestling, different kinds of craft making, and the plaster casting of a prisoner’s head (cf. Pöch 1915: 230 and 1916a: 109f.). All preserved scenes (ca 24 min) were thematically compiled and published in the film *Als Anthropologe im Kriegsgefangenenlager...* by Andrea Gschwendtner (1991a; cf. Gschwendtner 1991b; for their analysis with regard to the aesthetics of early cinema and colonial travelogues see Fuhrmann 2010).

instrumental music as well. Just as with the Viennese project, the recordings were complemented by comprehensive documentation, which includes personal data of the performers (mostly on pre-printed form sheets), indication of genres and titles or brief content descriptions, and for the better part also text notations in original language, phonetic transcriptions (and translations) of the recorded items (written by interpreters, performers and/or researchers in charge). Since a photographer also belonged to Doegen's team, portraits of prisoners (front and side view), and pictures during recordings sessions and at other camps sites were made as well (cf. Doegen 1925; Scheer 2010: 304).⁵ Due to dissonances between Stumpf and Doegen and a changeful institutional history these two collections were separately stored (cf. Ziegler 1999: 382). The cylinder recordings were added to the holdings of the Berlin Phonogramm-Archiv (that later moved to the Music Academy and finally, in 1934, to the Ethnological Museum of Berlin); the gramophone discs made up the founding stock of the *Lautarchiv* (sound archive), which was established in 1920 by Doegen at the Prussian State Library, later incorporated into the Humboldt University and remained – finally as a historical collection – there.⁶

In German POW camps, also anthropometric examinations had been carried out, although to a minor extent than in Austria; the physical anthropologists had worked, however, widely independently of the researchers, conducting the recording project (cf. Lange 2013: 8, 72). During the Austrian project, reports by Pöch and Lach, submitted to the Anthropological Society or to the Academy respectively, were regularly printed in the relevant publication series (cf. e.g. Pöch 1915–1918), and the general public was informed about the studies' progress by the press. In addition Pöch held public lectures about the ongoing anthropological investigations at scientific associations and adult education centers in Vienna. In contrast, the project of the Prussian Phonographic Commission was a secret venture, and only after the war the involved researchers were allowed to use the collected material for publications (Lange 2008: 4; 2013: 73).

In the early 2000s the gramophone recordings of the *Lautarchiv* were digitized and, based on their original documentation, systematically catalogued in the course of a project at the *Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik* of the Humboldt

5 Many of these photographs are included in *Unter fremden Völkern: Eine neue Völkerkunde* (Among foreign peoples: A new ethnology), a book edited by Doegen in 1925; various researchers, previously involved in the recording project, contributed with articles on the culture and history of "peoples" they had worked with in the camps.

6 For more details on the history of the *Lautarchiv* (since 1931 *Institut für Lautforschung* at the Berlin University) see <http://www.sammlungen.hu-berlin.de/sammlungen/78/>; Ziegler 1999: 382f.; for the history of the Berlin Phonogramm-Archiv e.g. Ziegler 2000: 32, and for more on the work of the Phonographic Commission and its collections see Ziegler 1999: 380ff., Scheer 2010.

University by which the collection is now administered. At the Phonogramm-Archiv (Ethnological Museum of Berlin), there has recently been carried out a digitization and valorization project as well (2012-2015); the holdings are now callable via the online catalogue of the State Museums at Berlin, which includes also audio excerpts of the recordings (of 30 sec length).⁷ At the Vienna Phonogrammarchiv, currently a part of the POW collection (recordings with soldiers of the Tsarist army) is prepared for an annotated edition that will be published in the archive's CD series *The Complete Historical Collections 1899-1950*; audio excerpts will then be accessible via the archive's online catalogue as well.⁸

3 A dance from the Crimea in Eger / Cheb

According to the written documentation, at least 21 Romani soldiers from five different countries took part in recording sessions conducted in German and Austrian POW camps. The vast majority of the resulting recordings, preserved in more than 80 sound carriers, were made by the Prussian Phonographic Commission. The Austrian collection includes only one single item which originates already from Rudolf Pöch's first stay in the camp of Eger (Cheb, Czech Republic) in August 1915. It features a quick dance tune, sung without words by two "Muslim gypsies" from the South-Western Crimea (cf. Vienna Phonogrammarchiv: Ph 2607). According to the recording protocol, which names the singers only "Kjamil 1" and "Kjamil 2", one was a basket weaver, aged 23, from Bakhchisaray, and the other a 28 year old smith from Duvankoy (now Verkhnesadovoye in the Nakhimov Raion), resident in Sevastopol. Compared to other recordings made in Austrian camps, this particular vocal performance (singing an instrumental tune on meaningless syllables in high tempo) was rather unusual, but it was chosen, because the researcher had shot a silent film of the corresponding dance before (cf. Pöch 1915: 229). This sequence shows three men (probably two of them being the recorded singers) who are alternately dancing, accompanied with singing and hand clapping by the other two. The same three men were also filmed while demonstrating their wrestling skills, at the same site, outdoors in front of a wire fence (see

7 For the catalogue of the recordings in the Berlin Phonogramm-Archiv see <http://smb-digital.de/eMuseumPlus> (search entry: Phonographische Kommission), for the holdings in the Lautarchiv: <http://www.sammlungen.hu-berlin.de/search/?q=PK>. – I am grateful to the responsible curators, Irene Hilden (Lautarchiv, Humboldt University) and Ricarda Kopal (Phonogramm-Archiv, Ethnological Museum of Berlin), for providing me with copies of original recordings and complementing documentation as well as other useful information.

8 <http://catalog.phonogrammarchiv.at> (search project: Kriegsgefangene 1915-1918), for the CD series see: http://www.phonogrammarchiv.at/wwwnew/edition_e.htm#Gesamtausgabe.

8.08-9.52 min. and 6.30-7.20 min. in Gschwendtner's compilation, 1991a [see fn. 4], available online⁹). In the protocol on the sound recording (made indoors) Pöch noted that the "Gypsy dance" was usually accompanied by a "Tamburizza" (a plucked long-necked lute) that was not to be procured in the camp. Thus, in order "to keep time", one singer tipped the imagined instrumental accompaniment with the fingers on his thigh.¹⁰ Due to the lack of other information in the recording protocol (e.g. mother tongue, autonomous group denomination), it remains unclear whether at least one of the performers actually belonged to the *Kirîmlides* as suggested by esp. the mentioned profession "smith", or to another – Crimean Tatar speaking – Romani community (cf. Tcherenkov / Laederich 2004: 475f., 452f.).¹¹

In Cheb, Pöch also performed anthropological examinations on six Roms from the Crimea (with "4 of them photographed and 2 heads molded in plaster", 1915: 228); however, currently it cannot be verified whether the two performers of the dance tune were among those. Generally, it seems that Roms were not of great interest to Pöch, as his reports to the Anthropological Society mention only three more "Gypsies" examined (*ibid.*: 235, 1917: 98). Focusing on Turkic, Slavic, Finno-Ugric and Caucasian "Völkerschaften", investigations on soldiers belonging to other "peoples" from Eastern Europe and the Balkans were relatively small in number, although measurements and examinations on Jewish and Romani soldiers were mentioned as "valuable contributions to single studies" (Pöch 1918: 150).¹²

9 The film is accessible at the website of the *Österreichische Mediathek*: <http://www.mediathek.at/atom/018AAA18-300-025D5-00000484-0189A3E5>. – A transcription of the recorded melody (sung on a diatonic 'major' tune, with an asymmetric meter and partially in two voices) was published in Fenesz-Juhasz 2001: 162.

10 It is worth mentioning here that the film scenes featuring other 'Russian' dances, accompanied by a band (with violin, two balalaikas, guitar), and included in Gschwendtner's compilation (1991a) between the wrestling and the Romani dance, were most likely shot in another camp, namely in Reichenberg/Liberec (cf. Pöch 1916a: 110).

11 For more information on Crimean Romani communities see Marushiaikova/Popov 2004: 148-164, and Tropov 2009. – In the course of their history, Muslim Crimean Roms lived close to the Crimean Tatars, therefore adopted influences of their music and customs (Lev Tcherenkov, pers. comm. 2000). So far, a reference to a lute of the *tambura/tanbur* type, played by Crimean Roms, was not to be found.

12 Pöch had inspired other anthropologists to perform also anthropometric studies in POW camps and contribute with their 'collections' to the project (cf. Pöch 1917: 99f.). One of those was Viktor Lebzelter (later head of the Anthropological Department at the *Naturhistorisches Museum* in Vienna), who carried out investigations in Krakow in 1916 (cf. Berner 2003: 129f.); he charted his measurements on soldiers from the Serbian and Russian armies in several publications, starting with "Anthropological examinations of Serbian Gypsies" in 1922. The article deals with anthropomorphological data of 45 men (listed with their names and places of origin), four of them had been examined by Pöch, the others by Lebzelter himself in the POW camp of Dąbie near Krakow (Lebzelter 1922: 29, 38).

4 Romani POWs and the Prussian Phonographic Commission

Similar to Pöch in 1915, the German recording project generally aimed at collecting a large variety of languages and genres of oral literature, as well as repertoires of vocal and instrumental music as rich as possible (Schünemann 1919: 1). Thus, in preparation of recording activities POWs were asked to fill questionnaires, in order to find appropriate performers and select items of content. In the case of music recordings, it was a usual procedure that Schünemann and the linguists, who cooperated with Doegegen while recording, informed each other about prisoners, willing to perform, and interesting repertoires; and “particularly important pieces of music” were recorded twice, on cylinder and disc (*ibid.*; cf. Schünemann 1936: 493).¹³ – Therefore, in the following, “PK” before a shelf number refers to recordings kept in the Lautarchiv and “Phon.Komm.” to those in the Berlin Phonogramm-Archiv.

The German researchers encountered Romani POWs in five camps between June 1916 and January 1918, the majority of them came from Serbia and Romania, one from present-day Moldova and another from Belarus. Eight of these 19 men were in their twenties, seven in their thirties, with the youngest aged 22 and the oldest 45. As far as detectable from the written documentation, nearly all of them had never left their hometown for a longer period before the war, with a few who had served their time at the Serbian or Romanian armies in their home regions; a 36 year old soldier, a smith from Ceadîr-Lunga (Bessarabia), had been serving since the age of 20 in Brest-Litovsk (Belarus) and Khabarovsk (Outer Manchuria). Like him, also the Byelorussian Rom, three men from Romania and four from Serbia were speakers of Romani. Thirteen of the 19 men were at least bi-lingual, and just as many illiterate, four had attended elementary (or “village”) school, and one man from Romania had studied music.

Fourteen of the 19 Romani POWs were involved in recording sessions conducted by Doegegen on the one hand and Schünemann on the other, and partly performed some of their music repertoire two times, which was the case with 14 songs (some with accompaniment) and one instrumental piece, recorded on both cylinders and discs. 23 of the total of 83 sound carriers comprise two or three (rarely more) recordings featuring short individual items of content. Six gramophone discs include recordings of spoken language, featuring five (excerpts of) folk tales and six other narrations in Romani. In addition, song lyrics were often also recited before or after singing.

¹³ Generally, the recording sessions were held indoors, e.g. in the “room of the camp officer” (in the Lamsdorf camp) or in side rooms of the “church barrack” (in Königsbrück) or the “theater barrack” (in Münster; according to relevant data sheets in the Lautarchiv).

5 Serbian Romani music in Königsbrück

Most Romani performances took place between 18th and 23rd November 1916 in Königsbrück (Saxony, Germany), where eight men from Central Serbia participated in recording sessions that were conducted by Schünemann and Doegen partly together with Hermann Jacobsohn, a professor of comparative linguistics at the University of Marburg, specialized in Indo-Germanic studies. Six of the Serbian Roms were musicians by trade (playing the violin and/or viola), who came from villages near Šabac (Mačva district), Požarevac (Braničevo district) and Belgrade. One man was a monkey and/or bear leader¹⁴ and one a “tradesman (cattle dealer)”. These two as well as two violin players were speakers of Romani, the mother tongue of the four other musicians was Romanian, all, of course, spoke Serbian as well. All recordings made in Königsbrück feature music, mainly various types of Serbian (folk) songs, for the better part accompanied by two violins or a string band formed by the musicians, who additionally played some folk dances and other instrumental music. In a recording session with Doegen and Jacobsohn, the monkey/bear trainer Milivoj Simić (from Korman, near Kragujevac, Šumadija; aged 45) accompanied his two ballads in Serbian on the *gusle* (a single-string bowed lute, typical of epic singing in the Balkans); when recorded on cylinder before, he had substituted the traditional instrument by playing on the G string of a violin (just as did another Serbian *guslar*; cf. PK 546-547 and Phon.Komm. 432, 413). Hermann Jacobsohn most likely referred later to one of these performers, when he recalled his time with the homesick Serbian soldiers in their barrack: “[...] if then [in the evening] the small Gypsy with the yellow parchment skin performed the old heroic songs to the *gusle*, a gentle, melancholic atmosphere developed” (1925: 319).¹⁵

Probably not all instruments played in the camps had been brought by the musicians. “The manifold instruments were sent from home to the prisoners or lent and bought from a town nearby”, Doegen later reported in a book on the German POW camps, which was, though, commissioned by the Ministry of Defense

14 In some cases, single data in a “personal sheet” (lit. *Personal-Bogen*), such as the age and profession of a performer, differ from those in Schünemann’s notebooks (which in several cases include pre-printed questionnaires filled in). More often the spelling of first or last names diverges here. Most names were written by using the German alphabet and spelling; several data sheets include the last name also in Cyrillic letters. In the present text the Serbian personal names are normalized according to the current Latin writing of BCS.

15 Because of mental health problems Hermann Jacobsohn (1879-1933) did not serve at the front line, but – due to his exceptional language skills – as an interpreter in the camp of Kassel-Niederzwehren; there he carried out linguistic studies on Finno-Ugric languages (cf. his thanks to the prisoners in his work on *Arier und Ugrofinnen* from 1922, cit. in Maier-Metz 2000: 62). In addition he went to several other POW camps with the Commission, engaged also in Slavic language studies. For Jacobsohn’s biography and work see idem, Maas 2016a, Hessische Biografie 2013.

(1921: 97).¹⁶ Thus, it remains unclear whether the Romani musicians played their own violins and violas while they performed parts of their professional repertoire in Königsbrück. Mostly they formed a string band of four or five, with one or two also singing; in the recording session with Doegen the number of musicians had increased to seven (including a Serbian Vlach). While performing sad love songs in slow tempo rubato, they also exercised the characteristic practice of combining it with another song in tempo giusto (potentially followed by a quick dance tune; cf. PK 525, 526). In contrast to the recorded Serbian rural musicians and singers, the Romani musicians were also experienced in playing “modern European music tunes” (as asked in the pre-printed form), and performed *inter alia* a widely popular (originally Italian) tune in the style of urban string bands, “*Slavuj* [nightingale] – Variations on the Carnival in Venice” with which the soloist Miloš Radulović from Požarevac demonstrated his skills in high position by imitating the birdsong (PK 520, 578 and Phon.Komm. 420); for another recording, Phon.Komm. 415, the *slavuj* solo was played by Jefta Marinković, also a Romanian speaking violinist (from Maovi, Mačva region). Folk dances were partly performed together with a Serb soloist playing the *frula* (shepherd’s flute; Phon.Komm. 433; 418, 471). Marinković and a second violin player, Mihailo Kostić (from Lipolist, Mačva), together with a few other Roms, were additionally members of the Serbian camp choir that consisted of 15 singers (cf. Phon.Komm. 446-450). Based on the Romanian mother tongue and some surnames it might be assumed that a part of the Romani musicians belonged to a Bejaš (Boyash) community.

Five Serbian folk songs were interpreted solo by the ‘non-musician’ among the performing Roms. This was the case also later in Parchim (Mecklenburg, Germany), where in January 1918 a few soldiers from Serbia took part in the recording project. One of them was Svetko Josić, a 35 year old “pump maker, plumber” from Požarevac, who sang some Serbian folk and love songs as well as patriotic and soldier songs. In Königsbrück, Radisav Jovanović, the 24 year old cattle dealer¹⁷ (from Begaljica, Grocka municipality, Belgrade district), contributed, *inter alia*, a rather topical song about the murder of the Serbian king Alexander I and his wife in 1903 (Phon.Komm. 411-412 and PK 533-535.). Hermann Jacobsohn cited the ballad as an

¹⁶ In addition, Russian prisoners crafted their balalaikas themselves (*ibid.*; cf. the making of a balalaika in Pöch’s film, see fn. 4, 9). In this chapter Doegen describes the cultural and ‘leisure’ activities, including orchestras, choirs, theatre, sports etc.; for brief descriptions of actual conditions and the treatment of POWs see Jones/Hinz 2014 and Moritz/Walleczek-Fritz 2014, on daily routine in the camps also Gschwendtner 1991b: 107-110.

¹⁷ According to Schünemann’s notebook his profession was *Landmann* (farmer), whereas the form of the Lautarchiv has *Kaufmann (Viehhändler)*; there his name was written “Jowanowič, Radisav” (“Iowanowić, Radisao” in the typed version), and in Schünemann’s questionnaire “Јовановић Jowanowitzch, Radisaw”.

example of traditional symbolic language (lit. *Formelsprache*) still existing in folk poetry; thus, at the end of his paper on the history and (oral) literature of the Serbs, he quoted the song lyrics in his own German translation – and with a reference to the singer: “I noted this song in the camp Königsbrück from a respected Serbian Gypsy” (1925: 337).¹⁸

Beside this ballad, Radisav Jovanović sang one of his three Romani songs twice for the Commission, namely *Oj borije, muj kalije* (which deals, in form of a dialogue, with a man and his disobedient “dark-faced daughter-in-law”; Phon.Komm. 410 and PK 537/1-2). This song, with its many variants, spread widely among Roms in Central Serbia and Vojvodina, and is still performed today as (a refrain of) a wedding song (cf. e.g. Acković 1999: 100, 57; Hemetek 1992: 63f. and MC: B3).¹⁹ One verse and the melody were first written down by Vladimir R. Gjorgjević in Jagodina (Pomoravlje district) and published in 1906 by Tihomir Gjorgjević (p. 118). During the recording with Jacobsohn and Doegen, the lyrics of the three Romani songs (each with seven or eight stanzas) were also recited – probably read – by the singer, who was self educated in writing and reading.²⁰ After Radisav Jovanović had recited the lyrics of the whole song *Bašal, zurno, bašal bre* (Play, Zurna, play), there was space for only one sung verse on the disc (PK 537/3-4). All three Romani songs consist of four-line stanzas, with at least two tail rhymes each; the song *Kana semah šej bari* (When I was an unmarried girl, PK 536/1-2) includes a refrain in the last two verse lines. The music of the three songs exhibits features characteristic of songs of Serbian Roms speaking Vlax Romani dialects. The basically syllabic song melodies, based on ‘aeolian’ or ‘phrygic’ scales (with a descending contour within the range of a sixth or a forth) and in duple or mixed (asymmetric) meters, were sung rubato with melismatic and other embellishment (grace notes, turns, vibrato on longer notes etc.). Judging by the lyrics their singer was a speaker of Gurbet Romani (see appendix: ex. 1).

18 Sound excerpts of the ballad and other songs of R. Jovanović, including one in Romani, are online accessible at <http://smb-digital.de> (search entry: Phonographische Jowanowitsch). – According to Ziegler (1999: 389), the ballad is not to be found in Serbian folksong anthologies.

19 cf. sound recordings of the song in the Heinschink Collection, Vienna Phonogrammarchiv that additionally comprise versions from Macedonia and Kosovo: B 35935, B 36857, B 37211, B 37559 (Prilep), B 38030 (Priština), B 39039.

20 In contrast to the recordings of other languages, the original documentation – with one exception – lacks written versions of Romani texts. A phonetic transcription of the lyrics of *Oj borije* (in German spelling) is included in Schünemann’s *Königsbrück-Textheft III*, [p. 6, ad no.] Phon.Komm. 410; according to a note there, it is a copy of a transcription by Jacobsohn, it corresponds most closely to the sung version in PK 537/1.

6 Romanian Roms in Lamsdorf / Łambinowice

As was the case with the Serbian soldiers in Königsbrück, there were many Roms among the POWs from Romania who were recorded in the camp of Lamsdorf (Łambinowice, Poland) between 7th and 11th August 1917. Among these eight men there were three professional musicians, a brick maker (lit. *Ziegelstreycher*) and a kettle smith (lit. *Kesselschmied*) who came from different villages or towns in Muntenia. Two farmers (lit. *Bauer[n]*; one of them also a double bass player) were from Western Moldavia and another farmer from Southern Oltenia. All of them contributed at least one Romanian song to the recording project, predominantly performed a cappella.²¹ Most music recordings were made with two violin players, Marin Oprea, aged 24, from “Hîrsa” [Hârșa] (Prahova county), and Ioan Florea, aged 40, from the town Buzău (in Muntenia as well); the latter played also a *horă* (a circle dance, Phon.Komm. 731). Marin Oprea sang popular (urban) and folk songs, including a *doină* (a rural lyrical song with an ornamented tune in tempo rubato, Phon.Komm. 723/724), accompanied by Florea when recording with Schünemann; for the gramophone recording he repeated two songs and sang another love song, while playing the violin himself (cf. Phon.Komm. 725, 734 and PK 1048, 1050/2, PK 1050/1).

All gramophone recordings of Romanian music stored in the Lautarchiv were later analyzed by Elsa Ziehm (1939) in her dissertation in the field of comparative musicology. The study includes music notation and the lyrics with a German translation of all analyzed items, thus also of Romanian songs performed by Roms in Lamsdorf (ca a third of the whole sample). Ziehm discusses also the special role of Gypsy string bands within Romanian folk music (and beyond), their playing style and repertoire (with tunes of more complex structure than rural folk songs, and supra-regional influences); in doing so, common (negative) stereotypes are cited as well (Ziehm 1939: 51ff.). Finally, in the summary – written by her academic supervisor Fritz Bose, then head of the music department at the Institut für Lautforschung (see fn. 6) – the “Gypsy songs” were, due to their “stylistic mixture”, judged as being “*kulturlos*” (without culture) and “aesthetically unsatisfying” (Ziehm 1939: 56).

Ziehm’s analyses incorporate one Romani song, though, due to the lack of a transcription, without the lyrics (cf. 1939: 120f.: music notation). It had been recorded by Doegen already in June 1916 in the camp of Chemnitz (Germany) and represents the only contribution by Dimitri Duminik, the smith, born in 1880 in Ceadîr-Lunga (Gagauzia, Moldova), who had got around a lot when serving in the Tsarist army

²¹ Excerpts of the cylinder recordings made in Lamsdorf are callable at <http://smb-digital.de> (search entry: Phonographische Rumänien Roma).

before the war.²² Probably due to his profession and home region in Southern Bessarabia, he spoke, in addition to his mother tongue, “Russian, Turkish, Bulgarian and Romanian”, and was also able to read and write these languages. Dimitri Duminik performed a dance song with 12 two-line verses (in ‘aeolian’ mode, mixed meter of 4+4+4+3 crotchets), to which he added other melodic parts at the beginning, in between and at the end; these were sung with meaningless syllables, partly increasing the impulse density with semiquavers (on repeated notes) – a technique comparable to the so called “rolling” in *khelimaske gjila* of Lovara and other ‘Vlax Roms’ from the Hungarian language area. As far as detectable from the lyrics of *Aljoša, rom baro ...*, the singer spoke a Vlax Romani dialect (cf. PK 369).²³

Among the soldiers in Lamsdorf there were three men who spoke Romani (in differing varieties) as their first language and recorded short narratives in their mother tongue, each on one gramophone disc. While Mihai [Neculai] Floria (i.e. Nikolai Florja / PK), a 22 year old farmer from Goicea Mică, Oltenia (Dolj county, Romania), additionally sang two Romanian folk songs into the horn of the cylinder machine (Phon.Komm. 752), the other two contributed also one Romani song each, with Ramadan Salibota, the smith from Muntenia, switching at the end from a melancholic ‘litany’ (varying a syllabic three-note line) to quick Romanian verses in tempo giusto (Phon.Komm. 754). Mihai Dinu interpreted six lyrical verses (with three lines, on a ‘major’ tune within the range of a sixth, in mixed meter rubato; Phon.Komm. 751). The 34 year old farmer, born in Strunga, had grown up in Sineşti (Iaşi county) and, after three years of military service in Iaşi, lived in Lungani.

Of both Romani songs the texts were available, according to a note by Schünemann, “at Dr. Lewy’s”, who was attending the recording sessions with the three Romani speakers. However, the material was not added to the documentation, but kept by the researcher (which was apparently not unusual). Ernst Lewy, at the time a freelance academic and from 1925 onwards an associate professor of linguistics in Berlin, engaged mainly in the study of Finno-Ugric and Caucasian languages in the camps (cf. Maas 2016b; Knobloch 1985); in addition, he was obviously the linguist among the Commission’s personnel with an interest in Romani.²⁴ Most likely

22 Doegen’s book (1925: 192/193) includes two photographs, subtitled *Russischer Zigeuner aus Bessarabien* – whether these are portraits of D. Duminik remains an open question.

23 I thank Peziza Cech and Mozes and Fatma Heinschink for their assistance in transcribing and in the linguistic classification of Romani texts, mentioned in this chapter.

24 After forced emigration in 1937, Ernst Lewy (1881–1966) taught at University College Dublin and became a professor there in 1947; for his biography and work see Maas 2016b. In the interwar period, Lewy also cooperated with the Austrian Academy of Sciences and provided the text transcriptions and translations of “Mordvinic Songs” edited by Robert Lach in his series on “Songs of Russian Prisoners-of-War” (1933).

Lewy made also phonetic transcriptions of the spoken Romani texts – prior to their recording. This can be gathered from his brief notes on the speakers of PK 1006 and PK 1007 (“varies heavily during narration …”) – but even more from his first and only contribution on *Die Zigeuner* (1925).²⁵ The article relies mainly on secondary literature on hand, and includes only few brief hints to his own studies with Roms in the POW camps (1925: 167-169). Despite his conclusion that the collected source material of Romani dialects would not allow exhaustive analyses (*ibid.*: 169), he quoted (in German) “a piece [...] from Romania”, which turns out to be one of the tale fragments that had been recorded with Mihai Dinu (PK 1005/1). Interestingly, Lewy’s summary covers more of the whole story than the 35 recorded seconds of its beginning (1925: 174).²⁶ Dinu’s other two tales, captured on the same disc, are more complete than the first one (cf. PK 1005/2-4; for the 2nd tale see appendix: ex. 2). His prose texts and song lyrics exhibit some interesting linguistic features: the past form of the copula verb (*i*)*sas* ‘he/she was’, verb negation *na*, long forms of the genitive, the oblique singular article *le* for both masculine and feminine, etc. – elements pointing to the Romanian Ursari dialect (cf. Tcherenkov/Laederich 2004: 474); furthermore, the 1st and 2nd song verses²⁷ include poetic phrases which are also to be found in “ricinearitika” lyrics, collected by Constantinescu (1878: 43, 47, 51: initial lines of no. LVII and LXV, lines 8ff. of no. LXXIV). Whether or not Mihai Dinu actually still practised bear leading – anyway, he also sang a “Gypsy bear leader song” in Romanian, accompanying himself by beating on a box. The quick dance song features short rhymed verses addressing the bear that alternate with fast variations of the tune on meaningless syllables, spoken commands and vocal imitations of the animal’s humming – and the recordist noted: “[...] this is the song he himself intones during his spectacular performances.” (Phon.Komm. 753; Schünemann, Lamsdorf protocol booklet).²⁸

25 Lewy here deals mainly with the history and ethnography of Roms, and discusses also negative stereotypes and linguistic features; additionally he cites several song and prose texts in German translation, taken from sources accessible to him, but without quoting the references; in a cursory list at the end, the *Journal of the Gypsy Lore Society* and “Ascoli, Finck, Miklosich, Pott, Whislocky” are mentioned as sources, though, due to a note there it is unclear which of this literature was actually available to him (1925: 176).

26 The tale deals with a childless emperor who meets an old man when searching for an heir; while the recording stops here, the written summary includes the point: the empress gets pregnant after eating a fish caught by her husband upon the old man’s advice.

27 *Aj o khamoro, Devla / žal, perel / mo phraloro na m’ avela. // Aj taj gelo, Devla, sar / na m’ alo, / kaj gelo taj durilo [...]* (Phon.Komm. 751).

28 For a comparable performance of a bear leader dance (by a singer from Teleorman) cf. Radulescu et al. 2004: no. 4 (last song). – Excerpts of Mihai Dinu’s songs are accessible at <http://smb-digital.de> (search entry: Phonographische Dinu).

In contrast to Dinu, Nikolai Florja from Oltenia (see above) was a speaker of Vlax Romani (with heavily centralized vowels; cf. his tale PK 2007). Ramadan Salibota spoke a Vlax dialect as well (with *sim* ‘I am’, *sas* ‘he/she was, they were’; indicative verb negation *ni*; short forms of the genitive). The 34 year old kettle smith, born in Roșiori de Vede, grew up in Alexandria and lived as an adult in Turnu Măgurele (all Teleorman county); according to his *Personal-Bogen* he was of “Orthodox or Mohammedan” faith – the latter fact setting him apart from all other Romani soldiers recorded in German camps (PK 1006). Salibota’s contribution of 3.5 minutes, entitled *Lebensgeschichte* (life story), is a report on his inescapable recruiting to military service, a battle at the Danube border to Bulgaria under general [Alexandru] Averescu, finally his capture and the soldiers’ suffering from hunger and exhaustion. The terrible condition of the Romanian POWs in Lamsdorf, after a transport full of deprivations, was later depicted by Hermann Urtel, a specialist in Romance studies, who had worked with them and attended Doegen’s ‘Romanian’ recording sessions there (1925: 348).²⁹

7 Münster: Songs and stories of a Xaladytko Rom

Most Romani texts – in song and prose form – were recorded during two sessions with Nestor Yefimovich Bavarevich (lit. *Nestor Jefimowitsch Bawaréwitsch*) around the 22nd March 1917 in the camp of Münster (Germany). The 24 year old horse trader from the village of “Vókanjoka” (Horki district, Mogilev region, Belarus) was a speaker of the so-called North Russian Romani dialect, and – according to Ernst Lewy – a shy person (lit. *zurückhaltend*; personal sheet on PK 758; 1925: 168f.). Nevertheless, he portrayed in brief narratives the daily life in his community, by telling about the men’s trading at the market, hosting guests and merry making at home (PK 758/1, 760/1, 3), or by illustrating paternal authority with a few sentences by example of a man who reprimands his irresponsible drinking son-in-law (PK 760/2). As learnt from Schünemann’s notebook, Ernst Lewy wrote down at least the lyrics of the songs performed by Nestor Bavarevich. However, Lewy did not make use of this material, but cited in his article (1925: 173) a Russian Romani song – in his own German transla-

29 In his description of the rich collected material on Romanian oral literature, Urtel mentions, inevitably, the “Gypsies” as prevalent singers and violin players. Similar to Jacobsohn in Königsbrück, he was impressed by the music, sounding from the camp: “These Gypsies often fiddled far into the night, usually accompanied by the melancholic accordion, which they were able to handle with great art. [...]” (Urtel 1925: 349)

tion – that evidently had been found in a chapter of Franz Miklosich’s series *Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europa*’s (1874: 34f.).³⁰

In 2015, the late Lev N. Tcherenkov contributed to the project on valorization of the POWs’ recordings, kept by the Berlin Phonogramm-Archiv, and provided transcriptions, translations and an elaborated comment on Nestor Bavarevich’s five Romani songs (Phon.Komm. 579-582)³¹. He considered them as typical examples of the widespread traditional song repertoire of the Xaladytka Roma, which is still largely familiar to the elderly generation (including the scholar himself): “This testifies to the extraordinary ‘vitality’ and the stability of this part of Romani folklore.” (Tcherenkov 2015: 2). The author illustrates his conclusion, *inter alia*, by means of his rich experience in the field; thus he comments on the song *Kaj terde, kaj lodel? / Nadur stancija ...* (‘Where did you stop, where did you camp? / Not far from the station ...’, Phon.Komm. 582/2) by citing a slightly different version, heard “in my very juvenile years” during various feasts in the outskirts of Moscow (*ibid.*: 7f.).³² Bavarevich’s songs, composed mostly of four-line verses, comprise dance like tunes (Phon.Komm. 582/1-2), a *Chastushka* (a quick Russian humorous song – likewise a widely popular genre among Roms; Phon. Komm. 579) as well as two lyrical songs in slower tempo, one of them being “almost completely ‘macaronic’, i.e. mixed Russian/Byelorussian and Romani”, which is a characteristic feature of song lyrics in this tradition (Tcherenkov 2015: 6; cf. Phon.Komm. 581). Some song texts, in addition, include (initial) poetic phrases that are used in various other Russian Romani songs as well. An example of this practice is Phon.Komm. 580 (see appendix: ex. 3, verse 3-4, cf. verse 1 and 9 in Druts/Gessler 1988: 26f.); this lyrical song furthermore consists, as to content, of two different parts (Tcherenkov 2015: 5).

8 Conclusion

Due to the highly problematic circumstances of their production, the sound recordings of the captive soldiers in German and Austrian camps rank among the “sensitive collections” kept by memory institutions (Berner et al. 2011). Stored on archival

³⁰ Miklosich added a Latin translation to the Romani text and the reference to the original source (Boethlingk 1852: 16) that includes a German translation, differing from Lewy’s.

³¹ For excerpts of these sound recordings access <http://smb-digital.de> (search entry: Phonographische Bawaréwitsch). – Two of Bavarevich’s songs are preserved, in sung and spoken versions, on gramophone discs as well (cf. Phon.Komm. 579, 580 and PK 758/2-3, PK 759/1-2).

³² Original quote in German; these celebrations took place in “a large ‘Gypsy’-barrack [...] near the railway station Jausa (previously known as the Sixth Verst, why the barrack was called šovto vérsta in Romani)”, with about 50 Romani families living there (Tcherenkov 2015: 7).

shelves and widely unheard for many decades, they have received growing attention in recent years, as evidence of former Western imperial and colonial scientific interests that made use of the POW camps as “ethnicized societies” with an imagined cultural hierarchy, “largely constructed by the evolutionary paradigm of the anthropological sciences” (Scheer 2010: 287, 289). Comparative methods were used then for essentializing differences between people(s) rather than seeking for their commonalities. The camp served as a sort of “laboratory” for the study and data collection on “folk culture”, with the soldiers being seen as “carriers of ethnic and racial traits” (*ibid.*: 291) – and providers of appropriate specific expressions. (This attitude was in line, though, with a widely prevailing – and long-lasting – methodological approach in ethnographic research.) Needless to say, the actual perspective of the informants is unknown. Thus, it remains unclear whether the recording activities were generally appreciated by the performers as Pöch (1916b: 23) and Schünemann reported (1919: 1f.). Regarding the selection criteria of the recorded items, it can be assumed, however, that the prisoners had a certain influence on the decision which songs, music pieces or narrations would be recorded, even more so as their repertoire and often their language (e.g. in the case of the Roms) were previously unknown to the researchers and recordists.³³

By pointing to the strange de-contextualized recording circumstances in the camps, Susanne Ziegler coherently presumes that many of the recorded men were rather recipients than the usual performers within their traditional communities (1999: 392). This was naturally not the case with the Romani musicians from Serbia and Romania, whose performances provide an insight into their actual ‘eclectic’ (folk and popular) repertoire and music practice with which they served the population in their home regions. What Ziegler commented generally with regard to folk music cultures in the Balkans (*ibid.*), is also true for the Romani songs recorded with Radisav Jovanović (Serbia) and Nestor Bavarevich (Belarus): the songs are less evidence of the change within the respective music tradition, but rather reflect a long-lasting constancy – or “vitality and stability”, as Lev Tcherenkov put it. Despite the then prevailing attitude towards the performers as ‘deliverers’ of paradigmatic cultural products, the quite accurate written documentation generally offers more information on these authors of recorded oral folklore (their name, age, profession, education etc.) than is usually the case with contemporary published sources. Not all of the sung or spoken Romani texts have been fully transcribed so far; one reason is the generally limited sound quality (even below average in a few cases) and the short duration of such historical recordings, which offer only limited possibilities for an ‘internal’ comparison

33 Regarding music, Georg Schünemann decided to record those musicians and singers, proposed in the questionnaires, “who offered something new” (1919: 1).

and check of the content, especially in the case of performances of only one single song. Therefore, a more detailed analysis of the recorded Romani dialects will require experts, at best native speakers. As far as I know, the discussed sound recordings represent the very first *audible* documents of Romani spoken language, oral literature and music of the relevant regions of origin. In addition, they include an early ego-document and some brief personal reflections on one's own community. Thus, at least part of these sound recordings might serve as sources of Romani language and music history; in how far these historical traces will be adopted as media of the Roms' cultural memory remains to be seen.

Appendix

Example 1: *Bašal, zurno, bašal bre ...*

(PK 537/3-4, Lautarchiv)

Radisav Jovanović (born 13/01/1892, Begaljica, Serbia),
rec. Königsbrück, 20/11/1916

*Bašal, zurno, bašal bre,
te trajil tu drago Del!
Oj lele le
te trajil tu drago Del!*

*O phral pheja zumadah,
trin šamara dija la.
Oj lele le
trin šamara dija la.*

*E zurnica bašalel,
o majmuno te čhelel.
Oj lele le
o majmuno te čhelel.*

*Ale, dade, so čerdan?
E romeske romňa lan!
E romeske romňa lan,
e čhavoren čorardan.*

*O majmuno čheldasah,
i čhiborî xalasarah.
Oj lele le
i čhiborî xalasarah.*

*Amen samah godola
trin gogoša pe droma.
Oj lele le
trin gogoša pe droma.*

*I čhiborî xalasarah,
o ratoro dijasah.
Oj lele le
o ratoro dijasah.*

*[Trin gogoša pe droma]
čerde peske kherora.
Oj lele le
kerde peske kherora.*

Example 2: “Märchenbruchstück” ...

(PK 1005/2, Lautarchiv)

Mihai Dinu (aged 34, born in Strunga, Romania),

rec. Lamsdorf/Łambinowice, 08/08/1917

Isas katar sas jek phuro aj le phures sas jek rakli. Aj le rakla sas jek gurumni. O phuro lilja eke phurija, haj le phures sas jek rakli. E phuri uštini aj nasvajli. So te kerel e phuri, te xal mas, buko kalo andar ē gurumni le rakleskiri [!]. O phuro so te kerel? Gelo kî rakli, te kothe te čhinel le gurumnja le rakljakirjê. E rakli so phenja?

Me čhinel man aj tu te na xas andar me masendje, tu te kides me kokala te gelesa ke phabalin. Aj kana avela tuke bokh, te aves mande te kam dav tut te xas.

Example 3: *Te džinav odo sud'ba bibaχtaly* ...

(Phon.Komm. 580, Berlin Phonogramm-Archiv)

Nestor Yefimovich Bavarevich (aged 24, born in “Vókanjoka”,

Horki district, Belarus), rec. Münster, ca 22/03/1917;

transcription by Lev Tcherenkov (2015: 6)

*Te džinav odo sud'ba bibaχtaly,
te džinau me odo sud'ba,
odo sud'ba bibaχtaly,
ej, na lodavas me.*

*Na lodav pr' odo lenko,
kaj marde mire pšalen,
ej, kaj marde mire pšalen.*

*Te dîne pe gav gadže li,
a tu, ternî xulanî,
i raspode-ka tu
do tre'st'ina baxtaly*

*Do tre'st'ina baxtaly li,
te rostradav gav gadžen,
i te džal slava baredyr.*

*Te džal slava baredyr da,
po šel berš li' χ li lačhi,
oh, po šel berš li' χ li lačhi.*

Romani soldiers, recorded in German POW camps

- a) Chemnitz, June 1916: Dimitri Duminik;
- b) Königsbrück, November 1916: Petar Jovanović (Iowanowic)³⁴, Radisav Jovanović (Radisaw Jowanowitsch / Radisao Iowanowic), Mihailo Kostić (Kostitsch / Kos-tic), Stanoi Kostić (Kostic), Jefta Marinković (Marinkowitsch / Marinkowic), Miloš Radulović (Milosch Radulowitsch / Radelowitsch), Mija Nikolić (Nikolitsch), Mili-voj Simić (Milivej / Milivoje Simitsch);
- c) Münster, March 1917: Nestor Yefimovich Bavarevich (Nestor Jefimowitsch Ba-waréwitsch);
- d) Lamsdorf, August 1917: Anton Altomoi, Mihai Dinu, Ioan Florea, Neculai Floria (Mihai / Nikolai Florja), Alexandru Jon, Marin Oprea, Ramadan Salibota, Marin Tudor (Tudor Mariu);
- e) Parchim, January 1918: Svetko Josić (Swetko Jossitsch).

Archival sources: Sound recordings und accompanying documentation

- 1) Sammlung Lautarchiv, Humboldt-Universität zu Berlin, Zentralinstitut Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik (<http://www.sammlungen.hu-berlin.de/sammlungen/78/>), recordings: a) PK 369; b) PK 519, 520, 523–527, 533–537, 546, 547, 578; c) PK 758–760; d) PK 1005–1007, 1015, 1016, 1029, 1030, 1048, 1045, 1050; pertinent *Personal-Bögen* (filled pre-printed “personal sheets”).
- 2) Phonographische Kommission, Walzensammlung (Ident.Nr. VII WS 238), Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Ethnologisches Museum, Phono-gramm-Archiv, recordings: b) Phon.Komm. 407–412, 414–427, 432–439, 451, 452b, 471–473; c) Phon.Komm. 579–582; d) Phon.Komm. 723–725, 731, 734, 738, 751, 752–755; e) Phon.Komm. 805, 806, 809, 815, 817;
Schünemann, Georg. 1916–1918. *Protokollhefte* (partly with filled questionnaire forms), *Texthefte*, online accessible in the Multimedia section of the pertinent recordings at <http://smb-digital.de/eMuseumPlus>.
- 3) Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences, Vienna: Collection “Kriegsgefangene 1915–1918”, recording Ph 2607, protocol; Heinschink Collection 1960–1995.

³⁴ Slavic names are written according to current transcription standards, with differing original writing in brackets.

References

- Acković, Vesna. 1999. *Vokalna Muzika Roma U Jugoslaviji – Vocal Romas Music in Yugoslavia*. Beograd: Rrom-interpress.
- Berner, Margit. 2003. Die “rassenkundlichen” Untersuchungen der Wiener Anthropologen in Kriegsgefangenenlagern 1915-1918. *Zeitgeschichte* 30 (3): 124-136.
- Berner, Margit. 2010. Large-Scale Anthropological Surveys in Austria-Hungary, 1871-1918. In: Reinhard Johler / Christian Marchetti, / Monique Scheer. eds. 2010. *Doing Anthropology in Wartime and War Zones: World War I and the Cultural Sciences in Europe*. Bielefeld: Transcript: 233-253.
- Berner, Margit / Hoffmann, Anette / Lange, Britta. 2011. *Sensible Sammlungen. Aus dem anthropologischen Depot*. Hamburg: Fundus.
- Boethlingk, Otto. 1852. Über die Sprache der Zigeuner in Russland. Nach den Grigorjew'schen Aufzeichnungen mitgetheilt. *Bulletin de la Classe de Sciences Historico-Philololique de l' Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg* 10: 1-26.
- Bose, Fritz. 1935. *Lieder der Völker. Die Musikplatten des Instituts für Lautforschung an der Universität Berlin. Katalog und Einführung*. Berlin.
- Constantinescu, Barbu. 1878. *Probă de limba și literatura țiganilor din România*. Bucuresci: Typografia societății academice române.
- Doegen, Wilhelm. 1921. *Kriegsgefangene Völker. Band 1: Der Kriegsgefangenen Haltung und Schicksal in Deutschland*. Berlin.
- Doegen, Wilhelm (ed.). 1925. *Unter fremden Völkern. Eine neue Völkerkunde*. Berlin.
- Druts, Efim / Gessler, Aleksei. 1988. *Narodnye pesni russkikh tsygan*. Moskva: Sovetskiy Kompozitor.
- Fenesz-Juhasz, Christiane. 2001. Sound Documents of Rom Music in the Vienna Phonogrammarchiv: Researchers and their ‘Objects’. In: Svanibor Pettan / Adelaida Reyes / Masa Komavec. eds. *Music and Minorities. Proceedings of the 1st International Meeting of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group Music and Minorities, Ljubljana, Slovenia, June 25-30, 2000*. Ljubljana: 159-176.
- Fuhrmann, Wolfgang. 2010. Ethnographic Films from Prisoner-of-War Camps and the Aesthetics of Early Cinema. In: Reinhard Johler / Christian Marchetti / Monique Scheer. eds. *Doing Anthropology in Wartime and War Zones: World War I and the Cultural Sciences in Europe*. Bielefeld: Transcript: 337-351.
- Gjorgjević, Tihomir R. 1906. *Die Zigeuner in Serbien, II. Teil*. (= Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn 8/2).
- Gschwendtner, Andrea. 1991a. *Als Anthropologe im Kriegsgefangenenlager – Rudolf Pöchs Filmaufnahmen im Jahre 1915*. Film P 2208 des ÖWF. Wien: Österreichisches Bundesinstitut für den Wissenschaftlichen Film. <http://www.mediathek.at/atom/018AAA18-300-025D5-00000484-0189A3E5>
- Gschwendtner, Andrea. 1991b. *Als Anthropologe im Kriegsgefangenenlager – Rudolf Pöchs Filmaufnahmen im Jahre 1915*. Begleitveröffentlichung zum wissenschaftlichen Film P 2208 des ÖWF. *Wissenschaftlicher Film* 42: 105-118.
- Hemetek Ursula et. al. 1992. *Romane gila. Lieder und Tänze der Roma in Österreich*. Kassette [= MC] mit Begleitheft (= IDI-Ton 23). Wien.
- Hessische Biografie. 2013. Jacobsohn, Hermann. <http://www.lagis-hessen.de/pnd/117047384>
- Hoffmann, Anette. 2014. Echoes of the Great War: The recordings of African prisoners in the First World War. *Open Arts Journal* 3: 7-23. <http://dx.doi.org/10.5456/issn.2050-3679/2014s11ah>.

- Jacobsohn, Hermann. 1925. Serben. In: Wilhelm Doegen. ed. *Unter fremden Völkern. Eine neue Völkerkunde*. Berlin: 318-337.
- Jones, Heather / Hinz, Uta. 2014. Prisoners of War (Germany). In: *1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War*, ed. by Ute Daniel et al., issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. <http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10387>
- Knobloch, Johann. 1985. Lewy, Ernst. *Neue Deutsche Biographie* 14: 418-419.
<https://www.deutsche-biographie.de/pnd124188575.html>
- Lach, Robert. 1933. Gesänge russischer Kriegsgefangener. I. Band: Finnisch-ugrische Völker. 2. Abteilung: Mordwinische Gesänge. Transkription und Übersetzung der mordwinischen Originalliedertexte v. Ernst Lewy. *Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften in Wien* 205/2: 1-117.
- Lange, Britta. 2008. Die Welt im Ton. In deutschen Sonderlagern für Kolonialsoldaten entstanden ab 1915 einzigartige Aufnahmen. *informationszentrum 3. welt*: 22-25.
<http://www.freiburg-postkolonial.de/S Seiten/Lange-Welt-im-Ton.htm> (2015-10-01)
- Lange, Britta. 2011. "Denken Sie selber über diese Sache nach ..." Tonaufnahmen in deutschen Gefangenengelagern des Ersten Weltkriegs. In: Margit Berner / Anette Hoffmann / Britta Lange. *Sensible Sammlungen. Aus dem anthropologischen Depot*. Hamburg: Fundus: 89-128.
- Lange, Britta. 2013. *Die Wiener Forschungen an Kriegsgefangenen 1915-1918. Anthropologische und ethnografische Verfahren im Lager* (= Veröffentlichungen zur Sozialanthropologie 17). Wien: VÖAW.
- Lebzelter, Viktor. 1922. Anthropologische Untersuchungen an serbischen Zigeunern. *Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien* 52: 23-43.
- Lewy, Ernst. 1925. Die Zigeuner. In: Wilhelm Doegen. ed. *Unter fremden Völkern. Eine neue Völkerkunde*. Berlin: 167-176.
- Maas, Utz. 2016a. Jacobsohn, Hermann. In: Utz Maas. *Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger SprachforscherInnen, 1933-1945*. Universität Osnabrück.
<https://esf.uni-osnabrueck.de/index.php/module-styles/j/271-jacobsohn-hermann> (2016-08-08)
- Maas, Utz. 2016b. Lewy, Ernst. In: Utz Maas. *Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger SprachforscherInnen, 1933-1945*. Universität Osnabrück.
<https://esf.uni-osnabrueck.de/index.php/module-styles/l/317-lewy-ernst> (2016-08-08)
- Maier-Metz, Harald. 2000. Hermann Jacobsohn – Sein Leben. In: Ruth Verroen / Waltraud Burger / Richard Stumm. eds. *Leben Sie? Die Geschichte der deutsch-jüdischen Familie Jacobsohn. Begleitbuch zu gleichnamigen Ausstellung vom 11. Januar bis 27. Februar 2000 in der Universitätsbibliothek Marburg*. Marburg: Univ.-Bibliothek: 57-81.
- Marushniakova, Elena / Popov, Vesselin. 2004. Segmentation vs. consolidation: The example of four Gypsy groups in CIS. *Romani Studies* 14/2: 145-191.
- Miklosich, Franz. 1874. Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europa's III: Die Wanderungen der Zigeuner. Zweiter Theil. Vorgelegt in der Sitzung am 21. Februar 1872. *Denkchriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Classe* 23/1. Wien: Gerold: 1-46.
- Moritz, Verena / Walleczek-Fritz, Julia. 2014. Prisoners of War (Austria-Hungary). In: *1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War*, ed. by Ute Daniel et al., issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. <http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10374>

- Pöch, Rudolf. 1915, 1916a, 1917, 1918. I.-IV. Bericht über die von der Wiener Anthropologischen Gesellschaft in den k.u.k. Kriegsgefangenenlagern veranlaßten Studien. *Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (MAGW)* 45 [1915]: 219-235; MAGW 46 [1916]: 107-131; MAGW 47 [1917]: 77-100; MAGW 48 [1918]: 146-161.
- Pöch, Rudolf. 1916b. Phonographische Aufnahmen in den k.u.k. Kriegsgefangenenlagern. *Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien* 124/125, Abt. III: 21-26.
- Radulescu, Speranța / Iordan, Florin / Mocanu, Steliană (eds.). 2004. *Romi și țigani din satul Gratia, Teleorman – Roma and Gypsies from the Village of Gratia, Teleorman*. CD with booklet. București: Fundația Al. Tzigara Samurcaș / Ethnophonie.
- Scheer, Monique. 2010. Captive Voices: Phonographic Recordings in the German and Austrian Prisoner-of-War Camps of World War I. In: Reinhard Johler / Christian Marchetti / Monique Scheer. eds. *Doing Anthropology in Wartime and War Zones: World War I and the Cultural Sciences in Europe*. Bielefeld: Transcript: 279-309.
- Schünemann, Georg. 1919. *Bericht über die musikalischen Aufnahmen in den deutschen Kriegsgefangenenlagern. Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Ethnologisches Museum, Abt. Musikethnologie, Medientechnik und Berliner Phonogramm-Archiv, Dokumente zu VII WS 238* [Manuscript, 9 pp.].
- Schünemann, Georg. 1936. Zur Katalogisierung der Phonogramm-Archive. *Archiv für Musikforschung* 1: 252-255, 492-493.
- Tcherenkov, Lev N. 2015. Kommentar, Transkriptionen und Übersetzungen zu den Aufnahmen PK 579 – PK 582 im Berliner Phonogramm-Archiv, u. Mitarb. v. Christiane Fennesz-Juhasz. Moskau / Wien [Typescript, 8 pp., submitted to Ethnologisches Museum Berlin, Abt. Musikethnologie, Medientechnik und Berliner Phonogramm-Archiv, November 2015].
- Tcherenkov, Lev / Laederich, Stéphane. 2004. *The Rroma: Otherwise known as Gypsies, Gitanos, Γύρτοι, Tsiganes, Tigani, Çingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende, etc.* Vol. 1-2. Basel: Schwabe.
- Toropov, V. 2009. *Crimean Roma. Language and Folklore*. Ivanovo: Unona.
- Urtel, Hermann. 1925. Romanische Völker. In: Wilhelm Doegen. ed. *Unter fremden Völkern. Eine neue Völkerkunde*. Berlin: 338-350.
- Ziegler, Susanne. 1999. Dokumentation balkanischer Musiktraditionen in Deutschland. Aus den historischen Schallaufnahmen der Preußischen Phonographischen Kommission 1915-1919. In: Bruno B. Reuer. ed. *Musik im Umbruch. Kulturelle Identität und gesellschaftlicher Wandel in Südosteuropa. Beiträge des internationalen Symposiums in Berlin (22.-27. April 1997)*. München: Südostdeutsches Kulturwerk: 378-393.
- Ziegler, Susanne. 2000. The Berlin Phonogram Archives and its role in promoting traditional music in Europe. *Tiltai3/12: 31-36. <http://etalpykla.lituanistikadb.lt/obj/LT-LDB-0001;J.04~2000~1367181985013> (2015-10-01)*
- Ziehm, Elsa. 1939. *Rumänische Volksmusik dargestellt an den Schallaufnahmen des Instituts für Lautforschung an der Universität Berlin. Unter Leitung und Mitarbeit von Fritz Bose*. Berlin.

*Victor A. Friedman*¹

The Arli of Skopje: A perceptual dialectological approach

1 Introduction

It is an honor for me to dedicate this article to the memory of Lev Čerenkov. Ventcel' Čerenkov (1978) provided us with one of the best and most coherent overviews of Romani dialectology available at the time. Subsequent research has revealed larger groupings in some cases, and smaller ones in others, and here Tscherenkov/Laederich (2004) has provided us with much important material.² In this contribution I wish to supplement the information provided by Tscherenkov/Laederich (2004: 451-489) concerning the *Arli* dialect, particularly the subdialects spoken in Skopje. My approach here will be that of perceptual dialectology (cf. Preston 1999), that is I will be looking at features that speakers themselves consider diagnostic.

As it turns out, the features perceived as diagnostic are features that linguists, too, consider important, although speakers generally formulate their judgments in terms of specific words or stereotyped pronunciations. Of these, the fate of underlying velars before front vowels and dentals in the first person aorist and the treatment of etymological final /s/ are especially salient. In the case of first person aorists, the verb 'do' is frequently cited by speakers themselves as diagnostic, as it also includes velar before front vowel. Another perceptual formulation of difference concerns final /s/. In such cases, speakers of dialects where final /s/ is lost characterize dialects where final /s/ is preserved as "everything they say ends in -s". Of course, in the multilingual

1 This article is based on research I conducted in Skopje thanks to support from the John Simon Guggenheim Foundation and a Fulbright-Hays Faculty Research Fellowship (2008-2009), ACTR/ACCELS Title VIII Research Scholar Grant (2012), and an ACLS /NEH /SSRC International and Area Studies Fellowship (2012-2013). I also wish to thank the Center for Research on Language Diversity of La Trobe University for providing me with time and resources to work on the data collected. None of these organizations is responsible for the content of this article.

2 See especially Matras (2002, 2010) as well as Boretzky/Igra (2004).

and multidialectal environment of Skopje, such differentiation is emblematic without impeding communication. The difference between the multi-dialectal environment of Skopje and the relatively segregated environment of some North American cities is well illustrated by the experience of a friend of mine who is from an old Skopje Romani family and living in America. She encountered a group of Kalderash, i.e. Vlax, speakers in Chicago, and while she had no trouble understanding them owing to her exposure to the multi-dialectal environment of the Šuto Orizari municipality of Skopje, her interlocutors found it difficult to understand her owing to the fact that they were not used to hearing other dialects.

This example brings us to another issue, namely variation over time. Variation between /o/ and /u/ in the desinence of the 1sg aorist is well attested in Balkan Romani dialects, but in my research in Skopje /u/ was consistently used. We can thus speculate that vowel height was not perceived as emblematic, and the higher vowel emerged as dominant in Skopje in general. I should note that I worked with speakers ranging in age from 20 to 80, with varying levels of formal education, but all born in Skopje. Boretzky (1998: 12) observes of Skopje that “seven groups of Arlije are said to co-exist, but little is known about the linguistic differences.” Ten years later, Boretzky/Cech/Igla (2008), which builds on Boretzky/Igla (2004), gives considerably more details about *Arli* dialects. However, Skopje is still only one point, albeit sometimes with variations indicated (but not identified by group). Cech/Heinschink/Halwachs (2009: 245–257) provide an excellent outline of many important features pertaining to *Arli* in southern Serbia and Kosovo, but the material from Skopje was not differentiated by sub-groups.³

2 The Major Romani Dialects of Skopje

In terms of Tscherenkov/Laederich’s (2004: 451–489) classification, there are two major groups represented in Skopje identified by them as the Balkan Metagroup, and the Old Vlax group, which is sometimes also referred to as the South Vlax group. It is worth noting, perhaps, that the dialectal differentiation between Balkan and Vlax groups appears to date from the period of exodus from the Balkans and not earlier, and that it may already have been underway in Rumelia before the exodus of Romans north of the lower course of the Danube. This is suggested by evidence from the oldest text that we have in Rumelian Romani, from 1666 (Friedman/Dankoff 1991), as well as arguments adduced by Matras (2005).⁴

3 Cf. Marushiakova (1992) and Marushiakova/Popov (2001, 2009) on the use of small differences among speakers of closely related Romani dialects in Bulgaria to serve as markers of differentiation.

4 See Boretzky (2007) for a different classificational approach.

From an emic point of view, there are three major Romani groups in Skopje, and these are most frequently referred to by their speakers as *Arli*, *Kovač*, and *Džambaz*. The first is from Turkish *yerli* ‘local, settled’, the second from ‘[black]smith’ in Macedonian and many other Slavic languages, and the third is a Turkism from Persian meaning ‘horse-dealer, acrobat, etc.’⁵ Although Jusuf/Kepeski (1980: 8-9) use the term *Burgudži* ‘gimlet-maker’ (from Turkish), and this term is met with elsewhere in Macedonia and Kosovo, it is not the usual term in Skopje.⁶ As their name indicates, *Kovač* speakers were traditionally blacksmiths, but were also engaged in other crafts (*esnaf*). *Arli* speakers were often agricultural workers, although some were also shopkeepers. *Džambaz* speakers were engaged exclusively in trade and were sometimes peripatetic. In etic terms, the *Arli* and *Kovač* dialects belong to distinct sub-groups within the Balkan group (sometimes called Balkan I and Balkan II, respectively), while *Džambaz* is a South Vlax dialect. Traditionally, the three groups lived in separated sections of traditional Romani mahalas such as *Topaana*, *Topansko Pole*, and *Dukjandžik*, and they did not intermarry or socialize, although there were some common spaces where different groups would mingle on special occasions such as St. George’s Day (*Herdelezi*).⁷

This situation changed drastically as a result of the terrible earthquake of 26 July 1963, the epicenter of which was the center of Skopje. The traditional Romani mahalas were located in the area of “very heavy damage” – outside the area of “total destruction” – which was an area where many of the buildings were so heavily damaged that they had to be demolished. After the earthquake, Romani families were given the option of new housing in what is now the Municipality of Šuto Orizari, at the northern edge of metropolitan Skopje. The majority of Romani families chose to

-
- 5 The development *yerli* > *arli* appears to show the Slavic development of *ye-* > *e-* (e.g. Turkish *yemiş* ‘fruit’ > Macedonian and Bulgarian *emiš*) followed by the shift of initial *e* to *a* seen in Modern Greek (e.g., Ancient Greek *ergatēs* ‘workman’ > Modern Greek *argátes* > Modern Macedonian *árgat* ‘[day] laborer’).
 - 6 In Kosovo, *Bugurdži* is the result of metathesis. Other names known in Skopje are *Kalajdži* ‘tinsmith’ (WRTurkish), *Arabadži* ‘cart-driver’ (WRTurkish). Bulgarian *Drăndar* ‘wool-comber’ is also used for a related dialect in Bulgaria, but the Macedonian equivalent, *drndač* is not used. Speakers of *Džambaz* are also known as *Gurbet*, *Vlaho* (and *Vlahitsko*), *Čergar*, *Leaš*, and *Kalderaš* with meanings ‘economic migrant (Turkish & Slavic via Turkish), Romanian/Wallachian (via Slavic), tent-dweller (Turkish via Slavic), nomad (Romanian *läes*), kettle-maker (Romanian)’. The professiononyms *Rešetar* (Slavic) ‘sieve-maker’ and *Mečkar* (Slavic) ‘bear-trainer’ were used by some South Vlax speakers but are no longer current in Skopje. Melms (2009) mentions the presence a few Mečkar and Gurbet families in Šuto Orizari. In Albania, Mečkar is an *Arli* dialect, but cf. the *Ursar* ‘bear-trainer’ (Romanian) dialect of the eastern Balkans, which is South Vlax.
 - 7 According to Kǎnčov (1898: 31) there was a Romani quarter in the western part of the district immediately across the Stone Bridge and bounded on the south by the old railroad station and train tracks. In those days, the district was called *Karšijaka* (or *Karši Jaka*) or *Prekomost*. Today the name *Karšijak* is used for a region that includes villages south and southeast of Skopje as well as some adjacent parts of Skopje proper, but this appears to have been the case even in Kǎnčov’s time (Kǎnčov 1900: 205-206).

move to *Šuto Orizari*, although the traditional mahalas still have Romani populations, and there are Romani families living in every municipality of Skopje. The housing, however, was assigned randomly, so that speakers of the various dialects and members of the various subgroups found themselves living nextdoor to one another. As a result of the combination of the cultural conventions of neighborly relations and the effects of modernization, the old boundaries were broken down, and today the majority of Romani marriages in Skopje are “mixed” in the sense that the old dialectally marked social boundaries no longer apply.⁸ Nonetheless, the older generations are all well aware of, and still speak, their local varieties, and many younger speakers do, too, depending on circumstances. Among the youngest generation, however, a koine is emerging that will in all likelihood erase the picture that can still be reconstructed at present.

3 The Arli Dialects of Skopje

Skopje is, perhaps, unique in the number of groups all of whom identify as *Arli* but with distinct subdivisions going back for generations. My own fieldwork confirmed Boretzky’s (1998) observation that the number of such sub-dialects traditionally recognized in a fashion that, following Bugarski (1992: 11), we can call autochthonous, is seven.⁹ This is the number that Roms themselves recognized as living in Skopje until the 1963 earthquake (or shortly thereafter). As Boretzky/Cech/Igla (2008) observe, and as I have observed in the course of my own fieldwork, today’s Skopje is home to Romani dialects from all over Macedonia – and beyond – just as it is home to speakers of Macedonian, Albanian, Turkish, Aromanian, and other dialects from all over the Republic and the region. Thus, the situation as I describe it here, is, in a sense, on the verge of disappearing. At the same time, it represents an historically contingent moment that carries within it the more or less modern history of the Balkans. As such, it attests to a point made by Tscherenkov/Laederich (2004: 453), that Romani groups in Europe have most often shared the fate of other (but not all) European groups, while nonetheless preserving their linguistic and cultural distinctness.

The seven *Arli* dialects traditionally associated with Skopje are *Topaanli*, *Barutči*, *Konopar*, *Madžur*, *Prištevač*, *Gilanli*, and *Gavutno*. *Topaanli* represents the oldest Skopje town dialect, spoken by Roms who lived in what was originally known as *Yeni Mahala* ‘New Quarter’, on the outskirts of what was then Skopje, and also

8 To the extent that dialect-based separation still exists, it is generally connected to socio-economic status.

9 Bugarski (1992: 11) uses this term for languages “spoken natively on [the relevant] territory for at least a century or so.”

the location of an armaments factory, whence the Turkish *Tophane* and Macedonian *Topaana*. The neighborhood is northeast of the old bazaar quarter (Macedonian *Stara Čaršija*), and its location at what was once the edge of town is confirmed by the names of the districts immediately to its north and east, *Topansko Pole* and *Čair*, respectively. The former is Macedonian for ‘Topaana field’ and the latter is Turkish for ‘field, meadow, pasture, etc.’ Before the Balkan Wars, these were the property of Yaşar Bey Kumbaracı, one of whose daughters (Olivera Jašar-Nasteva 1922–2000) was the leading expert on Turkish, Albanian, and Romani lexical elements in Macedonian. His house became the *Museum of the Albanian Liberation Struggle* in Macedonia in 2008. Roms living in the adjacent mahala were among those who worked in the fields, although some were also shopkeepers.

The next oldest group in Skopje are the speakers of *Barutči*, whose name is from Turkish *barut* ‘gunpowder’.¹⁰ These speakers were originally identified as slag collectors and other workers at or near the Ottoman gunpowder factory in *Jurumleri* – Turkish *Ürünleri*, cf. Turkish *ürün* ‘product’ – and adjacent villages east of Skopje. They migrated to Skopje at some time in the past prior to other groups, and are considered to be the second most long-settled group in Skopje.

The *Konopar* dialect is said to have arrived from *Saraj*, which is west of Skopje, but also from *Madžari*, a village to the northeast of Skopje, as well as from Kosovo and southern Serbia. The meaning of *konop* is ‘rope, hemp’, and the dialect is also referred to as *Jažar* or *Južar* ultimately from Common Slavic *ðže ‘rope, bond’. The reflex /u/ for back nasal, in this context, represents the northern Macedonian reflex, while /a/ represents the central Macedonian development. The prosthetic /j/ is distinctly West Macedonian (as opposed to Serbian, which lacks this development) and thus locates both these latter forms within Macedonia. Cech/Heinschink/Halwachs (2009: 251–253) discuss the *Konopljara* (with the Serbian reflex of *p+j*) of Serbia itself, among whom there is a group living in north Serbia that is Orthodox Christian, unlike almost all *Arlije*, who are Muslim. Some Skopje *Konopari* also came from Kosovo and the adjacent *Preshevo-Bujanovac-Medvedje* region of Serbia.

The *Madžur* dialect by its very name implies an outsider, since its etymology derives ultimately from a Turkish word meaning ‘emigrant, immigrant, refugee’. In Standard Turkish, the form is *muhacir*. In the West Rumelian Turkish dialects that are, or were, spoken in Macedonia, Kosovo, Serbia, and adjacent regions, Turkish high front *i* is backed to high back *ı* in final closed syllables, and /h/ is usually lost, giving the dialectal form *muacir*. The /a/ in the word is long and the /u/ is unstressed, resulting in a monophthongization to *macir*. The treatment of the Turkish high back

10 Despite Boretzky’s (1998) spelling *Baruči*, some older speakers still have a delayed release. Standard Turkish would be *barutçu*, but final high vowels are all neutralized to /i/ in West Rumelian Turkish.

unrounded vowel shows considerable variation. In the West Central dialects of Macedonia, it is treated like schwa, which gives /a/ (*Madžar*), already seen in the toponym *Madžari* cited above. The North Macedonian dialects, to which the Skopje town dialect belongs, behave like Serbian in this respect, with a rounding of *i* to *u* in final closed syllables, whence *Madžur* (cf. Turkish *hazır* ‘ready’ > *hazur*). Finally, the form *Madžir*, which is closer to East Rumelian and Standard Turkish, also sometimes occurs. As the northern border of Turkey in Europe retreated southward and eastward during the course of the nineteenth century, but especially in the wake of the Ottoman defeats of 1878 and 1912, as well as the upheavals both before and after those dates, including numerous rebellions, World War One, and other events, large numbers of Muslims retreated from former Ottoman territories to remaining Ottoman territories (see McCarthy 2002), and Romani speakers were among these Muslims. It is worth emphasizing here that in this retreat Roma were sharing the fate of their fellow-Muslims (cf. Friedman 2015: 186), and that while in the context of *Arli* dialects in Skopje *Madžur* has a specific referent, the fate of being a *muhacir* was shared by Romani and non-Romani Muslims alike.

Two dialects of *Arli* in Skopje have names that refer to their having arrived from Kosovo: the *Prištevač* and *Gilanli* named for the Kosovo towns of *Prishtina* and *Gilan* (Serbian *Gnjilane*, Albanian *Gjilan*), respectively. The form *Prištevač* is specifically Serbian.¹¹ The form *Gilanli* is (West Rumelian) Turkish.¹² These are town dialects whose speakers had marriage connections with the *Topaanli*.¹³ At least some of the speakers came to Skopje during World War Two for reasons of personal safety. At the time, Kosovo was part of Albania while Skopje – the nearest big town – was in Bulgaria.

The seventh dialect, *Gavutno*, derives its name from Romani *gav* ‘village’. These speakers are mostly from villages east of Skopje such as *Aračinovo*, *Asanbegovo* (now *Čento*, known as *Singelikj* in the second Yugoslavia), *Stajkovci*, *Trubarevo*, etc. Most of these speakers arrived as part of the general wave of migration from village to town, especially after the 1963 earthquake. Dunin (1998: 58) gives a map showing the locations of all the Romani groups living in and near *Topaana* before the 1963 earthquake, with the exception of the *Gilanli*, who were with the *Prištevcı*, the *Konopari*, who were with the *Madžuri*, and the *Gavutne*, who, for the most part, arrived after the earthquake.¹⁴

11 Turkish uses *Priştineli* and Albanian has *Prishtinali*.

12 Albanian is *Gjilanas*.

13 According to Cech, Heinschink, and Halwachs (2009: 254–255), there were several *Arli* and South Vlax variants spoken in Prishtina prior to the 1999 war. Unfortunately, these communities have all been driven out of Prishtina, and these once vibrant communities have been displaced. See the above reference for additional details.

14 I wish to thank Elsie Dunin for confirming the location of *Gilanli*.

4 Diagnostic Features

Table 1 gives a summary of selected features that are diagnostic of differences among the Romani dialects of Skopje of which speakers themselves are aware. As noted above, these are among the features often identified by linguists. Features 1 and 2 in Table 1 illustrate several phonological and grammatical features, the latter connected with aorist formation. Features 3 and 4 illustrate the fate of original /s/ in certain intervocalic and final morphophonemic positions. The fate of /s/ is also connected with various realizations of forms of the verb 'be' illustrated in Features 5-7. Feature 8 is phonological and Feature 9 is lexical.

Table 1: Synopsis of Diagnostic Skopje Romani Features

Feature no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Feature	1sg.aorist 'I did'	1pl.aorist 'we did'	Intervocalic -s- instr.2sg/ 1pl.prs -esa, -asa	acc.sg & short prs final -s	'be' 1sg (& c)	'be' 3prs	'be' 3impf	<i>nj</i> > <i>(j)n</i>	'thus'
Topaanli	<i>kerdum</i>	<i>kerdem</i>	-s- > Ø	-s > Ø	<i>i(n)jum</i>	<i>i</i>	<i>ine</i>	<i>(j)n</i>	<i>akhal</i>
Barutči	<i>kerdum</i>	<i>kerdem</i>	-s- > Ø	-s > Ø	<i>sijum</i>	<i>i</i>	<i>(s)ine</i>	<i>nj</i>	<i>akhal</i>
Madžur	<i>ćerdjum</i>	<i>ćerdjem</i>	-s- > Ø	-s > Ø	<i>sijum</i>	<i>si</i>	<i>sine</i>	<i>nj</i>	<i>agjaar</i>
Konopar	<i>ćerdjum</i>	<i>ćerdjam</i>	-s- > Ø	-s = -s	<i>hijum</i>	<i>hi</i>	<i>hine</i>	<i>nj</i>	<i>agjaar</i>
Prištevač	<i>ćerdžum</i>	<i>ćerdžam</i>	-s- > Ø	-s = -s	<i>sijum</i>	<i>i</i>	<i>sine</i>	<i>nj</i>	<i>agjaar</i>
Prishtina-k	<i>kerdjum</i>	—	-s- > Ø	-s > Ø	<i>sijum</i>	<i>i</i>	<i>sine</i>	<i>nj</i>	—
Prishtina-19	<i>kerdjum</i>	<i>kerdjam</i>	-s- > -h-	-s > Ø	<i>hijum</i>	<i>isi/</i> <i>i</i>	<i>hine</i>	<i>nj</i>	—
Prishtina-20/21	<i>kerdžum</i>	<i>kerdžam</i>	-s- > -h-	-s > Ø	<i>sijum</i>	<i>si</i>	<i>sine</i>	<i>nj</i>	<i>adža[ha]re</i>
Prishtina-22	<i>kerdžum</i>	<i>kerdžam</i>	-s- > -h-	-s > Ø	<i>hijum</i>	<i>isi/</i> <i>si/i</i>	<i>hine</i>	<i>nj</i>	<i>adžahar[e]</i> <i>adžaar</i>
Prishtina-23	<i>ćerdjum</i>	<i>kerdžam</i>	—	-s > Ø	—	<i>isi</i>	—	<i>nj</i>	—
Gilanli	<i>ćerdžum</i>	<i>ćerdžam</i>	-s- > Ø	-s > Ø	<i>sijum</i>	<i>i</i>	<i>sine</i>	<i>nj</i>	<i>agjaar</i>
Gavutno	<i>kjergjum</i>	<i>kjergjam</i>	-s-	-s = -s	<i>sijum</i>	<i>si</i>	<i>sine</i>	<i>nj</i>	<i>aškar</i>
Kovač	<i>kerdzum</i>	<i>kerdzam</i>	-s-	-s = -s	<i>sjud</i>	<i>si</i>	<i>sine</i>	<i>nj</i>	<i>kid(i)jal</i>
Džambaz	<i>kerdem</i>	<i>kerdam</i>	-s-	-s = -s	<i>sem</i>	<i>si</i>	<i>sas</i>	<i>nj</i>	<i>gəja</i>

- Feature 1 illustrates the phonological treatment of velars before front vowels, the jotation of dentals, whether there is jotation in the aorist, and the shape of the 1SG.AORIST desinence.
- Feature 2 substitutes the 1PL.AORIST desinence.
- Feature 3 concerns the presence versus absence of intervocalic /s/ in the instrumental singular and long form 2SG and 1PL.PRESENT, e.g. *phuresa* ‘with the old man’ *pheresa* ‘you fill’ *pherasa* ‘we fall’ versus *phurea*, *phrea*, *pheraa*.¹⁵
- Feature 4 concerns the presence versus absence of /s/ in final position. Here the accusative singular of animate nouns as well as the sort present 2SG and 1PL are illustrative, e.g. *phures*, *pheres*, *pheras* vs *phure*, *phere*, *phe*.
- Features 5-7 are all concerned with the presence versus absence of initial /s/ in forms of the verb meaning ‘be’ as well as other details as illustrated in the table.¹⁶
- Feature 8 can be illustrated with the vocative plural of *Romni*: *Romnalen* vs *Romnjalen*, cf. also *khajni* vs *khanji* ‘hen’.
- Feature 9 is a lexical item that speakers themselves are aware of as differentiating their respective dialects.

As can be seen from Table 1, In terms of the treatment of palatals and jotted consonants, dialects with historical ties to Kosovo or the northern Macedonian/southern Serbian regions show reflexes that align with respective dialects of contact languages, as is also the case for Gavutno vis-à-vis Macedonian, while the older Skopje town dialects seem to have resisted such developments. Other features show varying alignments, although consistency of /s/ deletion seems to be markedly Topaanli, while Gavutno is the most conservative in terms of /s/ preservation for *Skopje Arli*. This may reflect an old urban/rural divide.

In addition to the data I collected in Skopje, I have added material based on published texts in various types of *Prishtina Arli*, viz. Kochanowski (1963: 146-147) and Cech/Heinschink/Halwachs (2009: 146-182). The material from Kochanowski is labeled Prishtina-K, while the material from Cech, Heinschink, and Halwachs is labeled Prishtina followed by the number of the tale in the collection (see also note 11). The data from these published sources has been adapted orthographically to the system used in this article. Also, in some cases when an actual lexical form did not occur in the text but its shape could be predicted from other forms in the text, I have supplied the predictable

15 The reflex /h/ from original /s/ can be seen as transitional to complete loss. In some dialects a /j/ will be inserted to fill in the hiatus resulting from complete loss, and in some two identical vowels will result in a single longer vowel rather than two syllable peaks. The same is true of the Macedonian dialects in Macedonia, and a study of relative distributions is a desideratum.

16 See especially Matras (1999, 2002: 68-71) on /s/ deletion and Boretzky (1995) on the copula.

form for the sake of ease of comparison. In the case of Prishtina-23, the data for 1sg aorist and 1pl aorist were contradictory, and I have left this as such in the table.

As can be seen from a comparison of the data, the material from the *Arli* dialects of Prishtina do not correspond exactly to the *Prištevač* nor to any other of the *Arli* dialects of Skopje. The dialect that became *Prištevač Arli* in Skopje was presumably spoken in one of the mahalas referred to in note 11. Of particular interest is the fact that the neutralization of the contrast mellow/strident in favor of strident palatal, which is characteristic of the Albanian, Slavic, and Turkish dialects of Kosovo and is shared by the *Prištevač* dialect of *Skopje Arli* (as seen in features 1 and 2 of Table 1) is not recorded to the same extent, or, at times, even at all, for the published texts from Prishtina. This suggests the possibility that *Prištevač Arli* in Skopje actually represents an older Prishtina dialect than those in the recorded texts, as the convergent phonology is suggestive of longer local contact.

5 Conclusion

Boretzky's (1998: 12) speculation that the differences among *Skopje Arli* dialects might reflect an older dialect continuum may well be correct, although trying to reconstruct what it may have looked like remains a task for the future. Of particular significance in this respect is the possibility that *Skopje Prištevač* represents an older layer of *Prishtina Arli*, although we cannot exclude the possibility that this dialect was also spoken in one or more of the Prishtina mahalas before the 1999 war. We can also note here that the *Kumanovo* and *Prilep Arli* dialects as illustrated in Tcherenkov/Laederich (2004: 923-940) as well as other sources (Boretzky/Igla 2004, Boretzky/Cech/Igla 2008, my own fieldwork with *Kumanovo Arli*) show different combinations of these diagnostic features from those illustrated for Skopje. It is clear that much can still be done to elucidate the Romani dialectal situation in Macedonia and neighboring regions, and it is my hope that this article honoring the memory of Lev Čerenkov has contributed to that work.

Acknowledgments

The field work on which this article is based was conducted while I was in the Republic of Macedonia with Fulbright-Hays Post-Doctoral Fellowship and a fellowship from the John Simon Guggenheim Foundation, to which I hereby express my gratitude. I also wish to thank all my consultants, among whom were Elez Beslim, Fatima Demir, Ljatif Demir, Ferki Demirovski, Denis Durmiš, Ceka Eminovski, Džavit Eminovski, Enisa Eminovska, Ramiza Eminovska, Azbijja Memedova, Denis Osmani, Afrodita Salievska, Sali Salievska, Engo Serbez, Didar Šerif, Hajredin Šerif. Thanks, too, to Elsie Dunin for sharing her maps and also results of her own research. None of these individuals or organizations are responsible for the opinions expressed herein.

References

- Boretzky, Norbert. 1995. Der Entwicklung der Kopula im Romani. *Grazer Linguistische Studien* 43: 1-50.
- Boretzky, Norbert. 1998. Areal and Insular Dialects and the Case of Romani. *Grazer Linguistische Studien* 50: 1-27.
- Boretzky, Norbert. 2007. The Differentiation of the Romani Dialects. *Sprachtypologie und Universalienforschung* 60/4: 3 14-336.
- Boretzky, Norbert / Igla, Birgit. 2004. *Kommentierter Dialektatlas des Romani*, 2 vols. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Boretzky; Norbert / Cech, Petra / Igla, Birgit. 2008. *Die Südostkaukasischen Dialekte (SB I) des Romani und ihre innere Gliederung*. Graz: Grazer Linguistische Monographien.
- Bugarski, Ranko. 1992. Language in Yugoslavia: Situation, Policy, Planning. In: Ranko Bugarski / Celia Hawkesworth. eds. *Language Planning in Yugoslavia*. Bloomington: Slavica: 9-26.
- Cech, Petra / Heinschink, Mozes F. / Halwachs, Dieter W. 2009. *Kerzen und Limonen: Märchen der Arlje/Momelja hem limonja: Arlijengere paramisja*. Klagenfurt/Celovec: Drava.
- Dunin, Elsie Ivančić. 1998. *Gypsy St. George's Day: Coming of Summer, Skopje, Macedonia, 1967-1997. Romski Čurđovden. Romano gjurđovdani - erdelezi*. Skopje: Romano Ilo.
- Friedman, Victor A. / Dankoff, Robert. 1991. The Earliest Text in Balkan (Rumelian) Romani: A Passage from Evliya Çelebi's Seyâhat-nâme. *Journal of the Gypsy Lore Society*, Fifth Series 1/1: 1-20.
- Kăńčov, Vasil. 1900. *Makedonija: Etnografija i statistika*. Sofia: Băgarsko knižovno družestvo.
- Kăńčov, Vasil. 1898. Skopje: Beležki za negovoto nastojašte i minalo. *Periodičesko spisanie na bălgarsko knižovno društvo* Vol. 11, Nos. 55-56.
- Kepeski, Krume / Jusuf, Šaip. 1980. *Romani gramatika – Romska gramatika*. Skopje: Nasa Kniga.
- Kochanowski, Jan. 1963. *Gypsy Studies, Part I*. New Delhi: International Academy of Indian Culture.
- McCarthy, Justin. 2002. *Population History of the Middle East and the Balkans*. Istanbul: Isis.
- Marushikova, Elena. 1992. Ethnic identity among Gypsy Groups in Bulgaria. *Journal of the Gypsy Lore Society*, Fifth Series, 2/2: 95-117
- Marushikova, Elena / Popov, Vesselin. 2001. Dialect, Language and Identity of the Gypsies. (In Case of Bulgaria). In: Thomas Stoltz / Birgit Igla. eds. *Was ich noch sagen wollte... A multilingual Festschrift for Norbert Boretzky on occasion of his 65th birthday*. Berlin: Academie: 423-430.
- Marushikova, Elena / Popov, Vesselin. 2009. Etnonimy a profesjonimy. Grupy Cyganów na Balkanach. *Studia Romologica* 2: 177-198.

- Matras, Yaron 1999. S/H Alternation in Romani: A Historical and Functional Interpretation. *Grazer Linguistische Studien* 51: 99-129.
- Matras, Yaron. 2002. *Romani: A Linguistic Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Matras, Yaron. 2005. The Classification of Romani dialects: A Geographical-Historical Perspective. In: Barbara Schrammel / Dieter W. Halwachs / Gerd Ambrosch. eds. *General and Applied Romani Linguistics: Proceedings from the 5th International Conference on Romani Linguistics*. Munich: Lincom: 7-22
- Matras, Yaron. 2010. *Romani in Britain: The Afterlife of a language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Melms, Maria. 2009. Hochzeiten in Shutka: performative Tendenzen in Zigeunerkulturen. *Netzwerken Gypsy/Romani Studies*. <http://netzwerken.wordpress.com/2009/06/19/hochzeiten-in-shutka> (2012-07-31)
- Preston, Denis R. ed. 1999. *Handbook of Perceptual dialectology, 2 vols.* Amsterdam: Benjamins.
- Tcherenkov, Lev / Laderich, Stéphane. 2004. *The Rroma, 2 vols.* Basel: Schwabe.
- Ventcel', Tatjana. V. / Čerenkov, Lev N. 1976. Dialekty cyganskogo jazyka. In: N.I. Konrad. ed. *Jazyki Azii i Afriki I: Indo-Europejskie jazyki*. Moscow: Nauka: 283-332.

Kimmo Granqvist

Finnish Romani and its dialectology¹

1 Introduction

In this paper, I will discuss Finnish Romani (FR) as a Northwestern Romani dialect in relationship to (German) Sinti as well as sub-dialects of FR in contact with Swedish and Finnish but also the remnants of Scandinavian Romani (or Scandoromani) and North Russian Romani. In addition, I will discuss methods of dialectology in particular in case of a highly attrited language variety and of a mobile population. As a further goal, I will contribute to the discussion of models of Romani dialectology.

FR structure and development, in particular the relationship between the Finnish language and attrition have been studied for a long time (e.g. Ariste 1938; Valtonen 1968; Brandt 2001; Pirttisaari 2002; Granqvist 2007). A few FR language grammars (Bourgeois 1911; Hedman 1996; Granqvist 2011) have been published, but a comprehensive grammatical description geared toward the international research community is still lacking. A systematic historical overview of FR has not been undertaken until now (Granqvist forthcoming). FR language development can be traced through preserved written sources and accounts, many of which still remain unpublished.

The largest data on Romani dialectology is in the *Manchester University Romani Morphosyntax Database* (RMS, Matras/Elšík 2001a). The main published source on the dialectology of the European Romani varieties is the dialectological atlas published by Boretzky/Igla (2004). In the atlas, however, the Romani varieties of Finland, Latvia and Lithuania are each represented only by a single point on the map, and Estonia is not represented at all. Until now, the dialect geography has been described in detail for the Balkans (Boretzky/Cech/Igla 2008); Viktor Elšík (Charles University in Prague, 2011-2013) leads an effort to thoroughly describe and map out the variation of Romani dialects in and around the geographic area of Slovakia.

¹ This article is based on the paper *Finnish Romani dialectology: a preliminary sketch* I presented at the 1th International Conference on Romani Linguistics, Oslo, September 15-17, 2014. I am grateful to the participants of the conference for the comments and suggestions regarding the content of this paper. Some parts of this article are based on a preliminary version of an article published Anton Tenser and me in the journal *Finnish Review of East European Studies* (Tenser/Granqvist 2015).

The dialectology of the Northern group has been examined, especially in the 2000s (Bakker 1999; Matras 1999; Granqvist 2007, 2010a, 2010b, 2011; Tenser 2008), but a thorough examination of dialectal variation still remains to be undertaken. Within Finland, little is known about the number of sub-dialects of Romani, although the history of FR dialectology is as long as the history of the documentation of the dialect (Ganander 1780; Valtonen 1968; Granqvist 2007).² Krisfrid Ganander (1780) already pointed out in his prize essay the existence of sub-dialects, but provided misleading examples. The currently known West-East subdivision was documented by Arthur Thesleff (1901), who based his Romani-German dictionary on the Western sub-dialect, but provided lexemes in the Eastern sub-dialect as parallel forms. Also Oskari Jalkio who is most known as the founder of the *Romano Missio* religious child care NGO, referred to the existence of sub-dialects (Jalkio 1913). Pertti Valtonen (1968) was the first one to list linguistic features distinguishing the sub-dialects. Some of the features listed by Valtonen were mentioned in later school textbooks of Romani, by Koivisto (1987) and Hedman (1996). Granqvist (2002, repeated in 2007) published the first dialectological maps of FR based on a spoken Romani corpus (168,000 words, 89 speakers) that was collected by the *Research Institute for the Languages of Finland* in the early 2000s.

Descriptions and classification of Romani dialects have traditionally relied on a genetic model. The model accounts for dialectal variation by proposing that a single variety splits into several varieties, which grow further apart with time, and then divide further in the same fashion. This is the assumption behind the classifications of Romani dialects by Bakker (1999), Boretzky (1999; 2000a; 2000b), and extensively in Boretzky and Igla's (2004) atlas of Romani dialects. The most extensive treatment of the Northeastern and Northwestern dialects in literature so far has been by Bakker (1999), who proposes the term Northern meta-group to combine both groups of dialects. The classification made by Bakker is based on linguistic features, and is concerned with identifying the Northern meta-group as a genetic entity.

A competing geographical diffusion model has been proposed by Matras (2002). The model proposes that the variation among dialects is subject to the geographical continuum and is best accounted for by assuming linguistic contact between the speakers of adjacent territories. This model has been applied to Northeastern Romani in Tenser (2008). The reality and value to the geographical continuum model is hard to dispute given the geographical distribution of many features.

2 On the structure of other northern dialects such as *Sinti* Rüdiger (1782), Finck (1903) and Holzinger (1993, 1995); Latvia and Estonia in the Romani language Manuš (1997), Lithuania's Romani language Tenser (2005), in northern Russia Xaladytkas Sergievskij (1931) and Wentzel (1980), and Poland, Polska Romani dialect Matras (1999), also Tenser (2008). The other dialects of the Romani language grammars such as Boretzky (1994, 2002), Matras (1994), Igla (1996), Cech/Heinschink (1999).

2 Data and methodological considerations

Currently the most extensive source of FR is the data collected as part of the University of Helsinki project *Finnish Romani and other Northern dialects of Romani in the Baltic Sea area* (FINBALROM, 2013–2016).³ For the purposes of this paper, I have analysed a subset of these data comprising 21 samples collected in 2013–2014 using the RMS questionnaire developed by Matras/Elšík (2001b) and their colleagues. Data collection was carried out by two fieldworks assistants: Maruska Lindeman in 2013 and Sari Hedman in 2014, transcriptions by Maruska Lindeman and Mirkka Salo. Additional data used in this work comes in part from the *Manchester University RMS Database* (Matra/Elšík 2001a). These data include all published RMS (<http://romani.humanities.manchester.ac.uk/rms/>) samples of Finnish Romani (6 samples collected in 2002–2005). Data collection and transcriptions were carried out by Katrin Hietamäki and Helena Pirttisaari. The questionnaire has a total of 1,060 questions, focusing on Romani dialectological variation in all areas of morphosyntax, and includes a list of words that can be used to describe the historical phonology and the most prominent lexical variation. In principle, each dialect sample can be used to write a general descriptive grammar of the respective Romani variety.

Map 1 (see appendix) presents the data points. The informants interviewed for the FINBALROM samples comprised 12 women and 9 men between 21 and 84 years of age at the time of recording. The informants interviewed for the RMS samples comprised four women and two men.

Problems of doing FR dialectology are manifold. The recent mobilities or migration of the Finnish Roms within the country affects considerably the geographical distribution of dialectological features; known migration routes of the informants are presented in Map 2. A second problem is language attrition. FR is at a seriously endangered state. According to a survey conducted by Henry Hedman in 2009, only about one third of the Roms – mostly elderly people – master Romani somehow fluently, whereas two thirds say that they know the language at least satisfactorily. Characteristically FR is not exclusively used as a home language by any Rom, in fact more than half of the Roms only speak Finnish at home (Hedman 2009, Figures 1 and 2). Romani is nobody's mother tongue; instead, the real mother tongue of the Finnish Roms is Finnish. This situation has been reported to exist since the end of the 19th century (Thesleff 1899). Weak skills of the informants affect the completeness and quality of the data; this is particularly evident among the young Roms. Elderly Roms tend to

3 In addition, a large spoken Romani corpus (168,000 words, and it is based on 89 interviews with Roms) at the *Institute for the Languages of Finland* was collected in 2000–2001.

have a good Romani competence, but often suffer from fatigue during the long interview sessions. When still used, FR is predominantly an oral language of the Romani community used within the family (as elsewhere in Europe, and as a secret language (Hedman 2004)); characteristic to FR are: late and limited written usage (Granqvist 2009); late and limited functional expansion (cf. Halwachs 2012); late and slowly progressing codification; and rapid language change (Granqvist 2013a).

Figure 1: Insights into FR by age-group
(data: Hedman 2009)

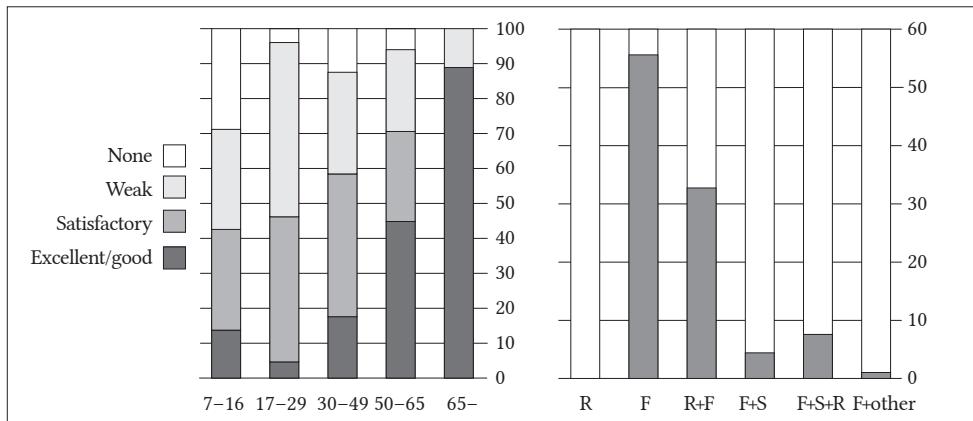
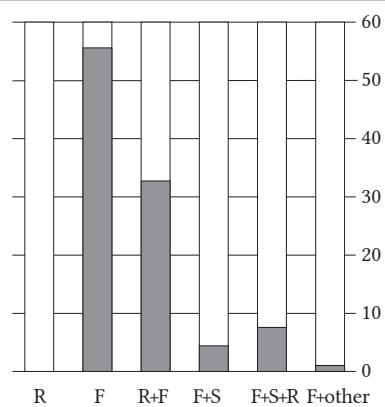


Figure 2: Home languages of the Roma
(data: Hedman 2009)



3 Finnish Romani and Sinti

Northern dialects are characterized by a mixture of conservatisms (or retentions) and innovations that emerged in the German-speaking areas of Europe, which constituted the innovation centre north of the “Great Divide”. The Northwestern Group today comprises different varieties of Sinti (spoken throughout a large geographical area comprising France, Italy, some of the ex-Yugoslav countries, Romania, Eastern Central Europe, Germany and Poland) and FR. To this group used to belong also Iberian, British and Scandinavian Romani, which have turned into Para-Romani varieties using some Romani-based lexicon inserted into the morphosyntactic frame of Spanish, Portuguese, Catalan, Basque, English, Norwegian and Swedish. From the point of view of the geographical diffusion of linguistic features, this large geographical area constitutes a continuum with puzzling centre-periphery dynamics.

Most varieties spoken in the Baltic Sea region belong to the Northern dialect group according to the current European Romani dialect classification. Northern dialects are further divided into two groups, Northwestern (NW) and Northeastern (NE).

The NW Romani dialects spoken in the Baltic Sea area are German and Polish Sinti, as well as Finnish Romani (FR), which, in addition to Finland, is spoken in Sweden since the 1900s. Today, FR language is seriously endangered. In Sweden, Norway and Denmark, the old NW dialects died out in the 1800s, and their remnants can only be found as lexemes inserted mainly in Swedish and Norwegian morphosyntactic frame.

Finnish Roms are estimated to number around 10,000 in Finland and 3,000 in Sweden (Ministry of Social Affairs 2004: 3). Roms are known to have settled in the Baltic countries since at least 1500s. Roms have been documented in Finland since 1559. An earlier migration from Estonia in the early 1500s has been suggested by Fraser (1992). Finland is a geographically isolated periphery with the Northwestern Group, because it is located far from the innovation centre, and the Gulf of Finland and the Gulf of Bothnia constitute natural boundaries. Political boundaries varied during the 19th century. Finland belonged to the Kingdom of Sweden until 1809. In the Treaty of Hamina, signed in September 1809, Sweden was compelled to cede large territories to the Russian Empire including Finland, the Åland islands and large parts of Västerbotten. The newly created province, the Grand Duchy of Finland, remained a part of the Russian Empire until December 1917. Visits of Roms from Eastern and Central Europe have nevertheless been documented almost yearly between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century (Miika Tervonen, p.c. July 20, 2010).

While most typically northern innovations that have spread out from the northern innovation centre are also found in FR, not all northern innovation/Early Romani option selections were able to reach FR, some of them were late attested:

Table 1: Sinti vs. FR

Feature	German Sinti	FR
the elision of light initial syllable, e.g. <i>mal</i> 'friend', <i>khar-</i> 'to call', <i>sa-</i> 'to laugh' (c.f. South <i>amal</i> , <i>akhar-</i> , <i>asa-</i>),	yes	yes
initial jotation in certain lexical items, e.g. <i>jaro</i> 'egg', <i>jov/job/jou</i> 'he', <i>joj/joi</i> 'she', <i>jon</i> 'they' (c.f. South <i>varo</i> , <i>vov</i> , <i>voj</i>)	yes	yes
loss of suppletion in the Oblique of <i>kon</i> 'who' (<i>kones</i> vs <i>kas</i> , south)	yes	yes
reduction of the historical cluster <i>ndř</i> > <i>r</i> , e.g. <i>andřo</i> > <i>jaro</i> 'egg' <i>maňdřo</i> > <i>maro</i> 'bread'	yes	yes
loss of ablative preposition <i>katar</i> 'from'	yes	late
loss of participial preterites such as <i>džeelo</i> 'gone', <i>aulo/veelo</i> 'come', <i>diilo</i> 'given; gave', <i>liilo</i> 'got', <i>muulo</i> 'died'	yes	partial
<i>s/h</i> alternation (<i>s</i> was dominant until the Mid-1800s, thereafter <i>h</i> in most positions).	<i>h</i> selected	<i>s/h</i> alternate

The prepositions *katta*, *katte* were documented still in the 1900s, but no longer occur as adpositions.

Gender-inflected participle forms in 3SG of verbs of motion replaced by true finite forms: *geljas* ‘he went’ is typically in Northern dialects. It is unusual to have participle forms for 3SG perfective verbs (e.g. *gelo/geli* ‘he/she went’) (Matras 2005: 15). In FR, true finite forms co-exist with the participle forms *džeijas* ~ *džeelo*. Participle forms exist as an option in case of:

verbs of motion (*aulo* ‘(he) came’ (sometimes *veelo*) and *džeelo* ‘(he) went’), a number of other verbs (*diilo* ‘gave’, *liilo* ‘received’, *piilo* ‘drunk’, *muulo* ‘died’), *aahto* ‘was’, *behto* ‘sat’, *nahto* ‘fled’ are only used as adnominals, and not as perfective verbs, *pelo* ‘fallen’, *rundlo* ‘cried’ and *suto* ‘slept’ are not used.

FR underwent a diachronic change from mostly having *s* in morphological paradigms into a dialect in which *s* and *h* alternate in the present tense of the copula *s-/h-*, in paradigms of lexical verbs, and in instrumental cases of nominal, but not in the preterite of *s-/h-* and interrogative pronouns. *s* used to be common in the present tense of *s-/h-* in the early sources of FR, c.f. Ganander *Ap-i kulwa-sin joh* ‘on-F.SG floor be.PRS.3SG he = he is on the floor’, *Fedider so sint tel-o bolib-a* ‘best what be.PRS.3SG under-art sky-NOM. SG = the best that is under the sun’, but nowadays only *hin* occurs. Similarly forms of lexical verbs mostly had *s* in the early sources, cf. Ganander: *tu drapaw-eis-a* (pro *drabaveha*) ‘you read-PRS.2SG-FUT = you read’ and *so louw-es-a* (pro *rouv-eh-a*)? ‘what cry-PRS.2SG-FUT ‘Why are you crying?’; but already Thesleff’s (1901) paradigms of lexical verbs had *h* systematically in both his future (*phurjuv-ēh-a* get old-PRS.2.SG-FUT, *phurjuv-āh-a* get old-PRS.1PL-FUT) and first potential (*phurjuv-ēh-as* get old-PRS.2SG-CN’, *phurjuv-āh-as* get old-PRS.1PL-CND). In the instrumental cases of nominals the change *s > h* is still today far from complete. While *h* is nowadays dominant, *s* tends to be retained in the instrumentals of abstract nouns, and in pronouns (Matras 1999).

A number of innovations are FR-specific:

Table 2: FR-specific innovations.

Feature	FR	NW/Sinti (Holzinger 1993)	NE
nasal leakage exhibited by voiced stops	<i>jag</i> > <i>jang</i> [janjk] ‘fire’	<i>jag</i>	<i>jag</i>
optional loss of initial <i>r</i> -	<i>rakkav-/akkav-</i> ‘to speak’	<i>rakev-</i>	<i>rakir-</i>
affrication and metathesis of <i>kh</i>	<i>kher</i> > <i>škeer</i> ‘house’ (some idiolects mainly Ostrobothnia)	<i>kher</i>	<i>kher</i>
loss of locative case	nominative is used	no	no

suffix of abstract nouns	<i>-iba</i> *	<i>-pen</i>	<i>-ibe(n)/-ipe(n)</i>
non-suppletive oblique of abstract nouns	<i>ternib-a</i> youth-NOM.SG <i>ternib-os-</i> speech-OBL.SG	<i>tarne-pen</i> 'child' <i>tarn-e-p-as</i> child-OBL.SG	
loss of oblique case of adjective modifiers	<i>besk-i tšai</i> small-F.SG girl <i>besk-i tša</i> small-F.SG girl.	<i>i tikn-i rakli</i> DET.F.NOM.SG small-F.NOM.SG girl <i>i tikn-e rakl-ja</i> DET.F.OBL.SG small-F.OBL.SG girl. OBL.SG	
vowel <i>-i-</i> in non-participal preterite	<i>souvi-d-om</i> sleep-PRET-1SG	<i>su-tj-om</i> sleep-PRET.1SG	

* *-pa* is found in Swedish Scandoromani, too.

The structural influence of Finnish on Romani is visible from the latter half of the 19th century. No other close contact language has had such a deep influence on FR as Finnish. Germanic influence has been predominantly phonological (quantity-sensitivity, š > x ſeel > xeel 'hundred') and lexical. Finnish influence comprised large-scale phonological imposition and the replication of Finnish morphosyntactic patterns or pattern transfer (Matras/Sakel 2007). Phonological imposition is very common in languages, and it has a psychological and motor basis (Walsh/Diller 1981: 18; van Coetsem 1988: 27f.; Köpke 2004: 10). Phonological imposition has been documented in FR since the end of the 18th century, and it was extensive already during the latter half of the 19th century: during that period were adopted a Finnish-like vowel harmony and *svarabhakti* vowel, and long vowels were diphthongised.

Replication of Finnish morphosyntactic patterns (pattern transfer) has been very common since the 19th century. Finnish has supplied most of the abstract grammatical structure such as the syntax including the word order and the principles of case licensing. Contact with Finnish has caused a number typological changes in FR. On the other hand, the use of Finnish morphological exponents (perhaps following the hierarchy secondary cases > oblique > verb forms) increased particular in the 20th century. Categories and oppositions not found in Finnish have been lost.

Other contact-induced changes comprise, for instance, the loss of definite determiners (Finnish has no such). Definite determiners occurred regularly still during the 19th century, but were mostly lost at the beginning of the 20th century (sporadically still used). *douva* 'it' has become functionally determiner-like. Specific location deictics/demonstratives in *k-* are lost/rare, as Finnish has a three-term system. FR retained all four permutations of location deictics and demonstratives in *-k-/d-* and carrier vowels *-a-/o-* still at the turn of the 20th century. The short specific proximate demonstrative (*a)ka* 'this' has remained in use, but the long form (*a)kava* disappeared. The specific remote (*kouva* 'that') occurs, but is very rare (Granqvist 2010a).

Full modifier agreement has evolved in contact with Finnish: *doleesta siivesta* ‘it-OBL.SG-ABL non-rom-OBL.SG-ABL’, *dola phuranesko komujesko neer* ‘it-OBL.SG old-OBL.SG-GEN-M person-OBL.SG-GEN-M near’, *phuranengo kaalengo* ‘old-OBL.PL-GEN-M rom-OBL.PL-GEN-M’; *saaronenge israelinge* ‘all-OBL.PL-DAT israeli-OBL.PL-DAT’; *sak-konengo džeenengo* ‘every-OBL.PL-GEN-M man-OBL.PL-GEN-M’, *tšekken kaalen* ‘any-OBL.PL rom-OBL.PL’. The occurrence of the full modifier agreement follows the hierarchy: demonstrative > adjective > indefinite + noun (Granqvist 2010b).

Finnish loan words have been found since Ganander: *jouka* ‘group’ < Fin. *joukkoo*, *korvos* ‘ear’. < Fin. *korva*, while the transfer of lexical items from Finnish has been extremely limited in contrast to the influence of Scandinavian languages. Only about 8% (ca. 170 words) of the documented lexicon originates from Finnish (Valtonen 1968: 181). This may be attributed to the secret language functions of FR, but possibly also to the inability of speakers to adapt Finnish loan words. This is particularly true concerning adjectives, since the only fully adapted primary adjective of a Finnish etymon seems to be *vieko* ‘sly’; the rarely used adjectives *kultale* ‘golden’ and *kyryrynkyme* ‘hunched up’ are not adapted (Granqvist 2007).

4 Sub-dialects of Finnish Romani

The current dialectological pattern of FR is affected by the history of Romani settlement in Finland. At the end of 18th century, about 70% of the Roms lived in the counties of Lappeenranta and Viipuri, in South-Eastern Finland and current Russian territories. 18% of the Roms lived in Western Finland (11% in Ostrobothnia). During and after the Second World War, many Roms (similar to the main population) were forced to migrate from territories lost to the Soviet Union to other parts of Finland. As a result, the Eastern sub-dialect spread across the country so that its speakers can even be found in areas where traditionally the Western sub-dialect was spoken, e.g. in Ostrobothnia.

The analysis presented in this section will deal with seven phonological features known from previous accounts on FR dialectology and a few lexical features. The phonological features are explained in Table 3 geographically based on the West-East dimension and linguistically based on the innovation-conservativism dimension. The features that fall out of this categorization are included under the title “other”. I have left outside two widely discussed phenomena, namely the long vowel diphthongisation, as it occurs all over the country, and diphthongs are rather in free variation with long vowels; and the *svarabhakti* vowel, as it is induced by in contact with both West and East Finnish dialects and is in both cases mostly a similar vowel copy process.

Table 3: FR dialectology. A few distinctive features⁴

Type	Map	Feature	Notes and examples	Documentation
Western-specific innovations	2	loss of voiced affricate /dʒ/	in the West, affricate further polarized and simplified in contact with Finnish: [tʃe:ño] > [tse:ño] > [se:ño]; number of realizations in the East under similar principles.	Valtonen 1968; Koivisto 1987; Hedenman 1994; geographical distribution Granqvist 2002, 2007
	3	initial /kh/ > /ʃk/	sibilantisation of aspirated articulation and metathesis, e.g. <i>kher</i> > [ʃke:r] 'house', <i>khil</i> > [ʃkil] 'butter'; also <i>čhaj</i> > [ʃkai] 'girl', <i>čhon</i> > [ʃko:n] 'month'. (sometimes > [ts].), but: <i>ker-</i> > [tse:r-] 'to do', <i>kin-</i> > [tsin-] 'to buy'; <i>či</i> > [tsi] 'some', <i>čačo</i> > [satso] 'true', cf. for NE dialects, Tenser 2008	Granqvist 2002, 2007; geographical distribution not studied
	4	final /d/ > /r/ in contact with Finnish dialects		From a dialectological point of view Granqvist 2002; 2007
Eastern innovation	5	fronting of /a/ > /æ/ in front of /i/ (/ai/ > /æi/)	perhaps a regressive assimilation similar to vowel harmony, cf. also <i>čhej</i> , <i>dej</i> in other Romani dialects	Valtonen 1968; Pirttisaari 2002; geographical distribution Granqvist 2002, 2007
Eastern conservativisms	6	/ʃ/ retained	sound change /ʃ/ > /x/ possibly induced by contact with Swedish (Matras 2002: 52); sound change /ʃ/ > /x/ started during C18 th /19 th ; currently /ʃ/ retained sporadically in Eastern Finland	Jalkio 1913: 6; (Valtonen 1968: 98); geographical distribution Granqvist 2002, 2007
	7	initial /r/ retained	loss of /r/ is limited to a few lexemes/roots: <i>rakk-av-</i> 'to speak', <i>rikk-av-</i> 'to hold', <i>rig-av-</i> 'to transport'	Granqvist 2002, 2007; geographical distribution not studied
Other	8, 9	simplification of final clusters /st/, /xt/, /mb/, /ŋg/, /nd/		Granqvist 2007, geographical distribution not studied

4 See the appendix for the maps.

In addition, a part of the lexicon is subdivided into Western and Eastern. This assumption was first presented by Valtonen (1968: 246-250) and is based on the idea of distinct contact languages for the Western and Eastern sub-dialects of FR: Swedish for the Western one and Finnish for the Eastern. He provides a number of examples suggesting the subdivision of the lexicon (table 4). A closer look based on the spoken Romani corpus of the *Research Institute for the Languages of Finland* however suggests that, the Finnish-based Western lexemes are today rarely used; mostly not followable. Many of the Swedish-based lexemes are in use even in the East, lexical levelling. (Only *huupa* and *perhos* ‘family’ being both used; source: spoken Romani corpus at the *Research Institute for the Languages of Finland*, 168,000 words).

Table 4: West-East subdivision of the lexicon according to Valtonen (1968).

English	West (etymologies Valtonen 1972)	East
‘to begin’	<i>byrjuv-</i> < Sw. dial (Fin.) <i>byri</i> (~ old Sw. <i>byria</i> , Mod. Sw. <i>börja</i>)	<i>alotav-</i> < Fin. <i>aloittaa</i> and <i>alkaa</i> ‘to begin’
‘not to be ashamed’	<i>iisuv-</i> < Sw. dial . (Sw.; Fin.) <i>is, iss,</i> Mod. Sw. <i>idas</i> (a new borrowing).	<i>kehtuv-</i> < Fin. <i>kehdata</i> ‘not to be ashamed’
‘to knit’	<i>veevav-</i> < Middle Low German <i>weve</i> , Mod. Dan. <i>væv</i> , Mod. Sw. <i>väv</i> ‘tissue’	<i>kutav-</i> < Fin. <i>kutoa</i> ‘to knit’
‘family’	<i>huupa</i> < Mod. Sw. <i>hop</i>	<i>perhos</i> < Fin. <i>perhe</i> ‘family’
‘agreement’	<i>xömsiba</i> < Mod. Sw. <i>sams, sämjas</i>	<i>sopiba</i> < Fin. <i>sopia</i> ‘to agree’

Lexical differences nevertheless do occur between the sub-dialects (Map 11, see appendix). The Swedish-based *blumma* ‘flower’ is in use in the West, but *barjiba* ‘flower’ < ‘plant’, through polysemy and making use of Romani’s own resources rather than borrowing, in the East. Some Romani activists use *luludži*, borrowed from other Romani dialects. On the other hand, *dekakiero* ‘soldier’, similar to the Scandoromani lexeme *däkkelskiro* (Sundt 1850), is used in the West, but *xelado*, similar to the Xaladytko lexeme *xalado*, occurs in the East. Romani informants also used *soldakiiro*, which is a neologism.

5 Conclusion

This paper has showcased, described and attempted to explain the variation found in the Finnish Romani and compared it with (German) Sinti. This paper largely confirms the existence of a West-East subdivision of FR, as suggested by previous accounts FR

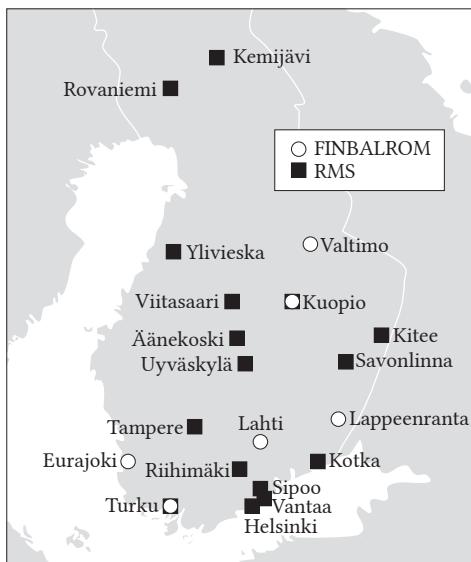
dialectology. This paper also emphasizes the significance of the knowledge on mobilities or migration of the informants when dealing dialectological features.

In the same time, this paper provides support to the relevance of the geographic diffusion model of Romani dialectology vs the traditional genetic model. Map 12 (see appendix) indicates a cluster of tentative isoglosses, reflecting the graduality of the diffusion of linguistic changes in FR rather abrupt sub-dialect boundaries separating the Western and Eastern sub-dialects. For instance, the voiced affricate is lost in the very West only, and /ʃ/ and initial /r/ are retained in the very East only, suggesting Western and Eastern peripheries, while other features surveyed can be found in larger geographic areas towards Central Finland. The simplification of the final clusters /st/, /xt/, /mb/, /ŋg/, /nd/ suggests, that there might be an additional South-North subdivision of FR.

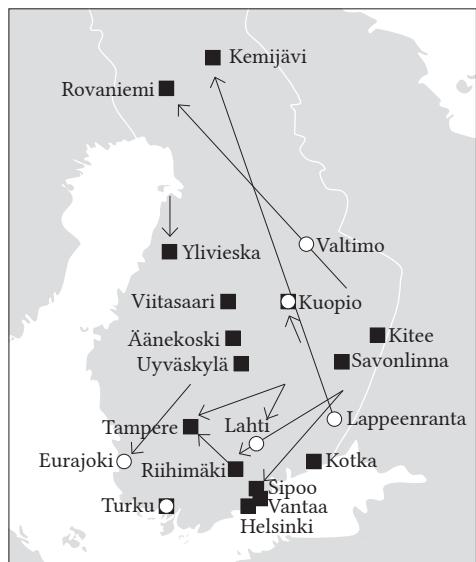
This paper also supports the idea of the subdivision of the lexicon into Western and Eastern sub-components based on distinct contact languages/ methods of lexical expansion for the Western and Eastern sub-dialects. However, more evidence on lexical differences between the sub-dialects will be gathered and published as part of the outcomes of the FINBALROM project.

Appendix

Map 1: Data points



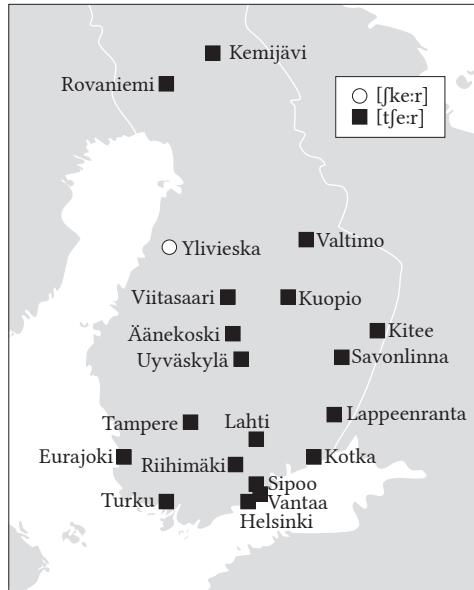
Map 2: Known migration routes
of the informants



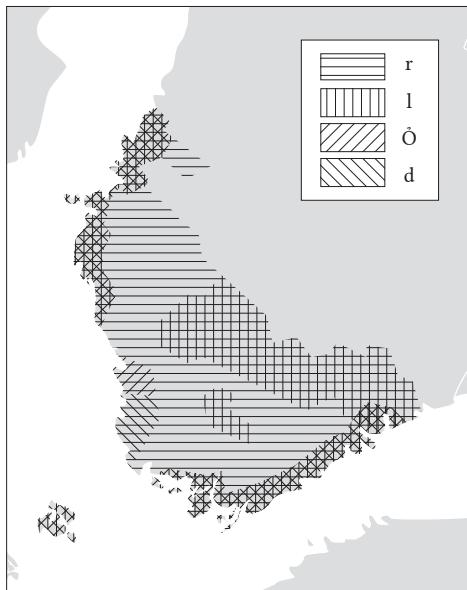
Map 3: /dʒ/ in *dženo* ‘man’



Map 4: Initial consonant in *kher* ‘house’



Map 5a: Realizations
of /d/ in Finnish dialects



Map 5b: /d/ in *thud* ‘milk’



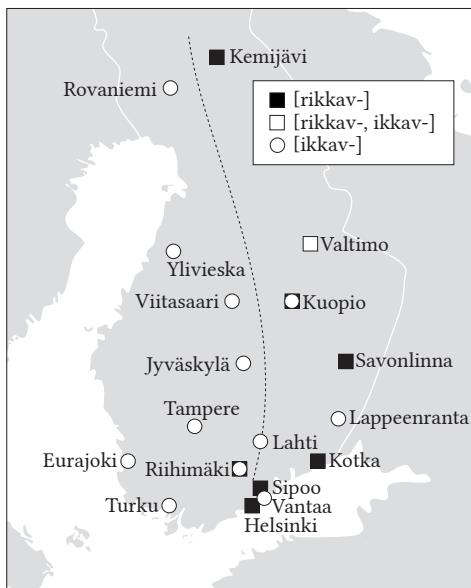
Map 6: /ai/ in čhaj ‘girl’



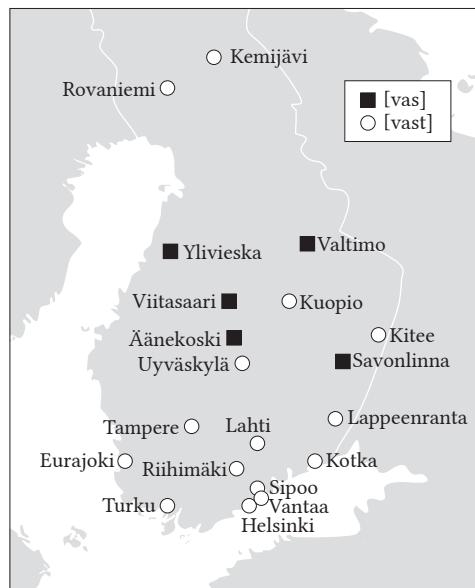
Map 7: /ʃ/ > /x/



Map 8: /r/ in rikerv- ‘to hold’



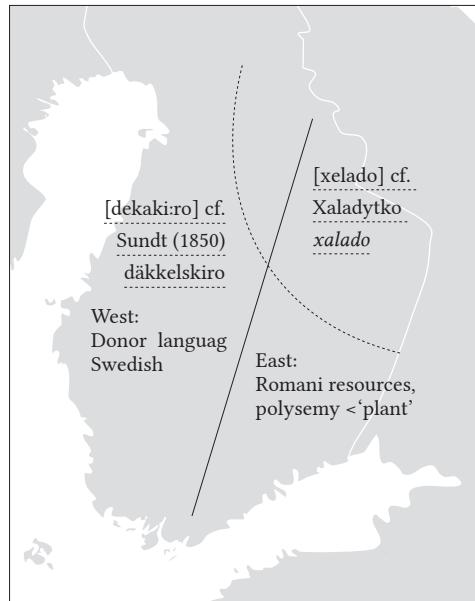
Map 9: Final cluster simplification
in vast ‘hand’



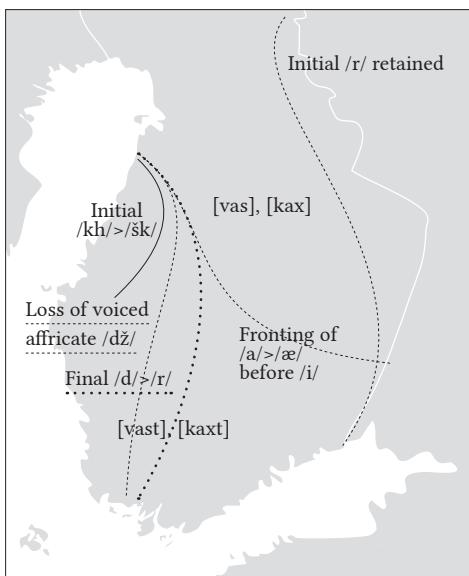
Map 10: Final cluster simplification
in *kašt* ‘tree’



Map 11: Isoglosses in FR lexicon



Map 12: Some tentative isoglosses
of Finnish Romani



References

- Ariste, Paul. 1938. Über die Sprache der finnischen Zigeuner. *Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat, Annales Litterarum Societatis Esthonicae* 1938/2: 206-221.
- Bakker, Peter. 1999. The Northern branch of Romani: mixed and non-mixed varieties. In: Dieter W. Halwachs / Florian Menz. eds. *Die Sprache der Roma: Perspektiven der Romani-Forschung in Österreich im interdisziplinären und internationalen Kontext*. Klagenfurt: Drava: 172-209.
- Boretzky, Norbert. 1994. *Romani. Grammatik des Kalderaš-Dialekts mit Texten und Glossar*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Boretzky, Norbert. 1999. *Die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Südbalkanischen Romani-Dialekten. Mit einem Kartenanhang*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Boretzky, Norbert. 2000a. The definite article in Romani dialects. In: Viktor Elšík / Yaron Matras. eds. *Grammatical Relations in Romani. The Noun Phrase*. Amsterdam: Benjamins: 31–63
- Boretzky, Norbert. 2000b. South Balkan II as a Romani dialect branch. Burgudzi, Drindari, and Kalajdži. *Romani Studies* 10/2: 105-183.
- Boretzky, Norbert. 2002. *Die Vlach-Dialekte des Romani. Strukturen – Sprachgeschichte – Verwandtschaftsverhältnisse – Dialektkarten*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Boretzky, Norbert / Igla, Birgit. 2004. *Kommentierter Dialektatlas des Romani*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Boretzky, Norbert / Cech, Petra / Igla, Birgit. 2008. *Die Südbalkanischen Dialekte (SB I) des Romani und ihre innere Gliederung*. Graz: Grazer Linguistische Monographien.
- Bourgeois, Henri. 1911. *Esquisse d'une grammaire du Romani finlandais*. Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino 46.
- Brandt, Taskinen. 2001. *Suomen romanikielen verbikomplementit*. MA thesis. University of Helsinki.
- Cech, Petra / Heinschink, Mozes. 1999. *Sepečides-Romani. Grammatik, Texte und Glossar eines türkischen Romanidialekts*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Coetsem, Frans van. 1988. *Loan phonology and the two transfer types in language contact*. Dordrecht: Foris.
- Finck, Franz. 1903. *Lehrbuch des Dialekts der deutschen Zigeuner*. Marburg: Elwert.
- Fraser, Angus 1992. *The Gypsies*. Oxford: Blackwell.
- Ganander, Kristfrid. 1780. *Undersökning om De så kallade TATTERE eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens, Deras härkomst, Lefnadssätt, språk m.m. Samt om, när och hvarest några satt sig ner i Sveriges? Käsikirjoite*. Tukholman Kuninkaallisen Kaunokirjallisuusakatemian arkisto.
- Granqvist, Kimmo 2002. Finnish Romani Phonology and Dialectology. *SKY Journal of Linguistics* 15: 61-84.
- Granqvist, Kimmo 2007. *Suomen romanin äänne- ja muotorakenne*. Suomen Itämaisen Seuran Suomenkielisiä julkaisuja 36. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 145. Helsinki: Yliopistopaino.
- Granqvist, Kimmo 2009. Suomen romanin kirjallinen perinne ja kirjoittaminen. In: Klaas Ruppel. ed. *Omin Saanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta*. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6: 155-164.
- Granqvist, Kimmo. 2010a. *Lost features in Finnish Romani*. Paper presented at 9th International Conference on Romani Linguistics, Helsinki, Kotus, 2-4 September 2010.
- Granqvist, Kimmo. 2010b: *Finnish Romani in the periphery of northern dialects*. Esitelmä kongressissa the 2010 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society, Lissabon, 8-10 September 2010.

- Granqvist, Kimmo. 2011: *Lyhyt Suomen romanikielen kielioppi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 24*. Helsinki. <http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk24/> (2012-04-02).
- Granqvist, Kimmo 2013a. Attritoista Suomen romanikelessä. In Kimmo Granqvist / Päivi Rainó. eds. *Rapautuva kieli. Kirjoituksia vähemmistökielten kulumisesta ja kadosta*. Helsinki: SKS: 103-148.
- Granqvist, Kimmo. Forthcoming. Suomen romanikielen kehitys.
- Halwachs, Dieter W. 2012. Functional expansion and language change: The case of Burgenland Romani. *Romani Studies* 22/1: 49-66.
- Hedman, Henry 1996. *Sar me sikjavaa romanes. Romanikielen kieliooppipas*. Jyväskylä: Opetushallitus.
- Hedman, Henry 2004. Suomen romanikieli salakielenä. In: Mrja Nenonen. ed. *Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics*, Joensuu, 15-16 May 2003: 42-48.
- Hedman, Henry. 2009. Suomen romanikieli: sen asema yhteisössään, käyttö ja romanien kieliasenteet. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 8. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. <http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk8/> (2012-09-12).
- Holzinger, Daniel. 1993. *Das Romanes: Grammatik und Diskursanalyse der Sprache der Sinte*. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft.
- Holzinger, Daniel. 1995. *Romanes (Sinte)*. München: Lincom.
- Igla, Birgit. 1996. *Das Romani von Ajia Varvara. Deskriptive und historisch-vergleichende Darstellung eines Zigeunerndialekts*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Jalkio, Oskari. 1913. *Suomen romanikielen kieliopin luonnon Kiertolaisen kesälehti*: 5-10.
- Köpke, Barbara 2004. Neurolinguistic aspects of attrition. *Journal of Neurolinguistics* 17: 3-30.
- Koivisto, Viljo 1987. *Rakkavaha romanes. Kaalengo tšimbako sikjibosko liin*. Helsinki: Ammattikasvatushallitus – Valtion painatuskeskus.
- Manušs, Leksa. 1997. *Čigānu – Latviešu – Angļu etimologiskā vārdīca*. Riga: Zvaigne ABC.
- Matras, Yaron. 1994. *Untersuchungen zu Grammatik und Diskurs des Romanes. Dialekt der Kelderaša/Lovara*. Wiesbaden: Harrasowitz.
- Matras, Yaron. 1999. The speech of the Polska Roma: some highlighted features and their implications for Romani dialectology. *Journal of the Gypsy Lore Society*, Fifth Series 9/1: 1-28.
- Matras, Yaron 2002. *Romani: A linguistic introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Matras, Yaron 2005. The classification of Romani dialects: A geographic-historical perspective. In: Dieter W. Halwachs / Barbara Schrammel / Gerd Ambrosch. eds. *General and applied Romani linguistics*. Munich: Lincom: 7-26.
- Matras, Yaron / Elšík, Viktor. 2001a. *Romani Morpho-Syntax Database (RMS)*. University of Manchester.
- Matras, Yaron / Elšík, Viktor. 2001b. *Romani Dialectological Questionnaire*. University of Manchester.
- Matras, Yaron / Sakel, Jeanette. 2007. Investigating the mechanisms of pattern-replication in language convergence. *Studies in Language* 31: 829-865.
- Ministry of Social Affairs. 2004. *Suomen romanit. Finitiko romaseele*. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
- Pirttisaari, Helena. 2002. *Suomen romanin partiisiippien morfologiaa*. Master's Thesis. University of Helsinki.
- Punu, Pulma. ed. 2012. *Romanien historia*. Helsinki: SKS.
- RMS = *The Romani Morpho-Syntax (RMS) Database*. Developed by Yaron Matras and Viktor Elšík.

- Rüdiger, Johann C.C. 1782. *Von der Sprache und Herkunft der Zigeuner aus Indien*. Leipzig. [reprint: Hamburg 1990: Buske]
- Sergievskij, Maksim V. 1931. *Cyganskij Jazyk: Kratkoje Rukovodstvo po grammatike i pravopisaniju*. Moscow: Centraljnoe Izdateljstvo Narodov SSSR.
- Sundt, Eilert 1852. *Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge*. Christiana.
- Tenser, Anton. 2005. *Lithuanian Romani*. Munich: Lincom.
- Tenser, Anton. 2008. *Northeastern Group of Romani dialects*. PhD Dissertation. University of Manchester.
- Tenser, Anton / Granqvist, Kimmo. 2015. Romanikielen pohjoismurteiden variaatio. *Finnish Review on East European Studies*: 3-17.
- Thesleff, Arthur. 1899. *Finlands zigenare. En etnografisk studie*. Helsinki.
- Thesleff, Arthur. 1901. *Wörterbuch des Dialekts der finnländischen Zigeuner*. Helsinki: Finnische Litteratur-Gesellschaft.
- Valtonen, Pertti 1968. *Suomen mustalaiskielien kehitys eri aikoina tehtyjen muistiinpanojen valossa*. Licentiate Thesis. University of Helsinki.
- Valtonen, Pertti. 1972. *Suomen murtalaiskielien etymologinen sanakirja*. Tietolipas 69. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
- Walsh, Terrence M. / Diller, Karl C. 1981. Neurolinguistic considerations on the optimum age for second language learning. In: Karl Diller. ed. *Individual Difference and Universals in Language Learning Aptitude*. Rowley/Mass.: Newbury House: 3-21.
- Wentzel, Tatjana W. 1980. *Die Zigeunersprache (Nordrussischer Dialekt)*. Leipzig: Enzyklopädie.

Lexikalische Kostbarkeiten aus dem Romanes und der materiellen Kultur der Kaldêraš

1 Einleitung

Nach Jahrhunderten rein mündlicher Tradierung ist die *Romani čhib* innerhalb der letzten Jahrzehnte zu einer verschrifteten Sprache geworden, obwohl es keinen international anerkannten Verschriftungsstandard gibt. In vielen Ländern wird Romanes geschrieben, publiziert und schriftlich übersetzt. Es gibt eigensprachliche Gegenwartsliteratur, Poesie, Übersetzungen und in vielen Ländern Unterricht in Romanes mit Lehrmaterialien, Textbüchern und Lexika in den verschiedensten Varianten der *Romani čhib*.

Was jedoch weitgehend fehlt, sind umfassende Dokumentationen der Phraseologie einzelner Dialekte des Romanes, sei es mit historischem Fokus oder in Hinblick auf Didaktik. Ob Idiomatik z.B. in Kursen vermittelt wird, hängt vor allem von der jeweiligen Lehrperson ab. Lehrmittel mit diesem spezifischen Fokus gibt es kaum, und Sprecher, die sich für ihre Dialektvariante interessieren, haben wenige Möglichkeiten, sich über den gegenwärtigen oder ehemaligen Reichtum an Ausdrucksmitteln zu informieren. Darunter leidet generell die Tradierung der Sprache. So erfolgt z. B. die schriftliche Kommunikation junger Sepečides in Izmir (Türkei) mittels sozialer Medien ausschließlich in Türkisch; zu Romanes scheint bereits der emotionale Bezug zu fehlen, der früher im mündlichen Erzählen und Zuhören und der damit verbundenen Sprachtradierung lag; die Kommunikation wird rein türkisch geführt. Wenn aber Sprecher, die noch passive Sprachkompetenz in der *Romani čhib* haben, mit Videos oder Aufnahmen von jugendlichen Sepečides aus Mersin in ihrem Dialekt konfrontiert werden, reagieren sie unerwartet emotional und begeistert. Es zeigt sich, dass ein Bezug sehr wohl noch vorhanden ist, der aber von der rein türkischsprachigen Kommunikation überlagert wird.

Dokumentierte Phraseologie der *Romani čhib* ist bislang Stückwerk aus einzelnen Mosaiksteinchen geblieben, während sich zugleich die Sprache durch Anpassung an die gesellschaftlichen Strukturen der Gegenwart rasch ändert, verjüngt und in vielen Romagruppen schwach tradiert wird. Dies steht in Widerspruch zu

der Tatsache, dass typische idiomatische Wendungen immer noch eine wichtige Rolle bei der Identifizierung eines Sprechers mit seiner Romagruppe/-familie spielen. Sprache ist oft ein identitätsstiftender Faktor innerhalb ethnischer oder sozialer Gruppen, sei es z. B. als Jugendjargon innerhalb einer Gesellschaft, sei es bei Minderheiten und Volksgruppen bis hin zu geheimsprachlichen Zusatzfunktionen eines Gruppenidioms. Auch gegenwärtig lässt sich in Romagemeinschaften feststellen, dass Sprecher, unabhängig von ihrer generellen „Sprachkompetenz“, unbewusst auch eine bestimmtes Inventar an Phrasemen als Merkmal ihrer Gruppenzugehörigkeit verwenden, das bei Mitgliedern der Gruppe sofort als Erkennungsmerkmal fungiert, verbunden mit daraus folgenden emotionalen Konsequenzen wie Akzeptanz des Sprechers, positive emotionale Einschätzung, aber auch Erwartung der Einhaltung eines spezifischen Verhaltenskodex. Milena Hübschmannová, die unermüdlich dem Reichtum an Phrasemen, Sprüchen und Metaphern der in Prag ansässigen slowakischen Roma nachspürte, dokumentierte in den 1980er Jahren, welchen Stellenwert damals die richtige Ausdrucksweise – *Sar pes phenel* – der Märchenerzähler für diese Gruppe hatte:

The language of the P[aramisari] must be ‘šukar’ (beautiful). Specific phrases, formulas, sentences, sayings [...] must not be omitted. (Hübschmannová 1985: 64)

Unseren Erfahrungen nach ist es nicht die grammatische Korrektheit, sondern – auch gegenwärtig noch – vor allem die richtige Wortwahl, die bei Roma der älteren und mittleren Sprechergenerationen emotional wirksam wird, den Sprecher als Insider zu erkennen gibt und eine positive Reaktion auf ihn hervorruft. Diese Mechanismen werden besonders im Umgang mit gruppenfremden Personen augenfällig, die, sobald sie im jeweiligen Gruppenidiotm der *Romani čib* typische Wendungen verwenden, als familienzugehörig erkannt bzw. akzeptiert werden.

Gleichzeitig verliert die von den älteren Sprechern als gut empfundene Idiomatik unter der jungen Generation an Bedeutung. Der phraseologische Kodex wird nicht mehr eingehalten und verändert sich, wie das Beispiel der Grußformeln bei serbischen Kaldéraš zeigt. Traditionell musste die Grußformel ‚Gute Nacht‘ – *Maj laši či rjat!* – mit *Sastimasa!* erwidert werden. Diese Antwort war bis vor etwa zwanzig Jahren geradezu obligatorisch, jede andere identifizierte den Sprecher als gruppenferne Person. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert. Sprecher der mittleren Generation und Jugendliche antworten zunehmend bzw. ausschließlich mit anderen Floskeln wie *Vi čiri t' avel laši!* oder *Ža Devlesa!* Die traditionelle Floskel wird nicht mehr tradiert.

Im Folgenden präsentieren wir, um das idiomatische Stückwerk um ein paar weitere Mosaiksteinchen zu bereichern, einige lexikalische Besonderheiten aus zwei Dialektlen der *Romani čib*: Kaldérašicko aus Zentralserbien (in der Variante der Untergruppe Mršara) und Sepečides-Romani aus Izmir, Türkei, gefolgt

von einem eigenen Abriss über Sintitikes, der aus Gründen unvereinbarer Anstandsregeln in Sintitikes und Balkandialekten des Romanes nicht in diesen Beitrag inkludiert werden kann. Bei den vorgestellten Sprachelementen handelt sich um Phraseme, Metaphern oder um außer Gebrauch geratene Lexeme wie z. B. die Einzelteile eines Kupferkessels – auf jeden Fall um Typizismen der einzelnen Sprachvarianten.

Sprachen schöpfen ihre Phraseme aus verschiedensten Quellen; meist ist den Sprechern die Herkunft einer idiomatischen Wendung gar nicht bekannt. Sie können der (ehemaligen) Arbeits- und Berufswelt oder traditionellen sozialen Strukturen wie im Kaldéراšicko entstammen. Hier zeigt sich bei unseren Beispielen, dass nur mehr die ältesten Sprecher den Ursprung der Wendungen kennen. Dieser ist oft bereits der mittleren Generation unbekannt, auch wenn das Phrasem noch verankert ist. Die junge Sprechergeneration kennt oft nicht einmal mehr die Metapher selbst. Phraseme oder auch Sprichwörter können durch zoologische Irrtümer entstehen, wie ein Beispiel aus dem Sintitikes zeigt (siehe dort), oder durch die Notwendigkeit, eindeutige, für die Umgebung bereits kenntliche Begriffe des internen Codes zu verschleiern, weshalb es in vielen Dialekten der *Romani čhib* metaphorische Synonyme zu den Begriffen ‘Geld’, ‘entwenden’ oder ‘Polizei’ gibt. Hier muss der interne Code der Allgemeinverständlichkeit immer ein Stück voraus sein, weshalb es immer wieder zu neuen Synonymen kommt, sobald ein bestehendes Wort zu leicht verständlich geworden ist. Das geheimsprachliche Element ist im Kaldéraš durchaus ausgeprägt, besonders stark jedoch im Sintitikes, hingegen gering im Dialekt der Sepečides.

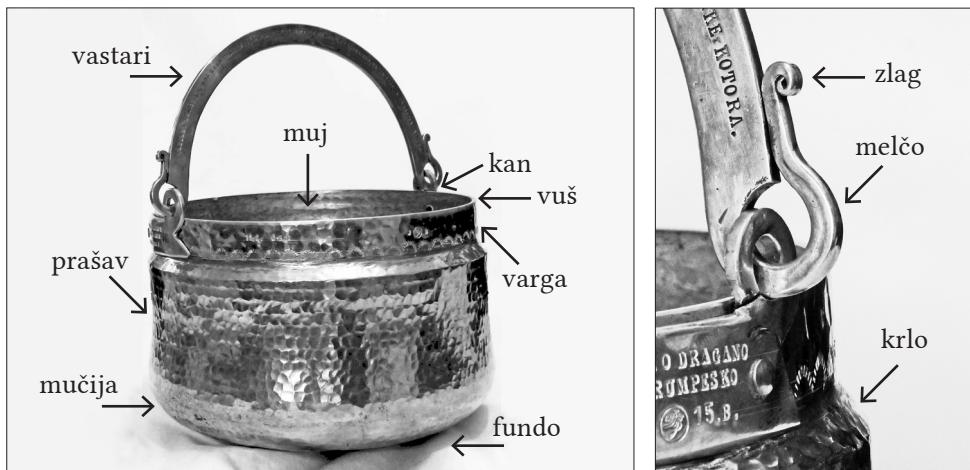
2 Kaldérašicko: verschwundene Arbeit, schwindende Lexik

Die traditionelle Arbeitswelt der Kaldéraš war die Kesselmacherei; was für Lovara das Pferd, war für Kaldéraš die Metallbearbeitung. Die Handwerksarbeit beherrschte das Leben, strukturierte den Alltag und prägte das soziale Gefüge. Dementsprechend umfangreich war das Inventar der arbeitsbezogenen Terminologie – ein Wortschatz, der mit dem Aussterben des alten Schmiedehandwerks obsolet wurde und innerhalb einer Generation außer Gebrauch geriet. Dennoch haben sich im Kaldérašicko (zumindest in der Variante der Mršara) bis heute einige sehr spezifische Ausdrücke erhalten, die mit der früheren Arbeitswelt des Kesselflickens der Männer und dem Hausieren der Frauen in Zusammenhang stehen.

kakavi ‘Kessel’

Die verschiedenen Teile eines Kessels, aus denen das fertige Stück zusammengesetzt war, haben eigene Fachtermini, die jedoch nur noch älteren Kaldéraš geläufig sind. Sie werden im Folgenden auch fotografisch präsentiert.¹

Abbildungen 1 & 2: Kupferkessel und Bezeichnungen seiner einzelnen Teile



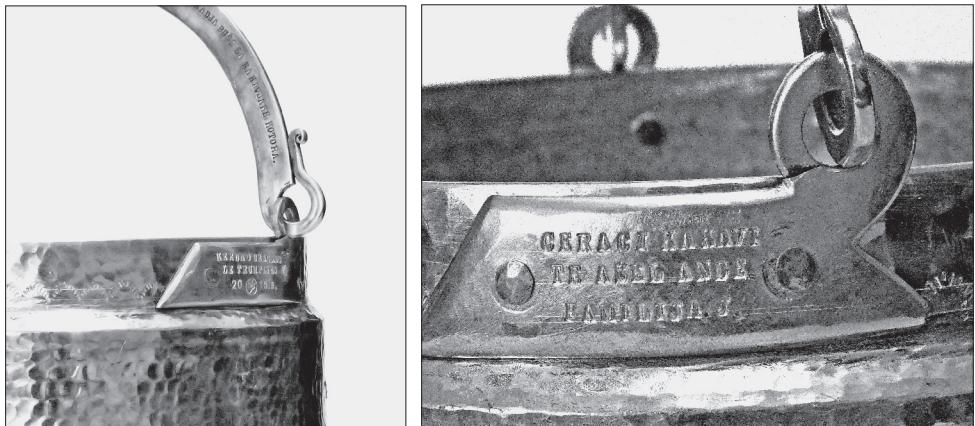
Diese Termini umfassen neben entlehnten auch etliche indigene bzw. früh entlehnte Lexeme: *vastari* ‘Henkel’ < *vast* ‘Hand’, *vuš* ‘Oberkante’, *muj* ‘obere Öffnung’, *podji* ‘Sockel’ = unterer Seitenteil, *maškar* ‘Mitte’ und *prašav* ‘Flanke’ – sozusagen die Hauptteile. Iranisch ist *zlag*; es bezeichnet das ringförmig eingerollte Ende des Henkelhakens (s. Abb. 2). Rumänischer Herkunft sind *melčo* ‘Henkelhaken’ < *melc* ‘Schnecke’, *fundo* ‘Boden’, *mučija* ‘Kante bzw. Rundung zwischen Flanke und Bodenplatte’ < *muchie* ‘Kante’ und *varga* < *vargă* ‘Rute’: Um den scharfen Rand der Kesselöffnung abzurunden, wurde er umgeschlagen und im Umschlag durch einen Draht verstärkt, wodurch ein Wulst oder eine Art Manschette entstehen konnte. Slawisch ist nur *krlo* ‘Hals’ < *grlo*.

Abgesehen von den Adaptationen indigerer Begriffe zur Bezeichnung der Hauptteile des Kessels stammt das Vokabular insbesondere der spezielleren Teile aus dem Rumänischen. Im slawischen Sprachraum sind kaum Begriffe aus der Kontaktsprache hinzugekommen. Die Termini *srbicki kan* ‘serbische Ohren’ und *xoraxane kan* ‘türkische Ohren’ stehen für bestimmte Formen von Henkelösen. Bei den *srbicki kan* ist die Öse dezentral über einer von zwei Nieten befestigt, wodurch das Haupt-

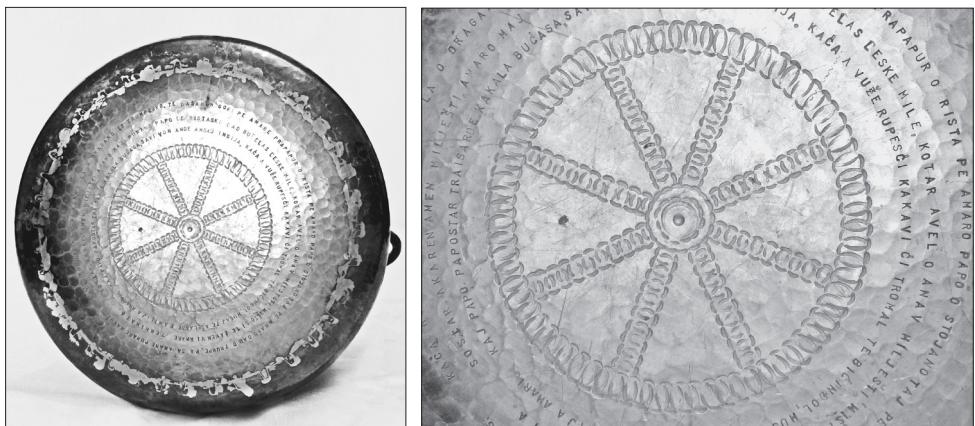
1 Alle Fotos Petra Cech 2015.

gewicht asymmetrisch verteilt ist (Abb. 3). Bei den ‘türkischen Ohren’, *xoraxane kan*, befindet sich die Öse mittig zwischen beiden Nieten. Eine Niete kann mit 100 bis 150 kg belastet werden, dennoch sind die ‘türkischen Ohren’ mit ihrer gleichmäßigen Gewichtsverteilung stabiler.

Abbildungen 3 & 4: ‘Serbische Ohren’ mit dezentraler Gewichtsbelastung und Beschriftung *cerači kakavi te ašel ande familija* des Schmiedes Dragan Jevremović.



Abbildungen 5 & 6: Bodenplatte eines Silberkessels von Dragan Jevremović. Das Zentrum ist ein extra Einsatzstück (*mitra*). Die Lötnaht ist nicht zu erkennen. Deutlich ist die Naht (*astači*) zwischen den umgeschlagenen dunklen Seitenteilen und der hellen, beschrifteten und verzierten Bodenplatte zu erkennen.



Unbekannter Herkunft ist das Wort *astači*, das in anderen Dialekten einen Kessel als solchen bezeichnet, bei den Mršara hingegen die Naht zwischen den Seitenteilen und der Bodenplatte.

Interessant ist auch das ursprünglich griechische Lexem *mitra*, wörtl. ‘Gebärmutter’, das die Mitte des Kesselbodens oder ein zentrales Einsatzstück im Kesselboden bezeichnet (Abb. 5). Im Sintitikes bezeichnet *mitri* den Legedarm eines Huhns. Im Dialekt der Sepečides existiert das Lexem in der Bedeutung *mitra* ‘After’.

del bužo ‘veräppeln’

Viele Wendungen, die aus der Domäne ‘Arbeit’ stammen, können nur von älteren Sprechern erklärt werden, die selbst noch in ihrem Handwerk tätig waren, wie das Beispiel von *del bužo* ‘jemanden veräppeln’ zeigt. Das Phrasem wird auch von jungen Sprechern noch im Sinne von ‘für dumm verkaufen’ verwendet, ohne Kenntnis seiner Herkunft. Kesselflickern der alten Generation ist die Herleitung noch geläufig. Das alte Wort *bužo* ‘Lappen, Bündel’ bezeichnet in diesem Zusammenhang ein mit Brotteig gestärktes Stück Stoff, das zum Kesselflicken verwendet wurde, richtig verschmiert von einer metallenen Lötstelle nicht zu unterscheiden war und den Kessel für eine kurze Weile abdichtete, zumindest bis er verkauft war.

Bužo’ sî pe ţomaji sib: Sogod phandes le gora, kodo sî bužo, aj kotar avel: Tu les jek drza, aj ande kodja drza thos manřo čambla, aj phandes le gora aj cides le. Kotar avel o bužo. O bužo phandes gorendar. Aver sî o ‘gono’, kaj sî les muj. Aj o bužo naj les muj. Musaj korkořo te phandes les le štar gora. ‘Bužo’ sî jeg xoxado kotor. Kana kères jek kakavi puraji taj daras kana bićines la, daras te na thol o gažo paj ande late aj voj šaj thavdel. Materiali sî manřo. Manřo, kovljares les mišto, sargod kana čambes taj vulis les ande jeg drza. Kaća drza trobul te avel sar kuko Sieb, cêra maj retko, te šaj anklel o manřo. Aj makħēs kodo kēzano vaj kakavi, so kames te bićines. Kodo sî bužo. Bužo sî kaj Bojaša aver, lende sî gono. Kana makhljan či haćares. Me šaj sīkavav tukē kodo: Kovljares manřo aj vulis les ande krpa. Kodja drza naj šukar te avel but phandadi, te šaj kodo manřo te anklel andaj drza, haćares? Kê kana sî kotora ande kakavi, naj nevi! Numa kodola kotora atunč kodo bužo phandavel. Či dićol, naštì prinžanes. Kodo sî sargod kana lakiris vareso vaj farbos, ali či dićol, sî sargod melali. Aj kana šores o paj, či mēkel anda jek, anda jek či, ži kaj či kovlol o manřo, ži ka o paj či arakhēl o drom. (D. J. 6.9.2015)

Siehe auch folgende Erklärung, in der von keinem Stoffstück mehr die Rede ist:

Mozes, Řoma save zabavinas pe kakavjanca, von kērenas kodola kakavja s’ o xarkuno, s’ o sastrune aj kana thonas o fundo kata kakavja, von či círdenas kodo fun-

do arčičesa, kana nas le arčič, nego marenas po šuko kodo- taj kana bi tholas pe paj, thavdelas bi e kakavi, e kakavja thavden. Te na bi thavdelas von len o manřo ili još maj lašes o ařo, xamin pajesa aj kērenas, kodo bužo delas pe muj. Kodja sas meze kata ařo taj kata paj aj makħēnas kaj kadala zastavur – kodo kodja – kana šućol voj phandavel sja ēl grēpi pe kakavja aj kana thos paj voj či thavdel, le kakavja či thavden, či kovljol kana del o paj, kovljol posle duže vrjama aj kana nakhēl e vrjama tu našes, tu djan punro aj mothos: ‘Dem les bužo’. Xoxadjan les, djan les e kakavi taj či thavdel kē tu makhljan ... Pa bužo del pe muj sja kodo so sī falsifikat, kaj či trajil but vrjama! (M. J. 6.9.2015)

Die Wendung *del bužo* gibt es bei zumindest zwei Kaldērašgruppen in Zentralserbien, nämlich bei den Mršara und den Bunkulešći. Gruppen im Banat scheinen dieses Phrasem nicht zu kennen, schwedische Kaldēraš hingegen zum Teil sehr wohl. Zudem gibt es in einigen Kaldērašvarianten das Verb *bužukurisarav* (Schweden: Gjerdman/Ljungberg 1963) bzw. *bužukuril* (Banat: Boretzky 1994) für ‘beleidigen, veräppeln’, welches wiederum bei den serbischen Mršara fehlt. Dieses Verb ist jedoch eine rumänische Entlehnung, die auf *batjocori* ‘veräppeln’ (< *bate jocuri* ‘Späße schlagen’) zurückgeht, und steht nicht in Zusammenhang mit *bužo* ‘Bündel’ (Boretzky pers. Mitt. 10/2015).

kērel muj ‘Kontakt herstellen’

Der Verkauf der Ware erforderte Geschick. Besonders wichtig war die erste Kontaktaufnahme mit einem potentiellen Käufer, denn es war schwierig, überhaupt einmal erst ein Geschäft anzubahnnen, wenn die Ware nicht auf Bestellung angefertigt worden war. Diese erste Kontaktaufnahme wurde mit *kērel muj* ‘Kontakt herstellen’ bezeichnet. Bis heute wird die Phrase im Sinne von ‘einen Kontakt knüpfen, ins Gespräch kommen’ verwendet. Wie eine solche Geschäftsanbahnung erfolgen konnte, und warum eine solche für das Geschäft besser war, als die Ware einfach mit angeschriebenen Fixpreisen zur Schau zu stellen, erläutert die folgende Erklärung:

Kodja bi avelas, te kēres kontakto. Ža, mang jek thuvali lestar, kēr tukē muj, značil, te aves źi moste źi kaj vorba. ‘Kēr tukē muj lesar’, o muj del vorba. Či žal, direktno te phenes ‘ker muj!’, samo ‘te kēres muj’. Obično, vaj mangēs cigara, vaj mangē jag, te del tukē vaj jag vaj mašina, te aves źi leste. Butivar, kana sīm me po pijaco, butivar mothon mangē: ‘Sostar či ramos le cene pe čire buća?’ Kodja naj lašes, kana sī pe čiri bući, kē le manuš aven, dikhēn aj žan-tar. Naj tu kontakto le manušēnca. Vo žal-tar bivorbako tutar, kē dikhija, sode mol. Aj žal-tar, či kamel te činel. Numa kana von pušen tu: ‘Raja, sode mol kaća bući?’ – anda jek data sī tu

'muj lesa', anda ek data kères tu kontakto lesa. Vaj šaj akušes tu lesa. Univar cínes jek bući, kaj či jek data nas tukê pe godji, te cínes tukê kodja bući. Avel varekon aj bićinel ando bирto, aj tu bêšes. No, síkavel. 'Na, me či lav!' – No, žanes: 'Katar san tu? Sar bušel tukê?' – Haćares? Círa, círa del tusa duma. Maj kérđja tusa muj, kérđja kontakto. Tukê dija bući, či cínes la, kaj sî tukê potrebno, numaj ljan la te kères leskê paćiv. (D. J. 25.10.2015)

cêra ‘Zelt’

Die früheren Wohnstätten vieler Kaldérašgruppen waren während der Sommerzeit Zelte – bei den serbischen Mršara bis in die Nachkriegszeit, also auch im jugoslawischen Staat. Bis heute ist das Lexem *cêra* ‘Zelt’ Bestandteil idiomatischer Wendungen, wobei es in manchen Phrasemen bereits durch *khêr* ‘Haus’ verdrängt wird, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Dem Handwerksprodukt und den Arbeitsgeräten stand als unveräußerliches Gut der Haustrat, also der Privatbesitz einer Familie gegenüber. Er wird bis heute von der älteren Generation mit *céraki/cêraći bući*, ‘Zeltsachen’, im Sinne von ‘unveräußerlicher Besitz’ bezeichnet. Jungen Sprechern ist die Phrase meist nur als *khêreski bući* ‘Haussachen’ bekannt.

Cêraki bući, kodja so naj bićinimaskê, céraki kakavi, te ašel ande familija. Le Řom nas khêra maj anglal, numaj so sî khêreski bući naj bićinimaskê, anda kodo žalas ‘céraki kakavi’, céraki piri’, sa kuko, so kućno posudje, haćares? (D. J. 22.10.2015)

In den Familien fast aller Kaldérašgruppen ist es der Normalfall, dass die verheiratete Frau ihr Elternhaus verlässt und zur Familie ihres Ehemannes zieht, sofern das junge Ehepaar nicht einen eigenen Hausstand gründet. Gab es jedoch nur Töchter in einer Familie, so blieb früher üblicherweise eine von ihnen auch nach der Hochzeit bei ihren Eltern und ihr Ehemann in der Familie seiner Schwiegereltern. Der Brautvater nahm den Schwiegersohn bei sich auf. Auch die Bezeichnung für diese Ausnahmesituation enthält bis heute das Lexem ‘Zelt’:

'Andem žamutres ande cêra', sar akana kaj phenes, kana pušel tu varekon: 'Mêritisardjan la ša?' – 'Mêritisardem, numa andem žamutres ande cêra.' Adjes mothol pe, 'andem žamutres ando khêr'. Kana avel o murš mande, o žamutro te bêsel stalno. Kana sî tu duj, trin séja, jek séj mêkes tukê aj anes žamutro ando khêr, kana naj murš šave, atunč len žamutro ando kher. (D. J. 25.10.2015)

Anel žamutres ande cêra bedeutet bis heute ‘zu sich nehmen, ins Haus nehmen’. Was für eine Ehefrau eine Selbstverständlichkeit darstellt – das Leben unter demselben

Dach mit den Schwiegereltern, ist für einen Ehemann eine schwierige Situation und eher keine Ehre. Ist die Familie der Ehefrau begütert, wird dies leichter akzeptiert.

Šukar faca, nandji strajica ‘vielversprechend, nichts dahinter’

Der traditionellen Arbeitswelt der Frauen entstammt das Phrasem *šukar faca, nandji strajica* ‘schönes Antlitz, leere Tasche’. Es ist bei Kenntnis der Tätigkeit verheirateter Kaldérašfrauen auch leicht nachvollziehbar: Eine gute Ehefrau/Schwiegertochter trug, wenn sie eine glückliche Hand hatte (*prasali* – siehe unten), merkbar zum Familieneinkommen bei, und zwar durch Hausieren und Wahrsagen in den Dörfern, teilweise auch Betteln. Diesbezügliche Fähigkeiten waren sehr begehrte, wurden von einer guten Frau auch erwartet und waren daher bei der Brautwahl ein wichtiges Kriterium. Die Wendung *šukar faca, nandji strajica* bezeichnete ursprünglich eine Kaldérašica, die zwar ästhetisch ansprechend war, aber bei den von ihr erwarteten Tätigkeiten versagte; sie brachte am Ende des Tages ihre Tasche leer zurück. Ein nennenswerter Beitrag zum Einkommen der Familie war daher nicht von ihr zu erwarten, was die Heiratsaussichten erheblich schmälerte.

Šukar faca, nandji strajca – ja kodo sî jek xoxaimos. Le řomnja žanas pe l' gava aj phirenas pe strajic. Ali sas i řomnja kaj sas šukarnja, ka žanas pe l' gava, lažav sas lengê te mangên, te thon ande strajca xamos aj pimos: Aj t' avel ka pesko sokro kodja, o sokro prekoril kodja šukarni kaj žal samo aj či anel khanči. E o sokro mothol lake: 'Šukar faca, nandji strajca! Naj san mangê bori laši! Naj anitorka, či anel anda gav. Trobul te anel love, i xamos i pimos, nego la sî samo šukar faca ama naj khêreski. Ande late dikhênen samo mîrša. (M. J. 6.9.2015)

Bis heute hat sich die Wendung als Synonym für ‘viel versprechend, aber nichts dahinter’ erhalten. Andere Kaldérašgruppen in Serbien wie z. B. die Bunkulešći kennen die Redewendung nicht.

Geschäftsgeschick, Glück und Reichtum

Eine beim Gelderwerb erfolgreiche Frau wird als *prasali romni*, als eine ‘mit Geschäftsglück gesegnete Frau’ bezeichnet.

Pras phenel pe kana ašunes anda jek žuvli, phenel pe ka mîrš: Kana žas ando gav vaj bićines vareso po piajco vaj vareso, sî tu pras, sî tu bax. Prasalo manuš so īngérel či boldel, vo bićinel. Vaj prasali ſomni, kana žal ando gav anel pherdi strajica, anel love, anel, sî la pras, sî la bax. Kodo phandel pe la baxtjasa varesar. (M. J. 6.9.2015)

Das Adjektiv *prasalo* und das zugehörige Nomen *pras* ‘materielles Glück’ sind spezifisch für Kaldérašdialekte und wurden von Heinschink/Jevremović (2002) als indigen und als bisher nicht lexikalisch erfasst identifiziert.

Im Unterschied zu *bax* bezeichnet *pras* das ökonomische Glück oder eine Glückssträhne in geschäftlichen Angelegenheiten. Das Wort *pras* ist auch anderen Kaldérašgruppen, z. B. jenen in Sofia, Bulgarien bekannt, wird aber selten gebraucht, während die serbischen Kaldéraš auch das entsprechende Adjektiv *prasalo* häufig verwenden.

Aus der Arbeitswelt entstammt auch *anitori/anitorka* für Menschen, die geschickt sind im Heranschaffen des Lebensnotwendigen. Es ist bei anderen Kaldérašgruppen eher ungebräuchlich, obwohl die Bedeutung leicht abzuleiten ist:

Anitori, kon anel lašes, ‘anitorka’ katargod avel vareso anel, vaj khas, vaj manřo, vaj strajica, vaj puraja kakavja, vaj balo, vaj bakro. (M. J., 6.9.2015)

Das Lexem ist insofern interessant, als es von indigenem *anel* ‘bringen’ abgeleitet ist und mit dem entlehnten Suffix *-ori* (m.), *-orka* (f.) kombiniert wird.

Kaldéraš konnten durch ihre traditionelle Tätigkeit zu Reichtum gelangen, wenn sie nicht von Behörden schikaniert wurden und die Marktlage für Hausierer, Wahrsagen und das handwerkliche Gewerbe über längere Zeit hinweg günstig war. Ein Terminus für großen Reichtum ist *takumo*: *takim* bezeichnet im Türkischen eine ‘Gruppe zusammengehöriger Dinge’, ‘Zeug’, ‘Schar’, z. B. einen Zweiteiler (Anzug), Pferd samt Wagen oder ein Gesirrservice. Der Turzismus ist uns bisher nur von den Mršara bekannt, und zwar nicht nur in der ursprünglichen Bedeutung wie im Türkischen; er ist darüber hinaus semantisch erweitert zu einem allgemeinen Begriff für ‘Reichtum’ geworden:

Vov sas barvalo Řom, sas les sumnakaj, sas les barvalimos, lašo takumo. (D. J. 6.9.2015)

domuzo ‘träger’

Ein weiteres Spezifikum der serbischen Mršara ist das Lexem *domuzo* ‘träger’, im Unterschied zu *khandino* ‘faul’. Es scheint spezifisch für serbische Gruppen und im Schwinden begriffen zu sein. Im Gegensatz zu *khandino* ‘unbeweglich faul’ bezieht sich *domuzo* auf Menschen, die ihre Tätigkeit langsam ausüben. Folgende Erläuterung liefert auch gleich eine Herleitung des Wortes *khandino*:

So sî razlika maskar ‘domuzo’ taj ‘khandino’: Žanes, khandino nepomerliv avel varesar. Dabi miškil pe taj kote khandel po po than, kotar avel kê khandel po than. Kana je řomni bêsel pe jek than atunči khandel o than tela late, othar avel e bući ‘khandino’. Kê me žanav, sas jek žuvli, voj sas u stanju te khavel le punře te bêsel pe jek than, sořo djes te na uštel. Kodja bušel ‘khandel o than tela late, khandiji!’

Aj ‘domuzo’ sî vareso aver, domuzo sî lo, vov kêrel bući numa lokês. So kêrel va-rekon pe jek časo, vo kêrel antrego djes, kodo sî domuzo, kotar avel, aj khandino sî, kodo kaj bêsel šaj te khandinil kote, či uštel, či žal te mutrel, te xlel, čiden pe le maća i kadja avel khandino. Na kê vo khandel, numa khandel o than tela leste. Vaj ando pato, kana tu či uštes rjat, djes so sî? Khandel óo pato khandel i vo. Či uštel te haladjol, te del pe peste! ‘Domuzisajlo’, varekana sanas vraniko, akana but domuzisajjan, akana khanči tutar! (D. J., 22.10.2015)

Das Lexem *domuz* ist türkischer Herkunft und bedeutet ursprünglich ‘Schwein’, ist als Turzismus im Serbischen zwar vorhanden, aber nur regional in Verwendung, z. B. im Kosovo, wo es auch im Gegischen existiert (Boretzky, mündl. Mitt. 10/2015). Das Wort war möglicherweise früher weiter verbreitet und ist dadurch ins Kaldérašicko gelangt.

3 Sepečides-Romani: Vulgonamen und Tierisches

Anders als bei den Kaldéraš hat das frühere Handwerk die Phraseologie der Sepečides wenig geprägt. Teile der ursprünglich im Raum um Saloniki ansässigen Korbflechterfamilien zogen in den 1920er Jahren im Zuge der griechisch-türkischen Umsiedlungen in die Türkei und ließen sich nach mehrjähriger Migration über Adana und Mersin zuletzt dauerhaft im Raum von Izmir nieder.

Vulgonamen

Auffällig sind bei dieser Gruppe – bzw. waren, denn Romanes wird in der Gruppe aus Izmir kaum noch gesprochen – die Personenbezeichnungen und Beschreibung ihrer charakterlichen und äußereren Merkmale. Solange die *Romani čib* das muttersprachliche und wichtigste Kommunikationsmittel war, gab es kaum eine Person, die nicht mit einem oder mehreren Vulgonamen näher bezeichnet wurde. Da sich in den Familien, die nicht getrennt, sondern im Großfamilienverband lebten, die begrenzte Zahl der Vornamen oft wiederholte, und da lange überhaupt keine Nachnamen verwendet wurden, waren Vulgonamen ein wichtiges Identifikationsmittel innerhalb der Gruppe.

Die Großfamilienstruktur war aber kein Spezifikum der Sepečides. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten viele Romagruppen eingebettet in große Verwandtschafts-

verbände, ohne dass in allen Gruppen eine blühende Vulgonamenkultur wie bei den Sepečides entstanden wäre. Bei den Sepečides kam zu den referenziellen Notwendigkeiten eine nicht unbeträchtliche Spottlust dazu, obwohl Vulgonamen nicht als pejorativ oder herabwürdigend empfunden wurden, auch wenn sie negative äußere Merkmale zum Anlass hatten. Für Anreden im Zorn gab es innerhalb der Familien eigene Personenbezeichnungen:

Mi daj, ka xoljanelas mi dadeske, vakerelas ‘Mičo’. Mo dat, ka xoljanelas mi dajake: Tačo’. I phenjake: ‘Barbu’... (Slg. Heinschink, Phonogrammarchiv der ÖAW: B38900)

Für *Tačo* wird keine Ableitung angegeben, der Gleitlaut γ deutet auf eine griechische Entlehnung hin, möglicherweise auf griechisch γάτα ‘Katze’ (im Dialekt der Sepečides sonst für ‘Katze’ allerdings das slawische *mačka*).

Vulgonamen konnten sich auf gesundheitliche Merkmale beziehen, wie z. B. *Jašar o Korolo*, *Dinli Menekša*, *Čhinde čamjakire Salije*, oder *Xalade porjengoro*. Manchmal ist die Ursache der Namensgebung auch unbekannt oder sie hatte keinerlei realen Hintergrund, wie bei *Jamjam Ismail*. Türkisch *yamyam* ist der ‘Menschenfresser’. Der so Bezeichnete hatte jedoch keinerlei bedrohliche Eigenschaften an sich. Auch *Praxale kanengoro* hatte angeblich keineswegs ‘staubige Ohren’. Die Entstehung dieses Vulgonamens ist unbekannt.

Oft waren herausragende Eigenschaften namensgebend, z. B. *Špirta pindren-giri* oder *Bare kareskoro Šerifi*: Dem Geschlechtsorgan des Šerif sagte man ungeheure Größe nach: *Leskoro kar efta piroštijes vazdelas!* – was offenbar nicht als vulgär empfunden wurde. Auch der Ausruf *Devla bare kareskereja!* war nicht gotteslästerlich, sondern positiv gemeint und entehrte in dieser Funktion der erotischen Semantik. Möglicherweise waren hier im Gottesbegriff noch alte mythische Fruchtbarkeitsvorstellungen erhalten wie im Shivaismus (Shiva-Lingam).

Vorlieben der benannten Personen standen bei den Vulgonamen *Čakčakos* ‘Tänzer’, *Badžina* ‘Maismehl’ oder *Kanzurengoro < kanz(av)ura* ‘Igel’ Pate. Dem tanzfreudigen Onkel blieb das onomatopoetische čak-čak des den Tanz begleitenden Fingerschnippens als Vulgoname haften. *Badžina* wiederum liebte Maismehlgerichte, *Kanzurengoro* mochte Igel. *Kufala* wurde nach dem von ihm bevorzugten Brennmaterial benannt, nämlich nach den trockenen Wurzelstäcken abgestorbener Bäume, die eine heiße, nachhaltige Glut lieferten (gr. κουφάλα).

Ganze Großfamilien konnten sich nach berühmten Ahnen benennen, z. B. *Din-le Ömerja* ‘Leute des verrückten Ömer’ oder *Bare bajengere Sejfodes* ‘Leute des Sejfo mit den weiten Ärmeln’, deren Vorfahre die damals typischen weitärmligen Mäntel bzw. Umhänge erwachsener Männer trug.

Epitheta bezogen sich, was ungewöhnlich scheint, manchmal auch auf Einzelereignisse im Leben des Bezeichneten, z. B. *i Gerali* ‘die Kahle’ für ein Mädchen, dem einmal anlässlich ihrer Verlausung die Haare geschoren werden mussten. Der Name

blieb haften, ebenso wie *Samsonlus* für einen Vorfahren, der im Zuge der Migration von Nordgriechenland durch die Türkei wiederholt fragte, in welcher Richtung bzw. wie weit entfernt denn die Stadt Samson liege. Der Erklärung zufolge wurde dieser Name im Zorn generiert:

Anav isi leskoro Osman. Leskiri romni, mo dat, mi daj, mi bibi Menekša, mi dajakiri phen. Akana mo kak, ka džan, džana ko Samsoni. O them isi Samson. Džana, džana, kon avela angla leste ama, kon ti si, ama xoraxaja, ama xoraxni, pučhela: ‘Hemşerim, daha çok Samsona?’ – ‘Te burda!’ vakerela. Džana, džana, džana, pale kon avela, pale pučhela: ‘Çok var da Samsona?’ – ‘Te burda!’ Okova ‘Te burda’ ka vakerena, imdinasa les ‘paše’! Džasa, džasa. ‘Mi čhaj’, vakerdas mo dat, ‘odova ‘Te burda’ na bitinola!’ Pale, šun akana, kon avela angla leste, pale pučhela: ‘Samson? Çok var?’ – ‘Te burda!’ Sora mi daj leske xoljasajli. ‘Ah re, beš akana, Samsonlu!’, vakerdas. Otar ačhilo leske ‘Samsonlus’. Džak ti merel sora, leskoro anav na sine ‘Osman’. ‘Samsonlu!’ vakerenas leske o Roma. Ačhilo leske džak ko meripe. (Slg. Heinschink, Phonogrammarchiv der ÖAW: B38901)

Manche Assoziationen sind nicht leicht nachzuvollziehen, wie z. B. beim Personennamen *Leledža(s)* (Slg. Heinschink, Phonogrammarchiv der ÖAW: B38524 und B38638).

O Leledžas isine i Kufalaskoro phral, anav leskoro isine Jakup, ama leskere dana isine bare. Oduleske o Roma leske ‘Leledža’ vakerenas, bare danengoro Leledža [B38524]. Bare danengoro sine, nikadesas leske katar ko dana. [B38638]

Aus dieser Erklärung erhellt sich freilich noch keine Ableitung des Vulgonamens. Griechisch *λελέκι* (türkisch *leylek*) bedeutet ‘Storch’, nicht gerade ein Musterbeispiel für ein Tier mit Zähnen. Entweder wurde das vorstehende Gebiss der betreffenden Person dennoch mit einem Storchenschnabel assoziiert, oder es liegt hier ein ornithologischer Irrtum vor.

Tierische Metaphern

Überhaupt war zoologische Metaphorik eine beliebte Quelle für Bezeichnungen im Sepečides-Romani, nicht nur für Vulgonamen, sondern vor allem in der Personenbeschreibung. Die Korbflechterei war eine eher sesshafte Tätigkeit, sie bot Zeit für ausgiebigen Gedankenaustausch im Kreise der Verwandtschaft; die (Groß)familie, ihre Mitglieder und deren Charaktere lieferten zugleich auch nie endende Themen täglicher Kommunikation, sei es in Form von Anekdoten, lehrreichen Geschichten oder einfach nur als Tratsch.

Was äußere Merkmale einer Person betraf, enthielt die Pragmatik der tierischen Ausdrücke im Sepečides-Romani eindeutig keine pejorative Konnotation, allenfalls Ironie, anders als z. B. im Deutschen, wo Vergleiche des Äußeren von Mensch und Tier oft eine negative Wertung zum Ausdruck bringen.

papin ‘Gans’: Durchaus unterschiedlich zum Deutschen, Englischen und vielen anderen Sprachen, kann z. B. das Erscheinungsbild der Gans als ästhetisch gelten: *So šukar phirela, sar papin.* bezog sich auf das Schwenken der Hüften einer gut gebauten Frau beim Gehen. Zugleich diente die Gans auch als Metapher für Gier: *Pilavela o xabe sade sar jek koroli papin.* Im Deutschen würde man entsprechend sagen: “Er schlingt wie ein Wolf.”

khulongoro bumbalos ‘Mistkäfer’ war die Bezeichnung für eine dicke Person, aber durchaus als wohlwollender, allenfalls leicht ironischer Ausdruck. Mit ‘dick’ und ‘dünn’ waren keine allgemeinen ästhetischen Wertvorstellungen verbunden.

gurumni ‘Kuh’: Eine üppige weibliche Person mit entsprechender Oberweite wurde mit *čuča sar jek gurumni* bezeichnet, ein Ausdruck, der ebenfalls als wertneutral galt. Dies hing auch mit den ästhetischen Vorstellungen bzw. Schönheitssidealen in Bezug auf Weiblichkeit zusammen: Wo große Brüste nicht als hässliches Merkmal galten, war auch ihr tierischer Vergleich nicht pejorativ.

Tierische Metaphern zur Beschreibung von Charakter- oder “inneren” Eigenschaften waren freilich auch im Sepečides-Romani mit einer Wertung verbunden:

tilikija ‘Fuchs’: Der Fuchs denotierte auch im Sepečides-Romani ‘Schlauheit’. *Isi budžandi sar jek tilikija* konnte in positivem und negativem Sinn gemeint sein.

buzni ‘Ziege’: Die Ziege steht bis heute bei den Sepečides von Izmir generell für Dummheit, *buznakiri godi* ist somit als ‘hirnlos’ zu übersetzen: *Savi godi, buznakiri ril!* ‘Was für ein Hirn, wie ein Ziegenfurz!’

Im Gegensatz dazu galt das Schaf, *brako*, als klug. *Godjaver sar jek brako* ‘klug wie ein Schaf’ würde z. B. im Deutschen geradezu absurd klingen. Die relevanten Eigenschaften sind die Fähigkeit, Einzelpersonen, an die das Tier gewöhnt ist, zu erkennen und ihnen nachzufolgen, wohingegen die Unabhängigkeit und Frechheit einer Ziege als Dummheit verstanden wird.

sap ‘Schlange’: Die Schlange ist bei den Sepečides, zumindest in ihrer Metaphorik, ein zumeist positiv besetztes Tier. Dies zeigt sich auch in der Märchentradition, wo Schlangen oft verzauberte Prinzen oder tierische Helfer darstellen, und nur selten gefährliche, negativ bewertete Tiere. *So šukar muj, sapane moskiri!* Hierin unterscheidet sich Sepečides-Romani wohl von vielen anderen

Sprachen bzw. Symboltraditionen. Eine Parallele (und vermutliche Quelle) dieser positiven Schlangen-Metaphorik ist die Gestalt der Šahmaran ‘Königin der Schlangen’, einer mythischen Schlangengottheit aus Anatolien, dem Iran und Irak. Diese als halb Frauen-, halb Schlangenfigur dargestellte Gottheit verkörpert Weisheit und geheimes Wissen. Es ist eine in der Türkei bis heute bekannte mythische Figur. Demgegenüber tritt die biblische Assoziation von Schlange mit Bosheit, Verführung und Falschheit in den Hintergrund.

džamba: Auch der Frosch wird nicht mit Ekel oder Niedrigkeit assoziiert, sondern gilt als gutes, harmloses Tier. *Devlam, soske na kerdan man džamba?*? Der Frosch ist harmlos und sein Leben ruhig. Die biblische Metaphorik der Negativität von Kriechtieren fehlt.

džukel ‘Hund’ mit der Semantik ‘bissig’: *Isi romli, dandarela, lake vakerasa, isi sar jek džukel*. Eine allgemeine Erfahrung dürfte auch sein, dass Hunde, die viel bellen, nicht wirklich gefährlich sind: *Kava džukel but bašela, na dandarela*. Im Deutschen hat diese Erkenntnis eine fast identische Entsprechung im Sprichwort *Hunde, die bellen, beißen nicht*. Eine weitere Ableitung ist *džuklane moskoro* ‘Quatschkopf’, die redefreudige Personen mit Hunden vergleicht, die ständig bellen: *So but lafi kerela, sar jek džukel hep bašela, adava isi džuklane moskoro*. Zur Beredsamkeit von Personen siehe auch weiter unten.

xer ‘Esel’: *xerano šereskoro*: ‘Sturkopf’, *iek dženo kon na ašunela so vakeresa*. Wie im Deutschen gilt der Esel als stur und nicht leicht zu beeinflussen, nicht jedoch als dumm.

kukumaka ‘Kauz’: Der Kauz mit seinem nächtlichen ungemütlichen Ruf steht auch bei den Sepečides für den Totenvogel. Er bringt Unglück ebenso wie der Rabe *kakaraška*: *I kukumaka dikhasa la ursuzi. Jekh kukumaka, kana džala ekhe khereste, mulo ka nikjol*. – vgl. dazu hingegen die Tiersymbolik im Sintitikes, wo der Rabe nicht negativ besetzt ist.

makhi, die Fliege, wird mit unerträglicher, geradezu klebriger Anhänglichkeit assoziiert. Im Deutschen mit ‘nicht von der Pelle rücken’ umschrieben, bezeichnete die Wendung eine Person, die nicht wegzuscheuchen ist: *Ma ti koline sar i makhi ki bul!* Der ‘lästigen Wanze’ entspricht bei den Sepečides die Filzlaus: *Kolinela sar i mindžakiri džuv*, als Synonym zur Fliege.

bašno ‘Hahn’: *istalime sar jek namborome bašno*: *Ka düšündinela jek dženo but, sar jek istalime bašno namborome dela pes godi*. Das Erscheinungsbild eines kranken Hahnes, der in einer Ecke sitzt und vor sich hin starrt, bezeichnete Geistesabwesenheit bzw. eine grüblerische Person.

Ein wichtiges Tier auf dem früheren Speiseplan zumindest von Kaldéraš, Lovara, Sinti und Sepečides war der Igel. Die Tatsache, dass Igel gegessen und wie sie zubereitet wurden, ist auch heute noch älteren Roma bekannt, auch wenn dieses Tier längst aus dem täglichen Ernährungsmodus verschwunden ist. Vor einigen Jahrzehnten betrachteten z. B. französische Kaldéraš den Igel als Symbol für die Romawelt schlechthin, lange bevor eine eigene Flagge kreiert wurde, die das Rad zum Hauptsymbol erhob. Es verwundert daher, dass sich gerade zum oder über den Igel keine Phraseme und Sprüche finden – uns sind zumindest keine bekannt. Im Sepečides-Romani gibt es lediglich den Begriff *kanzurengiri rutuni* ‘Stupsnase’.

Abseits aller Tiermetaphorik gab es ein Lexem besonderer Charakteristik im Sepečides-Romani: *čučuvalo* ‘heißhungrig’, das auf *čuči* ‘Brust’ zurückgeht. Im Unterschied zu dem von *bul* abgeleiteten *buljakoro*, allg. ‘gierig’, und dem von *xal* ‘essen’ abgeleiteten *xalxano*, das für ‘gefräßig’ steht, bezeichnet *čučuvalo* einen Menschen, den ein Heißhunger nach einer bestimmten Speise überfällt, z. B. Esszwang nach Süßem, Saurem etc., wie er Frauen in anderen Umständen nachgesagt wird. Der Ausdruck steht am Ende einer längeren Assoziationskette, die bei einer stillenden Frau ihren Ausgang nimmt, deren Brüste anschwellen, wenn sie ihr Kind längere Zeit nicht stillt; die weitere Ableitung erfolgt über die Vorstellung schwellender Brüste bzw. Hoden bei Menschen, die eine Speise nicht erhalten, nach der sie gelüstet:

Isi jek xalxano dženo, ka keresa jek xabe, les ma ti desa, othar ačhela leskiri godi, odule xabeste ačhola leskiri godi. Oduleske vakerasa ‘čučuvalo’. Ama sar? Dikh: Kon na dela les xabe so mangel, leskere pele šuvljona! I romli da, ka si la čhavo, na dela les čuči, lakere čuča šovljona. Voj isi čučuvali! Oduleske ‘čučuvalo’ vakerasa da, kana jek dženo isi xamaske. (F. H. 20.10.2015)

Das Lexem ist uns nur aus dem Sepečides-Romani bekannt und geradezu ein “Kennwort” dieser Gruppe.

4 Dialektübergreifende Phraseme

Lohnend wäre eine Untersuchung idiomatischer Wendungen, die sich in mehreren, nicht benachbarten Romani-Dialekten finden und auch nicht kontaktsprachlich zu erklären sind. Sie könnten auf ein gruppenübergreifendes gemeinsames assoziatives Erbe hinweisen. Dies würde allerdings Analysen erfordern, die unsere Kapazitäten übersteigen. Wir präsentieren hier nur als Denkanstoß wenige Phraseme, die den beiden Dialekten – Sepečides-Romani und Kaldérašicko – gemeinsam sind.

Die erste entstammt wieder einmal der Zoologie, denn auch die Würmer hatten ihren Platz in der Tiersymbolik der Sepečides und bis heute auch im Kaldérašicko. Unruhige Menschen, die nicht stillsitzen können und herumwetzen wie wurmbefallene Hunde wer-

den mit *ćerme* und *bul* bzw. *kerme* ki *bul* bezeichnet. Auch wenn sich die hygienischen Bedingungen längst geändert haben, ist diese Wendung noch den meisten Sprechern ein Begriff.

Die Wendung *lakiri čib lakiri mindž carela* bezeichnete im Sepečides-Romani eine ‘Quasslerin, Plaudertasche’; unter Ausnutzung der beiden Bedeutungen von *čib* ‘Zunge’ und ‘Sprache’ wird die Person als mit einer Zunge von Überlänge beschrieben. Die Entsprechung im Kalděrašicko lautet

Laći šib arêsel ži kaj bul: Kana sî šibali řomni, laći šib arêsel ži kaj bul, ži ka laći bul, kadiči lungo šib sî la! (D. J. 2015)

Die Metapher der ‘Redseligkeit’ als ‘Länge der Zunge’ ist beiden Dialekten gemeinsam, Unterschiede bestehen nur im Detail. Die Variante im Kalděrašicko hat den Vorteil, dass sie auch für redselige Burschen und Männer anwendbar ist: *Leski šib arêsel ži kaj bul*. Im Sepečides-Romani hingegen kann die Phrase nicht an männliche Personen adaptiert werden: erstens aus anatomischen Gründen; zweitens aufgrund eines prinzipiellen Konnexes zwischen *mindž* und *čib* in der Erzähltradition der Sepečides: In erzählerischem Kontext wird dem weiblichen Geschlechtsteil, *mindž*, auch Sprachfähigkeit zugestanden, was in vielen anzüglichen Schwänken, aber auch in Märchen thematisiert wird. Daher kann auch obige Wendung nicht für männliche Sprecher verwendet werden, denn, wie uns erklärt wurde (F. H. 10.11.2015): *I kares nane les čib!* Man beachte den Kasus obliquus des als belebt empfundenen Lexemes *kar* in dieser Wendung!

Der Ursprung der Metapher liegt vermutlich vor allem in der Doppelbedeutung von *čib/šib* als ‘Zunge’ und ‘Sprache’. Während im Indischen (s. auch Turner 1966) ‘Zunge’ und ‘Sprache’ nicht homonym sind (auch im Hindi bedeutet *jibbha* nur ‘Zunge’), hat bereits Iranisch *zaban/zuban* beide Bedeutungen, ebenso wie griechisch γλῶσσα.

Ausrufe und Flüche gehören zu den emotional am meisten aufgeladenen Sprachelementen, und sie sind nicht nur im Romanes oft das letzte, was junge Sprecher noch beherrschen, deren sonstige Sprachkompetenz im Schwinden begriffen oder bereits geschwunden ist. Zu den typischsten Redewendungen im Dialekt der Sepečides gehören *Ti xljav ti džuvdeskiri jakh* und *Ti xljav ti muleskiri jakh*. Die Bedeutung beider ist einander entgegengesetzt. Ersteres ist ein eher freudiger, keinesfalls negativer Ausruf des Erstaunens, ungefähr deutschem ‘Na so etwas!’ entsprechend. Letzteres ist ein eindeutig negativer Ausruf, Ausdruck des Zornes, z. B. im Zuge einer Meinungsverschiedenheit.

An diesem Beispiel lässt sich verdeutlichen, wie Redewendungen auch die Wertssysteme und Tabus einer Gruppe reflektieren: Bei den Sepečides ist *Ti xljav ti muleskiri jakh!* ein Ausruf des Zornes. Im Kalděrašicko wie auch bei den Prileper Arli sind Wendungen mit *xljav čo/či ...* ebenfalls vorhanden, allerdings mit anderem Objekt, siehe unten. Im Sintitikes wäre ein Ausdruck wie *xljav ti muleskiri jakh* über-

haupt nicht möglich: Er würde als Entehrung eines Toten verstanden und wäre eine unverzeihliche Beleidigung.

Der Wendung *xljav ti džuvdeskiri jakh* als Ausruf des Erstaunens entspricht *xljav čo noroko* im Kaldérašicko. Das Lexem *noroko* ist entlehntes rumänisches *noroc* ‘Glück’ und nur in diesem Phrasem in Gebrauch. Referenziell als ‘Glück’ kann *noroko* nicht verwendet werden:

Noroko avelas bi sar jek ‘bax’. Či mothol pe, kē ‘sí tu noroko’ – univar mothonas amare purane vaj amare mamija, mothonas ‘xljav čo noroko’. Ašunavas vi katar muři dej vi kata muřo dad, kata muři mami, kana sas vareso čudno, kana kērenas le šavorě vaj ande kodo smislo vareso, kadja ašunavas me. Nas akušimaskê!

(D. J. 22.10.2015)

5 Schlusswort

Zu jeder Sprache gehört ihre Geschichte, inklusive älterer Sprachzustände auf grammatischer, lexikalischer und syntaktischer Ebene, selbst wenn sie nur mündlich tradiert wurde wie die *Romani čhib*. Sie wurde Jahrhunderte lang lediglich in fragmentarischen schriftlichen Zeugnissen durch Außenstehende festgehalten, ihre Herkunft konnte erst spät linguistisch rekonstruiert werden (beginnend mit Rüdiger 1872 und Grellmann 1873). Erst seit den letzten Jahrzehnten vollzieht die *Romani čhib* ihren Übergang zu einer verschrifteten Sprache. Zugleich haben die geänderten Lebensumstände ihrer Sprecher, der Zusammenbruch alter Sozial- und Berufsstrukturen sowie die Ermordung zweier Sprechergenerationen durch den Holocaust die Sprachtradierung entweder überhaupt unterbrochen oder drohen sie auf die Domäne ‘Haus und Familie’ zu beschränken. Auch wo die junge Generation keinen Sprachwechsel vollzogen hat und Romanes als lebendiges Kommunikationsmittel verwendet, übt die jeweilige Mehrheitssprache schon allein durch die Dominanz ihrer Medien großen Druck auf die *Romani čhib* aus. Wo diese überlebt, muss sie sich den Erfordernissen der gegenwärtigen europäischen Mehrheitsgesellschaften anpassen, wodurch sich die gesamte Kommunikationsstruktur gegenüber dem traditionellen Leben früherer Romagemeinschaften geändert hat. Die *Romani čhib* scheint in dieser Hinsicht geradezu in die Zukunft zu stürmen.

In den Nationalsprachen Europas stehen der permanenten Veränderung, der diese selbstverständlich ebenfalls unterliegen, meist als Gegenströmung die Sprachpflege bzw. Bewahrungsbestrebungen gegenüber. In vielen europäischen Ländern wie z. B. Frankreich, Italien oder Schweden wachen Sprachakademien im öffentlichen Auftrag über Entwicklung und Zustand der jeweiligen Landessprache und betreiben somit gezielte Sprachpolitik. Frühere Sprachzustände sind durch die erhaltene Dichtung und Literatur belegt, mehrheitlich im hoch- bzw. nationalsprachlichen, zum

Teil auch im dialektalen Bereich. Die historisierenden, manchmal als rückwärtsgewandt empfundenen Tätigkeiten von Philologen und Sprachfolkloristen können ältere Sprachstrukturen eines Dialekts, Soziolekts oder der Mundart eines Einzeldorfes einfangen und quasi museal fixieren, und verhindern so den mit dem Verschwinden/Verändern einhergehenden Informationsverlust.

Für die *Romani čib* ist keine schriftliche Dichtung oder Literatur belegt, die vor den Ersten Weltkrieg zurückreicht, sieht man von Bibelübersetzungen Anfang des 20. Jhdts. (ausführlich bei Ellingworth 1975; s. auch Matras 2004) und von Erzähltexten ab, die im 19. Jhd. von Wissenschaftlern während des Erzählens schriftlich festgehalten wurden (Paspati 1870; Miklosich 1874). Eine Dokumentation älterer Sprachzustände oder Sprachreflexion unter den Sprechern fehlt meist auch da, wo Roma in besseren Verhältnissen leben, selbst wenn ältere Sprecher das Verschwinden alter Lexeme bedauern. Die vordergründige Nutzlosigkeit des Bewahrens alten Vokabulars, das im Kaldéراšicko zugleich mit den traditionellen Handwerksberufen verschwindet und im gegenwärtigen Leben nicht anwendbar ist, lässt allfälliges Interesse junger Sprecher rasch erkalten. So wird die *Romani čib* bei den serbischen Kaldéraš zwar noch tradiert und von den jungen Sprechern erlernt, wirft aber zugleich einen Großteil des lexikalischen Ballasts der vergangenen Arbeitswelt ab, die sich Jahrhunderte lang nur wenig änderte und dann innerhalb weniger Jahrzehnte verschwand.

Bei einer kleinen Gruppe von etwa 20 jungen Sepečides in Mersin, Südtürkei, ist Romanes noch ein lebendiges Kommunikationsmittel, das in elektronischen Medien verwendet wird. Die Mehrheit der Sprechergemeinschaft kommuniziert jedoch nur noch türkisch. Bei den Sepečides in Izmir wurde Romanes zwar noch bis in die 1960er Jahre gut tradiert, dann allerdings erfolgte ein abrupter Sprachwechsel innerhalb zweier Generation, sodass junge Sprecher kaum mehr passive Kompetenz für Romanes haben. Mit der *Romani čib* ist unter den geänderten Sozialstrukturen auch der Gebrauch der Vulgonamen verschwunden, da er nicht in die türkische Kommunikation übernommen wurde.

Angesichts dieser von raschen Veränderungen geprägten Situation fällt dem oben angesprochenen „musealen“ Ansatz zumindest die Aufgabe zu, Information über historische Arbeits- und Sozialstrukturen zu erhalten.

Literatur

- Boretzky, Norbert. 1994. *Romani. Grammatik des Kalderăš-Dialekts mit Texten und Glossar*. Berlin: Harrassowitz.
- Ellingworth, Paul. 1975. *United Bible Societies Memorandum Appendix IV ERTC April 1975*. London.
- Gjerdman, Olof / Ljungberg, Erik. 1963. *The language of the Swedish Coppersmith Gipsy Johan Dimitri Tajkon*. Uppsala.
- Grellmann, Heinrich Moritz. 1783. *Die Zigeuner. Ein historischer Versuch über die Lebensart und die Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volkes in Europa, nebst ihrem Ursprunge*. Dessau / Leipzig.
- Heinschink, Mozes F. / Jevremović, Dragan. 2002. Pras ‘Glück’ – ein bisher unbekanntes Erbwort im Kalderăš-Romani. *Grazer Linguistische Studien* 58: 55-56.
- Hübschmannová, Milena. 1985. Oral folklore of Slovak Roms. *Lacio Drom 6 suppl.*: 61-70.
- Matras, Yaron. 2004. *The future of Romani: Towards a policy of linguistic pluralism*.
http://romani.humanities.manchester.ac.uk/downloads/2/Matras_Pluralism.pdf. (2010-10)
- Miklosich, Franz v. 1874. Über die Mundarten und Wanderungen der Zigeuner Europas. Band IV. *Denkschriften der phil.-hist. Classe Der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften* 23. Bd. Wien.
- Paspati, Alexandre G. 1870. *Études sur le Tchinghanés ou Bohémiens de l'Empire Ottoman*. Constantinople: Karomela.
- Rüdiger, Johann Christian. 1782. *Von der Sprache und Herkunft der Zigeuner aus Indien*. Leipzig. [reprint Hamburg: Buske: 1990]
- Turner, Ralph. 1966. *Comparative Dictionary of the Indo-Aryan languages*. London: Oxford University Press.
- Weinberger, Helmut. 2012. *Kroatisch/Serbisch-Deutsches phraseologisches Wörterbuch angeordnet nach semantischen Gruppen*. Wien: Facultas.

Inverted addressing in Balkan languages and Romani dialects

In what we call inverted addressing, a person of an older generation addresses a younger relative with a lexeme designating his/her own role in the relationship, independent of the addressee's sex. The paper presents the different patterns of inverted addressing in several Balkan languages and in those dialects of Romani where the phenomenon has been documented so far. Inverted addressing was found to occur in Romanian, Bulgarian, Macedonian, Albanian and Turkish, as well as in the Romani dialects Kalderašicko (Serbia, Bulgaria, Russia), Lovari (Austria), Erli (Bulgaria) and Sintitikes. Although inverted addressing is a salient feature of some Balkan languages (but not of all), its origin in Romani as a contact phenomenon cannot be established with certainty.

1 Inverted addressing in Balkan languages

Inverted addressing seems widely spread in the Balkan languages, though not in all of them. The phenomenon has not escaped the attention of (Balkan) linguistics,¹ yet it has received only humble attention. The speakers themselves are hardly ever aware of this phenomenon although it can be observed whenever two people in family relations are engaged in oral communication.

In the same way as Bulgarian mothers say *мами!/мама!/мамо!/маме!/маменце!* and the like to their children – without making any difference between a male or a female child – fathers address their offspring – son or daughter – as *mame!/mamu!/мамко!/маменце!*. The words used differ as to their grammatical form as well as to several types of word formation (diminutives – *маме!, маменце!, майчице!, матенце!...*)

Similarly, uncles and aunts use the lexeme designating their own role in the relationship with the addressee (uncle, aunt) – to address their nephew or niece, and grandparents address their grandchildren as *баби!* and *дядовомо!*, i.e. in all cases the word of addressing is inverted.

¹ Beyrer/Kostov (1978), Nicolova (1984), Ivanova/Nicolova (1994), Hauge (1999).

The paradigm of inverted addressing further includes brothers and sisters in respect of their age group – the older brother or sister are *батко* resp. *кака* for their younger brother(s) and sister(s). The forms for the older brother (*батко/бате*) are employed in both directions (normal and inverted addressing), while those for the older sister differ for normal and inverted addressing (*како!* *каке!* vs. *кака!*).

For the time being, we'll refer to this type of addressing generally as inverted addressing: the speaker and the addressee (can) use the same lexeme – though not necessarily the same form of this lexeme – to address each other.

Another form widely used in addressing children or younger relatives is the nominalized (relational) adjective: – *маминото!*, *лелиното!*, *бабиното!*, *дядовото!* *батковото!* *какиното!* – We would not, however, account for these forms as inverted addressing (see below).

The number of possible participants involved in this somewhat strange addressing system is restricted:

mother	– son/daughter	uncle	– nephew/niece
father	– son/ daughter	aunt	– nephew/niece
grandfather	– grandson/-daughter	older brother	– younger brother/sister
grandmother	– grandson/-daughter	older sister	– younger brother/sister

i.e. speaker and addressee are in family relations and belong to different generations and/or a different age group.

This type of addressing is unidirectional and, further, sexneutral. Unidirectionality means the inverted form of addressing is used for the younger generation, or, more generally, younger people, only – but never the other way round. This has offered a wide range for (philosophic and/or ethnologic) interpretation and speculation which, albeit extremely challenging , will not be dwelt on.

Sexneutral means that the speaker doesn't take into account the addressee's sex,² a mother can call both her daughter and her son *мамо!* and may be addressed as *мамо!* by them. The older brother may call his younger brother or sister *бате!*, or *батко!* and *кака!* is the addressing form used by an older sister for her younger sister or brother. In any case the sex of the younger partner/addressee is neutralized: when addressing one's son/daughter, grandson/granddaughter, nephew/niece, (younger) brother/sister, the same lexical item is employed.

The most salient characteristic of the phenomenon seems to be the reversibility of the addressing: one and the same term is applicable to both partners of a non-equal relation.

2 Cases with the speaker's sex not taken into account are met in Gypsy dialects, and also Bulg.s.b.

When I asked an 18 year-old G. who was born in Germany shortly after her parents had left Kosovo polje “*How does your mother call you when talking Albanian?*” she answered, after a moment of silence: “*Oh, it’s very strange, I cannot explain it, I don’t know why it is as it is – my mother calls me ‘mother.’*”

The same perplexity I was faced with whenever speakers of Bulgarian realized that their way of every-day addressing their children might sound somewhat strange (to a non-native speaker) – my own interest in this type of addressing was due to a misunderstanding.

There seem, however, to be some restrictions in respect of the (historical, grammatical) forms used in inverted addressing. Whereas a father may be called *mame мамко матенце* by his children and address them by the same word, this is not true for *mamu*, i.e. the old genitive, which is employed for addressing children only. Similarly, a grandmother will call her grandchild *баби*, but this form will never be used by a child to address the grandmother. Forms never used in ‘normal’ addressing but only with inverted lexical meaning represent a special case within the system of inverted addressing.

Differently from *баби!* and *mamu!*, the form *мами!* is used in both directions (just like *мама!* *мамо!* *маме!*) – this, however, is said, is due to English influence.³

Not interchangeable are the addressing forms of the lexeme designating the older sister: An older sister – *кака* – is called *како!* or *каке!* by her younger brother/sister. In the inverse case, i.e. when she addresses her younger brother/sister, she will use the *casus generalis*: *кака!*

Apart from the above mentioned restrictions we came across another distinction in the use of *mamo!*, which in principle can be used from mother to daughter and vice versa. Some adult speakers, however, who have both a mother and a child distinguish two forms of addressing: *мама!* or *мамо!* for their son/daughter, but *майка!* or *майко!* for their mother.

In Bulgarian *майка/майко* seems nowadays not (or rarely?) in use as a form of inverted addressing, but its former use is proved by older sources:

*та е излела, излела
цар Костадинова майка:
цар Костадин, Костадине,
това ли, майка, ареса,
ареса, майка, бендиса?*⁴

3 Vlado Phillipov, p.c.

4 Сборник народни умотворения част II, Nr. 722 It is not very difficult to come across examples illustrating inverted addressing in the folklore literature, but it needs further research.

1.1 The pragmatic state of inverted addressing

Belonging to the domain of intimate speech within the family inverted addressing has probably always been used substandardly, alongside with normal addressing.

Inverted addressing is used fully subconsciously, and it is, therefore, not easy to talk about it. Whenever these addressing forms become theme/topic, speakers react somehow surprised and irritated, even consternated.

A part of every-day speech in Bulgarian, used many times a day, these forms of addressing are felt as absolutely ‘normal’ by a speaker and an addressee – being asked about them speakers might react like V. in the following dialogue:

Do you say ‘мамо’ to your daughter?

Yes.

How old is she?

30.

And you still say ‘мамо’?

Of course, I do. She will always be my daughter.

V. didn’t even realize that addressing her daughter as ‘мамо’ might sound somewhat strange.

Discussing the phenomenon of inverted addressing with R. she told me about addressing her nephew: *And I call him ‘auntie’, no matter that he weighs 120 kilos.* Be aware: It’s not surprising to use the same word for your sister’s son as he does for you – it’s not disturbing to use a word normally designating a female person for a male one – at the most it sounds a bit strange to call a male adult of 120 kilo *леля* (‘aunt’) – an addressing form felt, however, as totally appropriate for a male child.

Asked whether their mother called them *мамо* or whether they call their children *мамо* speakers sometimes react not only with surprise, but feel even offended by this absurd suggestion; several times we received a straightforward denial as a first, spontaneous reaction: *O no, my mother was an educated woman, a teacher. She knew Bulgarian very well.* We cannot say whether education or self-reflection about one’s own speech behavior ever plays a role for the choice of the addressing form.

As for the pragmatic value of this addressing type there is no doubt: it expresses closeness and tenderness of the older speaker to his younger addressee. Inverted addressing seems to be reserved to this pragmatic context.⁵ We could not establish systematic differences between the varying forms. Some (female) speakers address

5 Kjetil Ra Hauge p.c.; I have encountered no counterevidence to this assertion with Bulgarian speakers.

their son/daughter as *мамо*, others use *мами*, *мама* or *маме*. The distribution of these forms seems to be idiolectal – common to all of them is that they appear in normal addressing as well.

The only counterevidence met so far is from C., a young romni (a Gypsy woman) who told us she uses *мами* when caressing her little son and *мамо* when scolding him. However, for C., who speaks Romani with her son – both words are borrowings. This case offers counterevidence to what has been claimed so far: inverted forms are used not exclusively to express positive attitude of the speaker to the addressee, and, further, one speaker may use varying forms of the inverted paradigm.

In order to express positive feelings the inverted forms may also be used metaphorically – by ‘metaphorically’ we mean the addressing term used does not correspond to the real relationship between a speaker and an addressee.

K. told me, her husband’s (adult) friend would address her as *баме!* (*Kame баме, ела да пием кафе*), *баме* ‘older brother’ being used both invertedly and metaphorically.

In the article of Beyrer/Kostov (1978) on inverted addressing the process of metaphorizing this addressing type has been described for Romanian, where it was said to be much more palpably present at the time (end of the ‘70ies). “Such an extension of the stylistic means of expression with the relational names does not occur in Bulgarian.” (Beyrer/Kostov 1978: 50). We do, however, based on actual observation, dare make the hypothesis that such an extension is taking place at the time being.

In this respect the fact that the inverted meaning in Romanian dictionaries (not so in Bulgarian or Albanian ones) is accounted for strikes us as being non-negligible.

1.2 Coming into existence

Beyrer and Kostov (1978) sketch out the steps of development of inverted addressing (“umgekehrte Anrede”) in a detailed analysis for Bulgarian and Romanian. The forms used in inverted addressing are traced back to a nominal construction that designates both the addressee and the speaker.

Isolated nominal forms such as *мами!*, *мама!* and *мамо!*, *маме!* surprise not only the accidental listener speaking a foreign mother tongue, but also the native speaker, once his attention is drawn to the fact that he is using the same word to address his child and vice versa. Actually, the proper lexical meaning of the word used in addressing has been lost completely, only the pragmatic value of tenderness and intimacy is retained. Therefore, it is incomprehensible to the speaker once she gets aware of this use, why she addresses her son or daughter as ‘mummy’ or her nephew as ‘aunt’. There is, however, no doubt about the emotional value. Only with

the use of the (isolated) relational adjective (genitive-adjective) – *мамино(mo)!*,⁶ *татъово/mамково(mo)!* – the more complex underlying construction, is comprehensible at the synchronic level. The speaker will immediately account for these addressing forms as truncated from *мамино/татъово deme!*. Thus, with such addressing forms it is obvious to both partners in the communicative act that the proper word for the addressee has been omitted. The full construction of addressing is easily reconstructed.

Kostov/Beyrer (1978) suggest that this construction was used at the very beginning of inverted addressing:⁷ *Ела си, сине, мамин!* The isolated use of the adjectival determinative remains a most common form of addressing up to our time. Differently from other forms of addressing, here the gender (and number) of the addressee is in correspondence with the gender of the appellative omitted: *мамин!, маминият!, мамината!, маминото!* and, accordingly, *татъвомото!/татъвата!* etc. When talking to two or more children the plural will be used: (*елате*) *мамините!*

To be sure, the use of the relational adjective, either isolated, or in a syntagma, cannot be accounted for as inverted addressing – it is not reversible.

The isolated substantival forms are to be understood in the very same way as the relational adjective, the latter in meaning being very close to the genitive case – thus *мамино deme* and *deme мами* are semantical equivalents – the difference between them concerns the transparency vs. opacity with respect to the underlying complete construction.

Comparing inverted addressing in Bulgarian and Romanian, Kostov/Beyrer reconstruct the make-up of the underlying syntagma as consisting of two nouns: an appellative or proper name in the vocative case⁸ designating the addressee and another noun in the genitive case designating the speaker himself and determining his kinship relation to the addressee:

addressee : vocative case

speaker : genitive case

This reconstruction combines synchronic data from both languages under consideration: Relics of a morphologically marked vocative case nowadays exist only in Bulgarian, mainly with proper names – *сине мами!, Иване мами!* – in other instances

6 (a slight pragmatical difference among forms with and without article is noticed – the form with an article is more intimate).

7 “Eine allein im Bulgarischen auftretende Besonderheit beinhaltet die Möglichkeit der Adjektivierung des Verwandtschaftsterminus. Sie ist offenbar zeitig genutzt worden, weshalb sie als eine in der ersten Phase ausgeprägte Erscheinung zu werten ist.”(Beyrer/Kostov 1978: 45)

8 Ivanova/Nitsolova (1994:28) suppose the vocative occurs only recently in inverted addressing.

the Bulgarian vocative has been (and still is being) replaced by the *casus generalis* as in the other Balkan languages.

The genitive case of the determinative accompanying the *appellativum* nowadays can be established only for Romanian – *fata mamei*, (*draga babii*), *dragul taichii*.

In Bulgarian *мами!* *mamu!* and *баби!* are vestiges from the synthetic case system. Due to case syncretism it cannot be established with certainty, whether they are continuants of the old (synthetic) genitive or the dative case (*genitivus possessivus* or *dativus possessivus* cf. Beyrer/Kostov 1978: 45). Though the old genitival forms long since have become opaque, i.e. are not transparent any more, their pragmatic value in inverted addressing – intimacy, tenderness – has been preserved and is felt both by the speaker and the addressee, i.e. differently from both the grammatical function and the lexical meaning the pragmatic meaning has remained unchanged: in language change the pragmatic component seems – at least in this case – to be more stable than the grammatical and the lexical-semantic one. Its dominance promotes metaphoric use. The old genitival forms can be used in one direction only – from a speaker of the older generation to an addressee of the younger one – as is the case with the relational adjective these forms are not reversible – strictly speaking one should not talk about inverted addressing in this case.

With the development from synthetic to analytic case system the encoding of the genitival case (*мами* etc.) got replaced by a syntagma consisting of the preposition *на* + *casus generalis*: *мами* > *на мама*, or, the whole construction: *мами сине* > *на мама сине*.

Omission of ‘на’

Examining the omission of the marker *на* one has to keep in mind:

- a) when *мами сине* was gradually replaced by *на мама сине*, the two syntagmas must have been in parallel use for some time;
- b) with the old (genitival) meaning of *мами* fading in constructions like *мами сине* its pragmatic value of intimacy was preserved.

After the loss of the genitive meaning in the old – synthetic – form, the marker *на* in the analytic expression had no motivation any more and became redundant. Its purely pragmatic meaning became dominant and was easily taken over by the basic form.

Thus, with the full construction we have the development:

мами сине > *на мама сине* > *мама сине*

Omission of the appellative

The item encoding the addressee may be either a proper name or some *appellativum* such as *child/boy/girl/son/daughter/darling*. For Albanian I was assured that *babi* ‘fa-

ther/daddy', in its inverted use 'son/daughter' is shortened from *xhan i babit* 'father's soul'. Indeed, the appellative doesn't add a great deal of information – the role of the addressee is a well-known fact to both participants in the communicative act, and thus it is omitted easily (cf. Beyrer/Kostov 1978: 46).

The determinans stands for the speaker himself, or, more precisely, his position in relation to the addressee. Of course one might say, the speaker's role, too, is evident, but by using the respective term the speaker expresses his tenderness for the addressee and at the same time underlines his own importance (cf. Beyrer/Kostov 1978: 45). Undoubtedly the original lexical meaning has been lost. This is exactly the reason for the amazement of the non-native speaker, when aunt Maria addresses her 60-year-old nephew as *Toшo, леля!* – let alone a sentence like *ела мамко да ханней!* spoken by an adult male: not being in possession of the intimate knowledge of the native speaker the outsider suggests that the man is taking care of his old, maybe senile and helpless father.

Transfer of the vocative

At first sight the shift of the vocative function and finally the vocative morpheme from the appellativum to the determinative seem to be the step that is most difficult to explain in the development of inverted addressing.

However, after the deletion of the appellativum the vocative function is only naturally assumed by the determinative: *мами сине!* or *на мама сине! > мами! / мама!*

Once the vocative-function is taken over by the determinative, the next step, namely the transfer of the vocative morpheme to the determinative is only a logical consequence of the development.

With the complete syntagma it is thus possible to have two vocatives in sequence: *сине мамо! Иване леля!* One of the 'vocatives' can be in the casus generalis: *сине мама!* and *Иване леля!* or, of course, both 'vocatives' can be in the casus generalis: *Toшo, леля!*

1.3 Distribution of inverted addressing

Beyrer/Kostov (1978) illustrate their survey on inverted addressing in Romanian and Bulgarian with plenty of examples for both languages. At this stage the question about the surrounding Balkan languages arises. Already in their introduction the authors put it in the following words: "The outlined phenomenon seeks for an explanation relevant to the question if it can be defined as a whole or partially Balkan characteristic."

A closer look at Romanian reveals another curious addressing form: a widespread word of addressing among women is *frate* 'brother'. One immediately remembers another somehow odd addressing form in the South Slavonic languages: in Bul-

garian as well as in Serbian *cuhe* ‘son’ is used to address a girl and the same is true for *fiam* in Hungarian (in greater detail see below). Though this addressing type sounds rather old-fashioned nowadays, we can cite native speakers who explained that using a term which properly designates a male for a girl/woman would express respect for her. This addressing form differs from what we call ‘sex inversion’: the latter affects both the son and the daughter (see below).

It is hardly surprising to recover similar addressing forms for younger kin in Macedonian as has been established for Bulgarian: the Macedonian speaker at once understands that by the sentence *vujche, kako si mi, arna si?* an uncle addresses his niece (*vujche* is the diminutive of *vujko* ‘brother of the mother’). The word *bato/bate* older brother is probably not used invertedly. At this point our attention is drawn to the similarities between Macedonian/Albanian: how contact sensitive is the phenomenon of inverted addressing; is it easily borrowed; are there structural preconditions that must be fulfilled on the side of the replica language; can we detect an influence of the contact languages regarding of its extension (speaker involved, metaphorical use)?

In Albanian as spoken in the Kosovo⁹ inverted addressing exists for most kinship relations – only the lexemes for older brother/sister (*bac, bal/dod*) are not used invertedly. With regard to the structure of the expressions we find almost the same variety as in Bulgarian. The speaker chooses among three basic types of the intimate inverted addressing: The (isolated) addressing form might be in the nominative (used in vocative function): *nanë!* ‘mother’ / *mami!* ‘mummy’, it can be a complex syntagma *djalë e nanës! / djalë e mamil!* meaning ‘mother’s/mummy’s boy’ or the mere genitive (truncated syntagma) *nanës!* or *mamil!* The same inventory of forms is available from father to son: *baba!, babi!* and *babës!, babit!*

The fact that in inverted addressing the genitive is used without a prepositioned article strikes us as worth being noted: as a rule the prepositioned article is an obligatory component of nominal groups with genitive. In this position, however, the addressing word albeit formally a genitive is used in its vocative function. The article with the primary function to connect two parts of a nominal group is redundant here. This reminds us of the Bulgarian genitive marker *ha* which, too, is dropped in inverted addressing.

The nominative (in its vocative function) may be employed only with father and mother; other forms of addressing (uncle, aunt) are used only as isolated genitives (without prepositioned article): *tezës!* and *hallës!* when the aunt (sister of the mother or father) addresses her nephew/niece and *dajës!* or *axhës!* when the uncle (brother of the mother or father) addresses his nephew/niece.

⁹ For information on Albanian I am indebted to Xhylla Ceraja and her family, as well as to Norbert Boretzky.

At this place we would like to mention a further Kosovarian peculiarity in kinship addressing, namely the ‘sex inversion’: one of the addressing patterns at the parents’ disposal when talking to their children, is to call their son *vajzë ime / çika ime* ‘my daughter, my girl’ and the daughter *djalë im / bir im* ‘my son! / my boy’, respectively.

We are far from an explanation of this phenomenon, all the more surprising it was to come across the same pattern (sex inversion on the part of the addressee) in the close neighbourhood – again in Macedonia.¹⁰ This addressing pattern is no inverted addressing as dealt with before; there are, however, salient similarities between the two types of addressing (not direct, not correct, older to younger) which could be subsumed under the headline ‘irregular addressing’.

The Albanian-Macedonian parallels deserve further research on existing continua in addressing patterns.

Inverted addressing is not used in Standard Serbian, it occurs (occurred?), however, in the Serbian dialect of Kosovo. In the example below the mother addresses her child as *majko*:

Mati govori detetu: Idi majko, donesi mi ovo kupce vodu! (Elezović 1932: 381)¹¹

This is, of course a further hint to contact-induced innovation in the field of addressing. The case must be taken into account when reasoning about the temporal extension of contact necessary to initiate a parallel development regarding the expressions of addressing. This seems to be especially relevant to Romani.

In Greek there is no pattern of inverted addressing. Yet, the diminutive of ‘mother’ can be used for a young attractive girl.¹² Andreas Tietze (1993) explains the semantic shift as due to Turkish influence: in Turkish the diminutive of the resp. kinship term plus the possessive 1.sg. suffix is used invertedly: with *baba-ciğ-im* or *ane-ciğ-im* resp. the parents address their children while these use the same words without the diminutive marker in addressing their father/mother (for Turkish as used by Roms in Izmir see below).

Twenty years after Beyrer/Kostov, Hauge writes in the conclusion (1999: 13) to his article on inverted addressing: “... in the list of Balkanisms a place has to be allotted to the inverted addressing since it exists in Romanian, Bulgarian, Albanian and Greek.”

The recently published article by Neda Pavlova (2015) once again reminds us of the many aspects of the possible linguistic approaches to inverted addressing. Her article focuses on aspects of discourse analysis and speech-act theory: “[...] a process of desemantization and neutralization of possessivity, and even deletion of the rela-

10 Viktor Friedman, p.c.

11 We are indebted to Norbert Boretzky for this example.

12 λαχταριστό κοριτσοπούλο is the definition in the dictionary of Τεγοπουλος-Φυτρακης.

tional semantics, which are part of the process of pragmatization turns this type of addresses into discourse markers with a special role in constructing of the dialogue and its tonality in general.”

The purely linguistic explanation for the emergence of inverted addressing given by Beyrer/Kostov (1978) was characterized by Hauge (1999: 9) as “plausible, complicated, yet very convincing”. Pavlova (2015: 34) admits that “these explications may be relevant”,¹³ continues, however, explaining, why the emergence of the phenomenon strikes her due to borrowing the model of addressing from Turkish. Among the other Balkan languages which have inverted addressing at their disposal she mentions only Romanian.

The distribution of the phenomenon in the Balkan languages including a complete description of its inventory in forms as well as its pragmatic particularities remains a desideratum. Notwithstanding the fact that we do not follow Pavlova’s suggestion on Turkish as a model for inverted addressing we would like to include Turkish into further inspection of Balkan languages in respect of inverted addressing, its emergence and synchronic aspects of its usage.

Excursus: Knobloch’s “Echonamen”

Considering the emergence of inverted addressing as a concomitant phenomenon following the loss of the synthetic case system in Bulgarian, Beyrer/Kostov give a purely linguistic explanation and many authors consider their explanation as plausible, complicated, yet very convincing (Hauge 1999: 9).

It is, however, by far not the only interpretation. There exist many readings of this addressing type and numerous explanations of its emergence especially in ethnology (cf. the survey on different explanations in Hauge 1999).

A completely different genesis has been suggested in J. Knobloch’s article on “Echonamen” (1977). Roughly speaking, the idea here is that people receive as a proper name a word they often use themselves. Several times we have come across a similar explanation by native speakers, especially in the case of ‘mamo’ as an addressing form to children: little children follow their mother all day long crying ‘mamo’, ‘mamo’, and the mother teases her children by ironically ‘returning’ the addressing word towards them. In “Echonamen” Knobloch (1977: 123) recollects the etymology of German *Enkel* ‘grandson’ the origin of which is claimed to be a kind of inverted addressing: the word used for the grandfather (*Ahn* ‘ancestor’ dim.) was invertedly when applied to the grandchild.¹⁴ We were reminded of this etymology mentioned by Knob-

13 Тези обяснения, разбира се, могат да бъдат релевантни [...].

14 Etymology in Kluge.

loch when we came across the challenging hypothesis by Dzibel (1995) mentioned in Hauge's article (1999: 12-13), basing himself on the fact that reciprocal designations are far more frequent in manifesting relationships of every other generation, relates them to a somewhat obsolete mentality of the generations as a cyclical phenomenon whereby the generation of the ancestors is being replicated in the progeny of their grandchildren. [...] A boy is considered a reincarnation of his grandfather, whereas a girl of her grandmother. The terminology hints at the fact that the boy is identified with his father's father, whereas the girl with her mother's mother.¹⁵

Knobloch further refers to a remark made by the famous Romist Bernhard Gilliat-Smith, who in a private letter to him commented on inverted addressing in the Balkan languages, however, without referring to Romani.

After our survey on Balkan languages we present evidences of inverted addressing in Romani.

2 Inverted addressing in Romani

Considering the analysis of Balkan languages, especially Bulgarian, inverted addressing has distinct lexical, syntactic and pragmatic characteristics: the speaker employs a term in vocative or nominative for the addressee which normally denotes the speaker; it is sex neutral with respect to the addressee; the addressing is unidirectional, that is, applicable only from an older to a younger generation; at the pragmatic level it is connected to the speaker's expression of intimacy, affinity and a positive attitude. While the phenomenon has been dealt with in linguistic and ethnological research in many languages of the world (see Algebra rodstva 1990), we do not know of any investigation concerning Romani dialects so far. Thus, we were tempted to have a look at Romani, the phenomenon's distribution among different dialects and its possible connection with historical or recent contact languages of the dialects in question.

15 Дзибел (1995), изхождайки от факта, че реципрочните названия са по-чести в отношения през едно поколение, ги свързва с едно особено архаично възприемане на поколенията като циклично явление, при което поколението на дядовците "се повтаря" от поколенето на техните внучи. [...] 'Едно момче се смята за реинкарнацията на своя дядо, и едно момиче се счита за реинкарнацията на своята баба. Терминологията намеква, че момчето се отъждествява с бащата на своя баща, и момичето с майката на своята майка.'

We also were confronted with a single case of feminine generalization in a Kalajdži-family: the parents had shifted to Bulgarian and raised their daughter in the new language. Both the mother and the father addressed their daughter with *mamo*, to our knowledge not a borrowed pragmatic feature from Bulgarian.

Examples known to us from direct communication, analyses of the Romani text corpus of the Heinschink Collection, archived in the Phonogrammarchiv at the Austrian Academy of Sciences (Fenesz-Juhasz 1996), published editions of archived recordings of the oral tradition (Cech et al 2001, 2009; Fenesz-Juhasz et al 2003, 2012) as well as direct elicitations revealed inverted addressing in several Romani dialects: thus far in Kalderašicko, Lovari, Sintitikes and Bulgarian Erli. We could not find or elicit evidence of inverted addressing in Arli dialects, Gurbet and Sepčides Romani. In the four dialects mentioned above there are differences to the phenomenon in their contact languages. One main difference in Bulgarian is the retention of morphological case with synthetic morphemes: most European Romani dialects have an intact case system of primary and secondary cases, including genitive; morphological case may be out of use and increasingly replaced by analytical constructions (e.g. prepositional phrases without case morphemes), but inflected forms are usually understood, including genitive and vocative. Genitives in Romani dialects have an adjectival function (genitive adjective or relational adjective), similar to Bulgarian (or Slavonic, in general).

The terms used in inverted addressing in Romani are nominatives or vocatives of inherited or borrowed origin (*dad, dade; daj, dajo; mama, mamo, majko*). All of them are used for normal addressing protagonists of the older generations and for inverted addressing in intimate communication with kin of a younger generation.

2.1 Kalderašicko

Examples of inverted addressing are documented in tales, biographical stories, interviews and also in everyday intimate communication. In some Serbian Kalderaš families it is mainly the sons who are invertedly addressed and mainly by their mother (with *majko, mamo, or dejо*), while it is impossible between grandparents and grandchildren or aunts/uncles and their nephews/nieces, and daughters are addressed mostly normally, that is, in non-inverted terms or directly by their proper names. According to speakers of Serbian Kalderaš it is also possible to address good friends and relatives of the same generation as *dade, majko* to express close affinity and a positive emotional attitude. Bulgarian Kalderaš from Lom, for instance, equally address either sons or daughters, as well as grandchildren with inverted terms, but their inventory of addressing forms is confined to *dade* (father to children) and *mamo/mama/mami* (mother to children). The terms *dejo* and *majko* ‘mother!’ and *tatko!, tate* ‘father’ are used for normal addressing only (children to their parents), not for inverted addressing. Grandparents may address their grandchildren with *papo/papi* (grandfather to children) and *babo/baba/babi* (grandmother to children).

Ajde, papo, ža te kines les mangē! / ‘Grandson, go get it for me!’

In Serbian Kalderašicko the most abundant terms in inverted addressing seem to be the vocatives *majko* and *mamo* borrowed from Slavic. *dale* and *dejo* are considered less abundant, but are also used: *Sar san, dejo?* – ‘How are you, son?’

Although the following examples present different terms, *dale!* from son to mother, and *majko!* from mother to son, both terms can be used for normal and inverted addressing. The phrase *šej dale* combines *šej* ‘girl’ as an interjection with a vocative *dale* and is not documented yet for inverted addressing, whereas *dale* and *majko* are.

“*Šej dale, [...] te thos tu kote kaj feljastra kaj me sovavas! Kê vov kana avela, vov prvo kam rodel thaj mudarel ma man! Aj kana dikhêla tut, kê san žuvli, ta po či mudarela tut!*” – “Dobro majko”, *phenkê*, “*kam tha ma!*” / “Mother, [...] you shall lie down there at the window where I slept! For when he comes, he will mainly seek me and kill me. But when seeing you, as you are a woman, he won’t kill you!” – “Good, *majko*, I’ll do it.” (Serbian Kald.: Fenesz-Juhasz et al 2012: 46)

“*Kote muři dej.*” *Leska dako dand jek po kasavo kabor muřo vas.* “*Šej dale, avilem [...].*” – “*Katar aviljan, majko?*” / “There is my mother.” Each of his mother’s teeth was as big as my hand. “Mother, I have come home [...]” – “Where from, *majko?*” (Serbian Kald.: Fenesz-Juhasz et al 2012: 88)

A vov ašunel so phenel e phuri. Žal-tar vov haj thol duj, trin klade kaš, bař telaj perina thaj vušaradja haj kobajagi kê vo lo kodo! [...] Kana avilo o zuralo, pelo e čokanosa ande l’ kaš: *Dung, dung, dung ande l’ phal!* “*Mudardjan les majko, mo?*” – “Mardem, mudardem, ali zuralo! Izgledil mangê fajma, kê mudardem les!” / But [the Rom] overheard what the old woman said. He put three logs of wood and a stone under the blanket and covered it, so it looked as if he was lying underneath. When the strong guy came and bashed him with a hammer, he just hit wood: boom, boom, boom, just the board! “Did you kill him, *majko?*” – “I killed him, but he was strong! It seems that I have killed him indeed! (Serbian Kald.: Fenesz-Juhasz et al 2012: 92)

E šave amare, nali, pušen amen: “*Mamo mothâ amengê ek paramič, mothâ amengê!*” *Pale me phenav:* “*Mamo, naj te mothav tukê akana paramič, ...*” / Our children would ask: “Mama, tell us a story, tell us!” Then I would say: “*Mamo*, I can’t tell you a story now ...” (Bulgarian Kald.: Fenesz-Juhasz et al 2012: 198)

One rare example from Banat of a father addressing his child is published in Boretzky (1994: 216): A dying father says farewell to his daughter, who is about to leave.

H’ astarel mnřo vas thaj phenel manga: “*Ej dade, akana tu žastar. Numa maj but žuvindo či maj dikh s ma.*” / And he took my hand and said to me: “*Ej, dade, now you are leaving. But you will not see me alive anymore.*”

Another example was found in a story told by a Russian Kalderaš:

Kana khêrê arêsljam, [...] murô dad oprê vušiljas, jek vorba vov či phendjas, ande angali vo ma ljas, atunči vov kaj phendjas: "Kaj tu, tajkê, ratjardjan haj so tu kothar andjan?" – "Ek šonkuco fumome haj ek gras sořo vîneto." Atunči murô dad phendjas: "No, akana me, murô šav, patjav, ke vi tu san vojniko ande lumja!" / When I came home, [...] my father got up, did not say a single word, took me into his arms and said: "Where, tajkê, did you spend the night and what have you brought from there?" – "Smoked ham and a dappled-grey horse." Now my father said: "Well, my son, now I believe that you are a great warrior too!" (Russian Kald.: Fenesz-Juhasz et al 2012: 396)

As to pragmatics, note that in the last example the father, when in a strong emotional state: welcoming and embracing his homecoming son, uses *tajkê*, while later, in the context of respecting his son's strength and courage in the presence of the whole family, uses the more formal addressing *murô šav*, 'my son'.

The lexeme *tajkê* is a Romanian loanword (*taică* 'father') of wider distribution, in Serbo-Croatian *tajko*, originally formed in analogy to *majko* 'mama'. It is an inverted addressing form already in Romanian and listed as such in dictionaries. It was obviously borrowed into Romani together with its pragmatic application for addressing a son. In Serbian Kalderašicko *tajkê* and *tajko* alike may be used in normal addressing ('father!') as well as invertedly addressing a son, but not a daughter.

In the dictionary of Russian Kalderašicko (Demeter/Demeter 1990: 273) we find the entries *táykə* – 'addressing to a little boy and teenager' as well as *taykásко rakló* 'mothers darling'. The latter shows a construction of a genitive+appellativum; *táykə* appears as a generalization of the masculine noun as a sex-neutral term for a parent addressing a son. An entry such as **táykə* 'father' is missing. There are also *šeyo dale* – 'addressing to a Gypsy girl' and *šeyo* 'affectionate addressing to mother' (Demeter/Demeter 1990: 272). In Bulgarian it is a characteristic of inverted addressing that only people of the older generation address younger ones with inverted terms, hardly the other way round, i.e. unidirectionally. If *šeyo* 'girl, daughter' can be used by a girl for addressing her mother, as it is listed in the dictionary, this would mean, inverted addressing works in both directions at least in Russian Kalderašicko, that is, bidirectionally.

To sum it up, we can say that in our text samples and elicitations inverted addressing does occur in several Kalderašicko variants such as in Serbia, Bulgaria and Russia; it involves nominatives (*mama, baba*) and vocatives of inherited (*dade, dejo, dale*) and borrowed (*majko, mamo, tajko, tajkê*) lexemes. A truncated syntagma is obvious in the phrase *Ajde mamako, av, xa!* addressing a son: the original determinans in genitive functions as the addressing form, with gender agreement with the addressee's sex (*mamak-o*).

Kalderaš groups, or families, may differ considerably even within a single country concerning the applicability of inverted addressing. Some groups don't address either females or grandchildren or nephews and nieces in inverted terms, other groups have no such restrictions. In some groups the terms may also be used to address good friends and relatives of the same generation, if there is a close and positive relationship between speaker and addressee, that is, also metaphorically as in Romanian.

For Russian Kalderašicko, as documented by Demeter/Demeter (1990), there is even evidence of bidirectional application (*šejo* from child to mother; see above), whereas there is no evidence of it in our sample of Serbian and Bulgarian Kalderaš texts or from our informants. *tayka* – originally meaning ‘father’ – seems to be a generalized borrowed term used for inverted addressing by speakers of both sexes in Russian Kalderaš, whereas in Serbian Kalderaš it is applicable to a father or by a father to a son, but not to a daughter.

2.2 Lovari

In our text sample and elicitations of Lovari, inverted addressing occurs with approximately the same frequency as in Kalderašicko and was also confirmed in elicitation. Apart from *mamo* (mothers to their children – see the following example), mostly *dade* ‘father’ is used as a neutral form by both parents to sons and daughters alike: this is evidence of sex neutralization on the side of the speaker and the addressee. The latter adds a new characteristic to those mentioned above for inverted addressing: a masculine as the unmarked addressing form which is sex neutral with respect to all participants, speakers and addressees alike. Yet there are also examples of *mamo* in our texts:

“Jaj, muro raklo, merav, merav!” – “So si tuke, mamo?” – “Merav! Te žas te anes mange e medvedoske cinores!” Phenel. [...] Andah les. “Joj”, phenel, “mamo, so si mange mišto! [...] Maj feder si mange.” / “Jaj, my son, I am dying!” – “What's the matter, mama?” – “I am dying! You must go and get me a bear's puppy!” she said. [...] He brought it. “Joj”, she said, “mamo, that's good for me! [...] I am already feeling better.” (Cech et al 2001: 176)

As in our text sample of Kalderašicko, in Lovari normal addressing (*muro raklo, muri šej*) was more frequent than inverted one. The example above combines both. A difference in emphasis is not easily detectable and is a matter of interpretation.

Aj jokfarsa jek djes phenel lesko dad: “Dade!” – e šaveske phenel aba, e princoske – “Muro raklo, me trubuj te žav avri ando veš mure ketanenca ...” / Once, one day, his father said to him: “Father”, – but he says that to the son, to the prince –

"My son, I have to go to the woods with my army..." (Slovak Lovari; Cech et al 2001: 216)

The narrator was telling a fairy tale to an audience of children. Note that he became aware of having used inverted addressing spontaneously and added an explanation for his listeners.

In the following example, the vocative of the masculine 'father', *dade*, functions as addressing form from mother to son:

Sas ek kraj. Aba phuro sas o kraj taj mulas. [...] Aba v'e krajaskinja hatjarlas, hodj si te merel vi voj, taj das le rakles te solachan, atkozime t'avel vi Devlestар [...], te avera romna sar kecava romna te lel, kaski laki papuča laši avla lake. "Dade", phenel, "či čejri či phuv te na lel tu ande, adig meg kaske muri papuča avla laši, kodola te les!" / There was a king, he was old, and passed away. The queen also felt that she was about to die and had her son swear that he should be cursed by God if he married another girl than the one whom her mother's shoes would fit. "Dade", she said, "neither sky nor earth shall take you if you don't take a wife whom my shoe will fit." (Hungarian Lovari; Cech et al 2001: 136)

The use of *dade* from mother to daughter was confirmed by Lovari speakers. Thus, *dade* must be considered a true general term for (inverted) addressing, sex neutral for both speakers and addressees.

In Hungarian, one of the basic contact languages of Lovari, and L1 of Romungri groups with language shift from Romani to Hungarian, there is a wide variety of pet names for children or younger people in general, including addressing of children with kinship terms of parents. Such forms are abundantly used by Romungri and to a lesser extent by the rural majority population, as speakers stated.

In general mainly mothers or grandmothers address their children intimately, hardly ever fathers, neither with normal nor with inverted terms. The masculine noun *fiam* 'my son' may also be used for daughters, whereas addressing a son with *lányom/lyányom* 'my daughter' is impossible. *lyányom* is an archaic form of *lányom* used also by the rural population, but mostly by Roms. In urban areas neither old nor young people would use *lyányom* instead of *lányom*, but the Hungarian speaking Roms do. Varying in different families, being addressed with *fiam* 'my son' is more prestigious for a daughter than being called *l(y)ányom* 'my daughter'. The tendency of generalizing *fiam* is strong: it applies from mother to daughters and also from grandparents to grandchildren. Both terms, *fiam* and *l(y)ányom*, cannot be used bottom up, they are not invertible, but they may be applied to kin and friends of the same generation. Generalization of the masculine term and extension of kinship terms to persons of the same generation are phenomena in normal addressing from parents to children.

Equally, the range of application of inverted addressing extends to metaphorical use for external addressees, being not only a characteristic of intimate parental talk to children: *Older people often call younger ones that way, often with an ironic touch.* (Sami Mágó p.c.). There is always a sarcastic touch to addressing of this kind and intimacy between speaker and addressee is a precondition of its use.

The addressing forms are mostly suffixed by the clitic possessive pronoun ‘my’ attached to it and there is a variety of diminutive forms, synthetic or analytic. See the following list of terms employed in inverted addressing. They are segmented to illustrate morphological structure.

<i>apá-m</i>	‘my father’	(*father-my)
<i>apu-ká-m</i>	‘my little father’	(*father-DIM-my)
<i>apu-ci</i>	‘little papa’	(*father-DIM-my)
<i>édes-apá-m</i>	‘my dear father’	(*dear-father-my)
(<i>kis apá-m</i>	‘my small father’)	(*small father-my)
<i>anyá-m</i>	‘my mother’	
<i>anyu-ká-m</i>	‘my little mother’	
(<i>kis anyá-m</i>	‘my small mother’)	

Not all of them can be used for normal addressing from children to parents, and not all of them for inverted addressing: *anyuci* ‘little mother’ is “normal” when a child addresses his or her mother but is hardly used invertedly from mother to child. The diminutive formations with *kis* ‘small, little’ are restricted to addressing children: in difference to *apukám* ‘my little father’ and *apuci* ‘little papa’, *kis apám* ‘my little father’ and *kis anyám* cannot be used when a child addresses a father/mother. They are ironical forms of address to children only, *kis anyám* even denotes an order rather than intimate speech. *Édesapám* ‘my dear father’ is archaic; it denotes love and affinity in normal and inverted addressing, and respect when used referentially.

One striking characteristic of inverted addressing as used by Hungarian speaking Roms is agreement of the noun with the addressee’s sex. The form used does not refer to the speaker’s sex, but to the addressee’s. When invertedly addressing a son or grandson, ‘father’-terms must be used by male and female speakers: a mother may call her son only *apám*, *apukám*, *édesapám*, *apuci* or *kis apám*. A daughter or granddaughter may invertedly be addressed only with ‘mother’-terms, that is, *anyám*, *anyukám* or *kis anyám*, not only by her mother, but also by her grandmother, grandfather, or, though seldom, by her father. The same applies for nephews and nieces. As aunts and uncles rarely use intimate kinship addressing, the inventory of applicable inverted terms is rather small: nephews may be addressed with *apám*, nieces with *anyám* or *anyukám*.

As we can see, applicability of male and female terms is asymmetric in kinship addressing of Hungarian speaking Romungri. Application extends to metaphorical

use, from addressing members of the younger generation to kin and friends of the same generation. The dominant forms of intimate addressing in general are *apám* and *anyám*, apart from the strictly non-invertible *baba/babám* ‘baby’ to younger kin and friends. Whereas in normal addressing to children the masculine term *fiam* ‘son’ tends to be generalized, the forms of inverted addressing agree with the addressee’s sex (‘mother’-terms for daughters, ‘father’-terms for sons). This cannot be traced back to syntagmata of a former adjectival genitive plus an appellativum. In Lovari, apart from occasional *mamo*, mainly *dade* is used as a generalized term.

2.3 Sintitikes

In Sintitikes inverted addressing seems quite common in intimate communication, but there is only one single vocative form: *dajo* ‘mother’. Its masculine equivalent *dade* is out of use in Sintitikes even with normal addressing. Relics are detectable in phrases such as *Oj dade!* ‘Oh my God’, ‘Oh Lord!’ as common interjections, but not as ‘father!’. In Sintitikes inverted addressing employs – with the exception of *dajo* – borrowed nouns in the nominative. The inventory of applicable terms is dominated by loanwords, all of which are used in normal addressing, too: *dajo, mama, tata*. Inherited *dad* in the nominative can only be used referentially, not in addressing; its vocative *dade* is lost in Sintitikes.

An interesting form is *fota*, borrowed from Southern German dialectal *Votta* (i.e. *Vater*) ‘father’: it can only be used in intimate addressing children or grown ups of the younger generation, not in normal addressing to a father or someone of the older generation. This application fails to account for the status of inverted addressing: *fota* cannot be used in normal addressing a father. The original term ‘father’ has turned into a mere intimate addressing form, inverted only with respect to its original German meaning.

Apart from examples of inversion Sintitikes offers different options of kinship addressing, such as full syntagmata with the determinans in the genitive plus appellativum (in the nominative with a vocative function), as well as relics of this syntagma, where the determinans in the genitive functions as the addressing form. Note that none of these constructions employs a vocative.

<i>mamak(er)o čhavo!</i>	– mother to son:	‘mama’s son/boy	= son!’
<i>mamak(er)i čhaj!</i>	– mother to daughter:	‘mama’s daughter/girl	= daughter!’
<i>tatesk(er)i čhaj!</i>	– father to daughter:	‘daddy’s daughter/girl	= daughter!’
<i>tatesk(er)o čhavo!</i>	– father to son:	‘daddy’s boy/son	= son!’

Isolated genitives:

<i>mamak(er)o!</i>	– mother to son:	‘mama’s!’
<i>mamak(er)i!</i>	– mother to daughter:	‘mama’s!’
<i>tatesk(er)o!</i>	– father to son:	‘papa’s!’
<i>tatesk(er)i!</i>	– father to daughter:	‘papa’s!’
<i>papesk(er)-o/-i!</i>	– grandfather to granddaughter:	‘grandpa’s!’
<i>mamjak(er)-o/-i!</i>	– grandmother to grandson:	‘grandma’!
<i>omak(er)o/-i!</i>	– grandmother to grandson / granddaughter:	‘granny’s!’ ¹⁶

There is agreement of the genitive adjective with the sex of the addressee, as would be expected in constructions of that kind and as it was shown for the Bulgarian adjectival determinative. The isolated genitives are doubtlessly the truncated versions of the nominal phrases, and they are understood as such by both speaker and addressee. In a similar construction of German dialect origin the determinans is combined with an enclitic possessive pronoun *-seine*, lit. ‘his’, applied as a general reflexive possessive marker: *tata-seine(r)!* “papa-his own”, *mama-seine(r)!* “mama-his own” (instead of *mama-ihrē* “mama-her-own”); in German these terms are used in substandard normal conversation only, and only in certain geographical regions. We do not know of any inverted or truncated addressing in German, but speakers of Sintitikes use the forms in the same way as they use isolated genitives such as *tateskero*, *mamakero*.

Exceeding the range of true inverted addressing, *tata*, *mama*, *dajo* in Sintitikes are often used metaphorically within the same generation, and not only for relatives, but also for spouses and peers, as very intimate, friendly expressions. This pragmatic meaning also affects the terms *čaj* ‘girl’ and *čova* (< *čhavo*) ‘boy’: Both are employed to address a close friend of the same or the younger generation.

As shown above, in Sintitikes we find the syntagma (as well as its remnants) which Kostov/Beyrer (1978) postulated as the underlying construction(s) of inverted addressing. The latter employs only nominatives of borrowed terms (*tata*, *mama* etc.), and one sole inherited lexeme in the vocative (*dajo*). Its application extends to metaphorical use.

2.4 Erli from Bulgaria¹⁷

Erli informants confirmed the use of inverted addressing in intimate talk of a mother to children (*daje*, *daj!*), a father to his children (*dad!*, *tatko!*) or grandparents to their

16 *omak(er)o/-i* < German *Oma* ‘granny’

17 We use the term *Erli* for the non-Vlach group of Southern Balkan Roms living in Bulgaria, in difference to *Arlı* speakers from the countries of former Yugoslavia.

grandchildren (*babas!*, *mama!*). The vocative form *dade* seems to be missing altogether. In normal and inverted addressing the nominative *dad* or borrowed *tatko* are used.

In Erli, just like in Sintitikes, kinship terms are used in inverted addressing, but mostly in full syntagma with determinans+appellativum and in truncated syntagma with isolated genitives. A mother may address her daughter with *dajakiri čhaj!* or simply *dajakiri!*, her son with *dajakoro čhavo!* or *dajakoro!*, a grandmother her grandchildren with *mamjaker-o/-i (čhavo/čhaj)!*; this type of addressing applies also to fathers and grandfathers (e.g. *dadeskero!*).

To express affinity towards skin and also friends, these terms can be used from older to younger generations or within the same generation of the speaker. As in Sintitikes, the range of application has extended from kinship addressing to metaphorical use.

2.5 Where from?

Confronted with features of Romani dialects that are not obvious as part of Romani's Indian heritage, one automatically turns to Romani's contact languages as candidates for sources of borrowing. But the phenomenon of inverted addressing is widespread among different languages of the world. K. Hauge in his paper on inverted addressing (1999: 11, referring to Dzibeli's analysis in of 1995), notes that some variation of inverted addressing occurs in more than 100 languages all over the world, including Iranian, Arabic, 23 Oceanic, 16 Australian, 30 African and 39 American languages. Explanations for the phenomenon's origin in different languages are numerous and often based on ethnological observation. Considering this, inverted addressing in Romani dialects might as well be a native phenomenon, possibly not owing its existence, but its endurance to the phenomenon's presence in certain contact languages – or not. Our paper focuses on a basic documentation of inverted addressing in some Romani dialects. Thus, we can just briefly sum up the state of the art and muse about possible explanations.

Greek can most probably be excluded as a common source of borrowing concerning inverted addressing, as the phenomenon is missing there, at least in its synchronic state. For Kalderašicko in general, Romanian was the contact language with the most impact and common to all variants. Inverted addressing is very common in Romanian – even the entries of kinship terms in Romanian dictionaries list their semantics in inverted addressing. There is a certain probability that inverted addressing in the Vlach dialects Kalderašicko and Lovari is based on Romanian influence, although the phenomenon does not occur abundantly in these two Romani dialects, and restrictions affect its applicability in some subgroups.

One explanation for the rather scarce use of inverted addressing in Kalderašicko and Lovari might be that direct contact to Romanian dates back to at least one hundred years ago. Since then Serbian Kalderašicko had Serbo-Croatian as the main con-

tact language. In Serbian, inverted addressing occurs only in Kosovo, which is clearly a contact phenomenon, as it is common in Albanian and Macedonian. Thus, it is quite prompting to explain the restricted use of inverted addressing in Serbian Kalderašicko by the long temporal distance of Romanian contact.

Accordingly, in Bulgaria, where inverted addressing is an everyday feature of family communication, Kalderaš use inverted addressing with a wider range of application than Serbian groups - but not in the least as commonly as in Bulgarian. Also, in Hungarian, the Lovara's main contact language, inverted addressing represents one of several options of kinship and peer addressing in rural dialects as well as in the dialects of Hungarian speaking Roms, where kinship addressing, including the inverted one, is most complicated. Yet in Lovari there is evidence of the phenomenon, but the pattern is quite simple and inverted addressing is not very common. Interestingly, there are tendencies of generalization of some kind in both languages: In Lovari the term *dade* 'father' is a general addressing form of parents to their children. In Hungarian, generalization of the masculine lexeme affects normal addressing, employing *fiam* 'son' for addressing daughters to express higher prestige and respect. Due to the rather simple use of inverted addressing in Lovari as compared to Hungarian rural dialects, it cannot be stated with certainty that inverted addressing in Lovari is contact induced or influenced by Hungarian.

Hungarian speaking Romungri, however, closely reflect the (former) addressing habits of the Hungarian rural population, only more intensively. Generalization does occur, though of a different kind than in Lovari or in Hungarian normal addressing: When addressing a male person, one of the 'father'-terms must be used, for a female person correspondingly a 'mother'-term is applied.

As stated above, inverted addressing is documented in Albanian and Macedonian, apart from Romanian and Bulgarian. We have evidence of inverted addressing at least in three Bulgarian Romani dialects, Erli, Kalderašicko and Kalajdži – dialects of three different groups, that is, Vlach, Southern Balkan I (Erli) and Southern Balkan II (Kalajdži). We think it remarkable that three different dialects with the same contact language (Bulgarian), where inverted addressing is common, also show this phenomenon. This could indeed point to an influence by language contact. In contrast, two dialects such as (western Balkan) Arli and (Bulgarian) Erli, which are closer related than for instance Kalajdži and Erli but have different contact languages, also differ concerning inverted addressing. Strikingly, we have found no evidence thus far in the Arli dialects of Kosovo, Macedonia (and Southern Serbia) – regions where inverted addressing is common in some of the languages spoken there. The Arli groups we know, even those from Priština, are quite focused on Serbian language and culture, although the speakers are muslim and, until recently, were competent in Turkish. Those families originally living in Kosovo also spoke Albanian to a certain extent. Still, the total absence of inverted addressing in their Romani variants in Kosovo and Macedonia remains noteworthy if we want to make language contact responsible for the occurrence

of inverted addressing. Moreover we have not found evidence of inverted addressing in Southern Vlach thus far, at least it can't be a salient feature of communication.

We find a similar situation in the community of the Sepečides of Izmir. In their Turkish communication Sepečides frequently use *babam* 'my father!', *babaciğim* 'my little father', *annam* 'my mother!' and *anneciğim* 'my little mother!', also *nene(ciği)m* 'my (little) grandmother' when addressing not only children but peers of equal age or friends. All of these forms, including the diminutives *anneciğim*, *babaciğim*, can be used in normal addressing to a mother or a father, and thus meet the criteria of true inverted addressing. Quite unexpectedly, this type of addressing is not used in Sepečides Romani, although Sepečides readily apply the terms when communicating in Turkish. Sepečides Romani seems resistant to Turkish influence when it comes to inverted addressing while normally Sepečides Romani relies heavily on Turkish for its idiomatic inventory and phraseology.

Vice versa, in Sintikes, which has mainly been influenced by German (where inverted addressing is entirely missing), the phenomenon seems to be common in intimate communication. This contradictional behaviour cannot be explained by a hypothesis of influence-based origin of the phenomenon.

3 Discussion and Conclusion

For Bulgarian, a step by step development of the forms has been confirmed, as already stated by Kostov/Beyrer (1978), starting from a nominal phrase of a determinans in the genitive plus an appellative in a vocative (full syntagma), and resulting in a solitary addressing form that semantically denotes the speaker, but also labels the addressee: inverted addressing.

For Romani, inverted addressing is documented in several dialects, so far in Kalderašicko, Lovari, Sintitikes and Erli, whereas we have found no evidence yet in Arli and Gurbet. In Lovari and partly Kalderašicko there is evidence of a generalization of a masculine lexeme (*dade*, *tajkē*) for speakers of both sexes. Apart from generalization we also observe an extension of the original domain of inverted addressing to metaphorical use in several dialects (Sintitikes, Erli and Kalderašicko).

There is obviously no close correlation of the phenomenon's occurrence in these Romani dialects and their contact languages. There is no truly influential model language as a source for contact-induced inverted addressing in Sintitikes on the one hand, and there is no inverted addressing in Sepečides Romani (variant of Izmir) on the other hand, although it is common in colloquial Turkish (the Sepečides' majority language) and also used by Sepečides in their Turkish communication.

In Sintitikes and Erli, kinship addressing includes

- a) full syntagma with a determinans in the genitive and an appellativum in the nominative (e.g. *dajakero čavo!*),
- b) truncated syntagma of isolated genitives with a determinans functioning as addressing form (*dajakero!*), and
- c) inverted addressing with a single noun in the nominative (*dad, daj, mama*).

The isolated genitives (b) are easily identified as remnants of (a), caused by truncation, but the single nouns in the nominative (c) are not necessarily the result of further shortening of (b). We would have to assume a further truncation of the genitive noun to a noun in the nominative by omission of the case morpheme. This is unlikely in the context of inverted addressing: genitive is a stable case in Romani. The truncated genitive forms such as ‘mother’s!’ are recognizable for the speaker as a truncated syntagma of ‘mother’s/father’s child’; by omission of the case morpheme the genitival form would turn into a less salient addressing form, therefore omission of the morpheme is improbable in this context.

Furthermore, in all dialects investigated so far there is

- d) inverted addressing with vocative forms of kinship terms, such as *majko, mamo, dale, dajo, dejo* and the like.

Kalderašicko and Lovari have mainly (d), which sets them apart from Erli and Sintitikes. The inventory of terms for inverted addressing in Kalderašicko is dominated by loanwords in the vocative, *majko* being the most abundant, whereas in Lovari inherited *dade* is predominantly used as a general addressing form by both male and female speakers. Even in Russian Kalderašicko there seems to be a tendency towards generalization of a sex-neutral term, that is, *taykê*.¹⁹

There is no doubt that the loanwords *majko, mamo* and *tajkê* were borrowed as such and together with their pragmatic value in inverted addressing. But even the regular vocative forms of inherited terms (*dade, daje* etc.) cannot be traced back to (a) and (b) easily. We would have to assume the emergence of a vocative morpheme following progressive truncation from e.g. (a)*dajakoro čavo!* > (b)*dajakoro!* > (d)*daje*. If the forms of (d) were directly based on (b), we would rather expect the isolated genitive to take vocative case, for instance *dajakerije*. There is no evidence of these forms in spontaneous speech or in story telling, although Erli informants confirmed that they would be understood. If the forms were based on (c), it would mean that the nouns (*dad!, daj!*) in the nominative with vocative function eventually take a vocative morpheme, while at the same time morphological vocative is a declining case in

Romani dialects. It seems more likely to us that the borrowed vocative forms (*majko, mamo*) caused the use of inherited terms (*dajo, dale, daje, dade*) analogously, which would make vocative formations of inherited nouns a younger phenomenon in inverted addressing.

We do not know why in (a) and (b) vocatives of the functional appellativum are entirely missing. There are no such forms as *dajake(r)e čhavea*, not even in Bulgarian Erli where the model language offers the corresponding construction. It was also noted by Hauge (1999; referring to Ivanova/Nitsolova 1995) for Bulgarian that the vocative case of the appellativum in syntagmatic addressing is rather an exception than the rule and a late development.

Thus, we would rather consider the various forms of irregular kinship addressing in Romani as different phenomena, and set (a) the full syntagma (such as *dajakoro čhavo!*) and (b) the isolated genitives (such as *dajakoro!*) apart from (c) and (d), that is, single lexemes in the nominative such as *daj, dad*, and single, mostly borrowed, lexemes in the vocative such as *majko, dade* – quite unlike the development in Bulgarian as presented above. On the one hand, the full syntagma and consequently the truncated ones may be a native phenomenon in Romani. On the other hand there are single loanwords in vocative (such as *majko, mamo*) that were borrowed as such together with their pragmatic application in inverted addressing. As to the single inherited terms in the nominative and vocative such as *dad, dade*, we rather assume that the borrowed terms promoted their use by analogy.

References

- Algebra rodstva*. 1990. Rossiskaja Akademija nauk. Muzej antropologija i etnografii im. Petra Velikogo.
- Beyrer, Arthur / Kostov, Kiril. 1978. Umgekehrte Anrede im Bulgarischen und Rumänischen? *Linguistique Balkanique* XXI: 41-53.
- Cech, Petra / Fenesz-Juhasz, Christiane / Halwachs, Dieter W. / Heinschink, Mozes F. eds. 2001. *Fern von uns im Traum ... Märchen, Erzählungen und Lieder der Lovara – Te na dikhas sunende ... Lovarengē paramiči, tertenatura taj gjila*. Klagenfurt/Celovec: Drava.
- Cech, Petra / Heinschink, Mozes F. / Halwachs, Dieter W. eds. 2009. *Kerzen und Limonen. Märchen der Arlje – Momečija hem Limonija. Arlijengere paramisija*. Klagenfurt/Celovec: Drava.
- Demeter, R.S. / Demeter, P.S. 1990. *Gypsy-Russian and Russian-Gypsy Dictionary (Kalderash Dialect)*. Moscow: Russky Yazyk Publishers.
- Dzibel, G.V. 1995. Fenomen generacionnogo skašvanija v sistemah rodstva. *Algebra rodstva*: 138-171.
- Elezović, Glisha. 1932. *Rečnik Kosovsko Metodijskog dialekt*.
- Fenesz-Juhasz, Christiane. 1996. Tondokumente europäischer Roma. Die Sammlung Heinschink im Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. In: Hohmann, Joachim S. ed. *Handbuch zur Tsiganologie (= Studien zur Tsiganologie und Folkloristik 15)*. Frankfurt/M.: Peter Lang: 272-281.

- Fennesz-Juhasz, Christiane / Cech, Petra / Halwachs, Dieter W. / Heinschink, Mozes F. eds. 2003. *Die schlaue Romni. Märchen und Lieder der Roma – E bengali Romni. So Roma phenen taj gilaben.* Klagenfurt/Celovec: Drava.
- Fennesz-Juhasz, Christiane / Cech, Petra / Heinschink, Mozes F. / Halwachs, Dieter W. eds. 2012. *Lang ist der Tag, kurz die Nacht – Baro o djes, cini e rjat. Paramiča le Kalderašenge.* Klagenfurt/Celovec: Drava.
- Hauge, Kjetil Rå. 1999. Obratnoto obrăštenie v sâvremennija bălgarski ezik. In: *6-ta meždunarodna konferencija po sociolingvistika 1997: 9-14.*
- Ivanova, Kalina / Nitsolova, Ruselina. 1995. *Nie, govoreshtite hora.* Sofija: Universitetsko izdatelstvo.
- Knobloch, Johann. 1977. Echonamen. *Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge* 12: 121-124.
- Nitsolova, Ruselina. 1984. *Pragmatičen aspekt na izrečenieto v bălgarskija knižoven ezik.* Sofija: Narodna prosveta.
- Pavlova, Neda. 2015. "Obratnite obrăštenija" v Bălgarskata reč – meždu rodinskite apelativi i diskursivnite dumи. *Bălgarska reč* XXI/1: 20-37.
- Tegopoulos-Fitrakis. 1903. *Elliniko Leksiko.* Athen: Ekdoseis Armonia.
- Tietze, Andreas. 1993. "Μανουλά μου!" Ein psycholinguistischer Turzismus? In: John S. Langdon et al. eds. *To Ελληνικον. Studies in Honor of Speros Vryonis, Jr., m. 2: Byzantinoslavica, Armeniaca, Islamica, the Balkans and Modern Greece.* New Rochelle/New York: 425-433

Кирилл Кожанов

Неизданный цыганско- русский словарь Н. А. Панкова¹

Николай Александрович Панков (1895–1959), один из главных цыганских активистов 1920–30-х гг., был, вне всякого сомнения, человеком с поразительной судьбой. По матери Н. А. Панков происходил из рода уважаемых хоровых цыган Санкт-Петербурга, по отцу – из рода известных лошадников-барышников, однако себе он выбрал иной жизненный путь. Не получив достаточного образования (закончив всего лишь два класса церковно-приходского училища), будущий автор учебных пособий и многочисленных переводов ещё мальчиком начал работать посыльным на телеграфе. В 1922 г. Н. А. Панков перебрался в Москву и довольно быстро оказался во главе деятельности по созданию цыганской письменности. На протяжении 1920–30-х гг. он редактировал, переводил, писал оригинальные произведения², составлял учебные пособия, преподавал цыганский язык в педтехникуме. В настоящей статье мы остановимся на деятельности Н. А. Панкова, посвященной цыганскому языку, в частности обсудим неизданный цыганско-русский словарь, работу над которым энтузиаст «цыганского дела» вёл вплоть до своей смерти.

В архиве Н. А. Панкова³ сохранилась картотека будущего словаря (картотека состоит из нескольких тысяч перевязанных пачками карточек; часть из них отредактирована и доступна практически в белом виде – около 1300, буквы А–Д), а также многочисленные заметки и письма, из которых можно восстановить общий замысел словаря и понять, каких позиций Н. А. Панков придерживался относительно судьбы цыганского языка в целом.

Прежде чем перейти к непосредственному разбору лексикографической работы, которую Н. А. Панков вёл в 1950-е гг., следует сказать несколько слов о цыганской печати 1920–1930-х гг., в том числе о словаре 1938 г., и о роли, которую в этих событиях играл Н. А. Панков.

1 Исследование было проведено при частичной поддержке гранта РФФИ № 14-06-31038 «Создание корпуса языка русских цыган» (рук. К. А. Кожанов).

2 Подробнее о цыганской литературе 1920–30-х гг., создании письменности и образовательной деятельности на цыганском языке см. (Русаков, Калинин 2006), (O'Keeffe 2013).

3 За предоставление возможности работать с материалами архива Н. А. Панкова, а также разнообразную помощь выражают глубокую благодарность Н. В. Бессонову.

Письменность на цыганском языке начала создаваться в 1926 г. в рамках проекта, возглавляемого профессором М. В. Сергиевским. Разобраться в цыганском языке Сергиевскому, специалисту по романским языкам, помогали цыгане Нина Дударова и, герой этой статьи, Николай Панков. В одном из писем Н. А. Панков вспоминает то время так: «...у нас с ним [М. В. Сергиевским – К. К.] были „среды“, в которых [бы] я и Нина Ал[ександр]-др.[овна] Дударова (цыг.[анская] уч[ительни]-ца) являл.[ись] к нему. Здесь мы были как бы его объектами, вели беседы, анализировали фразы. Таким образом у М.[аксима] В[ладимира]-ча создавалась цыг.[анская⁴] картотека, посещал он лично и цыг.[анские] апт.[ели], школы и таборы». Результатами этой деятельности стали первый в истории России букварь цыганского языка для взрослых, вышедший в 1928 г. (Дударова, Панков 1928), а также первая научная грамматика русского диалекта цыганского языка (Сергиевский 1931). Одновременно с этим набирала обороты работа по составлению словаря цыганского языка. Так, уже в 1931 г. редакция цыганоязычного журнала «Нэво дром» обещала своим читателям выход цыганско-русского словаря («романо-гаджкано/гаджитко») осенью (№№ 7 и 8). В очерке М. В. Сергиевского, напечатанном в № 9 того же журнала, также говорится о сборе материала для цыганского словаря и планах выпустить этот словарь до конца года. В журнале за 1932 г. сообщается о планируемом летом того же года издании Цыганско-русско-английского словаря («Романо-русско-английско словарё», содержащего материалы по двум наречиям («северному» и «южному») цыганского языка. Работа над словарём, очевидно, затянулась, и он был издан лишь шесть лет спустя, в 1938 г. (Сергиевский, Баранников 1938), на излёте усилий по созданию и развитию цыганского литературного языка. Ответственным за общую редакцию словаря был Н. А. Панков. Сам Панков видел в свёртывании политики по развитию письменности и образования на цыганском языке большую ошибку, трагедию для цыганского народа в целом и для себя лично. В одном из писем он описывает эту ситуацию так: «Ехвар прэ романы чиб уридэ састыра» [«В мгновение на цыганский язык надели оковы»]⁵. Свою позицию он даже изложил в посланном в 1938 г. Сталину письме (Друц, Гесслер 1990: 304).

По всей видимости, до 1950-х гг. Н. А. Панков собирал только случайные замечания к словарю 1938 г. и не планировал какой-то целенаправленной деятельности по его переработке или переизданию. Лишь начиная с 1952 г. постепенно формируется идея подготовить новое издание словаря. Внешним

4 Из черновика письма к Я. В. Лоя 1959 г. [точная дата не указана, но после апреля]. Здесь и далее все цитаты из писем, картотеки и записных книжек Н. А. Панкова даются в кавычках «» и приводятся с сохранением орфографии и пунктуации.

5 Из черновика письма к Я. В. Лоя от 19.03.1956 г.

толчком к этому послужила переписка с латышским лингвистом Я. В. Лоя, начавшаяся в конце 1951 г. Ещё в 1952 г. Панков отказывался от ведущей роли в составлении словаря, хотя и подчёркивал, что участие в этой работе в любом качестве для него «и дорого и приятно»⁶. Однако постепенно не только по собственному желанию, сколько из энтузиазма и желания работать на благо «цыганского дела», Н. А. Панков возглавляет работу по созданию словаря, объединившей учёных со всего Советского Союза (и не только). В заявке на включение словаря в план публикаций, поданной в середине 1956 г. в издательство иностранных и национальных словарей, Н. А. Панков аргументировал необходимость нового издания словаря тем, что словарь 1938 г. давно стал библиографической редкостью, а интерес к цыганскому языку и быту только увеличивается.

Пик активности работы над словарём относится к 1956–1959 гг.⁷: в это время Н. А. Панков активно изучает другие цыганские диалекты, составляет картотеку, сверяет доступные ему материалы, а также формирует авторский коллектив, в который в итоге вошли эстонский лингвист Пауль Аристе, латышский лингвист Ян Лоя, а также давний друг и коллега Тамара Владимировна Вентцель.

Планы изменились в 1956 г., когда в издательство, где планировался выпуск словаря, пришли братья Деметеры с собственными материалами по кэлдэрарскому диалекту. В издательстве Панкову было предложено просмотреть картотеку Деметеров и, возможно, включить её в дальнейшем в словарь. Н. А. Панков не знал в достаточной степени кэлдэрарского диалекта, поэтому от редактирования картотеки отказался, хотя потом и согласился на выборочное включение в словарь кэлдэрарского материала в качестве 2-ой части словаря «самостоятельно, не дробя и не сливая ее со словарями так называемых русских цыган (северных и южных)»⁸.

Изначально в словарь предполагалось включить лексемы из разных источников по цыганскому языку (с пометами). В архиве Н. А. Панкова сохранились многочисленные тетради (самые ранние относятся к 1955 г.) с выписками из статей, журналов (в первую очередь из главного цыгановедческого

6 Из черновика письма к Я. В. Лоя, написанного в декабре (?) 1952 г.

7 В письме П. Аристе от 3 декабря 1956 г. он пишет, что продолжает работать над словарём «как одержимый».

8 Из записной книжки. В это же время Н. А. Панков познакомился с молодым начинающим цыгановедом Львом Николаевичем Черенковым и даже хотел привлечь его в качестве редактора кэлдэрарской части будущего словаря. Кэлдэрарский словарь был издан лишь спустя много лет, в 1990 г., но, как и планировалось Панковым, под редакцией Л. Н. Черенкова, причём с написанным им же грамматическим очерком, см. (Деметер/Деметер 1990). Этот словарь до сих пор остаётся одним из лучших словарей цыганского языка и служит ориентиром для молодого поколения учёных.

журнала *Journal of the Gypsy Lore Society*) и книг, в той или иной степени посвящённых цыганам, – перечислим некоторые из них (Bischoff 1827; Miklosich 1872-1880; Paspati 1870; Pott 1845; Sowa 1898; Wlislocki 1884) – а также по индийским языкам и истории и культуре Индии. Словарь должен был объединить все доступные записи слов из разных цыганских диалектов, «хотя бы для того чтобы не было бы нужды рыскать по трудам прежних собирателей и исследователей»⁹. Впрочем впоследствии от включения иностранных источников было решено отказаться (согласно записям Панкова, против их включения выступала Т. В. Вентцель). В этой связи интересно более позднее мнение Я. В. Лоя, постоянного собеседника (или точнее корреспондента) Н. А. Панкова в теоретических и практических вопросах цыганского языкоznания: создание «всемирного цыганского словаря» он видит преждевременным и призывает составлять словарь в национальных рамках (Лоя 1968: 432).

По сути Н. А. Панков планировал новое издание словаря 1938 г. с дополнением и комментариями. Со свойственной ему скромностью он хотел оставить имена к тому моменту уже покойных профессоров М. В. Сергиевского и А. П. Баранникова в качестве авторов, а за собой сохранить лишь общую редакцию. Представление языкового материала отчасти повторяло метод, избранный в словаре 1938 г.: слова Сергиевского (т. е. из диалекта русских цыган) планировалось давать без каких-либо помет, слова А. П. Баранникова (т. е. из «южных» диалектов, прежде всего сэргицкого) «со звездочкой». Дополнительные слова для 2-го издания предполагалось давать с инициалами тех, кем они были записаны, а замену фразеологии и комментарии сопровождать инициалами ответственного редактора. П. Аристе должен был предоставить материал по цыганским диалектам Эстонии, а Я. Лоя – данные по цыганскому языку в Латвии, Т. В. Вентцель обещала подготовить грамматический очерк центрального для словаря (северно)русского диалекта цыганского языка¹⁰. Предполагалось, что словарь будет включать не менее 12-15 тысяч слов. Срок представления окончательной версии словаря определялся 1959 г. Сам словарь виделся Панкову в каком-то смысле вершиной его цыгановедческой деятельности – в одном из поздних своих писем он называет будущий словарь «точкой над i»¹¹.

В черновике заявки на включение словаря в план издательства, составленной 29.12.1958, Панков пишет, что «в течение ряда лет продолжал работу

9 Из черновика письма к Я. В. Лоя от 05.01.1953 г. Здесь и далее сохранены оригинальные орфография и пунктуация.

10 Очевидно, что именно этот очерк лёг в основу несколькими годами позднее изданной грамматики (Вентцель 1964), посвящённой Н. А. Панкову.

11 Из черновика письма к П. Аристе от 24.10.1958 г.

по исправлению словаря и раскрытию наиболее полного значения слов». Работа, выполненная Н. А. Панковым, при подготовке нового издания словаря была поистине глобальна: он исправлял ошибки, допущенные в Словаре 1938 г., давал новые примеры (в том числе фразеологию), стремился к полному отражению всех словарных форм (уменьшительные производные, отлагольные существительные и под.), старался «уничтожить разнобой в подаче материала». Активно использовались примеры и слова из литературы 1920-30-х гг. (среди часто цитируемых авторов – М. Ильинский/А. Светлов/М. Безлюдский). В черновом варианте предисловия к словарю указывается, что все слова сверены со словарём Истомина-Патканова (Истомин/Патканов 1900), текстами Добровольского (Добровольский 1908) и бывшими изданиями на цыганском языке. При сверке словарных материалов «южного диалекта» использовались опубликованные материалы Баранникова (Barannikov 1934), цыганская литература, выходившая в 1920-30-е гг., а также собственные материалы, собранные от учеников во время работы в педучилище.

Работа над словарём заключалась не только в подготовке лексических гнёзд, но и в решении некоторых теоретических и практических вопросов. Такой, например, «большой и сложной проблемой»¹² был вопрос о заимствованных словах. По окончательным спискам картотеки видно, что Н. А. Панков предполагал исключить из словаря международные слова. В письмах Панкова мы находим подтверждение этой позиции: «Заимствованные слова интернациональные мы отбросим, потому что их еще нет в быту цыган»¹³. Он довольно последовательно исправляет и удаляет примеры, носящие коммунистическую окраску, ср. в словаре *адатхы́р жы́ко заво́до сы нáдур* ‘отсюда до завода недалеко’ исправлено на *адатхы́р жы́ко кхéр нанé дур* ‘отсюда до дома недалеко’. При этом он был против исключения из словаря любых заимствованных слов, особенно дорусского происхождения. Он также настаивал на необходимости давать новозаимствованные слова для других цыганских диалектов (например, латышские в языке лоттов), чтобы словарь давал возможность понимать тексты при чтении. Он также критиковал подход составителей словаря 1938 г., в который были включены некоторые русские диалектные слова, в частности, слова типа *чильчя́ко* ‘нарыв, чирей’, которое «не является цыганским, а забытым русским»¹⁴. Такие слова он предлагал давать особо. Общий взгляд Панкова на заимствования в цыганском языке выражен в личной переписке с Яном Кохановским. Н. А. Панков отмечает, что хотя обычно языки заимствуют слова

12 «Bari i pxari problema», из непосланного письма Я. Кохановскому от 31.08.1958.

13 Из письма Я. Кохановскому от 06.05.1958.

14 Из письма Я. В. Лоя от 10.03.1955 г. Ср. также «Чильчак, конская болезнь, лихой, игрец» из словаря Даля.

из латыни и греческого, цыганскому языку стоит обратиться к санскриту и новоиндийским языкам¹⁵, к тому же многие цыганские слова имеют дополнительные значения, которые могут быть использованы метафорически (в качестве примера приводится неологизм Кохановского – *symadyne lava* ‘заимствованные слова’ от *сымады* ‘залог’). Панков также обращает внимание на то, что некоторые слова сохраняются в других диалектах. Очевидно описывая работу над цыганской письменностью в 1920–1930-е гг., он отмечает, что обогащение словаря произошло отчасти за счёт объединения исконных слов из разных диалектов. Н. А. Панков говорит о разных способах передать русские выражения: «навести порядок» – тэ кэрэс мишто, тэ кэрэс чячюнэс, тэ кэрэс адякэ, соб на сыс ладжяво»¹⁶, букв. ‘сделать хорошо, сделать правдиво, сделать так, чтобы не было стыдно’. Упоминает, что часто понятия, отсутствующие в языке, восполняются местоимениями *кова, коя*¹⁷. В этой связи также встаёт вопрос о производных: «Некоторые производные интересны своей формой, за счет которых мог бы развиться язык, имей мы, увы, свою литературу»¹⁸. Однако не все участники словаря поддерживали мысль о полной подаче производных слов и разных вариантов: Вентцель предлагала не «засорять» словарь приставочными формами глаголов, а Лоя выступал за устранение «мелких» фонетических вариантов. Панков придерживался здравого скептицизма по этому вопросу: «Я же не вполне убежден в справедливости этого»¹⁹. В письме к Лоя он также говорил о невозможности выбрать правильный основной вариант слова: «Я не знаю по какому признаку отдавать предпочтение одному варианту слова перед другим, когда они бытуют оба: балвал – бавал; бельвель – бевель – бовель...». В последствии он был практически готов согласиться с Лоя, но подчёркивал, что в таком случае необходимо давать обоснованное объяснение.

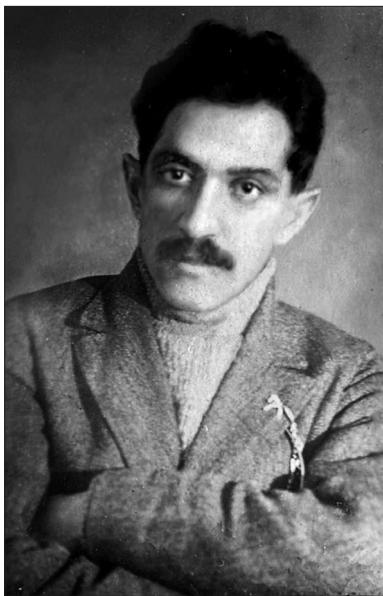
15 «Sare čiba zalena latinsk. vaj greč. čibendyr, romenge že koj-koli šukar te ris’os ke sanscrito vaj neve indijska čiba (ne ke save?)», из того же письма. Схожий подход мы находим в словаре Лексы Мануша, где есть немало заимствований из хинди с пометой neol. (неологизм), например, *bisánd* m., neol. ‘pavasarīs, ziedonis/spring’ [весна] от хинди बसंत.

16 Из черновика письма к Я. В. Лоя от 01.12.1958 г.

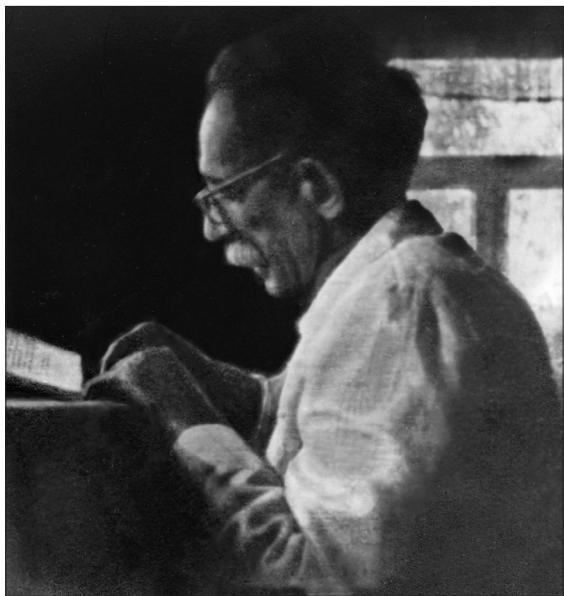
17 Особенность этих местоимений состоит в том, что в отличие от других указательных местоимений типа *адава/дава/да* ‘этот’, они не могут сочетаться с существительными, их значение на русский язык можно перевести как ‘это’.

18 Из письма Я. В. Лоя от 05.01.1953 г.

19 Из письма к Я. В. Лоя от 23.09.1956 г.



Н. А. Панков в 1934 г. Фото из семейного архива



Н. А. Панков за рабочим столом в 1958 г. Подпись на оборотной стороне рукой дочери Любы «Он не заметил, что я его снимаю». Фото из семейного архива

Работать над словарём Н. А. Панков начал уже будучи больным, сказывались приобретённые за годы жизни болезни. В начале 1959 г. Н. А. Панков²⁰ скончался, а словарь, лишившись «двигателя», так и не был закончен. Тем более грустно осознавать, что огромная работа, проделанная энтузиастом цыганского дела, так и не увидела света. В этой статье мы приведём наиболее важные на наш взгляд замечания и исправления, сделанные Н. А. Панковым, не только языкового, но и этнографического характера.

20 Согласно личному сообщению В. В. Шаповалы, некий вариант картотеки русско-цыганского словаря был передан дочерью Панкова Ольгой В. И. Калинину в 2007 г. По просьбе В. И. Калинина, В. В. Шаповал на основе этой картотеки набрал электронный черновой текст, который в дальнейшем должен был быть использован для издания словаря. Словарь пока что не издан.

1 Заметки о языке

Большой интерес для нас представляют непосредственные наблюдения Н. А. Панкова над родным для него диалектом русских цыган. Разнообразные примечания содержатся как на самих карточках, так и в дневниковых записях. Некоторые из них содержат интересные, важные для цыганской диалектологии наблюдения: например, наличие вариантов глагольной приставки *вы-* и *ви-*²¹ (прим. на карточке к слову *вылэс*) (в предисловии к словарю это явление, а также наличие вариантов окончания *-ы / -и* в ж.р.мн.ч., например, *шáтри* наряду с *шатры* ‘палатки’, связывается с польским влиянием). В письме к Я. В. Лоя Панков связывает вариативность этих форм с тем, «как говорилось раньше и как теперь»²². Оба варианта фиксировались и нами, при этом вариант *ви-* – только на северо-западе. Очевидно, вариант *ви-* – старший (он – основной в диалекте литовских цыган) и может указать нам на место проживания предков русских цыган в момент заимствования славянских приставок (видимо, полесский регион).

Панков также отмечает уходящую форму причастий (или в его терминологии «отглагольных прилагательных») на *-имó/-ымó*, ср. *выгымо* вм. *выгыно* ‘вышедший’. Данная форма характерна для северо-запада России и также фиксировалась нами. По всей видимости, это реликт старого причастного суффикса **-ime*, сохранившегося, например, в языке литовских цыган, ср. *khér pokrasimé* ‘дом покрашен’. В отличие от северозападных говоров русскоцыганского, в литовскоцыганском диалекте причастия, образованные с помощью этого суффикса, не меняются и не согласуются по роду и числу.

Отмечается также форма *габа* (очевидно, императив ‘пой’) как «старопетербургское произношение». По нашим наблюдениям, форма *габál* вместо обычного для русских цыган *багál* ‘петь’ чаще встречается в северной части северовосточного диалектного континуума. По всей видимости, это более старая форма, а в русскоцыганском диалекте произошла метатеза согласных²³.

Панков также отмечает «неясные гласные», т. е. гласные [e] и [o] в предударной позиции: *шэро – широ* ‘голова’, *пурав – порав* ‘разевай’, *рептухо – риптухо* ‘ящик, прикрепляемый сзади телеги и используемый для перевозки посуды, еды, животных’.

21 Здесь и далее все написания слов и морфем, а также их значений даются как в оригинале у Н. А. Панкова.

22 Из черновика письма к Я. В. Лоя от 11.09.1955 г.

23 Происхождение самого корня пока что неясно. Это либо развитие *gab-* < **gijab-* < **giljab-*, которое косвенно подтверждается вариантом этого корня с мягким начальным согласным *гяб-*, встречавшимся нам в Литве; либо производное от другое индийского корня, ср. др.-инд. *gáthā* ‘песнь’.

Н. А. Панков обращает внимание на варианты множественного числа повелительного наклонения *тэрдён* и *тэрдёвэн* ‘стойте’, не отмеченные в грамматиках (Сергиевский 1931 и Вентцель 1964).

Также упоминаются варианты некоторых возвратных глаголов: *-кирлапэ* и *-дёлапэ*: *обрискирлапэ* – *обрискирдёлапэ* ‘обрываться’, появившиеся в результате добавления возвратного показателя *-нэ* в том числе к старым флексивным «пассивным» формам.

В своих записях Н. А. Панков также анализирует источники и статьи, которые были подробно обсуждены в печати лишь в наше время: например, довольно скептически оценивается статья А. П. Баранникова о цыганских заимствованиях в воровском жаргоне (Баранников 1931), в которой, по мнению Панкова, Баранников «переусердствовал»: «Слов нет заимствований из цыг. [анского] яз.[ыка] в арго много, но он и в русской метафоре и в явно немецких словах ищет этимологических связей с цыг.[анским]»²⁴. В этой связи интересна критика выводов Баранникова о значительном влиянии цыганского языка на воровские жаргоны в работах В. В. Шаповала, см., например, (Шаповал 2007, 2011). В письмах Панков также обсуждает слова из статьи Погодина (Погодин 1901): среди источников «был один подлюга, дававший неприличным словам невинные значения»²⁵, ср. аналогичные замечания, собранные в (Шаповал б.д.).

2 Ошибки в грамматических характеристиках слов

В карточках Н. А. Панкова по сравнению со словарём 1938 г. верно исправлен род некоторых существительных: женский род исправлен на мужской у слов *гив* ‘ рожь’, *мом* ‘ воск’; указанный в словаре мужской род – на женский у слов *лыкх* ‘ гнида’, *джюв* ‘ вошь’, *бул* ‘ зад’. У некоторых верно обозначено ударение: например, в слове *лулудый* (мн. *лулудяй*) ‘ цветок’ ударение перенесено с корня (так в словаре) на флексию; у слова *дарапыём* ‘ я испугался’, наоборот, с флексии на корень. Хотя в карточках у существительных, образованных с помощью суффикса *-има/-ыма*, сохранён тот же род, что и в словаре, в записной книжке верно указано, что у этих образований необходимо по всему словарю исправить род на мужской, ср. (Шаповал 2013: 68).

24 Из черновика письма к Я. В. Лоя от 23.12.1957 г.

25 Из черновика письма к Я. В. Лоя от 03.01.1958 г.

3 Новые слова и значения

В будущий словарь Н. А. Панков внес также немало лексических добавлений, касающихся в первую очередь слов, пропущенных по соображениям цензуры: например, обсценные слова, ср. *кар²⁶* ‘муж.[ской] пол.[овой] орган’, *мутрэс* (*мутырдём*) физиол. ‘мочиться’, *миндж* ж ‘женск.[ий] полов.[ой] орган’, также *лубари* м ‘распутник, любовник’. В письме к Я. В. Лоя он объясняет, что «Такие слова, как: (зват. пад. *лубны*) [‘проститутка’ – КК], ‘кар’ – муж.[ской] пол.[овой] орг.[ан], минч, миндж – жен.[ский] пол.[овой] орг.[ан], ‘тэ псилав’ – совокупляться, „как неприличные“, по настоянию пуритан, в словарь [1938 г. – КК] не вошли»²⁷. В другом письме уточняется, что аналогом последнего слова является выражение *тэ дав буё* ‘*futuere*’, обычно используемое в ругани, ср. *тэ дав тэр да буе*.

Панков также старался вернуть в словарь слова и выражения, связанные с религией, например, *дэвлалэ!* обращ. ‘Боже!’, *ваш кокорэ дэвлэскэ!* ‘ради бога’, досл. ‘ради самого бога’; *дэвэлá* уст. мн. ‘иконы’; *дэвлэскиро васт* ‘воля божья’, досл. ‘божья рука’; *мáсхарí* ‘религ.[изное] имя и обращение к божьей матери’. В последнем слове ударение в именительном падеже падает на окончание, в звательном – на корень. Указывается, что необходимо дать значение ‘крестить’ для глагола *болэс* и ‘молитва’ для существительного *мангипэн*.

Кроме того, были добавлены многочисленные значения и лексемы, не приведённые в словаре 1938 г., например, *тыкно мас* ‘ребёнок’ (в большей степени распространено в Литве и Белоруссии); *маса* ‘телеса’;²⁸ *кушавэс* и *кушиэ* ‘щипать’; *кунúпи* ‘конопля’; *патькирэс* ‘пеленать’; *пхов* (*пхова*) ж ‘брови’; *гнейдо* ‘гнедой’ (масть). Отдельно укажем слова, которым мы не смогли найти подтверждения у носителей: *бальчя/банчя* ‘обман, фальшь’, *гэр* ‘чесотка’, *джини* ‘весть, знакомство’, *лóфо²⁹* м ‘спесь’ в выражении *мэ змардём лэскэ лóфо* ‘я сбил ему (его) спесь’. В словарь должны были быть включены все формы, поэтому, Панков отмечает многие пропущенные производные формы слов, например, прилагательное *лыкхалó* (*лыкхалы*) ‘подверженный (страдающ. от) гнидам’, в перен. зн. ‘нечистоплотный’; наречия *бокхалэс* и *ковлэс*, деепричастие *збандёви*, глагол *пётёс* и т. д.³⁰ Указываются дополнительные значения у слов *бакро* ‘не-

26 В записях Панкова не указано, что это существительное принадлежит мужскому роду.

27 Из черновика письма к Я. В. Лоя от 06.09.1952 г.

28 Такой перевод даёт Панков, имеется в виду ‘тело’.

29 Возможно от нем. *Lauf* ‘бег’?

30 Эти формы приведены без ударения, потому что так в записях Панкова. Данные слова ударяются следующим образом: *бокхалэс*, *ковлэс*, *збандёви*, *пётё*.

цыган’, балуны ‘сельсовет’ (в современном языке обычно ‘отделение полиции’), дандырэс ‘раскусить, понять’, на дандыр ‘не проговорись’, дохас ‘надоедать’, кирнёс ‘застыть, одеревянеть’, здэс ‘походить (иметь сходство)’, каишталёс ‘одеревянеть’, кирнэ ‘предки’³¹, криг ‘в сторону’, матхин ‘пуля’, вылучкирэс ‘2. обчистить (то же облучкирэс) вылучкирэс пурум ‘вычистить (от кожуры) лук’, фиг. вылучкирдя пиралы ‘обчистил клеть (обокрал)’. Приведём также упоминаемые Панковым составные глаголы с дэл ‘давать’ и выражения с ними: тэ дэс кан ‘дать весть’; тэ дэс якхало ‘сглазить’; тэ дэс панé ‘напоить’; дэ тэ ровэс, ясва на джяна ‘плачь да слезы не идут’; тэ дэс рыля ‘испортить воздух’; на дэ мрэ москэ ладжь ‘не позорь, не стыди’; тэ дэс кундэ ‘стучать, толкать, ударять’; тэ дэс джини ‘известить’ и др.

В словарь добавлено слово вэнзы ‘вожжи’, польское заимствование, которое является правильным вариантом ошибочно записанного в словаре 1938 г. слова вэнүки (также сохранённое Н. П.), ср. пол. *więzy* ‘узы’, см. (Шаповал 2013: 58). Указан инициалы человека, сообщившего это слово, – А. М. Вэрэсо.

Обсуждается слово копа́но ‘корыто’, см. также (Шаповал 2013: 61). Панков отмечает, что он «проверял у калужск.[ой] цыг.[анки] Москалевой; 75-ти лет от рожд.[ения] Для нее это слово не известно. 17.08.1958 дер. Федюково». Не совсем понятно, как это слово попало в словарь 1938 г., но семантически оно близко южнославянским образованиям, ср. серб. и хорв. *kópanja* и *kópanj* ‘корыто’.

Указаны некоторые заимствования из языка цыган-сэрвов, употребляемые русскими цыганами, например, «добысárка ж ‘добытчица’ от добисарé тэ уст. (заимств. от сэрвов)».

Отмечаются некоторые исконные цыганские слова, например, для *са*, упущенный в словаре вариант *уса*, который, по словам Н. А. Панкова, «отнюдь не более распространенный».

От себя Н. А. Панков также для русскоцыганского диалекта приводит слово (*a)mal* м ((*a)mal*) ‘друг, приятель’. Заметим, что в языке русских цыган нам это слово не встречалось, хотя его приходилось записывать от литовских цыган в виде *mál* (*mala*).

В записных книжках Панкова также упоминается полонизм *дэмби* ‘дыбы’ в выражении *тэ тэрдэс пэ дэмби* ‘вздыбиться’, досл. ‘встать на дыбы’.

Отмечаются междометию *эля!* ‘ой! ай!', например, *эля-эля* ‘ай-ай!'; *эля, хасиям амэ чёрорэ* ‘ой, пропали (погибли) мы, бедные'; *атю=алю!* ‘выражение презрения, тыфу'. Последнее местоимение, очевидно, – вариант широко известного тю́ или дю́ с тем же значением.

31 По замечанию И. Ю. Махотиной, в этом значении слово *кирнó* досл. ‘гнилой’ используется как эвфемизм как правило в ругательных выражениях.

В качестве дополнительного значения для слова *пэр* ‘живот’ указывается ‘котел, мир, хор’. В смысле ‘хор’ это слово иногда употребляется в литературе 1920-1930-х гг., ср. *О рай пучела Кунькатыр кици тэ плэскирэл пало пэр*. ‘Барин спрашивает у Куньки сколько платить за хор’ (Ильинский 1932).

Упоминаются некоторые слова славянского происхождения, имеющие бранные значения, например, *пáдло м* ‘падаль’; *горевíко м* ‘мыкающий горе’, ирон. ‘голяк’, *выедáчё м* ‘обжора’³².

Также приводятся некоторые русские диалектные слова, который Панков, очевидно, рассматривал как часть цыганского лексикона, например, *ономя́сь, ономáсь* ‘начало’: *ономáсь мэ гыём* ‘сначала я пошел’ (Н. А. Панков указывает, что это «выраж.[ение] покойного отца и его братьев», ср. *онома́сь* с вариантами ударений на все слоги ‘1. на днях, недавно; 2. прошлый раз; 3. когда-то, давно’ (СРНГ 23: 225-226); *дивъя* нареч. ‘вольно’: *дивъя тумэнгэ барвалэнгэ* ‘вольно вам богатым’, ср. *дивъя* ‘1. хорошо, легко, привольно, свободно’ (СРНГ 8: 52); *заломо;* *Серговиченирэ помий хаса, заломо!* ‘семье Сергея льстить (лебезить пред.), залом?’, ср. *залом* ‘1. Гордый человек; 2. Несговорчивый, упрямый человек’ (СРНГ 10: 219); *знико м* ‘звук’, например, *ёв на дыя знико* ‘он не издал ни звука’; неточная дефиниция этого слова, видимо, восстановлено из контекста, ср. русское диалектное выражение *знику не дать* ‘в) не показаться, не обнаружить себя, не дать о себе знать’ (СРНГ 11: 316).

Панков также приводит интересную кальку с русского «бéшия́сь ж. 1. неудачник, неудача, бедствие; 2. незадачливый, несчастный; бéшия́сь прé лэндэ пыя постигло бедствие; бeшия́сь, со кэрдяñ? несчастный, бездольный, что наделал?». Во втором значении это слова является синонимом прилагательного *бibaхтало*.

Упомянем ещё пару слов, которые Панков приводит из родного диалекта: *шлых* ‘плохой’ (малоупотр.) *шлых дылыно!* ‘большой дурак’, к которому дан следующий комментарий: «Новг.[ородские] цыг.[ане], соседствовали с нем.[ецкими] кал[оиниста]-ми”, очевидно, предполагается, что это слово из нем. *schlecht* ‘плохой’. Нами это слово пока не фиксировалось.

Панков также приводит некоторые слова, которые встречаются только в литературе 1920-30-х гг. (обычно с отсылкой на трёх авторов – Михаила Безлюдского, Михаила Ильинского и Александра Светлова), например, *глínица* ж ‘трубка для курения’ (М. Б.); *докхима* ж ‘догадка, сметка, сметливость’ (польз. Ильин. и Безл.); *дóста* ‘достаточно’ (у цыг.[ан] Рязанс[к].[ой] губ.[ернии]), *панкари* ‘спесивый, чванливый’ (М. И.), *патрýри* ‘бумажник’ (М. Б.). Панков также уточняет слово *мижéх, мыжéх* ‘1. уст. мышьяк 2. очень плохой, очень злой’: *тусан мижéх гаджé*. Отметим, впрочем, что нам эти слова в живой речи не попадались.

32 Все переводы Н. А. Панкова.

4 Этнографические заметки

Примеры к словам сопровождаются любопытными этнографическими замечаниями, в частности описывающими взаимоотношения среди самих цыган. Упоминается выражение *карачевска ромá*, которое Н. А. Панковым определяется как ‘распространённое среди московских оседлых цыган ироничное прозвище в отношении кочующих цыган с внешн.[ей] самобытн.[остью]’. Это выражение не раз встречается в литературе 1920-30-х гг. Словосочетание *гаджканó рат* (досл. ‘нецыганская кровь’) использовалось для обозначения ассилированного цыгана, а для цыган, женатых на нецыганках, применяют ироничное прозвище *сínё пúпко*. В качестве примера приводятся шуточные, насмешливые отзывы³³ оседлых цыган о кочевых цыганах: *фэлдытконé ромэн дрэ сабэн кхарнас джидé романé газетáса* ‘кочующих цыган в шутку называли живой цыганской газетой’; *атю=алю э полёва ромá тэл э кórnё выбаринé* ‘тыфу, кочевники цыганы из-под корня (дерева) поднялись (выросли, подобно грибам)’. Интересно также выражение *не романь вульг.* ‘не говори по-цыгански’.

Панков приводит слово *завоё*, которое обозначает особый способ повязывания головного платка. Согласно объяснениям, которые нам дали цыгане, проживающие в Ленинградской и Новгородской областях, *завоёса* платок обычно повязывали молодые жёны (*молоду́хи*), обводя концы платка вокруг головы и завязывая их надо лбом.

Также приводится слово *ды́мка ж* в значении ‘головная повязка из легкой материи’, которое пока что не нашло подтверждения среди известных нам цыган.

В карточках приводится выражение *ромá совлахáна – э пхув хáна* досл. ‘цыгане клянутся – землю едят’ с пояснением – из старого обычая при клятве прикладываться к земле устами.

В записных книжках Панков также напоминает себе дать информацию о приветствии при встрече, характерном для цыган: не по русскому обычаю – за руку, а низким поклоном и касанием рукой земли.

Отмечаются также некоторые слова, связанные с коневодством, например, *зáеди* ‘острые зубы, мешающие есть’, которые, по замечанию Панкова, цыгане сглаживают напильником. Панков цитирует любопытное слово *лýтки мн.*; устар. ‘угощение вином по случ. покупки ч.-н.’, например, *мóрэ, трéби тэ чювэс о лýтки* ‘братец, надо спрыснуть’; *тэ обморéс тырэ гэнчтóскирэ най ваш э бахт тэ талано* (М. И.) тот же смысл ‘обмыть твоему рысаку копыта для сча-

³³ Так у Панкова, правильное ударение – *кхáрнас*.

стя и успеха’, ср. *лítки* или *литкí* ‘угощение (обычно с выпивкой), а также вино, водка, выпиваемые по поводу окончания работы, при подрядах, сделках, в вознаграждение и т.д.’ (СРНГ 17: 72).

Панков уточняет значение глагола *вытховéс* ‘выставлять’ в переносном значении ‘кастрировать’ (заметим, что современному языку русских цыган глагольный корень *тхов-* не известен). Приводится также слово *горгóтыма*, которое, согласно Панкову, может обозначать лошадиное ржанье.

Упоминается слово *набойкýтко* для обозначения ткани с набитым на ней рисунком, а также слово *карафáшка* ж. уст. ‘тележка (к.б. были и на двух колесах)’.

5 Фразеологизмы

Большое внимание Панков уделяет разнообразным идиоматическим выражениям, которые он обычно помечает ромбом. Приведём некоторые интересные выражения: *вымардó кóрнё ромéскэ* ‘разорили’, досл. ‘выбили корень цыгану’; *тэ кэрэс вéсна* ‘открыть кочевой сезон’, досл. ‘сделать весну’; *отмардá сарó глúздо* ‘отбил всю память, разум’, ср. рус. диал. *глузд* ‘ум, память’ (СРНГ 6: 207); *кокáлы дрэ лéстэ пхадéна* (о человеке очень подвижн.) ‘ходуном ходит’, досл. ‘кости в нём ломаются’; *ци́па прэ лéстэ издрáла* ‘живой, словно ртуть’, досл. ‘кожа на нём дрожит’; *тэ лыджáс мóхó и блáта* ‘плести, городить чепуху, вздор’, досл. ‘нести мох и болото/грязь’, *замалáдя ловé бárка* ‘нахватал денег с барку (нахапал)’, *кхар прэ лéстэ дэвлэс* уст. ‘благослови его’ (досл. призови на него бога), *тэ лэс прэ васта грэс* ‘взять на комиссию лошадь’, *дынé лáда адá хабна́скэ* ‘жадно съедено (бывшее на столе)’, *нá мар чибáса* ‘не болтай, не бей языком’; *про фúнты ловé ублавéса* (о богатстве) ‘деньги на фунты считаешь’ (букв. взвешиваешь), *домардяни́э жыко васт* ‘дойти до бедности, лишиться достатка’, ср. рус. *дойти до ручки*, *тэ лэс пé драб* ‘получить за ворожбу’; *тэ злэс прэ ловé ‘подкупить’*, досл. ‘снять на деньги’; *ёв на пхэндя на лав, ни паш* ‘он не произнес ни слова’.

Приводятся интересные обороты типа *муй нанэ или муй на сыс* со следующим комментарием ‘при испуге побледнел, изменился в лице, после перенесен.[ия] бол.[езни], голода, лица нет, кровинки не было, осунулся, отощал’. Даются интересные примеры, взятые, очевидно, из живой речи, ср. о *чявó бахталó явэла – мóса прэ ромéстэ на здэла* ‘мальчик счастливым будет – на цыгана лицом не похож’; *вылый ди пóскирэ гилéнца* ‘своими песнями волновал (песни щемили?) душу’; *уридéпэ адá ромá*, дэ со дэвэл *дояндá* ‘оделись эти цыганы, во что бог привел’, *ёнé и ханé миштó, и псирдé миштó* ‘они и ели

хорошо, и одевались хорошо'; дэвлалэ, *ада манушá вэко исы лыкхалэ* 'боже, да эти люди всегда нечистоплотные'.

Упоминаются любопытные выражения ласки, любви, восторга с характерным в таких контекстах для цыганского языка глаголом *хáв* 'есть': *тэ хав трэ слáдо досл.* 'чтоб я ел твой след'; *тэ хáв три якx* 'чтоб я ел твой глаз'.

Панков приводит языковые формулы, например, *на кэ ту раки́й!* 'не при тебе говоря' (форма вежлив.[ости], вытекающ.[ая] из обряда), произносимое, когда речь заходит о неприличных или плохих событиях; *э бахт дрэ канá, тэ выкирнён трé якхá, шану́ючи ада дэвлэ́н, тэ мрэ чяворэнгирэ бахтái, рупóса тэ сувнакáса лэнгэрэ канá* (Панков определяет это как «формулу из суеверия») 'счастья ушам твоим, сгнить (ослепнуть) твоим глазам, уважая, оберегая эти иконы да детей моих; серебром да золотом уши (их) = не здесь говоря, не при вас, будь, сказано'; *ангíл мулэнгиро* (*мулэнгро*) *ди!* (из прош. пов.) 'пред душами усопших!' произносится при поминовении.

В примерах к словам Панков активно использует различные языковые формулы – пожелания добра, клятвы и проклятия, представляющий не только лингвистический, но и этнографический интерес. Приведём полный список встретившихся в записях Н. А. Панкова примеров; подробнее о таких формулах в языке русских цыган см. (Абраменко 2009).

Пожелания добра

тэ минéн тут бýды 'пусть минуют, обойдут тебя беды, несчастья';
мэ ракхэл тут дэвэл 'спаси (сохрани) тебя бог'.

Божба

Такие примеры в карточках Панкова обычно обозначаются словом «клятва»:

прэ якхá мánдэ досл. 'на глаза мне';
састыра мánгэ 'не миновать мне кандалов', точнее 'кандалы мне';
тэ выпéр мрэ дéскэ 'расстаться с жизнью', досл. 'выпасть моему животу';
тэ мár ман дэвэл 'накажи меня бог';
тэ мэрáв мánгэ! равнозначно 'честное слово', досл. 'умереть мне!';
тэ хав мэ дадéскэ масá досл. 'чтоб я ел тело отца';
шэрó тэ гаравáв 'умереть мне', досл. 'чтоб я голову похоронил'.

Проклятия

Подобные выражения Панков обычно сопровождает комментарием «ругань»³⁴:

вибулавáва о пэрэстыр трэ виндыры́ ‘вытряхну из утробы твои кишки’;
выдиндёб³⁵ ту сапóса ‘извивайся змеем!';
джя вихрóса! ‘пропади, сгинь!';
замалавáва тут тырэ кирнэнца ‘упеку тебя со всем твоим родом!';
карадын тут тэ лэл ‘найди тебя пуля’, досл. ‘чтоб ружьё тебя взяло’;
мэ лэл тут издрани! ‘затряси тебя лихорадка!', точнее ‘возьми тебя трясучка!';
мэ на дэс рада³⁶ тукэ (тоже – пэскэ) марó ‘не иметь тебе куска хлеба',
мэ тэ катынэл тут о кáто³⁷, э барí чюпны́ ‘четвертуй тебя палач своей
плетью', точнее ‘чтоб истязал тебя палач, большая плеть';
тэ выдиндёс тýкэ! ‘вытянуться тебе (подобно трупу)';
тэ выровэс пэскро джиибэн ‘плакаться тебе всю свою жизнь', досл. ‘выплакать
тебе свою жизнь', точнее ‘выплакать свою жизнь';
тэ дав трэ колэс аври! ‘изничтожить своего того-то!';
тэ запхадéл трэ шэрэскэ ‘сломать тебе голову', досл. ‘заломаться твоей
голове';
тэ макхэс сарó пэскро вэко манушэнгрэ рóты пожелание быть во всю
жизнь в зависимости, досл. ‘чтоб ты всю свою жизнь красил колёса у
людей', точнее ‘мазал (мазью)';
тэ прокхандéл тро шэрó досл. ‘протухнуть твоей голове';
тэ пхадéл тро шэрó! ‘сломать тебе голову', точнее ‘сломайся твоя голова';
тэ роспхарадёс тýкэ ‘лопнуть тебе';
тэ урьён прэ тýтэ састыра́ ‘заковать тебя в цепи-оковы';
тэ хан трэ масá ‘терзай тебя живьём', досл. ‘чтоб ели твоё тело'.

34 Все примеры, значения и комментарии приводятся в том виде, в котором записаны у Панкова.
Наши комментарии следуют за словом «точнее».

35 Ср. Te merés tu, te v'iterdéspe syr sáp, te v'id'ind'os ... ‘Чтоб умер ты, чтоб вытянулся как змея, чтоб
перевернулся...’ (Абраменко 2006: 66).

36 Нам не приходилось слышать это слово в таком значении от русских цыган, заметим, впрочем,
что оно обычно в языке литовских и латышских цыган, где составной глагол *dél ráda* означает
‘зарабатывать’. Л. Мануш возводит к срб. *rad* ‘дело, работа’, ср. впрочем более вероятный польский
источник *dawać sobie radę* ‘справляться, перебиваться’

37 Это слово интересно само по себе и больше нигде в источниках не фиксировалось, видимо,
полонизм, ср. польск. *kat* ‘палач’.

Пословицы

В словарных карточках также приведено большое количество пословиц, основная часть которых была опубликована в языковом приложении к грамматике Т. В. Вентцель (Вентцель 1964: 98-99). Часть пословиц также была использована в неизданном сборнике фольклора, подготовкой которого занимался Н. А. Панков. В одном из писем он так комментирует собранные им пословицы: «В пословицах заметны высокие этические начала, и они ставят в уровень с человечеством, а не отторгают его [цыганский народ – К. К.] на какой-то „особняк“ презренного»³⁸. Далее списком приводятся встретившиеся пословицы:

годявэр бичявша о манушэс, саво на камэла, тэ на джинэла ничи нэ кэрэл, кэ кирья ‘мудрый посыает человека, который не умеет и не хочет ничего делать, к муравьям’;
кай багана ачпэ одбй, холямэ манушэнгэ нанэ кэ гиля ‘где поют оставайся там, злым людям не до песен’;
мануш барвало тэ зорало – интэ нá годявэр мануш ‘человек богатый и сильный еще не мудрый’;
мэ здáвалэ, коли лулудя прэ васта выбарьёна ‘я покорюсь, когда цветы на ладонях вырастут’;
кон сарэнгэ камэла тэ авэл лачё, никонэскэ нанэ лачё ‘кто каждому хочет быть милым, никому не будет хорошо’;
на кфул бóком – ребро́ пополам ‘о навоз ударился и ребро поломал (буквально пополам)’;
на явáва джидо прэ парно свэто ‘не буду жив на белом свете’;
о джюкэл башэла, газдый о шэрб упрэ, кэ хачибэн ‘собака лает, подняв голову вверх, к пожару’;
о джюкэл пэ гэрá на мурдёла бокхáтыр ‘на ходу собака с голоду не подохнет’;
ром ромэса стар. формула, известн. цыганам всех стран;
свэто баро, а тэ кэрэспэ нанэ кай ‘свет большой, а пристроиться(?) скрыться некуда’, точнее ‘деться’;
со на кэрла джюкэл, кэрла кирмо ‘чего не сделает собака, сделает черви’;
тэ гаравэспэ екхэндыр, и тэ попэрэспэ ваврэнгэ ‘укрыться от одних и попасться в руки другим’;
э бигодяскирэскэ нанэ о драб ‘против глупости нет лекарства’, дословно ‘глупому нет лекарства’;

38 Из черновика письма к Я. В. Лоя от 15.12.1955 г.

э бýда годы́ биянэла ‘несчастье разум порождает’;
э дэ зумí э свéнта дыхэнапэ (о жалкой похлебке) в похлебке святые вид-
ны (виднеются);
э пачé лавэнца со пиро фéлда грéнца ‘ласковыми словами, что во поле с
конями’;
э рувéн тэ дарéс – дро вэш тэ на псирéс ‘волков бояться – в лес не ходить’.

Заключение

Подготавливая новое издание цыганско-русского словаря, Н. А. Панков вёл ра-
боту над исправлением ошибок, допущенных в словаре 1938-го года, вносил
важные лексические и семантические дополнения. Составленный им список
пословиц и фразеологизмов представляет большой интерес не только с языко-
вой, но и с этнографической точки зрения.

Учитывая критику словаря 1938 г., в последние годы не раз звучавшую со
стороны исследователей, а также принимая во внимание работу, проделанную
Н. А. Панковым, нельзя не обратить внимание на необходимость нового словаря
языка русских цыган с выверенной грамматикой и примерами, взятыми из
разговорного языка. Безусловно, данные картотеки Н. А. Панкова тоже могут
быть использованы для такой работы. Остаётся лишь надеяться, что пример
Н. А. Панкова окажется заразительным для будущих исследователей.

Литература

- Абраменко, О. А. 2009. Клятвы и проклятия в речевой практике русских цыган. Публикация на
сайте «Архив петербургской русистики»: К 60-летию Павла Анатольевича Клубкова.
<http://www.ruthenia.ru/apr/textes/klubkov60/abramenko.html> (2016-06-09)
- Баранников, А. П. 1931. Цыганские элементы в русском воровском арго. *Язык и литература* VII, 139-158.
- Вентцель, Т. В. 1964. *Цыганский язык* (северорусский диалект). Москва.
- Деметер, Р. С. / Деметер, П. С. 1990. *Цыганско-русский и русско-цыганский словарь* (кэлдэрарский диалект).
М.: Русский язык.
- Добровольский, В. Н. 1908. *Киселевские цыгане. Выпуск 1. Цыганские тексты*. Санкт-Петербург.
- Друц, Е. / Гесслер, А. 1990. *Цыгане: Очерки*. М.: Советский писатель.
- Дударова, Н. А. / Панков, Н. А. 1928. *Нэво дром. Букварё ваш барэ манушэнэ*.
- Истомин (Патканов), П. 1900. *Цыганский язык*. Москва.
- Лоя, Я. В. 1968. О языке цыган Латвии. *Языки Индии, Пакистана и Цейлона*. Материалы научной
конференции. Москва: Наука: 429-432.
- Погодин, А. 1902. Материалы для словаря литовских цыган. *Русский филологический вестник* XLIX: 60-66.

- Русаков, А. / Калинин, В. 2006. Литература на цыганском языке в СССР: 1920-1930-е годы. Абраменко О. А. *Очерки языка и культуры цыган Северо-Запада России (русска и лотфитка рома)*. Санкт-Петербург: «Анима»: 266-287.
- Сергиевский, М. В. 1931. *Цыганский язык. Краткое руководство по грамматике и правописанию*. Москва.
- Сергиевский, М. В. / Баранников А. П. 1938. *Цыганско-русский словарь*. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Тт. 1-46, 1965-2013.
- Шаповал, В. В. 2007. Цыганские элементы в русском воровском арго? (размышления над статьей акад. А.П. Баранникова 1931 г.). *Вопросы языкоznания* 5: 108-128.
- Шаповал, В. В. 2011. *Цыганизмы в жаргонных словарях. Критерии достоверности описания*. Saarbrücken: Lambert.
- Шаповал, В. В. 2013. Marginalia к «Цыганско-русскому словарю» 1938 г. К. А. Кожанов / С. А. Оскольская / Русаков А. Ю. (ред.). *Цыганский язык в России. Сборник материалов Рабочего совещания по цыганскому языку в России: Санкт-Петербург, 5 октября 2012 г.* Санкт-Петербург: Нестор-История.
- Шаповал, В. В. б.д. Комментарии к статье А. Погодина «Материалы для словаря литовских цыган». <http://liloro.ru/romanes/pogodin-02-1.rar> (2016-06-09)
- Barannikov, Alexander P. 1934. *The Ukrainian and South Russian Gypsy Dialects*. Leningrad: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR.
- Bischoff, Wilhelm F. 1827. *Deutsch Zigeunerisches Wörterbuch*. Ilmenau: Voigt.
- Miklosich, Franz. 1872-1880. *Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europa's*. Wien: Gerold.
- O'Keeffe, Brigid. 2013. *New Soviet Gypsies: Nationality, Performance, and Selfhood in the Early Soviet Union*. Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press.
- Pott, August F. 1845. *Die Zigeuner in Europa und Asien*. Halle: Heynemann.
- Sowa, Rudolf von. 1898. *Wörterbuch des Dialekts der deutschen Zigeuner*. Leipzig: Brockhaus.
- Paspati, Alexandre G. 1870. *Études sur les Tchinghianés ou Bohémiens de l'Empire Ottoman*. Constantinople: Kōroméla.
- Wlislocki, Heinrich von. 1884. *Die Sprache der transsilvanischen Zigeuner. Grammatik, Wörterbuch*. Leipzig: Friedrich.

Banjari / Lambadi. The language of India's biggest nomadic tribe

In the course of mapping Romani and affiliated languages, it has been important ever since to include information about the Indian roots. We know that linking the Roms to a specific region in India or even connecting them with some sort of ancestors in their former homeland, has proved to be a reason for controversy. However in this short introduction I like to draw the reader's attention to the language of India's biggest nomadic tribe: the Banjara.

1 Background information

Banjari is the main language of communication of several – real and former – nomadic and semi-nomadic groups that can be found today in various areas of India. The term Banjari is linguistically applied as the name of the common language of the Banjara. In a wider sense, however, it stands for the totality of closely related dialects, that are spoken in areas that are scattered throughout the Indian territory.

The many names of the language are among others: Banjārī, Lambādī, Lamānī, Lambānī or Sugālī. The most common names for the people are Banjārā (which is most probably derived from the Sanskrit term *vāṇijyā* as well as *bañaj*, which means 'trade' – the Banjara are a tribe – but no caste – of former traders¹, and Lambādā – mainly used in the Deccan-Region and presumably derived from the Sanskrit *lavaṇā* which means 'salt', which refers to their historic field of salt transportation. However, this word is considered pejorative by many Banjara. They call themselves *gormat* or *gorvat*, 'the light-skinned', and their language *gor bolī* 'the language of the light-skinned'.

¹ Others claim that it comes from *ban jārā* 'those who go to the jungle'.

2 Affiliation

Banjari belongs to the branch of the Indo-Aryan languages of the Indo-European family. Among these it falls into the Central-Indian language group. Most probably Banjari developed from Old Indian through the stages of Sanskrit and West-Indian Prakrit forms. It particularly resembles the dialects of Rajasthani, notably Marwari, Malvi, Bagri, Harauti etc. as well as Gujarati and therefore it is likely that the language – exactly like these two new Indo-Aryan languages – has its roots in Old Western Rajasthani.

This assumption is supported by the fact that the Banjara regard themselves as descendants of the Rajputs of what is present-day Rajasthan. It is however unclear when and why they left their old homeland.²

Today, one finds Banjara settlements in many areas of Southern, Western, and Northern India. This is primarily due to their historic occupation. Since early times, the Banjara were responsible for the transportation of goods, such as pulses, grain, salt etc. all over the Indian subcontinent. At the time of the Mughal Empire (1526-1858) and also under the *British Raj* (from the end of the 18th century) a huge part of the inner-Indian goods' trade, but also the transportation of heavy war material depended largely on the Banjara and their bullock carts, mules, and camels.

It was only with the construction of the railroad, starting from the second half of the 19th century and through the British prohibition of nomadhood enacted through the Criminal Tribes Act of 1871, that more and more Banjara were forced to become sedentary. As a result most Banjara lost their original occupation because of the progress of technology and therefore one does not find many nomads among them today. Nowadays, many Banjara frequently work as seasonal labourers on construction sites such as highways, in mines and heavy industry and therefore many families are still forced to live as semi-nomads.

3 Geographic spread and number of speakers

Information about the number of speakers vary quite significantly according to the source, but one can realistically assume that approximately six to ten million people speak Banjari as a mother tongue. The Banjara usually live in separated settlements – so called *tand* – at the edge of villages or as migrant workers on construction sites, that can also be found in many cities.

² Historians believe that they left Western India between the 8th and 10th century, possibly because of the invasion by Muslim insurgents. The predecessors of the Roms are supposed to have also left India in this period (see with Tcherenkov/Laederich 2004).

Today the majority of all Banjara live in the states of Andhra Pradesh (~ 20%), Karnataka (~ 15%), and Maharashtra (~ 17%). This makes their language unique because it is one of the few Indo-Aryan languages that have survived in the heartland of Dravidic dominated culture. In addition, one finds considerable Banjari communities all over North-Western and Central India. In Eastern India however there are hardly any Banjara.

4 Principal dialects

Altogether, there are rather few linguistic information and detailed studies on Banjari, and particularly on the miscellaneous dialects.

Due to the geographical spread of the Banjara, it does not come as a big surprise that their language has numerous dialects, of which most do not show serious differences in grammar that would restrict the communication between groups from different areas.

There are however differences on the phonetic level. These are often caused by the influence of contact languages such as Deccani (Hindi/Urdu), Marathi, Telugu or Kannada; e.g. *c* and *č* in Marathi and Telugu influenced areas:

Telangana	<i>ācčho</i>	'good'
Gor-Banjari	<i>āccho</i>	'good'

In Telangana there is a long *ō*:

Telangana	<i>ooddu</i>	'bank of a river'	< Telugu
-----------	--------------	-------------------	----------

Also in vocabulary these influences of the contact languages can be observed. For instance Banjari spoken in southern Karnataka and northern Tamil Nadu or the dialects of Andhra Pradesh are interesting because of the significant use of Dravidic words.

Telangana	<i>moodu</i>	'lazy'	< Telugu
	<i>pittā</i>	'bird'	< Telugu

In Lamani the same words are of New Indo-Aryan origin (mainly Hindi/Urdu or Marathi).

Lamani-Banjari	<i>ālsī</i>	'lazy'
	<i>bañd</i>	'lazy'
	<i>mand</i>	'lazy'
	<i>pakṣi</i>	'bird'

On the other hand Banjari seems to be purer in Dravidic dominated areas than in places where Hindi, its respective dialects or Marathi is spoken.

The largest dialect group of Banjari – with at least four to five million speakers – includes the Telangana-Banjari spoken in North-Western Andhra Pradesh, the Andhra-Banjari in the north-east of the same state, Lamani of Northern and Central Karnataka, as well as Gor-Banjari of South-Western and Central Maharashtra. Bigger differences in the vocabulary as well as in the pronunciation are found among speakers of Sugali spoken in the south of Andhra Pradesh, as well as in Lambadi of southern Karnataka and northern Tamil Nadu. The dialect groups of Northern and Central India are marked by a strong mixture with Hindi, Gujarati or Rajasthani. By the way the dialects of Banjari are not necessarily confined to certain regions. Through the occupational activities of the Banjara, one also finds speakers of miscellaneous dialects in other regions of the country.

5 Communicative and functional status of the language

Banjari is considered an independent language, but it is not registered as an official language (in an administrative, educative or cultural sense) neither on state nor regional level.

Although Banjari shows certain lexical overlaps with Rajasthani, it should not be mistakenly regarded as a dialect. Mutual intelligibility between Banjari and Rajasthani speakers is possible on a very basic level only. This is particularly the case with dialects from Andhra Pradesh, Karnataka or Tamil Nadu.

After the independence of India, the Banjara were classified as underprivileged people and the government started to help and support them. Nevertheless, this support differs quite significantly according to the state. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Acts of 1950, 1956 and 1976 led to the steady improvement of the basic conditions for the Banjara. Through this fact, in many states – above all in Andhra Pradesh where they enjoy many advantages being considered a Scheduled Tribe – a new identity consciousness originated among them and this can also be observed on a linguistic level.

Banjari is still quite rarely written, nevertheless one can observe a certain trend towards a codification and standardization of the language. This development is still in an initial stage, and is often influenced by foreign associations such as Christian missions – for example with the translation of the New Testament and Christian songs. It is rather uncertain until the present day how much backing this standardiz-

ation will get among the Banjara. The most widely used alphabet for writing Banjari, is Devanagari, and to a far lesser extent there is also the use of Telugu – in Andhra Pradesh, or Kannada, in Karnataka.

Through the fact, that Banjari does not have the status of an official language and through the absence of a completed standardization, it does not find any application in the educational sector.

Scientific information on Banjari is still extremely rare. The only considerable research centres in India are the Osmania University of Hyderabad, the Deccan College in Pune, Annamalai University of Chennai and the Central Institute of Indian Languages in Mysore.

6 Conclusion

The study of Banjari is a crucial element in both understanding how an Indo-Aryan language develops in a Dravidic dominated surrounding and in filling a mosaic in the remaining vacuum of tracing back the history of the Roms outside of India. Comparing their traditions, culture and language one can observe a highly similar development. Both the Roms and the Banjara were able to maintain their mother tongue in a different linguistic surrounding for several hundred years. They both adopted influences of other languages without forgetting their medium of communication.

References and further information

- Arya, Ramesh R. 2002. *Learn Banjara language yourself*. Hyderabad.
- Boopathy, S. 1974. *Lambadi. An Indo-Aryan dialect*. Delhi.
- Krasa, Daniel. 2011. Banjari/Lambadi. In: Языки Мира. ed. *Современные индоарийские языки [Languages of the World: Modern Indo-Aryan Languages]*. Moscow: Russian Academy of Sciences: 146-164.
- Naik, Chandrakala 2001. *Hindi tatha Marāṭhī Mādhyam sē Bañjārā Bōli Sikhō*. Mumbai.
- Murty, M. C. 1965. *Lambāṇī Jana Mattu Avara Bhāṣe*. Prabuddha/Karnataka.
- Radhakrishnan, S. 1983. *Descriptive Study of Lambadi*. Annamalainagar.
- Ruplanaik, Y. 1999. *Dictionary of Banjari language*. Bangalore.
- Tcherenkov, Lev / Laederich, Stéphane. 2004. *The Rroma. Vol. 1: History, language, groups*. Basel: Schwabe.
- Trail, Ronald L. 1968. *A grammar of Lamani*. Poona.
- Trail, Ronald L. 1968. *Lamani. Phonology, grammar and lexicon*. Poona.
- Uma, S. U. 1975. *Descriptive study of the Banjara language*. Hyderabad.

Илона Махотина

Образцы фольклорной прозы русских цыган Новгородской области

Современные технические средства создают новые формы полевой работы. Благодаря Интернету у исследователя есть возможность быть с информантом на связи практически двадцать четыре часа в сутки. В основу настоящей статьи легли материалы, полученные автором в том числе в процессе общения с информантами в сети Интернет в 2013-2015 гг. Публикуемые ниже тексты представляют собой форму письменной фиксации фольклорной прозы исполнителем, так как создавались они информантами спонтанно (тексты 1-3, 5) или по просьбе собирателя (текст 4) в момент общения в социальной сети.

Тексты были получены от двух постоянных информанток: Екатерины Васильевны Журавлёвой (Михайловой) 1965 г.р. (тексты 1-3, 5) и Зинаиды Петровны Михайловой 1994 г.р. (текст 4), русских цыганок (*Амэ руссконэ ромэндыр, russияки* ‘Мы из русских цыган, russияки’¹), принадлежащих к патрилинейной группе *минянгирэ/миняньгирэ/минёнгирэ* (*Миняньгирэ амарий родá* ‘Минянгирэ наш род’) и проживающих в г. Малая Вишера Новгородской области.

Информантки состоят в родстве (тётя и племянница). Е. В. Журавлёва имеет неоконченное высшее педагогическое образование, работает в детском саду. З. П. Михайлова получила среднее специальное образование, работает в салоне красоты мастером ногтевого маникюра.

Глубина родовой памяти патрилинейной группы *минянгирэ* составляет шесть поколений. Своё название группа получила по имени предка – *Миня* (Михаил). Интересно, что три поколения назад семья носила фамилию Шаховские, но дед Журавлёвой А. Е. Михайлов (прадед Михайловой) сменил фамилию. Журавлёва сообщает: *Э Минястэ сыс чавэ: Егор Михалыч – папускиро дад, Андрей Михалыч – Вондря, Василий Михалыч – ада Цироны нынешна, Михалыч, Ксения Михайлова – мирэ дакирэ дай, амари баба, Ольга Михайлова – сарэ онэ*

1 Все языковые примеры записаны от данных информанток, если не указано другое. Если примеры были получены в письменном виде, они приводятся без ударений в оригинальной орфографии. Если примеры взяты из живой речи проставлены ударения. Ударения в цыганских именах уточнены дополнительно и проставлены в русском переводе.

Минянгирэ кхардээ... Из поколения мирэ папускирэ Фины сыс пишала Павел Егорыч, Егор Егорыч – онэ лынэ зовэл Шаховские, и каны онэ сарэ Шаховские, а Фина лыя зовэл Михайловы и сыс право по сути. ‘У Мини были сыновья: Егор Михайлович – дедов отец, Андрей Михайлович – Бондя, Василий Михайлович – это Цироны нынешние, Петр Михайлович, Ксения Михайловна, моей матери мать, наша бабушка, Ольга Михайловна – все они «минянгирэ» звались... Из поколения моего дедушки Фины были братья Павел Егорович, Егор Егорович – они взяли фамилию Шаховские, и теперь они все Шаховские, а Фина взял фамилию Михайловы и был прав по сути’. Михайлова уточняет, что прадед сменил фамилию из-за конфликта с братьями: *И пану Фина лыя фамилия Михайловы. В честь папустэ пэскирэстэ. А дякэ исыс фамилия Шаховские. <...>. Акэ прапапустэ Финастэ исыс пишала. Нэ ёв лэндыр отличался очень. Ёв исыс добро, годьваро мануш, совестливо, и бутяса робинэлас пэ куско маро, сыр ракирлапэ. А да пишала саро джииштэ лэскэ хаськирнас уса. То перимарнас буты, то обракирнас, то сплетни кэрнас, то скандало кэрнас по свэнки... Нэ пал дава пану и на камья лэнса ех зэвла иметь.* ‘Дед Фина взял фамилию Михайловы. В честь деда своего. А так была фамилия Шаховские. <...> Вот у дедушки Фины были братья. Но он от них отличался очень. Он был добрый, умный человек, совестливый, и трудом зарабатывал себе на кусок хлеба, как говорится. А эти братья всю жизнь ему портили всё. То перебывают работу, то обговорят, то сплетни делают, то скандал устроят на праздники... Ну поэтому дед не хотел с ними одну фамилию иметь’.

Члены патрилинейной группы расселены на территории Новгородской и Ленинградской областей (*Рода очень бары* ‘Род очень большой’). У нас имеются примеры того, что как минимум два поколения назад браки могли заключаться внутри рода. Так, мать Михайловой принадлежит к ленинградским представителям рода (Цироны, Журавоскири внучка, миненъгири порода. <...> Цироны – это фамилия маминого отца. По ней знают всех моих тётек и дядек. Цироны, внучка Журáво, род «минянгирэ»; Цироны это не ветвь, а один и тот же род. Просто папус, мамакирэс дадэс кхардэ Цироно пир э зэвла. И дякэ лэн и джинэн. Цироно ёв по документам, а на самом деле сыс Шаховский ‘Просто деда, материного отца, звали Цирон по фамилии. И так их и знают. Цирон он по документам, а на самом деле был Шаховский) и состоит со своим мужем в дальнем родстве (*С папой они в седьмом колене родня*). Родители Журавлёвой (бабушка и дед Михайловой) также приходились друг другу двоюродными тёткой и племянником². Это ставит вопрос о выделении данного рода как эндогамной общности.

2 Мать Журавлёвой Зинаида Антоновна Михайлова принадлежала к роду минянгирэ по материнской линии: *Акэ о дад мирэ дакиро о Тόно сыс Лёдэнгиро, и амэ ничай на джинас пал дай рода, к сожалению, а рода сыс лачай, тоже слабутно* ‘Вот отец моей матери Тони был из рода «лёдэнгирэ», и мы ничего не знаем про этот род, к сожалению, а род был хороший, тоже знаменитый’.

Старшие члены семьи информанток имели опыт переездов и полуоседлости, Журавлёва сообщает: *Мирэ, кстати, раньше джиндолэ дэ Калинин, дотэ, дэ Клино потом, короче, кочевали пашэ Москва, а угэнэ дэ вэша. <...> Дэ тэрныпэ родители мирэ, папу... Кай только онэ на сыс, и даже дэ Кубань после войны, а са ех дарик явнэ, до гава, кай э чяр учедыр шэрэстыр, грэнгэ миштыпэн.* ‘Мои, кстати, раньше жили в Калинине, там, в Клину потом, короче, кочевали возле Москвы, а ушли в леса. <...> В молодости родители, дед... Где только они не были, и даже на Кубани после войны, а всё одно сюда явились, в сёла, где трава выше головы, коням благодать’.

Е. В. Журавлёва и З. П. Михайлова – компетентные носители СРД, имеют приблизительно одинаковый уровень владения цыганским языком, хорошие рассказчицы, обладают и некоторыми литературными способностями (*Шун, мэ камам тукэ дэ бичавав мирэ записи, типа начала легенды пал ромэндэ, пэ мандэ иногда находит сочинительство, мэ писала дэ группа романы. Дава ещё дуй бэри палэ. Нэ сарэ дотэ сома дарна ла продолжить, типа знаний мало, и кэрдэ сабэ токи.* ‘Слушай, я хочу тебе послать мои записи, типа начала легенды о цыганах, на меня иногда находит сочинительство, я писала в группу <интернет-сообщество> цыганскую. Это ещё два года назад. Но все там что-то боялись её продолжить, типа знаний мало, и насмеялись только’).

От информанток получена разнообразная этнографическая информация, собраны материалы по лексике и фразеологии цыган региона, к примеру: *кái бэштó, дотé и замéя ‘где сидел, там и замер’* (адá кады́ о шóко сухтылдá ‘это когда шок схватил’); *кón ракíрла, довá и шунéла ‘кто говорит, тот и слушает’* или *ёв/ёй ракíрла, ёв/ёй и шунéла ‘он/она говорит, он/она и слушает’* (т. е. ‘собака лает – ветер носит’); *лубнáтыр мазýлы на кинéса ‘у проститутки косметики не купишь’* (*ушло манúш, прогéя сарó, ещё ракíрна пэ дасавэ джювлéндэ: лá чув пэ ѿг, ёй и ягáтыр сджáла ‘ушлый человек, прошёл всё, ещё говорят на таких женщин: её положи в огонь, она и с огня сойдёт*³; *бíда прэ штáр рóты ‘беда на четырёх колёсах’* (*пал манушéстэ ненадёжнонéстэ ‘про человека ненадёжного’*); *мóхи и блáты⁴* или о *мóхы тэ о блáты ‘ерунда, чепуха’, букв. ‘мхи и грязи’*

3 Ср. вариант с иным собирательским толкованием: *Lubn'átyr kráska na k'inésa* ‘У проститутки не купишь косметики’ (поскольку она сама ею пользуется) (Абраменко 2006: 52).

4 Ср. скэдэлэ *мóхо и блáта* ‘собирает мох и грязь’ (собирает своё и чужое) [4], и *мóхы, и блáты скэдый ‘и мхи, и грязи собрали’* (всё смешал) [5], *Дэвлалэ, ёв ракирдá/лыджий и мóхо, и блáта ‘Боже, он говорил/свёл и мох, и грязь’* (переливал из пустого в порожнее) (Панков Н. 1952: 4) и русский прототип: *мох с балотым* (чушь, вздор), *что юн гародить мох с балотым* (Добропольский 1891: 34, 72).

(ракýрна мóхи и бláты ‘говорят ерунду’); хáса, грáй, э джéв⁵ ‘съешь, конь, овса?’ (насмешка над невежливым хозяином; Когда спрашивают, например: «Чáё п्यéса» ‘Чаю выпьешь?’ Отвечают: «Нэ, хáса, грáй, э джéв?» Типа, о чем спрашивали, собирая на стол); тэ кэрэл лíвки⁶ ‘разбить’ голову’ (Рáньше ромá кэрнас лíвки ек екхéскэ прэ марибён дэстэнца пэ чутны. <...> Лíвки – дá сý значит шэрэ розмарнас. ‘Раньше цыгане делали ливки друг другу на драке рукоятками на кнуте. <...> Ливки – это значит, голову разбивали’; кэрна лíвки – мэкáна ратá ‘делают ливки – пускают кровь’); тэ чамудэл пéскиро мýй ‘притворяться порядочной/порядочным’, букв. ‘целовать своё лицо’; индарáка кэ пэнты, пéскро мýй чамудэла, а ромэн родэла, парувэла ‘юбка до пят, притворяется порядочной, а мужай ищет, меняет’; ёв залыджала, вылыджала и паны тэ п्यél на дэла ‘он заведёт, выведет и воды пить не даст’ (о пронырах); конéскэ бáхт, конéскэ бахтори ‘кому удача (счастье), кому удачка (счастьице)’ (о везении); тэ рэсэл дэ вáст ‘совершать сделку, зарабатывать’, букв. ‘добывать в руку’ (тэ рэсэл тўкэ дэ вáс, адá сýр пожелáние пэ удача, соб сарó манушéстэ получáлось миштэс, и ловэ дэ джáн и бах ‘добывать тебе в руку, это как пожелание на удачу, чтоб всё у человека получалось хорошо, и деньги чтоб шли, и счастье’) –ср. пéскре(и) вастытко ‘самостоятельный’, букв. ‘собственоручный’ (чай пéскри вастытко ‘девка самостоятельная’; самостоятельный заработка у человека, да и к чему бы она руку не приложила, любое дело идёт благополучно); шанови́чи, рўп-сөннák, лóн, марó ‘шануючи, серебро-золото, соль, хлеб’ (этикетная формула извинения) – ср. шануючи тумари бахт, сувнакаса, тэ рупэса тумарэ каны ‘уважая ваше счастье, золотом да серебром ваши уши’ (Ильинско 1932: 15), ср. также шануючи службы ваши (Вирган, Пилинська 2000: 367); лóфо (вóля) тэ злэс⁸ букв. ‘лафу (волю) унять’; хáв трэ слáдыцы⁹ букв. ‘ем твои следики’ (этикетная фраза: обычно ракирна, когда камэн манушес уважить, drogo мануш, дэ уракирэн дэ со-та ‘обычно говорят, когда хотят человека уважить, дорогой человек, уговорить на что-то’) и др.

-
- 5 Как насмешка над тем, кто задает очевидный вопрос, употребляется у котляров (Хас, грáста, жёв? ‘Конь, будешь есть овес?’, Деметер, Деметер 1990: 54) и цыган-влахов (Гráста, жов хáса? ‘Конь, съешь овса?’ [7]).
 - 6 В том же значении тэ кэрэл лíвки/сливки отмечено нами у русских ленинградских цыган [5].
 - 7 Ср. Дылынó-дылынó, а пéскиро муй чамудэла ‘Дурак-дурак, а своё лицо целует’ (дурак, а притворяется порядочным) и Длэнго юбка урье́ла, а ромэн парувэла ‘Длинную юбку надевает, а мужай меняет’ (Это к тому, что делается самостоятельной <порядочной>, одевает длинную юбку, то есть соблюдает приличия в одежде, а сама замуж выходит по нескольку раз) [5].
 - 8 В значении ‘командовать, унизить’ отмечено нами в Твери [3] и Санкт-Петербурге [5].
 - 9 Ср. Тэ хав мангэ трэ слáды (слáдыцы) ‘Есть мне твои следы’ (о ребенке, о человеке в знак уважения) [4].

В цыганской речи информанток богато представлена русская диалектная лексика: *вихóр, вíхро¹⁰* м. ‘вихрь, плохой человек, нечистая сила’ и *вихóрка, вихrá/вíхра* ж. ‘плохая женщина’ (*А о рóм авíр, вíхро, бéштó и ужакíрла, со янóла ромны́*. ‘А цыган иной, вихор, сидит и ждёт, что принесёт жена’; *Э пхури ех пэ мандэ чумгардя, вихорка, дэ очередь, дэ банза тэрды сомас* ‘Старуха одна на меня плюнула, вихорка, в очереди, в магазине стояла <я>; *Гаджéн вихróм кéрлас* ‘Нецыган вихром делала <гоняла>; *Вíхро-чáдо бýйно* ‘Вихрь-чад буйный’; проклятия: *Вихрóм их завéй, смерчем!* Тэ лэл о вíхро! ‘Пусть возьмет вихрь!’ Тэ завиин вíхро! ‘Пусть завеет вихрем!’ Вíхро тэ закэдэл! ‘Вихрь пусть заберет!’ Тэ залыджál о вíхро! ‘Пусть занесет вихрем!’ *Вихрóм ла!* ‘Вихром её!’) –ср. *вíхор, хра и вихóр, хра* м. ‘вихрь’, Твер., Пск., Новг., Петерб., Лит. ССР, Латв. ССР, *вíхор* ‘ветреный, непостоянный человек’ Курск., Орл., Калуж., *вíхор* ‘нечистая сила, якобы находящаяся в вихрях’ Вят., Ряз., Сарат., Тамб., Тул., *вихором подняться бран.* ‘уйти, убраться с глаз долой’ Ряз. (СРНГ-4: 305; СРНГ-28: 100); *блóнда* ‘придурковатый человек’ –ср. *блóндать* ‘блуждать’¹¹ Йыгев. Тарт., Эст. ССР (СРНГ-3: 27); *горáс¹²* ‘очень’ = *горáз* нареч. ‘очень, сильно’ Великол., Тороп., Вышневол., Твер., Новг., Волог., Курск., Орл. (СРНГ-7: 18); *див्य* ‘хорошо’ (*Див्य тúкэ* ‘Повезло/ хорошо тебе’) = *див्य* нареч., безл. сказ. ‘хорошо, свободно’. *Дивъ тебе, у тебя есть денежки.* Волог., Новг., Ленингр., Арх., Тул., Южн.-Сиб., Свердл., Камч. (СРНГ-8: 52); *мúма¹³* персонаж-устрашитель (*Мáнгэ ракирдэ:* «*Мúма хáла, закэдэла*». *Мэ усá камьём дэ подыкхáв пэ лáтэ, кон ёй дáсави.* ‘Мне говорили: «Мума съест, заберет». Я всё хотела посмотреть на неё, кто она такая’) = *мúма* Фантастическое мрачное существо, которым пугали детей. *Не плачь, а то мума возьмет!* Зап.-Брян. (СРНГ-18: 344); *покáмист* ‘пока’ = *покáмест* ‘то же’ Юж. (Даль-3: 196); *прокýдно* ‘озорн(ой/ая)’ = *прокýдный* (ая, ое) ‘шаловливый, проказливый’ Дон., Груз. ССР, Р. Урал (СРНГ-32: 166); *чérэслы* мн. ч. ‘пояс, элемент архаичного девичьего костюма’ (*Э дай ракирлас палэ чéрэслы совнакунэ ловэндыр, и уръенас лэн пэ поясо, пэ индарака.* Нэ ада на сарэндэ сыс. Ада э чая уръенас, а на о ромня. <...> Когда кхэлнас чая, совнакунэ монетки бренчали.

10 Ср. также: *Вíхро* ‘последний человек, нищета, ничтожество’ (*Ды мэрэс ту пэскэ, вихро несчастно!* ‘Чтоб ты умер себе, вихор несчастный!’ *Дых, вíхро, и ёв мануш.* ‘Смотри, вихор, и он человек’ *Ды схасёл тро шэро, вихро буйно!* Пусть пропадет твоя голова, вихрь буйный!) [5]; *Ёв адáсаво вíхро-чáдо (вихро чадоса)!* ‘Он такой вихрь-чад (вихрь с чадом)’ (*вíхро-чáдо* – нехороший дух, чёрная сила), Тэ лэл тут *вíхро!* ‘Возьми тебя вихрь!’ (проклятье), Тэ джял бы ёв про вíхро, про чáдо! ‘Шёл бы он на вихрь, на чад’ (проклятье, ругательство) [4], *Вихрóм тебé!* (проклятье) и *Вихрóса тум!* ‘то же’ (проклятье) [2].

11 Ср., впрочем, также пол. *blqđ* ‘ошибка’.

12 В том же значении отмечено нами у русских ленинградских цыган [5].

13 Ср. *Мúма (мúмочка) хáла (тут)* Мума (мумочка) съест (тебя)! [3].

‘Мать говорила про череслы из золотых монет, и носили их на поясе, на юбке. Но это не у всех было. Это девушки носили, а не женщины. <...> Когда плясали девушки, золотые монетки бренчали’) = чéресел ‘пояс, кушак, опояска’ (Даль-4: 391).

В речи информанток отмечен ряд балтизмов и полонизмов: *églia* ‘ель’ – лат., лит. *Eglé* ‘то же’; *rágana* ‘ведьма’ руг. – лат., лит. *rāgana* ‘ведьма, колдунья’ (Лауччюте 1982: 49); *rapújca¹⁴* ‘лягушка’ – пол. *ropuscha*, лит. *ripiūžė* ‘жаба’ (Лауччюте 1982: 83); *rúpytchē¹⁵* груб. руг. ‘никчёмный человек’ – пол. *rupieć* ‘хлам, мусор’,ср. *ruſ* ‘червь конский’ (Linde-3: 143); *pónты* ‘пятки’ – пол. *pięty* ‘то же’. Наряду со словом *indaráka* ‘юбка’ – лит. *andarókas* ‘полосатая шерстяная юбка’, *anđdarák* ‘юбка, сарафан’ Смол., Лит. ССР, Латв. ССР (СРНГ-1: 257-258), информантками употребляется синоним *rádra/xádra* (*xádry*) ‘юбка, некрасивая одежда’ (уриды сави-то хадра <...>, уриды ромны нашукар ‘надето какое-то барахло <...>, одета женщина некрасиво’) –ср. пол. *hadra* ‘тряпка, ветошь’ (Linde-1: 814), ср. также нем. *Hader* ‘ветошь’.

Германизм *фэлда* ‘поле’, ср. (Сергиевский, Баранников 1938: 141), нем. *Feld* ‘то же’, представлен в говоре фонетическим вариантом фольда ‘то же’. Фонетическими вариантами зовэ́л и зэ́вла представлено в речи информанток слово со значением ‘фамилия’.

К архаизмам, употреблявшимся старшими родственниками, Журавлëва относит: *лентáрё* ‘янтарь’ = лентарь Шенк. Арх. (СРНГ-16: 356), *учякирибэн* ‘одеяло’ от *учякирэспэ* ‘укрыться’ – ср. *čakiribnítko* ‘пуховое одеяло’ (Sanarov 1970: 131), *сырýн¹⁶* ‘чеснок’ – ср. *сыр* ‘то же’ (ж.р.) (Патканов 1900: 200), *сыръ* ‘то же’ (м.р.) (Сергиевский, Баранников 1938: 131). В современной речи используются соответственно: *янтáрё*, *диáло*, *чеснóко*.

14 Ср. у русских ленинградских цыган: «Слово» рапúжа применяют, это когда человека оскорбить хотят, или на лицо страшный.

15 Отмечено нами у русских ленинградских цыган (*rúpytchē* ‘гад’ [5]) и у цыган-сибиряков (*rúpytchē* ‘прозвище цыгана, простак’ [1]; *rópytchо* ‘безмозглый человек’ – информантом связывается с диалектом вильнюсских цыган [6]). Ср. в цыганской художественной литературе: *rupuchу* ‘гад’ (Клейн 2010: 30, 33).

16 В описываемом говоре употребляется форма *хасýн* ‘тибель’ (*Xasýn da чýса, na kaméл nisó tэ kэрэл*. ‘Беда с этой девушкой, не хочет ничего делать’), ср. *хасибэн* ‘то же’ [5] и *хась* ‘то же’ (Сергиевский, Баранников 1938: 142). Напротив, отмеченное нами в рукописи поэта и музыканта А. А. Панкова (1899-1988), происходившего из перебравшихся в Санкт-Петербург новгородских цыган, слово *чямýн* ‘щека’ (*Прэ чямýн ясвиń пэй*. ‘На щеку слеза упала’ (Панков 1970-е: 3) – ср. *чям* ‘то же’ (Сергиевский, Баранников 1938: 148) – из современного обихода вытеснено адаптированным русским словом *щёка*.

Среди равнозначных синонимов слова *гаджё* (*гаджӣ*) ‘нецыган(ка)’ информантки называют *бузнó* (*бузны*) ‘козёл, коза’, *халó* (*халы*)¹⁷ ‘нецыган(ка)’ и *буró*¹⁸ (*бури*) ‘то же’ (*Бурий явъя, тэ пхадёл лáкири мэн!* ‘Нецыганка пришла, сломись её шея!’). Последнее слово Михайлова переняла от вырицкой родни, а его этимологию она связывает с широко распространённым понятием *бúро гаджё* (*гаджӣ*) ‘неотёсанн(ый/ая) нецыган(ка)’ (*нецыган, не понимающий цыганских обычаев; цыган, в котором нет ничего цыганского* [3, 4]).

К не описанной в печатных источниках лексике отнесем также глагол *облучкирэл* ‘облущить’ (ср. проклятие *Дэ хал о рув, дэ облучкир о мас!* ‘Пусть заест волк, облущит плоть!'); *кирнó* ‘гнилой’ в значении груб. руг. ‘покойник’ (например, *Тэ псилав (тэ псилэн) да кирнэскэ*¹⁹ ‘Сношать (пусть сношают) этого гнилого’) – ср. *кирнó манúш* ‘ненадёжный человек’ и *кирнэ масы́тко/ кирнэ масэ́нгиро(u)* ‘ленивый(ая), тяжелый(ая) на подъём’, букв. ‘гниломясый(ая)’ и др.

Для речи информанток характерна не описанная в источниках тенденция в безличных предложениях с модальным словом *чei* (*чеби, чебинэ*) ‘надо, нужно’ употреблять причастие, например: *чéби бичядó* ‘надо послать’, *чéи манглó* ‘надо попросить’, *чéи пхэнлó* (*чéби пхэнлó*) ‘надо сказать’, *чéи тырдó* ‘надо постоять’, *чéи бэштó* ‘надо сесть’, *лакэ чéи пасинó* ‘ей нужно прилечь/ поспать’; *адá чéи Зинáтыр пучнó* ‘это нужно у Зины спросить’; *чéи пэ лáтэ дыхнó* ‘Надо на неё посмотреть’.

Представителей рода *минянгирэ* исследователи цыганской этнографии и фольклора опрашивали и ранее. Так, вышеупомянутого деда Журавлёвой, сказочника Афанасия Егоровича Михайлова (1899-1983²⁰) по прозвищу *Фíна*

17 Информанты нередко связывают слово *халó* ‘нецыган, русский’ с «секретным» лексиконом, используемым в ситуациях, когда возникает подозрение, что кто-то из иноэтнического окружения владеет цыганским языком [4, 7]. Примером фраз с такой лексикой могут служить выражения *халó дандырла* ‘нецыган кусает’ [4], *халó сарó хал* ‘нецыган всё ест’ и *халó (гаджё) хál(a) кирál* ‘нецыган ест сметану (творог)’ [3], имеющие значение ‘нецыган понимает по-цыгански’. Ср. *дандырдó* ‘кусанный’ (нецыган) и *ёв хáла кирál* ‘он ест творог’ (понимает по-цыгански) (Фицовски 1950-е: 254-255). К «секретному» лексикону можно отнести выражение *не ромáнь* ‘не говори по-цыгански’ [3, 5], также употребляемое нашими информантками.

18 Ср. фрагмент неавторизованного стихотворения «Зачингирдя бришинд дрэ фэлда» (Застегал дождь в поле) в рукописи А. А. Панкова: «Янди дрэ гав пэскири семья, / О буры прилынэ ромэс» (Привез в деревню свою семью, / Нецыгане приняли цыгана).

19 Ср. руг. *Дáв трэ кирнэс* ‘Сношаю я твоего гнилого’ [2].

20 В июне 1983 г. А. Е. Михайлов трагически погиб, Журавлева сообщает: *Смардя машина лэс. <...> Амарэ чутъ гаджёс на умардэ. <...> Ёв сыс крепко ещё и поджибэлас бы. ‘Сбила машина его. <...> Наша чутъ <того> нецыгана не убили. <...> Он был крепкий еще и пожил бы’*.

(фото 2) приблизительно в 1981 году в пос. Большая Вишера Маловишерского р-на Новгородской области посещали публицисты Е. А. Друц и А. Н. Гесслер²¹. Двоюродную сестру информантки Галину Лобанову, проживающую в пос. Вырица Гатчинского р-на Ленинградской обл., на рубеже 1990-х – 2000-х гг. опрашивала О. А. Абраменко. Об этом опыте сестры Журавлёва узнала от автора настоящей статьи, когда в архиве информантки нами была обнаружена копия фотографии, фрагмент которой размещён в книге О. А. Абраменко (на первой странице вкладки с иллюстрациями). Информантка уточняет, что в книге фото прокомментировано неверно: на нём не Г. Лобанова, а (справа налево) её мать Антонина Михайлова со своей сестрой Тамарой. Фото сделано в 1968 г. в г. Боровичи Новгородской области. На заднем плане – мать Е. В. Журавлёвой Зинаида Антоновна Михайлова (см. фото 1).

Кроме того, с помощью Е. В. Журавлёвой и З. П. Михайловой нам удалось дополнить специфические личные данные ряда других информантов Абраменко, Друца и Гесслера, с которыми их связывает личное знакомство или родство. В частности, покойную свекровь своей двоюродной сестры А. М. Лобанову, см. (Друц, Гесслер 1987: 355-357, 359-361; Абраменко 2006: 202-205, 214-215), Журавлёва относит к роду *москвич* (*москвичёнгирэ*). В. И. Николаеву (Друц, Гесслер 1987: 362, 363) по прозвищу *Копря* информантки связывают с патрилинейной группой *кантанисты*²² (...ада рома кантанисты сы дасавэ, и онэ джизэнэ дэ Бари Вишера, ёй джибы. ‘...это цыгане-кантонисты есть такие, и они живут в Большой Вишере, она жива’; *Копря, на джином кон сы, палэ ром сыс пал Нятюстэ, ром кантанистэнгиро*. ‘Копря, не знаю, кто, замужем была за Нятю, цыган из кантонистов’). Жительнице пос. Большая Вишера Любу Серафимович (Золотые мониста 1992: 486) Михайлова причисляет к белорусским цыганам-беженцам.

На А. Е. Михайлова, как на своего информанта, Друц и Гесслер указали в примечаниях к десяти сказкам (Друц, Гесслер 1987: 355-357, 359-360, 362), высоко оценивая его знание фольклора и талант рассказчика (Друц, Гесслер 1990: 130-131). То же вспоминает о нём и внучка (...а ракирлас ёв беспобеднэс²³. ‘...а говорил он беспобедно’). Однако следует учесть, что по публикациям этих авторов судить о сюжете или художественных особенностях цыганских фольклорных текстов невозможно, так как сказки, в том числе записанные другими собира-

21 В публикациях Друца и Гесслера информант ошибочно указан Афиногеном (Друц, Гесслер 1982: 52; Друц, Гесслер 1990: 130-131).

22 Происхождение прозвища установить не удалось, однако отметим, что различные энциклопедические издания указывают на то, что в кантонисты брали и цыган (Еврейская энциклопедия: 242).

23 Информантка использует слово *беспобеднэс* ‘беспобедно’ в значении «бесподобно».

телями, Друц и Гесслер издавали исключительно в собственном вольном литературном переложении на русский язык (*...и на галёса, со ада папускирэ...* ‘...и не угадаешь, что это дедушкины <сказки>...’). В связи с этим у фольклористов имеются серьёзные претензии к качеству материалов их сборников (см. Азбелев 1987: 200-205; Азбелев 1988: 245-247), и сомнения по поводу достоверности ряда текстов (см. Махотина 2012: 109-112). Критические отзывы С. Н. Азбелева не получили широкой известности, поэтому материалы Друца и Гесслера иногда комментируются фольклористами, см. (Копылова 2003).

К сожалению, от наших информанток вновь зафиксировать изданные Друцем и Гесслером сказки А. Е. Михайлова²⁴ не удалось. Однако с репертуаром деда Журавлёва связывает публикуемое ниже небольшое семейное предание (текст 1), описывающее эпизод из жизни «легендарного» предка информанток и отражающее представления русских цыган о гордости и удали цыганского барышника²⁵. Текст заметно перекликается с финалом сказки «Как цыганский купец с богатым купцом поссорился», записанной от Михайлова: «Исхлестал цыганский купец бумажником, полным денег, богатого купца...» (Друц, Гесслер 1987: 336). Не исключено, что в основу своей развернутой литературной версии писатели-этнографы положили вариант именно этого предания.

Помимо него, в настоящую публикацию включены: анекдот о сватовстве (в двух вариантах²⁶), две былички и бытовой рассказ о детстве матери Журавлёвой. Тексты представляют интерес не только для фольклористических, но и для этнопсихологических, этнокультурных, сравнительно-культурологических, лингвистических и других исследований. В текстах нашли отражение такие этнокультурные реалии, как конная торговля (текст 1), сватовство (текст 2), зимний постой и застольный этикет (текст 5) и т. д.

Текст 2 отсылает к свадебной обрядности русских цыган, а именно к мо-

24 Е. В. Журавлёва сообщает, что её брат также записывал рассказы А. Е. Михайлова на магнитофон, но эти пленки были утрачены при пожаре.

25 Подобные семейные рассказы встречаются в цыганской мемуаристике. Ср. эпизод в неопубликованном очерке Л. Н. Панковой: «Память предков донесла до нас имя (вернее, прозванье) торговца конями Крёмы и трёх его сыновей — лихих коноқрадов — Кólко, Кувáри и Стрámку («они, случалось, кхиями <кхий — палка, прим. Л. Н. Панковой> выбивали селенья»). От прадедов дошло до нас также предание о сыне Стрámку — Иване. „Ванюша Стамкúскиро чявó” (то есть сын Страмку, дожил до ста с лишним лет, сохранив богатырскую силу). Раз на мосту через Волхов он повстречался с бойцом-татарином; тот захотел померяться с ним силой. Иван отказался, ссылаясь на возраст. Но когда татарин задел его за больной чирей, рассвирепевший старик так прижал его к перилам, что из того „и дух вон”. И сбросил труп в воду» (Панкова 2008: 3).

26 Варианты зафиксированы с разницей в год, второй текст получен по недоразумению: информантка забыла, что уже сообщала этот анекдот.

менту говора, когда, получив согласие на брак, отец жениха дает отцу невесты слово старшего мужчины в доме, принимая на себя ответственность за соблюдение договора (Абраменко 2006: 36). В данном случае комизм ситуации заключается в невозможности отказаться от женитьбы на девушке, внешность которой рискует не оправдать надежд жениха.

Тексты быличек поддаются классификации, принятой в русской фольклористике (чёрт боится креста и ругани (Гордеева 1991)). В быличке Журавлёвой (текст 3) различные сверхъестественные силы водят, а затем наказывают человека за нарушенную клятву. Ключевая фраза в finale (*Ай, Дэвлушка, уж и пошутить туса нашты!* ‘Ай, Боженька, уж и пошутить с тобой нельзя!’) ощущимо сближает быличку с анекдотом. Быличка Михайловой (текст 4) о чёрте иллюстрирует веру русских цыган в силу слов и традицию табуирования в речи всего, что связано со смертью, болезнью и представлениями о тёмных сверхъестественных силах²⁷. К примеру, слово *бэнг* ‘чёрт’ русские цыгане в устной речи стараются заменять эвфемизмами или «нейтрализуют» его ожидаемое действие с помощью отговоров (*Мэ кокори тыкны сомас и дыхтём, сыр э дай гадя хохавэлас. Ёй кэрдя видо, со дэ труба чурдя ловэ, <...> дэ бов, типа бэнгэнгэ. Свят, свят, свят!* ‘Я сама маленькая была и видела, как мать нецыганку обманывала. Она делала вид, что в трубу бросила деньги, <...> в печь, типа чертям. Свят, свят, свят!’). К примеру, эвфемизмом, а затем и полноценным синонимом слова *бэнг* стало слово *шиңг* ‘рог’. В Твери до недавнего времени в качестве эвфемизма использовалось слово *шиңдык/шэндык/шэндыко* [2, 4] (вероятно, искажённое *шиңгытко* ‘рогатый’). Ныне информанты подтверждают существование табу на произнесение и этого слова (<Он> всегда появляется рядом, <когда произносишь это слово>, надо тут же перекреститься [2]).

Быличка З. П. Михайловой (текст 4) – исполнительская самозапись, в которой ощущается определённая степень «осознанного авторства» (Стеблин-Каменский 1984: 143-144) или даже подражание книжной сказочной традиции (например, в обращении исполнительницы к несуществующей публике: *мэ роспхэнаша тумэнгэ парамица* ‘я расскажу вам сказку’, Чачё, ромалэ... ‘Верно, цыгане...’).

Как уже говорилось, публикуемые тексты представляют собой спонтанные письменные сообщения, не подвергавшиеся стилистической правке и достаточно близкие к устной речи информанта. Тексты 1 и 5 публикуются вместе

27 Позднее информантка уточнила: *О Вондря сыс кák мирэ папúскэ Финáскэ... сыс Степáн Михáлыч, Андрéй Михáлыч, Егор Михáлыч – ёв дáд мирэ папúскэ – и Ксéния Михáльна – ёй дáй мирэ dáкири! Мирí дáй и мирó пáну сыс двою́родна мéжду пóстэ... представь пóскэ!* ‘Вондря был дядя моему деду Фине... был Степан Михайлович, Андрей Михайлович, Егор Михайлович – он отец моему деду – и Ксения Михайловна – она мать моей матери! Моя мать и мой дед были двоюродные между собой... представь себе!’

с фрагментами включавших их диалогов информантки с собирателем. Реплики собирателя даны в угловых скобках.

Следует отметить, что информантки не знакомы с принципами орфографии, разработанной для СРД, поэтому перед нами практически фонетическая фиксация, специфика которой обусловлена влиянием русской орфографии (в частности, в смещении *e* и *ё* и правописании йотированных гласных и *ы* после шипящих). Следствием языковой интерференции можно считать выбор информантки между написанием *шё/ше* (э *дакэ* *сыс шев бэрши* ‘матери было шесть лет’) и *шо*, который определяется не произношением, а неразличением *шё/ше* и *шо* в русском языке (ср. *шов* и *шёлк*) и большей частотностью *шё/ше* в русской письменной речи.

Среди особенностей письменной речи информантов можно также отметить вариантное написание частицы *тэ* (*тэ/ðэ*) и слова *екх* (*ех/екх*), слитное написание частиц *тэ* и *на* с глаголами.

Редакция публикуемых текстов коснулась пунктуации, слитного написания глаголов с частицами, смещения *e* и *ё*. Перевод – наш.

1.

...мэ взрипирдём ех легенда пал пэскире
пррапустэ, миро папу роспхэндя.

<...>

Сыс дасаво, Вондрия лэс кхарнас. А сыс ёв
барвало древан, бахтало мануш, грэнца парувэ-
лас, лаче ловз дэ придача ещё лэлас.

И акэ гэя ёв прэ тарго. А дой гаджэ купцы
джана, шарнапэ барвальпнаса, со саро скинэна.

Вондрия грэн бикнэла, тэрдо, ех подгэя и ра-
кирла: «За что продашь, цыган, коня?»

Ёв пхэндя тимин, а дава гаджё и ракирла:
«Да ты знаешь, цыган, что за эту цену я и тебя
куплю, и весь твой табор?» И кошелько дорэстя,
ловэнца шарлапэ. Вондрия схолясья и ракирла:
«Да что мне твой кошелек показываешь? По-
пробуй мой кошелек!» И сыр дыя совнакунэнца
ловэнца гаджэс перо нах, и рат мэкти!

<...>

<И. М.: И ёв сыс тро папускиро дад?>

<...>

Вондрия сыс мирэ папускэ как²⁸.

...я вспомнила одну легенду о своем пра-
дурке, мой дед рассказал.

<...>

Был такой, Вондрия его звали. А был он бо-
гатый очень, удачливый человек, коней менял,
хорошие деньги в придачу ещё брал.

И вот поехал он на рынок. А там нецыгане
купцы ходят, хвалятся богатством, что всё скупят.

Вондрия коней продаёт, стоит, один подходит
и говорит: «За что продашь, цыган, коня?»

Он сказал цену, а этот нецыган и говорит:
«Да ты знаешь, цыган, что за эту цену я и тебя
куплю, и весь твой табор?» И кошелёк достал,
денегами хвалится. Вондрия разозлился и гово-
рит: «Да что мне твой кошелек показываешь?
Попробуй мой кошелек!» И как дал золотыми
денегами нецыгана по носу, и кровь пустил!

<...>

<И. М.: И он был твоего деда отец?>

<...>

Вондрия был моему деду дядя.

28 Так в оригинальной записи; очевидно, тут слияние *кэ адава* в *к' адава*.

2. Вариант а).

Ещё исы ех типа сказка!

Джиндя ех ром, а сыс кало, сыр вангар, нэ баахтало прэ делы. Лэстэ сыс чай, нэ на сыкавэласла никонэскэ, а молва гэя, со, значит, раны ёй беспобедно... Нэ вот, закамья ла тэ лэл ех чаво и уракирдя адэс и да дэ джан дэ зракирэн пал лэстэ ла ада ромэстыр... Нэ акэ явнэ онэ кэ ром дава, бэштэ, ракирна, хана, пьена... Ракирла о дад чавэскиро: «Шундям амэ, со чай тутэ сы, амэ камас пал амарэ чавэстэ ла. Сыр бы подыкхас?!» А ёв ракирла: «Дэ бэшэл покамист дэ шатра ёй...» Нэ обракирдэ саро, сыр положено, лав дынэ... Нэ и пучена: «Кай же чай тыри дэ подыкхас амэнгэ, раны, ракирна?!» А ром и ракирла: «Да ёй раны бесподобно – сари дэ мандэ!» Схасинэ рома, да делать нечего, лав палэ на лэса!

<...>

«И. М.: А со дурэдьр палэ чятэ?

Саро?>

Ляя да чаво ча! Нэ, ёй же барвалы сыс.

Ещё есть одна типа сказка!

Жил один цыган, а был черный, как уголь, но удачливый в делах. У него была дочка, но не показывал ее никому, а молва шла, что, значит, барыня она беспобедная... Ну вот, захотел ее взять [замуж] один парень и уговорил отца и мать идти говорить за него ее у этого цыгана... Ну вот пришли они к цыгану тому, сидят, разговаривают, едят, пьют... Говорит отец парня: «Слыхали мы, что дочь у тебя есть, мы хотим за нашего парня ее. Как бы посмотреть?!» А он говорит: «Пусть сидит пока в шатре она...» Ну обговорили всё, как положено, слово дали... Ну и спрашивают: «Где же дочку твою посмотреть нам, барыня, говорят?!» А цыган и говорит: «Да она барыня бесподобная – вся в меня!» Пропали цыгане, да делать нечего, слово назад не возьмешь! <...>

«И. М.: А что дальше про девушку?

Всё?>

Взял этот парень девушку! Ну, она же богатая была.

2. Вариант б).

Ех ром джиндя, сыс ёв кало сыр вангар, нэ удачливо по делы, и саро лэстэ сыс барвалыпэ... Сыс лэстэ чай, нэ никонэскэ ла на сыкавэлас, а ракирлас, со раны ёй беспобедно.

Прощундлэ рома и закамлэ женить чавэс. Акэ явнэ онэ ка²⁸ дава ром дэ сваты, прильяя лэн ром барвалэс, миштэс. Акэ бэштэ онэ, хана-пьена, нэ и залыджинэ лава пал сватанье. Обракирдэ саро, ромэскэ чаво понравился... А э ча о ром дэ шатра рикирла – на мээла дэ скамин... Нэ, о рома камэн тэ дыкхэн э ча – саро же обракирдэ, а ча на дыхнэ...

— А со тыри чай на выджалы? Ладжала?
Гожо, амэ шундям, древан ёй?

А ром и ракирла: «Раны мири чай, нэ акэ сыр мэ»!

Один цыган жил, был он чёрный, как уголь, но удачлив в делах, и всё у него было богатство... Была у него дочь, но никому её не показывал, а говорил, что барыня она беспобедная.

Прослышили цыгане и захотели женить сына. Вот пришли они к этому цыгану в сваты, принял их цыган богато, хорошо. Вот сидят они, едят-пьют, ну и завели разговор про сватанье. Оговорили всё, цыгану парень понравился... А дочку цыган в шатре держит – не пускает за стол. Ну, цыгане хотят посмотреть девушку, всё же обговорили, а девушку не видели.

— А что твоя дочка не выходит? Стыдится?
Красивая, мы слышали, очень она?

А цыган и говорит: «Барыня – моя дочка, ну вот как я!»

3.

Ех хом киндя грэс и пробирался кэ пэскри семья. И акэ пригэя лэскэ дэ ех гав дэ ратькирэл. Помангдипэ ёв дэ кхэр кэ барвало гаджё, лэс мэклэ.

Акэ ёв хая, пия, и дэ пасёл лэс чудэ. Сарэ угомонились кэ рат, а на пасёлраШ ромэскэ, и дыкхэл ёв, со пашло кошелько барэ ловэнца и думинз, акэ мэ барвальём кай. Чёрдя, и дэ прастал уклисто пэ грэстэ...

И залыджия лэс о грай кэ кладбище, страхатыр мэя бэдэ ром. Сыр на джала грай, а са ех дорик же авэла. И замангдя ёв Дэвлэс, со никогда ёв на чёрла нисо, токи вылыджа лэскро шэро, Дэвлоро... Нэ, дякэ и скердя о Дэвлэл, лэс вылыджия...

Акэ ром обрадындишпэ, гиля забагандя, уже и семья сыгэс удыххэла... Нэ пэ дром удыхтя ёв совнак пашло... Ром подыхтия, со никон на дыкхэл и ляя, пэскэ палэ брэх чудя... И вдруг ёв оказался опять пэ кладбище... Нисыр лэскэ дэ на выджал дотыр... Полыя ром, со совэл на зрикирдя и ракирда Дэвлэскэ: «Ай, Дэвлушка, уж и пошутить туса нашты!»

4.

Акэ ракирна, со дасаво нанэ... со дава саро хохашиб...

А мэ роспхэнава тумэнгэ парамица, со исыс по чачипэн.

Биби мири тэ роспэнэлас, сыр онэ дэ шил о еглицы чёрзенас.

Ехвар дэ зима шилалы скэдынэнпэ до вэш дэ традэс чая тэ чавэ и лэнса мири биби. О Нэво Бэрш по нах, о ловорэ чебиндя до васт тэ рэсэн.

А мирэ какэскэ джиндя о бутярно, и пал дова, со сыс ёв проворно тэ мэндро, прокхардя о как лэс «Бэнг».

Чачё, ромалэ, нанэ шукар адякэ тэ кхарэс манушэс, нэ кадякэ скэрдяшпэ...

Акэ чавэ запрягли грэс, скэдынэнпэ дэ традэн и о как пхэнэлас:

— Тэрдён, тэ джял о Бэнг тумэнса!

Нэ и бичадя ёв лэн...

Один цыган купил коня и пробирался к своей семье. И вот пришлось ему в одной деревне ночевать. Попросился он в дом к богатому нецыгану, его пустили.

Вот он поел, попил, и спать его положили. Все угомонились ночью, а не спится цыгану, и видит он, что лежит кошелек с большими деньгами, и думает, вот я разбогател где. Украл, и бежать верхом на коне...

И занёс его конь на кладбище, со страху умер бедный цыган. Как ни пойдет конь, а всё равно там же оказывается. И замолил он Бога, что никогда он не украдет ничего, только вынеси его голову, Боженька... Ну, так и сделал Бог, его вывел...

Вот цыган обрадовался, песни запел, уже и семью скоро увидит... Но на дороге увидел он золото лежит... Цыган посмотрел, что никто не видит, и взял, себе за пазуху положил... И вдруг он оказался опять на кладбище... Никак ему не выйти оттуда... Понял цыган, что клятву не сдержал, и говорит Богу: «Ай, Боженька, уж и пошутить с тобой нельзя!»

Бот говорят, что такого нет... что это всё вранье...

А я расскажу вам сказку, что была по правде.

Тетка моя рассказывала, как они в холод елочки воровали.

Однажды зимой холодной собрались в лес ехать девушки и парни и с ними моя тетка. Новый год на носу, денежки понадобились заработать.

А у моего дяди жил работник, и за то, что был он проворный да хитрый, прозвал дядя его «Чёрт».

Верно, цыгане, нехорошо так звать человека, но так случилось...

Бот ребята запрягли коня, собирались ехать и дядя говорит:

— Стойте, пусть идет Чёрт с вами!

Ну и послал он их...

Традэла мро пшал... и на полэла... о грай мылоса саро обчудо, на джяла нисыр. Марла лэс чупниса, а ёв сыр бара тырдэла.

Нэ, сыр загодлэл мири биби:

— Зэрсэн урдэнстыр сыгэдэй!

Кошэн налачес, ада амэн о налачё рикирла.

Лынэ сарэ о страмы тэ счувэн, и от-мэкти...

Традынэ рома, перекрестившись, Дэвлорэса, Масхарьяса!

А саро пал дова, со до лава исы э зор, со саро, со на пхэнэса, могинэл тэ рисёл тукэ нашукир.

Как же бичадя лэнса пэскирэ бутярнэс, и кхардя дова лав... акэ лэнса и традыя чачуну бэнг.

Едет мой брат... и не понимает... конь весь в мыле, не идёт никак. Бьёт его кнутом, а он будто камни тянет.

Ну, как закричит моя тетка:

— Слезайте с телеги быстрой! Ругайте нечистого, это нас нечистый держит.

Стали все матом обкладывать, и <он> отпустил.

Поехали цыгане, перекрестившись, с Боженькой, с Богородицей!

А всё из-за того, что в словах есть сила, что всё, что ни скажешь, может вернуться тебе нехорошо.

Дядя же послал с ними своего работника, и назвал это слово... вот с ними и поехал настоящий черт.

5.

Мири дай сыс интересно мануш, с юмором, ропсхэнэлас, сыр джиндлэ.

Акэ их случай. Ёй бария дэ семья кэ пэскиро как, лакирэ дад и дай мэнэ, и онэ пшалорэса ачнэпэ, а старшо пхэн палэрём уже сыс, младшо грудно чаёри мэя, э да лэнгирия умардя грозаса дэ фолдла... И лэн ляя пхурором, э дакиро пшал... А лэстэ и пэскири семья бари сыс, э дакэ сыс шёв бэрш.

Акэ ёй сыс прокудно дасави. Сыр-да лодынэ онэ зимакиро ко гаджэ пэ кхэр, а дотэ тоже сыс чаворэ гаджэндэ.

Лэндэ сыс балыгчё, и онэ зачиндлэ лэс. Карадэ о хабэ, и бэштэ дэ хан семьяса сарэ, и гаджэнгэ выделили тоже.

Акэ бэштэ, хана, а раклоро загэя, и уса дыкхэла бокхалэ якхэнса. Нэ, мири дай тыкны бутыр на думиндя, ляя кокало, сдыхтия, со никон на дыкхэла, и ада раклорэскэ попэя прям дэ ях.

О как закоштяпэ и пучья, кон дава кэрдя, раклоро-то ровэла! Никон на дыхтия же, а на чеи дэ якха дэ дыкхэл.

<И. М. А состыр на чеи дэ якха тэ дыкхэл? Со, кэ тумэ дасави примета?>

Нэ сыр же? Коды хана, пъена, ада нашукар, со дэ якха задыкхэна.

<...> Амэн дякэ и воспитывали. Мэ даже тыкны сомас, и то ладжавас дэ путчав, со дэ хав камам, и кокори тэ лав!

Моя мать была интересным человеком, с юмором, рассказывала, как жили.

Вот один случай. Она выросла в семье у своего дяди, её отец и мать умерли, и они с братом остались, а старшая сестра замужем уже была, младшая грудная девочка умерла, мать их убило грозой в поле... И их взял старик-цыган, материн брат... А у него своя семья большая была, а матери было шесть лет.

Вот она была озорная такая. Как-то стояли они зимой у мужиков на дому, а там тоже были детишки у мужиков.

У них <у цыган> был поросенок, и они зарезали его. Приготовили еду, и сели есть с семьёй все, и мужикам выделили тоже.

Вот сидят, едят, а мальчик-нецыган зашел и всё смотрит голодными глазами. Ну, моя мать маленькая долго не думала, взяла кость, посмотрела, что никто не смотрит, и этому мальчику попала прямо в глаз.

Дядя заругался и спросил, кто это сделал, мальчик-то плачет! Никто не видел же, а не надо в глаза смотреть.

<И. М. А почему не надо в глаза смотреть?
Что, у вас такая примета?>

Ну, как же? Когда едят, пьют, это нехорошо, что в глаза заглядывают. <...> Нас так и воспитывали. Я даже маленькая была, и то стеснялась спросить, что есть хочу, и сама взять!



Фото 1. Русские цыганки из рода миняңгирэ Антонина Михайлова с сестрой Тамарой. На заднем плане — Зинаида Антоновна Михайлова. Г. Боровичи Новгородской обл., 1968 г. Фотография из архива информанток.

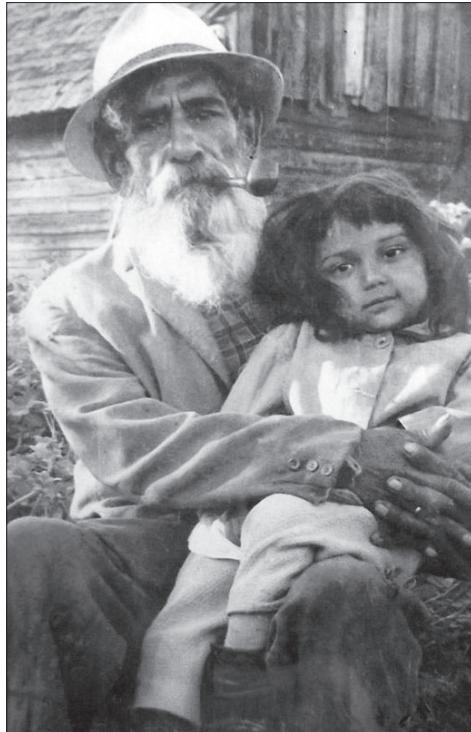


Фото 2. Е. В. Журавлёва (Михайлова) с дедом, цыганским сказочником Афанасием (Фйна) Егоровичем Михайловым, г. Боровичи Новгородской обл., 1970-е гг. Фотография из архива информанток.

Список информантов

1. Дубкова (Иванова) Мария Васильевна, около 1950 г. р., цыганка, замужем за русским цыганом из рода дубиньты, пос. Чуприяновка Калининского р-на Тверской обл. Родилась на Украине. Рано оширеотела и росла в общщине цыган-сибиряков, с которыми кочевала до 1956 или 1957 г. Школу закончила в г. Первоуральск Свердловской обл.
2. Вишнякова (Золотарёва) Нина Николаевна, 1948 г. р., русская цыганка из рода долбуны́ (долбунэнгирэ), Тверь.
3. Золотарёва (Дубкова) Наталья Александровна, 1968 г. р., русская цыганка из рода дубиньты, пос. Чу-

- прияновка Калининского р-на Тверской обл.
4. Золотарёва Римма Петровна, 1942 г. р., русская цыганки из рода *бычкы* (*бычкэнгирэ*), Тверь.
 5. Ибрагимова (Полякова) Графиня Владимировна, 1955 г. р., русская цыганка из семей Поляковых и Марцинкевичей (соотносит себя с родами *николаёнки*, *козлёнки*, *грибалёнки*, *шпагёнки*), Санкт-Петербург.
 6. Митрицкий Роман, 1983 г. р., цыган-сибиряк, Ростов-на-Дону.
 7. Панченко Януш Александрович, 1991 г. р., по линии отца принадлежит к территориальному подразделению *таврических сэрвов* (род *панченки*), по линии матери – к сэрвам (род *густэнкура*/ *густьянкура*) и кубанским влахам (род *бұдкура*), г. Каховка Херсонской обл., Украина.

Литература

- Абраменко, О. А. 2006. *Очерки языка и культуры цыган Северо-Запада России (русска и лотфитка рома)*. СПб.: Анима.
- Азбелев, С. Н. 1987. Анахронизм в практике фольклорных изданий. *Русская литература* 2: 200-205.
- Азбелев, С. Н. 1988. Фольклор надо издавать фольклористам. *Русская литература* 3: 245-247.
- Аnekdotы про рыбалку.* www.anekdotbest.ru/anekdot/ribalka/page1.html (05.01.15)
- Даль, В. И. 2001. *Толковый словарь живого великорусского языка*. В 4 тт. Т. 3-4: С-В. М.: ОЛМА-ПРЕСС.
- Деметер, Р. С. / Деметер, П. С. 1990. *Цыганско-русский и русско-цыганский словарь (кэлдэрарский диалект)*. Под ред. Л. Н. Черенкова. М.: Русский язык.
- Добровольский, В. Н. 1891. *Смоленский этнографический сборник*. Ч. I. Рассказы крестьян. Сказки. Былички. СПб.
- Друц, Е. А. / Гесслер, А. Н. 1982. Кочевые длиной в сотни лет. *Наука и религия* 10: 52-56.
- Друц, Е. А. / Гесслер, А. Н. 1987. *Сказки и песни цыган России*. М.: Правда.
- Друц, Е. А. / Гесслер, А. Н. 1990. *Цыгане: Очерки*. М.: Советский писатель.
- Гордеева, Н. А. 1991. *Указатель сюжетов быличек и бывальщин Омской области (1978/1984 гг.)*. [www.ruthenia.ru/folklore/gordeeva1.htm](http://ruthenia.ru/folklore/gordeeva1.htm) (05.01.15)
- Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем* // Под общей редакцией д-ра Л. Каценельсона и барона Д. Г. Гинцбурга. Т. 9. СПб.: Издание Общества для Научных Еврейских Изданий и Издательства Брокгауза-Эфрон, 1906-1913.
1992. *Золотые монисты: Сказки и песни цыган* / Перевод с цыган. Е. Друца, А. Гесслера и В. Савельева. М.: Современник.
- Ильинско, М. 1932. *Расциро подыпэ: Роспхэнъбэна*. М.; Л.: Художественная литература.
1980. *Кабардинские народные сказки*. М.: Детская литература.
- Клейн, А. Н. 2010. *Романэ байки. Цыганские сказки (белорусский диалект)*. СПб.: Анима.
- Копылова, Н. И. 2003. Поэтика «русских» цыганских сказок // *Наследие А. Н. Афанасьева и проблемы его изучения. Материалы межвузовской научной конференции к 175-летию со дня рождения*. Воронеж: Воронежский государственный университет.
folk.phil.vsu.ru/publ/sborniki/nasled_afanasiev2003/kopylova.pdf (05.01.15)

- Лаучюте, Ю. А. 1982. *Словарь балтизмов в славянских языках*. Л.: Наука.
- Махотина, И. Ю. 2012. Фиксация и изучение фольклора русских цыган в XIX-XXI веках. *Традиционная культура* 3: 108-119.
- Махотина, И. Ю. 2014. Современное состояние фольклора русских цыган Тверской области. *Славянская традиционная культура и современный мир*. Вып. 16. Мультифольклорное пространство Поволжья: Сборник научных статей. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора: 225-237.
- Панков, А. А. 1970-е. *Написанные песни Панковым А. А. от 1912 г. по 1970 г.* Ксерокопия авторизованной рукописи в архиве И. Ю. Махотиной.
- Панкова, Л. Н. 2008. *История одного цыганского рода на протяжении одиннадцати его колен в связи с проблемой включения цыган России в окружающее их общество*. Авторизованная рукопись в архиве И. Ю. Махотиной.
- Панков, Н. А. 1952. *Цыганский фольклор (Сказки. Песни. Пословицы. Обычаи. Нравы)*. М. Рукопись. Ксерокопия авторизованной рукописи в архиве И. Ю. Махотиной.
- Вирган, І. О. / Пилинська, М. М. 2000. *Російсько-український словник старих виразів*. Харків: Пропор.
- Сергиеевский, М. В. / Баранников, А. П. 1938. *Цыганско-русский словарь*. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей.
- СРНГ (1965-2011) Словарь русских народных говоров. Т. 1-43. М., Л., СПб.: Наука.
- Фицовски, Е. 1950-е. *Польские цыгане: историко-бытовые очерки*. Перевод с польского Я. С. Панковой. Машинопись. Копия в архиве И. Ю. Махотина.
- Linde, Samuel B. 1807-1814. *Slownik języka polskiego*. Т. 1-3. Warszawa.
- Sanarov, V. I. 1970. The Siberian Gypsies. *Journal of the Gypsy Lore Society*, Ser. 3, 49: 126-137.

Jek puśimos la istorijaka fonetikako la kēldēraricko śibaki: le vokalongē žutengi *e*: *ê* aj *i*: *î* distribucīja²

1 O puśimos

Kata jek rig, ê problema la polekraki le neve kēldēraricko vokalongi /*e*/ aj /*i*/ (fonetikaki transkripcīja: [ə], [i]) šaj diół nupr'a phari: von sī phangle le kontaktosa la ūmīnicko śibasa. Kata aver rig, la fonologijaki distribucīja kadale vokalongi ande ūmīnicko śib naj vorta jek-falo sar ande kēldēraricko. Ande k hram pa kada dela (Boretzky 1991; maj-angle: Boretzky 1994) hramol-pe kē, makar o pařuglimos **e* > *ê* aj **i* > *î* le kēldērar'a linesas-les kata-l ūmīnur'a aj nigērdesas-les ande peski śib, von "ći-dine gata" o pařuglimos aj anda koda, phenkē, ê distribucīja naj vuži.

O Borecko gīndil kē li-duj pařuglimata śutesas-pe ande ūromani śib le vorbenca kaj le ūrom line-le vunzile kata-l ūmīnur'a. Maj-angle, phenkē, sa kadala pařuglimata buhlile p-ēl purane (angla-jevropakē) vorbi, kada kē ê ūromani śib naj numa kē barvajli do neve fonemeca (/*e*/ aj /*i*/) kaj nas maj-anglal, ama vi, phenkē, la te-imitujil avr'a śiba-ka fonetikakē zakonur'a. Anda koda, phenkē, ê ūromani śib del-ame šajimos khē neve dikhlimasko pe la fonetikakē procēsur'a and-ēl śiba kaj sī ande lende bari intērferencīja. Sostar kada? Ka kada ideja nigērēl le Boreckos o faktō kē, sar vo gīndil, ê distribucīja /*e* : /*ê*/ našti phenel-pe mišto andrune ūromane zakononanca (makar la distribucījasa /*i* : /*î*/ pharimata naj).

Te-síkavas vorta pa soste sī vorba. Pa pařuglimos **i* > *î* o Borecko hramol kada: phenkē, o pařuglimos kērdol ande ūromani śib pala sa kadala konsonancī sar ande ūmīnicko: *s*, *z*, *š*, *ž*, *c*, *x*, *ř* (< **rr*). Apo: **sir* > *sîr*, **šing* > *śîng*, **řil* > *řîl* aj kada maj-infā. Kado ćačes diół sar vunzilimos anda-j ūmīnicko śib ande la fonologijaki sistema.

O pařuglimos **e* > *ê* sī aver dela. O Borecko del trin kondicīji kadale pařuglimaskē: (a) pala sa kadala konsonancī sar o pařuglimos **i* > *î*, te-dikhas: **šero* > *śêro*,

1 Najisiv la Je. K. Molčanovakē aj le S. Lašinoskē.

2 Kada buti kērdili le fondoskē «РГНФ» ažutimasa: granto №16-34-01044: «Изучение и описание влашских диалектов цыганского языка в России».

*zen > zēn, *koře > koře aj k.m.i.; (b) angla kadala konsonanci (trin vorbi): *veš > vēš, *beš > bēš, *peř > pēř, (c) pala velaro konsonanci: *kerav > kērav, *ger > gēr, *kher > khēr aj k.m.i. Sa kado kērdol and-ēl agora: *našel > našēl, *dikhel > dikhēl aj k.m.i.

O Borecko kērēl buti do subdijalektonenca. Ande jekh lendar maj-sî o pařugli-mos *e > ē and-ēl agora pala /r/, t.d. *merel > merēl, aj ande aver ē kombinacīja re ašel: merel. Vo gîndil kē ē fonema /ē/ buhlili kathe pa-j analogija aj kē o procēso naj regularo.

Êta, m' al kē kak distribucīja sî, ama ašel ēk pušimos: sostar mothol-pe mutēr, putēr, bêrš, têrno, ama perav, tover? O Borecko hramol: angla /r/ sî fluktuacīja aj ēi-jekh regularo zakono naj. Vo gîndil kē kado sî khē rezultato la intérferencijako, aj kē la fonologijaki teorija trubul pařugli kaste-lel sama kodo falo situacīja, kana le divintor'a korkořo či-žanen ēe fonema mothon ande sako konteksto³.

Ande kada hram kamav te-sikavav kē le Boreckoski ideja naj vorta aj te-thava-ma pala la tradicijaki fonologija.

2 Ēakanuni sinxrono distribucīja

And-o dijalekto kaj hramol pa leste o Borecko naj či-jekh sinxrono fonologijaki distribucīja maškar le vokařa /e/ : /ē/ and-ēl vorbi sar per : pēř; tover : putēr. Ande kadala vorbi o konsonanto zuralo lo, kē ande kado dijalekto naj kovle fonemi **/t/, **/p/ aj k.m.i. (Boretzky 1994: 21). Bušol kē kothe /e/ aj /ē/ sî čácune hulade fonemi.

Kasavi situacīja naj ande sa-l kēldēraricko dijalektur'a. Me akana kamav te-dikhav p-ēl dine anda kēldēraricko dijalekto anda-j Řusija (aj ē Ukrajina). Êta la fonologijaki sistema ande kodo dijalekto:

konsonanci							vokařa		
p	p'	t	t'	k	k'	c	i	î	u
ph	ph'	th		kh	(kh')		e	ê	o
b	b'	d	d'	g	g'			a	
m	m'	n	n'						
f	f		x	s	(s')	š	ś		
v	v'		ř	z	(z')	ž	ż		h
		l	l'						
		r	r'			j			

3 Vo hramol: "Thus the whole problem hinges on the uncertainties of phonetic realization rather than on the existence of shared or distinct environments. (It should be added here that the problem is inherent in our types of phoneme theory, since we postulate that all sounds found in an utterance must be assigned to phonemes unambiguously. In my opinion, this assumption is wrong, at least as far as ongoing sound change is concerned.)" (Boretzky 1991: 11).

Dikhas kē ande kodo dijalekto sî trin tipur'a konsonantongê⁴: (1) sadajek-zurale, (2) sadajek-kovle aj (3) žutune, kaj daštin te-aven zurale vor kovle. Le sadajek-zurale aj le sadajek-kovle konsonanci ĉek-data ĉi-nakhēn jekhavrênde and-êl formi jekha vorbakê. Te-dikhas: /š/ sî sadajek zuralo ande sa-l formi: *našāv, našēs, naš*, aj /š/ sî sadajek kovlo: *pušāv, pušēl, puš*. Le žutune konsonanci šaj aven zurale vor kovle, sar and-êl vorbi *ph'érdo* : *phērnō*. Makar šaj aven zurale vor kovle vi ande jekh vorba: *žanāv* (*n* angla *a*) : *žan'ēs* (*n'* angla *e*), von ĉi-kêrēn jekh fonema, ama duj, anda kodâ kē šaj aven ande jekhfalo konteksto: *phak* : *ph'an* (kata *ph'ej*).

Ande Ŕusîja aj ande Ukrajina sî trin šérune kēldēraricko subdijalektur'a. Le nêciji bušon: moldovâja, jonešti, gêrkur'a (pa moldovenicko subdijalekto dikh Oslon *avela-1*; pa joneštico dikh Деметер/Деметер 1990).

Sar sî distribujime lende amarê vokała? (Te-ašavas akana rigate o pušimos lenga polekrako.) Vušoro sî te-dikhas kē ĝe sinxrono distribucija le žutengi /i/ : /î/ aj /e/ : /ê/ ande akanuni Ŕusîcko kēldēraricko šib phangli la numa le konsonantonca.

Apo, ka-l jonešti ĝe sinxrono distribucija ande kombinacijâ CV sî kasavi:

konsonanci:	sadajek-zurale	žutune	sadajek-kovle
C=			
	š ž ū x c s z h		š ž ē j
	p ph b m f v	p' p'h b' m' f' v'	
	t d n l r	t'd'n'l'r'	
	kh k g	kh' k' g'	
vokala: V =	_ē, _ī		_e, _i

Kado bušol kē anda vudud la sinxronon'a fonologijako, naj problema le alomaski jekhê vor avrê vokalosko. Le fonemi /i/, /e/ šaj aven numa pala-l kovle, aj /î/, /ê/ numa pala-l zurale konsonanci: /tē/ : /tē/, /tī/ : /tī/ (aj naj **/tē/, **/tī/ aj k.m.i.).

Le huladimata maškar le trin subdijalektur'a sî kasave:

jonešti:		moldovaja:	
*ki, *gi, *khi	> k'i, g'i, kh'i	tī, dī, či	tī, dī, či
the	> cē	čē	čē (?)
*re	> rē	rē	rē

4 Maj-vorta sas-k-avel te-divinisardamas kathe pa "morfo(fo)nemi", ama kasave xurdimata ĉi-trubun-ame (maj-but: dikh Oslon *avela-1*: «Морфонология»).

5 And-êl klitiki aj vuni neve (vunžilime) vorbi šaj aven aj vi k'i, g'i.

Te-dikhas:

- **kinel* > jon. *k'inèl* : mold., gérk. *tinèl* (sa kađa: rum. **cheaia* → *k'àja* : *tàja*)
- **ginel* > jon. *g'inèl* : mold., gérk. *d'inèl*
- **khino* > jon. *kh'inò* : mold., gérk. *ćinò*

Bušol kē ka-l moldovaja aj ka-l gérkur'a ê fonema /kh/ kêrdili sadajek-zurali (manaj **/kh/). È fonema */th/ naj knanikaste: kêrdili vaj /c/ (sadajek-zurali) vaj /č/ (sadajek-kovli): **them* > jon. *cém* : mold., gérk. *ćém*

Akana haťaras kē ê problema kaj sî amengê te-putras-la naj and-êl vokaļa kor-kořo, aj numa and-êl konsonanci⁶.

3 O žuto i : ī

Sar vorta hramol o Borecko, kathe problemi naj. Pala-l sadajek-zurale konsonanci avel numa o vokalo ī, so sî naturalo. Pala sa aver konsonanci avel maj-but o vokalo *i*, ama sî vuni vorbi le vokalosa ī (and-o kvadrato ande tabela). Sa kasave vorbi sî avrê vorbengê varijanci nev'a polekraskê (sa ande naj-maladi [bi-akcēntoski] silaba). Ame, čačimasa, či-žanas sar vorta kêrdile kadala fakultativo (!) pařuglimata, ama sî haťardo kaj von naj phurê:

- pitrèl* ~ *putrèl*: nevi delabijalizacija (ama numa *mutrèl*)
- mîrō* ~ *muřō* (~ *munřō*): delabijalizacija phangli la kombinacijasa -unř- (?)
- pînřò* ~ *punřò*: sar o paluno
- bîstrèl* ~ *b'istrèl*: depalatalizacija (?) angla-j zurali kombinacija -str- (?)
- mîřav'él*: metateza vor kontaminacija řimav'él morél (?)
- brîšind* < **béršind* vaj **brêšind* angla ī; trubul te-phenas kē ê kontrastivo zor la fonemako /i/ bi akcēntosko sî détêt cigni; and-o řusicko dijalekto pharo sî te-phenes so j kado: *brîšind* vor *brêšind*; sajek kadala vorbasa problema ašel, kē sî dijalektur'a le vokalosa -i-: lovar., romungro (aj aver) *brisind*, ama krîm. *brešýn* aj gurb. *bršind* (silabako!)

Ande sa aver vorbi nakhli ê normalo êvolucija *i > ī pala-l sadajek-zurale konsonanci. Akana o pušimos sî: sar kêrdile kadala sadajek-zurale konsonanci? Sar hramol o Borecko, kađa situacija kêrdili ande but řumînicko dijalektur'a (Boretzki 1991: 5), kaâ sî

6 Maj-trubul te-phenas kē ê fonemi /s/, /z/ sî marginalo, te-dikhas, sî numa jekh vorba *s'a* (varijanto: *sa*) < **seja* < **saj+a* < (?) **sāui+ā* (sar *kadā* < **kadeja* < **kadaj+a* < **kādāui+ā*). Maj-oprê kadala fonemi nikéras sadajek-zurale, kē and-êl purane vorbi angla **e* vor **i* von naj.

řum. dijal. *sítă* < *sită*, *zíd* < *zid*, *băşică* < *băşică*, *jîr* < *jir* aj k.m.i. (Rosetti 1986: 625). Sa kađa kērēl o purano řumînicko konsonanto *rr* (Rosetti 1986: 480): rum. *ríd* < **rríd* (= dijal. *rríd*) < **rridu*. Ka-l kēldērar'a ê korespodencija sî /ř/. Jekh sadajek-zuralo purano řomano konsonanto kaj naj ka-l řumînur'a sî /x/⁷.

Te-dikhas maj-anglal o žuto *i* : ī. Éta o materijalo (numa purane vorbi):

pala zurale konsonanci:

C: V = ī

pala kovle konsonanci:

C: V = *i*

naj-žutune:

/š/	<i>brîšind, šil, šing ...</i>
/ž/	<i>vuzî</i>
/ř/	<i>řil, muři, řimav'ěl, čuřindel</i>
/x/	<i>xív, xînz ...</i>
/h/	
/c/	<i>avčin, cígnò, círdel ...</i>
/s/	<i>sîr, sîm, sîkavèl, sigo ...</i>
/z/	
/th/	

/š/	<i>šib</i>
/ž/	<i>ži</i>
/č/	<i>čikèn, čikât, čil, čik, čingär</i>
/j/	<i>xajìng</i>

žutune:

/k/		/k'/	<i>jon. k'irál, k'ilò, k'ídel ...</i>
/kh/		/kh'/	<i>jon. kh'inò</i>
/g/		/g'/	<i>jon. g'ilî, g'in'él ...</i>
/f/		/f'/	
/n/		/n'/	<i>žen'í, n'igérèl...</i>
/l/		/l'/	<i>kolín, lîl, lîk(h), lím, g'ilî ...</i>
/v/		/v'/	<i>asv'in, v'i ...</i>
/r/	<i>brîšind</i>	/r'/	<i>r'in, r'ig, šur'i, bar'i, avr'i ...</i>
/p/	<i>pînřo, pîtrèl</i>	/p'/	<i>p'ir'i, sp'ídel ...</i>
/ph/		/ph'/	<i>ph'ivlò, ph'irás</i>
/b/	<i>bîstrèl</i>	/b'/	<i>b'istrèl, b'ilàl, b'i ...</i>
/m/	<i>mîřò, mîřavèl</i>	/m'/	<i>m'ilâj, m'inz ..</i>
/t/		/t'/	<i>kušřík, pat'iv, daštîl ...</i>
/d/		/d'/	<i>dîv, dîkhlò, diz, avdîn ...</i>

7 Ande amaro "moldovenicko" subdijalekto pala /x/ sî fluktuacija: *xîv'icí* ~ *xiv'icí*. Ande jekh-duj vorbi sî /x/ angla /e/, t.-d. *burnix'ënca*. So j kado fenomeno, či-žanas vorta, ama diçol sar sémno le dujtune stratosko (maj-but: dikh Ослон *avela-1*: «Морфонология»). And-êl purane vorbi ê distribucija vuži la.

4 O žuto *e : ē*

Akana te-dikhas o žuto *e : ē* (numa angla-jevropakē vorbi):

pala zurale konconanci:
C: V = ē

pala kovle konconanci:
C: V = e

naj-žutune:

/š/	šēl, šērō, muršēs, bēršēs-, pašē...
/ž/	vužē
/ř/	phanřēs-, čořē, sávořē...
/x/	šaxēs-, solaxēn-...
/h/	hēr, hērūj
/c/	jon. kočē [<i><*kothe</i>], cēm [<i><*them</i>]
/s/	sērēl, desēs-...
/z/	zēn; b'ezēx, bozēs-...
/th/	

/š/	šēl, r'išēs, lašē, pušēl...
/ž/	ženō, gažē...
/ć/	ćer(h)an, khanćēs-, mold. koćē, ćem [<i><*-the-</i>]
/j/	jekh, šošožēs...

žutune:

/k/	kērkō, kērēl, žukēl, -kē...	/k'/	jon. k'ermō, k'ernō
/kh/	khēr, jakhēn-, khēlēl...	/kh'/	
/g/	gēr, r'igēn-, gēlō, mangēl; -gē...	/g'/	
/f/		/f/	(numa jevr.: <i>felī</i>)
/n/		/n'/	kanēs-, anēl, žanēl...
/l/		/l/	lēs, lēl, balē, khēlēs...
/v/	vēš, zēvēlī	/v'/	iv'ēnd, tov'ēr, av'ēr, lov'ē, av'ēl...
/r/	mold., jon. rēz, amarē, kērēs...	/r'/	gērk. r'ez (?), amar'ē, kēr'ēs...
/p/	pēr	/p'/	p'elō, p'exā...
/ph/	phērnō	/ph'/	ph'ej, ph'ērdō, ph'erēl...
/b/	berš, bērk	/b'/	b'eng, b'erānd, xab'ē, jon. g'ilāb'el...
/m/		/m'/	m'el, xum'ēr, mom'elī...
/t/	tērnō, tērdō, putēr, mutēr, bistēr	/t'/	tēlē, tē-, -tē, mold., gērk. termō, tērnō...
/d/		/d'/	des, dēl, -dē...

Apo, pala-l naj-žutune konsonanci, sar le žutesa /i/ : /î/, alomos naj (so sī trivijalo). Ama pala-l žutune ê distribucija sī kasavi:

- (a) pala-l velaro konsonanci – /ē/;
ankaladimata: jon. *k'ermò*, *k'ernò* (mold. > *t'ermò*, *t'ernò*);
- (b) pala *r – mold. aj jon. /ē/ : gērk. /e/;
- (c) pala *v – /e/;
ankadalimata: *vēš*, *zēvēlì*;
- (d) pala aver konsonanci – /e/;
ande kombinacija -ērC- – /ē/: *bērš*, *tērnò* aj aver;
ankadalimata: imperativur'a: *putēr*, *mutēr*, *bistēr*, ê vorba *pēr*.

Kada situacijā daštis te-phenas-la mišto anda vudud la dijaxronijako. Maj-anglal te-dikhas ê regularo êvolucija aj maj-infā le ankadalimata.

5 È regularo êvolucija

Sī amengê te-kēras khē cigni rekonstrukcija, kaste-dikhas sostar pala-l žutune konsonanci šaj avel vi /e/ vi /ē/.

A. And-ēk purani vr'am'a ande sa le silabi tiposkē *-erC- o vokalo xasajlo aj o sonanto kērdilo silabako: *-erC- > *-rC-:

**uarVša-* (pali *varisa-*, varijanto) > **barVš* > **berš* > **bṛ̥ś*
**uaraka-* <वरक> > **uarakk(h)a-* (?) > **barak(h)* > **berk(h)* > **bṛk(h)*⁸
phēṭa-*... (phēṇṭa*, T: 9107, s.v. **phēṭa-*) + ...+ -*aka* > **pherno* > **phṛno*
tárūṇa- <तरुण> > **tarn-* + -*aka* > **terno* > **trṇo*
káṭuka- <कटुक> > **karka-* (?) + ? > **kerko* > **kṛko*
? > **terdo* > **trđo*

Ama kothe, kaj ê silaba nas phandadi jekhē konsonantosa, o pařuglimos nas:

**ghara-* > **kher*; ? > **ger*; ? > **her*; ? > **berand*; **sVr-*... > **šero*
**karati* > **kerel*; **paṭati* > **perel*; *bhárati* <भरति> > **pherel*; *smarati* <स्मरति> > **serel*

8 Kathe ame das khē nevi étimologija: pur.-ind. *varaka-* <वरक> **ēk falo cala' (T: 11310 – m: 'cloak', n. 'cloth, cover of a boat', amari vorba *bērk* círdel-pe ka mižločino falo, kē lako butuno gin sī *bērkā*, dikh Olson 2012). Jekh šajimos sī kē o arakhlimos le konsonantsko -k- phanglo lo la redukcijasa (> **uarka*; vorta sar **kaṭuka-* > **karka-* 'kērko'?), aj o dujto sī kē, najis le akcēntoskē p-o agor (či-žanas o akcēnto ande kada vorba), kērdili geminacija (**uarakkā*), aj naj lenicija (***uaraha-*; aj vi ande *kérkō* sī kado šajimos). O Bubeniko hramol pa-l maškar-indicko šiba (prakritur'a): "The rule of lenition was blocked if the original accent was located on the following syllable" (Bubenik 1996: 57). Aj katar si ê aspiracija (ande vuni ūmane dijalektur'a: lov., ērlī, krīm. *brekh*)? Kathe šaj anas ê vorba *jekh* < **ēkkha* < pur.-ind. *ēkā-* <एका> (la geminacijasa aj la aspiracijasa).

B. Palatalizacīja: vuni konsonancī kovlile angla dopaš-vokalo *j*:

- **rz* > *r'*; **lj* > *l'*; **nj* > *n'*;
- **tj* > *t'*; **dj* > *d'*; **thj* > *th'*;
- **kj* > *k'*; **gj* > *g'*; **khj* > *kh'*

C. Dopaš-palatalizacīja: vuni konsonancī kovlile angla-l vokaļa *i* aj *e*, ama či-kēr-dile hulade fonemi; kado procēso sas numa fonetikako:

angla *i*:

- **ri* > [ri];
- **ki* > [ki]; **gi* > [gi], **khi* > [khi];
- **li* > [li], **ni* > [ni];
- **ti* > [ti]; **di* > [di], **thi* > [thi];
- **pi* > [pi]; **phi* > [phi]; **bi* > [bi]; **mi* > [mi]; **vi* > [vi] (aj **fi* > [fi]);

angla *e*:

- **re* > [re] (maškar le ūsicko kēldērar'a – numa le gērkur'a)
- **le* > [le], **ne* > [ne];
- **te* > [te]; **de* > [de], **the* > [the];
- **pe* > [pe]; **phe* > [phe]; **be* > [be]; **me* > [me] ; **vi* > [ye] (aj **fi* > [fe]);

D. Fonetikako pařuglimos le vokalon-go: pala-l zurale konsonancī (*s*, *z*, *š*, *ž*, *k*, *kh*, *g*, *r*, *ř*, *h*, *x*, *c*) aj ande la vorbako astarimos, ama naj pala-l (dopaš-)kovle:

- **e* > ē: **šel* > *šēl*; **zen* > *zēn*; **her* > *hēr*; **kher* > *khēr*, **keras* > *kērās*;
- **perel* > mold., jon. *p'erēl* : gērk. *p'erēl*, **ej* > ēj (varijanto *jej*);
- **i* > ī: **šil* > *šīl*; **vuži* > *vužīt̄*; **sir* > *sīr*; **řil* > *řīl*; **xiv* > *xīv*;

E. Pala kado xasavol la silabako **r* > ēr:

- **břš* > *bērš*, **třdo* > *tērdō* aj k.m.d.⁹

F. Ande ūsicko kēldērickerko šib: sa le dopaš-kovle kērđon kovle: *d* > *d'*, *y* > *v'* aj k.m.i.: akana sī jekh-f'alo /d/ ande vorba *del* (dopaš-kovlo) > *đel* sar *dēs* (kovlo) > *dēs*, ama ande la Jevropakē dialektur'a ašen le dopaš-kovle aj le refleksur'a hulade le, te-dikhas: *g'es* < *dēs* < **djes* aj *del* < *đel*.

Faj-ma kē akana phendām mišto sa le vorbi kaj nakhle ē regularo ēvolucīja. Akana te-dikhas maj-anglal le huladimata maškar amarē subdijalektur'a (-rē- vor -r'e-) aj pala kodo sa le ankalamidima.

⁹ Sas o konsonanto jek kata sadajek-kovle konsonancī – apo **r* > *er* (naj **ēr): sī-ame numa jek kasavi (ira-nicko) vorba *čřhan > čerhān.

6 O kontrasto *rē* : *r'e*

Sar dićol ande (C) maj-oprē, angla vokalo */e/ le velaro konsonanci aśile zurale ka sa-l ſuſicko kēldērar'a, aj o konsonanto /r/ kovlilo numa ka-l gērkur'a (mold., jon. *rēz*, *kērēs* : gērk. *r'ez*, *kēr'ēs*). Kado naj či-jekh analogija (sar kamel o Borecko), aj ēk regularo huladimos maškar subdijalektur'a.

Ama vi and-ēl subdijalektur'a kaj *re > rē sajek sî ſuſinicko vorbi la kombinacijasa *r'e*. Kada kombinacija avel and-ēl bangē formi le vorbengē le ſufiksosa -ar'i, te-dikhas *kēldērār'i*, but.bang. *kēldērār'en*. Sostar? Kado sî vušoro te-phenas mišto, kē maj-anglal sas *-arjen.

Ande ſuſicko kēldēraricko ſib (ande sa-l subdijalektur'a), and-ēl neve (ſuſinicko) vorbi sî vunivar li-duj varijanci: *vārē-so* ~ *vār'e-so*, *brē* ~ *br'e*. Kadala varijanci, faj-ma, ſaj cîrden-pe ka hulade ſuſinicko dijalektur'a.

7 Ankalandimata

7.1 *k'ermō*, *k'ernō*

Ande sa aver vorbi sî-ame -ērC-. Sostar naj ***kērmo*, ***kērno*? Kado sî kē kadala duj vorbi cîrden-pe naj ka *-erC-, aj ka *-irC-. Dikhas kado pa aver dijalektur'a (dikh Boretzky 2012: 158, 159), apo le proto-formi kam sas **kirmo* (← mašk-pers. *kirm*), **kirno* (naj ētimono¹⁰).

Ama sostar *k'irvō* aj naj ***k'ervo*? Ande kada vorba kērdilisas vare-savi redukcijsa: ***kirivo* > *kirvo* (dikh Boretzky 2012: 159). Kadala redukcijsakē kondiciji či-haſaras-len, ama žanas o ētimono o iranicko (kurd. *kirîv* 'kirivo').

Sî kado sa vorta, buſol kē ē xronologija kasavi la:

- (1) *erC-* > *-rC-; (2) *-irC- > -erC-; (3) *-iriC- > -irC-.

7.2 *ph'èrdo*

Le participur'a tiposkê **pherdo* naj-len and-ēl akanune dijalektur'a refleksa kata ſi-labako *r, kē von naj purane: von laſarde le anda prezento le verbosko (*pheràv*). Sa

¹⁰ O Borecko (2012: 57) hramol pur.-ind. **kīrn-*, ama kado naj vorta, kē sas-kē-del ***kin-*.

kasave sî le particîpur'a *kerdo > kêld. *kêrdò*, *serdo > kêld. *sêrdò*, kaj akana lende kodo ĉi-diçol, sî-len /e/ ande ūdećina kaj ĉi-cîrdel-pe ka silabako *r (aj kêrdilo najis le konsonantoskê)¹¹.

7.3 *putèr, mutèr, bistèr*

Le verbur'a *putrèl, mutrèl* aj *bistrèl* (~ *bîstrèl*) sî-len -Cr- and-o prezento aj -Cêr- and-o imperativo, particîpo aj preterito: *bistèr, bistêrdò, bistêrdà* aj k.m.i. O prezento sî regularo:

<i>vi + smarati</i>	> *bi-sarað	> *bisrel	> *bistrel	(mold., jon. <i>bistrèl</i>)
*mutr-...	> *muttVr (?)		> *mutrel	(mold., jon. <i>mutrèl</i>)
?	> *puttVr (?)		> *putrel	(mold., jon. <i>putrèl</i>)

Le particîpur'a sî analogijakê – ê baza + *-t- > -d-: *bi-str + d-o = *bistrdo aj k.m.i. Kathe la silabako -CrC- sî sajek sar -CrV- and-o prezento. Sa kađa and-o imperativo: *bistr. Kathe ĉek-data nas ê kombinacîja **-ter-, kađa kê la fonetikasa kathe naj problemi.

7.4 *pêr*

Kađa vorba cîrdel-pe ka varê-savi *petta-, aj pe kak stadija sas *perr. Kathe sî-ame ê kombinacîja -erC- kaj, sar phendam, del la silabakê -rC-, kađa kê *perr > *prr > kêld. *pêrr > pêr. Apo kađa vorba naj ĉaço ankaladimos.

7.5 *vêš, zêvêlì* aj ê polekra le konsonantoski /v/

Numa ande duj vorbi vêš aj zêvêlì sî /vê/ aj naj /v'e/. Te-haťaras kado, trubul te-žanas katar avel o konsonanto /v/ and-êl akanune ūromane dijalektur'a (and-êl indicko vorbi) – maškar duj vokaľa:

*m	
hima- <हिम> > iv; hemantá- <हेमन्त> > *heβand	> kêld. iyênd
kômalá- <कोमल> + -aka > *koβalo	> kovlò
*karâmi > *karâβ	> kêld. kérav (1.jek.)

11 Naj numa kê ĉi-cîrdene pe ka-l pur.-ind. particîpur'a (te-cîrdino-pe o particîpo *kérdo* ka pur.-ind. *kṛta-*, sas-k-avel ***kilo*), ama ĉi ka-j pur.-ūromaji vr'am'a (te-avilino o particîpo *pherdo* phuro, apo and-êl akanune kêld. dijalektur'a sas-k-avel ***phérdo*). Vuni sîfarde ĉi-dikhle kađa dela, te-dikhas Matras (2000: 39).

**p*

śapátha- <शप्थ> > soyèl; ápara- <अंपर> > ayèr
gupháti <गुफति> > *khuβati > khuyèl (T: 4205), *supati > soyèl (T: 13092)
āpayati <आपयति> > ayèl (T: 1200), *dārā-paja-ti > darayèl (Bubenik 1996: 121)

**u*, **h*, **k*, **g*, **b(h)* > **u*

ašel angla *ā:

*uādrV-bhāuāmi > *bāri-uōuāβ > kēld. bar'uvāv

ašel angla le agorēsko *a- > Ø:

júka- <यूक> > *juua > kēld. žuv

uiuāhá- <विवाह> > *bijāua > bijav (kēld. ab'āv)

perēl angla *a > e:

*uādrV-bhāuati > *bāri-uōuāδ > *bāriouel > bar'òl

*deuata- > *deuað > *deuel > *deel > kēld. del (ama ... > *deueles > *deules > devlēs)
diuasá- <दिवस> > *diuas > *diues > *diès > *dīes > kēld. d'es (ande but dijal.: g'es)

Apo dikhas kē ĝi kombinacijā *ue and-o maškar la vorbako ĉek-data ĉi-del ĝi akanuni kombinacijā **ye. Voj sadajek cîrdel-pe ka *βe < *mV, *pV. Ama sī vorbi kaj -ye sī restitujime la analogijasa, te-dikhas:

lōhá- <लोह> > *lou (?) + -aka > lovò; but. *loue > *lo (bimukli forma) => loyè (sar lovò)
náua- <नव> > *neu (?) + -aka > nevò; but. *neue > *ne (bimukli forma) => neyè (sar nevò)

Aj ande la vorbako astarimos sadajek *u-* > *b-:*

uātī <वाटी> > *bātī > bar; *uarVša- > *barVš > kēld. bērš, urtti- <वृत्ति> > *butti- + *-ka > buti

Êta, kana le proto-řom sas and-o kontakto le iranickone šibenca, lende ande la vorbako astarimos sas numa *b-. Aj atunči von line vunzile anda-j maškar-persicko šib ĝi vorba *ueš [wēš] (kaj sikkadol and-ēl tekstur'a le sufiksosa -a(g), transkribuji-me wēšag ande Mackenzie 1986: 90). Pala kodo ka-l řom and-o maškar la vorbako nakhle le pauglimata *-βa- > *-βe- > -ve- (kēld. ye), aj ĝi phuri kombinacijā *-ua- (> *ue-) xasajli vor pīcīsard'a khē redukcijsa: *deuað > *deel > del; *deuadas > *deules¹² > kēld. devlēs.

12 Ĉi-žanas ĝi xronologija kadale pauglimaski, ama gindisaras kē ande vr'am'a le kontaktoski le personca maj-sas varjanci: *deuð ~ *douð (?) > del ~ dol (ka-l gurbetur'a). O reflekso devél (ande but dijal.) kam-avel analogijako. Sar te-na-avela, ka-l kēlderar'a kado reflekso naj, kada kē ĉi-žanas so sas-kē-del: **deyel vor **devél.

Apo šaj phenas kē le proto-řom avile ande Jevropa do fonemanca */β/ (> kēld. /v/ aj /v'/) aj */w/ (> kēld. /v/, numa zurali). Anda koda sī-ame akana kēld. vēš (naj **yes), aj ande vuni dijalektur'a *weš > *woš > voš (ka-l lovar'a aj ka vuni kēldērar'a, dikh Boretzky 1994: 294).

È vorba kēld. zēvēlì (rus.-řom. дзэвэлъ 'anřē prêžome') avili anda-j armenicko šib, laki řomani proto-forma šaj hramol-pe kada: *zeweli (← či-žanas vorta anda cé vorba, ama sī mašk.-arm. զւ <ΔN1>, gen. *զւ(վ)ի <ΔN1h>, զւի <ΔU1h> 'anřo').

Aver vunzilimata, kaj ande lende sas (mašk.-pers.?) -b-, šute-pe ande proto-řomani sistema la fonemasa */β/, te-dikhas:

*tVbar (nevi-pers. tabar <تبار>) → *toþbar > kēld. toyèr
 āsyāb (nevi-pers. vsyvb <اسیاب>) → *āsiāb > kēld. asàv (ê bangi forma: asayès-)

7.6 Aver pharê vorbi

Ka-l řusicko kēldērar'a sī jekh řomani (phurikani) vorba: tērnēhār, kaj sī ande late /ē/ kaj či-phenel-pe mišto amar'a teorijasa. Laka dujton'a partaki êtimologija naj žangli, aj laki struktura (trin silabi) sī dosta unikalo. Anda koda našti phenas khanči pa kada vorba. Sode ame žanas, ande amarē řusicko subdijalektur'a problemakē vorbi manaj¹³.

Ande Sérbijsa (sar hramol o Borecko) o verbo *bešel (kaj ande Řusija sī sadajek b'ešel), šaj mothol-pe bēšel. Ame či-žanas sostar. Šaj naj-regularo asimilacija? O Borecko maj-hramol kē ande jekh anda leskē subdijalektur'a mothol-pe ternò (naj tērnò). Sar te-na-avela, kado dićol sar influjencija la sérboxorvatickon'a šibaki aj sar xasarimos la fonemako /ē/. Ande amaro dijaleko kadala fluktuaciji naj, kē la fonologijako šéruno sémno sī akana and-él konsonanci, aj naj and-él vokała. O huladimos maškar le kovle aj le dopaš-kovle konsonanci amende manaj (ê fonema /d/ and-él vorbi d'ēs aj d'el sī jekh), ama le vokała /ē/ aj /e/ sī and-ék sinxrono distribucija.

13 Ka-l Деметер/Деметер 1990 (jonešti) sī ê vorba tēlunò <тэлунó>. Le akanune řusicko kēldērarja či-žanen koda forma (phenen tēlalunò). È forma <тэлунó> m'al lovaricko (vor sī le avtoron-go athajimos).

8 Le rezultacy

Akana ſaj thus ande jekh tabela sa-l rūſicko kēldēraricko vorbi le refleksonca *e/ē < *e*, kaste-dikhas lengi distribucīja:

	<i>*-r̥-</i>	pala <i>k, kh, g, h, s, z, š ř, x, v (< *y, iran. *w), r</i>	pala <i>b, d, v (< *p, *m), p, ph, m, l, ž, ś, č, r (gērk.)</i>
substanivura'	<i>bērš, bērk, phērnò, kērkò pēr</i>	<i>žukēl, šēl, sérò, sérànd, šélò, sélā, b'ezéx, buzéx, khér, gér, réz, hér, zén, zéjá, věš, zévélí ...</i>	<i>b'eng, b'erànd, dēs, iv'end, b'ezéx, p'elò, zénò, m'el, tov'er, del, gērk. r'ez...</i>
	ama: <i>cer(h)àn</i>		aj vi: <i>k'ermò < *-ir-</i>
adjetivura'	<i>tērnò, tērdò</i>	<i>gérò (jon.), ankéstò</i>	<i>n'evò, av'ér, godavèr</i>
			aj vi: <i>k'ernò < *-ir-</i>
verbura'	analogija: <i>putér-, mutér-, b'istér-</i>	<i>kéràv (aj kērdò), azukéràv ingéràv, séràv (aj sérđò), khélàv, arésàv... part. gélò</i>	<i>ph'éràv (aj ph'érdo), ph'enàv, m'ekàv, b'ešàv, p'ekàv, p'eràv...</i>
morfemi			<i>-[r̥]-es- < *-rj-ès -ēs, -ēl, -ēn -ēs, -ēn -kē, -gē</i>
			<i>-es, -el, -en -es, -en -t'e, -de</i>

Akana ſaj phenas kē ē teorija la fonetikaki či-trubul pařugli anda kođa kē:

1. le ankaladimata, kaj o Borecko naſti hařarêlas-len, cîrden-pe ka la silabako **r̥*, kaj sî te-rekonstrujisaras-les ande proto-řomani *vr'am'a*¹⁴;
2. ē proto-řomani ſib žanelas duj fonemi **/v/ < *m, *p* aj **/w/ < */y/*.

14 Kado ſaj buſol kē la silabakē **r̥* ande vuni dijalektur'a, te-dikhas ka-l gurbetur'a, naj lokalo nevimos.

Literatura

- Boretzky, Norbert. 1991. Contact-induced sound change. *Diachronica* VIII/1: 1-15.
- Boretzky, Norbert / Igla, Birgit 1993. Lautwandel und Natürlichkeit. Kontaktbedingter und endogener Wandel im Romani. Essen: Universität GH Essen, Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften.
- Boretzky, Norbert. 1994. Romani: Grammatik des Kalderaš-Dialekts mit Texten und Glossar. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Boretzky, Norbert. 2012. *Studien zum Wortschatz des Romani*. Faber.
- Bubenik, Vit. 1996: The Structure and Development of Middle Indo-Aryan Dialects. Delhi: Motilal Banarsi Dass Publishers Private Limited.
- Mackenzie, David N. 1986. A Concise Pahlavi Dictionary. Oxford University Press.
- Matras, Yaron. 2000. *Romani. A linguistic introduction*. Cambridge University Press.
- Rosetti, Alexandru. 1986. *Istoria limbii române. De la origini pînă la inceputul secolului al XVII-lea*. Ediție definitivă. București: Editura Științifică și Enciclopedică.
- T = Turner, Ralph Lilley. A comparative dictionary of Indo-Aryan languages. London 1962-1966; 1969-1985: <http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/soas>.
- Tcherenkov, L.N. 1999. Eine kurzgefasste Grammatik des Russischen Kalderaš-Dialekts des Romani. *Grazer Linguistische Studien*. 51 (Frühjahr 1999).
- Деметер, Р. С. / Деметер, П. С. 1990. Цыганско-русский и русско-цыганский словарь (кэлдэрарский диалект). Под редакцией Л.Н. Черенкова. Москва: Русский язык.
- Ослон, М. В. 2012. Отражение древнеиндийского среднего рода в цыганском. *Вопросы языкового родства* 8: 93-100.
- Ослон, М. В. (avela-1). Язык русских котляров. Грамматика кэлдэрарского диалекта цыганского языка в русскоязычном окружении: <https://dl.dropboxusercontent.com/u/21280621/Ослон.Язык%20котляров-%20молдавая.pdf>.
- Ослон, М. В. (avela-2). Историческая фонетика цыганских диалектов: <https://dl.dropboxusercontent.com/u/21280621/Pub/Ослон.Историческая%20фонетика%20цыганских%20диалектов.pdf>.

Helena Sadílková

Resettling the settlement. The recent history of a Romani settlement in south-eastern Slovakia¹

In the process of mapping the history of the post-war settlement of Roms in Brno, me and my colleague Milada Závodská have got acquainted with a family originating in Brzotín, a small village in south-eastern Slovakia, in a region historically called Gemer/Gömör. During our research into the family history and their departure from their home village as part of the post-war migration of Roms from Slovakia into the Czech lands, a population movement that lead to the establishment of the current Romani population in the Czech Republic, certain details of the local history emerged which are illustrative of some aspects of the history and memory of mutual coexistence of Romani and non-Romani population in Slovakia. Inspired by David Scheffel's description of the history of the local Romani community in eastern Slovakian Svinia since 1945 (Scheffel 2009), the following text aims to enrich the evidence of local micro-histories of co-habitation of Roms on the territory of today's Slovakia with their closest majority neighbours. Concentrating on the movement(s) of the local Romani settlement in Brzotín between early 1930's and early 1970's, it aims at showing how the developments in the village connect with the history of the Roms in Czechoslovakia in the given period and at indicating certain aspects that might be inspirative for further historic research.

Brzotín (Hung. Berzéte, Rom. Berzéta) is a village lying a few kilometers south-westward from Rožňava (Hung. Rozsnyó), the local administrative centre. According to the mapping of Romani communities in Slovakia in 2004, the local Romani population counting almost 500 individuals was the fifth largest in the Rožňava district² (Atlas 2004: 15-16). The report mentions the majority of local Roms lives dispersed among the rest of the population, while about 60 people live

1 This text was written within the Programme for the Development of Fields of Study at Charles University, Prague, no. P10 – Linguistics, sub-program Roms in synchronous and diachronous perspectives.

2 According to the report, the total number of Roms in Brzotín is 493 individuals. If we took into account the closest official census conducted in Slovakia in 2001, the 2004 estimate on the size of the local Romani population would indicate that Roms formed almost up to 40% of the local population. In the 2001 census, 191 people of the total of 1238 in Brzotín identified themselves as Roms. For results of the 2001 census see: <http://sodb.infostat.sk/sodb/sk/2001/format.htm> (2015-09-19).

in a concentration separated from the village, the present day “Romani settlement.” As it will be explained, it is historically already a third settlement existing on the estates. The article will concentrate on what can be reconstructed from the history of its two predecessors.

1 Pre-war developments

The local Romani population has been one of the bigger ones in the region throughout the 20th century. In his short overview of the history of the village, the local historian István Labanc claims the size of the Romani population has risen to 100 people at the turn of the century from 40 people in 1890 (Labanc 1993: 23). The 1924 state survey of “Gypsies” in Slovakia analyzed by the Czech historian Ctibor Nečas, indicates the local Romani population in Brzotín included already 130 individuals, forming one of the then largest communities in the region (Nečas 1980: 166). A concentration of Romani houses, i.e. the local Romani settlement that was most probably the original place where Roms in Brzotín used to live, was situated at that time on the eastern edge of the village, next to the road leading to the former train station, on what is today a smaller meadow separating the village from the main road connecting Rožňava with Plešivec and Rimavská Sobota.

The occupation activities of the local Roms (Nečas 1980; life-story accounts recorded in 2010) in this period fall well into the pattern known for sedentary Roms in inter-war Slovakia and their symbiotic relations with the majority population (see Hübschmannová 1998): Roms in Brzotín were reckoned for a handful of their acclaimed musicians but mostly earned their living while helping out local land-owners in agriculture. They also provided other forms of services (helping out in the local households or catching and selling crawfish to local gentry, etc.) and crafts, including the production of small household utensiles – such as doormats made of corn leaves which was the craft the Roms from Brzotín were especially known for (see Mertuš 1970) – often combining several of these occupation activities to support their families. Narratives on the lives of family members living in the inter-war period also show that movement in order to procure livelihood was quite frequent – not only in the form of (groups of) individuals looking for work opportunities elsewhere, but also in the form of temporary resettlement of entire families. One of such occupations requiring movement of the nuclear family (of several family members / families) included the work in regional stone-mines, where Roms were hired to crush stone for the local road-keepers.

In 1933, the local authorities decided to remove the settlement from the village. Particular reasons of this decision remain uncertain. Sources on the situation of

Roms in pre-war Slovakia speak in general about the impoverishment of many local Romani communities in the years preceding the war, due to changes in the economy structure in which Roms started to fall increasingly to the position of unskilled wage labourers dependent on instant work offers as well as due to the growth of local Romani communities, and remark on the growing interethnic tension (for a recent summary on the situation and sources see Scheffel 2009: 182-189). Speculating on the growing impatience with criminal aspects of some of the local Roms' subsistence activities, the legal historian Vladimír Gecelovský documents several attempts at resettling different local Romani communities in the Gemer region between 1932 to 1936 (including the one in Brzotín) suggesting the resettlement might have been a more common strategy adopted by local authorities in the region in the 1930's vis-a-vis unwanted Romani concentrations (Gecelovský 1990: 82-88).

The area chosen for resettlement of Roms in Brzotín was three kilometres outside the village, on the north-eastern border of the village estates, next to a dirt road connecting Brzotín with the village of Rudná. Labanc remarks the old settlement vanished within a year, no details are known about the actual moving out. The action, however raised fierce objections by the neighbouring villages initiating a four years' dispute into which also the local Roms got involved as plaintiffs. The case was reconstructed by Gecelovský who followed it until the decision of the highest administrative body in Slovakia, the Land's Office, in 1937 ordering the Brzotín authorities to allow the resettled Roms back (Gecelovský 1990: 82-88).³ While materials found in the regional archives Gecelovský worked with suggest a closure of the case, field-research in the locality sheds a different light on this administrative happy-end. In fact, it took several decades before the Roms in Brzotín could return back into the village itself.⁴

While nowadays there is no physical evidence of the existence of a Romani settlement in the remote parts of the village estates, the life-story narratives by elder Roms recorded in 2010 represent a convincing testimony to the keeping of the spa-

3 This is how Gecelovský has reconstructed the case (Gecelovský 1990: 83-86): The defence of the neighbouring villages during 1934 included mounting political pressure on the regional administrative authorities but also taking practical steps: a plot of land in Brzotín was acquired by the village of Rudná from a local villager and offered to the Roms from Brzotín for permanent renting. In 1935, the resettled Roms asked the local authorities in Brzotín for building permits (and resettlement) back into Brzotín, which the authorities refused. This started an administrative case at the end of which, in 1937, the Brzotín authorities were ordered by the Land's Office to revoke their negative statement (the ruling actually confirmed an earlier verdict by the regional court in Rožňava from 1935).

4 While Gecelovský has used the archival material on the 1930's Brzotín case only to map the discrimination of Roms in the region during the First Czechoslovak Republic, I suggest a different reading outlining an approach perhaps more helpful in discovering the complexities of the context in which the (local) history of the Roms has unfolded as a result of an interaction of a variety of actors in any given time.

cial isolation of the local Romani community. They grew up in the remote settlement and their childhood reminiscences reflect (among other things) the bleak reality of a rather big concentration of dwellings in the middle of nowhere whose only connection with the civilization was a dirt road turning into a muddy stream whenever wet weather came. It shows that in reality – in spite of the decision of the Land’s Office – the local authorities in Brzotín most probably simply ignored the ruling of the superordinate institution and the case got forbidden in the coming war years (Brzotín and the surrounding villages became included as a border region in the territories awarded to Hungary by the First Vienna Arbitration in 1938). One of the direct results of the difficult situation in the isolated settlement was the outbreak of typhoid epidemics in 1942.⁵ However, oral testimonies suggest that personal solidarity bonds between the local majority population and the Roms built in the previous years did not completely cease to exist.⁶

The recorded narratives also reveal that more than eighty years after the final decision in the dispute over the removal of the Romani settlement in 1933, the memory of an injustice lingers on at least in the minds of today’s oldest generation of local Roms. They were hardly born when their parents and other relatives got evicted from the village yet it is obvious that the eviction was a topic of family discussions that our oldest interview-partners spontaneously mentioned already in the introductory parts of their narratives. It is probable that these discussions were revived in the post-war years when another long round of the disputes over the possibility for the Roms to move back into the village started – this time with bigger success.

2 Post-war developments

Interviews with Romani Brzotín natives disclose the first post-war years did not bring any radical change in the settlement position – the everyday life resumed its pre-war course with Roms earning their life by offering their different services to people in the village as well as across the region - while continuing to live in the remote settle-

5 Nečas has summarized the information on the fate of the Roms from the Slovak territory seized by Hungary during 1938–1939 (see for example Nečas 1994: 95–97; for the account on the situation of Roms in Hungary see Katalin Katz’s text in Kenrick 2006: 47–86); narratives by Romani eyewitness from these territories are included in several collections (for example: Hübschmannová 2005: content list of the vol 2; Vagačová, Fotta, 2006; Tancoš, Lužica 2002: 101–102, 129–133; Kramářová 2005: 63–78). With respect to the topic of the article, this period of the history of the local settlement is omitted.

6 It is indicative of the local interethnic relations that war memorial for soldiers of the Hungarian army, which also features two local Roms, was erected in Brzotín only in 1993 features also two local Roms.

ment lacking basic infrastructure. Certain population changes however took place in Brzotín in the aftermath of the war as part of the Czechoslovak campaign against the Hungarians and the Germans as traitors to the country and in the framework of an interconnected resettlement scheme which also included redistribution of the abandoned/confiscated land. Twelve Hungarian families from Brzotín (Labanc 1993: 123) were included in the campaign of forced resettlement of Hungarians from southern Slovakia to the Czech Lands – for details of the campaign see for example Arburg 2003, Šutaj 2011. The confiscated land in Brzotín was offered to new settlers from the north of the region who soon abandoned it. The land was then managed by an agricultural unit under state control and a part of it was later turned into building sites for the new expansion of the village in which the Roms have also participated.

The structure of the subsistence activities in the years following the end of the Second World War copied to a certain degree the pre-war pattern, including the fact that one had to travel (and often temporarily move elsewhere together with other family members including the nuclear family) in order to find work. As offers of job opportunities in the Czech Lands were promoted in Slovakia and as the experience with working and living in the Czech Lands among the locals grew, an increasing part of the Roms from Brzotín took part in the migration to the Czech Lands, in their case with a strong remigration movement back.⁷ Destinations varied but certain places (gradually) became stable destinations localities where a certain number of the originally temporary migrants settled down creating new Romani communities and simultaneously the support network for other migrating relatives. Such was the history of the family cluster me and my colleague got acquainted with in Brno: they left Brzotín in 1946, arrived in Brno in 1949, where they settled permanently but regularly returned “home” – as the older members of the family still called Slovakia even though they actually lived in Brno⁸ – only for (summer) holidays and family events.

Meanwhile there has been a steady pressure by the Roms from the settlement since early 1950's on the local authorities in Brzotín to get permits for building new

7 For the most recent summary of information on the post-war migration of Roms from Slovakia to the Czech lands see Davidová, Uherek 2014: 17-23, see also Guy 1998: 26-32, 2001: 289-290 and especially his detailed migration case study from the early 1970's in Guy 1977. The possibility to move to the Czech lands, work there and (eventually) settle down was an opportunity for Roms from Slovakia to improve their economic as well as social status and escape the marginality and isolation which many have faced in Slovakia. The Roms were hired as work force for the Czech lands in state as well as private campaigns, as well as joining in the migration movement spontaneously. (Ever failing) attempts at controlling the movement became an integral part of the post-war Czechoslovak policy towards the Roms.

8 For example, while one of our interview partner's (*1945) grand-parents decided to move from Brno back to Slovakia in their old age, because they wanted to die and be buried at home, her parents were later already buried in Brno. The interview partner herself has visited Brzotín for the last time in early 1970's.

houses back in the village. Their determination to break out from the isolation they have been driven into was opposed by the local council members⁹ and it was only in 1965 that Roms started to be allocated building sites in the village in larger numbers. Some have built their houses (or had them built by non-Romani construction professionals) in the framework of the establishment of a new mixed quarter on the north-western edge of the village (the local chronicle states in 1973/4 there were 61 new houses built by the “villagers” and 30 houses by the “gypsies” living in two “gypsy” streets but also “mixed” across the whole quarter).¹⁰ Some of the Romani families also later moved back down the road leading from the village to their 1933 settlement, building and buying older houses from the local non-Roms on the northern edge of the village.¹¹ The possibility to move out of the settlement into the village, together with the continuing emigration to the Czech lands resulted in the gradual abandonment of the remote settlement. Though the process of its perishing stretched along three decades, the second settlement – like the first one existing in Brzotín – ceased to exist (or was “liquidated” as the local chronicle states) in the early 1970’s and turned (back) into a meadow.

3 Insisting on having a place in the village community

The resettlement as a policy employed by local authorities presents a strong continuity in the history of the dealing with local Romani communities by the local majority population in Slovakia. For example in Gemer, Gecelovský has shown its

9 A report of the local council meeting in 1953 refuses the request by a group of local Roms to get building sites in the village arguing there is “no hope for their re-education”. Previous negative experience with the allocation of a site to one Romani family is also mentioned. The report calls on the regional authorities to act and “disperse the gypsies” across villages with no Romani population. The wording of the report also suggests there existed a certain pressure by the regional authorities on the local council to deal with the local Romani settlement and the demands of its dwellers. (Report on the meeting of the local council in Brzotín from Sept. 13, 1953, ŠOKA Rožňava, Fond: Miestny národný výbor v Brzotíne 1950-1976.)

10 The term “villager” (in opposition to “gypsy”) as used in the village chronicle to identify the non-Romani inhabitants of the village, reveals the implicit understanding of belonging to the community by the majority population of the village.

11 Obecní kronika Brzotín [The chronological of Brzotín], p. 239-240.

employment in practice in the 1930's, as well as in earlier periods.¹² During the existence of the war-time Slovak republic the resettlement policy was even integrated into the central "antigypsy" regulations (ordered by the Ministry of Interior in 1941 and 1943).¹³ The original genesis of the war time resettlement regulation has not yet been researched. There is a reason to suppose, in view of the developments in the 1930's, that the central authorities might have simply adopted a measure already tested in practice.

The resettlement policy attracted special attention especially in the context of the war-time persecution of Roms in Slovakia (esp. Hübschmannová 2005: 52-61, 87-181, see also Nečas 1994) as one of the measures with decisive impact on the affected Romani communities – with respect to their actual war-time situation and its immediate consequences but also with respect to the post-war situation in Slovakia. Hübschmannová has explained that the isolation of the resettled Romani communities, combined with restrictions on the access into villages and towns had the effect of extreme impoverishment of the communities economically dependent on the contact with the local population which lead also to their moral decline, as the people were forced by necessity to take actions in conflict with their socio-cultural norms. The implementation of the resettlement order differed locally. Hübschmannová argued that one of the factors that prevented rigorous implementation of the resettlement order in 1941 was the mutual interconnectedness of local Romani communities with the local non-Romani society who in certain places refused to move their "gypsies" out (Hübschmannová 2005: 87-181). The (final) disintegration of mutual relationships between the affected local Romani communities and surrounding majority society sealed off by forced resettlement of the Romani inhabitants is mentioned as one of the factors that influenced the post-war migration of Roms from certain localities to the Czech lands.¹⁴

The practice was not redressed in the aftermath of the war: in fact the resettlement regulation continued to be legally in practice in Slovakia in the first post-war years (see Jurová 1993: 20-21) and, as it has been the case in Brzotín, local authorities

12 In fact, the earliest local case of the resettlement of a local Romani community upon a request by the local inhabitants Gecelovský identified comes from the town of Rožňava already in 1808-9 (Gecelovský 1990: 62).

13 For a brief outline of the fate of Roms in Slovakia see Hübschmannová (2006: 3-46). For narrative accounts from different Slovakian regions see esp. Hübschmannová 2005: 87-181, Lacková 1999, Kramářová 2005.

14 For example in Točelmeš/Šarišské Sokolovce (Prešov region) a decisive part of the whole local Romani community – forcefully evicted from the village in 1943 – left the village immediately in 1945 and the local Romani settlement ceased to exist due to following chain migration. The eyewitness I. Tomášová (*1923) mentioned it was beyond the imagination of her and her relatives to continue living among the local ex-neighbours who abandoned the local Romani community in the worst of times despite their close pre-war relations (see Kramářová 2005: 25-41).

did not take the initiative to move the removed settlements back. Moreover, local employment of the practice of resettlement has been documented even after communist Czechoslovakia already denounced any discrimination especially with respect to “the citizens of gypsy origin” (see Jurová 2008: 400-403, 450-452).¹⁵ The idea of the feasibility of moving whole local Romani communities on demand by the administrative bodies also formed the bottom line of the communist plan “on the liquidation of gypsy settlements” and of the campaign of the “dispersal and transfer of the gypsy population” in the second half of the 1960’s (see Jurová 1993: 75-93; Guy 1998: 32-34).

It is significant that the evidence of the resettlement cases from the 1950’s included in Jurová (Jurová 2008: 400-403, 450-452) is documented by fragments of materials from legal/administrative disputes between the Roms and the local authorities – in parallel with the documents gathered by Gecelovský for the Brzotín case in 1930’s. Some of the documents on the persecution of Roms in the Turiec region recently presented by the Slovak historian Lucia Segľová¹⁶ testify to the same phenomenon: the existence of legal dispute mounted by the Roms against the decisions and actions taken by the local authorities regarding the (forced) removal of their settlements from the original village. The documents from Turiec are extremely interesting in showing possible leverage of these disputes: when deciding on the eviction of the local Romani settlement in Malý Čepčín in May 1941, i.e. a month after the order to evict Romani settlements from the municipalities and the vicinity of public roads was first issued by the Slovak Ministry of Interior, the local council representatives include their request to the Ministry for further measures to “finally and for good solve the gypsy question to prohibit all lawyers to plead the gypsies’ case in front of the public offices and courts” justifying the demand by their contemporary experience when the local Roms have used this kind of defence against the municipality and the order of the Ministry (Segľová, forthcoming). It thus seems that the continuity of the use of resettlement orders by the local administrative bod-

15 The program declaration of the first post-war Czechoslovak government from April 1945 already dismissed discrimination on racial grounds. In 1950, the previous singular legislation on “gypsies” from 1927 (introducing among other measures special police surveillance and control of the travelling “gypsies” which in fact included a much larger proportion of the Romani population) was revoked; in 1952 in the first attempt at a centralized approach to the “persons of gypsy origin” by the Ministry of Interior discrimination was emphasized as unacceptable and a similar formulation on the anti-discrimination efforts was also included in the 1958 resolution of the Czechoslovak Communist Party “on the work among the gypsy population”, which marked the start of the official assimilation campaign (for the development of the approach to the Roms in Czechoslovakia since 1945, with an overview of the previous regulations see Guy 1998: 20-44; for the 1952 and 1958 documents see Jurová 2008: 381-384, 693-700).

16 I am grateful for having had the opportunity of sharing the result of her work during the preparation for its publication and her valuable comments on the presented text.

ies in Slovakia vis-á-vis the unwanted local Romani communities residing on their territories (taken up also by the country's central authorities during the war-years and its aftermath) has produced a parallel block of materials documenting the use of administrative/legal defence by the affected Roms (its extent and frequency is so far unknown).¹⁷

The materials gathered on the history of the settlement in Brzotín allow us to follow the strife of the local Roms to return back to the village beyond the point of their legal victory in 1937 – which actually did not have any bearing on their factual situation. It presents a unique convolute of sources not only documenting the will and capacity of mounting a regular defence by Romani individuals against decisions that interfere with the way they (plan to) live and their rights as citizens but also – together with the post-war history of coming back to Brzotín – testifying to their determination to re-occupy their place in the village community (in practical terms of the spatial arrangements but also on a more symbolic level) despite the local villagers' opposition. These documents and documented actions shed a very different light on the understanding of the Romani position as that of passive receivers/victims of policies directed at them. Moreover, the administrative/legal disputes over a decision or action taken by local authorities in which Roms actively participated in writing letters and requests etc., prove to be a rather rich source of documents disclosing the way in which the involved Roms understand their (changing) social position vis-á-vis the local actors as well as in the society at large. Together with oral history sources, such documents present an important means of balancing, in historic research, the sources on the situation of Roms of majority provenience that form the predominant material basis in the classic historiography on the Roms.

During the 30 years of virtual expulsion from the village which presented a clear rupture in their preceding co-existence with the local majority society, at least certain part of the Roms in Brzotín have employed individual as well as collective strategies in order to achieve their re-integration back into the village as a shared living space and a symbolic proof of their social position in the given regional society. Pleading a case with the higher administrative bodies presented one of the available means, the post-war developments, however, presented other opportunities of changing the status-quo. Taking part in the post-war migration into the Czech lands can be interpreted as one of them.¹⁸

17 Another source of these unique materials are requests and complaints sent by individual Roms to the Office of the President of the Czechoslovak Republic since 1945 which are currently analyzed together with other dispute material from the 1950's by the author of this text.

18 For an enlightening reflection on the migration as a strategy to overcome marginalisation and its effects see Grill's ethnographic account on the post-1989 migration of Slovak Roms to Great Britain with allusions to the post-war movements (Grill 2012).

The information gathered on the history of the local Romani community in Brzotín documenting a certain tradition of temporary moving of whole families in order to find work allows to interpret their participation in the post-war migration of Roms from Slovakia into the Czech lands in terms of continuity with the previous and simultaneously existing work patterns rather than a post-war rupture. This interpretation also helps to explain the extent of remigration documented to accompany the life of the local Romani community at least into the late 1970's.¹⁹ The intensity of coming and going was such that their non-Romani neighbours in Brzotín started to call the Roms "travelling gypsies" suggesting their lose, self-seeking attachment with their home, which one of the interview partners mentioned with a laugh and explained it was actually the strong feeling for the home community that made the people return.²⁰ Importantly, narratives on the decisions to return to Slovakia suggest the importance of the hope that things (will) get better at home – the moving of one of the families from the settlement into the village in the early 1950's might have supported this view. What they also offer, is a reflection on the issue of belonging and existing uncertainties accompanying the rural-urban migration in which the "home" in Slovakia was included. The growing affluence of the re-migrating Roms has been most probably one of the factors that stimulated the pressure on the possibility of building houses outside the settlement (or rather inside the village) by Roms from Brzotín during 1950's as the remote settlement with missing infrastructure did not offer many possibilities of investment of the money/material taken from the Czech Lands.

An opposition to such resettlement by the local council is documented from the early 1950's – which is very much in line with what is known about the approach of local councils to the possibility of the moving of Roms into the villages in Slovakia in general. Such an approach was regularly criticized by the central institutions and made part of many of the central documents summarizing the contemporary progress in "solving the gypsy question in Slovakia" (see Jurová 1993: 45-46, 51-52, 64-68, 72-3). While lack of documentation makes it difficult to pinpoint the exact time when the opposition of the villagers was mounted and the return of the Roms was allowed,

19 Guy, as well as Grill, have stressed the importance for the migrants of returning to their (original) communities in Slovakia in order to confirm – in the eyes of the local Roms and, as importantly of the local non-Roms – their changing economic and social status (Guy 1977, Grill 2012). The uses of the idioms of "home" by the recorded interview partners reflect their deep sense of belonging to the local community.

20 The extent of the movement and the practical problems it generated in the municipal planning are illustrated by reports on the problems with the schooling of Romani children in Brzotín: the village chronicle remarks the changing numbers of pupils make it difficult to plan the number of classes that need to be opened in a given school-year. A report on the situation of schooling of "gypsy children" in Brzotín mentions (still in the late 1970's) repeated absences of children migrating with their parents and remarks on a larger number of pupils who are raised solely by their grandparents (Kováčová 1979: 81).

the existing sources suggest the resettlement of the settlement in Brzotín coincided with the central government plan for the “liquidation of undesired gypsy concentrations” incorporated into the central campaign for the “dispersal and transfer of gypsy population” during 1965-1968.²¹ In the framework of the “liquidation” scheme, the old houses in the settlements were bought (at rather low costs) from their Romani owners by the local authorities on behalf of the state (importantly, using special state subsidies) and demolished. The state offered financial support for the construction of housing capacities. In the criticism of the communist dispersal and transfer campaign, authors denounce the forceful employment of the policy of resettling manipulatively whole Romani communities either inside Slovakia or into the Czech lands and highlight problematic cases of the liquidation of the settlements (see for example Hübschmannová 2000: 136-8). Brzotín, however, seems to present a case (one of the cases?) where the central scheme rather supported the existing initiatives of the local Roms for moving out/in, helping to overcome the opposition previously defended by the local non-Roms.

4 Conclusions

Evaluating the government schemes aimed at the Roms in communist Czechoslovakia, British sociologist Will Guy has claimed that the evident improvement in the living standards of the Roms – as one of the proclaimed goals of the communist policies as well as means of the Roms’ desired assimilation –, was due to the Roms’ own initiative in taking the opportunities offered to them rather than a result of the implementation of the assimilation campaign (Guy 1977: 425-428). He has also highlighted the opposition of some local Slovak administrations to the centrally planned schemes of an inclusion (through gradual assimilation) of the Roms into the majority society as the key factor in the failure of the communist assimilation as well as the one attempted at the Roms on the same territory in 18th century (Guy 1998: 32-33). The opposition of the local authorities via-a-vis the central schemes, primarily took its source in the fact that the materialization of the ideas and goals promoted by the state authorities actually put an extreme pressure on the trespass or even eradication of the symbolic line of division between the non-Romani and Romani

21 The central authorities in Slovakia were developing the plans for the “liquidation of gypsy settlements” since the mid 1950’s (Jurová 1993: 38). Even though their implementation was one of the goals the central authorities was supposed to see to, the “liquidation of the settlements” materialized in significant numbers only in the second half of the 1960’s, when the plan was supported by the allocation of finance from the state budget as part of the campaign of the “dispersal and transfer” (Jurová 1993: 76-86).

areas characteristic of the traditional spatial/settlement arrangements of the local municipalities in Slovakia which was also a reflection of the local social hierarchies (see for example case studies on the existing symbolic borders in Guy 1977: 425-592; Scheffel 2009: 189-242; as well as Grill 2012 reflecting on the effects of the post-1989 migration).

The resettlement of the Brzotín Romani settlement can be seen as illustrating both of the above mentioned tendencies highlighted by Guy, while it also shows the usability of some of the denounced central policies in certain specific contexts. On the one hand it demonstrates the extent to which certain local Romani families have managed to profit from the contemporary opportunities in their strife to overcome a spatial isolation forced on them in the 1930's (being it the work migration movement, but also – importantly – the central government campaign for the “liquidation of gypsy settlements” that enabled their resettlement), while on the other hand it also reflects the stability of the spatial division characteristic of the coexistence of the Romani communities in Slovakia with their non-Romani surroundings: no longer spatially separated, the Roms were however admitted to build their houses only on the outer edges of the village.

While further research is needed in order to clarify certain events in the developments that have taken place in the village of Brzotín, as well as to bring more evidence on the developments in other municipalities and regions, the already gathered materials coming from a variety of sources allow to further document the continuity of the tensions between the local, regional and central administrative authorities concerning the implementation of state policies and locally employed strategies directed at the Roms as well as to identify a couple of (so far rather marginally documented) issues that formed a part of the history of the Roms in Slovakia:

- a) the readiness of the local Roms to defend their rights and visions of co-existence within the village community which contradicts the historical projections of Roms as passive receivers/victims of policies imposed on them;
- b) their understanding of their belonging into the community;
- c) the influence of post-war migration and remigration back on the emancipation of certain local Romani communities in Slovakia.

References

- Arburg, Adrian von. 2003. Tak či onak. Nucené přesídlení v komplexním pojednání poválečné sídelní politiky v českých zemích. *Soudobé dějiny* 10/3: 253-292
- Atlas rómských komunit 2004. *Regional sheets: Košice region*.
http://www.minv.sk/?regiony_atlas (2015-10-15)

- Davidová, Eva, Uhorek, Zdeněk. 2014. *Romové v československé a české společnosti v letech 1945-2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací*. Praha: Národnohospodářský ústav Josefa Hlávky.
- Gecelovský, Vladimír. 1990. *Rómovia na Gemeru do roku 1945*. Rožňava: Okresné osvetové stredisko v Rožňave.
- Grill, Jan. 2012. Going up to England: Exploring mobilities among Roma from Eastern Slovakia. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 38/8: 1269-1287.
- Guy, Will. 1977. *The Attempt of Socialist Czechoslovakia to Assimilate its Gypsy Population*. Unpublished dissertation. University of Bristol.
- Guy, Will. 1998. Ways of looking at the Roma: The case of Czechoslovakia (1975). In: Diane Tong, ed. *Gypsies: An Interdisciplinary Reader*. New York/London: Garland: 15-68.
- Guy, Will. 2001. Roma in Czechoslovakia: Another false dawn? In: Guy, Will, ed. *Between past and future: The Roma of Central and Eastern Europe*. Hatfield: University of Hertfordshire Press: 285-332.
- Hübschmannová, Milena. 1998. Economic stratification and interaction (Roma, an ethnic Jati in East Slovakia). In: Diane Tong, ed. *Gypsies: An Interdisciplinary Reader*. New York/London: Garland: 233-267.
- Hübschmannová, Milena. 2000. Slovesnost a literatura v romské kultuře. In: *Černobílý život*. Gallery, Praha: 123-148.
- Hübschmannová, Milena. 2005. *Po židoch cigáni. Svědectví Romů ze Slovenska, 1. díl*. Praha: Triáda.
- Hübschmannová, Milena. 2006. Roma in the socalled Slovak state. In: Donald Kenrick, ed. *The Gypsies during the Second World War. Vol. 3 – The Final Chapter*. Hatfield, University of Hertfordshire Press: 3-46
- Jurová, Anna. 1993. *Vývoj rómskej problematiky na Slovensku. Spoločensko vedný ústav Slovenskej akadémie vied, Košice*. Bratislava: Goldpress.
- Jurová, Anna. 2008. *Rómska menšina na Slovensku v dokumentoch (1945-1975)*. Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Košice. http://www.svusav.sk/sk_submenu2/publikacie
- Kováčová, Magdalena. 1979. Rozbor výchovno-vyučovacích výsledkov cigánskych žiakov na Základnej deväťročnej škole v Rožňave – časť Brzotín. *Obzory Gemera* X/2: 81-86.
- Kramárová, Jana, ed. 2005. *(Ne)bolí. Vzpomínky Romů na válku a život po válce*. Praha: Člověk v tísni.
- Labanc, István. 1993. *Berzéte 750 éve (1243-1993)*. Berzéte község önkormányzata. Berzéte.
- Lacková, Elena. 1999. *A False Dawn: My Life as a Gypsy Woman in Slovakia*. Hatfield: University of Hertfordshire Press.
- Mertuš, Juraj. 1970. Zo života gemerských Cigánov. *Obzory Gemera*, I/4: 121-125.
- Nečas, Ctibor. 1980. Gemerští cikáni. *Obzory Gemera*, XI/3: 165-167.
- Nečas, Ctibor. 1994. *Českoslovenští Romové v letech 1938-1945*. Brno: Masarykova Univerzita.
- Segľová, Lucia. [forthcoming]. Súbor dokumentov k perzekúciám Rómov v Turci v rokoch 1939-1945. In: *Zborník Slovenského národného múzea. Etnografia*. Martin.
- Scheffel, David Z. 2009. Svinia v čiernobieliom. Slovenskí Rómovia a ich susedia. Centrum antropologických výzkumov. Prešov. (translated from: Scheffel, David Z. 2005. Svinia in black and white. Slovak Roma and their neighbours. Toronto: Broadview.)
- Šutaj, Štefan. 2011. The Magyar minority in Slovakia before and after the second World War. In: Mikuláš Teich / Dušan Kováč / Martin Brown. *Slovakia in History*. New York : Cambridge University Press: 269-283.
- Tancoš, Július / Lužica, René. 2002. *Zatratení a zabudnutí*. 1. vyd. Bratislava: Iris.
- Vagačová, Ingrid / Fotta, Martin. 2006. *Rómovia a druhá svetová vojna Čítanka*. Bratislava: Nadace Milana Šimečku.

Ablatives and genitives in Burgenland Romani: insights from the ROMTEX Corpus

1 Introduction

Burgenland Romani is a Romani variety spoken in Burgenland, the easternmost province of Austria. Like all other south-central Romani dialects, Burgenland Romani is heavily influenced by Hungarian. The current most important contact language is the dialectal version of German spoken in the area as well as Standard German. In the past 30 years, Burgenland Romani developed from an exclusively orally used in-group language to a written language of public domains of usage such as education and media. The codification and functional expansion of the language that was initiated by the speech community out of the wish to preserve and revitalise the language, has not resulted in a gain of usage domains, but rather in a shift of usage domains. The increase of written texts produced in Burgenland Romani was paralleled by a decrease of actual everyday language use by the speech community. These rather rapid and fundamental changes in usage patterns have had a deep impact on the language. As highlighted in Halwachs (2012) functional expansion of Burgenland Romani has had an impact on the lexical, morphosyntactic and syntactic levels of the language. A number of language change phenomena – such as an increase in German loanwords, changes in case functions, changed syntactic patterns – have been identified in Burgenland Romani texts and have been discussed in some detail in the literature (Halwachs ibd.).

This paper intends to complement the picture of functional expansion and language change in Burgenland Romani with the help of corpus analysis. So far, changes in case functions and certain syntactic patterns in Burgenland Romani have been identified and discussed on the basis of a number of chosen texts. With the availability of the ROMTEX corpus that contains a full documentation of the elaboration corpus of Burgenland Romani (all written Burgenland Romani texts from 1998 onwards), as well as the codification corpus of Burgenland Romani (Burgenland Romani texts of the Sammlung Heinschink recorded since the 1960 and narratives recorded in the process of language codification in the early 1990s), it is now possible to contribute a new, quantitative dimension of analysis. The availability of these two parts of the ROMTEX corpus allows for the empirical investigation of phenomena mentioned

in previous literature (especially Halwachs 2012). The focus of this investigation is on the increase/decrease in the frequency of certain constructions over time and on quantitative and qualitative properties of the functional change in ablative and genitive case constructions in Burgenland Romani.

2 Functions of ablatives and genitives in Burgenland Romani

The most significant change of case functions in Burgenland Romani concerns the ablative and the genitive case. As discussed in Halwachs (2012: 58ff.) in more recent texts of the elaboration corpus synthetic ablatives are used in a possessive function that traditionally is the functional domain of genitives in Romani. The following examples from Halwachs (ibd.) illustrate this new function of synthetic ablative forms in Burgenland Romani. The same content rendered with a genitive construction is given next to the translation (marked by *, since the forms given are not actually attested).

- (1) *I kenva le angledikasch-istar¹*
ART.NOM.F.SG book ART.OBL.M.SG prophet-ABL.M.SG
'the book of the prophet' / **la angledikaschiskeri kenva*
- (2) *falati le Burgenland-istar*
parts ART.OBL.M.SG Burgenland-ABL.M.SG
'parts of the Burgenland' / **le Burgenlandiskere falati*
- (3) *I phukajip-esker-i tradicija le Rom-endar*
ART.NOM.F.SG story-GEN.M.SG-F traditionART.OBL.M.SG Rom-ABL.M.SG
'the oral tradition of the Roma' / **le Romengeri phukajipeskeri tradicija*

Parallel to the change in function, Halwachs (2012: 63) also observes an increase in the productivity of the ablative, which he describes as "ablativomania".

With respect to the original function of the ablative as the case expressing source and origin, alongside the synthetic case form there is also an analytic ablative construction in Burgenland Romani expressed with the preposition andar 'from'.

1 Throughout the article Burgenland Romani examples are written in the Burgenland Romani-specific spelling that was created in the course of language codification in the early 1990s.

- (4) *andar o Betschi vs. Betsch-istar*
from ART.NOM.M.SG Vienna Vienna-ABL.M.SG
'from Vienna'

Halwachs (2012: 59) describes another rather seldomly used construction to express ablative meanings. This is a combination of the borrowed German dialectal preposition *fa* 'from' and the synthetic ablative.

- (5) *fa Betsch-istar*
from Vienna-ABL.M.SG
'from Vienna'

According to Halwachs (ibd.) all three ways to express the ablative are equally accepted by the speakers, although the version with the German borrowed preposition is used less frequently. He also mentions that recently borrowed nouns tend to trigger the use of the analytic construction with *andar*.

Halwachs (2012: 55ff.) also describes changes in the functions of the genitive construction in Burgenland Romani. Originally used to express possessive relations in Romani, in Burgenland Romani the genitive construction is extended in function to calque German compound nouns. Example (6) below illustrates the original genitive function, while examples (7) and (8) exemplify the newer pattern of usage (Halwachs ibd.).

- (6) *le rakl-esker-i daj*
ART.OBL.M.SG boy-GEN.M.SG-F mother
'the boy's mother'

- (7) *o dokumentar-isker-o film < ger Dokumentarfilm*
ART.NOM.M.SG documentary-GEN.M.SG-M film
'the documentary film'

- (8) *i fatschuvtsch-enger-i biblina < ger Kinderbibel*
ART.NOM.F.SG children-GEN.PL-F bible
'the bible for children'

While in (6) the genitive is used in an anchoring referential function (Koptjevskaja-Tamm 2000), in examples (7) and (8) the function of the genitive construction is non-

anchoring but classifying². This functional change is also reflected structurally: While in the anchoring function the genitive construction contains an oblique definite article, in the non-anchoring use of the genitive we find the nominative definite article combined with the genitive form.

3 Data sources: The ROMTEX Corpus and Burgenland Romani narratives

The present analysis is based on the comprehensive documentation of Burgenland Romani texts in the ROMTEX corpus. ROMTEX started out some ten years ago as a project to safeguard already existing collections of Romani texts. The texts are and will be accessible to the scientific community in a platform-independent way that allows for systematic analysis of certain features. Parallel to that, ROMTEX also set out as a tool to comprehensively document the process of functional expansion in Romani dialects in Austria and beyond. Burgenland Romani is probably the Romani dialect that is most comprehensively documented in this way, since both the codification corpus as well as the elaboration corpus of Burgenland Romani are documented in ROMTEX. The codification of Burgenland Romani, comprising graphisation and standardisation of corpus, began in 1993. The grammatical and lexicographic descriptions of BR were based on spoken and subsequently transliterated narratives from the remaining competent speakers as well as older records of the language³. All BR texts up to the year 1996 are considered part of this codification corpus. The elaboration corpus consists of Burgenland Romani texts that go back to the use of Burgenland Romani in mass media. There are two bi-lingual (Burgenland Romani/German) periodicals and one mono-lingual periodical (for children) in Burgenland Romani, the language is used for weekly radio broadcasts and news on the internet and there are computer games for language learning. All these media contribute to the modernisation of Burgenland Romani, especially with respect to its lexicon. Implementing language computer games in Burgenland Romani had the effect of introducing technical vocabulary into the language, such as terms for menu navigation, computer commands and error messages. Periodicals

2 Koptjevskaja-Tamm (ibd.) describes the anchoring function of genitives as one that expresses possession, kin relations, authorship, states or processes and the non-anchoring, classifying function as one that expresses material, source, age, measure, quality, property, pertaining to/similarity, location, time and object.

3 These older records comprise Burgenland Romani texts collected and written down by Knobloch in the 1940s and narratives recorded by Heinschink from the 1960s onwards.

and radio broadcasts in Burgenland Romani contribute a wealth of terminology in the fields of politics, history, social problems, art, sports, etc. The Burgenland Romani part of the ROMTEX corpus amounts to approximately 545,800 words, 280,000 words pertaining to the codification corpus and the rest to the elaboration corpus. The corpus is continuously expanded with new Burgenland Romani texts.

For the analysis of functional changes in ablatives and genitives in Burgenland Romani in this paper, two specific parts of the corpus are taken into account, i.e. the codification corpus (henceforth CC), consisting almost exclusively of narratives (biographic stories, tales, fairy tales), and the dRoma (bi-lingual periodical) part⁴ of the elaboration corpus (henceforth DEC), spanning from 2008-2012 and containing texts that are typical of the functional expansion of Burgenland Romani into new domains. The dRoma part of the ROMTEX corpus consists of 80,683 words, while the codification corpus consists of 280,000 words.

4 Frequencies of case types

The quantitative analysis of case forms⁵ in the two corpora confirms some of the impressions mentioned in the literature cited above. Comparing the total number of ablatives in the CC and the DEC we can truly speak of some sort of “ablativomania” in the DEC. Even though the CC counts more than three times more words than the DEC, the number of synthetic ablatives in the CC is five times higher than in the DEC. There are 2,580 synthetic ablative constructions in the DEC, while in the CC there are only 557 such forms.

Looking at analytic ablative constructions with *andar* in the two corpora we find almost equal measures: 336 such constructions in the DEC and 390 such constructions in the CC. Quite interestingly, the analytic ablative constructions containing the German borrowed preposition *fa* is rather frequently used in the CC, there are 203 occurrences of this construction, while this way of expressing the ablative is totally absent in the DEC.

Genitive constructions are also much more frequent in the DEC than in the CC. In the 80,683 words DEC there are 2,526 genitive constructions, while in the 280,000 word CC there are only 571 such forms.

4 The choice of this sub-part of the Burgenland Romani elaboration corpus contained in ROMTEX is based on practical reasons: This part of the corpus is in a technical shape that allows best for systematic searches of certain features. Other parts of the elaboration corpus are not yet prepared in the corpus up to that level.

5 Only non-pronominal case forms are included in the count.

To sum up, on the one hand, there is an enormous increase of synthetic ablative and genitive constructions from the CC to the DEC, while on the other hand an analytic ablative construction that has a considerable frequency in the CC is totally absent from the DEC.

5 Functions of ablative and genitive constructions revisited

Due to the high number of occurrences, for the analysis of the functions of the individual constructions in the DEC a random selection of 100 constructions was taken into account. Since the number of occurrences is much smaller in the CC, a full analysis of the constructions was performed.

To begin with the genitive constructions, we see that in the CC genitives are almost exclusively used in an anchoring function to express kinship relations, (9) and (10), and in some cases also possession, (11) and (12). Genitive constructions in anchoring function in the CC generally are used with an oblique article.

- (9) *le devil-esker-o tschau*
ART.M.OBL god-GEN.M.SG-M boy
'son of God'

- (10) *le moj-aker-i dschuvli*
ART.M.OBL wine-GEN.F.SG-F woman
'the landlord's wife'

- (11) *ande raschaj-esker-i bar*
in lord-GEN.M.SG-F garden
'in the lord's garden'

- (12) *le Walter-esker-o kher*
ART.M.OBL Walter-GEN.M.SG-M house
'Walter's house'

A small number of genitives is attested in a non-anchoring, qualifying function in the CC to express that something is pertaining to a particular place, (13) and (14), or a particular subject matter (15). The number of genitives in non-anchoring function in the CC is too small to draw conclusions with respect to the distribution of the use of oblique or nominative articles.

- (13) *le schul-esker-i muam*
 ART.M.OBL school- GEN.M.SG-F aunt
 ‘school aunt/caregiver’
- (14) *Erb-aker-e Roma*
 Oberwart-GEN.F.SG-PL Roma
 ‘Roma of/from Oberwart’
- (15) *usi atsch-enger-o badari*
 at eye-GEN.PL-M doctor
 ‘at the eye doctor’

In the CC the majority of genitives in anchoring function refer to animate entities. In the small number of attestations of genitives in non-anchoring function we also find genitives referring to non-animate entities.

Analysing the functional scope of genitive constructions in the DEC we see some dramatic changes. Only three out of 100 randomly chosen genitives are used in an anchoring function to express possession or kinship relations, (16) and (17).

- (16) *la Katarzyna Pollok-aker-o dad*
 ART.F.OBL Katarzyna Pollok-GEN.F.SG-M father
 ‘Katarzyna Pollok’s father’
- (17) *le mul-enger-e koj-endar*
 ART.PL.OBL dead-GEN.PL-PL thing-ABL.PL
 ‘the things of the dead’

Thus, the great majority of the 100 randomly chosen genitive constructions in the DEC are used in a non-anchoring, qualifying function. A small number of those (~17) are used to express the relation ‘pertaining to the Roma’ (18).

- (18) *Rom-enger-e dschuvl-enger-e organisacij-endar*
 Roma-GEN.PL-PL woman-GEN.PL-PL organisation-ABL.PL
 ‘(of) Roma women’s organisations’

The vast majority of the analysed genitives in the DEC have a clear-cut German compound equivalent (examples 19-25). All of these occur with a nominative article in the genitive construction. The majority of genitives refer to inanimate entities, only 25 out of 100 refer to animate entities.

- (19) *o familij-aker-o loj* < ger *Familienbeihilfe*
ART.NOM.M.SG family-GEN.F-M money
'family support money' (not: 'the money of the family')
- (20) *i daj-aker-i nacijona* < ger *Mutternation*
ART.NOM.F.SG mother-GEN.F-F nation
'kin state' (not: 'the nation of the mother')
- (21) *o bartschojipeskero than⁶* < ger *Brutstätte*
'breeding ground'
- (22) *i dschumipeskeri rik* < ger *Stoßrichtung*
'thrust'
- (23) *o internetakero magacin* < ger *Internetmagazin*
'online journal'
- (24) *i vasteskeri kenva* < ger *Handbuch*
'handbook'
- (25) *i EUakeri justicakeri komisarkija*
'EU justice commissioner'

Turning now to the ablatives we see that synthetic ablatives in the CC almost exclusively express concrete spatial meanings to refer to the origin of something or someone (26), (27). Synthetic ablatives in the CC furthermore refer to the source of something (28) or the cause of something (29).

- (26) *Erb-atar*
Oberwart-ABL.SG.F
'from Oberwart'
- (27) *Poslin-atar*
Bachselten-ABL.SG.F
'from Bachselten'

6 Due to limitations of space and the regular linear order of genitive and noun in the genitive construction only part of the examples are given with interlinear glossing.

- (28) *mra phenj-atar*
my-OBL sister-ABL.SG.F
'from my sister'

- (29) *butsch-atar*
work-ABL.SG.F
'because of/of the work'

In the DEC the picture is quite different. None of the 100 randomly chosen synthetic ablatives has concrete spatial meaning expressing the origin of something or someone. Seven attestations refer to the source of something (30), 10 ablatives have partitive meanings (31) and there are some attestations of causal meaning (32).

- (30) *le Europitike Rot-istar*
ART.OBL.M European council-ABL.SG.M
'from the European Council'

- (31) *80 procenti le ungrike Rom-endar*
80 percent ART.M.OBL Hungarian Roma-ABL.PL
'80 percent of the Hungarian Roma'

- (32) *rat-istar*
blood-ABL.SG.M
'because of the blood'

The great majority of synthetic ablatives are used in an anchoring function to express meanings such as possession, kin, relation or authorship, (33-37). The majority of these ablatives refer to inanimate entities, quite often to abstract concepts.

- (33) *o schero le kultura-ker-o farajn-istar*
ART.NOM.M.SG head ART.OBL.M culture-GEN.M-M organisation- ABL.SG.M
'the head of the cultural organisation'

- (34) *o vilago le phur-endar*
ART.NOM.M.SG land ART.OBL.M old-ABL.PL
'the land of the ancestors'

- (35) *momentscha le patijarip-estar*
moments ART.OBL.M recognition-ABL.SG.M
'moments of recognition'

- (36) *kesdipe mra jom-akere rodip-estar*
beginning my.OBL step-GEN.F.SG-PL search-ABL.SG.M
'begin of my tracking'⁷
- (37) *o khetanipe le Rom-endar*
ART.NOM.M.SG unity ART.OBL.M Roma-ABL.PL
'the unity/relations of the Roma'

There are even two attestations of synthetic ablative forms in the DEC expressing dative meanings, (38) and (39).

- (38) *o loj adale gondolip-esker-e than-estar*
ART.NOM.M.SG money DEM.PL thinking-GEN.SG.M-PL place-ABL.SG.M
'the money for this place of commemoration'
- (39) *textscha prindscharde paprusch-enger-e neviptsch-endar*
texts known paper-GEN.PL-PL news-ABL.PL
'articles for known magazines'

Turning now to the analytic ways of expression of the ablative in Burgenland Romani we see that the analytic construction with *andar* in the CC expresses the full range of ablative meanings found in the synthetic ablative construction in the CC. The greatest number of analytic ablative constructions with *andar* refers to the expression of origin and source, (40-42), but there are also attestations of the expression of cause or participative meanings, (43) and (44).

- (40) *andar o logeri*
from ART.NOM.M.SG camp
'from the concentration camp'
- (41) *andar o gav*
from ART.NOM.M.SG village
'from the village'
- (42) *andar i erschti ehe*
from ART.NOM.F.SG first marriage
'from the first marriage'

7 Also consider the genitive construction *jomakere rodipe* 'tracking' with the German compound equivalent *Spuren suche*.

- (43) *andar i phari buti*
from ART.NOM.F.SG heavy work
'because of the hard work'
- (44) *andar mro cilokipo*
from my whole family
'of all my people'

In the DEC analytic ablative constructions with *andar* exclusively express the origin or source of something or someone (45).

- (45) *andar i Austrija*
from ART.NOM.F.SG Austria
'from Austria'

Finally, the analytic construction including the German borrowed preposition *fa* 'from' in the CC is exclusively used in combination with place names. Differently to the observation made by Halwachs (2012: 59), *fa* does occur both with a synthetic ablative form and a nominative form in the CC. There seems to be a tendency for *fa* to occur with the nominative if the place name is a German place name, and with the synthetic ablative form if the Romani version of a place name is used, compare examples (46-49).

- (46) *fa Poslin-atar*
from Bachselten-ABL.F.SG
'from Bachselten'
- (47) *fa Betsch-istar*
from Vienna-ABL.M.SG
'from Vienna'
- (48) *fa Unterwart*
from Unterwart
'from Unterwart'
- (49) *fa Linc*
from Linz
'from Linz'

As mentioned above, there is no attestation of the ablative construction with *fa* in the DEC.

6 Discussion and conclusion

The distribution of frequencies and functions in the two corpora allows for a number of conclusions. With respect to the functions of synthetic genitives and ablatives there is a clear tendency towards functional specialisation in the DEC. Genitives are used primarily in a non-anchoring qualifying way to render German compound nouns in Romani, while the synthetic ablative is used in an anchoring function to express typical genitive meanings. While there are only some attestations of non-anchoring genitives in the CC, in the DEC this function of genitives is clearly the most prominent one. Synthetic ablatives, on the other hand, take on a new function in the DEC that is not attested in the CC. The analytic ablative construction with *andar* on the other hand is primarily used to express typical ablative meanings such as origin and source in the DEC. While in the CC there are three different structural means, the synthetic ablative and two different analytic ablative constructions, that at least to some extent all express all kinds of ablative meanings (origin, source, cause, partitive), in the DEC there is more specialisation with respect to the available means of expression, with one means of expression, the analytic ablative including the German borrowed preposition *fa*, being totally absent in the elaboration corpus. The following tables illustrate the functional change taking place from the older texts in the CC to the more recent ones in the DEC (dark grey fields mark the main functional domain, while light grey fields indicate marginal areas of use of a particular means of expression).

Table 1: Functions of structural means in the codification corpus:

	synthetic genitive	synthetic ablative	analytic ablative with <i>andar</i>	analytic ablative with <i>fa</i>
anchoring function				
qualifying function				
source, origin				
partitive				
cause				

Table 2: Functions of structural means in the dRoma elaboration corpus:

	synthetic genitive	synthetic ablative	analytic ablative with <i>andar</i>	analytic ablative with <i>fa</i>
anchoring function				
qualifying function				
source, origin				
partitive				
cause				

Halwachs (2012: 13) suggests that the equation of the synthetic ablative construction with typical genitive meanings happened via a possessive construction in the German regiolect of the region. Possessive relations are rendered in this regiolect with the use of the preposition *von* ‘from’, that is also used in the expression of origin and source, thus typical ablative meanings. He suggests (ibd.) that the use of *von* triggers the use of the synthetic ablative construction in Burgenland Romani to render possessive meanings. Once this equation has happened, the use of synthetic ablative is extended to further genitive meanings. The same equation seems to have happened in Sinti Romani dialects, that are also in strong contact with German. In a bible translation in German Sinti Romani there are possessive uses of synthetic ablative forms, such as *o latcho lab e Jesusestar* ‘the good word of Jesus’ (Romani Biblia: 01 Mateo). The full functional scope of synthetic ablative forms in German Sinti dialects has to be explored in a future paper.

The step to the new functional specialisation as observed in the elaboration corpus is much smaller with respect to the genitive construction since there are attestations of non-anchoring, qualifying uses of the genitive in the codification corpus. Thus, while the synthetic ablative takes on a new function, the genitive construction expands a marginal usage pattern to the most prominent pattern of usage.

The high frequency of both synthetic ablatives and genitives in the elaboration corpus can be attributed to the shift in domains and genres that happened in the use of Burgenland Romani in the past 30 years. There are simply great differences in the topics talked about in the CC, since it mostly contains biographic stories and tales, and the DEC that exclusively consists of journal articles. The two corpora thus not only differ in the topics talked about, but also with respect to text structure. Biographic stories are oral in structure, whereas journal articles clearly show all the features of written texts. As observed by Halwachs (Halwachs 2013:

43), with the change in genres and topics also comes a change with respect to the contact variety of German. While the orally used dialectal varieties of German were the most important contact languages for Burgenland Romani prior to the functional expansion of the language, the German written standard serves as the model for expanding Burgenland Romani to new functional domains. This switch in contact varieties also explains the absence of the analytic ablative construction with *fa* in the texts of the DEC: *fa* clearly is an element borrowed from the dialectal German variety spoken in Burgenland and thus is not part of the language variety, i.e. the German written standard, that is used as the model for the creation of formal written Romani texts such as journal articles.

The Burgenland Romani data and also the impressionistic data from Sinti Romani dialects show that in these dialects a shift in the function of the ablative, and at least in Burgenland Romani also the genitive, has taken place. It is yet to be explored whether similar shifts in case functions can also be observed in other Romani dialects, with and without language contact influence. One direction for further research could be Macedonian Romani dialects, where in more recent texts a shift from synthetic ablative forms towards an analytic ablative construction as well as the use of ablative forms in genitive functions has been observed (Victor Friedman, p.c.).

References

- Halwachs, Dieter W. 2012. Functional expansion and language change: The case of Burgenland Romani. *Romani Studies* 22/1: 49–66.
- Halwachs, Dieter W. 2013. *The Burgenland Romani Experience*. RomIdent Working Paper 14.
<http://romani.humanities.manchester.ac.uk/virtuallibrary/librarydb//web/files/pdfs/372/Paper14.pdf> (2015-12-07)
- Koptjevskaja-Tamm, Maria. 2000. Romani genitives in cross-linguistic perspective. In: Viktor Elšík / Yaron Matras, eds. *Grammatical relations in Romani: The noun phrase*. Amsterdam: Benjamins: 123-150.
- Romani Biblia. O latcho lab o Jesus Kristestar har o Mateo les menge tchinis.*
<http://www.romanes-arbeit-marburg.de/cms/upload/pdf/nt/02-Marko.pdf> (2015-12-07)

Виктор Шаповал

О надёжности данных старых словарей при описании цыганской лексики

Прежние мои усилия были направлены на верификацию свидетельств жаргонных словарей русского языка относительно элементов цыганского происхождения, что нашло отражение в ряде публикаций (Шаповал 2007; 2008; 2008а; 2011). Последние две работы при критической оценке цыганского по виду материала в недавних жаргонных словарях русского языка опираются на словарь Вильгельма Польцера (Polzer 1922), что позволило выявить ряд ошибок, перешедших из него в русские словари. Однако они отразили не все ошибки своего базового источника, а в цитируемом ими немецком источнике далеко не всё благополучно с точки зрения достоверности. Эти ошибки можно разделить на две группы, поскольку в нём (а) представлены не всегда корректные описания, некритично заимствованные из словарей предшественников; (б) цитируя материал предшественников, В. Польцер передаёт его не всегда корректно.

1 Не вполне корректные описания из словарей предшественников

Одним из источников «полезных», по мысли В. Польцера, для немецких борцов с преступностью цыганизмов послужил словарь испанскоцыганского диалекта Дж. Борроу, где встречаются своеобразные ошибки (Adiego, Martin 2006: 10).

1. Так, довольно простым для исправления случаем является смешение латинских *r* и *v*: исп.-цыг. «*Chavo*, s. m. A plate. Plato» <блюдо> (Borrow 1843-II: *36), обычно чя́ро́ ‘чашка’ (Деметеры 1990: 170), у Польцера из другого источника так же: «*Čaro Schüssel*» <сосуд> (Polzer 1922: 14). Ср. словацкоцыганское «*čaro m mísa*» <миска> (Romsko 1998: 68). Неточности могут возникать и при копировании толкования:

2. «Херáми (мн.) – браслет» (М: 266; Б: 268). < «*Cherami* [864] Armband <браслет>: 1922 Рo» (W: 72); «*Cherami Armband*» <браслет> (Polzer 1922: 15). Ранее в испанской графике с начальным *j-* [x-]: «*Jerámi* f. Bracelet. *Manilla*» (Pott-II: 171; Borrow 1843-II: *62). Слово *херами* уникально, оно есть только в этом описании испанскоцыганского диалекта. Но другие варианты этого слова не столь уникальны:
 - a) «*Erajami*, s. f. Dress of a friar. Habito de fraile» <ряса монаха> (Borrow 1843-II: *48), спр. кэлдэрарское *raxámi* (ж. р.) ‘пальто’ (Деметеры 1990: 132);
 - b) с метатезой слов: «*Jarámi*, s. f. Jacket. Chaqueta» <жакет> (Borrow 1843-II: *61);
 - c) вероятно, с чисто визуальным смешением *r – s*: «*Jesáme*, s. f. Waistcoat. Chupa» <куртка> (Borrow 1843-II: *62).К этим вариантам одного и того же слова со значением ‘верхняя одежда’ следует добавить и «*Jerámi*, s. f. Bracelet. *Manilla*» (Borrow 1843-II: *62), только толкование «*Manilla*» надо исправить на **Mantilla* (накидка). Метатеза отмечается в этом словаре и в других случаях (Adiego, Martin 2006: 17, nota 25). Дж. Борроу в Испании, очевидно, делал записи по-испански. В момент добавления английского перевода толкование *Mantilla* не было опознано адекватно. Это предположение также позволяет понять, что никто в Испании, Германии или России никогда не называл ‘браслет’ словом *херами!* Это опечатка, эхо которой мы наблюдаем до сих пор за пределами Испании. В последнее время СМИ пишут о борьбе против русской мафии в Испании, вряд ли знание слова *херами* может помочь в этом деле.
3. «*Mericléen*, s. f. Yard, court. *Corral*» <двор> (Borrow 1843-II: *76), не вместо ли **coral* <коралл> / **collar* <бусы>? Сложнее интерпретировать с приемлемой уверенностью следующий случай: «*Minrricla*, s. f. Cloud. *Nube*» <облако> (Borrow 1843-II: *76), не вместо ли исп. **nicle* ? <халцедон (как материал для бижутерии)>. Ср. рус.-цыг. *мириклá* (ж. р., мн. ч.) ‘бусы, ожерелье’ (Сергиевский, Баранников 1938: 72), а также *мириклé* (м. р., мн. ч.) ‘бусы, ожерелье (там же)’. Тогда приходится предположить, что английские эквиваленты добавлялись позднее к первичным испанским, которые могли по прошествии времени быть прочитаны неверно.

2 Не вполне корректные приёмы цитирования материала предшественников в словаре В. Польцера

4. Не только книга Дж. Борроу послужила источником ошибочных записей цыганских слов для В. Польцера. Смешение латинских *r* и *z* наблюдается при копировании и какого-то другого источника: «*Cvizi Hammer*» <молоток> – это явно **Cviri* [≈цифри], ср. тот же грекизм в других написаниях: «*Sfiri Hammer*»; «*Sviri Hammer*» (Polzer 1922: 17, 85, 89), повторяет А.Ф. Потта (Pott-II: 248), это название сферы – греч. σφαίρα и σφαίρη, в ряде цыг. диалектов – молот. Ср. словацкоцыганское «*svirind m kladivo*» <молот> (Romsko 1998: 253).
5. Смешение латинских *n* и *u*, *r* и *z* наблюдается в «*Lauri Kette*» <цепь> (Polzer 1922: 51), думается, правильно – **Lanzi*, ср.: «*Lanci Kette*» (Polzer 1922: 50), ср.: «*Lancos Kette*» у А.Ф. Потта (Pott-II: 336). Источник: румынское *lanț*, сербское *ланац* и проч. Вариант с явно цыганским окончанием заимствований «*Lankos Kette*» (Polzer 1922: 50) напоминает уменьшительное в словацкоцыганском: «*lancka ž/ lanckos m (-i <plur.>) řetízek*» <цепочка> (Romsko 1998: 164).
6. «*Moddo Truhe, Kiste, Kasten*» <сундук, ларь, ящик> (Polzer 1922: 59), повторяет А.Ф. Потта (Pott-II: 437), переразложение в 4-элементной графической группе: *cht* прочитано как *dd*, правильно: «*Mochto Truhe, Kiste, Kasten*» <сундук, ларь, ящик> (Polzer 1922: 59). Ср. словацкоцыганское «*mochto m truchla; rakev*» <сундук; гроб> (Romsko 1998: 180). Довольно неожиданно у В. Польцера представлены ошибки идентификации языка цитируемого описания. Он забывал, что толкование было выписано на английском языке, и принимал его за немецкое:
7. «*Oruji Rind*» <корова, единицы крупного рогатого скота> (Polzer 1922: 63), ср.: «*Orúji, s. f. Rind, husk* <кора, кожура, шелуха, оболочка>. Cáscara.» <кора> (Borrow 1843-II: *84). Вряд ли немецкие преступники, охотно воровавшие коров после Первой мировой войны, применяли такое редкостное слово. Кроме того, трудно отрешиться от мысли, что в данном случае невозможно выбрать правильный из двух близких вариантов *Oruji* и *Dróji* и понять, какой из них считать правильным: «*Dróji, s. f. Rind, peel* <кора, кожура>. Cáscara.» <кора> (Borrow 1843-II: *84).

8. У Польцера имеется ошибка, явно указывающая на цитирование английского толкования: «*Vasavo Bad*» <ванна, а не английское «плохой»> (Polzer 1922: 94); ср.: «*vesavo lahm*» <хромой> (Polzer 1922: 96).

К анализу этого слова можно кое-что добавить: рядом с этим словом стоит похожее прилагательное: «*Vesavo (Cripple, lame)*» <увечный, хромой> (Pott-II: 85), причём у Потта строкой выше приведено из того же английскоцыганского диалекта: «*Vasavo Bad*» <плохой>. Похоже, значение ‘хромой’ ошибочно выведено Поттом из единственного контекста: «*vesava peras Lame feet*» ‘хромые ноги’. Это обычное английское выражение: *bad legs* – больные (букв.: плохие) ноги.

Ч. Леланд позже писал: «*There are two words for “bad” in English Gipsy, wafro and vessavo*» <В английскоцыганском есть два слова для ‘плохой’: *wafro* и *vessavo*> (Leland 1874: ch. I), из чего следует, что обозначенный *ss* интервокальный [s] в этом слове глухой. Этому противоречит отражение этого слова в русском жаргонном словаре: «Фезáво (мн.) – хромой» (М: 259; Б: 259).

Остается признать, что это была в целом не слишком продуктивная идея: через сто лет после публикации (когда даже на месте первоначальной фиксации этот диалект должен был, по меньшей мере, заметно измениться под влиянием языка окружения) вставить в словарь немецкого жаргона слово со значением ‘плохой’ из английскоцыганского диалекта в частном толковании ‘хромой’ и ждать, пока кто-нибудь попадётся. Первый скромный результат был получен только через 70 лет: русский словарь жаргона повторил это слово, приняв его за чистую монету, уже в собственном фантастическом прочтении.

9. В заключение предлагаем комментарий к одному неясному слову, источник которого у Польцера не указан: «*Lachaviben Eid*» <клятва> (Polzer 1922: 49).

Вольф ссылается только на Польцера (W: 190, № 3050). Это слово похоже на *совлахавиэн* ‘клятва’ (от *совлахава* ‘клянусь’) с утраченным первым слогом, например, принятым за *со* ‘что’. Такое разбиение, в отличие от составного глагольного речения *хава совлах*, не отмечалось.

При проверке данных словарей прошлого всегда возникает вопрос, с какой целью необходимо проводить такого рода критические переоценки. Ответов может быть несколько. Наряду с академическими целями нельзя забывать и о человеческом измерении. Данные словарей часто используются некритично для подкрепления давнего и спорного тезиса о том, что влияние цыганских диалектов на жаргоны европейских языков было беспрецедентно масштабным и постоянным для значительных

территорий. В действительности такое влияние было чрезвычайно ограниченным в географических и в хронологических рамках, а связь между отдельными жаргонами нуждается в более реалистичном и тщательном изучении. Последнее для непротиворечивой реконструкции прошлых состояний практически не имеет источников и инструментария, поэтому и ошибочные свидетельства давних словарей могут оказаться ценностями в каких-то случаях.

Литература

- Б = ББИ 1992 – Балдаев, Д. С. / Белко, В. К. / Исупов, И. М. 1992. *Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: речевой и графический портрет советской тюрьмы*. Одинцово.
- Деметеры 1990 = Деметер, Р. С. / Деметер, П. С. 1990. *Цыганско-русский и русско-цыганский словарь (кэлдэрарский диалект)*. Под ред. Л. Н. Черенкова. М.: Русский язык.
- М = Мильяненков, Л. А. 1992. *По ту сторону закона: Энциклопедия преступного мира*. СПб.
- Сергиеvский, М. В. / Баранников, А. П. 1938. *Цыганско-русский словарь*. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей.
- Шаповал, В. В. 2007. Цыганские элементы в русском воровском арго? (размышления над статьей акад. А. П. Баранникова 1931 г.). *Вопросы языкоznания* 5: 108–128.
- Шаповал, В. В. 2008. Переоцінка внеску українського циганського діалекту до російського злодійського жаргону у світлі критики сумнівного джерела 1927 р. Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. 15: 504–516.
- Шаповал, В. В. 2008а. новые «цыганизмы» в русских жаргонных словарях. *Вопросы языкоznания* 6: 49–77.
- Шаповал, В. В. 2011. *Цыганизмы в жаргонных словарях: Критерии достоверности описания*. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Adiego, Ignasi Xavier / Martin, Ana Isabel. 2006. George Borrow, Luis de Usoz y sus respectivos vocabularios gitanos. *Revista de Filología Española* LXXXVI(1): 7-30.
- Borrow, George H. 1843. *The Zincali; or, an Account of the Gypsies of Spain by George Borrow. Vol. I-II*. London.
- Leland, Charles G. 1874. *English Gipsies and Their Language*. London.
<http://www.sacred-texts.com/neu/roma/egl/index.htm> (05.11.2015)
- Polzer, Wilhelm. 1922. *Gauner-Wörterbuch für den Kriminalpraktiker*. München, Berlin, Leipzig.
- Pott, August F. 1854. *Die Zigeuner in Europa und Asien*. Halle.
- Romsko 1998 = Hüb schmannová, Milena / Šebková, Hana/ Žigová, Anna 1998. *Romsko-český a česko-romský kapesní slovník*. Praha.
- W = Wolf, Siegmund A. 1956. *Wörterbuch des Rotwelsch. Deutsche Gaunersprache*. Mannheim.

Тетяна Сторожко

Поховальна обрядовість ромів Слобідської України

Смерть людини, особливо молодої, у ромів, як і в інших народів, — велике горе. У звичаях і віруваннях, пов’язаних зі смертю людини, простежується нашарування елементів різних часів і культурних рівнів: архаїчні язичницькі уявлення про смерть, загробне життя і вплив покійників на живих поєдналися з пізнішими християнськими, утворивши складний смыслово-емоційний комплекс. Дослідження обрядової системи поховального та поминального циклів доповнить наші знання про світоглядні засади традиційно закритої ромської спільноти. Раніше нами робилась спроба вивчення локальної специфіки родинної звичаєвості ромів Слобідської України, однак досі не приділялось належної уваги поховальній обрядовості.

Для осягнення поліваріантності етносоціальних моделей розвитку циганської культури важливо враховувати історію регіону і те, як вписується циганська громада в етнокультурне поле в нашому випадку, в умовах українсько-російського прикордоння. Окрім існуючих історико-джерелознавчих досліджень М. Плохинського кінця XIX ст. та етнолінгвістичних праць О. Бараннікова кін. 20-х рр. ХХ ст., це питання в історіографії не піднімалось (Плохинський 1890). На основі джерел М. Плохінського прослідковує наявність укорінених традицій, взаємодії циган з українською громадою на побутовому рівні, а О. Баранніков виокремлює мовні анклави етнодіалектних груп русска рома і сервів. Місце циганської громади в історії міста в певній мірі досліджено автором, — протягом восьми років (2008-2016 рр.). Під час польових досліджень було зібрано й опрацьовано комплекс наративних джерел.

Розвідки присвячені циганам, базовані на усноісторичних матеріалах, не входять до класичних досліджень в рамках вивчення місцевої історії, тому затребуваним стає етнографічне знання. На думку дослідника С. Токарєва, уявлення про похоронні звичаї не обмежуються лише похованням як таким, а включають також і пов’язані з ними повір’я, уявлення про загробний світ, магічні обряди і заборони, дари і жертви, обрядові оплакування, надгробні пам’ятники, поминальні звичаї траурний одяг та ін. (Токарев 1999: 42). Тому ми спробуємо описати все вищезазначене, поділивши похоронну обрядодію на три цикли: перший пов’язаний з актом смерті; другий — з похороном; третій — з післяпохоронними звичаями та обрядами, в тому числі й поминальними.

1 Передвісники смерті

Серед ромів Слобожанщини побутує велика кількість прикмет, що сповіщають про скору смерть. Так, вірять, що звістку про смерть приносить пташка, яка залетить до хати, чи застукає у вікно: «*Є ізвестія. Оце Альона рассказивала [...]. Синичка, каже, залетела, каже, уже буде ета ... нежарошое. В неї мать вмерла. Ніхто не очидал»* [3]. Віщують скору втрату також сни, де мрець приходить, щоб забрати із собою когось із живих: «от приснився, дапустім [...], шо прішол забірати мать. Так і етат сон очень плахой. Ета так і збудется. Мертвец прішол забірати живого» [3].

2 Похорон

Ніхто спеціально не завідомляє про смерть, а тим більше не запрошує на похорон, про це довідуються один від одного: «*I даже в нас не зовут допустім, от например, тъотя Галя вмерла, не зовут допустім, шо ета. Всі ідуть. В нас нету этого. Приглашения нету. У нас все идут, вся Ахтирка.* Заходять на подвір'я покійного мовччи. Навіть, якщо люди приїхали здалеку і не бачились довгі роки, все одно дотримуються заборони подавати руку, чи вітатись в якийсь інший спосіб.

У домі, де є покійник обов'язково слід завішувати дзеркала, «*шоб не показалося*» [2]. Вірять також, що душа померлого може злякатись свого відображення і тоді їй буде важче знайти дорогу на той світ.

Згідно з уявленнями про ритуальну чистоту, смерть і все, що з нею пов'язано, вважається ритуально нечистим і може завдати шкоди ромам, якщо не дотримуватись певних правил і обмежень. Так, мерця миють і вибають на смерть спеціально запрошенні для цього гадже, тобто «нецигани». Воду після миття небіжчика виливають в таке місце, де ніхто не ходить, наприклад під якийсь паркан. Вірять, що коли хтось вступить у цю воду, то буде слабувати і невдовзі помре. Вибають мерців обов'язково у новий одяг. Якщо ховають молоду людину, що не була у шлюблі, то її одягають у весільне вбрання.

Серед ромів Слобожанщини побутує стійке уявлення про те, що в потойбічному світі померлий зберігає всі свої потреби і відповідно йому можуть знадобитись речі, якими той користувався за життя. Від цих речей залежить благополуччя небіжчика на тому світі. Серед іншого, інформанти частіше за все називали рушник і мило. Однак цей набір може доповнюватись

найрізноманітнішими речами, в залежності від того, що особливо любив покійний, наприклад, це можуть бути як цигарки, так і фарба для волосся. Якщо померлий не залишив окремих вказівок щодо своїх золотих прикрас, то все золото, що належало йому, слід також покласти в труну. Пригадують, що раніше також було заведено кидати золоті монетки, тепер можуть просто покласти гроші.

Під час інтерв'ювання роми уникали таких слів як «труна» чи «домовина», натомість зазначали, що замість них вживають слово 'дім' (ром. *кхер*). На прохання автора інформанти переклали на ромську мову окремі фрази, якими замінюють слово «труна»: *мулітко кхер* (досл. 'мертвий дім'), *кхер леско* ('його дім'), *кхер джя те кіне* ('піти купити дім'). Варто зауважити, що локальні особливості таких мовленнєвих нюансів потребують подальшого детального вивчення. Так серви з Київщини також уникаючи слів «гроб» і «труна», вважають неможливим замінити їх на «дім», оскільки це може накликати біду на оселю померлого і його родину [4].

Виносять домовину із хати (*виліджян мулес* досл. <виносять померлого>) і несуть на кладовище (*ліджян мулес* досл. – 'несуть померлого') сусіди або чужі люди, оскільки членам родини цього робити не можна [5].

Померлих ховають на циганському кутку міського кладовища. Перш ніж спустити труну в яму, її викладають цеглою, дно застеляють килимом. Коли труну спущено, все це покривають листом заліза, утворюючи своєрідний склеп. З розповіді інформанта: «*Закривається ето всю. I начинаютъ тоді цигане кругом гроба кидать мелоч. Не землю кидаютъ пусту. То каждый бросає*» [1].

3 Поминальне застілля

Невід'ємним елементом поховально-поминального комплекса виступають поминальні трапези. Зазвичай застілля, що проводиться відразу після поховання померлого, є завершальною стадією похоронного ритуалу. На поминальний обід рідні кличуть родичів, сусідів та інших людей, що брали участь в похороні. Тризну, влаштовують здебільшого в хаті померлого. Лише в окремих випадках, коли місця всім не вистачає, помини відбуваються в кафе.

На трапезу зазвичай збирається велика кількість людей, тому сусіди і особливо близькі родичі допомагають сім'ї покійного матеріально, різними стравами і своєю працею, беручи участь в приготуванні їжі і обслуговуванні присутніх людей. Родичі надавали і надають підтримку близьким померлого перш за все тому, що вони вважають смерть людини не тільки справою його сім'ї, а й усього роду. У цьому проявляється давній звичай – родова взаємодопомога.

Своєрідність застілля виявляється в тому, що традиційно воно сприймається в суспільстві як спільне годування живих і мертвих. На поминках після похорону для небіжчика залишають за столом вільне місце. Дослідниця Л. Лепешкіна зазначає, що годування померлого пов'язане з необхідністю забезпечення небіжчика їжею в потойбічному житті. Завдяки проведенню поминок відбувалося постійне поповнення запасу їжі, бо нерідко загробний світ може бути представлений в категоріях зліднів і достатку. З одного боку, померлий має потребу в турботі близьких йому людей, а з іншого – знаходить стан спокою, який унеможливлює самостійний пошук небіжчиком собі прожитку. Тому обрядове застілля повинно вирізнятися достатком (Лепешкина 2011: 344). З цього приводу інформанти зазначають наступне: «*Ну как на свадьби, так и помини. Токі ото, шо то радость, а ета... А столы одинаковые*» [3]. На поминальному застіллі обов'язково має бути гаряча перша страва: охтирські роми віддають перевагу солянці з додаванням великої кількості копченого м'яса та ковбаси. У великій кількості подають м'ясні страви та фрукти. Опитані нами роми не назвали страв, чи продуктів, які було б небажано вживати за поминальною трапезою. Проте існує сувора заборона класти на стіл виделки, тому користуються лише ложками. Зі спиртних напоїв подають здебільшого горілку. Перед тим, як випити, надливають кілька крапель на стіл, і роблять на цьому місці кругові рухи чаркою, промовляючи при цьому: «Царство небесне!». Якщо під час буденного чи святкового застілля хтось згадує в розмові померлу людину, прийнято також підняти чарку за «царство небесне» і відлити кілька крапель для її душі. Слід зауважити, що це суворо заборонено робити під час весілля чи святкування дня народження.

Поминальне застілля має свій досить жорсткий етикет. Для похоронно-поминальних трапез характерні стриманість в прояві емоцій і підвищена увага до особи небіжчика. У будинку покійного або в будь-якому іншому місці, де відбувалися поминки, неговорять голосно ізбуджено, тим більше не сміються (Лепешкина 2011: 345).

Роми вірять, що впродовж сорока днів після смерті душа померлого блукає вдома поряд з близькими і рідними. Тому для неї щоранку у спеціально відведеному місці в будинку ставлять склянку свіжого чаю.

4 Поминки

Всі особисті речі померлого вважаються нечистими, тому їх прийнято роздавати, знову ж таки – нециганам. Обов'язково треба влаштовувати поміні – поминати покійного на третій, дев'ятий і сороковий день після смерті, а також через півроку і за рік. Таке частування повинно захистити рідню від візитів душі покійного

і забезпечити йому безбідне існування «на тому світі». Задобрити небіжчика можна за посередництва осіб, що символічно заміщають його, оскільки приготування «чужих» рівнозначне частвуванню самого небіжчика. Окрім зазначених пам'ятних днів родичі можуть обрати додаткові дати для поминання, наприклад, день народження покійного. У поминальні дні (3-й, 9-й, 40-й, півроку, рік, а також дні, визначені церковним календарем) ідуть до церкви, де священик відправляє богослужіння і панахиду за душу померлої людини. До церкви прийнято нести багату «panахиду»: «Ой, цигане ж дурний народ! Вони несуть – ета хай Бог милує! Таки сумки! I сахар, i канфети, i тарти... Ну всьо.. i муку... ну ета... може колбасу токи не несуть! А може й несуть, не знаю» [3].

Близькі родичі дотримуються суворого трауру впродовж сорока днів. Потім за бажанням він може продовжуватись до піврока, а інколи й до року. Протягом поминального періоду особи, що носять траур, не з'являються в компаніях, де проводяться розважальні заходи: «говоріт, у него траур, а он приперає на свадьбу. От, не положено» [1]. Чоловіки з родини померлого не голять бороди. На відміну від оточуючого населення, чорний колір у ромів не є переважаючим під час трауру. Жінки можуть покрити голову темною хусткою або увінчати зачіску чорним бантом.

Через рік, а інколи навіть піврока, родичі встановлюють на могилі надгробок. Циганські пам'ятники легко розпізнали за зовнішнім виглядом – їх намагаються зробити вищими та масштабнішими за оточуючі. Зображені на ньому покійного, роблять акцент на дорогоцінних прикрасах, чи інших статусних речах. Щоб підкреслити заможність небіжчика, його можуть зобразити за багато накритим столом. Подекуди на зворотньому боці плити можна побачити коня, чи машину, на якій їздив похований.

Раніше досить пошиrenoю практикою було фотографування похорону, про що свідчить велика кількість такого роду фотографій в родинних альбомах. Знаково, що інтерес фокусувався не на самому обряді, його етапах, а на виконанні родинного обов'язку. Швидше за все, фотографується не стільки покійний, скільки родичі та друзі, які приїхали на скорботну церемонію. Композиційно, фотографії побудовані так, що всі живі протистоять одному мертвому. Практики фотографування в такому випадку заповнюють деякі соціальні «проломи». Фотографія розширює коло учасників, адже може бути пред'явлена й тим, хто на похороні не був присутній, але, розглядаючи фотографію, вони також долучаються до колективної пам'яті, вшановують пам'ять покійного (Зіневич, Сторожко 2009: 626). Із розвитком мобільного зв'язку, та появою серед ромів активних користувачів мережі Інтернет, спілкування на відстані набуло нових форм, і поступово фотографування похоронного дійства відійшло в минуле. Тепер на такі знімки накладено табу, оскільки вважається, що вони несуть «негативну енергетику», а сам процес фотографування під час

поминів вдома або на кладовищі може налякати, чи обурити душі померлих.

Певних трансформацій зазнали і звичаї відвідування кладовища. Так, раніше одним із поминальних днів серед ромів Слобожанщини вважалось церковне свято Преображення, тобто літнього Спаса. Після освячення в храмі яблук йшли на кладовище, аби «привітати» померлих родичів. Зараз говорять, що так робити не можна, бо «*ан¹* ж дамой приходят, а ми на кладбіще, незя. Даже батюшка говоріл, що нізя» [3].

Не сприймається всіма членами громади і піддається осуду нововведення відвідування гробків молодятами під час весілля. З цього приводу зазначають наступне: «*Ось свадьба іде, напрімér, і заїжжають на кладбіще².* Тоже це неправильно. Не положено. Ось невеста заїжжаєть там, хто там родичі єсть, чі хто... Оце йде і возле могілкі цей нада випіть там. Помінуть. Це ж може неправильно» [2].

Найбільш «популярними» поминальними днями лишаються Радониця (на десятий день після Великодня) і Трійця. В ці дні родичі йдуть на могилки, беруть з собою вино, пиво, їжу. Коли п'ють самі, ллють трошки на могилу. На кладовищі пригощають одне одного, переходячи від однієї огорожі до іншої, оскільки в місцях компактних поселень існує велика кількість циганських могил, і відповідно в поминальні дні тут збирається багато циганських родин. Ідучи додому, частину їжі залишають для померлих (Деметер, Бессонов, Кутенков 2000: 307). Забирати щось із кладовища суворо заборонено.

5 Категорія «свій-чужий» у відносинах померлих та живих

Невід'ємною складовою похованального та поминального обрядового циклів є системи поглядів про потойбічне буття. Після закінчення похоронно-поминального обряду статус померлого змінюється: зі «свого» він перетворюється на «чужого». Відповідно до цього трансформуються його взаємини з живими (Седакова 2004: 33).

Згідно з давнім звичаєм, від часу смерті і до погребіння небіжчика не можна залишати наодинці – вдень і вночі поряд має хтось знаходитись. Під час таких нічних «сидінь» в домі покійного збирається найближча рідня. Опівночі в домі на кілька хвилин вимикають світло і в повній тиші чекають на

¹ Душі померлих.

² Новим зараз є звичай зайїджати молодим під час весілля на кладовище.

прихід душі померлого. З цим пов'язана безліч розповідей про «віднія». Так, наприклад, О. Волошин, ром з міста Охтирки, розказав про похорон дружини свого родича наступне: «*Він³ пішов на діван сів на її, де вона вмерла [...] сидів він, каже, почув як ото в двенадцять часов ночі як діван тіна рипнув. [...] Вона сіла може возле нього. [...] А по плечу мене, каже, мене шось погладило*». Розповідають також, що в таку ніч у вікні можна побачити образ померлої людини [1].

Серед ромів Слобожанщини досить поширені уявлення про посмертне ходіння. В залежності від особливостей і обставин смерті померлих умовно поділяють на «чистих» покійників, тобто тих, хто помер, проживши наданий йому вік та виконавши своє життєве призначення, та нечистих, тих, які померли «не своею» смертю, не вичерпавши відведеної їм життєвої сили, і не виконавши свого призначення (Понікаровська 2015: 128-129).

Нами була записана історія про посмертне ходіння дівчини, яка наклада на себе руки: «*Було таке, було [...], це родственница моего мужа. Так ана такое витворяла. Девочка. Ана атравилась. Таблетки наглителись и всяко. Так вона также робила, страшне! Вона не давала им спать вообще! Тьотки своей. Вона её и душила, шо тіки не робила. И дряпалася... и ... люди из хати тікали. Я не знаю, в церкву вони ходили, чи шо? То обычно ходять запечатують, есі не запечатана...*» [2].

Однією з основних причин посмертного ходіння на думку дослідниці Н. Понікаровської є нерозірваність відносин померлого з його родиною, відмова прийняття померлим або його родиною нового статусу. Згідно з народними уявленнями, надмірна туга «не дає спокою та тім світі» і є каталізатором повернення покійного (Понікаровська 2015: 128-129).

Про блукання людської душі після смерті так оповів О. Волошин: «*Батько показався мне, мій, на дев'ять дней. Я не рассказывал хіба вам? [...] Ну так от не доходя короче, ну може метров десять до двора до своего... йде батько, навстречу. В костюмі, як поховали. Отак рубашка такая, отак, новая... новую рубашку купили, торчат... [показывает на собі високий комірець]. Волосы отак у него развиваются. Волосы здоровые у батька были. Отака была шевелюра [показывает на собі]. И отак от. И мене всякого затрясло от-так от [показывает]. З переляку. А до калітки метров чотири моей осталось уже дойти. А він навстречу мені отак. И я тоді як делаю прижок... у двір свій. Як я пригнув четыре метра... метров три-четире. Заскочив у двір свій. Став і стою серед двора. А в соседа овчарка собака была. Така, шо не пропустите. Хто мимо йде: гав і гав. Потом і сам собі думаю: «Есі собака загавкає короче, значит жива людина. Есі не загавкає, то значит точно не жива людина. Бачу, не гавкають собаки. Та шо ж такое? Ішов-ішов отут я бачив. Не гавкаютъ...».*

На окрему увагу заслуговують сни, в яких основними дійовими особами виступають померлі. Частіше за все такі сновидіння сповіщають рідним,

3 Чоловік померлої.

що покійного погано поминають. Досить поширеним мотивом є прохання померлого про якусь річ, чи їжу. У такому разі прийнято роздати «за упокій душі» цукерки, замовити в церкві заупокійну службу. Хоча інколи вдаються до радикальніших заходів і «передають» необхідні речі на той світ через іншого небіжчика: «*Биваєт вот, допустім, снітся какой-то женщіне, шо ейо мать там просто замерзает... там⁴ ей холодно. Тепер кто-то уміраєт, допустім, несуть, ложать, допустім, кофту ету мертвецу, шоб он передал тіла на том свет етой⁵.* В той гроб ложать, допустім, шубу там, кофту тьоплую ложать, передают. [...] *Ілі ... Ну то давненько було. Комусь Ленка Дарашова приснилась і каже: "В мене так ноги замерзли". Купили тапки і передали. Всю. I не стала снітися*».

6 Висновки

Проаналізувавши поховальну обрядовість руска рома та сервів, що проживають на території Слобідської України, можемо відзначити притаманний їй синкретизм і вплив культури слов'янського оточення, передусім українського. На фоні традиційної релігійності ромів спостерігаємо змішання православних ритуалів із архаїчними язичницькими практиками та системами табу, притаманними й іншим ромським групам.

Шануванню померлих роми Слобожанщини приділяють велику увагу. Смерть розглядається ними як момент переходу в світ мертвих зі зміною статусу зі «свого» на «чужого». Це істотно впливає на взаємовідносини ромів з потойбічним світом, адже вони впевнені, що родичі потребують їхньої уваги та допомоги і на тому світі. Ця система вірувань засвідчує усталений порядок співіснування та співвідношення двох світів. Якщо не задовольнити бажань покійних, не виконати свій борг перед ними, то на землі живі також не знатимуть щастя.

Неналежне поминання померлих призводить до посмертного ходіння, що яскраво відображене в записаних нами переказах та бувальщинах. Перспективним вбачаємо вивчення інших мотивів посмертного ходіння (туга за коханими, піклування про родичів, спокутування провини тощо). Окреме зацікавлення викликають переказані нам сни, аналіз яких в подальшому даст змогу більш детально та структуровано описати уявлення ромів Слобожанщини про потойбічне життя та світобудову.

⁴ На тому світі.

⁵ Жінці, яка наснилася.

Інформанти

Інтерв'ю проводились українською та російською мовою, однак в родинах інформанти спілкуються переважно ромською мовою.

1. Волошин Олег Анатолійович – циган із сервицького роду кубушки, 1961 р. н., с. Кардашівка, Охтирський р-н, Сумська обл. Інтерв'ю записано в листопаді 2008 р.
2. Волошина Манана Олегівна – циганка із сервицького роду кубушки, 1985 р. н., м. Охтирка, Сумська обл. Інтерв'ю записано в листопаді 2008 р.
3. Іванова Тамара Миколаївна – руська циганка із роду галчата, 1960 р. н., с. Кардашівка, Охтирський р-н, Сумська обл. Інтерв'ю записано в листопаді 2008 р.
4. Марковська Ліна Борисівна – циганка із сервицького роду болоби, 1946 р.н., м. Бровари, Київська обл. Інтерв'ю записано в червні 2016 р.
5. Набаранчук Раїса Борисівна – циганка із сервицького роду болоби, 1943 р.н., м. Бровари, Київська обл. Інтерв'ю записано в червні 2016 р.

Література

- Баранников, О. П. 1931. *Українські цигани. Національні меншини Радянської України. Київ.*
- Деметер, Н. / Бессонов, Н. / Кутенков В. 2000. История цыган – новый взгляд. Воронеж. ИПФ Воронеж.
- Зіневич, Н. / Сторожко, Т. 2009. Цигани Охтирщини (за матеріалами усних джерел та родинних фотоархівів). *Наукові записки* 19/II: 621-632.
- Лепешкина, Л. Ю. 2011. Застолье в похоронно-поминальных обрядах народов Среднего Поволжья XX в. *Вестник Саратовского государственного технического университета* 1: 343-348.
- Плохинский, М. 1890. Цыгане старой Малороссии (по архивным документам). *Этнологическое обозрение* 4: 95-117.
- Понікаровська, Н. А. 2015. *Подружня і сімейна туга як мотив посмертного ходіння в заложних (на матеріали українського фольклору).* Культура України 49: 126-135.
- Седакова, О. А. 2004. *Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян.* Москва: Индрик.
- Сторожко, Т. 2010. Родинні спогади як джерело до вивчення циганської громади Охтирщини ХХ-ХІХ ст. *Матеріали III Міжнародної Волинської історико-краєзнавчої конференції. Житомир.*
- Сторожко, Т. 2013. Цигани Охтирщини: локальна специфіка родинної звичаєвості. В. Г. Кушнір, ред. *Локальна та регіональна специфіка традиційної культури.* Одеса: 485-495.
- Токарев, С. А. 1999. Погребальные обычаи, их смысл и происхождение. *Этнографическое обозрение* 5: 42-47.

Anton Tenser

Grammaticalization in a Sinti sample from Poland

1 Introduction

As part of the ongoing Romani dialectology project at the University of Helsinki (“Finnish Romani and other northern dialects of Romani in the Baltic Sea area”, led by Kimmo Granqvist), a single Sinti variety sample was obtained in the town of Rawicz in the southwest of Poland. The sample was collected by means of the RMS (Romani Morpho-Syntax) questionnaire developed by Elšík/Matras (2001b) and their colleagues as part of the Manchester University RMS database (Elšík/Matras 2001a).

The sample was recorded by Władysław Kwiatkowski in 2013 and transcribed by Eva Gašparová; the transcription was checked by the author; data collection in Poland was managed by Erika Adamová. According to Erika Adamová (personal communication), the informant, a 50 y.o. male, was born in Poland where his parent(s) immigrated from Heidelberg, Germany. The sample exhibits an almost complete lack of Polish language influence – structural, lexical or phonological, consistent with the alleged migration time stated above. Thus, it would not be justified to refer to this variety as Polish Sinti in any strict sense of the term, and within this paper I will refer to it as Sinti in Poland (SiP).

New samples of Sinti varieties are hard to come by, due to an especially closed nature of Sinti communities and their extreme reluctance to divulge their language to outsiders, and are thus of special interest to Romani linguists. This fact alone informs one of the goals of this paper, which is to compare the features of the SiP sample at hand to those discussed in some of the existing literature on Sinti varieties. Another goal of this paper is to discuss a couple of specific cases of grammaticalization in the domains of negation and aspect that are apparently ongoing in SiP.

2 Feature comparison

The intention of this section is to ascertain to what extent the SiP variety is a typical Sinti variety. For this purpose, I will provide a comparison of Sinti-specific features discussed

in the literature with the features found in the sample at hand. For the comparison sources I will rely on Igla's (2005) summary and discussion of features found in previous descriptions of different Sinti varieties, Sinti features mentioned in Tcherenkov/Laederich (2004), and Bakker's (1999) list of features of the Northwestern dialects, which in addition to Sinti include Finnish Romani and Welsh Romani. I will also reference Holzinger's (1995) and Finck's (1903) descriptions of German Sinti. For some specific features I will be making reference to descriptions and analyses found in other sources.

2.1 Phonetics and phonology

SiP exhibits various phonetic and phonological characteristics typical of Sinti. This includes the dropping of the initial vowels in items such as *v-* < *av-* 'come', *mal* < *amal* 'friend', *vent* < *ivend* 'winter', *zi* < *ogi* 'heart' etc. (shared to some degree with Northeastern Romani dialects), and of vowel + nasal consonant: *brol* < *ambrol* 'pear'; typical prothesis limited to specific lexical items: *vava* < *aver* 'other' and *jaaro* < *aro* 'egg' (shared with Northwestern Romani dialects); and the characteristic presence of the initial vowels in the imperative *aven* 'come.PL.IMPER' (Igla 2005: 24; Bakker 1999: 193 for prothetic *v-* in 'other' as a distinctive feature of Northern dialects; Tcherenkov/Laederich 2004: 351 for initial vowel dropping in Northern dialects). Also typical of Sinti, SiR shows the presence of long vowels that is limited to the stressed syllables: *jaaro* 'egg'/'flour', *maaro* 'bread', to use examples from Igla (2005: 25); vowel reduction e.g. in the transitive marker *-er-* < *-ar-*: *had-er-el* 'he lifts/carries' (cf. Igla 2005: 25); and vowel loss in stems and transitive markers, as in *krel* < *kerel* 'he does', *bašrel* < *bašarel* 'he plays (a musical instrument)' (cf. Igla 2005:26).

The phonology of consonants in SiP also seems to be very representative of Sinti as a whole. The loss of aspiration in SiP seems to affect not only *čh*: *čavo* < *čhavo* 'boy' (Igla 2005: 26), but also other contexts where many other Romani varieties retain aspiration. Thus, in the sample we find *puro* < *phuro* 'old', *ker* < *kher* 'house' and *tem* < *them* 'place, country'. There does not seem to be a distinction between *r* and *rr* (cf. Igla 2005: 26), and palatalization is limited to a few lexical items, such as *pac-* < *patj-* 'believe' and *zi* < *di* < *ogi* 'heart'. The historical Romani *s/h* variation in SiP is always in favor of the *h*-forms, rendered as *h*, *j*, or *Ø*, in word-initial and medial positions, like in most Sinti varieties (Igla 2005: 27-28; Tcherenkov/Laederich 2004: 373). This includes copula: *tu hal* 'you are'; interrogatives: *hoske* 'why', *ho* 'what', *ha(r)* 'how'; instrumental case marking: *mit leha* 'with him', *tua* 'with you'; personal markers of present tense on verbs: *kamej* 'you.SG want', *bešaa* 'we are sitting' (although -*s* is found with subjunctive short-forms: *ti k(e)res* 'that you.SG do').

Another feature of SiP that is mentioned in Matras (2002: 54) for various European Romani dialects is the devoicing in word-final positions: *dat* < *dad* 'father', *čip* <

čhib ‘tongue’. Yet another process that is apparent in the SiP sample is the defricatization of *-v* accompanied by devoicing: *jov* > *jop* ‘he’, *gav* > *gap* ‘village’.

In line with Holzinger’s (1995: 4) observation for German Sinti, SiP exhibits an innovative word-initial stress with most inherited Romani nominal forms: *džúvli* ‘woman’, *šóšoj* ‘rabbit’, *térho* ‘young.m’, *píra* ‘foot’, *máro* ‘bread’, *tájsa* ‘yesterday/tomorrow’, *míriklo* ‘bead’; one notable exception is *sonokáj* ‘gold’. Nominatives with case marking preserve the conservative stress on the Layer I markers: *šošajéski švans* ‘rabbit’s tail’ (see Matras 2002: 64 for a similar observation concerning the Eastern Slovak Romani dialect).

2.2 Nominal forms

2.2.1 Case marking

The destabilization of the synthetic case marking in favor of analytic one through the use of prepositions is a known feature of Sinti in general (Igra 2005: 29-33), and SiP is no exception. Genitive case marking is fairly stable, although it tends to occur mostly with pronouns and with nominal derivations: *lesk(r)i daj* ‘his mother’, *lesk(r)o dat* ‘his father’, *tramaskro* ‘doctor’ (< *drap* ‘medicine’), *sonokaskri vergija* ‘golden chain’ (cf. Bakker’s 1999: 201 discussion on the uniqueness of the Northwestern dialects in the use of nominalized genitives; also see as early as Finck (1903: 5) for mentions of this phenomenon). Only contracted forms of genitive (-*k*-, -*kr*-) are found in the sample. Borrowed preposition *fon* is often used for genitive constructions with nominative or prepositional case: *musji foni roka* ‘the sleeves of a jacket’, *ko ker hi fon mire praleste* ‘this is my brother’s house’. Nominative in such constructions was found in the sample with pronouns, animate and inanimate, while prepositional was found only with pronouns and animate.

The use of other synthetic case markers is in evident decline, although this decline is not uniform. For each case, the use of the synthetic case marking is retained to a larger degree with pronouns, to a lesser degree with animate nouns, and to a lesser degree still with inanimate nouns. This is in line with Elšík/Matras’s (2006: 247) observation that animacy and lexicality (noun vs. pronoun) are two of the factors that inform the choice between inflectional and adpositional encoding of case relations. Dative is arguably the most stable synthetic case in SiP, likely due to its strong semantic association with animate objects in the benefactor case role. Even here, though, there are numerous examples in the sample where constructions which traditionally take dative appear with locative case marking: *de man-de kokova* ‘give me this!’, *da-jam ko gadžes-te pisla love* ‘I gave some money to a man’.

Instrumental and comitative relations are expressed through the German-borrowed preposition *mit*, which takes instrumental or oblique case with pronouns: *mit manca* ‘with me’, and nominative with nouns: *miri peň keles pi mit laki mal* ‘my sister was playing with her friend’. A similar state of affairs is seen with the use of ablative in SiP – ablative-type relations are expressed through the use of the borrowed preposition *fon/fun*, reinforced by ablative case on pronouns: *fun tutar* ‘from you’, locative or nominative on animates, and nominative on the inanimates: *šunam ko .. fon o čavende* ‘I heard this ... from the boys’, *jop vajes fon vavare gap* ‘he comes from another village’. Locative case in localization constructions (e.g. *paš mande* ‘by me’/‘next to me’) is found mostly with pronouns. Locative case marking on nouns is found mostly in instances where it has replaced other synthetic case markers (e.g. dative in the benefactor role or ablative in the source role).

The decline in the use of synthetic case marking is SiP is in line with Igla’s (2005: 29-31) description of Sinti as a whole, and in contrast to Finck’s (1903: 17-18) examples. Vocative is not attested in SiP, in line with Igla’s (2005: 33) observation for Sinti as a whole, and contrary to the earlier description of German Sinti (Finck 1903: 20).

2.2.2 Noun derivation

As already mentioned in the previous section, the use of genitive case marking is a productive way to derive nouns: *tramaskro* ‘doctor’, *kurmangro* ‘soldier’. As reported by Holzinger (1995: 13) for German Sinti, the suffix *-ar-* seems to be a productive way to derive *nomina agentis* in SiP: *direct-ar-i* ‘director’, *ler-ar-ca* ‘female teacher’.

2.2.3 Pronouns

The personal pronouns found in the SiP sample are mostly typical of Sinti (cf. Igla 2005: 33). They are presented in table 1 below. The first and second person singular forms are *me*, *tu*; they exhibit only the long forms in the oblique: *man*, *tut*. The short indeclinable possessive forms *mur/mer* - *tur/ter*, which are reported as an “idiosyncrasy of the Sinti-Manush dialect group” (Igla 2005: 34; also cf. Finck 1903: 31 and Tcherenkov/Laederich 2004: 374), are not attested in the SiP sample; only the declinable *mir/tir-* are found.

With first and second person plural there is a reduction *me, tume < (a)men, tu-men*, typical of all Northern dialects. The outstanding feature of SiP is vowel fronting in the oblique and possessive forms of 2PL pronoun: *timen, timaro < tumen, tumaro*.

The third person series in *j-* (*jop, joj, jon*), found in SiP, is typical of Sinti as a whole. As is the prevalence of subject clitics *lo, li, le* (For a comprehensive discussion of structurally motivated and German contact-induced distribution of subject clitics in Sinti see Matras 1999).

Table 1. Personal and possessive pronouns

Number	Person	Nominative	Oblique	Possessive
SG	1	<i>me</i>	<i>man</i>	<i>mir-</i>
	2	<i>tu</i>	<i>tut</i>	<i>tir-</i>
	3	<i>jop, joj</i>	<i>les, la</i>	<i>lesk(r)-, lak(r)-</i>
PL	1	<i>me</i>	<i>men</i>	<i>mar-</i>
	2	<i>tume</i>	<i>timen</i>	<i>timar-</i>
	3	<i>jon</i>	<i>len</i>	<i>leng-</i>

The plural reflexive forms in *pen-* are stable in SiP, as are the indefinite pronouns *čimoni* ‘something’ (cf. Igla 2005: 34; Bakker 1999: 186), and *či* ‘nothing’. Quantificatory pronoun *kuti* ‘a little’, reported by Bakker (199: 186) as common to Northern dialects, was not found in the SiP sample: this lexeme is expressed by *pisla* < South German dialectal *bisserl* < ger. *ein bisschen* ‘a little’.

2.2.4 Prepositions

The phonological simplification of prepositions reported by Igla (2005: 34) is evident in the sample: SiP has *an* < *andre* ‘in’, *ap* < *pre* ‘on’ (although the form *pre* is used as an adverbial particle: *jop kerel vuda pre* ‘he opens the door’), *dren* < *andre/andral* ‘inside’/‘from inside’ (although in SiP it is used as stative locative adverb, not exhibiting any ablative meaning reported by Igla: *joj hi dren an o ker* ‘she is inside (in) the house’).

Another type of simplification has to do with a seemingly complete loss of some prepositions accompanied by semantic expansion of others. Thus, a very stable preposition *paš* in the sample is used, in addition to its inherited meaning of ‘near’, to mean ‘above’, ‘opposite’ and ‘in front’, to compensate for the apparent loss of *opre/opral* ‘above’, *mamuj* ‘against/opposite’ and *angle/anglal* ‘in front’. Another stable preposition, *pal* ‘behind’, is found in SiP in the meaning of ‘about’, and the common Romani *vaš* is not attested. Finally, there is a replacement of some prepositions through borrowing from German. In addition to *fon/fun* and *mit*, reported by Igla (2005: 30,34), SiP has *onte* < ger. *unter* ‘under’, temporal *un* < ger. *an* ‘on’/‘at’ (*hako dis me vekrau pre miri čaves un eftengi* ‘every day I wake my child up at eight’).

2.3 Verbs

In the domain of verb derivation, Igla (2005: 35) remarks on the replacement of transitive marker *-al-* by *-av-*, and the use of *-er-* as a loan verb adaptation marker in most

Sinti varieties. In SiP there seems to be a leveling in verb derivation marking, and both transitives and loans usually take the contracted marker *-r-*: *bič-r-* ‘send’, *baš-r-* ‘play (musical instrument)’, *naš-r-* ‘run’, *sik-r-* ‘show’; as well as *teng-r-* ‘think’, *len-r-* ‘learn’, *lajd-r-* ‘load’ (although a remnant of *-av-* is found with *ker-v-* ‘to cook’). While using transitive or denominal verbalizers as loan verb adaptation markers is rare in Romani, it is a very common universal strategy (see Wohlgemuth 2009: 94-100). Some loan verbs, especially ones with stems ending in *-r-*, are adapted with Ø marker: *reper-* ‘repair’, *špar-* ‘save’, *von-* ‘live’.

The ‘new infinitive’ (term by Boretzky 1996) in SiP is 2SG present tense form of the verb, in contrast to 3SG usually reported for Sinti, e.g. by Igla (2005: 35) and Finck (1903: 9):

- (1) *kam-am-s ti dža-s kere*
want-PERF.1SG/PL-REM COMP go-2SG.SUBJ home
‘I wanted to go home.’
- (2) *kam-ej ti kel-es len-ca?*
want-2SG COMP dance-2SG.SUBJ them-INSTR
‘Do you want to play with them?’

There are many examples, however, in the sample of finite verb forms being used in complement clauses; this includes non-present forms:

- (3) *jop kam-el lo ti hac-el mit kones*
he want-3SG CLT.M COMP meet-3SG with who.OBL
‘He wants to meet with someone.’
- (4) *kam-au ti v-au žurnalisto*
want-1SG COMP become-1SG journalist
‘I want to become a journalist.’
- (5) *kam-am-s ti far-ap-s an o foro mit ko trin menči*
want-PERF.1SG/PL-REM COMP travel-1SG-REM in ART.M town with those three men
‘I want to travel to town with those three men.’

Verb forms with adjectival agreement in *-o/-i/-e* are not found with verbs of motion, but are confined to passive participial usage:

- (6) *u tiša hi kedi fon o ruk*
the table is made.F from the tree
‘The table is made from the tree.’

This absence of verbs of motion in *-o/-i/-e* is typical of Sinti (cf. Igla 2005: 35; Holzinger 1995: 26). This type of participial usage also seems to be the only context when overt perfective stem markers appear in SiP on verb stems ending in consonants, otherwise the sample is very uniform in using Ø marker: *dik-au* ‘I see’, *dik-am* ‘I/we saw’. While this kind of Ø perfective marking is clearly not present in Finck’s (1903: 14) description, it is mentioned as an option for “most varieties” of Sinti in Igla (2005: 36). With verb stems ending in vowels (e.g. *xa-* ‘eat’, *dža-* ‘go’), as well as verbs with non-vocalic stems (*d-* ‘give’, *v-* ‘come’), SiP uses perfective marker *-j-* to mark the preterite forms: *xa-j-ams* ‘I/we ate’, *dža-j-as* ‘he/she went’, *d-a-j-am* ‘I/we gave’, *v-a-j-ens* ‘they came’. The *-j-* marker in such contexts is in line with e.g. Finck’s (1903: 14) examples.¹

2.3.1 Copula

All forms of copula in SiP use the initial *h-*, as expected from a Sinti variety (cf. Igla 2005: 35; Holzinger 1995: 28). There are two interesting developments in SiP, however, that concern copula forms. One involves the syncretism of 1SG and 1PL in favor of 1PL: *ham* ‘I am’/‘we are’ (paralleled by the same development with preterite verb marking addressed in the next section); the other involves an optional differentiation of 3PL copula from 3SG: *hi* >*hi(n)*:

- (7) *kaj hi li joj?*
 where is.3SG/3PL CLT.F she
 ‘Where is she?’
- (8) *lauta mire čave hin tikne*
 all my.PL children is.3PL small.PL
 ‘All my children are small.’

The latter development is consistent with Elšík/Matras’s (2006: 85-88) observation that the plural forms in Romani tend to be more phonologically complex than the singular forms. The former development – extension of 1PL *-am* to 1SG, however, goes against the general trend observed by Elšík/Matras (2006: 97-99). Their discussion presents four instances of a singular-to-plural extension against “a single and controversial instance of a plural-to-singular extension”. Interestingly, this single controversial example in their data also concerns the domain of preterite verb inflection – the extension of 2PL *-an* to 2SG.

The table below presents the present tense copula forms in SiP, as well as those reported by Holzinger (1995: 28) for German Sinti. Past tense copula forms in SiP are

1 Negation of verbs and clauses will be discussed in a separate section below.

produced by adding the remoteness marker -(e)s to the present forms, as is expected for Sinti and most other Romani varieties.

Table 2. Copula

Number	Person	SiP	Holzinger 1995
SG	1	<i>ham</i>	<i>hom</i>
	2	<i>hal</i>	<i>hal</i>
	3	<i>hi</i>	<i>hi</i>
PL	1	<i>ham</i>	<i>ham</i>
	2	<i>han</i>	<i>han</i>
	3	<i>hi(n)</i>	<i>hi</i>

As is common to Sinti and other Romani varieties, SiP uses (*a*)*v*- ‘come’ as a copula in change of state and future constructions: *me vau direktaari* ‘I become director’, *tajsa vau kere* ‘tomorrow I will be home’ (cf. Igla 2005: 35; Holzinger 1995: 28).

2.3.2 Personal concord markers

Table 3 below presents present and preterite personal concord markers found in the SiP sample. The sample shows some variation in what forms the markers take, and the less frequent forms are presented in parentheses in the table. The subjunctive markers for 1 and 2 singular differ from indicative ones; they are *-ap* and *-es/-as*, respectively.

Table 3. Personal concord markers

Number	Person	Present	Preterite
SG	1	<i>-au</i>	<i>-am</i>
	2	<i>-ej, -e</i>	<i>-al, (-an)</i>
	3	<i>-el</i>	<i>-es, -as</i>
PL	1	<i>-aa</i>	<i>-am</i>
	2	<i>-en</i>	<i>-an</i>
	3	<i>-en</i>	<i>-en(s)</i>

There are a few points on which SiP diverges from most Sinti varieties in the way it marks person on verbs. In the present tense, the 2SG marker is *-ej* or *-e*, rather than *-eh* reported by Holzinger (1995: 25). The 1PL marker seems to be the long *-aa*, most likely from the underlying *-aha*. If this 1PL form indeed has its source in the long *-aha*, then it is the only form in SiP that takes the final *-a* marking consistently.

In the preterite, paralleled by the syncretism of 1SG and 3PL copula, there is the syncretism of 1SG and 1PL preterite person marking: *ker-am* 'I did'/'we did'. There are two examples of 2SG marking in *-an*, in addition to the common *-al*: *tu vaj-an šun direktaare* 'you became director', although these might be slips of tongue on the part of the speaker. The usual Sinti 3SG *-as* is often realized in SiP as *-es*: e.g. both *dik-as* and *dik-es* are found in the sample in the meaning of 'he/she saw'.

The 2PL preterite marking in the SiP sample is consistently realized as *-an*, and 3PL as *-en*. Thus 2PL marking is differentiated from the 3PL preterite marking, unlike in most other Sinti varieties (cf. Igla 2005: 35; Tcherenkov/Laederich 2004: 352). According to Igla, the 2PL and 3PL preterite marking has collapsed in all Sinti varieties, except for the Venice dialect. Holzinger's (1995: 26) description of German Sinti, however, clearly differentiates between 2PL *-an* and 3PL *-en*, although his earlier (1993) description of Hameln Sinti variety, once again, has *-an* for both 2PL and 3PL.

Given the Ø perfective stem marking on most verb stems, SiP exhibits several cases of syncretism between present and preterite forms of verbs, e.g. *ker-es* is found as a present subjunctive 2SG 'you do', and as a 3SG preterite 'he/she did', and similarly, *šun-es* is found as both 'you hear' and 'he/she heard'. Finally, the potential double reading of the 3PL marker *-en* as present or perfective is consistently avoided in the sample by the use of the remoteness marker *-s*, which in this case does not have its common imperfective reading:

- (9) *jon šun-en-s* *li fun manda kokovo*
they hear-PRES/PERF.3PL-REM CLT from me.ABL this
'They heard this from me.'

An additional strategy to avoid confusion between present and preterite tense reading of a verb form is a unique SiP development of *šu(n)* < *šun* 'already' < ger. *schon* as a marker of perfectivity. This will be discussed further in a separate section below.

2.3.3 Tense and aspect marking

The long forms of verbs, with suffix *-a*, are hardly found in the sample. The future tense is expressed through short forms with additional temporal context:

- (10) *vau tute nax mitago*
come.1SG you.LOC next monday
'I will visit you next Monday.'

- (11) *tajsa vau kere*
tomorrow come.1SG home
'Tomorrow I will be home.'

This is in contrast to Finck's (1903: 10) and Holzinger's (1995: 25) observations for German Sinti (cf. Holzinger's examples *dšau-a* 'I go'/'I will go', *dšal-a* 'he goes'/'he will go').

The remoteness marker -(e)s is found in the sample with present tense stems with the non-factual meaning, including as complements of modals:

- (12) *ha ti v-ap-s koj?*
how COMP come-1SG-REM there
'How can I get there?'

- (13) *unti pučr-ap-s fon i lerarca*
need ask-1SG-REM from ART.F teacher
'I have to ask the (female) teacher.'

- (14) *kamau ti dža-p-s ane lada*
want.1SG COMP go-1SG-REM in shop
'I want to go to the shop.'

With the preterite forms of verbs, the remoteness marker is often found in the sample as a politeness marker with the verb 'want' in the meaning of 'I would like': *me kamam-s*. It is also found with past continuous, irrealis and pluperfect constructions:

- (15) *dik-am timen miri peňa har xate xaj-an-s ko zist*
saw-1SG you.PL.OBL my sisters how when ate-2PL-REM this sweets
'I saw you, my sisters, when you were eating these sweets.'

- (16) *ha ti vaj-al-s koj tajsa te dik-al-s la*
how COMP came-2SG-REM here yesterday COMP see-PERF.2SG-REM her.OBL
'If you had come yesterday, you would have seen her.'

- (17) *me hames ňit koj, dža-m-s man-gi vri*
I was.1SG/PL NEG here go-PERF.1SG/PL-REM me-DAT out
'I was not here, I had gone out.'

Importantly, simple conditional constructions are expressed with present tense stems without the use of the remoteness marker:

- (18) *ha ti v-ej koj, dik-en tut*
how COMP come-2SG here see-3PL you.OBL
'If you come here (they) will see you.'

Several adverbial particles, either German-borrowed (*vek* < ger. *weg*, *cu* < ger. *zu*) or Romani internal (*pre*, *teli*, *vri*) but calqued from German, are used in SiP to express actionality and directionality, or to derive new lexical items (see Schrammel 2005 for a detailed discussion of this phenomenon in Austrian Sinti).

The use of verbs + adverbial particles in the direct spatial meaning is an inherited Romani feature (Schrammel 2005: 104), and constructions like (21) below are to be found across various Romani dialects. The use of adverbial particles to change the actionality of the verb, however, like in (20) and (22) below, is specific to those dialects of Romani that had contact with German. In Austrian Sinti the German model, including word-order rules, was first adopted in the actionality constructions and then generalized to the constructions with concrete spatial use of the adverbs (Schrammel 2005: 105-106).

In contrast to the Austrian Sinti, the SiP sample seems to follow the German word order rules less strictly. Verbal particles are never found to precede the verb, even when the verb is not in the second position:

- (19) *hako dis me vekrau pre miri čaves un eftengi*
every day I wake up my child.OBL at eight.DAT
'Every day I wake my child up at eight.'

There is a strong tendency in the data, however, to put these adverbials at the end of the verb phrase:

- (20) *hati kam-en me helfr-au timen-gi malr-au timaro ker teli*
if want-2PL I help-1SG you.PL-DAT paint-1SG your.PL.M house down
'If you [pl.] want, I will help you paint your house.'

- (21) *jop l-el taši fono tiša vek*
he take-3SG bags from table away
'He takes the bags off the table.'

- (22) *miri daj kam-el ti hačr-au miri deki vek*
my mother want-3SG COMP burn-1SG my blankets away
'My mother wants me to burn my blankets.'

It is feasible that the lack of current contact with the German model caused SiP to do away with the more intricate rules of German word order in this domain, and to generalize 'verbal-particle-last' rule across all syntactic contexts.

3 Grammaticalization of Negation

While the inherited Romani imperative negation marker *ma* is stable in SiP, the regular clause negator *na* is missing from the sample, as is typical of Sinti (cf. Igla 2005: 35; Tcherenkov/Laederich 2004: 374-375). Probably related to this, we see a plethora of other markers that seem to be in competition for the role of the clause negator.

kek ‘nobody’ and *či* ‘nothing’ have their usual Sinti primary functions as negative indefinites (cf. Tcherenkov/Laederich 2004: 354-355), with historically animate *kek* infringing on the functionality of the historically inanimate *či*:

- (23) *kek menčuk pen-es tu-ke ha ker-el koko*
nobody man told-PERF.3SG you-DAT how do-3SG this
'Nobody (no person) told you (how) to do this.'

- (24) *ho jop d-al tu-te? či*
what he give-3SG you-LOC nothing
'What does he give you? – Nothing.'

- (25) *hi kek placi paš men-de*
is not.a.single place near us-LOC
'There are no places next to us.'

The functionality of these indefinites is extended in SiP, however, to clause negation (cf. Bakker 199: 188 for a similar observation about *kek* for Sinti):

- (26) *me kam-au kek ko xam*
i want-1SG NEG this food
'I don't want this food.'

- (27) *vaj-am či kere*
came-1SG/PL NEG home
'I did not come home.'

The two German-borrowed clause negators found in the SiP sample are *nit* < ger. *nicht* and *gaa* < ger. *gar*, both discussed in literature previously (Igla 2005: 35; Holzinger 1995: 36-37; as early as Finck 1903: 38). Both appear in the post-verb positions, in line with the German model:

- (28) *jop his čit kere*
he was.3SG NEG home
'He was not home.'

- (29) *džin-au gaa*
know-1SG NEG
'I don't know'

Interestingly, at the time of his writing Finck (1903: 38) noted the variation in German Sinti clause negation. He gives the following two examples with the same translation 'I do not believe him': *na patšáwa les* and *me patšáwa les gar (nit)* (original orthography), writing that there is no difference between the two. Finck suggests that the presence of the two variants might reflect dialectal differences, but admits that he does not know the distribution of the variation.

Very importantly, the use of the negator *gaa* in SiP differs from the German use of *gar*. While in German it is used as an intensifier of negative (as well as positive) clauses, in SiP, as in other Sinti varieties, it is used as a true clause negator. This will be discussed in the next subsection.

3.1 Cross-linguistic Jespersen's cycle

Matras (2002: 189-190) notes the possibility in some Sinti varieties of using *gar* as a principle clause negator, and briefly outlines the grammaticalization mechanism through the negative indefinite stage: "*na kamom* 'I didn't want' -> *na kamom gar* 'I did not want anything' -> *kamom gar* 'I didn't want'" (Matras 2002: 189-190).

In case of SiP, this type of transition seems to have run to its completion: *gar* is represented in the sample only in the function of the principle negator, and does not appear as either a negative indefinite 'not a single' or as an emphatic 'at all'. In fact, there are examples in the sample of clauses negated by *gaa* which take further negative elements as intensifiers:

- (30) *jop dik-es lo gaa či*
he see-PERF.3SG CLT.M NEG NEG
'He did not see (this) at all.'

- (31) *a ko kia von-el gaa kek menču*
but at this live-3SG NEG NEG person'
'But nobody lives at this (place).'

The high degree of grammaticalization of *gar* in SiP is further evidenced by its phonetic bleaching: *gar* > *gaa*. There is evidence of optional omission of final *-r* in the sample, in inherited items, such as *ha(r)* 'how' and ablative case marker *-ta(r)*, as well as German loans, such as *ima(r)* 'always'. This general phonological process could

have contributed to the bleaching of *gar* > *gaa*. In the case of *gaa*, however, the dropping of the final *-r* seems obligatory, rather than optional, as there is not a single occurrence of the full form *gar* in the sample.

This type of process of renewal of negation markers through grammaticalization is often referred to in the literature as the Jespersen's cycle, a term coined by Dahl (1979) with reference to an earlier description of this mechanism by Jespersen (1917). Briefly, the mechanism involves a stage of going from a single negator (N1) to two negators (N1 ... N2), and then another stage of dropping the first negator, resulting in N2 becoming the principle clause negator. The typical example given in literature is that of the French diachronic negation development: *ne* -> *ne* ... *pas* -> *pas*. An example of a similar process in spoken American and British English, using 'squatitive' negation (term by Horn 2001), is something like:

- (32) *he does NOT know* -> *he does NOT know SQUAT* -> *he knows SQUAT*
(after van der Auwera 2009: 48, citing Horn 2001: 186-187).

There has been discussion in literature of the Jespersen's cycle mechanics in the context of universal, and especially European, typology. Most recently, van der Auwera (2009) wrote a fairly comprehensive review and summary of this discussion, and proposed a number of different semantic pathways that the Jespersen's cycle(s) can take. The current section will rely on van der Auwera's analysis.

The most basic distinction made in literature, and presented by van der Auwera (2009: 37-44), is between the two types of explanations for how languages come first to double the negators and then to drop the original one. The first explanation, to use French as an example, argues that the process starts with *ne* becoming semantically and formally weak and thus requiring a reinforcer (*pas*) to achieve clause negation. With time, *pas* is weakened semantically as a reinforcer, becoming a marker of negation proper, allowing for the subsequent dropping of *ne* (for certain constructions and in certain speech registers in modern French), as illustrated by the following set of examples from van der Auwera (2009: 39):

(33)	<i>Il ne peut venir ce soir.</i>	French (archaic)
	<i>Il ne peut pas venir ce soir.</i>	French (standard written)
	<i>Il peut pas venir ce soir.</i>	French (casual spoken)
	he NEG can NEG come this evening	
	'He can't come tonight.'	

The competing explanation argues that at the start of the process *ne* is not weakened – it is fully functional for neutral negation, but co-exists with *ne* ... *pas*, which is used

specifically for emphatic negation. With time, *ne...pas* is bleached of its emphatic meaning, and fully replaces *ne* in the function of neutral negation.

For French, van der Auwera (2009: 41-42) argues for the second explanation. For SiP, it seems that the more convincing argument can be made for the first explanation – the one that involves the weakening of the original negator. Under the pressure of German word order rules, *na*, which preceded the verb, became disfavored as a carrier of the meaning of negation, becoming weakened. This weakening opened up a semantic gap in the domain of clause negation, inviting new strategies (cf. Finck's examples in the previous section). In Sinti, and specifically in the current SiP sample, we see several strategies competing for this gap, as discussed above – from borrowing German negation particles (*nicht*), to reanalyzing inherited negative indefinites (*kek, či*), to using German negative polarity item *gar* as a reinforcer. This latter strategy, resulting in *na ... gar*, is not present in the SiP sample. Attested in other accounts of Sinti (see example from Matras 2002: 189-190 above), it must have also been present in the predecessor of the SiP variety in question. Starting out as a borrowed German minimizer (or negative polarity item), *gar* went on to lose this specific semantic function and to become an obligatory part of clause negation, assisting the inherited *na* in becoming first optional and finally obsolete. Table 4 below summarizes the stages of this reconstructed process:

Table 4. Grammaticalization of *gar*

stage	<i>na</i>	<i>gar</i>	process
1	<i>na</i> (obligatory)	--	semantic weakening of <i>na</i>
2	<i>na</i> (obligatory)	<i>gar</i> (reinforcer)	semantic reanalysis of <i>gar</i> , formal strengthening of construction
3	<i>na</i> (obligatory)	<i>gar</i> (obligatory)	semantic weakening of construction semantic bleaching of <i>gar</i>
4	<i>na</i> (optional)	<i>gar</i> (obligatory)	formal weakening of construction, phonetic bleaching of <i>gar</i>
5	--	<i>gaa</i> (obligatory)	

Heine/Kuteva (2005: 2012) in their grammaticalization model propose four parameters as indicators of the grammaticalization process taking place. In case of *gaa*, at least three of these are apparent: 1) Extension (or context generalization) is evident, as *gar* goes from being a negative polarity item to a general clause negation particle; 2) Desemanticization (or semantic bleaching) is demonstrated by *gar* losing its meaning as a minimizer/emphatic; and finally 3) Erosion (or phonetic reduction) is evident in *gar > gaa*. The fact that the grammaticalization of *gar/gaa* in Sinti, and specifically SiP, has been triggered by contact with German is also in line with Heine/Kuteva's (2005: 38-39) proposition that the rules of grammaticalization are the same no matter

whether the source of destabilization is language internal or comes from contact with another language.

Thus what we see with SiP development of *gaa* as a clause negator is an example of a cross-linguistic Jespersen's cycle – the doubling stage has arguably started in German (*nicht ... gar*), with the second element serving as a minimizer or an emphatic element 'at all'. The process has not gone further in German, and it cannot be predicted if it ever will. The cycle, however, was picked up by the Sinti varieties of Romani at the doubled stage, and carried out to completion, in case of SiP, including the loss of the original negator and the phonetic bleaching of the new grammaticalized element.

Sinti is not exclusive in having gone through the grammaticalization of clause negation marking under the influence of language contact. In their work on the areal typology of negation in Europe, Bernini/Ramat (1996: 49-51) argue for "the existence of a Celtic-Germanic-Romance isogloss with a partial extension towards other Romance, Celtic and even Arab areas", within which a particular type of negation - discontinuous double negation – has developed due to a process of structural diffusion as a result of areal contact.

Double negation is also an optional feature of some sub-varieties of Finnish Romani:

- (34) *jou naa naa avail paale te skoula*
he NEG NEG came.3SG back to school
'He did not come back to school.' (Helsinki Romani project; sample from Turku)

In this case the native Romani marker *naa* is used as a secondary negator; the process here is language-internal and not triggered by contact with Finnish.

4 Grammaticalization of perfective aspect marking

In the absence of the usual Romani perfective markers, and with the potential confusion between present and preterite readings of verb forms, discussed in section 2.3.2 above, SiP seems to be in the process of developing a new perfective marker. The marker is *šu(n)*, and it is grammaticalized from the phasal adverb *šun* 'already' < dial. ger. *schun* (ger. *schon*). While *šun* is found in SiP to be used in its expected function of a phasal adverb: *šun penam tuke ko freja* 'I already said this to you earlier', there are several factors that contribute to the analysis of other occurrences of *šu(n)* as a grammaticalized marker of perfectivity.

One clue is the unusually high frequency of the use of *šu(n)* in the sample – over sixty occurrences in the corpus of 1060 lexemes and phrases, compared to four to ten occurrences of the analogous Russian-borrowed *uze* ‘already’ in the several Xaladytka RMS samples that I used for comparison. I believe that this is indicative of the transition of *šu(n)* to a more grammaticalized status than just a phasal adverb – “the more generalized a gram is, the higher its incidence of use” (Bybee/Perkins/Pagliuca 1994: 20).

Another clue to support the perfective marker reading of *šu(n)* is the fact that the speaker consistently made use of it to answer the elicitation of stand-alone verbs in the past tense. When asked to translate “I did” into Romani, the speaker answered with “*keram šu*”, when asked to translate “I said”, the speaker came back with “*penam šu*”, and so on for 17 out of about 50 stand-alone past tense verbs.

As a grammatical marker, *šu(n)* in SiP almost always follows the verb. This does not follow from the German model of the use of the phasal adverb *schon*. Most importantly, the two readings of *šu(n)* were found to occasionally co-exist in one phrase:

- (35) *jop his šu šun vek*
he was.3SG PERF already away
'He has already gone.'

Finally, the facts that the marker often appears in a phonologically reduced form *šu*, tends to immediately follow the verb and is often not stressed, further support its analysis as a grammaticalized form. The marker is found in the sample in constructions that are anterior:

- (36) *vonam šu ano gap panc bjerš*
lived.1SG/PL PERF in village five year
'I have lived in the village for five years.'

anterior experiential:

- (37) *vonal šun (katik??) ane Sofija jek moli?*
live.2SG PERF (here/there?) in Sofia one time
'Have you ever lived (here/there?) in Sofia?'

resultative:

- (38) *ropuneski roj hi li šun vek*
silver.F spoon is CLT PERF away
'Silver spoon is gone/stolen.'

- (39) *laki bal ven li šun parni*
her hair come.3PL CLT PERF white
'Her hair has become white.'

perfective:

- (40) *vajan šu direktory*
came.2PL PERF directors
'You.PL became directors.'

The use of the terms above is after Bybee/Perkins/Pagliuca (1994):

an anterior signals that the situation occurs prior to reference time and is relevant to the situation at reference time" (ibid. 54)

Other senses often associated with the anterior are the experiential, in which certain qualities or knowledge are attributable to the agent due to past experiences. (ibid. 62)

Resultatives signal that a state exists as a result of a past action. The resultative is often similar to the passive in that it usually makes the patient the subject of the clause [...] (ibid. 54)

Perfectives signal that the situation is viewed as bounded temporally [...] It is [...] often used to refer to situations that occurred in the past. (ibid. 54)

While markers of perfectivity most commonly universally develop from stative auxiliaries (such as 'to be', 'to exist') or from verbs of motion (such as 'to come', 'to go'), their development from phasal adverbs is not unique to SiP. Out of 43 languages considered by Bybee/Perkins/Pagliuca (1994: 64-65) in their sample of grammaticalized anterior markers, two languages (Inuit and Buli) have grammaticalized such markers from the phasal adverb 'already'. As a comparison, 13 languages in their sample have grammaticalized stative auxiliaries or verbs of motion in this function.

The synchronic co-existence of perfectivity marker *šu(n)* and phasal adverb *šun* in SiP does not preclude the analysis of the former as a grammaticalized form. As noted by Bybee/Perkins/Pagliuca (1994: 16), "certain more specific semantic nuances of the source construction can be retained in certain contexts long after grammaticalization has begun". Nevertheless, it has to be mentioned that the use of *šu(n)* is not obligatory in SiP for constructions that have perfective meaning, and thus the marker is at an early stage of grammaticalization.

5 Conclusion

The aim of this paper was to briefly outline the various features of the Sinti in Poland sample at hand, to compare them to the typical Sinti features previously observed in the literature, and then to focus on a couple of interesting cases of grammaticalization found in SiP.

The data presented in this paper largely confirmed the typicality of SiP among the Sinti varieties. The various features supporting this statement include the Sinti-

typical phonological reductions, prothesis and stress pattern, and the use of *h* in most contexts where Romani as a whole exhibits *s/h* variation; the loss of vocative case; the reduction in the variety of verb derivation markers in favor of using one marker, *-e(r)*, on both transitive and loan verbs. The use of \emptyset as the perfective stem marker is another typical Sinti feature, although in SiP this has proceeded to an almost complete exclusion of other markers.

The larger-scale typological features of SiP that place it firmly among other Sinti varieties are the productive use of genitives for nominal derivations; the evident trend of moving away from using synthetic case marking toward analytical marking through German-borrowed adpositions; and the use of German-borrowed or calqued verbal particles to express actionality and directionality. With this last feature what we see in SiP, compared to other Sinti varieties is the less strict adherence to German word order rules when using adverbial particles, in favor of the generalization of ‘verbal-particle-last’ rule across all syntactic contexts.

The described SiP sample does not seem to show a definitive similarity to one described Sinti variety to the exclusion of others. Thus, an obvious question: “What kind of Sinti is SiP” (e.g. Hameln Sinti vs. Austrian Sinti) cannot be answered at this time.

Some features and processes found in the SiP sample seem to be outstanding among Sinti varieties, either in and by themselves, or in the extents to which they have proceeded. This includes innovations, such as the typologically uncommon extension of *-am* from 1PL to 1SG in preterite verb and copula marking; the differentiation of 3PL copula: *hi* > *hi(n)*; vowel fronting *-u* > *-i* in 2PL personal and possessive pronoun forms *timen* ‘you.PL’, *timaro* ‘your.PL’; the use of short forms of present tense verbs, rather than long forms in *-a* to express future; and the use of 2SG, rather than 3SG, verb forms as the ‘new infinitive’. Other distinct SiP features are retentions. This includes the differentiation of 2PL and 3PL preterite verb markers, as well as not participating in the common Sinti innovation of using short indeclinable possessive pronoun forms *mur/mer* - *tur/ter*. SiP also seems unique in the extent to which it has surrendered the use of various inherited Romani prepositions in favor of German loans or by extending the semantics of other inherited prepositions.

Finally, there are two interesting cases of grammaticalization found in SiP. First, the grammaticalization of *gar* as a principal clause negator – under the influence of German word order rules, and through the typologically common Jespersen’s cycle path – was argued to have gone further along the grammaticalization path in SiP than in other Sinti varieties. Second, the early-stage grammaticalization of *šu(n)* as a marker of perfectivity, likely triggered by other changes in tense and aspect marking, is a large-scale typological change unique to the SiP variety.

References

- Bakker, Peter. 1999. The Northern branch of Romani: mixed and non-mixed varieties. In: Dieter W. Halwachs / Florian Menz, F. eds. *Die Sprache der Roma: Perspektiven der Romani-Forschung in Österreich im interdisziplinären und internationalen Kontext*. Klagenfurt: Drava: 172-209.
- Bernini, Giuliano / Ramat, Paolo. 1996. *Negative sentences in the languages of Europe*. Berlin: Mouton.
- Boretzky, Norbert. 1996. The ‘new infinitive’ in Romani. *Journal of the Gypsy Lore Society, Fifth Series* 6: 1-51.
- Bybee, Joan L. / Perkins, Revere / Pagliuca, William. 1994. *The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Dahl, Östen. 1979. Typology of sentence negation. *Linguistics* 17: 79-106.
- Elšík, Viktor / Matras, Yaron. 2001a. *Romani Morpho-Syntactic (RMS) Database*. University of Manchester, Department of Linguistics.
- Elšík, Viktor / Matras, Yaron. 2001b. *Romani Dialectological Questionnaire*. University of Manchester, Department of Linguistics.
- Elšík, Viktor / Matras, Yaron. 2006. *Markedness and Language Change: The Romani Sample*. Berlin: de Gruyter.
- Finck, Franz Nikolaus. 1903. Lehrbuch des Dialekts der deutschen Zigeuner. Marburg: Elwert.
- Heine, Bernd / Kuteva, Tania. 2005. *Language Contact and Grammatical Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heine, Bernd / Kuteva, Tania. 2012. An integrative model of grammaticalization. In: Björn Wiemer / Bernhard Wälchli / Björn Hansen. eds. *Grammatical Replication and Borrowability in Language Contact*. Berlin: de Gruyter: 159-190.
- Holzinger, Daniel. 1993. *Das Rómanes. Grammatik und Diskursanalys der Sprache der Sinte*. Innsbruck: Verl. des Instituts für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.
- Holzinger, Daniel. 1995. *Romanes (Sinte)*. Munich: Lincom.
- Horn, Laurence R. 2001. Flaubert triggers, squatitative negation, and other quirks of grammar. In: Jack Hoeksema / Hotze Rullmann / Victor Sanchez-Valencia / Ton van der Wouden. eds. *Perspectives on Negation and Polarity Items*. Amsterdam: Benjamins: 173-200.
- Igla, Birgit. 2005. Sinti-Manuš: Aspects of classification. In: Barbara Schrammel / Gerd Ambrosch / Dieter W. Halwachs. eds. *General and Applied Romani Linguistics: proceeding from the 6th International Conference on Romani Linguistics*. München: Lincom: 23-42.
- Jespersen, Otto. 1917. *Negation in English and other languages*. København: A.F. Høst/Son.
- Matras, Yaron. 1999. Subject clitics in Sinti. *ALH* 46: 3/4: 147-168.
- Matras, Yaron. 2002. *Romani: A Linguistic Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schrammel, Barbara. 2005. Borrowed verbal particles and prefixes in Romani: a comparative approach. In: Barbara Schrammel / Gerd Ambrosch / Dieter W. Halwachs. eds. *General and Applied Romani Linguistics: proceeding from the 6th International Conference on Romani Linguistics*. München: Lincom: 99-113.
- Tcherenkov, Lev / Laederich, Stéphane. 2004. *The Rroma. Otherwise known as Gypsies, Gitanos, Γύρτοι, Tsiganes, Tigani, Çingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende, etc. Vol. 1: History, Language, and Groups*. Basel: Schwabe.
- van der Auwera, Johan. 2009. The Jespersen cycles. In: Elly van Gelderen. ed. *Cyclical change*, Amsterdam/Philadelphia: Benjamins: 35-71.
- Wohlgemuth, Jan. 2009. *A Typology of Verbal Borrowings*. Berlin: de Gruyter.

Ксения Трофимова

Практика совместных паломничеств: почитание цыганами-мусульманами церкви Св. Иосифа в Македонии

«Однажды в церковь (в период паломничества) пришёл мужчина со своей женой, которая прижимала к себе младенца. Мужчина принёс с собой ковёр и расстелил его перед статуей Девы Марии. Представляете, что такое ковёр – это дорогая вещь! Я спросил его, зачем он его принёс, что его сподвигло. Оказалось, что в течение десяти лет у них с женой не было детей. А что может быть страшнее для мусульманина? И для цыгана? Однажды в поезде он поделился своей болью с попутчиком. И тот в свою очередь посоветовал ему посетить Летницу. В том же год этот мужчина отправился с женой в церковь, а ещё через год у них появился ребенок. Не помню, как звали ни отца, ни мать, но ребёнка они нарекли Трайше» (ПМА 2014(1))

Предметом данной статьи является описание и интерпретация актуальной практики регулярного посещения цыганами-мусульманами¹ католической церкви Св. Иосифа в городе Скопье (Македония).

Представляемый мною материал является результатом собственных продолжающихся полевых исследований, посвященных изучению религиозной культуры цыган-мусульман на Балканах, отражает промежуточный этап работы, а потому не претендует на полноту и завершённость². Мои исследования охватывают широкий спектр религиозных практик, сочетания которых формируют различные локальные культовые традиции. Общий контекст для рассматриваемого здесь феномена задаётся практикой совместных паломничеств христиан и мусульман, которая является распространённой формой коллективных межконфессиональных религиозных действий на Балканах (Dionigi

1 Далее в тексте за исключением специально оговоренных случаев при употреблении термина «мусульмане» я буду иметь в виду представителей балканских цыганских сообществ, самоопределяющихся в качестве последователей ислама.

2 Данные наблюдения и интервью, лежащие в основе описания и анализа, были собраны в период с 2011 по 2014 гг. в местах компактного поселения цыган в Сербии (г. Ниш, г. Лесковац), Македонии (г. Скопье) и регионе Косово (г. Призрен).

2012). Эти совместные паломничества, в свою очередь, можно считать одной из разнообразных форм почитания священных мест – универсального элемента религиозных традиций, развитых в местных цыганских сообществах.

Посещение цыганами-мусульманами церкви Св. Иосифа представляет собой один из примеров пёстрой повседневной религиозности цыганских сообществ на Балканах и включается в исследование по ряду причин. Во-первых, участие цыган-мусульман в паломничестве к христианскому культовому месту обнаруживает особенности локальных форм ислама и позволяет наблюдателю ставить вопрос об их содержательных границах. Во-вторых, изучение этой практики дополняет исследование особенностей актуальных в цыганской среде форм почитания сакральных локусов, в том числе практики создания частных (семейных) мусульманских святынищ, которые могут включать в себя христианскую символику (Trofimova 2015).

Живая религиозность синтетична, динамична, и её элементы отражают специфику социального и культурного контекста, в котором они бытуют. Это обстоятельство оказывается значимо как для понимания специфики религиозных культур, развитых в цыганских сообществах, так и для более широкого вопроса о моделях культуры соседства в мультикультурных пространствах.

Моя цель на данном этапе – зафиксировать значимую для повседневной жизни цыган религиозную практику, исследовать её как элемент локальной религиозной традиции на Балканах вообще и в Македонии в частности. В этой связи момент фиксации актуального состояния представляется необходимым, так как исследуемая «народная» религиозная практика паломничества пластична и подвержена изменениям.

Теоретическими основаниями для сбора, структурирования материала и его интерпретации выступают наработки в области исследования паломнических практик. Вслед за антропологами Джоном Идом и Майклом Соллнау я рассматриваю место паломничества как многомерное символическое пространство, в котором проявляют себя различные религиозные дискурсы (Eade, Sallnow 1991: 15). При рассмотрении практик совместных паломничеств ячитываю дополняющие друг друга подходы Роберта Хэйдена и Гленна Баумана. Так, Р. Хэйден, анализируя сценарии взаимодействий между паломниками в тех общих для них ритуальных локусах, где каждая сторона создаёт свои сосуществующие символические пространства, полагает, что на заднем плане такого взаимодействия тлеет латентный конфликт, а внешняя терпимость паломников по отношению друг к другу – лишь времененная и вынужденная модель социального взаимодействия. Такую модель содействия паломников он называет «антагонистической толерантностью» (“antagonistic tolerance”) (Hayden 2002). Гл. Бауман, в свою очередь, как и ряд других исследователей, пытается смягчить категоричность и универсализм объяснительной модели

Хэйдена и обращает внимание на те наблюдения, где даже в условиях актуального конфликта различные конфессиоанльные группы сохраняли мирное сосуществование в пределах одного культурного пространства и даже заботились о культовых местах и предметах друг друга. Ключевым концептом для Баумана оказывается «культура соседства», через призму которой можно продуктивно исследовать локальные практики, исходя из специфики конкретного исторического, социально-политического контекста (Bowman 2010).

1 Церковь Св. Иосифа

Вблизи чаршии (мак. *Старата скопска чаршија*) – османского торгово-ремесленного квартала, расположенного в самом центре современного Скопье, находится католическая церковь Св. Иосифа (мак. *црква Свети Јосип* / серб.-хорв. *crkva Svetog Josipa*). Приход формально принадлежит епархии Скопье³, которая объединяет локальную католическую общину. Небольшое здание церкви Св. Иосифа отделено одной из центральных проездных улиц от исторических кварталов и центрального рынка (мак. *Бит Пазар*) с их многочисленными туристическими достопримечательностями и спрятано в торце современных административных зданий за металлической неприглядной оградой. По этой причине часовня остаётся практически незаметной для прохожего, тем более что само строение архитектурно напоминает скорее небольшой гараж, нежели культовую постройку, и не обращает на себя такого внимания, какое обычно уделяется османским мечетям XV-XVI вв., православным храмам или же кафедральному католическому собору «Пресвятое Сердце Иисуса» (мак. *катедрала Пресвето Срце Исусово* / серб.-хорв. *katedrala Presvetog Srca Isusova*). Хотя вход в здание увенчан непропорционально большим крестом, призванным визуально выделить церковь, а на воротах постоянно наклеены несколько тематических объявлений, далеко не каждый горожанин, ежедневно приходящий в чаршию и проводящий там большую часть своего времени, может определить, что это за постройка и рассказать её историю, а также указать к ней дорогу. Сам «барак» (серб.-хорв. *“baraka”*), как ещё в разговоре называют здание церкви горожане, был построен после обрушения прежнего городского костёла в результате землетрясения 1963 года. Сейчас в церкви, которая располагается невдалеке от одного из ключевых городских транспортных узлов, регулярно

3 Епархия Скопье, в юрисдикции которой находятся приходы на территории Македонии, входит в Верхнебоснийскую митрополию (серб.-хорв. *Vrhbosanska mitropolija*).

проходят утренние воскресные мессы и совершаются обряды, приуроченные к различным праздникам церковного календаря. В помещении организуются занятия воскресной школы и время от времени проводятся встречи прихода.

Несмотря на свою неприметность и, как может показаться, второстепенный статус, церковь Св. Иосифа оказывается важным культовым местом, причём не только для местной католической общины, но также, что примечательно, для определённой части местных мусульман, прежде всего – для представителей цыганских сообществ⁴. Почитание именно этой часовни не случайно, поскольку из прежнего разрушенного костёла в неё были перенесены уцелевшие статуи Св. Иосифа и Девы Марии, которые согласно местным поверьям обладают чудесными свойствами. Таким образом, в течение последних нескольких десятилетий пространство церкви Св. Иосифа становится объектом регулярных или окказиональных паломничеств и посещений для проживающих в различных областях Македонии и за её пределами последователей определённых религиозных традиций. Для части местных цыган, прежде всего мусульман по самоопределению, эта часовня представляет собой один из локусов современного городского сакрального ландшафта.

2 Совместное паломничество: репертуар обрядовых действий

«Есть святые места. Церковь. В Бит Пазаре... есть одна церковь. Моя дочь идёт туда завтра [в воскресенье – прим. автора] и тебя отведёт»⁵, – рассказывает пожилая женщина, которая во время последнего военного конфликта на территории Косово покинула город Джакова и переехала со своей семьёй в Скопье (ПМА 2012). Об особенных свойствах часовни она узнала, когда начала обустраивать свою жизнь в крупном квартале Шуто Оризари, расположенном на окраине македонской столицы, где, как и в других местных цыганских махалля⁶, размещались вынужденные переселенцы из различных областей бывших югославских республик.

4 На данном этапе среди паломников-мусульман подавляющую часть составляют цыгане, а меньшую – представители других исламизированных сообществ – албанцы, торбеши.

5 Серб.-хорв. *Ima svetih mesta. Crkva. U Bit Pazar... ima jedna crkva. Moja čerka ide tamo sutra, će da te vodi* (ПМА 2012).

6 Махалля (мак. *махала*) – традиционное обозначение городского квартала в Скопье, единица административного деления городского пространства в балканских регионах, входивших в культурный ареал Османской империи.

Как в прошлом столетии, так и в настоящее время, особенно в связи с непрерывной миграцией населения, общность паломников-мусульман в исследуемом культовом локусе образована различными этнокультурными группами цыган. Между тем данное обстоятельство не привносит разнообразия в содержание отправляемых ритуальных практик и не обнаруживает себя явным образом в процессе наблюдения⁷. Какие бы то ни было различия в формах совершения обрядов среди паломников-мусульман можно выявить и объяснить лишь на уровне индивидуальных вариаций, не предусматривающих (или, по меньшей мере, не обязательно предусматривающих) жёсткой этнорелигиозной или языковой детерминации. Они зависят от степени личной религиозной образованности, а также определяются частными мотивами и представлениями, которые расширяют или же сужают репертуар символических действий конкретного паломника.

Ежегодно в преддверии церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы, который приходится на пятнадцатое августа, двор церкви Св. Иосифа наполняется паломниками: католиками и мусульманами. Как уже отмечалось, цыгане-мусульмане посещают церковь и в течение года, обычно – в личном порядке по воскресеньям, когда помещение открыто для проведения служб. Для прояснений причин и контекста использования местными мусульманами из цыганских махалля священных мест, которые заведомо позиционируются ими как неисламские, необходимо иметь в виду ряд существенных обстоятельств. Посещение тех или иных сакральных локусов – монастырей, церквей, усыпальниц известных религиозных деятелей, суфийских обителей, «народных» святынищ, в том числе различных природных объектов, – сопровождается комплексами обрядовых действий, в которых общезначимым и узловым этапом выступает заключение обета (обещания) с определённым мифологическим персонажем. В некоторых случаях обещанию, которое даёт человек в сложной жизненной ситуации, может предшествовать опыт коммуникации с персонажем (обычно во снах и видениях), инициирующим предстоящее паломничество. Обещание посетить святое место и оставить там свои дары даётся либо однократно, либо яв-

7 Среди паломников выделяются представители преимущественно двух групп – арлия и гурбеты. Отмечу, что в контексте изучения практик почитания сакральных локусов, в рамках массовых паломничеств, большую значимость для исследования представляет не этнокультурное самоопределение участника обрядовых действий, а локальный параметр – география его паломнической практики. Несмотря на роль таких ключевых маркеров, как язык, позволяющих дифференцировать культуры различных групп цыган, именно личный опыт посещения паломником определённых святых мест, взаимодействие с другими прихожанами оказывает непосредственное влияние на формирование личного и группового комплекса ритуальных действий, а также их интерпретации. Таким образом, в данном случае не представляется корректным характеристика паломнических практик по признаку принадлежности паломника к той или иной группе цыган.

ляется звеном в цепочке регулярных, взаимосвязанных друг с другом обещаний и посещений. В этом контексте действия, совершаемые паломниками-мусульманами, как следует из их описаний и разъяснений, полностью соответствуют тем схемам, которые предлагает Танас Вражиновски, анализируя структуру заветных практик (Вражиновски 1999: 149-156).

Начиная с полудня 14 августа и в течение последующих суток, группы последователей различных религиозных традиций заключены в общих пространственных и временных границах, объединяясь и вместе с тем разделяясь в ходе отправления разного рода обрядов. В целом, в данном случае и на данном этапе, практики паломников мусульман и христиан в определённой мере созвучны. Так, ориентируясь на действия прихожан-католиков и подчиняясь общему порядку проведения церковных обрядов, часть цыган-мусульман участвует в проводимых богослужениях, однако участие ограничивается лишь физическим присутствием внутри церкви, в отдельных случаях фиксируется получение мусульманами благословения от священника.

Движение потоков паломников разных конфессий упорядочивается и в некотором смысле объединяется различными вотивными действиями и взаимодействием со священными объектами. Как католики, так и посетители-мусульмане стараются попасть в небольшое внутреннее помещение часовни, приблизиться к статуе Девы Марии, прикоснуться к ней рукой, губами или же частями своей одежды. Многие посетители стремятся дотронуться или окунуть статую принесёнными с собой полотенцами, платками и, что реже, другими личными вещами⁸, а также оставляют на постаменте различные дары – в основном свечи, монеты и денежные купюры. Иногда денежные купюры касаются протянутой руки статуи Девы Марии, вкладываются меж её пальцев. В течение всего праздника во дворе церкви на специальных постаментах загоряются тысячи свечей. Замечу, что не все из принесённых в церковь предметов остаются там в качестве заветного дара паломников в благодарность за свершение их желаний. Исходя из представлений о возможности передачи и воздействия сакральной «силы» через соприкосновение, некоторые платки или другие элементы одежды (например, рубашки) забирают обратно домой и используют (разово или неоднократно) в ритуалах лечения разнообразных болезней. Подобного рода действия распространены среди некоторых ритуальных специалистов в цыганской среде.

Отмеченное нами единодушие паломников в части отправления узловых надконфессиональных практик всё же не создаёт единства в ходе всего

8 Среди подношений могут встречаться предметы одежды (в основном, рубашки и носки, которые указывают на пол и возраст просителя), платки, полотенца, деньги (бумажные и монеты), до недавнего времени – жертвенные животные.

праздника, и символическое пространство паломничества остаётся дискретным. Несмотря на отдельные попытки посетителей-мусульман присоединиться к отправлению церковной обрядности, участие в ней мусульман носит частичный и незавершённый характер, поскольку ограничивается со стороны клира. Так, например, мусульманам, присутствующим на богослужении, отказывают в совершении евхаристии. В то же время для отдельных паломников-мусульман это таинство играет значимую роль, поскольку завершает богослужение и, согласно интерпретации респондентов, обеспечивает его эффективность. «Есть желающие причаститься. Ждут своей очереди. Нелегко объяснить человеку [мусульманину – прим. автора], который пришёл в церковь, присутствовал на службе и подошёл вместе с другими паломниками причаститься, что он не готов к этому действию, отказать ему. Это не просто, они подходят, я им должен отказать»⁹, – тяжело вздыхает и разводит руками отец А. – один из старейших священнослужителей епархии Скопье (ПМА 2014(1)). В данном случае проведение таинства приобретает вторичный смысл, выделяя конфессиональную идентичность паломников и проводя символические границы между группами присутствующих по конфессиональному признаку.

Принадлежность и следование паломниками различным религиозным традициям также обуславливает расхождения в сценариях ритуальных действий. Там, где паломники-христиане более-менее связаны рамками и нормами богослужения, многие из мусульман, в первую очередь, стремятся оказаться вблизи статуи Девы Марии и совершить тот обряд, который в их представлении является первостепенным и необходимым. В интерпретациях респондентов для мусульман основная цель совершаемого паломничества (посещения) заключается в отправлении ритуальных практик, связанных со здоровьем и деторождением: «Ради здоровья, счастья, мира в доме»¹⁰ (ПМА 2014(3)). Это обстоятельство, а также разная степень формальной зависимости и подчинённости ходу богослужения, ведёт к различиям в выборе приоритетных действий и последовательности их совершения, что разобщает группы паломников и визуально выделяет среди них паломников-мусульман.

В этом контексте также заслуживают внимания отдельные детали: привычные модели символьских действий посетителей, которые устойчиво воспроизводятся в локальном культурном пространстве и служат репрезен-

9 Серб.-хорв. *Ima onih koji žele da prime pričest. Čekaju svoj red. Nije lako objasniti da nije pripremljen, odbiti... kad je došao u crkvu, prisustvovao na misi, došao sa ostalim hodočasnicima da se pričesti. Nije lako, oni dolaze, moram da odbijem* (ПМА 2014(1)).

10 Серб.-хорв. *Za zdravlje, za sreću, za mir i kuću* (ПМА 2014(3)).

тацией связи паломника с той или иной религиозной и культурной традицией. Одним из таких паттернов, характерных для локальной мусульманской обрядовой традиции почитания святых мест, выступают символические действия при входе в помещение церкви, очерчивающие границы сакрального пространства: паломник прикасается рукой, лбом или губами к стене вокруг дверного проёма. Другая деталь, которая визуально менее выражена, относится к форме совершения личной молитвы: в основном, личная молитва (*дуа*) паломников-мусульман произносится про себя или же совсем негромко, может сопровождаться вознесением рук, характерным для исламских практик. Чаще всего обращение, адресатом которого выступает как Дева Мария, так и Бог, читается на цыганском языке. В этом случае содержание молитвенного обращения может варьироваться, но в целом сохраняет единую структуру. Вместе с тем, согласно разъяснениям респондентов, наряду с личной молитвой паломниками могут читаться традиционные исламские формулы (например, *басмала* – «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного») или же суры Корана (например, *Аль-Фатиха*).

Наблюдения за проведением обрядов в ходе празднования дня Успения Пресвятой Богородицы и в рамках разовых посещений часовни в течение года позволяют предположить, что набор ритуальных действий, совершаемых цыганами-мусульманами воспроизводит часть общего обрядового комплекса, характерного для почитания других сакральных локусов: тех, что формально принадлежат христианским и мусульманским институциям, или же «народных» святынищ, которые позиционируются в качестве мусульманских, христианских или «мультикультурных»¹¹ (Bowman 2010; Duijzings 2000; De Rapper 2012; Trofimova 2015; Zlatanović 2007; Радисавлевич-Чипаризович 2014; Трофимова 2014). При этом следует заметить, что мусульмане не приносят в убранство церкви Св. Иосифа предметов с мусульманской атрибутикой, а также не

11 Примером служит святилище Зайде Башче (серб.-хорв. *Zajde Bašće / Zajde Badža*), расположенное в городе Ниш (Сербия), оберегаемое и почитаемое в настоящий момент преимущественно цыганами. Следуя традиции, оно позиционируется его смотрителем и некоторыми посетителями как «мусульманское», и в то же время как «межэтническое» (серб.-хорв. *multietničko*). «И православные тут были, православные приходили, зажигали свечи. Приходят мусульмане, приходят и католики. Значит, всех религий, это межэтническое место, оно предназначено не только для мусульман. Значит, это межэтническое место» (серб.-хорв. *I pravoslavni su bili tu, dolazili su, palili su sveće. Dolaze muslimani, dolaze i katolici. Znači, svih vera, multietničko je mesto, ne samo opredeljeno za muslimane. Znači multietničko je mesto* (ПМА 2011; Трофимова 2014). Исходя из подобных разъяснений респондентов, можно предположить, что речь идет о «мультикультурном» характере священного места, тогда как понятие «межэтнический» используется ими в связи с устойчивым представлением о связи этнической и конфессиональной идентичности, развитым в рамках регионального националистического дискурса.

демонстрируют открыто свою религиозную принадлежность в ходе обрядов. Таким образом, несмотря на перечисленные характерные особенности направления религиозных практик, которые позволяют выделить в едином пространстве церковного ритуала группы паломников-мусульман, можно констатировать, что эти отличия не слишком выражены. Анализируя совокупность культовых действий, наблюдаемых в исследуемом локусе, можно отметить их «конфессиональную невыразительность», которая, с одной стороны, связана с интеркультурным характером отправляемых практик, с другой – с несомненным доминированием церковного дискурса. Это наблюдение приводит к необходимости разъяснить, каким именно образом в пространстве церкви во время праздника через властные практики устанавливаются правила и нормативы поведения, которые оказываются значимыми для всех паломников независимо от их конфессиональной идентичности.

Будучи призванными объединить всех паломников едиными рамками поведения, нормативы, или назовём их «пределы дозволенного», которым вынуждены подчиняться прихожане, также разграничают участников действий, служат маркером конфессиональной принадлежности и явственно указывают на степень доминирования того или иного конфессионального дискурса. Так, например, даже в сфере совершения символических действий, характерных как для паломников-христиан, так и мусульман, «пределы дозволенного» могут расширяться и сужаться. Несколько лет назад представители духовенства запретили паломникам-мусульманам заводить в церковь жертвенных животных¹², а также привносить различные элементы внецерковной обрядности, которые трактуются клиром в качестве магических практик в про-

12 Кровавое жертвоприношение (курбан) присутствует в качестве важного элемента в ритуальных традициях мусульман, а также сохраняется в ритуальных практиках цыган балканского региона – приверженцев различных конфессий (Zlatanović 2007; Sikimić 2007; Петровски 1993). Как было отмечено выше, ещё несколько лет назад среди приношений в ходе совместных паломничеств были жертвенные животные. В зависимости от содержания обета (обещания), которое давал паломник, «обещанное» животное (баран, петух или курица) либо даровалось церкви, либо закалывалось во время посещения святого места. Паломники заходили в церковь вместе с животным и проводили его мимо статуи Девы Марии, как бы символически демонстрируя жертву адресату. Так, комментируя введенные запреты, отец А. вспоминал, как посетители приводили с собой барана – символ благодарности. Это вызывало недовольство монахинь, и желающих зайти с животным в церковь непускали. Те же подводили даруемое животное к дверям церкви и показывали статуе Марии, проводили его мимо дверей (из полевого дневника, ПМА 2014 (1)). Ритуальное заклание животных зачастую включается в целительные и охранительные обряды, в связи с чем, вероятно, и сейчас продолжает практиковаться в дни посещения церкви. На данном этапе исследования недостаточно материалов, чтобы проследить пути трансформации этой практики в связи с упомянутыми запретами.

тивовес церковным¹³: окутывание статуй платками и полотенцами, обвязывание культового здания и деревьев шерстяными нитями¹⁴ и т. д. Появление подобных ограничений и усиление контроля со стороны клира вызвало бурную реакцию среди паломников. «Поначалу не принимали запрет и злились» – вспоминает отец А. (ПМА 2014 (1))¹⁵. Негативная реакция была связана с тем, что предписания нарушали структуру ритуала, распространялись на значимые для верующих вотивные приношения и некоторые целительные практики.

Ограничение пределов дозволенного коснулось тех обрядов, которые в течение многих лет были неотъемлемой частью подобных совместных массовых паломничеств в христианские святыни рассматриваемого региона (например, в церковь Богоматери Летницы, Пресвятой Богородицы в монастыре Грачаница (Косово) и др.) и связывали между собой локальные ритуальные традиции почитания священных мест.

3 Формирование локального культа

Паломничество в церковь Св. Иосифа является частным случаем других массовых «смешанных» паломничеств христиан и мусульман, которые совершились ранее и совершаются сейчас в регионе и объединяются схожим сценарием взаимодействия между конфессиональными группами. В интерпретации респондентов – паломников и духовенства – практики такого рода выступают традиционным элементом локальных религиозных культур.

Каким образом формировались паломнические практики мусульман в церковь Св. Иосифа и какие изменения они претерпевают в динамичном соци-

13 Серб.-хорв. *Ono što nije u skladu sa religijom* (ПМА 2014(1)).

14 Обвязывание культового здания – обряд, направленный на преодоление проблем, связанных с бесплодием или невынашиванием ребёнка. Действие совершается как женщиной, так и мужчиной, с которым она состоит в браке. Здание опутывается в ночное время, после вечерней праздничной службы. В обряде, как правило, используются шерстяные нити, не содержащие узлов. Паломники проводят нить по стенам храма, совершая три обхода вокруг здания. Т. Вуканович отмечает, что по его наблюдениям первый круг нить ведёт мужчина, а последующие уже женщина (Vukanović 1966: 19-20). Нити, которые снимаются со стен здания перед утренними церковными обрядами, впоследствии вплетаются в нижнее бельё (как женщины, так и мужчины), или же из них плетут пояс, которым женщина опоясывается и носит в течение года. В этот период, согласно поверьям, женщина, совершившая обряд, может забеременеть. По свидетельствам отца А., нити, опутывающие здание, могли оставаться на его стенах и в течение дня (ПМА 2014 (1)).

15 Серб.-хорв. *Prvo nisu prihvatali zabranu i ljutili se* (ПМА 2014 (1)).

альном и культурном контексте? Ключевые исследования, содержащие детальные описания отправляемых цыганами практик в ходе паломничеств к христианским святыням, проводятся начиная со второй половины XX в. На основании собранного материала и следуя личным воспоминаниям участников (как мирян, так и священнослужителей) можно выделить несколько христианских культовых мест – крупных центров интерконфессиональных паломничеств: церковь Пресвятой Богородицы в православном монастыре Грачаница и католическая церковь Богоматери в селе Летница, расположенные в регионе Косово, а также православный монастырь Острог в Черногории. Можно заметить, что большинство христианских культовых мест, посещаемых цыганами-мусульманами, посвящено Деве Марии (Богородице), но не ограничивается ими. Широкая география практик паломничества включает в себя локусы, связанные с различными фигурами христианской традиции. Среди них можно выделить в отдельную категорию так называемые «двойственные» святыни – обычно места погребения духовного авторитета, почитаемого в образе святого, который в локальных мифологиях христиан и мусульман выступает самостоятельным персонажем¹⁶.

Первое подробное описание паломничества цыган-мусульман в монастыре Грачаница на праздник Успения Пресвятой Богородицы (серб.-хорв. *Uspenje Presvete Bogorodice (Velika Gospojina)*) (28 августа) было предпринято Татомиром Вукановичем (Vukanović 1966: 17-26). В своей работе он выдвигает предположение, что совместное посещение монастыря христианами и мусульманами как массовое явление возникает и развивается после 1945 г. Как можно судить по материалу, приводимому Т. Вукановичем и Г. Дейзингсом, вплоть до 90-х гг. XX в. описываемая практика отличалась крайней вариативностью и пестротой обрядовых действий (Duijzings 2000: 66-71). При сопоставлении обрядов, которые совершались ранее в монастыре Грачаница, с исследуемым ритуальным комплексом в церкви Святого Иосифа, можно отметить наличие явного параллелизма. В то же время некоторые из ритуальных практик, зафиксированных Вукановичем, не наблюдаются нами в Скопье. Они также не относятся к части запрещённых в недавнем прошлом символических действий: речь идёт оочных бдениях в границах священного места, а также ритуальных жертвоприношениях (заклании на прилегающей к культовым зданиям территории жертвенных животных) (Vukanović

16 Среди ныне действующих «двойственных» святыни в регионе можно упомянуть монастырь Св. Наума (мак. *Свети Наум*) в пригороде македонского Охрида, в котором расположена усыпальница святого Наума Охридского – она же могила персонажа Сары Салтык (Sari Saltik (Saltuk)), почитаемого среди местных мусульман, в том числе последователей некоторых суфийских братств; см., например, (Hasluck 1929: 70-71), а также православную церковь Св. Николая (мак. *Свети Никола*) в городе Македонски-Брод, в которой покоятся Св. Николай, или же Хайдар баба, духовный авторитет для части местных мусульман (Bowman 2010).

1966: 19-21). Отмеченные ритуальные действия непременно фигурируют в индивидуальных и семейных воспоминаниях: «Это 28 августа. Какое-то время мы там ночевали. Целую ночь. И резали жертвенных животных. Там был мясник. Всегда его режет, и готово – несё в пекарню, к двенадцати готово»¹⁷ (ПМА 2014(2)).

Примечательно также, что, по сообщениям исследователя, в Грачанице «народные» практики отправлялись «легально» при участливом содействии священнослужителей (Vučanović 1966: 19). Аналогичная модель совместного паломничества в рассматриваемом регионе с идентичным набором совершаемых обрядов также отмечена в католической церкви села Летница, которая вплоть до 1990-х гг. ежегодно принимала десятки тысяч паломников. Примечательно, что в Летнице в период паломничества, приуроченного ко дню Успения Пресвятой Богородицы (15 августа), совершались богослужения на цыганском языке, что свидетельствует об открытости культа и заинтересованности духовенства к вовлечению всех групп паломников в общий порядок праздничной обрядности (ПМА 2014(1); Majka božja Letnička 1971).

Более свежий материал, содержащий свидетельства значимых изменений, собран Г. Дёйзингсом. В своём описании культов Грачаницы в 80-х – начале 90-х гг. прошлого века он отмечает, что характер поведения паломников христиан и мусульман при совершении обрядов в значительной степени отличается друг от друга. Он подчёркивает с позиции наблюдателя, что действия мусульман крайне индивидуализированы и, следовательно, вариативны в большом спектре, тогда как православные паломники, напротив, тяготеют к единообразной обрядности, что, таким образом, приводит к созданию единой общности паломников (Duijzings 2000: 69). Дёйзингс приводит фактические наблюдения того, что мусульмане лишь частично воспроизводят христианскую обрядность (например, целование икон), но в остальном группы паломников различных конфессий «не смешиваются в религиозной или ритуальной сфере» (Duijzings 2000: 69). Иными словами, конфессиональные границы смешанного паломничества в данном случае остаются явно вычерчены. В исследовании Дёйзингса особую ценность представляет наблюдение тенденции к ужесточению контроля за ритуальными действиями паломников-иноверцев, которая имела место в конце XX в. С 1990-х и до настоящего времени сценарии межконфессиональных паломничеств значительно трансформируются: изменяется рисунок взаимодействия между различными группами паломников, меняется позиция духовенства в отношении сформированной традиции, что приводит к изменению статуса посетителей-мусульман. Одним из показательных примеров является процесс исключения паломников-мусульман в монастыре Грачаница, который

17 Серб.-хорв. *To je dvaest osmi avgust. Jedno vreme tamo smo noćili. Celi noć i klali smo kurbani. Imalo kasa-pina, za čas ga kolje i gotovo, nosim ga u pekaru, do dvanaest sati gotovo* (ПМА 2014(2)).

относится к юрисдикции Сербской православной церкви. Согласно описаниям, которые приводит Дейзингс, которые также повторяются в воспоминаниях участников посещений монастыря, действия паломников-мусульман были существенно ограничены. Им перестали разрешать разбивать палаточный лагерь в пределах монастырских стен, проводить жертвоприношения, вносить жертвенное животное в церковь и т. д. (Duijzings 2000: 71). Введение подобных запретов вполне объяснимо оживлением националистического дискурса, которое происходит по мере развития драматических процессов распада югославской наднациональной общности (Duijzings 2000). Закономерно, что православная церковь как социальный институт и, шире, православие как маркер национальной идентичности начинает вовлекаться и активно использоваться в пространстве политической идеологии, ставя духовенство перед необходимостью явно манифестировать православное доминирование в сфере повседневной, «народной» обрядности. Актуализация конфессиональных границ через запреты в обрядовой сфере в этом случае позволяет исключить нежелательное присутствие «другого». Отмеченная тенденция рубежа XX-XXI вв. оказывается характерна не только для Сербской православной церкви. Так, хотя в период военных столкновений в регионе Косова, в католическом приходе в селе Летница строгие запреты введены не были, впоследствии, при попытках воспроизвести привычную модель совместного паломничества уже в других христианских святынях паломники-мусульмане из числа вынужденных переселенцев начинают сталкиваться с ограничениями, которые сужают комплекс совершаемых обрядовых действий (Радисавлевич-Чипаризович 2014; Todorović 2003).

Оформление церкви Св. Иосифа в Скопье в качестве нового центра межконфессиональных паломничеств происходит во второй половине XX в. Замечания респондентов наводят на предположение, что в это время она имела вторичный, по сравнению с ключевыми центрами паломничества, статус и практически не упоминается в качестве значимой святыни: «Те, кто не мог совершить паломничество в Косово [по причине финансовых затруднений – прим. автора], приходили в те же даты в церковь в Скопье» (ПМА 2014(1), 2014(2, 3)). Возышение церкви Св. Иосифа происходит во время военных конфликтов в пределах бывшей Югославии (1991-2001) и в постконфликтный период, когда функции известных мест паломничества, расположенных на территории Косово были делегированы беженцами другим культовым локусам в регионах своего расселения¹⁸.

18 Помимо описываемого центра следует также упомянуть православный монастырь Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный в селении Джунис (Сербия), католический приход Снежной Богородицы Текийской в Петроварадине (Сербия), католический приход Воздвижения Святого Креста в Нише (Сербия), монастырь Пресвятой Богородицы в Кичево (Македония).

4 Паломничество как «традиционная» практика: критика и легитимация

Изменение нормативных границ паломнической обрядности в постсоциалистический период обусловлено различными факторами: становлением самостоятельной религиозной политики государств, потребностью религиозных институтов в определении или переопределении собственной идентичности в меняющемся социальном, политическом и экономическом контексте. Наблюдаемые на примере культа церкви Святого Иосифа трансформации совместных паломничеств разворачиваются на фоне сложных конфликтных сценариев существования различных этнокультурных общностей, что создаёт дополнительные сложности для интерпретации и прогнозирования. В этот период преобразования развитой в предыдущие десятилетия традиции актуализируются дискуссии о нормативности и традиционности подобных «народных» религиозных практик в рамках ислама, на уровне локальных мусульманских обычаяев, а также в локальной цыганской культуре.

Паломничество к христианским культовым локусам, особенно в том виде, в котором оно практиковалось в течение нескольких последних десятилетий, – одна из практик, которая ведёт к маргинализации участников-цыган как со стороны духовных авторитетов мусульман, так и рядовых верующих. Повышение уровня светского и религиозного образования в цыганских сообществах, возникновение и развитие общин верующих – джамаатов, которые следуют различным идеяным традициям и по-разному подходят к трансляции вероучения и практик, – всё это приводит к тому, что в самой среде цыган-мусульман и по отношению к ним со стороны представителей других этнических сообществ оказываются крайне важны вопросы культурной и религиозной принадлежности, «дозволенного» и «запретного» в обрядовой сфере и т. д. Дискуссии вокруг понятия нормативности крайне динамичны, а само оно, разумеется, весьма условно, так как находится на пересечении различных дискурсивных традиций. В свою очередь, их наличие порождает в исследуемой среде цыган-мусульман апологетические нарративы, которые призваны легитимировать отправляемые практики, в том числе путём перечерчивания границ традиционности и её содержимого.

Одним из универсальных аргументов в процессе объяснения исходных мотивов, а также легитимации культовой деятельности, в том числе для данного пограничного региона, служит истолкование явления иерофании через «пророческие» сновидения или видения; см., например, (Вражиновски 1999: 143–148, 211; Цепенков 1997; Zlatanović 2007; Knjysh 2012). Сюжетообразу-

ющий мотив в подобных нарративах заключается в коммуникации с персонажами «иного» мира, образа которых оформляется в рамках определённой модели интерпретации. Вспоминая о своём первом визите в церковь Богоматери Летницы, пожилая женщина сослалась на сновидение, истолкование которого положило начало её последующей паломнической практике: «Я соблюдаю этот день. Пятнадцатого... этого... августа. Сын заболел. Она пришла [во сне – прим. автора] в белом платке, вот так он был повязан. – [Соб: Как у мусульманки?] – Мусульманка. На её день... А там [в церкви – прим. автора] было очень много людей. Я оставила деньги, оставила всё, что принесла» (ПМА 2012)¹⁹. Заметим, что интерпретация этого распространённого сюжета включается в себя конструирование образ персонажа, явившегося во сне, в исламском контексте, что, как можно предположить, имплицитно включает в себя конфессиональную маркировку паломнической практики. Похожим образом в границы локальной мусульманской культуры включается практика сооружения домашних святилищ. Она объясняется респондентами тем же мотивом явления во сне обезличенного персонажа народной мифологии (дух – хозяин дома), прочитываемого в контексте исламских религиозных представлений, который становится адресатом отправляемых здесь ритуальных практик (Trofimova 2015: 168-174). Несмотря на последовательную жёсткую критику данной модели истолкования визионерского опыта, которую проводят некоторые духовные авторитеты, она остаётся устойчивой и продолжает воспроизводиться в исследуемых мной сообществах.

Ещё одна линия легитимации описанных практик заключается в подчёркивании особого «надконфессионального» статуса того или иного священного пространства. В нарративах такого рода церковь, монастырь интерпретируется как «место силы», которое, таким образом, повышает действенность отправляемых здесь ритуальных действий. «Сила», присущая священному месту, в представлениях респондентов оказывается не связанной какими-либо конфессиональными рамками, что делает это место открытым для всех: «Есть места благословенные старыми священникам, старыми людьми. Они нам оставили аманет [имеется в виду «оставили после себя в пользование “силу” или хранилище/источник силы» – прим. автора]»²⁰ (ПМА 2014(1)). По замечанию шейха одного из суфийских братств, который объяснял мне специфику регионального сакрального ландшафта и оправдывал совмест-

19 Серб.-хорв. *Držim ovaj dan. Petnaestog... ovaj... avgusta. Sin se razboleo. Ona je došla sa belim maramom, ovako vezana je bila. – [Kao muslimanka izgledala?] – Muslimanka. Za njen dan... A tamo velika gužva. Ostavila sam pare, ostavila sam sve što sam donesla* (ПМА 2012).

20 Серб.-хорв. *Ima mesta blagosiljena od starijih popova, od starijih ljudi. Ostavili nam amanet* (ПМА 2014(1))

ные паломничества мусульман, «монастырь – это место, куда каждому можно»²¹ (ПМА 2014(2)).

Представление об открытости священного места обуславливает воспроизведение в пространстве паломничества различных религиозных традиций, сосуществование религиозных дискурсов, а входящим в него, таким образом, – сохранять собственную религиозную идентичность. Как подчёркивают некоторые местные духовные лидеры, на уровне символических действий мусульмане и христиане не переходят своих конфессиональных границ: «(Мусульманин) может произнести ‘аминь’, но не совершать крестное знамение. И прочитать суру Аль-Фатиха – [Соб: В церкви?] – Заходишь внутрь. – [Соб: Перед иконой?] – Нет, непосредственно здесь. Он не подойдёт к иконам [не станет почитать – прим. автора] иконы, нет [там] никого. Он [паломник-мусульманин – прим. автора] завершает своё дело, священник завершает своё»²² (ПМА 2014(2)).

В то же время, как было отмечено выше, актуальные общественные процессы последних десятилетий привели к тому, что христианское духовенство всё более жёстко реагирует на попытки трактовать церкви и монастыри в качестве общих мест «силы» и осуществляет своего рода символическую приватизацию путём установления строгих ритуальных требований и запретов по отношению к паломникам. В свою очередь наложенные ограничения закономерно подводят исследователя к необходимости трактовать наблюдаемые практики и их осмысление паломниками и духовными авторитетами в контексте оппозиции «своего»/«чужого» пространства, которая, впрочем, самими респондентами явным образом не рефлексируется за исключением случаев, когда она используется как средство дополнительной легитимации присутствия мусульман в христианских святынях (Bowman 2010). В случае с церковью Св. Иосифа (аналогично – с церковью в Летнице и Грачанице) я не встречала прямых или косвенных утверждений, которые позволяли бы судить о символической или исторической приватизации данного пространства мусульманами. Респондентами монастырь или церковь не воспринимаются в качестве «своих», определяются как христианские (в широком смысле, зачастую без знания конкретной конфессиональной подчинённости или путая таковую). Среди опрошенных цыган-мусульман не все могли вспомнить название церкви, а также какой праздник Церковь отмечает в день, когда они её посещают.

21 Серб.-хорв. *Manastir je mesto za svakoga dozvoljeno. Najbolje zaštiće manastir. Za sve ove stvari manastir* (ПМА 2014(2)).

22 Серб.-хорв. *Može (musliman) da napravi amin, a da se krsti – ne. I suru da napravi ‘El Ham’ – [U crkvi?] – Uđeš unutra. [Ispred ikone?] – Ne, upravo tu napravi. Nema da poseti ikone, nema nikog. On (2012) završava svoj posao, pop završava svoj posao* (ПМА 2014(2)).

Часовня Святого Иосифа, как и другие подобные паломнические центры, как правило, обозначаются в нарративе как «хорошее место» и идентифицируются по месту расположения церкви.

В то же время, несмотря на отсутствие символической приватизации священного пространства, отправляемые там ритуальные действия включаются в комплекс групповой культурной идентичности исследуемых сообществ и оправдывают своё нахождение там, в том числе, через апелляцию к традиционному характеру соответствующих практик. Таким образом, сопоставление различных форм совместных паломничеств, осуществляемых цыганами балканского региона, а также вынужденных переносов традиционных для данных сообществ сценариев паломничества на новые сакральные локусы, позволяет судить о значимости и устойчивости практик, которые участниками (цыганами-мусульманами) прочитываются как элементы «своей» традиции.

Полевые материалы автора (ПМА)

ПМА включают в себя записи наблюдений (полевой дневник) и интервью.

ПМА 2011: мужчина; около 60 лет; ислам; грамотный; действующий смотритель святилища; Ниш (Сербия); 06. 2011;

ПМА 2012: женщина; около 70 лет; ислам; неграмотная; Скопье (Македония); 06.2012;

ПМА 2014(1): мужчина; около 70 лет; священнослужитель в епархии Скопья; Скопье (Македония); 11.2014;

ПМА 2014(2): мужчина; 70 лет; ислам; грамотный; шейх тариката кадирийа; Ниш (Сербия); 03.2014;

ПМА 2014(3): женщина; около 40 лет; ислам; грамотная; Ниш (Сербия); 03.2014.

Библиография

- Вражиновски, Танас. 1999. *Народна традиција. Религија. Култура*. Скопје; Мелбурн: Матица Македонска.
- Петровски, Трайко. 1993. *Календарските обичаи кај ромите во Скопје и околната*. Скопје: Феникс.
- Радисавлевич-Чипаризович, Драгана. 2014. Смешанное паломничество в Сербии: на примере двух святынь (Джунис и Текие). *Государство, религия, церковь в России и за рубежом*. 2(32): 139-160.
- Трофимова, К. П. 2014. Конструирование священных мест в мультикультурной среде: пример святилища «Зайде Башче» в Нише (Сербия). *Государство, религия, церковь в России и за рубежом* 2(32): 204-230.
- Цепенков, Марко К. *Сеништа и соништа: Записи*. Скопје, 1979.
- Albera, Dionigi. 2012. Crossing the Frontiers between the Monotheistic Religions, an Anthropological Approach. In: Dionigi Albera / Maria Couroucli. eds. *Sharing Sacred Spaces in the Mediterranean*. Bloomington: Indiana University Press: 219-244.
- Bowman, Glenn. 2010. Orthodox-Muslim Interactions at ‘Mixed Shrines’ in Macedonia. In: Chris Hann / Her-

- mann Goltz. eds. *Eastern Christians in Anthropological Perspective*. Berkley: University of California Press: 163-183.
- Duijzings, Gerlachlus. 2000. *Religion and the Politics of Identity in Kosovo*. London: Hurst and Company.
- De Rapper, G. 2012. The Vakëf: Sharing Religious Space in Albania. In: Dionigi Albera / Maria Couroucli. eds. *Sharing Sacred Spaces in the Mediterranean*. Bloomington: Indiana University Press: 29-51.
- Đorđević, Dragoljub / Todorović, Dragan. 2001. Zajde Badža (Prikaz starijih i novijih zapisa o romskom kultnom mestu). In: Dragoljub B. Đorđević / Dragan Todorović / Jovan Živković. eds. *Vere manjina i manjinske vere*. Niš: JUNIR i Zograf: 251-260.
- Eade, John / Sallnow, Michael J. 1991. Introduction. In: John Eade / Michael J. Sallnow. eds. *Contesting the Sacred. The Anthropology of Christian Pilgrimage*. London, New York: Routledge: 1-30.
- Hasluck, F. W. 1929. *Christianity and Islam under the Sultans*. Vol. 2. Oxford: Clarendon Press.
- Hayden, Robert M. 2002. Antagonistic Tolerance: Competitive Sharing of Religious Sites in South Asia and the Balkans. *Current Anthropology*, 43/2: 205-231.
- Knysh, Alexander. D. 2012. Dreams and Visions in Islamic Societies: An Introduction. In: Özgen Felek / Alexander D. Knysh. *Dreams and Visions in Islamic Societies*. Albany: State University of New York Press: 1-15.
- Majka božja Letnička (1971) Directed by Eduard Galić. Zagreb: Zagrebfilm
- Todorović, Dragan. 2003. Roma Cult Places: The Roman Catholic Church in Niš. In: Dragoljub B. Đorđević. ed. *Roma Religious Culture*. Niš: YSSR and YURoma Center and Punta: 131-140.
- Trofimova, Ksenia. 2015. 'Holiness' Constructed: Anonymous Saints in the Popular Traditions of Muslim Roma Communities in the Balkans. In: Arolda Elbasani / Olivier Roy. eds. *The Revival of Islam in the Balkans. From Identity to Religiosity*. Palgrave Macmillan: 163-181.
- Vukanović, Tatomir. 1966. Gypsy Pilgrimages to the Monastery of Gračanica in Serbia. *Journal of the Gypsy Lore Society* 45: 17-26.
- Zlatanović, Sanja. 2007. The Roma of Vranje: Kurban with Five Faces. In: Biljana Sikimić / Petko Hristov. eds. *Kurban in the Balkans*. Belgrade: Institut des Etudes Balkaniques: 51-87.

Peter Wagner

The copula in North-West Lovari Romani

1 Introduction

The focus of this study is on non-verbal clauses, i.e. clauses with a non-verbal predicate, in a variety of Romani. These clauses are commonly marked by the copula in Romani. The variety under consideration is North-West Lovari Romani, which is a Vlax Romani variety established in Western Slovakia before the extensive migration of Lovari Romani speakers to other European countries and beyond.

The Introduction section gives an overview of the variety and its speakers, provides some comments on the methodology, and introduces the types of non-verbal clauses in North-West Lovari Romani. The various forms of the copula and their usage are presented in the Morphology section. The Syntax section examines the use of syntactical cases in copula clauses and defines copula and possessive clauses. This section also discusses word order in declarative, possessive, interrogative and subordinate clauses. The last section deals with two marginal cases of copula usage.¹

1.1 North-West Lovari Romani

Romani is a language (or a language group) spoken by a part of a minority population which lives in most parts of Europe, Turkey and both Americas. Romani was formed in the Balkan peninsula. The speakers of Romani are called by different names, derived either from the English *Gypsy* or the French *Tsigane*. The most common self-appellation is *Rom*, from which also the name of the language is derived (*románi šib* ‘Gypsy language, language of the Roms’). During the last decades, this self-appellation is gradually replacing the older, degrading appellations in the majority languages. Today, many Roms speak the majority language as their first language instead of Romani. In contrast to Romani dialects that are roughly organized by regional patterns (i.e. Balkan, Northern and Central Romani dialects, see Matras 2002: 222), the Vlax dialects

¹ This study is an excerpt from my yet unpublished Ph.D. thesis. Its complete text is available on the university web site at <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/104631/>.

exceed their “home area” which is centred around Romania. Speakers of Vlax Romani are found in a considerable amount in regions surrounding this area, where they co-habit with speakers of non-Vlax dialects. The local classification of Romani groups in these regions is based on the dichotomy of the two dialects: Vlax and non-Vlax. During the 19th and 20th century, several Vlax speakers migrated to further countries of the old continent and, subsequently, to the new continent too. Vlax Romani is divided into Northern and Southern dialect groups (Boretzky 2003: 90). The former dialect group is located in Romania, while the latter in the Balkans. The Northern group is further divided into a Hungarian-dominated, Western, subdialect and a less homogeneous, Eastern, subdialect (Boretzky 2003: 97). The Western subdialect is spoken by a group called *Lovari* (*PL Lovara*). Lovari speakers live in the area of the former Austro-Hungarian Monarchy and neighbouring regions as far as to Germany and South Poland. The appellation *Lovari* is derived from the Hungarian *ló* ‘horse’, which indicates that horse-trading was one of the traditional professions of *Lovari*. This profession was maintained by several *Lovari* communities until the importance of horses diminished. In Czech and Slovak discourse, the term *olach* (plural cz/sk *Olaši/Olaši*, adjective *olašský/olaský*, language *olaština*) is employed, which is a Hungarian-like form of the term Vlax. This term is still often used as a synonym for *Lovari* Roms in general. Actual Czech scientific discourse² suggests to distinguish *Vlach* / *Vlax* from *Olach* / *Lovari*, so that the denomination itself reflects the Hungarian influence. In my contribution I will refer by the term *Lovari* to the language as well as to its speakers. In reality, not all Roms who speak Lovari Romani call themselves Lovari.

Up to date, there is no detailed classification of Lovari varieties available. If endogenous isoglosses should be drawn, they would have to be aligned in a North-South manner, thus separating Eastern from Western varieties. The North-West variety of Lovari Romani is characterized by:

- 1) the distribution of speakers in the Czech and Slovak-speaking environment,
- 2) shared features categorizing them into the Western part of Lovari Romani.

North-West Lovari speakers are found along the Slovak Danube and, due to the migration after WWII, in Bohemia and Moravia. The Lovaris of Bohemia and Moravia generally maintain relations with the Lovaris in Western Slovakia.³ The main reasons for maintaining contact are business trips, family events and, especially, searching brides. The term “North-West” refers to the North-western position of the group within the entire Lovari population. This definition excludes by purpose Lovaris living in the East of Slovakia.

2 Discussions on courses and seminars at the Romani Studies department of the Charles University in Prague.

3 In contrast, the speakers of Central Romani after the migration to Bohemia and Moravia lost contact to their families in Slovakia.

My intention is to give a synchronic description without etymological references. From a synchronic point of view, the present source of influence on North-West Lovari Romani is Czech and Slovak, while all older layers (i.e. mainly Hungarian, Romanian, Greek) are taken as given part of the language system.⁴ The scope of this study is reduced to the North-West Lovari variety. Links to other dialects of Romani are not elaborated in this study.

Boretzky (2003: 87-98) provides a classification of Vlach Romani. He lists key features which are used to distinguish dialect groups.⁵ Accordingly (p. 87), the Vlach dialects compared to other dialect groups are characterized by

- the 1SG PRES copula and 1SG PFTV marker *sim/sem* and *-em*, respectively;
- negative 3P PRES copula *naj*.

The Northern Vlax against the Southern Vlax dialect group is distinguished by (p. 93-96):

- the negative 3P IPFV copula *nás*.

The Western variety of Northern Vlax (roughly Lovari) against the Eastern variety (p. 93-96):

- 2SG PRES copula and PFTV marker *sal* and *-al*, respectively.

1.2 Methodology and main sources

My key consultant for this study was Anna Lankatosová, a woman around the age of 70. There were also four assistant consultants, her daughters Monika Stojková, Eva Lakatošová, Marika Lakatošová and Margita Wagner, aged between 35 and 45 years. They also served for further consultations. Anna Lankatosová grew up in southwestern Slovakia. In the early 1960s, she moved to Northern Bohemia where her children grew up. At the beginning of the 1990s they moved to the Silesian region, the North-East of the Czech Republic.

The majority of written sources comes from Peter Stojka, a man around the age of 60. He lives in southwestern Slovakia. His bilingual book called *Amáro Trajo – Náš život* (Stojka/Pivoň 2003) gives a solid insight into Lovari customs and traditions. It is written in North-West Lovari Romani, while the Slovak translation is provided by him and his co-author, Rastislav Pivoň.

⁴ The Hungarian layer of influence is treated as given part of the language only with some exceptions.

⁵ Coincidentally, all three features given by Boretzky (2003: 87-98) comprise the copula.

1.3 Lovari speakers in the Czech Republic and Slovakia

Official data on the number of Roms in general are very unreliable, on Lovaris in particular. The Lovaris form a minority in Slovakia and the Czech Republic as compared to the (former) speakers of Central Romani, i.e. the Northern Central and Southern Central dialect groups (see Matras 2002: 8-9). Hübschmannová (1993: 27) also mentions the absence of figures on the sub-ethnic distribution of Roms in both countries. She estimates the number of Lovaris as of 10-15%. The total number of Lovaris most probably does not exceed several thousand in each country.

Lovaris live rather scattered within the Czech majority population. In Slovakia, there are smaller settlements, called *telepo*, which comprise of several families living close together.

The public rarely differentiates between single Romani groups, and complaints on social welfare misuse by Roms are often quoted alongside the pretentious usage of expensive goods. The *Olaši* (Lovaris) are known only as “some kind of” Roms, but they are not perceived as behaving differently from other Romani groups.

The Lovaris in the Czech Republic are highly competent in their language. According to a sociolinguistic survey (Červenka/Kubaník/Sadílková 2009: 9), 100% of Lovari pupils in selected elementary schools were able to communicate in Romani. Similarly to speakers of other Romani dialects, the Lovaris are at least bilingual. Romani remains to be their first acquired language.

1.4 Non-verbal predicates in North-West Lovari Romani

Languages have a need to express aspects of reality which do not fit into the scheme of agents acting in some way (e.g. walking, creating, interacting, etc.) or patients being found in a given state (e.g. sleeping, waiting, etc.). Dryer (2007: 225-227) distinguishes three syntactical types of such non-verbal predicates: nominal, adjectival, and local. They are handled in different ways in different languages. The most frequent way is to use the copula. This applies also to North-West Lovari Romani. From a semantic viewpoint, the copula expresses existential statements ('There is sugar.'), links between entities and their properties ('The carpet is green.'), their class affiliation ('He's a doctor.'), their location ('The switch is over there.') and, specifically in most Romani dialects, possessive relation ('The key is mum's.').

The copula is inflected in North-West Lovari Romani. The link between entities and their properties is often expressed by the copula form, so that there is no need for an explicit NP. The copula is governed by number and person, not by gender. Some of its forms resemble the respective full verb, but with completely different usage (e.g. the perfective suffixes in the present tense). In the third person present tense clitic equivalents have developed alongside the full copula forms: *-i* and the set *-lo/-li/-le* (see 2.1). The clitic copula together with its carrier forms a common prosodic word. The carrier word is not bound to a certain part of speech. The clitic copula is separated by a hyphen (*mišto-j* ‘It’s OK’, lit. ‘good-is’) in the writing system of Lovari. It most probably resulted from the fact that the linguists who played a role in establishing a writing system for Lovari (on the history see Hübschmannová/Šebková 2003: 65) were familiar only with inflected languages, i.e. languages with a clear distribution between the parts of speech and morpheme classes. Other elements with a status between formant and word are written separately in Lovari. So are the article, some prepositions, and some personal pronouns. Czech and Slovak writing proceed similarly with prepositions.

2 Morphology

2.1 Forms

Apart from the clitic copula, the copula has two stems: *s-* and *av-*. The latter form is homonymous with the verb *av-* ‘come’. Historically, the clitic has evolved from an alternate form of the 3P PRES *s*-stem. The perfective stem *avil-* is derived from the *av-* stem. While the potential form of verbs is morphologically identical to the imperfective form, the copula employs a distinctive *av-* stem. This results in the usage of the *av-* stem after modal particles, but not in existence statements (see example 10).

The *s*-stem is used in factual statements:

- present tense,
- imperfective.

The *av*-stem is used in statements with aspects of insecurity:

- subjunctive,
- imperative,
- future tense,
- potential mood,
- irrealis mood (based on the extended perfective-like stem *avil-*).

Table 1 shows the present and imperfective copula forms based on the *s*-stem, including the clitic copula.

Table 1: Present and imperfective copula forms

	Present	Imperfective
1 st Person Singular	<i>sim</i>	<i>simas</i>
2 nd Person Singular	<i>sal (san)</i>	<i>salas</i>
1 st Person Plural	<i>sam</i>	<i>samas</i>
2 nd Person Plural	<i>san</i>	<i>sanas</i>
3 rd Person (SG + PL)	<i>si / -i / -j</i>	<i>sas</i>
3 rd Person (SG + PL) Negative	<i>naj</i>	<i>nás</i>

The 3P PRES clitic copula *-i* (*-j* after a vowel) is more frequent than the form *si*. It is appended to the very last constituent of the NP,⁶ e.g. *Rusura-j* ‘they are Russians’, *mišto-j* ‘it’s OK’, *kadej-i* ‘so is it’, *mure dadeske phralesko kher-i* ‘it’s the house of my father’s brother’. The clitic copula has no influence on the stress of its carrier. For example, the most common ultimate stress applies only to the carrier.

The clitic form is the default form, while the copula *si* is only used:

To emphasize the importance of the connection (as a matter of fact):

- (01) *Taj si kíneša.*
and cop.3 cute
'And they are (so) cute.'

- (02) *Hárniko si o Berci.*
skilful COP.3 the Berci
'Berci is (really) skilful.'

In coordinated sentences in contrast to full verbs:

- (03) *I romní terejdij pa sa taj si pe mindenekos.*
the woman care.3SG about everything and cop.3 on all.kind.of.things
'The woman takes care of everything and she is in charge of all kind of things.'

6 The clitic copula cannot be attached to a discourse particle.

In possessive constructions with a personal pronoun:

- (04) *Aj si ma vi ávera šáli.*
 DISCP COP.3 me-ACC also other scarfs
 'But I have other scarfs too.'
- (05) *Taj určíte vi la si kirv-i.*
 and certainly also her.ACC cop.3 godmother-NOM
 'But she certainly also has a godmother.'

In absence of a carrier:

- (06) *Si.*
 COP.3P
 'There is/are.'
- (07) *Naj la bár-o kher? Naj si!*
 NEG.COP.3 she.ACC big-NOM flat.NOM DISCP COP.3P
 'Doesn't she have a big flat? Yes, she has!'
- (08) *Anda sako than, ká si, an-el peske mindík mol khejre.*
 from every place where COP.3 bring-3SG REFL-DAT always wine home
 'She always brings home some wine from every place she goes.'

In existential statements:

- (09) *Si cukro.*
 COP.3P sugar
 'There is sugar. / We have sugar.'
- (10) *Šaj si.*
 MODP COP.3
 'It's possible. / There can be some.'
- (11) *Taj khate si o dudum?*
 and there COP.3 the pumpkin
 'And do they have pumpkins there?'
- (12) *Taj vou žan-l-a hot' si vaj naj.*
 and she know-3SG-FUT that COP.3 or NEG.COP.3
 'And she will know whether they have some or not.'

- (13) *Si ánde.*
COP.3 inside
'There is something inside.'

One of my consultants also used the 2SG form *san* (alongside the form *sal*), but not the parallel perfective forms in *-an*, such as **kerd-an* 'you made'.

The animate interrogative and relative pronoun *ko* 'who' has the optional NOM SG form *kon* in front of the clitic copula, e.g. *Kon-i?* 'Who is it/there?'.

The personal pronouns *vou* and *vouj* 'he; she' are allomorphs. The form *vouj* is used together with the clitic copula (*vouj-i* 'he is; she is') and in isolated positions (e.g. answering questions).

Table 2 lists the subjunctive, future, potential and irrealis forms of the *av*-stem.

Table 2: Subjunctive, future, potential and irrealis copula forms

	Subjunctive	Future	Potential	Irrealis
1 st Person Singular	<i>avav</i>	<i>avou</i>	<i>avous</i>	<i>avilemas</i>
2 nd Person Singular	<i>aves</i>	<i>avesa</i>	<i>avesas</i>	<i>avilalas</i>
3 rd Person Singular	<i>avel ~ al</i>	<i>avlā</i>	<i>avlas</i>	<i>aviloun</i>
1 st Person Plural	<i>avas</i>	<i>avasa</i>	<i>avasas</i>	<i>avilamas</i>
2 nd Person Plural	<i>aven ~ an</i>	<i>avna</i>	<i>avnas</i>	<i>avilanas</i>
3 rd Person Plural	<i>aven ~ an</i>	<i>avna</i>	<i>avnas</i>	<i>aviloun</i>

In contrast to the morphology of full verbs, the *-e-* is elided in the 3P and 2PL future and potential forms, e.g. *av-l-as* versus *phen-el-as*. Copula forms without the root *-v-* are commonly used in optatives alongside the full forms. The copula is preceded by the contracted *te < t'*:

- (14) *T' a-l tumen-ge baxtáli!*
MODP COP.SUBV-3SG you-DAT happy
'Let it bring you happiness!'

- (15) *Tumára pátiva-ke, romale, t' a-n tumen-ge baxtále!*
your respect-DAT gentlemen MODP COP.SUBV-3PL you-DAT happy
'Be welcome, gentlemen. Let them bring you happiness!'

The use of the 3P irrealis forms in *-oun* vs. *-asas* varies from speaker to speaker. My consultants used the form in *-oun*, while the form in *-asas* is used in other locations.

The imperative forms of the copula are homonymous to the imperative forms of the corresponding full verb, i.e. present stem in 2SG and the corresponding suffixes for person and number in 1PL and 2PL (see in Table 3).

Table 3: Imperative copula forms

2 nd Person Singular	<i>av</i>
1 st Person Plural	<i>avas</i>
2 nd Person Plural	<i>aven</i>

In local deixis, additionally, a clitic set is applied in very limited circumstances. These clitics are used only in present tense. The forms M SG *lo*, F SG *li*, PL *le* appear as canonical, non-suppletive extensions (or relics) of the 3P *l*-stem personal pronouns (such as *la*, *lesko*, *len* etc.) into the nominative. However, synchronically they have to be analyzed as copula forms, as they are in complementary distribution to the otherwise obligatory copula, while pronouns are not compulsory. The clitic forms are used after the local interrogative *ká* (e.g. *Ká-lo?* ‘Where is it?’) and the deictic particles *eta* (e.g. *Eta-li!* ‘Here she is!’) and *áke* (*Áke-le!* ‘Here they are!’). The occasional occurrence of subjects alongside the *l*-stem clitics shows that these clitics should be analyzed rather as copula forms than personal pronouns. For example, in *Ká-li i Luludinka?* ‘Where is my little Lulud?’ the clitic *-li* is followed by the subject *Luludinka*. Double subjects are unusual in North-West Lovari Romani, and in the context of the given example would not be necessary.

Number neutralization is more frequent in copula morphology than in full verb morphology. It occurs in the 3P irrealis: *aviloun* (see Table 2).

2.2 Use of forms

The basic role of the copula is to assign either properties or locations to the subject of the copula clause. Copula clauses, i.e. clauses based on a copula form, comprise the subject, the copula and the non-verbal predicate which is the value of the selected property. The latter two constitute a copula predicate. The types of copula clauses are the following:

1. Adjectival predicate – the property is expressed by an adjectival:

- (16) Šukár-i.
beautiful-COP.3
'She is beautiful.'

- (17) *O tričko tista loulo sas andaj paradičomi.*
the T-shirt completely red COP.IPFV.3 from.the tomatoes
'The T-shirt was completely red from the tomatoes.'
2. Nominal predicates – the property is expressed by an institution, a (non-referential) class noun or a counter-value:
- (18) *Kadi gajži učitelka-j.*
this lady teacher-COP.3
'This lady is a teacher.'
- (19) *Angluno rom sas.*
first person COP.IPFV.3
'He was a leading person.'
- (20) *O drab-i štiri sto koroni!*
the pills-COP.3 four hundred crowns
'The pills cost four hundred crowns!'
3. Locative or other adverbial predicates – the subject is situated in a location; it is expressed by a local adverbial, or by other adverbials referring to certain relation:
- (21) *Pi mesáli-j.*
on table-COP.3
'It's on the table.'
- (22) *Muro nano andi Praha-j akánik.*
my uncle in.the Prague-COP.3 now
'My uncle is in Prague now.'
- (23) *Či kodo č' av-l-as šukáres.*
neither that not COP-3SG-POT nice
'Neither would that be nice.'
- (24) *Opre s-al?*
up COP-2SG
'You're up?'
- (25) *Nás opre.*
NEG.COP.IPFV.3 up
'He was not up.'

4. Existential predicates – the subject is stated to exist at the moment of the reported discourse:

- (26) *Nás jiv.*
NEG.COP.IPFV.3 snow
'There was no snow.'
- (27) *Káveja site si.*
coffee MODP COP.3
'There has to be coffee.'
- (28) *Te si lon, šaj šos lon.*
if COP.3 salt MODP put.2SG salt
'If there is salt you can add salt.'

5. Possessive constructions. The accusative NP is the possessor, while the nominative NP is the possessed object:

- (29) *Cigno kher-i la, taj resel ánde.*
small.NOM flat.NOM-COP.3 her.ACC and suit into
'She has a small flat, but it suits her.'
- (30) *Naj ma tuška, site phuš-es a mama-tar.*
NEG.COP.IPFV.3 me.ACC pencil MODP ask-2SG the mother-ABL
'I haven't got a pencil. You have to ask mummy.'

6. Passive voice, in connection with the perfective participle. The morphology and syntax of North-West Lovari Romani offers mechanisms to transform active clauses into passive clauses. This way the identity of the agent can be reduced or hidden. However, this is a rather unusual application of the passive voice. Passive voice is more frequently used with unknown or irrelevant agents. The semantic agent may be expressed by the ablative.

- (31) *Kodo d'ejs engedime-j leske.*
that day allowed-COP.3 him
'That day he was allowed to act.'

From: *Engedine leske.*
allowed him
They allowed him to act.

- (32) *Kodola rom khar-d-e-j le šáveske dades-tar.*
those men invite-PFTV-3PL-COP.3 the young.man's father-ABL
'Those men are invited by the young man's father.'

From: *O šávesko dad khardas kodole romen.*
the young.man's father invite-PFTV-3SG those men
'The young man's father invited those men.'

- (33) *Na prosinec s-im khar-d-i.*
for December COP-1SG invite-PFTV-3SG.F
'I have an appointment in December.'

From: *Khar-d-e ma.*
invite-PFTV-3PL me
They ordered me.

In copula clauses the subject is the copula argument which is linked to another element by the copula. This is partially a semantic criterion, as sometimes there is no syntactic clue which part of the copula clause is the subject and which is the copula predicate:

- (34) *Kado-j o učiteli.*
this-COP.3 the teacher
'This is the teacher.'

In questions about a new term, *kodo* is used compulsory:

- (35) *Žan-es, so-j kodo i mužika?*
know-2SG what-COP.3 that the music
'Do you know what music is?'
(in contrast to: **Žanes, so-j i mužika?*)

The copula is occasionally omitted (36) or replaced by the personal pronoun-like M *lo* (37), F *li* or PL *le* (see also 3.2 and 2.1):

- (36) *Ká i Manci?*
where the Manci
'Where is Manci?'

- (37) *Ká-lo?*
where-3SG.M
'Where is he?'

3 Syntax

After an introduction into word formation in the Morphology section, I will now focus on structures at higher hierarchy levels. Within this chapter, I will analyze nominal phrases, adverbials, verbal phrases (predicates) and, on the top of the hierarchy, clauses and sentences. For the latter I will list some general principles of word order.

3.1 Cases reigned by the copula

The copula generally occurs in connection with the nominative, in possessive constructions alongside the accusative, and in impersonal constructions alongside the dative. The locative is expressed by prepositional constructions in North-West Lovari Romani.

3.1.1 Nominative

1. The subject argument of copula clauses:

- (38) *I mál zelen-o-j.*
ART.FEM meadow.NOM green-NOM-is
'The meadow is green.'

2. Animate or inanimate nominal predicate in copula clauses:

- (39) *O drab-i štiri sto koron-i.*
ART.NOM pills-are four hundred crowns-NOM.PL
'The pills cost four hundred crowns.'

- (40) *Čišl-i sim.*
slim-NOM I.am
'I am slim.'

- (41) *Mur-i dej-i kak-i.*
my-NOM mother.NOM-COP.3 this-NOM
'This is my mother.'

- (42) *Mišto sim.*
well I.am
'I'm fine.'

3. The possessed entity in possessive constructions (see also 3.3)

- (43) *Naj tu louv-e.*
NEG.COP.IPFV.3 you.ACC money-NOM
'You have no money.'

3.1.2 Accusative

1. The animate or inanimate possessor in possessive constructions (see also 3.3):

- (44) *E Román-os si bár-i díz.*
ART.OBL Román-ACC COP big-NOM villa
'Román has a big villa.'
- (45) *Kecav-o than sas feri jejkh-e four-os anda štár-en.*
such-NOM place.NOM was only one-OBL town-ACC out.of four-ACC
'Only one town out of four had such a place.'
- (46) *A vorb-a vi ágor-i vi hátul-a.*
ART.OBL statement-ACC also end.NOM-COP also begin-NOM
'The saying is profound.'

3.1.3 Dative

1. The semantic subject, i.e. the key entity is marked by the dative. Impersonal constructions which consist of the copula and a nominal (such as *mišto* 'well', *pháro* 'difficult', *vígo* 'end', *šil* 'cold', *jejkh* 'one' etc.), or some other experiencer, has an additional dative element which acts as a 'third' argument alongside the (otherwise nominative-marked, impersonal) omitted subject and the (nominal or adverbial) copula predicate:

- (47) *Mišto-j l-enge khote.*
well-COP them-DAT there
'They feel fine there.'
- (48) *Má víg-o-j l-ake, hot' ká simas mítē.*
already end-NOM-COP her-DAT that where I was so.long
'She is already exhausted that I have not been there so long.'
- (49) *Man-ge jejkh-i.*
me-DAT equal-is
'It is the same for me.'

- (50) *Aj t' aviloun man-ge dosta, či bikindemas l-a.*
DISCP if it.were me-DAT enough not had.bought she-ACC
'But if I had enough, I would not have bought it.'
- (51) *L-eske sas vejron-i, sa sas l-eske.*
him-DAT were haemorrhages-NOM everything was him-DAT
'He had haemorrhages, he was very injured.'

3.2 Copula clause predicate

The copula clause predicate in general contains the following components (for more details see 3.4):

coordinator – negator – modal/aspect particle – copula – nominal phrase or adverbial

The copula may be omitted only in locative questions and appropriate answers. Alternatively, it can be replaced by the fossilized nominative personal pronouns *lo*, *li*, *le*. These pronouns might be re-interpreted as present tense copula forms which are dependent on gender and number (see also 2.1):

- (52) *Ká ti dej?*
where your mother
'Where is your mother?'
- (53) *Ká-lo o Citrom? – Eta lo!*
where-he the Citrom DISCP-he
'Where is Citrom? – Ah, here he is!'
- (54) *Ká-le [e kiji]? – Eta le!*
where-they the keys DISCP-they
'Where are they [the keys]? – Here they are!'
- (55) *Ká-li de i áver?*
where-she DISCP the other
'So where is the other one?'

The copula is the core grammatical unit of the copula predicate. It also carries information on tense and sometimes also on aspect and mood.⁷

⁷ Inflection is subject to the rules described above in 2 *Morphology*.

3.3 Possessive sentences

Accusative marking in copula clauses informs about possession in a quite broad concept. By the term ‘possession’ I refer to various types of hierachic relationship, such as ownership (*Si la louve?* ‘Does she have money?’), kinship and social relations (*Naj les či dej, či dad, či kirve.* ‘He has neither parents nor godparents.’), partitive (*Si tu muj?* ‘Do you have a tongue?’). The genitive is used to express a transfer of features in copula constructions, e.g. *Fígonge-j e džemura.* ‘The jams are from figs.’, not the accusative construction **E džemon si figi.*

The accusative marks the possessor:

- (56) *E nan-os sas.*
ART.OBL uncle-ACC COP.IPFV.3P
‘The uncle had it / something’

The possessed object is in nominative:

- (57) *E nan-os sas vinet-o motor-a.*
ART.OBL uncle-ACC COP.IPFV.3P blue-NOM car-NOM
‘The uncle had a blue car’

The clitic form of the copula is more commonly used in present tense (see also 2.1):

- (58) *E nan-os vinet-o motor-a-j.*
ART.OBL uncle-ACC blue-NOM car-NOM-COP.3P
‘The uncle has a blue car’

In Czech and Slovak, the contact languages of North-West Lovari Romani, the nominative denotes the possessor and the accusative the possessed object (together with an auxiliary). In contrast, the mapping of syntactical to semantic roles is reversed in Romani. The clause order copies rather the semantic relation ‘possessor – possessed’ than the order of case marking (ACC-NOM in Romani versus NOM-ACC in Czech/Slovak):

- (59) *Strýc-ø m-á modr-ou dodávk-u.*
uncle-NOM have-3SG blue-ACC van-ACC
‘The uncle has a blue van’

Some constructions are occasionally found in North-West Lovari Romani, which resemble the Czech/Slovak scheme. They begin with a nominative-marked possessor,

followed by the copula and, finally, the nominative-marked possessed object. The ACC marking is realized by a resumptive pronoun which refers back to the possessor. This construction is prone to express topic changes and rather marks $O_{\text{NOM}} - C - O_p - S$:

- (60) *Taj e gáž-e sas l-e e búťár-a.*
andART.NOM guys-NOM COP.IPFV.3 them-ACC ART-NOM workers-NOM
'And the guys had workers.'

On the other hand, also the possessed can occur doubled:

- (61) *Ande lesk-o fajt-o deš šáv-e sas l-es, le Bán-os.*
in his-NOM family-NOM ten boys-NOM COP.IPFV.3 him-ACC ART.OBL Báno-ACC
'He had ten boys in his family, this Báno.'
- (62) *Le Rom-en ívej si le leng-i šib.*
ART.OBL Roms-ACC in.vain cop.3 they.ACC their-NOM language.NOM
'The Roms have their language in vain.'

3.4 Word order

The principal influence on word order is given by:

- the type of the sentence,
- the possessive constructions,
- the clitic copula (C_0) versus full copula (C),
- the negation (NEG), and
- the expression of emphasis and topicalisation.

The latter is subsumed under the label of 'marked order'. Marked order is often realized by moving the marked element to the opposite position from the copula, as compared to the position in default order. This can partially explain the obligatory status of the copula, as without it no opposition could be expressed in some types of sentences.

3.4.1 Declarative sentence

Declarative sentences are primarily used to transfer information, possibly accompanied or superimposed by speech acts. This section deals also with polar interrogative sentences.

1. Non-possessive sentences

In non-verbal predicates the general word order is subject – copula – copula predicate (S_C_O). The copula predicate is the element which is intended to be linked to the subject via the copula, e.g. a NP declaring a (social) function, expressing a property or stating a location.

Default order

In existential copula clauses with a sole subject the common order is C_S:

- (63) *Ale mamo, nás kodo.*
but mummy NEG.COP.IPFV.3 that
'But mummy, that didn't happen / was not him.'

- (64) *Naj inke e vánočki.*
NEG.COP.IPFV.3P yet the.NOM challahs
'There are no challahs yet.'

- (65) *Si cukro.*
COP.3 sugar.NOM
'We have sugar.'

If the subject is not expressed (including any 1st or 2nd person), the positive copula (whether clitic or not) is clause-final (O_C, O_C₀) (66-69). On the other hand, the negative copula⁸ is clause-initial NEG.C_O / NEG_C_O (70).

- (66) *Barvále-j.*
rich.NOM-COP.3
'They are rich.'

- (67) *Po keti-j?*
each.the.NOM how.much-COP.3P
'How much is each?'

- (68) *Aj paj gáva-j!*
DISCP from.the.NOM villages.NOM-COP.3
'But it is scattered around the villages!'

⁸ The negative copula has no clitic forms.

- (69) *Khote avla?*
 there COP.3.FUT
 'Will it be there?'

- (70) *Naj / nás / či sam / či avna dúr.*
 NEG.COP.3 NEG.COP.IPFV.3 not COP.1PL not COP.3PL.FUT far.NOM
 'It's not / it was not / we are not / they will not be far.'

Explicit subjects take the first position in copula clauses. The rest of the constellation remains the same as described above. An exception is the positive non-clitic copula which changes the position with the copula predicate (71).

- (71) *E Ostravake sas / avna barvále.*
 the.NOM Ostrava.Roms.NOM COP.IPFV.3 COP.3PL.FUT rich.NOM
 'The Ostrava Roms were / are supposed to be rich.'

- (72) *I Boja tista louli-j.*
 the.NOM Boja.NOM completely red-COP.3
 'Boja is completely red.'

- (73) *E budogi naj / nás / či avna kuč.*
 the.NOM trousers.NOM NEG.COP.3 NEG.COP.IPFV.3 not COP.3PL.FUT expensive.NOM
 'The trousers are not / were not / will not be expensive.'

Thus, the common word order is S_C_O. Exceptions are clauses with the clitic copula where an S_O_C₀ order is required.

Marked order

The marked order is S_C in clauses without a copula predicate:

- (74) *Taj e lungi mourčune zubunura či na nás.*
 and the.NOM long.NOM leather.NOM coats.NOM even not NEG.COP.IPFV.3
 'And there were even no long leather coats.'

Marked clauses without subject also exhibit a change in the word order. The copula is in initial position (C_O) in positive sentences and in final position (O_C) in negative sentences:

- (75) *Naj sas šukár!*
 DISCP COP.IPFV.3P beautiful
 'She was really beautiful!'

- (76) *Niči, barváli nás!*
no rich.NOM NEG.COP.IPFV.3
'No, they were not rich!'

While the subject is in initial position in unmarked clauses, it can move to the final position and leave the clause-initial position for marked elements. Thus, it results in the word order O_C_S:

- (77) *Pherdo-j kecave coxi.*
full-COP.3 such.NOM skirts.NOM
'There are plenty of skirts of this kind.'
- (78) *Kodolende-j feri i zour.*
they.LOC-COP.3P only the.NOM power.NOM
'Only they have power.'
- (79) *Aj dosta-j mange kako.*
DISCP enough-COP.3P me.DAT this
'Ah, this is sufficient for me.'
- (80) *De, ža, mejk khate-j i táška.*
DISCP go.IMP while here-COP.3P the.NOM bag.NOM
'Come on. Go while the bag is here.'

Alternatively, the subject is marked by moving the clitic copula from the final position to the position after the subject (S_C₀-O):

- (81) *Muro muj-i kerko.*
my.NOM mouth.NOM-COP.3 bitter.NOM
'I have a bitter taste in my mouth.'
- (82) *Inke o tričko-j pér ma.*
yet the.NOM T-shirt.NOM-COP.3P on me.ACC
'I am still dressed in the T-shirt.'
- (83) *O drab-i štiri sto koroni!*
the.NOM drug.NOM-COP.3 four hundred crowns
'The drug costs four hundred crowns!'

The copula predicate is marked by the change from S_C_O to S_O_C, or from S_O_C⁰ to O_S_C⁰:

- (84) *Vou kecavo Rom sas sar ame.*
he.NOM such.NOM Rom.NOM COP.IPFV.3 like we.NOM
'He was a Rom like us.'

- (85) *E Rusura če godaver sas!*
the.NOM Russians.NOM what.NOM clever.NOM COP.IPFV.3
'How clever these Russians were!'

- (86) *Feri andi televiza e lungi-j.*
just in.the.NOM television.NOM the.NOM long.NOM-COP.3
'The long ones are just on TV.'

2. Possessive sentences

In possessive sentences, the copula predicate is compulsory. Therefore, the variety of constructions is limited. Negative possessive clauses generally exhibit no change in order. They consist of either the negative copulas *naj* or *nás* or the positive copula which is regularly negated by *či*.

Default order

The default order is O_C. Clauses with subject commonly show O_C_S, and in case of a clitic copula O_S_C⁰:

- (87) *Sak-ones sas jejkħ sob-a.*
everybody-ACC COP.IPFV.3 one room-NOM
'Everybody has one room.'

- (88) *Le Rom-en naj ket-i louv-e.*
ART.OBL Roms-ACC NEG.COP.3 so.much-NOM money-NOM
'The Roms don't have so much money.'

- (89) *A Boj-a nejv-i kabel-a-j.*
ART.OBL Boja-NOM new-NOM handbag-NOM-COP.3
'Boja has a new handbag.'

If the possessor is expressed by a personal pronoun, the order changes to C_O_p in clauses without subject and C_O_p-S in clauses with subject:

- (90) *Si le.*

COP.3 they.ACC

‘They do have it.’

- (91) *Si les khajň-a khejre.*

COP.3 he.ACC hens-NOM at.home

‘They have hens at home.’

- (92) *Kuk-o site kines, vaj si tu má, o cign-o košáric-i?*

that-NOM MODP you.buy or COP.3 you.ACC already ART.NOM little-NOM basket.DIM-NOM

‘You must buy – or have you already bought - that little basket?’

Marked order

The rule in marked clauses is to move the topic or emphasized element to a non-default position. If the subject is marked, the order S_C_O for clitic and non-clitic copula as well as for pronominal and nominal objects is applied.

- (93) *Dúj-i ma kecav-e.*

two-COP.3 me.ACC such-NOM

‘I do have two of that kind.’

- (94) *Aj kecav-o podobnív-o si ma.*

DISCP such-NOM similar-NOM COP.3 me.ACC

‘Of course, I do have something similar.’

To mark the possessor, it is first presented in the nominative and then recalled in the accusative by a pronoun or a demonstrative (see also above). These constructions are accompanied by the full copula:

- (95) *No taj voun, len si kirčim-a, cign-i kirčim-a.*

DISCP and they.NOM they.ACC COP.3 restaurant-NOM little-NOM restaurant-NOM

‘Yes, and speaking of them, they have a restaurant, a little restaurant.’

- (96) *O Berc-i naj les kecav-i bár-i goud-i.*

ART.NOM Berci-NOM NEG.COP.3 he.ACC such-NOM big-NOM mind-NOM

‘Berci is not so intelligent.’

If the target of a topic change already exists in prior discourse space, a clitic pronoun is not sufficient to trigger a subject change. In this case the full form has to be chosen:

- (97) *Le áver-a šeftolinas, taj barvál-e sas, taj les nás louv-e.*
ART.NOM other-NOM dealt and rich-NOM COP.IPFV.3 and he.ACC NEG.COP.3 money-NOM
'The other men had their businesses, and were wealthy, but he had no money.'

3.4.2 Imperative sentence

Imperative sentences are used to oblige someone to perform an activity which is expressed by the verbal component. These sentences have neither subject nor tense (or only present tense). The imperative of the copula is restricted to simple orders and commands. More complex communication is realized via the optative by using the particle *te*. Such sentences are formally identical to declarative sentences.⁹ Possessive constructions with further elements such as '*Av mange láši!*' 'Be good for me!' do not occur in North-West Lovari Romani. The imperative form of the copula is based on the suppletive stem *av-*. The order in imperative sentences is C_O. A reverse order ('*Khote na av!*' 'Don't be there!') does not occur in North-West Lovari Romani. Instead, an optative construction with *te* is employed, such as in *Khote te na aves!* 'Take care not to be there!'

- (98) *N' av kecavi dilli!*
not COP.IMP.2SG such.NOM stupid.NOM
'Don't be so stupid!'
- (99) *Av kecavo siveššo, žutin ma!*
COP.IMP.2SG such.NOM kind.NOM help.IMP.2SG me.ACC
'Please be so kind and help me!'

3.4.3 Interrogative sentence and subordinate clause

Subordinate clauses are syntactically close to interrogative sentences. Both constructions are used to specify a constituent which is open to further processing. The processing is performed either by another participant (interrogative sentence) or by a higher level structure (subordinate clause):

- (100) *So-j "kosorouvo"? – Či žanav, so-j "kosorouvo".*
what-COP.3 kosorouvo not I.know what-COP.3 kosorouvo
'What is "kosorouvo"? – I don't know what "kosorouvo" is.'

⁹ The syntax of these sentences is discussed in 3.4.1.

The way of specifying the constituent in question by specific grammatical words are similar in mechanism and form: Interrogative pronouns are homonymous with subordinate pronouns. Also polar questions with an expected yes/no (true/false) status have equivalents in subordinate clauses which are embedded as adverbial phrases or linked by complementizers. Especially optative and prohibitive declarative sentences with *te* (*Te na žas lende!* ‘Don’t visit them!’) integrate canonically as non-factual complements (*Phendem ſte na žas lende!* ‘I told you not to visit them!’). In such cases, the constituent *te* is to be analyzed rather as complementizer than a modal marker. Alternatively, the constituent *te* may be seen as an optative and prohibitive marker which provides direct verbal arguments without a complementizer. Factual subordinate clauses are introduced by *so* or *hot’*.

By analysing the copula predicate, a primary distinction has to be made according to what constituent the question asks for: the subject, the copula predicate, an adverbial, the accusative possessor or the predicate as a whole. This section is organized according to this criteria, and preceded by some specific comments on the two main types of sentences: interrogative and subordinate. The distinction between possessive and non-possessive sentences are discussed within this framework.

Interrogative sentences are used to request information from the hearer. The following sections discuss only constituent questions and non-constituent polar questions. The focus in constituent polar questions is on the constituent which is asked for. The order in polar questions does not differ from the order found in declarative sentences which they are derived from.

The default position of the interrogative marker in interrogative questions is sentence-initial. Other positions are possible only in case of topicalisation and/or emphasis.

Main differences of subordinate clauses as compared to interrogative sentences are:

- There is no expectation towards the listener: The open constituent is supposed to be provided by the speaker;
- There is no particular intonation pattern;
- There is a different way of embedding in polar-like clauses: by means of question tags in interrogative sentences, and by subordinate markers in subordinate clauses;
- The completion status: subordinate clauses are arranged hierarchically, while interrogative sentences are independent;
- In complement clauses introduced by *te*, the predicate is placed in the first position;
- Several circumstances are introduced by different interrogatives such as *te* ‘in order to’ versus *pe sos* ‘what for’ for purpose, or *ká* ‘because’ versus *mír (anda sos)* ‘why’ for reason;
- Some subordinate clauses cannot ask for a counter-factual condition, concession, etc.

1. Default order

In subject questions, the clitic copula is attached to the interrogative pronoun while the non-clitic copula follows it. Thus, the default order is S_C or S_C_O, and S_C_O and S_C_O_p in possessive constructions. The interrogative pronoun *ko* has the extended form *kon* (e.g. *kon-i* ‘who is’) before the clitic copula.

- (101) *Kon-i maj gdáver taj maj feder haťárel andi vorba, kodola ášna.*
 who-cop.3 CPR clever and CPR rather understands in.the speech those they.will.stay
 ‘Those people will stay who are more intelligent and know how to speak better.’
- (102) *Kon-i kecave čišle ando nípo?*
 who-cop.3 such slim in.the family
 ‘Who is so slim in your family?’
- (103) *E gáže bašavnas, sar akánik, so si pašaj Lucija.*
 the Slovaks played like today conj cop.3 around.the Lucie
 ‘The Slovaks played just like those who played today with Lucie.’
- (104) *So-j ande kodo batuho?*
 what-cop.3 in that backpack
 ‘What is in that backpack?’
- (105) *Či žanav, so-j khote.*
 not I.know what-cop.3 there
 ‘I don’t know what is there.’

In non-verbal predicate questions, the interrogative pronoun (*so* ‘what’, *savo* ‘which’, *sosko* ‘what kind of’, *kasko* ‘whose’, *ká* ‘where’, *khatar* ‘from where’ etc.) is sentence-initial, followed by the copula (predominantly clitic) and, in some cases, by the subject: O_C_S. This pattern does not apply to possessive constructions. On the other hand, if the copula is replaced by the relict clitic pronoun *lo/li/le*, the default order is not affected: O_C_S.

- (106) *Naj žanav, sosko-j.*
 DISCP I.know what.kind-cop.3
 ‘Of course I know what kind of person he is.’
- (107) *Naj keti-j kecavi trafika?*
 DISCP how.much-cop.3 such newsagent’s.shop
 ‘Well how much does such a newsagent’s shop cost?’

- (108) *Taj savi-j nasváli?*
and which-cop.3 ill
'And which one is ill?'

If the questioned constituent is the possessor, the subject moves to the sentence-final position and the copula follows the interrogative: O_C and O_C_S:

- (109) *Kas si puráni xouli vat' akánik, te na avel pomenime!*
who.ACC COP old grudge or now MODP not COP.SUBV reproached
'If somebody bears a grudge, old or new, it should be forgotten!'
- (110) *Kas naj but barvalimo, či rodel opre kecave nípos.*
who.ACC NEG.COP much.NOM wealth.NOM not look.for VERBP such family
'Those who do not own much will not look for such a family.'

If the constituent is an adverbial, the copula directly follows the subordination marker. This does not apply for the clitic copula, since it cannot be attached to *te*. The order of the subject and object is the same as in declarative sentences.

- (111) *Kana si varikas angína, náštik phírel pa fouro!*
when COP.3 someone.ACC tonsillitis.NOM MODP go.3SG around.the city
'When someone has tonsillitis, he must not go around the city!'
- (112) *Mír-i dilli kadi šej?*
why-cop.3 stupid this girl
'Why is this girl so stupid?'
- (113) *Naj t' avel pala ma, mišto avla.*
DISCP if is.SUBV after me good will.be
'Well, if I have my way, it will be OK.'
- (114) *Thovesa les ek kutin, te melálo-j.*
you.will.wash it a little if dirty-cop.3
'Wash it a little if it is dirty.'
- (115) *Te avel le vi katkáke, šaj avel late.*
if COP.SUBV they.ACC also here MODP COP.SUBV at.her
'If they also have some here, it can be at her place.'

- (116) *Či dikhav me t' avesas čišli.*
not I.see I MODP COP.2SG.POT slim.NOM
'I haven't noticed that you were slim.'

2. Marked order

In marked constructions the copula is in final position:

- (117) *Ko maj terno sas, kodo tordolas.*
who CPR young COP.IPFV.3 that stood
'Those were standing who were younger.'
- (118) *Kodoleske, ko kharado-j, apal o Rom site sikavel i pátiv.*
that.DAT who invited-COP.3 then the man MODP shows the honour
'Then the host has to honour the invited person.'
- (119) *So le romesa-j de khatar o ternimo ži po phurimo,*
what the with.man-COP.3 from from the youth up.to on.the old.age
kodo-j o kolopo taj i baxuja.
that-COP.3 the hat and the stick
'Something accompanies a man from youth to age: The hat and the stick.'
- (120) *Ande t'o nípo, kon-i čišle?*
in your family who-COP.3 slim
'Who is slim in your family?'

The same holds true for the copula predicate:

- (121) *Taj i Kejža, savi sas?*
and the Kejža which COP.IPFV.3
'And which one was this Kejža?'
- (122) *Lengi ad'in soski-j, sar amári?*
her honey what.kind.of-COP.3 like our
'What kind of honey does she have? Like ours?'

Question for the possessor:

- (123) *Bejba, god'averá romňa, žanes, kas si?*
Bejba clever.NOM women you.know who.ACC COP.3
'Bejba, do you know, who has clever women?'

Adverbial question, question about the content:

In marked clauses an additional element is inserted between the relativizer and the copula:

- (124) *Kodo phenelas pe, kana cigne sas.*
that said REFL when small COP.IPFV.3
'That was said when they were small.'
- (125) *Ká kher si la kutkáke, kado kher len latar.*
because flat.NOM COP.3 her.ACC there this flat they.take from.her
'She has got a flat over there; therefore they took this flat from her.'

4 Phenomena connected to the copula

4.1 Constructions inspired by copula clauses

Some verbs are semantically close to the copula in such a way that they do not express complete identity, but rather similarity or a change in identity. The argument of copula-like constructions involving the verbs *mezij* 'look like' or *khandel* 'smells [like]' represents a quasi-identification. On the other hand, the argument of verbs such as *kerel pe* 'turn, pretend'/*kerdol* 'become' or *šol* 'turn' represents the process which leads to such identity relations. The copula scheme A COP B (*I Šejinka si doktorka*. 'the Šejinka.NOM is doctor.NOM.') is copied by the structure A PRDC B (*I Šejinka mezij doktorka*. 'the Šejinka.NOM looks.like doctor.NOM.'). The argument representing the reference identification (like *doktorka*) is in nominative, independently from its animate status, which is usual in copula constructions. To express changes, more commonly dative marking is employed.

- (126) *Lesk-o phral mezij gáž-o.*
his-NOM brother.NOM looks.LIKE Czech-NOM
'His brother looks like a Czech.'
- (127) *Khandel špit-a.*
stinks hospital-NOM
'It stinks like in a hospital.'
- (128) *Dikhłal la pi fotka, so mezij?*
saw.you her on.the photo, what.NOM looks.like
'Did you see her on the photo how does she look like?'

- (129) *Dikh so kerdilem!*
look what.NOM I.became
'Look what I turned into!'

4.2 Modal particle *site*

The modal particle *site* might be analyzed as the 3rd person copula *si*, followed by an obligate construction introduced by the complementizer *te*. In modal constructions with *site*, the 'complement' is fully inflected, though it is usually inflected only for person and number:

- (130) *Site gejl-em-tar.*
MODP go.PFTV-1SG-away
'I had to leave.'
- (131) *Site kin-d-as les.*
MODP buy-PFTV-3SG it
'He had to buy it'
- (132) *Site lešin-d-em-as.*
MODP wait-PFTV-1SG-IRR
'I would have had to wait.'

The copula is not inflected:

- (133) **S-im te ža-v-tar.* (instead of *Si te gejlem-tar.*)
COP-1SG CMPL go-1SG-away
'I had to leave.'
- (134) **S-as te kin-el les.* (instead of *Si te kindas les.*)
COP.IPFV.3 CMPL buy-3SG it
'He had to buy it'
- (135) **Av-il-em-as te lešin-av.* (instead of *Si te lešindemas.*)
COP-IPFV-1SG-IRR CMPL wait-1SG
'I would have to wait.'

It is doubtless that the modal particle *site* is based on the copula. However, it has already been grammaticalised into a modal particle.

5 Summary

Speakers of the North-West variety of Hungarian-influenced Vlax Romani, the Lovari Roms, use a copula verb to establish links between entities and locations, properties, owners or classes. A ‘realis’ stem in *s-* is employed for factual statements (present tense, imperfective), while modally insure situations are expressed by the *av-*stem. Alongside the *s*-stem, the clitic copula *-i/-j* is used in 3PRES.

S-stem forms resemble the perfective forms of full verbs. On the other hand, the *av-* stem forms equal to the corresponding inflected forms of full verbs, except for the contracted forms such as *avnas* ‘were’, cf. *avenas* ‘came’. The *av-* stem copula is the result of grammaticalization of the full verb *av-* ‘come’. The forms SG.M *lo*, SG.F *li*, PL *le* are gradually replacing the copula used in clauses which express the location of an entity. These clitic copula forms resemble personal pronouns.

The copula is used in a wide range of situations: with adjectives, nominals, locative expressions, existential predicates, possessions. The latter is not unusual, since in Romani the possessor is marked by the accusative. The copula is also used to express the passive voice.

Nominative NPs are generally linked to nominative expressions. In addition, we find accusative marking in possessive constructions, and dative marking in impersonal copula constructions. The key elements of a copula clause are arranged as subject – copula – copula predicate. The copula is compulsory apart from minor exceptions.

The word order is predominantly given by the sentence type (declarative, imperative, interrogative), the emphasis, the choice between the clitic copula and the full copula, and by the presence or absence of a negator. Possessive constructions exhibit their own patterns. Emphasis or topicalization (marking) is realized by moving the emphasized element to the opposite position from the copula as compared to the default order.

The most general default order in possessive constructions is subject – copula – copula predicate, and possessor – copula – subject.

Some full verbs exhibit a clause structure, which equals to the structure found in copula clauses. It is especially the case of clauses with double nominative. These verbs include *mezij* ‘look like’, *khandel* ‘smell like’, *kerel pe / kerdol* ‘become’ and *sol* ‘turn’.

The analysis of the compound *site* which is based on the copula *si* and the modal particle *te* should be assessed historically. Synchronously, the compound *site* has been grammaticalized into a modal particle and so it acts strictly as a single unit.

References

- Boretzky, Norbert. 2003. *Die Vlach-Dialekte des Romani. Strukturen–Sprachgeschichte–Verwandtschaftsverhältnisse–Dialektkarten*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Červenka, Jan / Kubaník, Pavel / Sadílková, Helena. 2009. *Možnosti práce s romštinou na českých základních školách* (výstup projektu Výzkum a ověření práce s romštinou na školách, MŠMT 2009). [The possible use of Romani at Czech primary schools: Final project report] http://www.romistika.eu/docs/ZZ_vyzkum-a-overeni-prace-s-romstinou_1.pdf (2012-05-28)
- Dryer, Matthew S. 2007. Clause types. In: Timothy Shopen. ed. *Language Typology and Syntactic Description*. Volume I: Clause structure. Cambridge: Cambridge University Press: 224-275.
- Hübschmannová, Milena. 1993. *Šaj pes dovakeras. Můžeme se domluvit*. [We're able to make us understood]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
- Hübschmannová, Milena / Šebková Hana. 2003. *Pravopis romštiny* [Orthography of Romani]. In: Zb. Andrš. ed. *Jekhetanutňa čibaha: Společným jazykem* (sborník ze semináře o romském jazyce, Luhačovice 12-17). Brno: Společenství Romů na Moravě: 57-97.
- Matras, Yaron. 2002. *Romani: A linguistic introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stojka, Peter / Pivoň, Rastislav. 2003. *Náš život – Amáro Trajo*. Bratislava: Sd studio.

Kjake čamréna u Sinti

Glantúnu lab

Nina an i Sinténger čib hi but bilti ta metáferi, an mari i čib ho rakrá khetane saku dives. Te džiné nit har phenél pes čimóni, pale hajvé nit ho paná i lavénca, i bilténca. Kava rakerpen vela buteder ta buteder bisterdu maškar i manušende.

Nina te činé u romane lava an je buachu; kova ho naj hacé khajni an kova lil, hi i čači arta har rakrén u manuš kana hi le mašker pende. A kava lil kamáu te sikráb tumén u šukarder kova ho šundúm džin kana an miru ternu džipen. Kava celu kova khedúm but beršende. Kaja buti kerdíjas manca miri lači mállica, i Peziza Cech. Me parkráu man latar but kopi. Veles čačepáha romáske te našráhes kava barvlepen an u romanu rakerpen. Me čináu u lava kjake te vel kova lil sakanéske mištu te prizrél, ho hi siklu te prizrél lu romane rakerpenja. Te činéna u Sinti pengen čib, pale činénes le sch fir š, tsch fir č ta dsch fir dž.

An kava lil kerdúm but kotra. Saku koter sikréla je vaver rig:

- 1 U fichi an metáferi ta simbóli
- 2 Kjake phenél pes
- 3 I phurénger gozrepren
- 4 Phure lava ho džinén kome mare phure
- 5 “Čakerde lava”
- 6 Je romanu paramísu
- 7 Romanu pherijás

1 Fichénger metáferi ta simbóli

But kopi dikén ta hajvén u Sinti i fichen kjake har lenger themésker gadže. Kova sikrél pes an i čib. Oba manigu kopu hi i Sinténger dikepen vaverčándes har i gadžéngeru. Kava diké mištu kana čivé u gadžkanu lab ta u romanu lab paš vaver-jekénde ta te diké ap ona dujénde. Pale dikél pes u vaverčándepen.

Ternu ZAJÁKU (‘Nacktschnecke’) phené ap khomonéste, ho hi ternu ta hajvélá či. U gadže phenen kaj hi lu zenelu pal u kan oda je ‘Grünschnabel’.

I KIRI ta i IMA hi brave fichi, jon butréna but. Ap gadžkanes phené kaj hi khomóni bravu har je kiri oder har je ima. Kate hi i Sinténger ta i gadžénger dikepen u zelbigu. Oba te

hi khomónes kek ruva an peste ta naj ačél nit pokónu, pale phené: "Khlor kirja an leste." U SAP hi je teli-brijemen fichu. Kova fichu sapréla, job chochréla: "Tu hal mange je mal, tu hal je čaču sap." An but vaver čibja hacé kaj bulta nina ta an i bibla ačéla kaj hi u sap čiláču.

I BUZNI hi je laču fichu. Latar la u thud. U gadže phenéna kaj hi i buzni moskeri, hi la je baru muj. Paš mende hi i buzni nit kjake.

U BAKRU hi nit dinelu paš i Sinténde, job hi laču ta kamlu.

Te phené DŽAMBA ap khomonéste, pale hi kova nit šukar veste hi la but falti. Te phenén u gadže 'alte Schachtel' phená men phuri džamba.

I PAPI ačela an i gadžkani čib fir jekéste ho rakréla but ta hi nit gozaru: 'dumme Gans'. Paš mende ačela i papi kandepáske – joj kandél tut. Men hi je risardi bulta i papjátar.

Te hi khomóni dibelu, pale phené ap leste: "Tu dinelu GRAJ!" Kova naj kharéla nina kaj hi lu 'crazy'. Ap gadžkanes naj phené 'blöde Kuh' oda 'verrücktes Huhn'. Te hi khomónes je pesu, zoralu trupu, pale hi lu har je graj. Khlor ap leste hi baru. Naj šuné nina u lab: "Job butréla har je graj."

Te hi je džuvel phuri ta te hi je zoralu trupu ap late, pale naj phené kaj hi li je phuri GRASNI. Kava hi vider nit šukar. Pandu hi je grasni ho butréla ta cirdéla lačes.

U OKSU hi – har an i gadžkani čib nina – zoralu, oba paš mende hi je oksu pralpre je khinu fichu ho krelo lokes.

I BORÍKA (u EZLU) hi je wichtigu fichu. Hi la duj riga: Ap i jek rig krel li ho mangé latar – kandél li, ap i vaver rig šunél li či ap kova ho rakré kana vel la 'pesku ciru', kana vel li dineli. Kjake dikén u Sinti i boríka. Hi nina u lab: "Tu ste har je boríka." Kova kharél kaj stel khomóni divjes.

Te kharé khomónes je džukles, pale hi kava je baru prasepen. I Sinten his hajk džukle ta jon kaménes pengen džuklen. Oba i džuklésker simbóla hi džungali. Te phené: "Kava hi je DŽUKLU" pale pané nina kaj hi lu gozaru ap je bibándi, čiláči arta.

U KORÁKU – ap i vaver rig – hi je laču fichu. U gadže ta but khejvre pacén kaj anél lu bibácht. Toske his kaja dunta: Kana našrénes i Sinténger čave jek dand, pale lenes le u dand an pengen vast, risrénes u vast ringlénca ta givénes pašal: "Koráku, koráku! Dau me tut je phuru dand, de man tu je nevu dand." Pal kova vicrénes le u dand krig pendar. U koráku paš i Sinténde hi har i gadžtíki 'Zahnfee'.

I KAŠKARÁKA – laker čib džala ta džala ha, joj del pes nit i čamerpástar. Kava phenéna u gadže nit. Džala kava paramísu paš i Sinténde: Tel i kaškarakéger čib hi je tikni

morči. Te činénes u Sinti koja morči, pale hajvénes le te raskrél, u kaškaráki. Jekari džanes Sinténger čave ap u ruka ta paš u nesti. Ake veles je kaškaráka ta raskréles lenca romanes veste vijas li bari maškar i Sinténde. Phendías li ap lende: “Mukén mer čaven! Te mukéna nit mire čaven, pale košáua tumáre mulen!”

2 Kjake phenél pes

Te raskrél khomóni paš jekéste kjake ta paš vaver-khomonéste vaverčándezes:
Kate sivél lu, kote trenrél lu.

Te buterdías khomóni kome či but an pesker džipen:
Koj čidás kome kek guštu an u pani.

Te dengré kjake har je vaveru:
Men ham ap jek dab.

Te vela čimóni zicher:
Kava hi har te vicré je baréha.

Te rakél u Devel te ma džal čimóni:
(Kava te ačél) ap kašt ta burénde!
Kava lab hunte vel phuru veste but khejvre prindžrén les nina.

Te džiné nit ho te des glan:
Mandar puč!

Te khajdél tut khomóni: Zinda!/Grechu!

Te kamé te phenés khomonéske je kamlu lab (jon hunte ven an tiru phurepen oda terneder): Te chab tu nak!

Te phené kaj hi mištu te džal čimóni/te vel čimóni kerdu:
Mištu mange.

Te hi je džuvel bravi ta džinel ta hajvel te krel li haláuter:
Ap kaláte ketén lon ta pepéri.

Te kamél khomóni te džas leha/laha ta tu kamé nit veste ferlajdél tut bares kote:
Kote naj le man i baléndar!

Te hi khomóni baru čiláču: Job/Joj chačéla čilačepástar.

Te dengré nit mištu pral khomonéste veste džinél lu/li či ta krel khlor dinlepen:
Kava hi je čičevítiku bedu/je čičevítiki bedica.

3 I phurénger gozrepen

Jek lab ho phendías mange je phuru rom; ko lab hi prindžerdu maškar Sinténdi an u Estarájchu ta an u gadžkanu.

‘Je džub te vel ap u phar, pale našél li.’

Ho phené kol lavéha? U lab phenéla: Te vela khomónes, ho his ha čoralu, but love, pale parél pes lu, job risréla pes. Vela les je džungali dunta ta job bistréla kon his lu sigeder.

U phar hi u bare love ta u našepen hi i vri-paradi arta. Kava dives džiná kaj sten džuva nit, oba toske pacénes u Sinti kaj sten u džuva har u pušma. Dran kova ketéles pes nit te našél je džub, kau sikréla laker vri-paradi arta.

Je gadžkanu lab, ho phenél sigu u zelbigu, džala kjake: ‘Reichtum verdirbt den Charakter’.

4 Phurkane lava – ho hajvén u terne buter či

u TRACHÚNU – ‘Gaumen’: U nevu lab hi ‘gauma’. U phurkanu grichtíku lab hi trachea ‘Luftröhre’. Ap i nevi grichtíki čib phenéla pes ouraniskos, kau vela fun uranos, kova hi u bolapen. Naj vel kaj viján kola duj lava an jek.

i DUNTA hi arta, u gadžkane Sinti phenéna ženíja oda ženije. Kau lab šundúm duj phuréndar. Katar hi u lab, kova džináu či.

i FLACHTARÍDA – ‘Schmetterling’: buteder Sinti phenéna plachtarida. Kova lab dicél pes grichtiku, oba ap grichtikes phené petaluda; naj vel kaj viján u lava ‘plachta’ – ‘Segel, Stoff’ ta u grichtíku lab niktarida ‘Fledermaus’, khetane čide an jek.

u LURDU, u LUREPEN: Kava lab vela je indatíki lavestar ho panéla “čorél siláha”. Hacé les naj an but dialékti. Men la u lab kurmáskeru, fun kurél har marél.

i REČÚRI – ‘Unterhemd’: Fanéla kaj vel u lab dran i gadžkani čib, fun Rock. An but dialékti hacé les har rekláma oda roča.

ZUMRÉL ‘pučel’ ta zumavél ‘probirél vri’ hin penge nejch. Teneder manuš phenéna: “Me pučáu vri”.

TAMLÉL – ‘vela dunkl’: Kau hi je erbermen, phuru indatíku lab. Hacé les nina an u slavtíku lab temnica, kova hi u stilepen.

FANÉL: kova hi grichtíku, kjake har fajma ap kelderaštíkes. Kau dives phenén les buteder “mange vel glan” ‘mir kommt vor’.

i MIRIKLI: Nina i phuri lab mirikli džala našerdu ta perla lela leski placa.

o SIRIÉNGERU – ‘Schmeichler’: Pacá kaj vela kava lab siriéndar. Hoske kava panél, kaj del khomoni lače lava, kova hajvá či. U Sinti čivéna but siria ap penger chaven for te krel lu u chaven laču.

Je vaver lab, ho šunél pes ha venigder, hi NAJÉNGERE: Kova hi u bonšórtle. Kova si-krél kome kaj kerdján u manuš i šala i najénca pre.

5 Čakerde lava

Har an vaver romani čibja nina, hi an i Sinténger čib - kjake phenáu me pre – ‘čakerde lava’. Save lava viján ta vena rakerde veste hajvénes u gadže pal je ciru manige romane lava. Men kamáhes nit te hajvén le. But kope hi duj, trin, štar oda buteder lava jek komáske.

Jek savu lab hi u LOVE: Jek phuru lab i lovénge hi CHAJÁRJA. Kava hi mištu prindžardu an u ejstarájchu ta an u gadžkanu them. Kava lab naj veles fun ‘Heller’. Je vaver hi BUNDŽÚRJA.

Džuva hi nina love. Tu naj phené nina kaj hi tut deš NAK (10 €).

An but dialékti vena ap i lovénde kola lava phende, ho sikrén but tiknu kova, khlor tikne love. Te šunél je Sintu love, pale hi glan leske jaka but tikne kotra, har džuva – har paš u Sepečides, u Kalderáš ta u Sinténde. Paš u Sepečides hi nina chuchlides (xuxlides), je grichtíku lab fir ‘Kieselsteine’, ho kharéla tikne bara. Čimóni vaverčándu hi paš u Kalderáš saja, ta pajale fir love, ta kava panéla pani. Sigeder phenénes le kjake ap u dolárja, pale ap sake love. Katar hi u lab saja, kova džina či.

Te lehes je vaver lab fir ME RAKRÁU, naj phené ME ČAMRÁU. Buteder kopi phené čamréla ap ‘kauen’.

U Sinti naj phenén ap pende MEN HAM SINTI ta jon naj phenén MEN HAM MELALE. Kava džinén an miru them buter u phure Sinti.

6 Je romanu paramísu

Je rom gindías mange je tiknu paramísu dren: Toske his u gib pherdu kerndli, pral ta telal. Jek dives kamías mu Devel te mukél lu je bari bok ap u veltu te vel for te his lenger zindi kjake bare. Oba mer Devlésker daj phendías ap mire Devléste: "Dik ap kola cele čorale čavénde." Oke rikerdías mer Devlesker daj pesker vast pral i givésker praltunu koter. Dran kova hi kava dives kome kerndli ap u gib.

7 Romanu pherijás

Jek kopu šundúm kava pherijás:

Jekari his u Sinti paš u veš terde penger vurdjénca. Har vijas rati, phendías u čačepásker murš ap lende: "Sintenále, den jak, rati dela pes an kova veš u mulu trujal. Rakén tumén te ma lel lu tumén peha." Rati paštján pen le ta jek džuvel hunte džias – fercájer man – ap i rig ta štakréles kjake pral i muršénde. Oke pejás li ap i čačepásker muršésker šeru, ap lesker muj. Vaver dives gindías lu dren pherdu dar: "Sintenále", phela, "dengréň ho džias mange vaver rati. U mulu čumardías man! Je čor his les ta dran u muj khandías lu!"

Paltúnu lab

Me kamjúm te sikráb tumen je tikni bilta saj komástar ho moléla but an mire jaka. Kamáu nina te krab je lavénger lil (Lexikon). Kote butrá but ap phenapja, metáferi ta čibjáke bilti. Kova krau glantunes mare Sinténge te ačél mari čib džidi ta te vel li an but šel bercénde kome rakerdi har kava dives, mare čave te džinén har rakráhes men an maru ciru. Ap kova džal miru zi ta kal butjáke čiváu but zor.

Jakob Wiedner

Norwegian Romani – an integrational framework

1 Introduction¹

The aim of this paper is to examine certain morphological particularities in the noun inflection pattern of spoken Norwegian as can be observed among the *Romanifolk* or *Tater* community (henceforth RT) and how Romani vocabulary maintained by the community from previously inflected Romani is morphologically integrated into Norwegian.

In Romani linguistics, the use of Romani lexicon in the grammatical frame of another language – in this case Scandinavian or North-Germanic dialects – is often referred to as *Para-Romani*, literally ‘beyond Romani’ (Matras 2010). *Beyond* can be understood as the fact that Romani as first language has been given up by the respective community in favour of the surrounding majority language and that its remnants are used within the community as lexical enrichment allowing its speakers to speak in a ‘Romani way’.

The RT are closely related to the Swedish *Resande* ‘travellers’, also referred to as *Tattare* ‘tatars’ by group-outsiders, who kept Romani vocabulary on approximately the same scale as their Norwegian neighbours (see Etzler 1944, Johansson 1977, Ladefoged 1998 and Lindell et al. 2008). Due to their striking similarities both Norwegian Para-Romani (henceforth NR) and Swedish Para-Romani (henceforth SR) are usually summarised as *Scandoromani* (Hancock 1992). Therefore, in this paper, the term NR refers to Scandoromani based on Norwegian (or, more precisely, on Scandinavian dialects spoken in Norway) in contrast to Scandoromani based on spoken Swedish. However, these terms are not to be understood as sharp linguistic distinctions since Norwegian and Swedish form a linguistic continuum.

The paper is structured as follows: Section 2 gives a short overview of the history of the RT in Norway from immigration in the 16th century until their official recognition as ‘national minority’. In connection with that, the official as well as community internal status of NR today is addressed briefly.

1 I would like to thank Yaron Matras, Bente Ailin Svendsen, Rolf Theil and Janne Bondi Johannessen for their valuable comments on this paper and Diana Camps for proofreading.

Section 3 discusses particularities of RT speech in the noun-inflection pattern differing from the surrounding Norwegian regional dialects. The usage of this RT-like inflectional pattern forms an *ethnolectal* variety, i.e. a linguistic variety which is seen characteristic *by* and *for* the RT minority. The pattern consists of number/determination-suffixes which are also in use in other regional varieties of Norwegian but the combination of which differs.

All RT speak Norwegian as their first language while NR allows them to lexically enrich their speech in a creative way ranging from the insertion of only few Romani words in discourse up to the formation of whole utterances using only (or as much as possible) Romani-derived lexicon. As Bakker (1998: 78f.) and Ladefoged (1998: 145ff.) show, there are certain differences between the inflection pattern of integrated Romani lexicon and the inflection pattern of surrounding dialectal Norwegian. Moreover, this pattern resembles but does not entirely match the RT ethnolectal inflection pattern resulting in a morphological framework used solely for Romani-inherited words. This integration of Romani lexical items into the Norwegian inflectional system as well as the preservation of Romani derivational suffixes are analysed in section 4.

Finally, it will be shown that the inflection patterns of both RT Norwegian as well as that of integrated Romani lexicon are not used consistently but vary considerably among speakers.

The source of linguistic data for this article consists of both published sources and fieldwork data collected by the author for the *Norwegian Romani Project* at the *Center for Multilingualism in Society across the Lifespan* at the *Department of Linguistics and Scandinavian Studies at the University of Oslo*.² The fieldwork data include narrative interviews, questionnaires aimed at collecting data relevant to sociolinguistic questions and sample sentences to be translated into NR by 11 research participants, and 6 meetings with RT community members without interviews. In addition, this paper draws on data from 6 semi-structured interviews with RT which were not conducted by the author.

2 The Norwegian Romanifolk/Tater minority

Roma immigration to Scandinavia can be traced back to the beginning of the 16th century. In 1505 the Danish king received a request to let a group of pilgrims from *Little Egypt* enter Denmark (Opsahl/Sogner 2003: 356). In 1512 ‘Taters’ were mentioned

² This work was partly supported by the *Research Council of Norway* through its Centres of Excellence funding scheme, project number 223265, and the *Research Council of Norway* through its SAMKUL funding scheme, project number 227778.

in the city protocol of Stockholm (*ibid.*). As early as 1584, however, the Danish king decreed an order to chase away all *Taters* from Norwegian soil (Norway was under Danish rule), and in 1589 leaders of vagabond groups were additionally sentenced to death when seized (*ibid.* 361). Legal persecution of itinerant groups (not only those of Roma origin) was thereupon maintained with changing regulations into the second half of the 20th century. In 1998, the RT were finally recognised as one of Norway's 'national minorities' and the Norwegian government officially apologised for the injustice they suffered (see e.g. Halvorsen 2004).

The (re)discovery of a connection between Norwegian RT and European Roma dates back to the work of the Norwegian theologian Eilert Sundt who wrote several reports to the government which financed his project to extensively study the RT's way of life and special characteristics, including their language. In *Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge: Bidrag til Kundskab om de laveste Samfundsforholde* 'Report of the vagabonds in Norway: A contribution to the knowledge of the lowest conditions in the society' Sundt (1850) compared words from Bohemian Romani with NR and came to the conclusion that NR is a degenerate Romani dialect, a view fitting well to the concept of his time, of regarding the RT as a degenerate class of vagabonds. The first (half)traveller who declares the RT as a group related to the Gypsies is Martin J. Mathiassen Skou, a primary school teacher from Western Norway who spoke NR and was surprised about the linguistic similarities between NR and the language of a group of Austrian Gypsies he met (Skou 1893).

According to earlier research (Sundt 1850, Iversen 1945, Theil 2009), the Norwegian travellers do not perceive themselves as a homogeneous group but maintain to this very day a distinction between *hårtा Romano* 'real Romani people' from Eastern Norway and the Trøndelag region, also called *baro-vandriane* 'big travellers', and travellers from Western Norway called either *tikkno-vandriane* 'small travellers' or *varo-mangarar* 'flour beggars' speaking *Rodi*, a secret jargon consisting of significantly less Romani lexicon than NR. The peasants' names for traveller groups differ as well: While they were called *Tatere* in Eastern Norway and Trøndelag, the names *Fant* and *Splint* were used in Southern and Western Norway respectively (Opsahl/Sogner 2003: 358). This regional distribution and the clear difference between these two groups was stressed several times by some of my interviewees as well. An illustrating example for such differentiation along linguistic lines turned up at an informal meeting organised by a RT organisation. One of the guests told the author that one of her parents spoke NR while the other spoke Rodi. She mentioned that while she grew up her parents used to dismiss each other's unique vocabulary as wrong. However, as this example shows, intermarriage exists and the social distinction seems to be less sharp as depicted in the literature cited above. From a linguistic point of view, Iversen (1945) emphasises that Romani is one of the main lexical sources of Rodi pointing to extended contact between these two groups.

In present-day Norway, the term ‘Romani’ refers to the RT’s Para-Romani while ‘Romanes’ refers to inflected Romani dialects spoken by Roma families whose ancestors immigrated in the 1860s (see Engebrigtsen 2011). Thus, Norway recognised Para-Romani and inflected Romani side by side as two separate minority languages. The *Språkrådet* (Norwegian Language Council) defines Romani (NR) as “et indoarisk språk med norsk lyd- og bøyingsmønster og skandinavisk grammatikk [an Indo-Aryan language with Norwegian phonological and morphological patterns and a Scandinavian grammar]”³ in order to describe it in typological-linguistic terms. The notion of an Indic background refers to the foreign origin of the RT differing from ethnic Norwegians and the other national minorities. Albeit not explicitly defined as ethnic minority, the notion of national minorities includes separate ethnicity as one of its characteristics beside language and religion (see *Stortingsmelding* ‘Report to the Parliament’ 15, 2000-2001⁴).

The interviews conducted by the author indicate, however, that the ethnic status (see also Møystad 2010), as well as the status of NR as a separate language, is a point of controversy within the RT community. People who consider themselves as RT do not necessarily consider themselves as members of an ethnic minority, while the notion of a ‘national minority’, on the contrary, is rejected by some RT as it does not take the ethnic dimension of their origin into account. In conjunction with that, the relation of the RT with other Roma groups is highly disputed and many RT strictly reject any connection with other Roma, partly due to recent Roma migration resulting from the precarious economic situation in former communist states in Eastern Europe. Others do, however, explicitly stress their opinion that the RT are also Roma. The same accounts for NR as some consider it a separate language in the state of decay while others consider it merely as a collection of special words they use.

3 Ethnic noun inflection?

Fishman (1989) posits to understand ethnicity “as an aspect of a collectivity’s self-recognition as well as an aspect of its recognition in the eyes of outsiders.” Following this definition, language, as a bundle of linguistic features assigned to a certain group, becomes a means of ethnic self-representation and thus the way RT community members typically speak is here defined as *ethnolect*, i.e. a linguistic variety

3 <http://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Minoritetssprak/> (2015-08-29)

4 <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-15-2000-2001-> (2015-10-02)

used by an ethnically defined group within Norwegian society (see Clyne 2000: 86f.), setting aside disputes over the status as ethnic group. However, the term ethnolect must not to be understood in an essentialist way (Verschik 2010), referring to the temptation of regarding certain ethnic linguistic features as taken for granted. Connecting linguistic particularities with ethnicity is part of the discursive practice of constructing ethnic identities through iconisation (Irvin/Gal 2000). Ethnolects do not exist *per se* but become ethnolects when certain deviations from related linguistic varieties are used to identify ethnicity and thus divide the population of a certain region into ethnic groups. Speaking in a RT way is a deliberate choice of RT community members in order to mark their identity linguistically. On the contrary, speakers can also decide to give up these linguistic particularities and take over the speech style of the non-RT around them in order not to differentiate themselves from the surrounding population.

According to Nortier (2008: 4) linguistic varieties attached to ethnicity are not “static linguistic norms [but] in practice the way people use these particular varieties is highly dynamic”. As the data show, the RT ethnolectal features are interchangeable with other (regionally distributed) varieties of Norwegian (henceforth dialects, i.e. varieties in the diatopic sense, Coseriu 2007). Therefore, *RT ethnolect* is understood in this paper as the prototypical morphological features attributed to the way RT speak identifying their belonging to the RT community from both community members as well as outsiders, irrespective of how often and how strictly these features are used in actual discourse.

But what exactly is different in RT speech from other Norwegian dialects except the use of Romani vocabulary? The following utterances of two interviewees illustrate the self-awareness of RT towards typical RT speech in contrast to the Norwegians:

(01) Interviewee 1

I/i • våre/våres • vanlige språk som/ som vi prater nå, • så hører du sjølv at det er/ • det er mye “a” • istedenfor “e”. / In our usual language which we speak now, you hear yourself that there are many “a” instead of “e”.

(02) Interviewee 1

(Eh) oss reisende imellom (oss) ((uforståelig)) (sier) “ungane”, • “bollane”... • Det gjør dem ikke her i Norge. Dom sier “bollene”, ikke sant, og • “ungene” • når vi sier “ungane” • og “bollane” • og “kakene”. / (Ah) us travellers between (us) ((unintelligible)) (say) ungane ‘young ones’, bollane ‘kind of pastry’ ... That they [the Norwegians] do not do here in Norway. They say bollene, isn’t it, and ungene when we say ungane and bollane and kakene ‘cakes’.

(03) Interviewee 2

Eh, men • sånn vanligvis når jeg var lit, da prata jeg veldig • m/ mye mer svensk... • Mer svensk klingende ord, • og sånn. For da var jeg ikke vant til å omgås så veldig mange ikke-tater. Ikke sant? • Men på skolen så/ • på skolen så vart jeg veldig mobba • på grunn av det at jeg hadde • ikke den der breie dialekta (i og med) at jeg (sa) det på svensk og... • Ikke sant? Og det/ det hata dom. • Så derfor la jeg meg automatisk • over til en del [region in Norway]-ord. / Eh, but usually when I was small I spoke much more Swedish... More Swedish sounding words, and so. Because at that time I was not used to be surrounded by so many non-RT. Isn't it? But at school I was very much mobbed because I did not have that broad dialect, that I said it in Swedish and... Isn't it? And they hated that. So therefore I took over automatically some[region in Norway] words.

In this excerpt the interviewees introspectively speak about the concrete differences which mark their way of speaking as a RT variety of Norwegian. Note also that Interviewee 2 compares the way she speaks with Swedish (“using Swedish sounding words”) in contrast to the local East Norwegian dialect. Social circumstances, such as bullying, are named as reason to adopt the local dialect as the RT variety was heavily stigmatised in school.

Finally, the dynamic and not absolute use of these different morphological features is implicitly expressed. Interviewee 2 speaks of “more Swedish” (than Norwegian) and “some words” taken over from the prevailing Norwegian dialect but not an entire abandoning of all distinct lexical as well as grammatical features. Interviewee 1 further states that

(04) Interviewee 1

det er ikke noe problem for oss også • prate ...• i hvert fall ikke for meg, å prate ordentlig boknorsk hvis (det jeg) vil. / it is not a problem for us to speak as well ... in any case for me to speak proper book-Norwegian if that is what I want to.

Following the explications of Interviewee 1 and Interviewee 2, it is the noun inflection pattern containing “much ‘a’ instead of ‘e’” as well as the (non)use of certain dialectal features, here in its diatopic and diastratic sense (Coseriu 2007), which marks the RT variety (see also Fløgstad 2008: 158). The occurrence of more *a* is connected to the maintenance of the distinction of the Old Norwegian plural suffixes *-ar*, *-ur* and *-ir*. In many Eastern Norwegian dialects all three suffixes became *-er* (see Skjekkeland 1997: 136ff.) while the RT variety and dialects in other parts of

Norway preserved the suffix *-ar*. Table 1 summarises the noun inflection pattern of the RT variety of Norwegian:

Table 1: noun inflection of RT variety⁵

	singular definite	plural indefinite	plural definite
masculine	<i>-(e)n</i> ⁵	<i>-ar</i>	<i>-ane</i>
feminine	<i>-a</i>	<i>-er</i>	<i>-ene</i>
neuter	<i>-e</i>	<i>-Ø/-er</i>	<i>-a</i>

Table 2 shows the dialectal inflection patterns of the main Norwegian regions where the RT minority is reported to live, i.e. eastern Norway along the Swedish border and the region around Trondheim (Østland and Trøndelag). The RT inflection pattern appears among RT in all these regions of Norway⁶.

Table 2: noun inflection of the so-called Vikværsk spoken around the Oslofjord, the Inner Østland dialectal region and the dialects spoken in Trøndelag (Jahr 1990, Sandøy 1991)⁷

		singular definite	plural indefinite	plural definite
masculine	Vikværsk	<i>-(e)n</i>	<i>-ær</i>	<i>-ane</i>
	Østland		<i>-er</i>	<i>-a</i>
	Trøndelag	<i>-n/-en/-in/-inj</i> ⁷	<i>-a/-e/-i</i>	<i>-an/-anj/-enj</i>
feminine	Vikværsk	<i>-a</i>	<i>-er</i>	<i>-ene</i>
	Østland			<i>-en/-ene</i>
	Trøndelag	<i>-a/-å/-o</i> ⁸	<i>-e/-i/-a/-år/-år/-o/-or</i>	<i>-en/-in/-inj</i>
neuter	Vikværsk	<i>-e/-et</i>	<i>-Ø/-er</i>	<i>-a/-ene</i>
	Østland	<i>-e</i>		<i>-a</i>
	Trøndelag	<i>-Ø/-a</i>	<i>-a/-an</i>	

5 The spelling used in this paper follows the common spelling conventions for dialects in Norway and Sweden. *a* varies between [a], [ɑ] and [ɒ] depending on the dialect region. *e* is pronounced as open [ɛ] (described as [ə] in Kristoffersen 2000: 46) or is omitted resulting in [n] for *-en*, [t] for *-er* and [n.ne] for *-ene* (see ibid 45).

6 For the Trøndelag region I refer to Rolf Theil, p.c., who spoke with RT from that region.

7 *-j* denotes palatalisation.

8 *o* denotes [u], *å* stands for [ɔ].

The general overview given in Table 2 illustrates the great diversity of forms in the three dialectal macro-regions. Rare inflection classes not listed here (e.g. feminine definite plural in *-ane* like *dørane* ‘the doors’ or masculine definite plural in *-ene* like *gjestene* ‘guests’ in Vikværsk, see Endresen 1990: 94) make the dialectal noun inflection patterns even more complicated.

As can be seen, the RT variety does not fully match with any of the nominal inflection patterns of the dialects spoken by the surrounding non-RT. Moreover, the differences between the RT variety and the Trøndelag dialects are by far more striking than in dialects of Inner Østland and Vikværsk, which are the closest to the RT variety (masculine *-ær* is a reduced form of Old Norwegian *-ar*, see Skjekkeland 1997: 140). In all regions the RT inflection pattern stands in opposition to the surrounding non-RT dialects but it does not, however, contain any suffixes which are not also found in other Norwegian dialects. Thus, it is the particular combination which makes it discernible as RT ethnolectal variation, by both RT and non-RT all over eastern Norway.

Linguistic differences serve as symbolic value – in this case even little deviation from surrounding varieties – for group manifestation. The choice for (and against) the use of particular grammatical features offers a possibility of not just communicating mere referential information but also enforcing group solidarity. Even when RT children grow up with their variety as the ethnically unmarked default, they will most likely obtain the varieties of their group-outsider surroundings (e.g. in school or later at work) or may shift entirely to those varieties. But “since language is the prime symbol system to begin with and since it is commonly relied upon so heavily (even if not exclusively) to enact, celebrate and ‘call forth’ ethnic activity, the likelihood that it will be singled out as symbolic of ethnicity is great indeed” (Fishman 1989: 32). In other words, even if RT do not use their way of speaking in most speech situations, it will remain a crucial means of self-representation. This applies to both grammatical particularities, irrespective of the slightness of difference, and Romani vocabulary.

Since the RT are closely linked to the Swedish Resande across the border it is worth to also consider the dialectal noun inflection patterns in neighbouring Swedish dialects. Swedish and Norwegian are North-Germanic languages and mutually intelligible. Furthermore, their spoken varieties form a dialect continuum (see e.g. Chambers/Trudgill 1998). While the noun inflection patterns of the two countries’ standard languages are obviously distinct, the Swedish dialect of Bohuslän neighbouring Norwegian Østfold shows the following dialectal noun inflection patterns:

Table 3: Southern and Northern Bohuslän (Pamp 1978, Jahr 1990, Kvillerud 1999)

		singular definite	plural indefinite	plural definite
masculine	Southern	-(e)n	-a	-a/-ana
	Northern		-ar	-ane
feminine	Southern	-a	-er	-era
	Northern	-ē ⁹		-ena/-ene
neuter	Southern	-et	-Ø	-a
	Northern	-e	-Ø/-er	-ē/-ene

As Table 3 illustrates, the Northern Bohuslän pattern equals the RT pattern with the only exception of the feminine singular definite/neuter plural definite suffix which is here -ē, but -a in the RT variety, as in the Southern Bohuslän and the Vikværsk dialect. The distinction of -ar/-ane and -er/-ene in plural is, moreover, also maintained in the Swedish Dalsland region bordering Bohuslän in the east and further north-east in South-Western Värmland region (see Pamp 1978, SweDia¹⁰, Institutet för språk och folkminnen¹¹). Thus, to a certain extent, the RT variety appears to be independent from local dialectal features showing indeed a certain Swedish strain as Interviewee 2 formulated it (see above), at least for the ears of Eastern Norwegians. This is most likely due to the RT's relative isolation from non-RT in daily life combined with vital and consistent contacts between families on both sides of the border. Two of the interviewees pointed out the following when speaking about the closeness of Norwegian RT and Swedish Resande:

- (05) Interviewee 3

Vi/ det er s/ • folket våres • alle sammen. / We/ this is our people, all together.

- (06) Interviewee 4

Min [relative] for eksempel har jo hele sint [sic!] • slekt i Sverige. / My [relative] for example has his whole family in Sweden.

⁹ Denotes closed [e].

¹⁰ <http://swedia.ling.gu.se/> (2015-08-29)

¹¹ <http://www.sprakochfolkminnen.se/> (2015-08-29)

(07) Interviewee 3

Så det er, det er ikke noe, • det er ikke noe grense for oss. / So that [Norway and Sweden] is no border for us.

Ethnolectal variation among Roms or related groups speaking the language of the surrounding majority population is not limited to Scandinavia. Kenrick (1979: 112) also makes a short remark on ethnolectal variation in his paper on Para-Romani in Great Britain (usually referred to as *Angloromani*, see e.g. Matras 2010) when he states that “[b]ecause the Romanies travel from place to place they have less local dialect influences in their speech than sedentary Gajé of the same class and education.” According to this, as an outcome of their itinerant lifestyle, English Roms are linguistically not only branded as such by the use of Romani vocabulary in their speech but also by the way they speak the dominant language, English.

Borškovcová (2007) examines ethnolectal variation among Roms in Czech Republic the vast majority of which immigrated from Slovakia during the communist period. Also, differences from the surrounding local Czech dialects can be discerned in their speech. The Romani influence on the one hand comprises both use of Romani vocabulary as well as calquing of Romani phrases, e.g. *dělat práci* lit. ‘to do work’ from Romani *kerel buti* lit. ‘to do work’ instead of *pracovat* ‘to work’. The insertion of Romani vocabulary into Czech discourse resembles Para-Romani. In the case of the RT, however, no inflected Romani dialect exists any more so that phrasal calques do not occur. The Slovak influence, on the other hand, can help us to comprehend the emergence of the RT variety. Like Czech and Slovak, Norwegian and Swedish are similar, mutually understandable languages whose dialects form a linguistic continuum. While in the Czech case the Roms’ Slovak origin influences the inflection patterns of their variety of Czech, vital contact and intermarriage of RT and Swedish Resande influences the lexicon and maintains the noun inflection pattern to a certain degree distinct from surrounding Eastern Norwegian dialects. The RT variety maintains the (in Inner Østland) archaic -*a/-e*-distinction in plural and in comparison to Vikværsk the original sound *a* before *r*. According to Rolf Theil (p.c.) the distribution of *a* and *æ* (before *r*) in Vikværsk is most likely an innovation arising after Bohuslän was ceded to Sweden in 1658 since the dialect of that region kept the original vowel *a*. Accordingly, older Vikværsk most probably showed the same noun inflection pattern as the RT variety as is still the case in dialects to its West (so-called Midland dialects, see e.g. Skjekkeland 1997: 141).

Looking at the dialectal differences, the RT variety fits best to south-eastern Norway and its neighbouring regions in Sweden. Still, this does not mean it can be simply assumed that the RT ethnolect emerged at some point in history exactly in this region and later on spread to the north. There are no reliable sources available from earlier periods since the earlier literature which dealt with the RT from a linguistic perspective (Sundt 1850, Iversen 1944) did not pay attention to the way RT spoke Norwegian

but exclusively to how they used Romani lexicon in Norwegian. As already pointed out above, the distinctive feature of the RT variety is the partial retention of Old Norwegian vocalism in the inflection suffixes; that is to say it is in this respect more archaic than the surrounding Eastern Norwegian dialects. Thus, the RT variety need not have necessarily emerged in a region where the local dialects retain this old distinction as well. It is also possible that it represents an archaic form of Eastern Norwegian. Iversen (1921: 157ff.) shows, for example, that *a* in unstressed syllables is still found besides reduced *e* in Norwegian texts in the period between 1560 and 1630, despite the influence of Danish where the reduction was by and large already completed. The RT were, consequently, in contact with these older forms upon arrival in Norway even though the new reduced forms exhibiting vowel reduction were already gaining ground. In the case of the Trøndelag dialects, however, it seems rather unlikely that the RT variety represents an archaic variety of the local dialects since the apocopation of final syllables (see Table 2) must have happened before 1500 (Dalen et al. 2008: 129) and therefore before the RT's arrival in Norway.

4 Romani and Scandinavian morphology

It cannot be said when the ancestors of today's RT stopped using Romani as their community language. Since their new community language, Norwegian, inflects nouns, adjectives and verb by suffixation, the Romani lexical heritage had to be integrated into the inflection system of the new language in order to be ready for use. From a grammatical point of view, NR can thus be described as an integrational framework. Interviewee 3 who is in contact with speakers of inflected Romani dialects gives an example for the way this framework is applied:

(08) Interviewee 3

*Eller sier "sjavé": Så seier vi "tjavoane". For da seier vi "tjav-ungane". Så vi legger til "unge ungane". ((ler)) Ikke sant? Så det er et eksempel da. Så eh... • Fordi at • i våres ører så må det høres litt norsk ut. / Or let's say sjave 'boys, children': There we say *tjavoane*. Because there we say boy-boys. So we add young boys or boy-boys. ((laughs)) Isn't it? So this is an example. Because in our ears it must sound a bit Norwegian.*

Interviewee 3 traces the plural definite suffix *-ane* back to the word *ungane* 'the boys' and states that this is the only morphological construction which would be accepted by RT. With that he stresses that North-Germanic morphology is the only valid way in the RT community to use Romani vocabulary as the inflected Romani *sjavé* <

Romani *čhave* with the same meaning would be rejected as strange or “Romanes” (see section 2). In the following section, the NR inflectional patterns of nouns, adjectives, pronouns and verbs will be examined more closely.

4.1 Nouns

One might expect that the NR noun inflection pattern equals the RT ethnolectal variety outlined in section 3. However, the literature and the data gathered during the Norwegian Romani Project show that this is only partly true. Iversen (1944) and Theil et al. (2014) describe the noun inflection pattern for NR as follows:

Table 4: NR noun inflection pattern

		singular definite	plural indefinite	plural definite
masculine		- <i>(e)n</i>	- <i>ar</i>	- <i>ane</i>
feminine	- <i>e</i>	- <i>a</i>	- <i>er</i>	
	- <i>i</i>	- <i>ia</i>	- <i>iar</i>	- <i>iane</i>
neuter	general	- <i>e</i>	- <i>Ø</i>	- <i>a</i>
	- <i>e</i>	- <i>Ø</i>	- <i>er</i>	

The NR and the RT ethnolectal patterns show the same inflection suffixes for masculine and neuter nouns but differ in the feminine suffixes. The definite plural suffix is here *-ane* for both masculine and feminine substantives irrespective of the final vowel. Feminine nouns ending in *-i* show the same pattern as masculine nouns in the indefinite plural form while those ending in *-e* have *-er* like in the RT variety. In this respect, the masculine-feminine distinction in NR is less marked than in the RT ethnolectal variety as feminine Romani words ending *-i* (e.g. *kakkni* ‘hen’ < *khajni*) were subsumed under the same declension class as masculine nouns. Iversen (1944: 238–239), however, notes several exceptions which show *-er* and *-ene* in plural where *-ar* and *-ane* are expected.

Due to the fact that NR does not make any masculine/feminine distinction in adjectives, pronouns (the only third person personal pronoun is *dåva* lit. ‘this, that’), or the indefinite article *jikk* ‘one, a’ (corresponding to Norwegian *en*, *ei*, *et* ‘one, a’), NR could as well be described as having only a common or utrum gender with various inflection classes and a neuter gender as, for example, Standard Swedish. NR nouns are, however, not only used in utterances consisting purely of Romani vocabulary. Instead of *jikk gaje* ‘a woman’ it can also be expected that a RT uses the correspond-

ing Norwegian feminine article, *ei gaje*. Therefore, NR (like most Norwegian dialects) must be considered as distinguishing three genders.

SR as described in Johansson (1977), on the contrary, shows, like Standard Swedish, a more complex noun inflection pattern:

Table 5: SR noun inflection pattern

		singular definite	plural indefinite	plural definite
masculine	general	-(e)n	-ar	-arna
	nom. ag.		-are	
	few, e.g. <i>lannt</i> ‘deck’		-er	-erna/-era
feminine	general	-(e)n/-a	-r	-arna/-ra/-era
	-a			
neuter	-o	-(e)t	-n/-Ø/-ar	-na/-arna
	-i		-n/-Ø	-na
	-C		-Ø	-ena
	-i (when stressed)		-er	-erna/-era

Lindell et al. (2008) describe a similar noun inflection pattern with the difference that there is the alternative form *-ana* for *-arna* and that certain nouns have the suffix *-s* in both indefinite and definite plural, giving *voddros* ‘cars, carriages’ as example. For NR, there is no indication for the existence of the latter neither in the interview data nor in the published sources.

Table 5 exemplifies that Scandoromani as a whole cannot be said to have one separate inflection pattern. The integration of Romani nouns always happens in the frame of the surrounding Scandinavian macro-dialectal regions but it does not necessarily equal the surrounding local dialects.

A phenomenon present in both NR and SR are definite forms becoming the unmarked, i.e. indefinite form, e.g. *däkkan* ‘sword, sabre’ (Johansson 1977: 19). Speakers are then unsure which form is the indefinite, i.e. unmarked, one. Iversen (1944: 239) describes this as a “phenomenon being well-known from Nordic dialects”, namely the so-called *fastgrod* ‘deep-rooted’ article which became an integral part of the word (see e.g. Skjekkeland 1997: 129). Moreover, in Eastern Norwegian dialects the masculine article *-en* is omitted when a word ends in *-n* (see e.g. Endresen 1990: 94). In SR, words of this class are either masculine or neuter and end in *-an*; the neuter forms alternate with *-a* (Johansson 1977: 20). In this respect, NR behaves identically except

that these nouns alternating with *-a* are mostly masculine, e.g. *bikka* and *bikkan* ‘morsel’. This phenomenon occurs as well within feminine nouns, e.g. *puri* ‘old woman’ vs. *puria* as indefinite form. For example, one interviewee insisted that the form *puri* was wrong and only *puria* existed.

An illustrating example is the word *vesj(an)* ‘forest’ which occurs in Sundt (1850) as *vesch*, while in Iversen (1944: 239) the forms *vesja* and *vesjan* are listed. Iversen (ibid 244) describes *-a* as suffix deriving verbs and “in some instances” substantives. This accounts for Romani inherited lexicon as well as for words of other origins, e.g. *mala* ‘friend’ from Romani *amal* or *nita* ‘field’ from Finnish *niitty*. On the contrary, he describes *-an* as “now one of the most common suffixes in Norw. Ro.” (ibid: 245) but with “a most labile character” (ibid 246) as it alternates with *-a*. The suffix *-an* occurs most often with words taken from Norwegian but also with Romani inherited lexicon and lexicon from other European languages, such as German. Around half of the *-an*-nouns are reported to have an alternation in *-a*.¹² Iversen suggests to identify the *-an* as a suffix of Romani origin with reference to Finnish Romani *poxtan* ‘linen’. This is, however, not convincing since this suffix is not a productive means of derivation in Romani and Romani-inherited system morphology is very limited in NR. It seems, therefore, more plausible that masculine nouns ending in *-an* are lexicalised definite forms of older *a*-forms as the *-a*-suffix occurs more frequently with non-Norwegian words.

4.2 Adjectives

Adjective inflection in NR by and large follows the pattern found in Norwegian. The suffixes agreeing in gender and number are simply added to the Romani inherited adjective, e.g. *latjo* ‘good’ > *latjo-e*. Most adjectives are Romani masculine singular forms, exceptions are *pari* ‘pregnant’ and *darani* ‘afraid’ representing old feminine forms. An interesting deviation, however, is that the neuter singular indefinite and adverb forming suffix *-t* also occurs after short unstressed vowels which does not occur in Norwegian, hence *latjo-t* ‘good, well’ and *duri-t* ‘long’ in contrast to Norwegian *mulig* ‘possible’ **muligt* or *stille* ‘quiet’ **stillet*. Here, NR resembles Swedish.

Unlike SR (Johansson 1977, Lindell et al. 2008) or Spanish Para-Romani Caló (Bakker 1998, Leigh 1998), NR does not distinguish between masculine and feminine in Romani inherited adjectives in *-o*. In SR some speakers still maintain the distinction between *-o* for masculine and *-i* for feminine agreement in some adjectives like

¹² Word lists of NR published as well as NR material from the fieldwork carried out in the context of the Norwegian Romani Project are available online at app.uio.no/hf/nro.

råmmano(a/e)/-i(a) ‘of Romani/Traveller origin’ or *båkkalo(a/e)/-i(a)*¹³ ‘hungry’ (see Etzler 1944: 241, Johansson 1977: 21), i.e. in adjectives describing human qualities. In NR, in contrast, the corresponding adjectives are declined *romano(e)* and *båkkalo(e)* irrespective of whether the noun referred to is masculine or feminine. Also one interviewee notes this ‘genuine’ feature of SR in comparison with NR. Thus, the *-o/-i*-distinction is in NR only used for noun derivation.

As in SR (Johansson 1977: 22, Lindell et al. 2008: 34) and Swedish Bohuslän (Kvillerud 1999: 94), comparatives and superlatives are formed by adding *-are* (cf. Vikværsk *-ære*, Inner Østland *-ere*) and *-ast* (cf. Vikværsk *-ast*, Inner Østland *-est*) to the end of an adjective, e.g. *baro* ‘big’ > *baroare* ‘bigger’ > *baroast* ‘biggest’ (see Iversen 1944: 239). As in Norwegian, syncopation can occur, e.g. *sjukkar* ‘beautiful’ > *sjukkrare* ‘more beautiful’ > *sjukkrast* ‘most beautiful’ (see Theil et al. 2014: 98). It is, moreover, remarkable that some interviewees used the form *-are* instead of *-ære* or *-ere* also with Norwegian words while others made a clear cut distinction of using only *-ere* with Norwegian and *-are* with Romani words. Therefore, it remains unclear if this feature can be assigned to the RT ethnolectal variety of Norwegian albeit the similarity of the pattern (*a* instead of *e*) is conspicuous.

4.3 Personal and possessive pronouns

Like in other Para-Romani varieties the original pronominal system of Romani survived only in part and the personal pronouns are based on Romani non-nominative forms (see e.g. Matras 2010 for Angloromani and Bakker 1995, Leigh 1998 for Caló). In NR, personal pronouns originate from Romani as well as from Norwegian possessive pronouns and the Romani demonstrative pronoun *odova* ‘that’.

The third person singular pronouns *lo* ‘he’ and *li* ‘she’ originating from the clitic subject pronouns (see Matras 2002: 102) are reported to be still in use in SR but for NR they were already described as archaic by Iversen (1944) and seem to be entirely out of use in Norway today. The Romani ablative-derived pronoun *mander* ‘I’ is according to Iversen (ibid 125) perceived by his consultants as SR (cf. Lindell et al. 2008: 34) and seems to be only marginally used by Norwegian RT. It must be noted, however, that one RT insisted that *mander* is also used in Norway.

The most striking features of the NR pronominal system are the first and second person singular and plural pronouns since they are all based on possessive pronouns. The only purely Romani-derived personal pronoun is *miro* or *mero* ‘I, me’ from the Romani word for ‘my’ (cf. Sinti *miro/-i/-e* Holzinger 1993: 71).

13 Definite/plural suffixes are in brackets, the slash (/) indicates variants.

Table 6: Personal pronouns in NR

	singular	plural
1.	<i>miro, mero</i>	<i>våsjnus, våro</i>
2.	<i>diro, dero</i>	<i>desjnus, esjnus, (ersnus)</i>
3.	<i>(dåva)</i>	<i>(dåva), desjnus, dæsjno, dæsjnus</i>
reflexive	<i>siro, sero</i>	

As Matras (2002: 247) notes, the second person singular pronoun *diro* or *dero* is Romani *tiro* ‘your.SG’ “contaminated” with Norwegian *din* ‘your.SG’, in other words, it is a hybrid form of both the old Romani and the Norwegian second person singular possessive pronouns. For the first person plural pronoun there are two pronouns which are both based on Norwegian *vår* ‘our’. *Våsjnus* is described as the older form by Iversen (1944: 209) and is the only form mentioned by Fløgstad (2008). The form *våro*, on the other hand, is according to Iversen (1944: 209, italics in the original), “[p] robably a more modern word, formed on the analogy of *miro* (*mero*) and *diro* (*dero*)”. One interviewee stated to prefer the latter since the former was a *Rodi* word. Also Iversen (1944: 1945) describes the suffix *-snus* as of *Rotwelsh* origin even though its occurrence in Norwegian *Rodi* is limited to a few words. The same holds for the second person plural pronoun *desjnus* from Norwegian *dere* ‘you.PL’ or *de* ‘they’. The form *esjnus*, more used in SR (cf. Lindell et al. 2008, Fløgstad 2008: 162), can be traced back to Swedish *er* ‘your.PL’. *Siro* and *sero* ‘oneself’ are, like *våro*, analogically formed on Norwegian *sin* ‘one’s own’.

The pronoun *dåva* ‘this, that’ is cited in brackets in Table 6 because several of the interviewees stated that it actually does not mean ‘he’ or ‘she’ but ‘that’, i.e. it is identified as a demonstrative pronoun. They account for this as the lack of a separate pronoun. All interviewees said to use *gavon* ‘the man’ or *gaja* ‘the woman’ in order to mark the gender of the person referred to.

Angloromani shows a similar pattern of Romani-based personal pronouns as all speakers share familiarity with the first and second person singular while the third person pronouns are not known by everybody (Matras 2010: 113f.). The same is valid for the first and second person plural pronouns which are missing in Angloromani and are based on Norwegian in NR. Additionally, the author encountered the usage of the pronouns *me* and *tu*, i.e. Romani nominatives, among some speakers of NR. This is, however, not a retention of old inflected Scandinavian Romani but, as the speakers stated themselves, the deliberate decision to use a ‘genuine’ form in order to mark their Roma origin.

The use of non-nominative forms as basis for personal pronouns is typical to Para-Romani varieties. An interesting phenomenon of NR is, however, the use of both Romani and Norwegian possessives as a basis for the new personal pronouns. It seems that the pronouns of today's NR came into being when inflected Romani was still in use among the RT (as it is reported for Angloromani). Thus, the Romani possessives would have served as the basic pattern for the other Norwegian-based pronouns i.e. Romani *miro* ~ Norwegian *min* > Romani *tiro* ~ Norwegian *din* > NR *diro*. Hence Norwegian *vår* > NR *våsjnus* or *våro* and Norwegian *sin* > NR *siro*. In case of *desjnus* it cannot be said if the basis is Norwegian *dere* 'you.PL', *deres* 'your.PL, their', or *de* 'they' respectively but the analogical process is clear either way. Within the earlier still Romani-Norwegian bilingual RT community, the use of possessive pronouns could, moreover, be triggered by Norwegian dialectal particularities as in south-eastern Norwegian dialects the non-canonical form of *vi* 'we' has the genitive-based variant *våss* < *vårs* next to *oss* (Skjekkeland 1997: 159, Wiggen 1990: 184).

Norwegian possessive pronouns are either separate forms like *min* 'my' or they consist of a personal pronoun (both canonical and non-canonical forms) and the generic Norwegian genitive marker -s, e.g. *han* 'he' > *hans* 'his', *henne* 'her' > *hennes*. In NR, all possessives are modelled after the latter: *miros* 'my', *diros* 'your.SG' and *våros* 'our'. *Våsjnus* and *desjnus* are not added -s and hence there is only one form for both personal and possessive pronouns. Interestingly, the possessive (or -s-) forms are also frequently used as personal pronouns both in subject and in object position (e.g. in Karlsen 1995, *diros* is also translated as 'you'). This was even bemoaned by one interviewee as wrong Romani. Diachronically, those NR personal pronouns are double-possessives as they consist of a Romani and a Norwegian genitive.

Historical data on NR are rare and texts in NR are limited to few songs and fictive dialogues (Skou 1893, Iversen 1945, Ribsskog 1945) and a short bible translation carried out by a RT for Eilert Sundt (see Baardsen et al. 1948). Nevertheless, these sources reveal that the use of these double genitives is not a recent development but can be observed already from the mid 19th century on. While the bible translation makes a strict distinction of *mander* and *mero*, *dero* etc. as personal pronoun and *meros*, *deros* etc. as possessives, Gjest Baardsen who was in contact with RT around the same time translates *mander* as 'I' and *menu* as 'me', *denu* as 'you.SG.canonical' and *denus* as 'you.SG.non-canonical'. Interestingly, *deru* is here translated as 'they' (Baardsen et al. 1948: 9). -s-forms used as personal pronouns can also be found in Iversen (1945) and Ribsskog (1945).

The field of personal pronouns shows particularities warranting further research from both a synchronic and diachronic perspective. The use of genitives taken from both parent languages of NR suggests that the pronominal system of inflected Romani was still accessible in the time of emergence of NR. This impression is even strengthened by the use of double-genitives as personal pronouns in the oldest records of NR. Although neither Norwegian nor Romani in general tend to express the subject or object of a sen-

tence with genitives the modelling of the NR pronoun set based on Romani possessives and the overuse of the Norwegian genitive suffix suggests a process of pattern replication (Matras 2009) in which still spoken inflected Romani served as the model language.

4.4 Verbs

The integration of Romani verbs into Scandinavian morphology is surprisingly regular as the vast majority of verbs consist of only the Romani stem to which the Scandinavian inflectional suffixes are appended. Few exceptions are either inflected forms, e.g. *del-a* ‘to give’ from Romani 3SG *d-el* ‘gives’ (3SG derived verbs are also found in Angloromani and Caló, see Matras 2002: 247, Matras 2010: 119), or participles like *sut-a* ‘stay, sit, lie’ from Romani perfect participle *sut-* ‘slept’. In this respect NR contradicts the remark of Boretzky/Igra (1994: 61) that Para-Romani varieties stand out due to “the lack of uniformity of forms functioning as verb stems”. On the contrary, the transmission of Romani verb stems is remarkably uniform. Except fossilised *-el* which lost its function and became part of the verb stem, no remnants of Romani verb inflection morphemes can be found in NR. For SR, Lindell et al. (2008: 39) mention a distinction between *rakkrar* ‘I/you speak’ and *rakkclar* ‘he/she/they speak’ as well as the infinitive phrase *te avel* ‘to be’. These remnants of old Romani inflection are not attested in the data on NR.

The verbal inflection pattern of both NR (Iversen 1944, Theil et al. 2014) and SR (Johansson 1977, Lindell et al. 2008) as described in the literature corresponds to the weak conjugation class of Norwegian (and Swedish) serving as the productive class for new verbs (weak *a*-verbs, see Faarlund 1995: 47, 57, 95, 99f.).

Table 7: Conjugation of verbs in NR and SR¹⁴

		inf	prs	pret	prs ptcp ¹⁴	prf ptcp	PASS	IMP
poly	NR	-a	-ar	-a	-anes	-a	-as	-a
				-a/-ade	-ande/-anes	-ad/-at		
	SR	-a			-aenes			
mono	NR	-e, -i	-(a, e, i)r	-(a, e, i)dde			-add	
					-aanes			
	SR	-a, -e, -i			-aande/-aanes	-att		

poly = polysyllabic infinitive, e.g. *manga* ‘to beg, ask for’

mono = monosyllabic infinitive, e.g. *ka* ‘to eat’, *pi* ‘to drink’, *le* ‘to take’

¹⁴ Denotes closed [e]

While SR matches the pattern of Standard Swedish except the present participle formation of verb stems ending in a vowel (Swedish has *-ende* for verb stems ending in vowel, e.g. *gående* ‘going’), the NR pattern shows some differences to the surrounding Norwegian dialects. Most striking is the infinitive form in *-a* which is the infinitive suffix for *all* NR verbs except a few verbs ending in *-ere*, the Romani inherited monoconsonantal stem verbs (see Matras 2002: 136) *de* ‘to give’ (besides *dela*, see above) and *le* ‘to take, to get’, the verb *ste* ‘to stand’, probably from German *stehen*, and Romani inherited *pi* ‘to drink’ as well as *kli* ‘to ride’ (probably from Romani *inkl-* ‘go out, go up’). Iversen (1944: 245) remarks that the infinitive ending *-a* is unlikely to originate in Eastern Norwegian *jamvekt*-verbs¹⁵ due to their small number. Nor he supposes that the NR verb inflection pattern is of Western Norwegian origin where this pattern is common. Rather, he suggests it to be “a still living remnant of an older, genuine verbal system in Norw. Ro.” (Iversen 1944: 241). He does, however, not specify the remnant of what this suffix should be. Looking at the verbal morphology of inflected Romani, it appears doubtful that it is of Romani origin. If Iversen is correct that the NR verb inflection pattern was not modelled on the *jamvekt*-verbs, they must have been integrated according the *overvekt*-verbs¹⁶. These too ended in *-a* in Old Norwegian but a reduction to *-e* already started in the 12th century (Skjekkeland 1997: 67), becoming dominant in the following centuries in eastern Norway (Seip 1931: 167ff.). In this aspect NR does not fit into the dialect landscape of eastern Norway. Again, it is worth taking a look across the border to neighbouring Sweden:

Table 8: Weak a-verbs in Vikværsk and Swedish Bohuslän (see Skjekkeland 1997: 38f., 67f.)¹⁷

	INF	PRS	PRET	PRS PTCP	PRF PTCP ¹⁵	PASS	IMP
Vikværsk	<i>-e</i>	<i>-ær</i>	<i>-a</i>	<i>-anes</i>	<i>-a</i>	<i>-as</i>	<i>-Ø/-a</i> (conservative)
Bohuslän	<i>-a, -e</i>	<i>-ar</i>					

While in Norwegian Østfold the infinitive is *-e* like in other Norwegian dialects, some dialects in the Bohuslän region partly maintained the old *-a* in infinitive (in South Bohuslän *-a* occurs when the verb is not followed by a verbal particle (Seip 1931: 171).

15 Verbs with infinitive in *-a* emerging from Old Norwegian disyllabic verbs in which the stressed syllable ended in short vowel + short consonant (see Øverby 1974: 12ff., Skjekkeland 1997: 67-71, 75)

16 Verbs with infinitive in *-e* emerging from Old Norwegian disyllabic verbs in which the stressed syllable ended in long vowel + short consonant, short vowel + long consonant or long vowel and long consonant.

17 See: (Seip 1931, Endresen 1990, Kvillerud 1999).

Since the RT are reported to have migrated to Norwegian territory in the 16th century (Bohuslän still belonged to Norway at that time), the infinitives of integrated Romani vocabulary point to the emergence of the NR verb inflection pattern in this region.

Of particular interest is also the formation of present participles of Romani inherited monosyllabic verbs ending in *-a* in NR. These verbs originate from the class of vocalic stems in inflected Romani (e.g. *ka* < Romani *xa-*, see Matras 2002: 136). The suffix *-enes* is added to form the present participle, while all other NR verbs add *-anes*. In this NR differs from both SR and some eastern Norwegian dialects. For example, in the Oslo city dialect *-anes* is added to *jamvekt*-verbs while all other verbs have *-enes* (Wiggen 1990: 183). The Eastern Vikværsk dialect from Inner Østfold (Sverre Stausland, p.c.), on the other hand, shows the same distribution as NR. Here, all verbs ending in stressed vowel are added *-nes* (e.g. *gånes* ‘going’) while all others are added *-anes*. Only the lack of *-e-* in the former differs from NR. Interestingly, such a distinction is predominantly found in eastern Swedish Uppland and Södermanland dialects (which Standard Swedish is based on) while western Swedish dialects on the border to Norway tend to use *-anes* for all verbs (Anna Westerberg, p.c.). This suggests once more that the formation of NR as a stabilised integrational framework for Romani vocabulary took place in south-eastern Norway or further east in neighbouring Sweden.

Finally, NR verbs can be combined with verbal particles like in Norwegian. These particle verbs do not necessarily have a direct equivalent in Norwegian, e.g. *tjera pali* ‘to close, to lock’, literally ‘to make back’, modelled on Norwegian *lukke igjen* ‘to close, to lock, lit. to close closed’ with *tjera* ‘to do’ being a light verb. Iversen (1944: 48f.) also mentions a verb which merged with the particle, *dean* ‘to denounce’ with the variants *delan* and *den* with the Norwegian equivalent *angi*. Here, the Norwegian particle *an* is appended to the verb. A similar phenomenon can be found in Angloromani where “[s]emi-bound English aktionsart markers occasionally accompany fossilised Romani verb forms, as in *jassan* ‘come on’ (<Romani *dža-s* ‘go-1PL’)” (Matras 2010: 104). Thus, NR follows the Norwegian pattern of verb derivation via verbal particles or NR adverbs used as verbal particles while they do not have to be direct translations from Norwegian. In other words, NR behaves in this respect structurally in the same way as Norwegian while it is semantically, to a certain extent, independent.

5 Romani-derived morphology

In addition to free morphemes, NR also inherited some bound morphemes, namely derivation suffixes. Iversen (1944: 244-256) gives an extensive list of derivation suffixes of NR which are of Romani, Rotwelsh, and Norwegian origins. Some of these suffixes are described by Iversen as still productive. In the following I will discuss two suffixes

which still appear to be, at least to a certain degree, productive as they were identified as grammatical morphemes by some interviewees: the pair *-o/-i* as means of deriving masculine/feminine forms and *-pa* for deriving abstract nouns from verbs and adjectives.

Bauer (2001) suggests measuring the productivity of a certain morpheme to coin new words in terms of availability and profitability. While a certain morpheme can either be available or not, its profitability describes its actual extent of use among a speech community. The two suffixes discussed here can, according to these criteria, be considered available among the RT community. Their profitability, on the other hand, seems to be strongly limited and their application to spontaneously form new lexical items should be considered an idiolectal feature of a few speakers of NR.

The suffix pair *-o/-i* is identified by speakers of NR as a marker of masculinity/femininity. While being the common inflectional marker of gender agreement in Romani in general (and to a highly limited degree in SR) it became a purely derivational suffix in NR. Its use is constrained to form the masculine and feminine counterparts of nouns and nominalised adjectives which either end in *-o* and are masculine or end in *-i* and are feminine. Thus, it is limited to Romani-inherited lexicon since integration of new nouns is not carried out by using suffixes ending in *-o* or *-i*. The fact that this suffix pair is still to a certain extent profitable seems to originate from Romani-inherited lexical pairs denoting males and females, e.g. *jukklo* '(male) dog' and *jukkli* 'bitch'. Following this pattern, the words for 'old man' and 'old woman' are *puro* and *puri* respectively. The same accounts for *tikkno-n* 'the little boy' and *tikkni-a* 'the little girl' used to address RT in situations when the name should not be used as two interviewees stated. Out of this pattern, another interviewee named the word *kakkno* 'cock, rooster' analogically formed to *kakkni* 'hen' from Romani *khajni* although NR also has the Romani-inherited word *bassno* 'cock, rooster'. Accordingly, *-i* is reinterpreted by speakers of NR as the general marker of feminine gender partly replacing the original gender inherited from Romani. Thus, *pani* 'water' is mostly inflected as a feminine noun while some speakers still inflect it as masculine. In recent times, however, it can also be neuter due to the influence of Norwegian (cf. Iversen 1944, Theil et al. 2014).

The use of the derivation suffix *-pa* is less constrained. It is first of all used to form nouns of Romani inherited verbs and adjectives (most likely these words were already present in inflected Romani in Scandinavia) but it can also be added to non-Romani words, e.g. *rotipa* 'RT internal term for NR' derived from NR *rota* 'to speak, to speak NR'. As Iversen (1944: 168) suggests, the origin of *rot-* is probably connected to Rotwelsh. Other (more recent) examples are *duntipa* 'gate' from *duntar* 'door' (Karlsen et al. 1993) or *knærkepa* 'melody' from *knærka* 'to play (music)' (Theil et al. 2014). The question is if *-pa* can in present-day NR still be considered as productive in sense of profitable. Considering the dictionary of Ribsskog (1945), the RT seem to use this suffix frequently, consider, for example, *pandlipa* translated as 'binding, fastening' from *pandla* 'to bind, to close'. However, this source must be regarded critically

as it was Ribsskog's aim to seek for the pure Romani in Norway and some examples might not correspond to the actual use of NR. While there are, on the one hand, well established expressions like *bekknipa* 'shop', the word *nevipa* for 'news' made up by the author, on the other hand, was rejected by one RT as understandable but sounding artificial. Another speaker of NR, however, accepted this creation. Thus, the suffix *-pa* cannot be said to be profitable among the RT in general; its use must be considered limited to only certain speakers. Interestingly, limited productivity of this suffix is also reported for Angloromani exemplified by derivations such as *boklipen* 'hunger' from *bokla* 'hungry' against inflected Romani *bokh* 'hunger' (Matras 2010: 106). In comparison, NR has both *båkk* 'hunger' and *båkkipa* 'hunger' side by side. For Caló, the corresponding suffix *-pen* is described as available in the study of Leigh (1998) with the reservation that some of the words might have been "recently created to keep Caló alive and linked with present day inflected dialects of Romani" (*ibid* 256f.).

6 Integrating Norwegian

A characteristic feature of many Romani dialects is the use of certain affixes in order to integrate loanwords from contact languages so that those can be inflected according to the Romani pattern, e.g. Low German *bûr* 'peasant' > Finnish Romani *buur-os* 'non-Roma' or German *verlangen* 'demand' > Sinte Romani *ferlang-erel*. In Para-Romani varieties, on the contrary, Romani inflectional grammar is not preserved and it is not the contact language material which is integrated into Romani but Romani lexicon integrated into the new community language, in the present case Norwegian. Nevertheless, NR has certain suffixes at its disposal to integrate Norwegian words, that is to say, to 'romanise' them. These suffixes are, in contrast, not aimed at morphological integration in order to make loanwords inflectable but must be considered a means of *camouflaging* (see Matras 2010: 20ff.) due to the secretive function of NR or of *indigenising* the non-Romani lexicon (see e.g. Siegel 2013). In particular, I will discuss three suffixes which are in use in present-day NR and which were introduced by RT community members in several conversations with the author.

Norwegian words occur in NR mostly with the suffix *-ra* (-*ddra*/-*ttra* after vowel, according to Iversen (1944: 253) "one of the most common suffixes in Norw. Ro."), e.g. *våggra* 'to weigh' < Norwegian *våg* 'weight', *mislitra* 'to lose' < Norwegian *miste* or *boddra* 'to live, to reside' < Norwegian *bo*. These words are mostly verbs, but also nouns or adjectives, e.g. *mjukkra* 'limber, meek' (< *mjukkra* 'to soothe') < Norwegian *mjuk* 'soft'. Nouns with this suffix also occur in the 'an-form' (e.g. *vettra* and *vettran* 'weather' < Norwegian *vær*). It is, however, not reserved for Norwegian words but can also be found on older German and Romance loans, e.g. *denkra* 'to think' < Ger-

man *denken*, *stakkra* ‘to kick’ < Low German *staken*¹⁸ or *dommra* ‘to sleep’ < Romance *dorm-*. Also some Romani-inherited Indic words add *-ra*, e.g. *råddra* ‘to search’ < Romani *rod-*. As Matras (2005: 21f., 2010: 75f.) notes, this suffix is of special interest for Romani dialect classification since Scandoromani shares it with Romani dialects from the so-called North-Western dialect group comprising of Sinte Romani, Finnish Romani and English Para-Romani (Angloromani) in which it serves not only as a transitive marker but is used for loan verb adaptation. In the case of NR, the lack of historical linguistic material makes it impossible to determine until when this suffix was a productive means of transitivity marking, e.g. *suvvra* ‘to sew’ (cf. Matras 2010: 76). In the case of *råddra*, however, it seems to be the result of analogy as additional transitivity marking is redundant here. In present-day NR, *-ra* is exclusively used to adapt words taken from other languages.

The suffix *-fara* with the alternative form *-tara* occurs only as an appendix to Norwegian verbs. In Iversen (1944) this suffix is found only marginally but it seems to be a new productive means of camouflage among some speakers of NR as it is used to create new NR words in the recent collection of short stories from RT translated from Norwegian to NR (Theil et al. 2014), evident in words such as *likfara* and *liktara* ‘to like’ < Norwegian *like*.¹⁹ This suffix is as well attested for SR (cf. Johansson 1977). Lindell et al. (2008: 38) list it explicitly as “naturalising” derivational suffix. According to Etzler (1944: 193) it was introduced into SR (and thereafter NR) from the secret code of Danish *Kältring* people emigrating to Sweden and Norway and later on merging with the RT. Iversen (1944: 248f., 1945: 227f.) contradicts and suggests that it was taken from Rodi and modelled, in turn, after German *willfahren* ‘to satisfy’ or the corresponding Swedish loan *villfara*. In case this suffix did not enter NR and SR via one of those two secret languages, it could possibly also have been transmitted within Romani as *far-* ‘to drive, to travel’ from German *fahren* ‘to drive, to go’ can also be found in Sinte-Romani. Irrespective of the actual origin, its use as a productive camouflaging suffix must be described as recent for NR in opposition to SR. But, its use in Theil et al. (2014) was also criticised by one interviewee as an attempt to further Norwegianise NR instead of using existing Romani-inherited vocabulary.

Finally, another productive means of camouflaging words from various languages are the suffixes *-us/-os* and *-tus*. Iversen (1944: 255f.) describes *-us* as non-Romani, pseudo-latinising suffix taken from *Rotwelsh* and *-tus* as “the very shibboleth of our Rodi [...] that [...] has given the whole idiom one of its names: the *tusse*-language” (Iversen 1945: 234). *-os/-us* is by no means alien to Romani but one of its Greek de-

18 *denkev-* and *stakev-* in Sinte-Romani (Holzinger 1993: 22)

19 Note that these words are written *lik-fara* and *lik-tara* in the original denoting that they are perceived as compounds, cf. e.g. Baro-Fåron ‘Oslo, lit. the big city’.

rived noun adaptation markers. These markers can still be found in neighbouring Finnish Romani and were also common in former inflected Romani in Great Britain (Matras 2010: 69). Thus, *-us* and *-tus* in NR can also be of Romani origin, but probably enforced as productive camouflaging marker through Rodi influence. Moreover, the boundaries between Rodi and NR appear, in this respect, to have been blurred in today's NR as the preposition *untus* < Norwegian *under* in Theil et al. (2014) demonstrates. Also, Interviewee 2 humorously translated the word for 'battery' (*bateri* in Norwegian) as *battrus*. These examples show clearly that *-(t)us* is the productive, i.e. highly profitable, way of ad-hoc "Romanisation" having lost its markedness as *Rodi*.

7 Variation

The integration of Romani into spoken Norwegian discussed in section 4 has been documented since the middle of the 19th century. Thus, it is to be expected that NR exhibits those grammatical features when encountering it in a concrete speech situation or when inquiring RT about the language directly. The data gathered for the Norwegian Romani Project indicate, however, that the grammatical framework described in section 4 is not strictly used by the RT and considerable variation can be found among speakers, i.e. that NR features interchange with those of the RT ethnolectal variety and local Norwegian dialects.

Recalling Nortier (2008), ethnically marked language varieties show a high degree of variation. The choice of features marking an ethnic background other than that of the surrounding majority may cause stigmatisation as pointed out by several interviewees and the interview data show clearly that the RT typical features of Norwegian occur side by side with those of the surrounding local dialects. Especially Interviewee 3 from Østfold illustrates the highly dynamic use of features. All three different suffix forms for masculine plurals can be found, standard Bokmål *-er*, RT *-ar* and regional Østfold *-ær*. For Inner Østland, on the other hand, the interview data show the variation of RT *-ar* and local *-er* in masculine nouns. One interesting case is the word *dag* 'day' which occurs mostly as *dagar* 'days' but with *-er* in the compound *ukedager* 'weekdays' in the speech of one interviewee. In this case the choice of *-er* is seemingly triggered by the fact that 'weekday' is a more technical term than 'day' and thus the suffix applied has to be considered East Norwegian Standard, i.e. Bokmål-oriented.

Moreover, the author does not speak Norwegian as his first language which may have led interviewees to use a more Bokmål-like Norwegian in order to facilitate understanding. One interviewee, for example, inflected all nouns and verbs according to Bokmål but kept using the dialectal form of 3PL pronoun *dåm* instead of Bokmål *de*

as well as the dialectal form *ho* ‘she’ instead of *hun*. On the contrary, in one recording in which both interviewer and interviewee were RT, the interviewee used the RT noun inflection pattern practically exclusively.

Variation in NR, on the other hand, is well illustrated by the following utterances of Interviewee 2. She quotes her mother as an example of a situation in which NR is actually used:

(09) Interviewee 2

Også kan vi bruke litt overdrevne ord. • Vi men... • Ja. • Litt, ja. • For eksempel hvis mamma sa til meg: "Skal jeg mule deg, bengalo hira?" • Ikke sant, det betyr, "skal jeg drepe deg, gærning?" / We can also use a bit exaggerated words. We but... Yes. A bit, yes. For example if mum said to me: Shall I kill you, stupid? You see, that means, shall I kill you, stupid?

Here, the word *mule* ‘kill’ from Romani *mul-* ‘dead’ is used in the infinitive exhibiting the suffix *-e* as usual for Eastern Norwegian dialects. In the second example she also quotes her mother uttering the same in a loss of face situation while bargaining:

(10) Interviewee 2

Så sa jeg: • "Hva skal jeg kamma for'n, da?", sa jeg til mamma. • (Så sa mamma), • ehm, • "Pansj", • sa mamma, vet du. • Fem hundre, ikke sant? • "Le pansj", sa mamma. • Da mente ho... • Fem hundre mente ho, vet du. • (Så sa jeg): "Femti kroner?", sa jeg. ((ler)) Og mamma: "Skal jeg mula deg?" ((ler)) / And so I said: How much shall I have [demand] for it? I said to mum. And mum said, ehm, Five, mum said, you know. Five hundred, isn't it? Take five, mum said. With that she meant... Five hundred she meant, you know. So I say: Fifty kroner?, I said. ((laughs)) And mum: Shall I kill you? ((laughs))

In this example, *mula* is used with the NR specific infinitive suffix. These extracts of the interview show that variation in the application of the different morphological patterns can be found not only among speakers of NR or within the speech of one single person, but also within one and the same idiomatic expression.

There are several more variations found in the interviews. These comprise, among others, variation in the imperative form (as also noted for SR, see Johansson 1977: 24), e.g. *Dikka!* vs. *Dikk!* ‘Look!’, *-er* instead of *-ar* in NR verbs in present tense, or the inflection of feminine nouns according to RT ethnolectal noun inflection pattern (which matches the one of the surrounding Eastern Norwegian dialects). Interviewee 1 and Interviewee 2 stated that *tjei* ‘girl’ was inflected *tjeier* ‘girls’ and *tjeiene* ‘the girls’, not *tjeiar* and *tjeiane* and the definite plural form of *gaje* ‘woman’ was *gajene* not *gajane* as might be expected. On the contrary, *gavo* ‘man’ is explicitly quoted

to be inflected *gavoar* and *gavoane*. These examples show that the NR inflection patterns are not used as consistently as might be expected at first glance and that local dialect patterns as well as the RT ethnolectal variety pattern are competing with the NR pattern. Nonetheless, the NR inflection pattern – its integrational framework – can certainly not be said to be in the state of dissolution as most NR data show that the vast majority of Romani-inherited lexicon is inflected according to this pattern. The only exception, however, is the present participle which is said to comprise the suffixes *-enes* and *-anes*. As for my interviewees, the only form attested is *-anes* for *all* verbs (like in SR), i.e. *kaanes* ‘eating’ and not *kaenes*. On repeated consultation, two NR speakers stated that *-anes* sounded ‘more natural’ to them.

8 Conclusions

This paper dealt with examining linguistic differences between the members of the RT minority and their fellow Norwegians. As pointed out, RT speech differs from the surrounding Norwegian dialects by employing a slightly more archaic noun inflection pattern and the use of Romani inherited lexicon. Unlike earlier approaches towards NR, I did not aim at describing this Para-Romani variety as a grammatical system separate from Norwegian but I focussed on how the remnants of inflected Romani, the former community language of the RT, were integrated into Norwegian morphology. The Romani words are not *new* words which are integrated according to the productive pattern, but NR speakers have inflectional patterns at their disposal which are reserved for Romani words. This is best illustrated by the feminine plural *gajer* and *gajane* ‘the women’ < Romani *gadži* and the infinitive *-a*, patterns which are uncommon for both Eastern Norwegian dialects as well as the RT ethnolectal variety. The emergence of this Para-Romani variety is a completed process, stabilised and accessible for the community of NR speakers as a whole. The NR pattern does, however, compete with other patterns (both RT internal and local dialectal) used by RT in various communication situations.

The integration of Romani shows, moreover, a high degree of regularity as Romani words do not randomly change their syntactic role and verbs largely consist of Romani verb stems added the NR specific infinitive suffix. Consequently, there must have been a sufficient amount of speakers of inflected Romani which was used in less and less situations while Norwegian took over the role as every day language. Matras (2009: 291) suggests that the emergence of a new mixed form which fulfils these remaining communicational emblematic needs “is not only a conscious act by speakers, but deliberate one.” Following this view, NR is the replacement of older inflected Romani which was created to maintain group-internal communicational

functions which were not desirable to be carried out using Norwegian only. After language shift, NR became the new Romani used as special linguistic resource differing from the normal, i.e. Norwegian language. Since NR speakers were throughout conscious about the Romani origin of those words, morphological particularities of NR survived as the integrational framework described here.

Finally, it was pointed out repeatedly that NR as well as the RT ethnolect show features which match more closely to Swedish than Norwegian. It would be, however, wrong to say that the RT speak a variety of Swedish. Rather, the RT variety seems to combine features from various dialects maintaining thereby certain archaic strains which can still be found in south-eastern Norway and neighbouring Sweden. It must thus be understood as a levelled dialect (cf. Siegel 1985) spoken by a minority which traditionally exhibits greater mobility and cross-border contacts than other people in Norway and Sweden.

References

- Baardsen, Gjert/Hartman, F.L./Olsen, N./Refsum, Helge. eds. 1948. *Vandrings-ellerskøiersprog*. Oslo: Noregsboklag.
- Bakker, Peter. 1995. Notes on the genesis of Caló and other Iberian Para-Romani varieties. In: Yaron Matras. ed. *Romani in Contact with Other Languages*. Amsterdam: J. Benjamins.
- Bakker, Peter. 1998. Para-Romani language versus secret languages: Differences in origin, structure, and use. In: Yaron Matras. ed. *The Romani Element in Non-Standard Speech*. Wiesbaden: Harrassowitz: 69-96.
- Bauer, Laurie. 2001. *Morphological Productivity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Boretzky, Norbert / Igla, Birgit. 1994. *Romani mixed dialects*. In: Peter Bakker / Marten Mous. eds. *Mixed Languages: 15 case studies in language intertwining*. Amsterdam: IFOTT: 35-68.
- Bořkovcová, Máša. 2007. *Romský etnolekt češtiny. Případová studie*. Praha: Signeta.
- Chambers, John K. / Trudgill, Peter. 1998. *Dialectology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clyne, Michael. 2000. Linguafranca and ethnolects. *Sociolinguistica in Europe and beyond. Sociolinguistica* 14: 83-89.
- Coseriu, Eugene. 2007. *Sprachkompetenz. Grundzüge der Theorie des Sprechens*. Tübingen: Narr.
- Dalen, Arnold / Hagland, Jan R. / Hårstad, Styian. / Rydving, Håkan / Stemshaug, Ola. 2008. *Trøndersk språkhistorie. Språkforhold i ein region*. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
- Endresen, Rolf. T. 1990. Vikværsk – målet i Østfold, Vestfold, Grenland og Nedre Buskerud. In: Ernst H. Jahr. ed. *Den Store Dialektboka*. Oslo: Novus forlag: 89-99.
- Engebrigtsen, Ada I. 2011. Within or Outside? Perceptions of self and other among Rom groups in Romania and Norway. *Romani Studies* 21: 123-144.
- Etzler, Allan. 1944. *Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige*. Uppsala: Almqvist och Wiksell.
- Faarlund, Jan T. 1995. *Morfologi. Bøyningssystemet i nynorsk og bokmål*. Oslo: Det Norske Samlaget.
- Fishman, Joshua. 1989. *Language and Ethnicity in Minority Sociolinguistic Perspective*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Fløgstad, Guro N. 2008. Retensions of Indo-Aryan grammatical elements in Norwegian Para-Romani: The pronominal system. *Acta Orientalia* 69: 153-168.

- Halvorsen, Rune. 2004. *Taternes arbeid for oppreising og anerkjennelse i Norge*. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
- Hancock, Ian. 1992. The Social and Linguistic development of Scando-Romani. In: Ernst H. Jahr. ed. *Language contact: Theoretical and Empirical Studies*. Berlin: Mouton de Gruyter: 37-52.
- Holzinger, D. (1993): *Das Rómanes. Grammatik und Diskursanalyse der Sprache der Sinte*. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.
- Irvin, Judith T. / Gal, Susan. 2000. Language Ideology and Linguistic Differentiation. In: Paul V. Kroksrity. ed. *Regimes of Language: Ideologies, Polities, and Identities*. Santa Fe: SAR Press: 35-83.
- Iversen, Ragnvald 1921. *Bokmål og talemål I Norge 1560-1630. 1: Utsyn over lydverket*. Oslo) Jacob Dybwad.
- Iversen, Ragnvald. 1944. *The Romany language in Norway*. Oslo: Det Norske videnskaps-akademi.
- Iversen, Ragnvald. 1945. *The Rodi (Rotwelsch) in Norway*. Oslo: Det Norske videnskaps-akademi.
- Johansson, Roger. 1977. *Svensk Rommani*. Uppsala: Lundquist.
- Karlsen, Hermann. 1995. *Romani-norsk ordbok*. Fredrikstad: Stiftelsen.
- Karlsen, Ludvig / Johansen, Frantz. / Engen, Kai I. / Sørdsdal, Knut. eds. 1993. *Romani-folkets ordbok*. Kløfta: ES grafisk.
- Kenrick, Donald. 1979. Romani English. *International Journal of Sociology of Language* 19: 111-120.
- Kristoffersen, Gjert. 2000. *The Phonology of Norwegian*. Oxford: Oxford University Press.
- Kvillerud, Reinert. 1999. *Bohusländska. Språkprov med kommentar*. Göteborg: Språk och folkminnesinstitutet.
- Ladefoged, Jajob. 1998: *Romani in non-standard Scandinavian*. In: Yaron Matras. ed. *The Romani Element in Non-Standard Speech*. Wiesbaden: Harrassowitz: 133-164.
- Leigh, Kate. 1998. *Romani elements in present-day Caló*. In: Yaron Matras. ed. *The Romani Element in Non-Standard Speech*. Wiesbaden: Harrassowitz: 243-282.
- Lindell, Lenny. / Thorbjörnsson-Djerf, Kent. / Carling, Gerth. 2008. *Ordbok över svensk romani: resandefolkets språk och sånger*. Stockholm: Podium.
- Matras, Yaron. 2002. *Romani: A Linguistic Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Matras, Yaron. 2005. The classification of Romani dialects: A geographic-historical perspective. In: Dieter W. Halwachs / Barbara Schrammel .ed. *General and applied Romani linguistics*. München: Lincom Europa: 7-26.
- Matras, Yaron. 2009. *Language Contact*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Matras, Yaron. 2010. *Romani in Britain: The afterlife of a language*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Møystad, Mari Ø. 2010. Taterne - et reisende folk mot en ny tid. In: Anne Bonnevie / Bente B.Moen eds. *Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge*. Trondheim: Tapir akademisk forlag: 99-117.
- Nortier, Jacomine. 2008. Introduction. Ethnolects? The emergence of new varieties among adolescents. *International Journal of Bilingualism* 12: 1-5.
- Opsahl, Erik / Sogners, Sølvi. / Kjeldstadli, Knut. eds. 2003. *Norsk innvandringshistorie. I kongenes tid 900-1814*. Oslo: Pax Forlag.
- Pamp, Bengt. 1978. *Svenska dialekter*. Lund: Bröderna Ekstrands Tryckeri.
- Ribsskog, Øyvin. 1945. *Hemmelige språk og tegn: taterspråk, tivolifolkenes språk, forbryterspråk, gateguttspråk, bankespråk, tegn, vinkel- og punktskrift*. Oslo: Tanum.
- Sandøy, Helge. 1991. *Norsk dialektkunnskap*. Oslo: Novus forlag.
- Seip, Didrik. A. 1931. *Norsk språkhistorie til omkring 1370*. Oslo: Aschehoug.
- Siegel, Jeff. 1985. Koines and koineization. *Language in Society* 14: 357-378.

- Siegel, Jeff. 2013. Multilingualism, Indigenization, and Creolization. In: Tej. K Bhatia / William. C. Ritchie. eds. *The Handbook of Bilingualism and Multilingualism*. Oxford: Blackwell: 517-541.
- Skjekkeland, Martin. 1997. *Dei norske dialektane. Tradisjonelle særdrag i jamføring med skriftmåla*. Kristiansand: Høyskole Forlaget.
- Skou, Martin J. M. 1893. *Paa Fantestien. Oplevelser og Erindringer fra Omstreiferlivet tilligemed Skildringer af Taterfolkets Religion, Liv, Sæder og Skikke*. Oslo: H. Aschehoug.
- Sundt, Eilert. 1850. *Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge: Bidrag til Kundskab om de laveste Sam-fundsforholde*. Oslo: Wulfsbergske bogtrykkeri.
- Theil, Rolf. 2009. *Norsk romani*. In: *Norsk årbok*, Oslo: Høgnorskringen: 64-77.
- Theil, Rolf / Grønnerud, Mariann / Gustavsen, Anna. 2014. *Vandriane rakkrar. Taterne forteller/Taterane fortel*. Oslo: Novus forlag.
- Verschik, Anna. 2010. Ethnolect debate: evidence from Jewish Lithuanian. *International Journal of Multilingualism* 7: 285-305.
- Wiggen, Geir. 1990. *Oslo bymål*. In: Ernst H. Jahr. ed. *Den Store Dialektboka*, Oslo: Novus forlag: 179-184.
- Øverby, Joleik. 1974. Målføra på indre Austlandet. Ei innleiing. In: Ola Skogstad. ed. *Austlandsmål. Språkary og språkbruk på indre Austlandet*. Oslo: Det Norske Samlaget: 9-25.

Наталія Зіневич

Етноніми *роми*, *цигани* в сучасному українському науковому дискурсі

Впродовж десяти років в українській мові спостерігається стрімка тенденція до поширення побутування терміну *роми*, як в офіційному діловодстві, нормативно-правовій базі, так і в публічному просторі. Зі становленням української мови як державної дослідження та впорядкування національних терміносистем та їхніх підсистем набуло вагомого значення.

Об'єктами розгляду у цій статті є співіснування в українському науковому дискурсі останнього десятиліття традиційного етноніму *цигани* та етноніму-неологізму *роми*. Багатозначність слів-понять, наукових термінів та категорій не обмежується співвіднесенням дефініцій і завжди потребує додаткових домовленостей стосовно їх використання. Спробуємо предметно розглянути лексико-семантичні, словотвірні й граматичні особливості термінів, багатозначність етнонімів та лексичні інновації в етнонімі-новотворі, а також вплив деяких чинників, зокрема «лінгвістичного повороту», на оновлення мови української науки, ідеології політкоректності, політизації етнічності ромськими громадськими лідерами.

Наукова комунікація, що здійснюється через науковий текст, залежно від предмету мовлення співвідноситься з науковою діяльністю її учасників, їхнім науковим знанням. Рівень володіння професійною мовою «лінгвістичний капітал» (П. Бурдье), на рівні з культурним капіталом становлять підвалини академічного рівня вченого і дослідного напряму, в якому він працює й станом науки у цілому. Одним зі складних наукових понять, що поєднує в собі поряд із лінгвістичними й екстралінгвістичні складові, однаково необхідні для розуміння та інтерпретації тексту, є дискурс. У цій роботі дискурс трактується як мова, занурена в ситуацію наукової комунікації, що припускає багато вимірів (Карасик 2002: 226). Спільна комунікативна діяльність адресанта і адресата, що акцентується в дефініції дискурсу, пов'язана з його інтерактивною природою. Тож суб'єкти комунікації пов'язані взаємними очікуваннями і установками, спільністю проблем, загальним інтересом до предмету спілкування, взаємодією в певному соціокультурному контексті.

Історія понять, як вважає Р. Козеллек, «займається дослідженням і встановленням цієї різниці чи конвергенції між старими поняттями та сьогоднішніми пізнавальними категоріями» (Козеллек 2005: 351). Сучасна історія понять є продуктом «лінгвістичного повороту», що переозначив контекст. Отже, історія понять передбачає визначення сенсу слова-поняття в історичному і лінгвістичному контекстах, структуроване певними ієархічними зв'язками, класифікаціями, типологіями.

Для концептів, вербалізованих словами *нація*, *спільнота*, *етнос*, у суспільних текстах епіцентром формування прагматичної лексики української мови на сучасному етапі стали поняття *ідентичність* (якість) та *ідентифікація* (дія) (Динамічні процеси 2008: 203).

Сучасні тренди ромських студій в Україні, що дискутуються впродовж останніх років в умовах інтелектуального розмаїття у європейських ромських студіях, базуються на наступних судженнях: фокус на різних вимірах і виявах множинних ідентичностей, стратегіях і тактиках поведінки соціальних колективів та їхніх окремих членів; розгляд ромського компоненту в рамках регіональних ідентичностей; вивчення взаємних рецепцій, сформованих у мультикультурній взаємодії; нерівномірний рівень розвитку термінологічних категорій, увага до їх політкоректності у суспільному дискурсі.

Спостерігається повторне «відкриття» ромської мови із залученням нового дослідницького інструментарію, картографуванням окремих діалектів і локальних говірок, вивченням окремих слів-концептів ромської культури, посиленням ролі ромської мови у процесі політизації етнічності ромів. Ведуться дискусії щодо запровадження етнічної термінології: *рома/роми* (мн.), *ром* (одн. ч. р.), *ромні* (ж. р.); *романі* тощо (Зіневич 2016).

Проблеми етнонімів, як особливого типу найменувань, вже давно перебувають в сфері інтересів багатьох наук: ономастики, етнографії, історіографії та ін., і містять в собі величезний обсяг інформації, культурно-ідеологічний контекст, занурення у мову описування та пояснення «іншості». Етноніми можуть бути нейтральними, позитивними або конфліктними.

Мета дослідження полягає в тому, щоб простежити, як під впливом культурного контексту, змін в офіційній мові, ідеології політкоректності змінюються мовні форми вживання етнонімів *роми*, *циганы*, як наукових термінів в українських соціогуманітарних дослідженнях.

На Закарпатті проживає найбільша ромська громада країни, яка становить чверть ромського населення України. Як зазначала в першій половині 2000-х років лінгвіст М. Романюк, «соціально зумовлені інновації у сфері закарпатоукраїнської етнонімії мають поодинокий характер, однак серед інших соціально зумовлених змін у закарпатоукраїнському ономастиконі вони вирізняються суто політичною мотивацією». Дослідниця застерігала, що новотвір *роми* не приживеться, через

букалізацію значення, народноетимологічне переосмислення внутрішньої форми лексем: «сумнівою, на нашу думку, є доцільність запровадження в офіційний вжиток нового для української мови етноніма-неологізма *ром*, адже традиційне *циган* прекрасно виконує ідентифікаційну функцію, тоді як етнонім-неологізм *ром* вступає в омонімічні зв'язки з апелятивом *ром* (вид алкогольного напою), а також з похідними іменними варіантами від офіційного імені Роман. Таким чином, соціально зумовлені інновації у сфері закарпатоукраїнської етнонімії можна кваліфікувати як надлишкові» (Романюк 2005).

Подібні застереження озвучували російські лінгвісти, фахівці з ромських студій Л. М. Черенков та В. В Шаповал: «Украинские коллеги уже руководствуются рекомендациями властей на официальном уровне, но пока не думают, как трудно будет втолковывать гражданам смысл этого переименования. Кроме того, далеко не все цыгане готовы называть себя словом *рома*. Это этоним значительной части цыганского народа – но он отнюдь не универсален» (Шаповал б. р.).

Ще одним аргументом є те, що у східнослов'янських мовах етнонім *циган*, як історичний термін, не має виключно негативної і образливої конотації, як в мовах інших країн Європи, в яких це слово набуло негативного відтінку теж порівняно недавно. Етнонім, на думку В. Шаповала, можна вважати нейтральним у російській науковій мові, а в літературній мові він має як нейтральні, так позитивні і негативні конотації. На цьому питанні ми зупинимось трохи згодом. Вчений слушно застерігає від сліпого слідування привнесеним у східнослов'янські мови з іншого соціокультурного контексту настановам політкоректності і радить не вихолощувати мовні традиції, які фіксують широку палітру відтінків у словах з основою *циган-*. Як зазначає вчений, вивчення цих слів дозволить глибше зrozуміти цигансько-слов'янські інтеракції, контакти, зв'язки, що тривають (Шаповал 2013: 48). Усталеність українсько-циганських контактів підкреслює і перекладач А. Любка: «Дивовижна взагалі річ, яку мало хто в Україні знає: саме роми є тією національною меншиною, що найчастіше називає своєю рідною мовою українську» (Любка 2015). Це підтверджують і дані перепису населення 2001 р. Якщо більшість меншини виявились значною мірою русифікованими, у даних загальних переписів роми, окрім російської, найчастіше обирали після циганської, українську, угорську, молдавську та кримськотатарську як рідну серед усіх національних меншин України.

В двохтисячніх роках у міжнародних правозахисних документах и нормативно-правових актах активно впроваджувався термін *рома/роми*: *Roma*, *Rom*, *Roms*, нім. *Sinti und Roma*. Під час підготовки захисту тексту дисертаційного дослідження та автореферату в 2005 році, для мене на той момент не було дилеми слововживання, бо термін *циган* в Україні був офіційним для позначення етносу. На користь цього свідчили й історіографія, і джерельна база, що були в фокусі моєї роботи. Термін *циган*, – був і наразі залишається формою літературної мови, етнонімом нейтральної номінації на рівні формального спілкування в письмовій

і розмовній мові (СУМ). Тож основну увагу я намагалась сфокусувати на різних вимірах і виявах множинних ідентичностей циган України, що виявлялась в наявності численних етнонімів нижчого таксономічного рівня (Зіневич 2005).

Втім, усі наступні роки це питання не зникало з порядку денного. Впродовж десяти років слововживок слів *роми*, *ромський* став досить поширенним не лише серед ромських громадських діячів і правозахисників, а й серед державних службовців і співробітників мас-медіа. І досі питання про етнонім *роми*, – ділить першість серед запитань журналістів поряд з питанням, чи правда, що предки циган походять із Індії. Цікаво, що саме ці дві характеристики для макросуспільства – спільність походження та загальна назва, як зазначає румунський дослідник П. Матей, сприймаються впродовж двох останніх століть як етнооб'єднуючі маркери (Rom sau țigan 2012: 17).

Але питання слововживку етнонімів ускладнене кількома рівнями багатозначності: наявністю низки етнономінацій, регулюванням сфер вживання, вторинними етимологічними нашаруваннями.

1 Регулярна багатозначність етнонімів

Етноніми – це особливий шар ономастичної лексики для іменування етнічних груп. Специфіка етнонімів полягає в індивідуалізації не окремої людини, а певного колективу людей. Етноніми зберігають цінну інформацію, необхідну для розуміння сучасних процесів і для реконструкції історичного минулого, для вивчення питань етногенезу, етнопсихології і етносоціології.

До проблемних зон етноніміки відносять, по перше, розгляд етимології, створення семантичної класифікації етнонімів, визначення обсягу поняття етноніму, для чого необхідно враховувати існування етнічних спільнот різних таксономічних рівнів і порядків. Але в цій статті ми не будемо зупинятись на питаннях етнічної таксономії.

Багатозначність в сфері етнонімів проявляється по-різному. Існуючі види етнономінацій на позначення етнічних спільнот залежать від напряму здійснення номінації (авто- та зовнішніх етнонімів) та сфери вживання (офіційних етнонімів, етнофолізмів й етнонімів-прізвиськ). Етнонімічне значення може бути семантичною базою (етнометафори) або результатом перенесення (етнічні прізвиська).

Враховуючи неможливість у багатьох випадках з'ясувати мотивації і можливість помилкової етимології таких найменувань, дослідники розглядають найменування предметів (*циганська голка*, *циганський ніж*) і продуктів, порід тварин (*циган*), танців (*циганочка*), кулінарних виробів (печиво *рука цигана*), що збігаються за формою з етнонімом, як межові випадки між багатозначністю і омонімією.

Перенесення може базуватись на асоціаціях за схожістю представників того чи іншого етносу за ознаками зовнішності, соціального статусу тощо. Певну роль відіграють і оціночні конотації. Семантичні перетворення етнонімів на основі метонімії представлені переносами найменувань з етнічної приналежності особи, – (*циган* → ‘кочівник, волоцюга, мандрівник’, *циганка* → ‘ворожка, провісниця’, *циганити* → ‘випрошувати’).

Значення етноніма може змінюватися в бік розширення або звуження значення: *цигантерія* → ‘польська богема, поет, мандрівний спосіб життя на кшталт циганського’ (ВТССУМ).

Полісемія в сфері етнонімів може бути радіального і лінійного типів. Це явище історично розвивається і може стати причиною утворення *омонімів*, деякі з них розвивають цілу низку переносних значень.

Синонімія в сфері етнонімів ґрунтуються, перш за все, на денотативній тотожності слів, тому що мова йде про різні найменування одного етносу. Синонімами виявляються етноніми, що представляють різні способи і моделі етнонімотворення, різнооб’ємні етнонімічні номінації, самоназви народів (автоетноніми або ендоетноніми) і назви, дані їм ззовні (алоетноніми або екзоетноніми). В системі мови ці відмінності видаються не настільки принциповими, можна припустити існування певних контекстів, в рамках яких відбувається нейтралізація таких семантичних відмінностей.

Синонімічними виявляються етноніми в своїх переносних значеннях, що свідчить про те, що етноніми мають схожі семі, які реалізуються під час вторинної номінації (*циган* → ‘бродяга’).

Етноніми можуть бути як нейтральними, характерними для літературної мови, такими, що вживаються в офіційно-діловому спілкуванні (*німець, француз, італієць*), так і експресивними, тобто номінаціями з негативними конотаціями, які вживаються в розмовній мові і проникають звідти як засіб стилізації в творах художньої літератури (*фріц, макаронник*). Експресивні етноніми виникають в різних соціолектах, тобто в мові окремих соціальних груп, в діалектах і жаргонах. Як правило, вони «заряджені» негативною конотацією, тому відносяться до пейоративних.

Отже, від нейтральних найменувань етнічних груп слід відрізняти етнічні прізвиська – вторинні, непрямі найменування, містять експресивно-оціночну характеристику. Все незрозуміле, нелогічне, безглузде з точки зору носіїв мови, що порушує прийняті в суспільстві морально-етичні норми, пов’язується з представниками інших народів, і це відбувається в лексико-фразеологічній системі мови. Таким чином, етноніми можна визнати найважливішою одиницею в формуванні та закріпленні етнічних стереотипів.

Реалізуючи оціночний заряд, етноніми виявляють опозицію «свої – чужі». Тому деякі семантичні переосмислення етнонімів носять пейоративний характер.

Етноніми використовуються як лайка або клички тварин, що обумовлено загальною пейоративною тенденцією номінативного процесу побутово-розмовної мови.

У певних умовах синонімічні відносини встановлюються між етнонімами завдяки наявності подібних конотативних ознак у найменувань абсолютно різних народів. Свого роду антонімічні відносини встановлюються між етнонімом в особливому порівняльному контексті деяких прислів'їв. З народами, зазначеними в прислів'ях, пов'язані в найній мовній свідомості уявлення про положи етнічної відмінності. Також це свідчить про кардинальну відмінність їх один від одного за етнопсихологічними особливостями.

Втрачаючи природні функції індивідуалізації, ідентифікації, зазнаючи якісних змін у семантичній структурі, етноніми набувають рис апелятивів, які здатні актуалізувати фонові знання мовців, пов'язані з широким колом асоціацій, що безпосередньо впливає на фразеологізацію відтетнонімічних символічних значень (Ужченко, Ужченко 2007). У прислів'ях етноніми виступають в своїх основних значеннях, без переосмислення, проте виявляються в особливому порівняльному контексті: *крутить як циган сонцем* – ‘мається на увазі майстерна брехня, крутіство, крадіжка’.

Наведемо кілька іронічних конотацій фразеологізмів у порівняльному контексті з використанням етноніму *циган*: якби *циган так мав муку, як не має масла, то давно купив би сиру і зварив би вареників* – ‘мріяти про щось недосяжне’; *циган свое за тин тягне, та ще хвалити, що добре було* – ‘хвалькуватість’; *такий знаючій, як циган до паски* – ‘некомпетентний у невластивій сфері діяльності’; як (*мов, ніби і т. ін.*) *циган до сала, зі сл. ласий, охочий* – ‘дуже, надзвичайно’; *ніби циган сонцем (решетом)* – ‘маніпулює, намагається ввести в оману, хитрує’ (Українські приказки 1993).

2 Етнонім *цигани*

Чи належить в сучасній українській мові етнонім *цигани* до етнофолізмів – лексико-семантичної групи етнонімів з негативними конотаціями?

Здебільшого, етнофолізми це номінації з негативною оцінкою, в яких відображаються застарілі кліше й упередження, негативне сприйняття носіями мови своєрідності, незвичайних, особливих рис способу життя, комунікативної поведінки іншого народу, а також специфічних ознак його мови і мовної культури. Негативні експресивні етноніми зі сторонніми образливими аллюзіями, притаманні для усіх часів, усіх мов і діалектів. Їх виникнення може бути обґрунтовано історично, політично і психологічно. Етнофолізми відображають колективні упередження певної спільноті по відношенню до «інших», «чужих».

Ці упередження передаються від покоління до покоління, незважаючи на те, що привід до їх виникнення давно застарів або взагалі стерся в пам'яті носіїв мови.

І дійсно, *Циган*, як образ є надзвичайно стійкий, клішований і містить низку описових характеристик: низький, смаглявий, темноволосий, чорноокий, спритний тощо. Про це свідчить номенклатура спеціальних термінів як в соціолектах, так і в стійких сполучках і народних назвах тваринного і рослинного світу.

На прикладі іхтіонімів, досліджених українськими лінгвістами Р. Міняйлом та В. Кальком, – асоціативно мотивовані назви риб, як номенклатурні, так і народні, виявляють мовні засоби концептуалізації іхтіофауни в етносвідомості українців, у їхній науковій і наївній картинах світу. Зокрема, структури неістинних, фігулярльних знань, – представлені знаками з переносним значеннями. Незначну репрезентованість асоціативно-термінальної мотивації іхтіонімів вчені пояснюють передовсім тим, що найбільш активно виникали ті назви, які найпрозоріше мотивовані біологічними особливостями риб і відповідно є зрозумілими й прозорими для більшості мовців. Найбільш продуктивною є модель метафоричного перенесення людина → риба, що зумовлено дією найбільш універсального принципу метафоричної переінтерпретації – антропоморфізму (Калько 2015: 49).

Значна частина народних назв риб утворена на ґрунті зовнішньої подібності людини й риби: яскраве, строкате забарвлення луски нагадує колір одягу людини чи її загальний зовнішній вигляд, пор.: *циганка* (лин озерний) – «з віком загальнє забарвлення темнішає аж до чорного кольору» (Калько 2015: 46-47); *циганська рибка* ‘неїстівна дрібна рибка’; *циганок* ‘біологічний різновид ляця’; *цигáни* ‘скучення дрібних риб верховодок’; *циганська риба* ‘пуголовок’. Відбувається метафоричне перенесення через позначення чогось відмінного від звичайного (невеликого розміру). Така модель властива не лише рибальській сфері. Порівняльні фразеологізми використовуються з певною еміційно-оцінною метою, як образні еквіваленти позбавлених емоційності слів.

Якщо дощить, коли світить сонце, кажуть *циганський дощ*. За словами відомого фразеолога В. Ужченка, *сліпий дощ* (синонім до *циганський дощ*) є стародавнім фразеологізмом і може асоціюватися з різними реаліями: багато світла, зблиски, сяяння. Як зазначає Р. Міняйло, «ці дві риси – незвичність реалії та її блиск, можливо, лягли в основу стійкої словосполучки *циганська риба* на позначення карася золотистого, який відрізняється від звичайного карася високим і коротким тілом і забарвлення його мідно-руде або червонувато-золотисте, плавці червоні. З рудим кольором може бути пов’язана й внутрішня форма фразеологізму *циганський дощ*, який називають ще *рудавиною*, бо господині вірять, що від нього полотно порудіє. Є модель перенесення образу цигана – «відрізняється передбачливістю й хитрістю». Чорноморські рибалки бичка-кругляка називають *циганом* бо його складно піймати. Об’єктом метафоричного перенесення за цією ж моделлю став і лин озерний, якого на Закарпатті і місцями на Буковині називають *циганською*

рибою. Внутрішня форма цієї словосполучки стає прозорою, якщо розглядати образ лина на тлі паремій, пор.: *Лин вилинає, а карася очешутъ* ‘хитра людина завжди уникне небезпеки’, *ходить як лин по дну* ‘поводиться тихо, не привертає до себе уваги’ тощо’ (Міняйло 2013: 121).

Із мовлення рибалок Нижньої Наддніпрянщини: *піймáть циганку* ‘нічого не піймати’, *циганка* – ‘дрібна’, ‘неістівна’, або ж ‘передбачлива й хитра’ риба. Цей фразеологізм могли утворити як за моделями «відрізняється від звичайного маленьким розміром», так і за моделлю «відрізняється від звичайного передбачливістю й хитростю» (Міняйло 2013: 121).

Згідно з дослідженням І. Гороф’янюк, численні флорономени, пов’язані з етнонімом *цигани*, утворені на підставі зовнішніх ознаках: «забарвлення», «розмір». Найактивніше твірне слово – *циган* з огляду на темний колір шкіри представників цього етносу: *циганка* ‘горошок чорний’, *цигани* ‘чорнобривці розлогі’, *циганка* ‘сорт картоплі з темною шкіркою’, *циганка, циганки, циганки, циганочки, циган’іїку* ‘сорт яблук темно-червоного забарвлення’ (Гороф’янюк 2010). У східнополіських говірках М. Поістогова фіксувала номени *цигани* ‘сорт помідорів’, *циган* ‘сорт часнику городнього’, *циганка* ‘сорт вишні’.

Означення *циганський* має сему ‘великий розмір’ і в інших ідеографічних сферах, пор.: *циганська голка* ‘голка великого розміру’, епітет *циганський* стосовно яскравої одежі з великими деталями (Гороф’янюк 2010).

Цікаві закономірності виявляє і ареалогічна поведінка флорономенів, похідних від етнонімів. Найбільша їх концентрація спостережена у подільському (24 номени) та закарпатському говорі (21 номен) української мови, що зумовлено тісним сусідством та історичними контактами з представниками цих етносів. Найширші асоціативні поля, за підрахунками І. Гороф’янюк, утворюють назви *татарин* (25 флорономенів на позначення 12 рослин та 4 сортів), *циган* (17 назв – 9 рослин і 5 сортів), *жид* (16 флорономенів – 10 рослин і 3 сорти). Власне, наявність у лексических системах таких похідних для одних етнонімів, за відсутності аналогічних дериватів для інших, уже свідчить про особливє місце образів відповідних етносів у мовній картині світу українців (Гороф’янюк 2010: 51).

Багатозначним є термін *циганська дорога*, який позначає різновид шва у вишивці та тип орнаментації на подільській писанці. В Україні поширені також топоніми, а особливо мікротопоніми типу *Цигани*, *Циганське*, *Циганський яр*, *Циганська балка*, *Циганська гірка*, *Циганівка*, *Циганка*. Окрему групу антропоніміки становлять поширені прізвища: *Циган*, *Циганенко*, *Циганков*, *Циганишин*, *Циганко*, *Циганок*, *Циганюк*, *Циганчук* (Редько 1966: 25).

Отже, ми можемо говорити, що етнонім *цигани* належить до числа найбільш вживаних етнонімів в українській мові, має розмаїті традиції вживання як в прямому, так і в переносному значенні в багатьох царинах традиційної культури.

3 Етнонім та етнічні стереотипи

Для виявлення специфіки семантики етнонімів необхідно враховувати їх зв'язок з етнічними стереотипами, що входять в конотацію етнонімів (передану словом додаткову щодо предметно-логічного змісту слова інформацію як раціонального, так і емоційно-оцінного характеру). *Етнічні стереотипи* – є відносно стійкими, схематичними і емоційно забарвленими уявленнями одного етносу про інший (гетеростереотипи) або про самого себе (автостереотипи). Переважно уявлення етносу про самого себе носять позитивний характер, уявлення ж про інші етнічні групи відрізняються негативним характером. У цьому можна вбачати прояв етноцентризму.

Етнічні стереотипи можуть бути виражені в мові у вигляді слів, словосполучень, фразеологізмів, прислів'їв та приказок, синтаксичних конструкцій, анекdotів, жартів.

Етнічні стереотипи проявляються на різних рівнях мови використанням певним чином маркованих мовних одиниць. Саме етнонім є основною лексичної одиницею, що фіксує етнічний стереотип. Відображаючи живі процеси етногенезу та соціально-політичного розвитку, система етнонімів має відкритий характер.

Похідною етнічних стереотипів є процес утворення *етнічних прізвиськ* – «непрямих», стилістично маркованих назив етнічних груп, що містять образно-експресивну характеристику представників певного етносу, а також оціночне ставлення суб'єкта – від добродушно-жартівливих до зневажливих. Як відомо, при перенесенні значення запускається в дію асоціативний механізм, який призводить до актуалізації конотативних компонентів в семантичній структурі слова.

Етнічно стереотипізовані обrazи карнавальних «циган» широко представлені в різних сегментах святково-видовищної культури, зокрема в драматично-видовищному фольклорі українців, що побутує зокрема в контексті різдвяно-новорічної та весільної обрядовості (Курочкин 2008).

Післявесільний період в українців насичений різноманітними ігровими моментами. Церемонія рядження гостей та гуляння їх по селу на території середньонаддніпрянського регіону має назву *цигани*. Номінація вказує на агентів церемонії. *Цигани* – весільний обряд, який складається із збирання «циганами» (рядженими — Н.З.) різної данини, яку потім пропивають; люди, які беруть участь в обряді (Грінченко 1909 IV: 429).

До числа етнофолізмів можуть переходити звичайні, нейтральні номінації інших народів, якщо вони вживаються в певному контексті і з особливою інтонацією, її часто має негативні конотації: *Всі вони цигани* (так можуть казати про угорців, румунів, болгар та інші етноси балкано-карпатського регіону).

У багатьох значеннях фразеологізмів з етнонімом *цигани* простежується негативно-оцінна характеристика. Як правило, цигани зображені як брехуни,

злодії, жебраки, гравці причому деякі з якостей, якими українці наділяють циган, повторюються і в стереотипах, що відносяться до інших народів (євреїв, татар, греків). Їм приписують такі ж характеристики, як і циганам – злодії, злочинці, жебраки, брехуни, марнославні. Однак існує низка позитивних конотацій у фразеологізмах: талановиті, музикальні, вправні, майстерні, витривалі, темпераментні.

Жанрова специфіка анекдоту, основною метою якого є бажання пожартувати над особливостями поведінки народу, впливає на вибір фрагмента етностереотипів.

Загальну картину значною мірою можуть доповнити і збагатити численній різноманітні відетнонімічні деривати, апелятиви етнонімічного походження, лінгвоніми й фразеологічні одиниці з етнонімічними складниками. Набування етнонімом цілого набору додаткових конотацій сприяє виникненню у нього нових переносних значень і робить можливим його функціонування в складі фразеологічних одиниць. Так, значна кількість українських фразеологізмів з етнонімом *цигани*, складають фразеологізми, що містять слово (*циган*, *циганський*). І це природно, адже даний факт обумовлений досить тривалими культурними контактами двох етносів впродовж декількох століть.

Цигани асоціювалися в українців з обміном коней і ковальством: *менджує словом*, як *циган кіньми*; *міняється як циган*; *міняє як циган кобилу*; *тарабанить як циган кіньми*; *наліг як циган на ковадло*; *наліг як циган на точило*.

Один із характерних стереотипів – марновірство і пусті обіцянки: *збирається як циган молотити*; *обдувив мов циган на ярмарку*; *віра як циганська міра*; *у мене (каже циган) три сини та всі три угадьки: як скажуть – один, що буде доц, другий, що сніг, третій, що соняшно – як раз котрий вгада!* (Українські приказки 1993).

Фразеологізм *циганське тепло* вживается у протилежному значенні та означає низьку температуру повітря та холод. Виник він, на думку І. Агаркової, бо у циган, як відомо, не було своїх хат, ночували вони просто неба за будь-якої погоди. Фразеологізм *проймає циганський піт* у фразеологічному словнику української мови пояснюється як ‘хто-небудь дрижить від нервового збудження, страху, холоду’. Етимологію цього фразеологізму дослідниця схематично передає у такий спосіб: *проймає циганський піт* – ‘холодно’ → ‘живут дуже бідно’ → ‘не мають власних хат і теплого одягу’ → ‘дуже мерзнуть і дрижать від холоду’. Також етимологію можна пояснити по-іншому: *проймає циганський піт* → ‘страшно’ → ‘бояться, щоб хтось не побачив’ → ‘тремтять від страху’ (Агаркова 2011: 9).

Отже, фразеологізми характеризують і розкривають, перш за все, внутрішній світ українців, їхні уявлення й емоційну оцінку своїх сусідів, ставлення до чужої культури, релігії та побуту.

4 Етнонім-неологізм *роми* в українській мові

Лексичні інновації, за відомою класифікацією неологізмів Н. Котелової, складають: новотвори (нові похідні слова), неозапозичення (нові запозичення) та неосемантизми (нові значення слів, нові слова-значення) (Котелова 1978). Терміном *новотвір* означаємо нові слова, створені в системі української мови за власними словотворчими зразками. Як засвідчують реєстри новітніх словників, саме такі інновації переважають у сучасному українському лексиконі. Доказом цього є аналіз поповнення старих словотвірних гнізд, складу гнізд, утворених від нових лексем, як питомих, так і запозичених (Динамічні процеси 2008: 12).

Термін *роми* в українській мові є новим. Він є запозиченим із ромської мови автоетнонімом *ром* (одн.), *ромá* (мн.). Під час входження в український слововживток відбулися видозміни шляхом пристосування до українських правил відмінювання *ромá* → *роми* → *ромський*. Подібні запозичення в інші європейські мови, зокрема англійську і німецьку, відбувалось на кілька років раніше.

В світі вже понад чверть століття відбувається стрімка політизація етнічності циган Європи. Як зазначає український історик М. Тяглий: «В умовах необхідності більш ефективного захисту прав і протистояння дискримінаційним діям з боку адміністрації в середовищі ромів активізувалися пошуки такої моделі ідентичності, яка б відображала дану групу радше як єдину спільноту із різноманітними етнокультурними варіаціями, ніж як штучну конструкцію з географічно й культурно віддаленими одна від одної частинами. На це, зокрема, спрямована діяльність деяких ромських національно-культурних організацій. Серед завдань, які вони ставлять перед собою, крім вирішення насущних соціальних проблем – побудова паневропейської моделі ідентичності» (Тяглий 2009). Складовою цього процесу стало впровадження терміну *роми* як офіційного в державних документах низки європейських країн.

Така діяльність була розпочата ромськими громадськими діячами та публічними інтелектуалами на початку 1970-х рр. Зокрема, рішення з цього питання було прийнято на першому Всесвітньому ромському конгресі в Лондоні в 1971 р. (Davidová 2011). Ім'я було зареєстровано міжнародними організаціями, такими як ООН, ЮНЕСКО, Комісія з прав людини та ін. На п'ятому Всесвітньому ромському конгресі, організованому Міжнародним союзом ромів у липні 2001 р. в Празі учасники прийняли «Декларацію народу рома» (Rom sau țigan 2012: 22). Таким чином у міжнародному публічному полі були зроблені кроки, спрямовані на утвердження одного із автоетномів *Roma* як того, що може замінити алоетнонім *Gypsy* в англомовному політико-правовому і суспільному дискурсі.

Сучасний етап розвитку української мови позначене змінами в лексиці та словотворенні, що викликані внутрішньо- та зовнішньомовними чинниками. Зі здобуттям Україною незалежності відбувається утвердження української мови в статусі державної. З усталенням її науково-технічного та офіційно-ділового стилів, відбувається подальша диференціація функціональних стилів літературної мови, посилюється інтеграція стилів, міграція слів з одного стилю в інший. Динамічність мови науки тісно пов'язана з соціокультурними змінами у суспільстві, які актуалізують потребу творення нового нарративу та трансформації мови науки.

Активну роль у сучасній українській номінації відіграє словотворення, що оформляє нові слова, пристосовує до норм літературної мови неозапозичення. Нові слова виконують різне «соціальне замовлення», а отже, по-різному входять до українського лексикону і впливають на його будову (Динамічні процеси 2008).

У перекладених українською нормативних документах Ради Європи та інших міжнародних організацій, впродовж 2000-х рр. домінували гібридні терміни *народ рома*, або *народ рома та тревеллерс*, або *народності сінті і рома*, як «однієї з найбільш дискримінованих та переслідуваних етнічних груп у світі». Такі конструкції в Україні у подальшому не трансліювались ані науковцями, ані більшістю журналістів. Трансформація *рома* в українській мові в термін *роми*, «ромська національна меншина» відбувалась стихійно впродовж кінця 1990-х – 2000-х рр. і постфактум закріпилась в офіційній мові, зокрема у нормативно-правових документах найвищого рівня (Розпорядження 2013). Ця еволюція відбулась і в назві спеціальної програми Міжнародного фонду «Відродження», що опікується ромською проблематикою. Спочатку, в 1990-х рр. вона носила назву «Рома України», а нині – «Ромська програмна ініціатива». Але загалом можемо констатувати мовний плюралізм в авторському стилі українських дослідників і співіснування усіх цих термінів в наукових роботах різних авторів.

5 Політкоректність у суспільному та науковому дискурсах

Політкоректність визначається дослідниками як «очищений», «правильний» варіант мови, який виключає чи зводить до мінімуму дискримінацію деяких груп, що знаходяться в невигідному соціальному становищі (Тер-Минасова 2000: 216). У кожній країні є лінгво- і соціокультурні передумови, які або сприяють, або, навпаки, перешкоджають формуванню мови політкоректності (Майба 2011: 203).

Політкоректність як характерна риса політичної культури є багато-аспектним лінгвокультурним феноменом. Започаткована в американській

політичній культурі, ця ідеологія згодом була сприйнята європейськими країнами. Слововжиток політкоректних слів і виразів має на меті сприяти формуванню безконфліктного дискурсу між різними верствами суспільства. Ідеологія політкоректності спрямована на заміну узуально-маркованої лексики з негативною конотацією лексичними одиницями з позитивною конотацією. Питання про ідентичність Європи знову набуває нетривіального значення, бо гостроює потреба відповіді на нього. Як зазначають Е. Марушиакова та В. Попов, «[н]ыне прослеживается стремление воссоздавать и проецировать в разнообразных формах историческую неомифологию, что особенно ярко проявляется в кризисных ситуациях» (Марушиакова, Попов 2008: 29). Наявний прогрес поки що не можна порівняти з тим обсягом роботи, який варто виконати для подолання глибоко вкоріненої і широко поширеної соціальної ізоляції циган.

В 1999 р. Європейська Комісія офіційно перейшла до вживання терміну *Roma*, надаючи перевагу перед *Gypsy*, – основною була аргументація прагнення політкоректності. В подальшому, прагнучи уникати конфліктнозорієнтованих дискурсів, Європейський Союз лобіював прийняття уніфікованої термінології з метою формування консенсусного поля.

Політично коректні ідеї часто висловлюються пом'якшеними виразами, тобто за допомогою евфемії (ґрунтуються на здатності евфемізму приховати або пом'якшувати негативні явища номінативного поля, закріплені в стереотипах мовної свідомості спосіб сприяючи заспокоєнню адресата), дотримання ввічливості (у такий спосіб мовець дбає про власний імідж, користуючись загальноприйнятими у відповідній соціальній групі позначеннями) та уникнення табуйованих висловлювань. Евфемізми вуалиють або приховують неприємне й неприйнятне в явищі, подаючи його крізь призму нейтральної чи позитивної конотації. Евфемізми не обов'язково передбачають маніпуляцію, вони можуть використовуватись і заради політкоректності як «пом'якшені» найменування, що не підштовхують до думок та дій всупереч інтересам реципієнта і дозволяють уникати дискримінації.

6 Комунікативно-практичне значення дискурсу

Повноцінне спілкування між представниками різних культур можливе лише за наявності певного загального, так званого фонового знання, властивого як адресанту, так і адресату. Це ставить учасників комунікації в рівноправне становище в інтелектуальній сфері, позаяк сприйняття іншої культури дозволяє зблизити когнітивні рівні комунікантів. У багатьох випадках реакція згоди

зумовлюється не стільки власним ставленням до висловленого, скільки принципом ввічливості, обізнаністю реципієнта з «неписаними», проте загально-прийнятими етикетними правилами мовленнєвої поведінки, з узвичаєною для певного суспільства «комунікативною грою». Відповідно до стратегії позитивної ввічливості під час комунікації (згідно теорії «лінгвістичної ввічливості» П. Брауна та С. Левінсона) (Brown 1987), висловлювання етикетної згоди мають відтінок примусовості, в основі якої лежить не тиск із боку адресанта, а бажання адресата з етичних міркувань запропонувати комунікативну підтримку в процесі міжкультурного діалогу.

7 Висновки

Отже, дискурс як соціально орієнтована мова є складним соціолінгвістичним феноменом сучасного комунікативного середовища, що детермінується соціокультурними, політичними, прагматично- ситуативними, психологічними й іншими чинниками. Він включає як певну лінгвістичну структуру, так і екстралінгвістичні знання про світ, думки, установки, цілі адресата, необхідні для розуміння тексту, тож характеризується певною спільністю світу, який твориться в процесі розгортання дискурсу його автором і інтерпретується його реципієнтами.

Вивчення етнонімів, закономірностей їх виникнення, розвитку та вживання тісно пов'язане з вивченням самих етносів. Самоназивання як вираження самосвідомості та називання іншими, стереотипізоване усвідомлення ззовні, становлять одну із найважливіших ознак певної етнічної єдності. Етнонім як родове, загальне поняття має специфічний зміст. Якщо розглядати буквальне значення, то цей термін може позначати не лише певний етнос, але в циганській мові – ще й соціонім (Matras 2002: 25).

Використання етнонімів на позначення не завжди моноетнічних спільнот та єдностей викликає у етнологів певне заперечення. Їх узагальнила М. Смирнова-Сеславінська: «екзоетнонім *циган* не можна вважати еквівалентом слова *ром*. Назвою *цигани* позначають, по-перше, циган-ромів. По-друге, представників інших, споріднених з ними груп європейських циган, з іншими самоназвами (кале, каале, сінті, мануш та ін.); в діалектах більшості цих груп існує соціонім *ром* для позначення внутрішньоетнічних соціальних відносин. По-третє, циганами називають також споріднених європейським циганам вірменських *лómів* і переднеазіатських *дóмів*. По-четверте, до циган відносять також групи, які не мають прямого зв'язку з *ромами*, *ломами* і *домами* циганоподібні групи Середньої Азії, а також деякі інші групи, які мають інше походження, але ведуть типологічно подібний мобільний спосіб життя» (Смирнова-Сеславинская 2013).

У суспільній сфері України, етнонім-неологізм *роми*, утворений шляхом запозичення із застосуванням правил відмінювання українською, впродовж останнього десятиліття почав конкурувати і навіть замінювати етнонім *цигани*. Неологізм – це поняття стилістичне, експресивне, привертає увагу читача своєю «незвичністю», «новизною». Вивчення неологізмів пов’язане зі зміною суспільства, на відміну інших одиниць мови, оскільки нові слова більшою мірою характеризують епоху, ніж мову. Нові слова, які з’явилися впродовж останніх 10 років, крім того, що вони майже втратили свій так званий «ефект новизни», набули широкого поширення.

У багатьох випадках етнічні ідеологеми звучать як заклики, як привід для етнічного згуртування, як засіб етнічної мобілізації. Отже, можна зробити висновок, що зусилля, що вживаються ромами щодо формування концепції політкоректності термінів *ром*, *ромський*, слугують досягненню низки цілей, серед яких передусім, – конструювання загальнонаціональної ідентичності, національне відродження, створення нації, а також етнічна і політична мобілізація. В останні десятиліття дії, зроблені окремими ромськими активістами, призвели до виникнення фундаменту, на якому з різnorідної циганської спільноти (або, скоріше, спільнот) повинна сформуватися єдина нація ромів (Marushiaakova, Popov 2005: 31).

Втім не слід забувати, що розуміння етносу в етнографії та історії відрізняється від уявлень про етнос як об’єкт лінгвістичного дослідження. Межа між нейтральним, прийнятним в звертанні етнонімом і експресивним етнонімом досить тонка, вживання останніх може стати не лише перешкодою в комунікації, а й порушити її хід.

Якщо спробувати простежити поширення побутування терміну *роми* і визнання його як мовної норми в українському офіційному діловодстві, нормативно-правовій базі, так і в публічному просторі України, цей процес впродовж останнього десятиріччя відбувається у форматі ланцюжка: *цигани* → *цигани (рома)* → *цигани (роми)* → *цигани/роми* → *роми (цигани)* → *роми*.

В даному випадку з політкоректною трансформацією етноніму *цигани* → *роми* ми навряд чи можемо стверджувати про автоматичну зміну ставлення українського суспільства до ромського етносу. Як і раніше «ромські питання» залишаються проблемною зоною публічної комунікації в суспільному і науковому дискурсі як в форматі (макросуспільство/цигани) «нероми/роми», так і у форматі «роми/роми» в процесі розвитку міжкультурної взаємодії, дво- та багатомовності самих носіїв циганських діалектів і розвитку багаторівневої структури їх ідентичності в суспільствах Європи.

Список використаних джерел та літератури

- Агаркова, И. Ю. 2011. Воплощение стереотипных представлений об этноментальных особенностях представителей других народов во фразеологии украинского языка (на материале фразеосемантических групп «евреи» и «цыгане»). Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» 24(63)/1/2: 3-9.
- ВТССУМ. Великий тлумачний словник сучасної української мови. http://ukrainian_explanatory.academic.ru/194120/циганерія (10.08.2016)
- Гороф'янюк, І. 2010. Етноніми як база творення українських флюрономенів. В: *Мовознавчі студії. Випуск 3: Діалект у лінгвокультурологічному просторі (За матеріалами Міжнародної наукової конференції на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила)*. Дрогобич: Швидкодрук: 42-50.
- Грінченко, Б. Д. 1907-1909. *Словарь української мови*. 4 т. К.
- Динамічні процеси. 2008. *Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі*. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго.
- Зіневич, Н. О. 2005. *Циганський етнос в Україні: історіографія та джерела*. Автореферат дисертації на присудження ступеня кандидата історичних наук. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.
- Зіневич, Н. 2016. *Вектори розвитку академічних ромських студій в Україні: історіографічний дискурс, термінологічні проблеми в антропологічній перспективі*. огляд підготувала Оксана Годованська. <http://social-anthropology.org.ua/seminars/vektory-rozvytku-akademichnykh-romskykh-studiy/> (10.08.2016)
- Калько, В. В. 2015 Асоціативно-термінальна мотивація українських назв риб. *Мовознавчий вісник* 20: 44-50.
- Козеллек, Р. 2005. *Минуле майбутнє: Про семантику історичного часу*. К.: Дух і літера.
- Курочкин, О. 2008. Карнавальні «цигани»: етнічний стереотип і обрядова маска. *Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів* 15: 255-269.
- Котелова, Н. З. 1978. Первый опыт лексикографического описания русских неологизмов. *Новые слова и словари новых слов*. Л.: Наука ЛО: 5-26.
- Любка, А. 2015. *Циган – це циган?* http://www.books-xxi.com.ua/index.php/news/_180-tsyhan-tse-tsyhan-andrii-lyubka (17.07.2016)
- Майба, В. В. 2011. Рецепция политкорректности в русской лингвокультуре. *Евразийская лингвокультурная парадигма и процессы глобализации: история и современность*: Материалы II Международной научной конференции 10-11 ноября 2011 г. Пятигорск: ПГЛУ: 202-207.
- Марушкиакова, Е. / Попов, В. 2008. Холокост и цыгане. Конструирование новой национальной мифологии. *Голокост і сучасність* 2(4): 29-42.
- Мініяйло, Р. 2013. *Культурно-національний і регіональний чинники постання українських іхтіонімів*. https://keui.files.wordpress.com/2013/12/38_minyyaylo.pdf (10.08.2016)
- Ред'ко, Ю. К. 1966. *Сучасні українські прізвища*. К.: Наукова думка.
- Розпорядження 2013. *Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів*

щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» від 11 вересня 2013 р. № 701-р. Верховна Рада України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/701-2013-p> (17.07.2016)

Романюк, М. 2005. Соціально зумовлені інновації в ономастикон Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філол. наук. Ужгород.

СУМ. 1970-1980. Словник української мови. 11 т. К.

Смирнова-Сеславинская, М. 2013. Проблема субъекта речи и межкультурной коммуникации в лингвоантропологическом исследовании. Что такое «ром» с точки зрения носителя цыганского языка? *Культурологический журнал* 1 (11).

http://www.cr-journal.ru/rus/journals/188.html&j_id=13 (17.07.2016)

Тер-Минасова, С. Г. 2000. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово/ Slovo.

Тяглий, М. 2009. «Другорядний» геноцид: пораймос як елемент в історичній пам'яті українського суспільства ї й інструмент конструювання ідентичності ромів

http://ww2-historicalmemory.org.ua/abstrakt_u/35.html (10.06.2016)

Ужченко, В. Д. / Ужченко Д. В. 2007. Фразеологія сучасної української мови. К.: Знання.

Українські приказки 1993. Українські приказки, прислів'я і таке інше / Укладач М. Номис. К.: Либідь.

Шаповал, В. В. Лингвистические рассуждения об альтернативе «цыгане – ромы».

<http://www.liloro.ru/romanes/shapoval17.htm> (17.07.2016)

Шаповал, В. В. 2013. Цыганско-славянские языковые контакты и источники их изучения. В: К. А. Кожанов, С. А. Оскольская, А. Ю. Русаков. ред. Цыганский язык в России. Сборник материалов Рабочего совещания по цыганскому языку в России, Санкт-Петербург, 5 октября 2012 г. СПб.: Нестор-История: 43-49.

Brown, Penelope / Levinson, Stephen C. 1987. *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge.

Davidová, Eva. 2011. On the beginnings of International Romani Movement (for the 40th Anniversary of the World Romani Congress – 1971). *Studia romologica* 4: 184-195.

Marushiakova, Elena / Popov, Veselin. 2005. The Roma – a Nation without a State? Historical Background and Contemporary Tendencies.In: Wojciech T. Burszta / Tomasz Kamusella / Sebastian Wojciechowski.eds. *Nationalisms Across the Globe. An overview of the nationalism of state-endowed and stateless nations*. Poznań: School of Humanities and Journalism: 433-455.

Matras, Yaron. 2002. *Romani. A Linguistic Introduction*. Cambridge.

Rom sau țigan. 2012. *Rom sau țigan. Dilemele unui etnonim în spațiul românesc*. Editori: István Horváth și Lucian Nastasă. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Cluj-Napoca.

